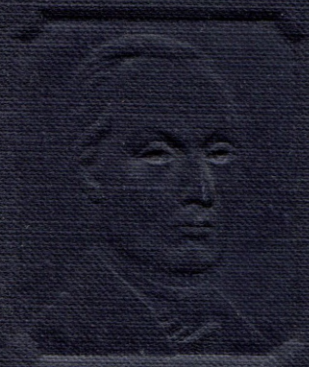


А. Н. РАДИЩЕВ

А. Н. РАДИЩЕВ

ИЗБРАННЫЕ  
ФИЛОСОФСКИЕ  
СОЧИНЕНИЯ

ИЗБРАННЫЕ  
ФИЛОСОФСКИЕ  
СОЧИНЕНИЯ



К Д В У Х С О Т Л Е Т Н Ю  
С О Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я  
А . Н . Р А Д И Щ Е В А  
*(1749—1949)*

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ



А.Н. РАДИЩЕВ

ИЗБРАННЫЕ  
ФИЛОСОФСКИЕ  
СОЧИНЕНИЯ

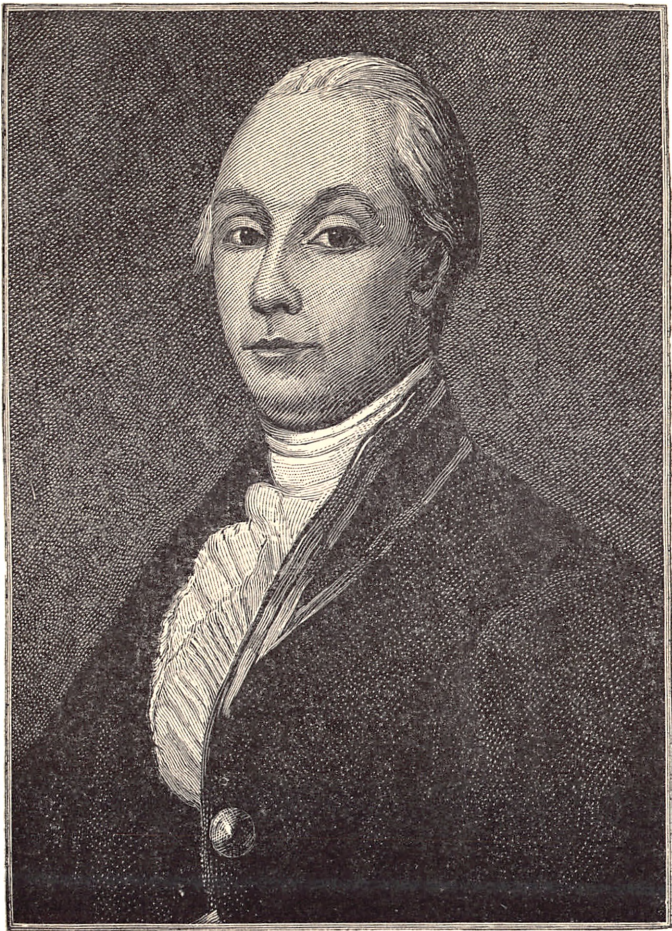
*Под общей редакцией  
и с предисловием  
И. Я. ЩИПАНОВА*

1 9 4 9



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ





Anders  
Fogel



---

## А. П. РАДИЩЕВ

(1749—1802)



**В** истории развития русской общественной мысли второй половины XVIII в. Александру Николаевичу Радищеву принадлежит самое выдающееся место. Его ода «Вольность», «Путешествие из Петербурга в Москву» были первыми революционными произведениями, направленными против царизма и крепостного права в России. В этих, а также и других трудах Радищев выступил как пионер русской революционной мысли XVIII в., как страстный обличитель ненавистных ему крепостнических порядков, как решительный противник царской власти, сановничества, сословности, дворянства, аристократии. Его политическим идеалом была демократическая республика. Воспевая вольность, он объявил ее бесценнейшим даром, источником всех великих деяний человечества.

О! дар небес благословенный,  
Источник всех великих дел,  
О, вольность, вольность, дар бесценный,  
Позволь, чтоб раб тебя воспел.  
Исполни сердце твоим жаром,  
В нем сильных мышц твоих ударом!  
Во свет рабства тьму претвори,  
Да Брут и Телль еще проснутся,  
Седяй во власти да смятутся  
От гласа твоего цари \*.

---

\* См. настоящее издание, стр. 421.



Хотя Радищев вышел из дворянской, помещичьей среды, но, встав на сторону угнетенного крестьянства, он сумел ярко выразить интересы крепостных крестьян и противопоставить их классовым интересам помещиков-крепостников. В своих трудах он показал непримиримый, антагонистический характер противоречий между угнетенным народом и господствующим классом дворян-крепостников. Радищевым был поставлен вопрос о революционном уничтожении крепостного права со всеми его последствиями.

В вопросах философии Радищев является продолжателем славных материалистических традиций Ломоносова. Но в отличие от позиций просвещенного абсолютизма, которых держался Ломоносов, Радищев в общественно-политических вопросах был революционером. Радищев критиковал оды, в которых Ломоносов прославлял царицу Елизавету. Крупнейшей исторической заслугой Радищева было то, что он явился родоначальником антикрепостнической, антиабсолютистской идеологии, идейным предшественником декабристов и русских революционных демократов.

А. Н. Радищев родился в 1749 г. в дворянской семье, воспитывался в Пажеском корпусе. В 1766 г. вместе с группой молодых людей Радищев был послан за границу для изучения «юридических» наук. Вернувшись из-за границы в 1771 г., Радищев поступил на службу в сенат, а затем перешел в штаб петербургского главнокомандующего, где, получив чин секунд-майора, вышел в отставку. С 1775 по 1777 г. Радищев живет в своем имении и в Москве, а в 1777 г. поступает на службу в Коммерц-коллегию. Наряду со службой Радищев приобщается к литературной деятельности, участвует в сатирических журналах Новикова, в «Беседующем гражданине», издававшемся «Обществом друзей словесных наук». Есть все основания утверждать, что перу Радищева принадлежит «Отрывок путешествия в \*\*\* И\*\*\* Т\*\*\*», помещенный в «Живописце» Новикова в 1772 г. «Отрывок» проникнут ненавистью к крепостному праву и проповедью свободы. Радищев перевел на русский язык работу французского социалиста-утописта Мабли «Размышления о греческой истории», снабдив ее своими примечаниями, в которых решительно осуждал самодержавие как «наипротивнейшее человеческому естеству состояние», а в во-

просах государственного устройства горячо высказывался за народовластие. Это по существу было первое литературное выступление Радищева, в котором ярко сказались его антиабсолютистские устремления.

Жизнь и деятельность Радищева протекали в условиях усиления дворянской империи и крепостного гнета, в условиях мощных крестьянских восстаний в России и революционных событий в Америке и Франции.

Народ находился под ярмом туенядцев-крепостников, одновременно подвергаясь эксплуатации со стороны купечества, духовенства и многочисленного «крапивного семени», то-есть чиновничества.

Задавленный крепостными повинностями, оброками, рекрутчиной, не имея никаких, даже самых элементарных прав, осужденный на каторжный труд, нищету и вымирание от голода, народ не оставался безмолвным. В разных концах страны стихийно вспыхивали крестьянские волнения, бунты «рабочих людей» (то-есть крепостных рабочих), волнения монастырских крестьян, восстания «инородцев».

Во второй половине XVIII в. в России под покровительством правительства растет число феодальных мануфактурных предприятий, растет внутренняя и внешняя торговля, помещичьи хозяйства вовлекаются в товарно-денежные отношения, в недрах крепостного хозяйства начинают возникать элементы капиталистического уклада. Все это приводит к усилению феодально-крепостнической эксплуатации. Одновременно усиливается недовольство крепостным правом, сковывавшим развитие материальных и духовных сил страны.

Если уже в 60-х годах происходили крупные крестьянские восстания в Белоруссии и Правобережной Украине (под руководством Максима Железняка и Ивана Гонты), то 70-е годы (1773—1775) ознаменовались в России самым мощным восстанием XVIII в., восстанием народов Поволжья под руководством Пугачева. Хотя крестьянские восстания и бунты носили стихийный характер и не могли увенчаться успехом, поскольку еще не было не только рабочего движения, но и самого рабочего класса, который своим участием и руководством способен обеспечить победоносную борьбу трудящихся, тем не менее в истории нашей родины они оставили неизгладимые следы: они подрывали крепост-

нические устои, влияли на формирование мировоззрения передовых людей и прежде всего на А. Н. Радищева, что и отразилось во всем его творчестве. Радищев написал оду «Вольность» (1781—1783), в 80-х годах он приступил к своему основному произведению «Путешествие из Петербурга в Москву», которое было закончено в 1790 г.; оба эти произведения с их ярко выраженным антикрепостническим характером представляют собой отклик мыслителя и борца на крестьянские волнения в стране.

Радищев горячо приветствовал и международные события конца XVIII в. — революционное движение в Америке и начавшуюся в 1789 году революцию во Франции, хотя в оценке отдельных деятелей французской буржуазной революции, в частности в оценке Робеспьера («Песнь историческая»), допускал неправильные суждения.

Произведения Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», ода «Вольность» и выпущенные перед этим «Письмо к другу, жителюствующему в Тобольске, по долгу звания своего» (1782), «Житие Федора Васильевича Ушакова» (1789) и «Беседа о том, что есть сын Отечества» (1789) вызвали ярость у правящих реакционных сословий, у Екатерины II, ее вельмож и у масонства.

О ненависти, которую питали масоны к революционным антикрепостническим идеям Радищева, свидетельствует их переписка, в которой сочинения Радищева квалифицируются как богомерзкие, а сам он как государственный преступник, который должен понести тяжелое наказание. В 1790 г. Радищев был арестован и приговорен судом и сенатом к смертной казни, которая была заменена Екатериной II ссылкой на 10 лет в Илимск.

Находясь в Сибири, Радищев не прекращал своей литературной деятельности. В ссылке им были написаны «Письмо о Китайском торге» (1792), «Сокращенное повествование о приобретении Сибири» (1791—1796), философский труд «О человеке, о его смертности и бессмертии» (1792—1796).

После смерти Екатерины II Радищев был возвращен из ссылки (1796); ему разрешили жить в своей деревне.

В этот период им была написана работа «Описание моего владения», в которой он пытался обосновать экономи-

ческую невыгодность крепостного права и необходимость его уничтожения. Работа осталась незаконченной.

При Александре I Радищев добился разрешения жить в столице. Здесь он был привлечен в Комиссию графа П. Завадовского по составлению Свода законов. Радищев проявил большую активность: он составил записку «О законоположении», «Проект гражданского уложения» и другие проекты, в которых опять развивал идеи уничтожения крепостного права, табели о рангах, требовал запрета продажи крестьян в рекруты, отмены телесных наказаний и пыток, введения суда присяжных, публичного судопроизводства, свободы слова и печати. Все эти требования вызвали негодование у членов Комиссии и прежде всего у графа Завадовского, который пригрозил Радищеву новой ссылкой в Сибирь.

Доведенный царизмом и его сатрапами до отчаяния, Радищев 12 сентября 1802 г. покончил с собой.

Вся общественная деятельность Радищева была проникнута единым стремлением — освободить народ от оков царизма и крепостного права, создать демократические общественные порядки в стране, демократизировать воспитание и просвещение, науки и искусства. Чем бы Радищев ни занимался, он везде преследовал одну цель — благо своего народа, развитие и приумножение материальных и духовных сил своей отчизны, которую он горячо и беззаветно любил, которой отдал свои знания, свою энергию и жизнь.

\* \* \*

А. Н. Радищев в своих трудах защищал интересы крепостного крестьянства, выражал мечты и чаяния самых передовых людей XVIII в. Его социально-политические воззрения явились высшим достижением русской культуры того периода.

Чтобы определить ту выдающуюся роль, которую сыграл Радищев в развитии общественной мысли в России, надо исходить из известного положения В. И. Ленина, что «исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными

требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно с своими предшественниками»\*.

Вздорной и антинаучной является попытка буржуазных и некоторых советских историков представить Радищева в роли какого-то жалкого компилятора и эклектика, в роли разносчика чужих идей.

Будучи очень образованным человеком, Радищев был знаком со всеми достижениями общественно-политической и научной мысли своего времени. Но он был не только образованным, но и оригинальным, глубоким мыслителем.

Первой крупнейшей заслугой Радищева является то, что он положил в России начало новому, революционному направлению в развитии общественной мысли. В лице Радищева мы имеем мыслителя, публициста-обличителя, впервые в истории России обосновавшего антиабсолютистскую, антикрепостническую идеологию и противопоставившего ее идеологии крепостничества и самодержавия.

Поэтому было бы неправильно отождествлять общественно-политические воззрения Радищева с воззрениями Ломоносова, Козельского, Десницкого и других прогрессивных русских мыслителей XVIII в., так как общественно-политические теории Радищева были ярко выраженным, революционным этапом по сравнению со всем предшествующим развитием общественной мысли в России.

Давая высокую оценку научным работам и открытиям Ломоносова, он упрекает его за просвещенный абсолютизм. «Не завидую тебе, — обращался Радищев к Ломоносову, — что, следуя общему обычаю ласкати царям, нередко недостойным не токмо похвалы, стройным гласом воспетой, но ниже гудочного бряцания, ты льстил похвалою в стихах Елисавете»\*\*.

Высоко ценя Петра I, он критикует его за то, что тот не помышлял об уничтожении крепостного права в России.

«...В ту пору, — указывал Ленин, — когда писали просветители XVIII века (которых общепризнанное мнение относит к вожакам буржуазии), когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов (XIX в. — *Ред.*), все обще-

---

\* В. И. Ленин, Соч., т. 2, изд. 4, стр. 166.

\*\* См. настоящее издание, стр. 196.

ственные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками» \*.

Эти указания Ленина имеют неоценимое значение при анализе общественно-политических и философских воззрений передовых русских мыслителей XVIII в., декабристов и революционных демократов XIX в. Как деятелей освободительного движения их прежде всего волновал вопрос об уничтожении крепостного права и царизма в стране. Среди славных обличителей крепостного права и царизма, среди мыслителей, поставивших вопрос об их уничтожении, Радищев является пионером.

Когда мы говорим об оригинальности и глубоком историческом понимании общественной жизни Радищевым, не следует забывать, что в то время крепостное право помимо России господствовало в большинстве стран Европы: в Пруссии и других германских княжествах, в Венгрии, Дании, Румынии и других странах; остатки крепостного порядка наблюдались и во Франции вплоть до французской революции. Поэтому идея Радищева об уничтожении крепостного права революционным путем была передовой не только для России, но и для всех стран Европы, где еще господствовал феодализм.

В своем труде «Путешествие из Петербурга в Москву» и в оде «Вольность» Радищев дал яркий образец революционного протеста против крепостного права и абсолютизма и революционное решение этих вопросов. Именно в этих произведениях им были подняты самые жгучие, самые наболевшие вопросы для России, дальнейшее материальное и духовное развитие которой упиралось в господствовавшие феодально-крепостнические порядки.

Будучи горячим патриотом своей родины, желая ее народам счастья, благоденствия, просвещения и свободы, Радищев клеймил крепостное право, обличал крепостников — дворян и их опору — самодержавие, религию и бюрократический феодально-крепостнический государственный аппарат, призванных давить и душить народ, держать его в вечном страхе и беспрекословном экономическом и духовном повиновении.

Называя крепостников «зверями алчными», «пиявицами ненасытными», «варварами, недостойными носить имя

---

\* В. И. Ленин, Соч., т. 2, изд. 4, стр. 473.

человеческе», Радищев высказывался за «разрушение власти тигров», за искоренение «варварского обыкновения» угнетать человека человеком, за уничтожение крепостнического рабства. Изобличая крепостников как прямых виновников бедственного положения крестьянства, он доказывал, что богатство помещиков получено в результате неприкрытого грабежа трудового народа и заслуживает не только осуждения, но и самого сурового наказания.

Выдвинув положение, что производителем материальных благ являются народные массы, трудящиеся, а не дворяне-крепостники, он горячо защищает интересы первых и безоговорочно и смело осуждает вторых.

Радищев стригает крепостничество и с точки зрения теории так называемого «естественного права» человека на свободную жизнь.

Теория «естественного права» человека и «общественного договора», — идеалистическая, ненаучная теория, так как она предполагала какую-то неизменную «естественную» сущность человека; но эта теория просветителей XVIII века была в свое время оружием борьбы против феодальных теорий о божественном происхождении власти государя, государства, феодалов, поэтому представляла известный шаг вперед. Но в зависимости от классовых позиций теоретика «естественное право» получало самое различное толкование.

Например, Гоббс в свое время, оперируя теорией «естественного права», доказывал, что лучшей формой государственного управления является абсолютизм.

Французские просветители XVIII в. — Дидро, Гельвеций, Ламетри, Гольбах тоже, ссылаясь на эту теорию, доказывали, что лучшей формой государственной власти является просвещенный абсолютизм.

Теорию «естественного права» использовали в России Татищев, Щербатов, Сперанский и др. для обоснования абсолютной монархии в России.

Радищев также отдал дань своему времени, но из теории «естественного права» сделал не монархические, а антиабсолютистские, антикрепостнические, демократические выводы, т.-е. он влил в эту теорию более прогрессивное содержание и пошел дальше западноевропейских и предшествовавших ему русских просветителей XVIII в.

В «Путешествии из Петербурга в Москву», развивая мысль о свободе, Радищев доказывал, что «человек рождается в мир равен во всем другому. Все одинаковые имеем члены, все имеем разум и волю. Следственно, человек без отношения к обществу есть существо, ни от кого не зависящее в своих деяниях... Следственно, тот, кто восхощет его лишить пользы гражданского звания, есть его враг» \*.

Такими врагами трудящихся являются цари, короли, рабовладельцы, феодалы-крепостники.

Радищев решительно возражал Аристотелю, которого он называет «ласкателем Александра Македонского», по вопросу о происхождении рабства. Точку зрения Аристотеля, утверждавшего, «что сама природа расположила уже род смертных так, что одна и притом гораздо большая часть оных должна непременно быть в рабском состоянии...» \*\*, Радищев объявляет несостоятельной и вздорной. По мнению Радищева, рабство определяется не природой человека, а общественными условиями.

«Причиною тому (рабства. — *Авт.*) или род провождаемой жизни, обстоятельства, или в коих быть принуждены, или малоопытность, или насилие врагов праведного и законного возвышения природы человеческой, подвергающих оную силою и коварством слепоте и рабству, которое разум и сердце человеческое обессиливает, налагая тяжчайшие оковы презрения и угнетения, подавляющего силы духа вечного. Не оправдывайте себя здесь, притеснители, злодеи человечества, что сии ужасные узы суть порядок, требующий подчиненности. О, ежелиб вы проникли цепь всея природы, сколько вы можете, а можете много! то другие бы мысли вы ощутили в себе...» \*\*\*

Таким образом, Радищев, решительно отвергая точку зрения Аристотеля о вечности рабства, ищет причины рабства не в природе человека, а в социальных условиях жизни.

Несомненной заслугой Радищева была его попытка рассматривать человека как существо общественное, характер, воля и поведение которого определяются прежде всего общественными условиями во всей их сложности и совокупности и внешней средой: природные, климатические и т. д. условия, утверждал Радищев, накладывают свою печать на

\* См. настоящее издание, стр. 88—89.

\*\* См. настоящее издание, стр. 265.

\*\*\* См. настоящее издание, стр. 266.



человека, его характер и состояние. Особенно большое значение в развитии человеческого рода, по его мнению, имеет речь, которая отличает человека от зверей и способствует их общежитию. «...Человек не есть животное хищное»\*, — говорит Радищев. Но истинных причин, отличающих человека от животных, заключающихся в умении человека производить орудия труда, Радищев не знал, хотя в ряде мест и он утверждал, что руки были путеводителем человеческого разума.

Развивая идеи уничтожения крепостного права в России, Радищев ставил вопрос и о методах осуществления этого важного мероприятия, причем, будучи дворянским революционером, он не исключал возможности добровольного участия и дворянства в раскрепощении крестьян. В одной из глав «Путешествия из Петербурга в Москву» он набрасывает план подобного освобождения, требуя запретить превращение крестьян в дворовую челядь, дать крестьянам звание гражданина, уравнивать их в правах перед законом, организовать выборность судей, запретить наказание без суда, закрепить за крестьянами в постоянную собственность земельные паделы, жилище, сельскохозяйственный скот и инвентарь, разрешить крестьянам покупать в собственность землю и откупаться на свободу.

Однако изучение экономической и политической жизни России и Западной Европы не оставляло для Радищева иллюзий относительно благонамеренности дворян в интересах крестьянства: ни царь, ни помещики-крепостники, за исключением единиц, не захотят добровольно отказаться от своих феодальных привилегий и эксплуатации народа. Радищев был убежден, что основной силой в освободительной борьбе должны быть сами угнетенные массы; крестьяне сами должны обеспечить себе свободу, сами должны позаботиться о своем благоденствии, то-есть организовать восстание, перебить помещиков и царей, покончить с крепостным правом, сословностью, установить в стране республиканские демократические порядки и выдвинуть из своей среды великих мужей, государственных деятелей, которые заступили бы место перебитых крепостников-помещиков.

---

\* См. настоящее издание, стр. 291.

«О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ и кровию нашу обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулись великие мужи для заступления избитого племени, но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены. Не мечта сие, но взор пронизает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие!» \*

В борьбе против крепостного права Радищев советовал крепостным взять пример с других народов, которые восстали против своих поработителей, свергли их господство и казнили королей и феодалов.

Освобождение народа от ига царей и других притеснителей Радищев рисует как акт революционный, а не реформистский, как акт, в котором участвует сам народ.

Внезапу вихри восшумели,  
Прервав спокойство тихих вод,  
Свободы гласы так взгремели,  
На вече весь течет народ,  
Престол чугунный разрушает,  
Самсон как древле сотрясает  
Исполненный коварств чертог;  
Законом строит твердь природы;  
Велик, велик ты дух свободы,  
Зиждителей, как сам есть бои! \*\*

Радищев верил, что рано или поздно в России и в других странах, где господствовали такие же порядки, как и в России, совершится освобождение крестьян через народное восстание, а царь будет возведен на плаху и казнен как злейший преступник человеческого рода. В оде «Вольность» он предвидит, что

Возникнет рать повсюду бранна,  
Надежда всех вооружит;  
В крови мучителя венчанна  
Омыть свой стыд уж всяк спешит.  
Меч остр, я зрю, везде сверкает,  
В различных видах смерть летает  
Над гордою главою царя.  
Ликуйте, склепанны народы,  
Се право мщенное природы  
На плаху возвело царя \*\*\*.

---

\* См. настоящее издание, стр. 176—177.

\*\* См. настоящее издание, стр. 428—429.

\*\*\* См. настоящее издание, стр. 425.

Возмущенный народ в оде «Вольность» обращает к царю полные революционного гнева слова:

Злодей, злодеев всех лютейший,  
Превзыде зло твою главу,  
Преступник, изо всех первейший,  
Предстань, на суд тебя зову!  
Злодействы все скопил в едином,  
Да ни единая пройдет мимо  
Тебя из казней, супостат.  
В меня дерзнул острить ты жало.  
Единой смерти за то мало,  
Умри! умри же ты сто крат! \*

Екатерина II, прочитав оду «Вольность», пришла в ужас. «...Ода, — писала она, — совершенно явно и ясно бунтовская, где царям грозитя плахою. Кромвелев пример приведен с похвалою. Сии страницы суть криминального намерения, совершенно бунтовские» \*\*.

Вольность, или свободу, Радищев прославляет, как святой и бесценный дар, он объявляет ее великим источником благородных деяний, неотъемлемым правом человека.

Обращаясь к будущим потомкам, которые будут жить не испытывая на себе тягот крепостного права, царей и сословной принадлежности, Радищев писал:

Да юноша, взалкавший славы,  
Пришед на гроб мой обветшалый,  
Дабы со чувством вещал:  
«Под игмом власти, сей, рожденный,  
Нося оковы позлащенны,  
Нам вольность первый прорицал» \*\*\*.

Несомненной крупнейшей заслугой Радищева как мыслителя нужно признать то, что, обосновывая республиканско-демократическую форму правления в России, он подверг критике точку зрения Монтескье о «разделении правлений» по образцу древних республик и точку зрения Руссо, считавшего, что будто бы республиканская форма правления может быть осуществлена только в небольших государствах, а в больших должно сохраниться «насилие», то-есть монархическая форма правления. Обе указанные теории

---

\* См. настоящее издание, стр. 427—428.

\*\* См. А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. II, 1907, стр. 563.

\*\*\* См. настоящее издание, стр. 435.



**А. Н. РАДИЩЕВ**  
*С миниатюры XVIII века*



Радищев объявил в корне ошибочными, вредными и совершенно несостоятельными.

Будущий общественный строй в России Радищев рисовал в виде демократической республики, основанной на общественном договоре и добровольном согласии всех населения страны народов. В республике этой должны господствовать «справедливость», «разум», «правосудие», свобода слова и печати. В республике не должно быть сословности, крупной собственности, но должна сохраниться мелкая частная собственность на землю, инвентарь, домашнее имущество и т. д., должны развиваться ремесла и производство (Радищев отрицательно смотрел на крупное производство и не понимал его революционизирующей роли в развитии общества). Народ в республике должен приобщиться к просвещению и тогда выдвинет из своей среды руководителей общественной жизни, поэтов, ученых. Судопроизводство должно носить открытый характер; судьи должны быть выбранными, вероисповедание свободное. Радищев воспевал свободный труд, являющийся создателем всех ценностей, источником всех человеческих благ и радостей.

Известная ограниченность воззрений Радищева (например, апелляция его к теории «естественного права» и «общественного договора», отрицание крупного производства и т. д.) обусловлена и эпохой и классовой принадлежностью мыслителя, поэтому он не видел и не знал того, что при сохранении частной собственности на орудия и средства производства неминуемо возникнет экономическое неравенство, будут появляться богатые и бедные, угнетатели и угнетенные, будет разгораться классовая борьба. Радищев выступал против феодальной (земельной и промышленной), а также крупной купеческой собственности. Но объективно его деятельность, подрывавшая основы феодально-крепостнического строя, расчищала почву для развития в стране более прогрессивных, по сравнению с крепостничеством, буржуазных отношений.

Борясь против крепостного права и горячо высказываясь за республиканскую форму правления, Радищев утверждал оптимистический взгляд на исторический процесс. Он считал, что лучшее у человечества не в седой древности, а в будущем. Поэтому признание им необходимости крестьянской революции вытекало у него из стремления коренным образом улучшить и изменить общественную жизнь. Он

считал, что на службу народу и защиту его интересов должны быть поставлены и государство, и наука, и искусство, и общественная деятельность людей.

У Радищева мы находим элементы исторического подхода к явлениям общественной жизни. Об этом свидетельствует его взгляд на появление великих людей, на роль народа в истории, его отношение к крепостному праву и абсолютизму. Эта очень важная и ценная сторона в его мировоззрении свидетельствует о самостоятельности и оригинальности Радищева как мыслителя.

В отличие от просветителей XVIII в., считавших, что появление великих людей в истории общества носит чисто случайный характер и определяется случайной комбинацией атомов; в отличие от немецких идеалистов конца XVIII и начала XIX в., связывавших появление великих людей с миграцией мирового духа, Радищев одним из первых высказал гениальную догадку, что великие люди всегда появляются, когда для них есть благоприятные условия и общественный спрос. Он считал, что в конечном счете появление тех или других великих людей обуславливается общественно-историческими потребностями. Ссылаясь на исторические факты, Радищев доказывает:

«История свидетельствует, что обстоятельства бывают случаем на развержение великих дарований; но на произведение оных природа никогда не коснеет, ибо Чингис и Стенька Разин в других положениях, нежели в коих были, были бы не то, что были; и не царь во Греции, Александр был бы, может быть, Картуш. Кромвель, дошедши до протекторства, явил великие дарования политические, как-то: на войне великие качества военного человека, но, заключенный в тесную округу монашеския жизни, он прослыл бы беспокойным затейником и часто бы бит был шелепами. Повторим: обстоятельства делают великого мужа»\*.

Галилей, Кеплер, Ньютон, Иоган Гус, Декарт, Лютер, Ермак, Петр I, Ломоносов — все они, доказывает Радищев, появились не случайно, а порождены историческими обстоятельствами.

Создавая оду «Вольность» и «Путешествие из Петербурга в Москву», Радищев приходит к глубокой догадке,

---

\* См. настоящее издание, стр. 382—383.

что народ не пассивная и инертная масса, а активная созидательная сила, что он не объект, а субъект истории.

В отличие от французских просветителей XVIII в., возлагавших в деле социальных преобразований все надежды только на великих людей, гениев и разумных королей и игнорировавших при этом роль народа в исторических судьбах человечества и даже боявшихся его активного участия в общественной жизни, Радищев свой взор направляет к народу и свои надежды в социальных преобразованиях возлагает главным образом на народ. Отсюда в таких кардинальнейших по тому времени вопросах, как уничтожение крепостного права, взоры Радищева обращены не к помещикам и царям, а к самому угнетенному народу, который восстанет, перебьет своих живодеров и кровопийцев крепостников, возведет на плаху царя и тем самым освободит себя от их тирании.

Не пессимизмом, а бодростью и уверенностью звучат его слова, когда он выражает непоколебимое убеждение, что народ сам устроит свою жизнь на разумных и справедливых началах.

Таким образом, Радищев приписывает народу активную, созидательную роль в истории, на участие народа, прежде всего крестьянства, рассчитана революционная, практическая программа преобразования общественной жизни в России.

Несчастьем Радищева в данном вопросе являлось то, что он сам практически не мог быть связан с народом, следовательно, не мог руководить его борьбой, стоял от народа страшно далеко, и в этом смысле выступал как одиночка. И другой ограниченностью его воззрений на процесс общественной жизни является то, что законы общественного развития Радищев еще отождествлял с законами природы, рассматривал их натуралистически.

Несомненно, крупной исторической заслугой Радищева во взглядах на общество было и то, что он дал «первые ростки революционной морали...» \* Он решительно отрицал мораль крепостников как реакционную и непригодную для общественной жизни. Им были высказаны глубокие

---

\* М. И. Калинин, О моральном облике нашего народа. «Большевик» № 1, 1945, стр. 12.



мысли о воспитании молодых поколений, о сочетании образования с навыками к физическому труду, о скромности, физической и духовной закалке, о взаимоотношении между родителями и детьми, о личном примере во всяком благородном деле. Он воспитывал ненависть к крепостному праву и царизму, к крепостникам и другим угнетателям рода человеческого; он воспитывал ненависть к бездельникам, тунеядцам, к ханжам и святошам, к вертопрахам и распутникам, к обжорам и пьяницам.

«Мысли Радищева о воспитании и по сей день могут считаться прогрессивными» \*.

Радищев был решительным противником расовых предрассудков, расовых теорий. Им смело выдвигался прогрессивный принцип, что все народы независимо от их расового происхождения и расовой принадлежности равны.

Радищев был великим патриотом своей родины. Его выступления против царизма и крепостного права, против помещиков и церкви, против царских чиновников и господствовавших в стране феодально-крепостнических порядков и законов были продиктованы прежде всего горячей любовью к русскому народу, желанием видеть свою отчизну свободной, счастливой, стоящей в рядах передовых стран мира, а народ — не знающим порабощения и нужды и живущим в довольстве.

Сурово осуждая крепостное право и царизм, продажность чиновничества, праздность и разврат правящих классов, Радищев открыто встал на защиту крепостного крестьянства, доказывая, что угнетатели рода человеческого, тираны и насильники, то-есть царь и помещики-крепостники, не могут быть патриотами своей родины, истинными сынами своего отечества.

Истинным сыном отечества своего времени Радищев считал только того, кто готов пойти на любые жертвы, чтобы видеть народ свободным и счастливым, а отчизну — процветающей.

Радищев гордился героическим прошлым своей родины, он глубоко верил в творческие, неиссякаемые силы русского народа. В «Сокращенном повествовании о приобретении Сибири» он писал о русском народе:

---

\* М. И. Калинин, О моральном облике нашего народа. «Большевик» № 1, 1945, стр. 12.

«Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский» \*.

Как общественный деятель и мыслитель Радищев по праву может считаться родоначальником нового периода в истории развития русской общественной мысли, зачинателем антикрепостнической идеологии, сыгравшим выдающуюся роль в освободительном движении XVIII в. нашей страны, оказавшим большое влияние на последующее развитие общественной мысли в России.

\* \* \*

А. Н. Радищев был выдающимся мыслителем-материалистом XVIII в. Его материалистическая философия опиралась на достижения научной мысли того времени. Он знал новейшие открытия и теории XVIII в. в области механики, химии, минералогии, анатомии, физиологии, психологии, философии, педагогики, политической экономии. Можно без преувеличения сказать, что Радищев, как и его предшественник в русской науке — Ломоносов, был энциклопедистом своего времени. Философская система Радищева опиралась на достижения современного ему естествознания, на научные открытия Ломоносова, на материализм XVII—XVIII вв. Как философ-материалист он, несомненно, является продолжателем материалистической традиции Ломоносова, о чем наглядно свидетельствуют как его прямые оценки научного творчества Ломоносова, так и непосредственное использование им при построении материалистической системы его же научных открытий.

Радищев был мыслителем-материалистом, но материализм Радищева был детищем своего времени; он содержал в себе элементы деизма и носил метафизический характер, что обуславливалось отсталым характером общественной жизни России и уровнем науки XVIII в.

Проблемами философии Радищев начал интересоваться рано, с годами этот интерес не ослабевал, а увеличивался и завершился работами «Житие Федора Васильевича Ушакова», «О человеке, о его смертности и бессмертии».

---

\* А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. 2, М. — Л., 1941, стр. 146—147.

Заслугой Радищева было то, что он видел два направления, две противоположные точки зрения в философии — материализм и идеализм — и борьбу между ними.

По своему общему направлению, содержанию и аргументации философия Радищева была направлена против официальной феодально-церковной идеологии, против мистико-каббалистических «бредоумствований» масонов, против их идеалистических учений о природе, происхождении человека и его сознании, против распространения в обществе всякого рода суеверий и предрассудков, за научное познание природы и ее явлений.

Радищев горячо пропагандировал новейшие достижения в области естествознания, а это есть одна из форм пропаганды материалистической философии, ибо материализм не мыслим без естествознания. Давая положительную оценку научным трудам Палласа, Лепехина и других представителей русского естествознания, вождем естествознания XVIII в. Радищев считал великого русского ученого Ломоносова. В «Путешествии из Петербурга в Москву» он отвел ему специальную главу, «Слово о Ломоносове», в которой в сжатой форме излагает основы его естественно-научных воззрений. В частности он высоко оценивает его эволюционную теорию, учение о происхождении слоев земных, его атомно-молекулярную теорию строения материи, работы по химии, физике, металлургии, минералогии, работы по логике, математике, теории русской словесности.

Излагая учение Ломоносова о слоях земных, Радищев писал: «Желал бы я последовать ему (Ломоносову. — *Авт.*) в подземном его путешествии, собрать его размышления и представить их в той связи и тем порядком, какими они в разуме его возрождались. Картина его мыслей была бы для нас увеселительною и учебною. Проходя первый слой земли, источник всякого прозябения, подземный путешественник обрел его несходственным с последующими, отличающимся от других паче всего своею плодоносною силою. Заключал, может быть, из того, что поверхность сия земная не из чего иного составлена, как из тления животных и прозябений, что плодородие ее, сила питательная и возобновительная, начало свое имеет в неразрушимых и первенственных частях всяческого бытия, которые, не перемня своего существа, перемняют вид только свой, из сложения случайного рождающийся. Проходя далее, подземный путе-

шественник зрел землю всегда расположенную слоями. В слоях находил иногда остатки животных, в морях живущих, находил остатки растений и заключать мог, что слоистое расположение земли начало свое имеет в наплавном положении вод и что воды, переселяясь из одного края земного шара к другому, давали земле тот вид, какой она в недрах своих представляет. Сие единовидное слоев расположение, теряясь из его зрака, представляло иногда ему смешение многих разнородных слоев. Заключал из того, что свирепая стихия, огонь, проникнув в недра земные и встретив противуборствующую себе влагу, ярясь, мутила, трясла, валила и метала все, что ей упорствовать тщилося своим противодействием. Смутив и смешав разнородные, знойным своим дохновением возбудила в первобытностях металлов силу притяжательную и их соединила» \*.

Включение в «Путешествие из Петербурга в Москву» в качестве заключительной главы «Слова о Ломоносове» знаменательно. Радицев этим подчеркивает, что если русский народ даже в крайне неблагоприятных для него условиях крепостного права выдвинул из своей среды такого корифея научной мысли, как Ломоносов, то в других условиях, когда будет уничтожено угнетение человека человеком, творческие и созидательные силы русского народа пышно расцветут во всех сферах общественной и духовной деятельности. В главе иногда встречаются и ошибочные суждения о Ломоносове, что следует объяснить известной данью своей эпохе; но общая оценка научного творчества Ломоносова дается высокая.

«Не столп, — писал Радицев о Ломоносове, — воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не камень со иссечением имени твоего пренесет славу твою в будущие столетия... Нет, не хладный камень сей повествует, что ты жил на славу имени российского, не может он сказать, что ты был. Творения твои да повествуют нам о том, житие твое да скажет, почто ты славен». «...Доколе слово российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь» \*\*.

Будучи горячим поборником распространения просвещения в народе и научного истолкования явлений природы

---

\* См. настоящее издание, стр. 192.

\*\* См. настоящее издание, стр. 187—188.

и человеческой психики, Радищев наталкивался на препятствия, чинимые официальной феодально-церковной идеологией и религиозно-идеалистической философией. Он решительно осуждал мистику и каббалистику масонства, о чем наглядно свидетельствует глава «Подберезье» в книге «Путешествие из Петербурга в Москву». Ядовито высмеивая Сен-Мартена, Шведенборга, русских розенкрейцеров, «тайнства» и ритуалы, Радищев даже больше видит смысла в веселом препровождении времени семинариста «с пригоженькою девочкою», чем в масонском идейном гробокопательстве, «нежели, зарывшись в еврейские или арабские буквы, в цыфири или египетские иероглифы, потщуся отделить дух мой от тела и рыскать в пространных полях бредоумствований, подобен древним и новым духовным витязям» \*. Обращаясь к друзьям, он увещевает их не вступать на гибельный для разума и науки путь масонства.

Цена Вольтера и других писателей, выступавших в свое время против суеверий, Радищев бичует папство как рассадник суеверий и ханжества; борется против схоластики в преподавании, против схоластического толкования Аристотеля в семинариях; он советует судьям вместо святцев почаще заглядывать в новейшие политические сочинения. «Разверни новейшие таинственные творения, возмнишь быти во времена схоластики и словопрений, когда о речениях заботился разум человеческий, не мысля о том, был ли в речении смысл; когда задачею любомудрия почиталось и на решение исследователей истины отдавали вопрос, сколько на игольном острип может уместиться душ» \*\*. Радищев ставил перед учеными и писателями благородную задачу — показать историческое развитие человека и человеческого познания.

«Если потомкам нашим предлежит заблуждение, если, оставя естественность, гоняться будут за мечтаниями, то весьма полезный бы был труд писателя, показавшего нам из прежних деяний, шествие разума человеческого, когда, сотрясший мглу предубеждений, он начал преследовать истину до выспренностей ее и когда, утомленный, так сказать, своим бодрствованием, растлевать начинал паки свои силы, томиться и ниспускаться в туманы предрассудков и

---

\* См. настоящее издание, стр. 71.

\*\* См. настоящее издание, стр. 72.

суеверия. Труд сего писателя бесполезен не будет; ибо, обнажая шествие наших мыслей к истине и заблуждению, устранил хотя некоторых от пагубных стези и заградит полет невежества; блажен писатель, если творением своим мог просветить хотя единого, блажен, если в едином хотя сердце посеял добродетель» \*.

Находясь в Петропавловской крепости, Радищев на одном из допросов отвечал, что «мартинистом (масоном. — *Авт.*) он не токмо никогда не был, но и мнение их оуждает, что де и в самой книжке сей значится...» \*\* (он имел в виду главу «Подберезье», в которой устами семинариста высмеивал масонство).

Большим достижением Радищева было то, что, выступая в защиту народа, он сумел понять истинную роль церкви как верной соратницы царизма в борьбе против народа, в стремлении духовно закабалить народ, держать его в духовном рабстве.

Власть царска веру охраняет,  
Власть царску вера утверждает;  
Союзно общество гнетут;  
Одно скозать рассудок тщится,  
Другое волю стерть стремится;  
На пользу общую, — рекут \*\*\*.

И в этом вопросе Радищев выступил как обличитель, оказавший влияние на политическое развитие передовых членов общества.

\* \* \*

Основной философский труд Радищева — трактат «О человеке, о его смертности и бессмертии» — состоит из четырех, далеко не одинаковых по своему значению, книг.

В первой книге этого трактата Радищев дает картину развития человека из зародыша, отвергая точку зрения преформизма Галлера и Бонне и высказываясь за теорию эпигенеза. Он прослеживает процесс постепенного развития зародыша, определяет место человека в природе, его взаимоотношение с растительным и животным царством.

---

\* См. настоящее издание, стр. 72.

\*\* См. *А. Н. Радищев*, Полное собрание сочинений, т. II, 1907, стр. 567.

\*\*\* См. настоящее издание, стр. 424.

Подробно останавливается на интеллектуальных задатках и способностях человека, на источнике возникновения и развития познания из ощущений.

Прослеживая лестницу развития живых существ, Радищев решительно не соглашается с Бонне, включившего в разработанную им иерархию живых существ не только реальных представителей живой природы, но и вымыслы человеческой фантазии: ангелов, архангелов, серафимов. Радищев в этом вопросе оказался на прогрессивных позициях. В иерархию живых существ он включает только реальных представителей живой природы.

Во второй книге философского трактата Радищев разбирает свойства, качества и движение материи, вопрос о времени и пространстве, о смертности человека и его души, отстаивая единство тела и души, материи и сознания.

Первая и вторая книги философского трактата в той их части, где говорится о развитии человека из зародыша, об изменениях, совершающихся постоянно в природе, имеют некоторые элементы диалектики, хотя в целом материализм Радищева остается метафизическим.

В третьей и четвертой книгах Радищев разбирает вопрос о возможности бессмертия души и проявляет известное колебание в этом вопросе, хотя в итоге приходит к выводу, что бессмертие души научно недоказуемо и может быть воспринято только на веру.

Первые две книги философского трактата «О человеке, о его смертности и бессмертии» показывают нам Радищева как ученого и мыслителя, который всесторонне овладел достижениями естествознания своего времени, материалистической философией, психологией, который вполне сознательно стремился их пропагандировать.

Радищев объявил себя решительным противником средневековой схоластики и мистики. Он высоко ставит научные достижения XVII—XVIII вв. в области естествознания и подчеркивает роль науки в развитии общества, в воспитании молодых поколений.

В своих философских рассуждениях Радищев держится конкретной действительности, природы и ее явлений. Он отбрасывает в сторону теологические и схоластические вымыслы, когда говорит о зачатии (например, теория преформизма), рождении и развитии человека, возникновении и развитии человеческого сознания.

Радищев исходит из того положения, что все окружающие нас в природе неорганические предметы и органические явления в основе своей материального происхождения. К материальным явлениям, но высшего порядка, он относил и человека.

«Итак исшел на свет совершеннейший из тварей, венец сложений вещественных, царь земли, но единоутробный сродственный, брат всему на земле живущему, не токмо зверю, птице, рыбе, насекомому, черепокожному, полипу, но растению, грибу, мху, плесне, металлу, стеклу, камню, земле. Ибо, сколь ни искусственно его сложение, начальные части его следуют одному закону с родящимся под землею»\*.

В первой книге своего философского трактата «О человеке», Радищев говорит о материальности мира, в том числе и человека.

Он доказывает, что в окружающем нас мире кроме «телесности» все прочее только догадка, а не реальный факт.

У Радищева была сделана попытка дать теоретическое понятие материи, хотя по вполне понятным причинам с этой задачей он не мог справиться. Он обосновывает ту мысль, что окружающие в природе нас вещи «называют тела, а общее, или отвлеченное о них понятие, назвали вещество, материя»\*\*.

Для Радищева как материалиста смешным и нелепым является попытка идеалистов и теологов навязать свои законы природе. Природа по его справедливой мысли развивается по своим собственным закономерностям.

Как материалист Радищев считал, что «бытие вещей независимо от силы познания о них и существует по себе»\*\*\*.

Вслед за Ломоносовым к особой форме материи Радищев относит электричество, магнетизм, свет. Опираясь на научные открытия Ломоносова, он горячо отстаивает его теорию строения материи и происхождения слоев земных (см. главу «Слово о Ломоносове» в работе «Путешествие из Петербурга в Москву»), его принцип сохранения вещества в природе.

Особенно большое значение придавал Радищев принципу сохранения вещества и энергии в природе. Эти

---

\* См. настоящее издание, стр. 281.

\*\* См. настоящее издание, стр. 314—315.

\*\*\* См. настоящее издание, стр. 298.



положения он вслед за Ломоносовым считал основополагающими для своей философии.

По последнему вопросу Радищев вслед за Ломоносовым утверждал, что «природа, как то мы видели, ничего не уничтожает, и небытие или уничтожение есть напрасное слово и мысль пустая» \*.

Так же вслед за Ломоносовым он утверждает, что «никакая сила (т. е. движение. — *Авт.*) в природе не может пропасть, исчезнуть» \*\*, что «после бытия небытие существовать не может, и природа равно сама по себе не может ни дать бытия, ни в небытие обратить вещь, или ее уничтожить» \*\*\*.

Если вспомнить, что это писалось в XVIII в., когда в России господствующей идеологией было церковно-религиозное учение, утверждавшее божественное происхождение мира и предрекавшее в будущем конец ему, то тогда станет ясно, как должны были звучать слова Радищева о принципе сохранения вещества и движения в природе. Это было прямым выступлением против официальной идеологии и учения церкви.

Несомненно, крупнейшей заслугой Радищева были его воззрения на время и пространство, если вспомнить, что в то время в Германии Кант выступил с субъективно-идеалистической теорией времени и пространства, отрицая их объективный характер и сводя их к априорным формам человеческого разума. В противовес субъективно-идеалистическому учению Канта Радищев отстаивает материалистическую точку зрения, признает за временем и пространством объективный характер существования. Время и пространство не есть вещество, но «отбытие оно», т. е. необходимые формы существования всякого вещества.

«...*Общее* всех представлений есть *пространство*, *общее* всех понятий есть *время*, а *общайшее* сих *общих* есть *бытие*, то, что себе ни вообрази, какое себе существо ни представь, найдешь, что *первое*, что ему нужно, есть *бытие*, ибо без того не может существовать о нем и мысль; *второе*, что ему нужно, есть *время*, ибо все вещи в отношении или союзе своем понимаются или *единовременны*, или в *последо-*

---

\* См. настоящее издание, стр. 350.

\*\* См. настоящее издание, стр. 363.

\*\*\* См. настоящее издание, стр. 350.

вании одна за другою; *третье*, что ему нужно, есть *пространство*, ибо существенность всех являющихся нам существ состоит в том, что, действуя на нас, возбуждают они понятие о пространстве...» \*

Радищев считал, что время течет непрерывно, его нельзя ни ускорить, ни замедлить, ни остановить; оно неозвратно. В неозвратности времени он видел его качественную особенность.

В таком же материалистическом плане вопрос о времени Радищев освещал в ряде своих стихотворений. Для него как материалиста время и пространство неотделимы от материи. Он не соглашается с точкой зрения Ньютона, допускавшего пустое пространство. По мнению Радищева, все пространство заполнено той или иной формой материи.

В противовес церковно-религиозному учению о конечности вселенной Радищев выдвигал научные положения о том, что вселенная бесконечна и заполнена неисчислимым множеством миров, которые находятся во взаимном тяготении и отталкивании.

В «Осмнадцатом столетии» мы находим следующие оригинальные, выраженные в художественной форме размышления Радищева о времени:

Урна времен часы изливает каплям подобно:  
Капли в ручьи собрались; в реки ручьи возросли,  
И на дальнейшем берегу изливают пенные волны  
Вечности в море; а там нет ни предел, ни берегов;  
Не возвышался там остров, ни дна там лот не находит;  
Веки в него протекли, в нем исчезает их след \*\*.

В «Оде к другу моему», касаясь времени, Радищев заявляет:

Летит, мой друг, крылатый век,  
В бездонну вечность всё валится,  
Уж день сей, час и миг протек,  
И вспять ничто не возвратится  
Никогда \*\*\*.

Все эти рассуждения свидетельствуют, что время Радищев понимал и толковал как объективную и неотъемлемую форму бытия. У него не было и тени сомнения в правиль-

---

\* См. настоящее издание, стр. 320.

\*\* См. настоящее издание, стр. 490—491.

\*\*\* См. настоящее издание, стр. 485.

ности материалистической трактовки времени и пространства, которую он противопоставлял субъективно-идеалистической точке зрения.

В своих трудах Радищев много уделил внимания вопросам выяснения качества, строения материи. И здесь виден пытливый ум мыслителя, критический подход к различным точкам зрения по этим вопросам.

Радищев к «сосущественным», т. е. главным, свойствам материи относил движение, протяженность, форму, тяжесть, притяжение и отталкивание. При этом он решительно возражал тем мыслителям, которые приписывали материи «бездействие» (покой), неделимость.

Ссылаясь на законы классической механики, Радищев притяжение и отталкивание ставил в зависимость от массы тела, подчеркивая при этом их единство.

Движение Радищев понимал метафизически и сводил его по существу к механической форме. Но вместе с тем он отвергал метафизическую точку зрения об абсолютном покое в природе, об абсолютной ее неизменности. Он говорит, что все движется, что «движение в мире существует, и оно есть свойство вещественности, ибо от нее неотступно» \*. Противоположную точку зрения он считал научно несостоятельной.

Говоря о природе в целом, Радищев отмечал, что в ней наблюдается постепенное, эволюционное развитие от низших форм жизни к более сложным. Он указывал далее, что вершиной развития живой природы является человек.

«Мы видели и для нас по крайней мере доказанным почитаем, что в природе существует явная постепенность, что, восходя от единого существа к другому, мы находим, что одно другого совершеннее или, сказать точнее, одно другого искусственнее в своем сложении; что в сем веществ порядке человек превышает всех других равно искусственнейшим своим сложением, совершеннейшею своею организацией, в которой толико явственно соединены многие силы воедино, а паче всего умственную свою способность; тщательное наблюдение человеческого воспитания показывает нам, сколь способности в нем углубляются, ширятся, совершенствуют; история учит, колико народы могут в общем разуме своем совершенствоваться» \*\*.

\* См. настоящее издание, стр. 325.

\*\* См. настоящее издание, стр. 384.

Признавая эволюционное развитие в живой природе, Радищев в вопросе о скачках был непоследователен. В одном случае он прямо заявлял, что в природе наблюдается строжайшая постепенность и нет скачков. «...Шествие природы есть тихо, неприметно и постепенно» \*. В другом месте он отмечал, что в природе иногда наблюдаются быстрые изменения, происходящие скопом, вдруг. Источник самодвижения материи для Радищева, как и для всех материалистов XVIII в., был неизвестен. Если в «Путешествии из Петербурга в Москву» он прибегал к первотолчку, то в философском трактате вопрос об источнике движения им оставляется открытым.

«На что нам знать, что до сложения мира было, и можно ли нам знать, как то было?» — спрашивает Радищев и тут же отвечает: «Вещественность движется и живет; заключим, что движение ей сродно, а бездействие есть вещество твоего воспаленного мозга, есть мгла и тень» \*\*.

Таким образом, в решении вопросов о свойствах материи Радищев не вышел за пределы метафизического материализма XVIII в.

Выступая против закоренелых метафизиков, отрицавших движение в природе, Радищев называет их «безрассудными», а их доводы — нелепыми и смешными.

«Безрассудный! когда зришь в превыспреня и видишь обращение тел лучезарных; когда смотришь окрест себя и видишь жизнь, рассеянную в тысящи тысящей образах повсюду, ужели можешь сказать, что бездействие вещественности свойственно и движение ей несродно? Когда все движется в природе и все живет, когда малейшая пылинка и тело огромнейшее подвержены переменам неизбежным, разрушению и паки сложению, ужели найдешь место бездействию и движение изымешь вон? Если ты ничего не знаешь бездействиюемого, если все видишь в движении, то не суетливые ли говорить о том, что не существует, и полагать не быть тому, что есть?» \*\*\*

В вопросе о делимости материи до бесконечности у Радищева было некоторое колебание, признать или не признать его, хотя в итоге он был более склонен признать бесконечность делимости материи.

\* См. настоящее издание, стр. 306.

\*\* См. настоящее издание, стр. 324—325.

\*\*\* См. настоящее издание, стр. 324.

Вслед за Ломоносовым Радищев признавал, что материя состоит из мельчайших частичек — атомов.

Тяжесть Радищев относил к «существенным» свойствам материи.

Разбирая вопрос о форме (по терминологии Радищева «образ»), Радищев усиленно подчеркивал, что ее нельзя представить отдельно от вещественности. Отрицая как идеалистический вымысел возможность допущения существования чистой формы без вещества и вещества без формы, Радищев утверждал, что «образ (форма. — *Авт.*) без нее (без материи. — *Авт.*) быть не может; уничтожается сцепление, и вещество исчезает; следовательно, сила сия всякому веществу сосущественна, и одного без другой вообразить не можно или не должно» \*. Этим высказыванием Радищев наносил серьезный удар идеалистам, отрывавшим форму от содержания и провозглашавшим приоритет формы над содержанием.

Разбирая вопрос о человеке, Радищев подчеркивает, что человек существо материальное, часть природы. Хотя человек совершеннейший из тварей, но он «единоутробный сродственник, брат всему на земле живущему...» Делая ударение на материальное происхождение человека и его родство с другими живыми существами земли, Радищев тем самым наносил удар по религии и идеализму, учившим как раз о противоположном.

«Мы не унижаем человека, — доказывал он, — находя сходственности в его сложении с другими тварями, показывая, что он в существенности следует одинаковым с ними законам» \*\*.

Вместе с тем Радищев не соглашается с Ламетри, отождествлявшим человека с растением, и в то же время он высоко оценивает мысли Гельвеция, что у человека «руки были... путеводительницы к разуму», что освобождение рук от функции хождения «есть паче всего человека отличающее качество...» \*\*\* Одновременно он неоднократно подчеркивал, что «человек паче всех есть существо соучаствующее», то-есть общественное, что он «рожден для общежития» \*\*\*\*.

---

\* См. настоящее издание, стр. 323.

\*\* См. настоящее издание, стр. 282.

\*\*\* См. настоящее издание, стр. 288, 285.

\*\*\*\* См. настоящее издание, стр. 292, 296.

Но главный отличительный признак человека от животных Радищев, как и все мыслители до Маркса и Энгельса, видел только в разуме, в умственных способностях.

В теории познания Радищев стоял на позиции материалистического сенсуализма. Для него источником наших знаний являются прежде всего ощущения, «разум твой начало свое имеет в твоих пальцах и твоей паготе»\*. Отвергая врожденные идеи Декарта, он исходит из материалистического положения, что «все наши понятия, суждения и заключения, и самые отвлеченнейшие идеи, корень влекут от предметов чувственных...»\*\* Стало быть, Радищев разделял точку зрения материалистов, утверждавших, что понятия, представления, идеи возникают в результате переработки ощущений, получаемых от воздействия предметов на наши органы чувств.

Радищев горячо верил в способности человеческого разума познавать окружающий мир, проникать в тайны природы, давать правильное представление о ней. Путь к истинному знанию лежит через чувственные восприятия и опыт. Он резко осуждал идеалистов, игнорировавших значение опыта и опытного естествознания, исходивших в своих мудрствованиях из априористических схем и домыслов. Обращаясь к ученым, он призывал их: «держитесь опытности и пользу свою почерпайте из нее»\*\*\*. Радищев был уверен в том, что не схоластические мудрствования и не идеалистические упражнения, а опытное знание является тем базисом, на котором разовьются и расцветут естествознание, психология, философия и другие науки.

«Распространение просвещения и общий разум показали, что опыты суть основание всего естественного познания»\*\*\*\*. Он смело утверждал, что вне опыта не может быть рассуждения, мышления и познания. Он считал, что «рассуждение есть ничто иное, как прибавление к опытам, и в бытии вещей иначе нельзя удостовериться, как чрез опыт»\*\*\*\*\*. Радищев допускал, что человек иногда в позна-

---

\* А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. 1, 1938, стр. 140.

\*\* См. настоящее издание, стр. 366.

\*\*\* См. настоящее издание, стр. 326.

\*\*\*\* См. настоящее издание, стр. 287.

\*\*\*\*\* См. настоящее издание, стр. 299.

нии вещей может заблуждаться, но это заблуждение обусловливается не природой самих вещей, но зависит, как он доказывал, от болезненного расположения нашей чувственности и при известных условиях может быть преодолено.

Насколько высоко ценил Радищев значение опыта, может служить следующее его высказывание по данному вопросу:

«Удалим от нас все предрассудки, все предубеждения и, водимые светильником опытности, постараемся, во стезе, к истине ведущей, собрать несколько фактов, кои нам могут руководствовать в познании естественности... Но сколь шествие в испытании природы ни препинаемо препятствиями разнородными, разыскатель причину вещи, деяния или действия не в воображении отыскивать долженствует, или, как древний гадатель, обманывая сам себя и других, не на вымысле каком-либо основать ее имеет; но, разыскивая, как вещь, деяние или действие суть, он обнаружит тесные и неясственные сопряжения их с другими вещами, деяниями или действиями; сблизит факты однородные и сходственные, раздробит их, рассмотрит их сходственности, и, раздробляя паки проистекающие из того следствия, он, поступая от одного следствия к другому, достигнет и вознесется до общего начала, которое, как средоточие истины, озарит все стези, к оной ведущие» \*.

Но понятие опыта у Радищева носило еще односторонний метафизический характер, характер чувственного восприятия и эксперимента. Как и все материалисты XVIII в., он не включал в опыт совокупность общественно-исторической практики людей, их материально-производственную деятельность. Таким образом, Радищев не вышел и в этом вопросе за пределы метафизического материализма XVIII в. Радищев не мог еще объяснить диалектики перехода от неорганической материи к органической, от чувственных восприятий к понятиям, что тоже было обусловлено уровнем развития тогдашнего естествознания.

Материализм Радищева был непоследовательным. Он содержал элементы деизма, допуская первотолчок и *возможность* бессмертия человеческой души. Правда, следует отметить, что он считал доводы о смертности человеческой души научными, тогда как утверждения о том, что душа бессмертна, ничем не могут быть подтверждены и при-

---

\* См. настоящее издание, стр. 274—275.

нимаются только на веру. В III и IV книгах своего философского трактата, приведя все известные ему по литературе доводы о возможности бессмертия человеческой души, он пришел к выводу, что они неубедительны, шатки и больше являются плодом воображения, рассудка, нежели твердым и убедительным фактом. Наоборот, довод о смертности души он объявляет неотразимым: «Верь, по смерти все для тебя минует, и душа твоя исчезнет.

«По смерти все ничто  
И смерть сама ничто.  
Ты хочешь знать то, где  
Будешь по кончине?  
Там будешь ты, где  
Был ты до рожденья» \*.

Этими стихами Сенеки Радищев аргументирует свой взгляд о смертности души. С материалистических позиций выступил Радищев против мистико-религиозного учения Пифагора о миграции человеческой души. Это утверждение Пифагора и пифагорейцев он справедливо считал нелепым и «нашему веку посмеялищем» \*\*, а приводимые ими доказательства — надутыми и от начала до конца лживыми.

«Таковыми-то доводами, любезные мои, стараются дать вид правдоподобия нелепости, и смехотворному дают важность» \*\*\*.

Радищев решительно ополчается против Шведенборга и Сен-Жермена, утверждавших бессмертие в теле своем. Первого он называет «вралем», второго «обманщиком». Все это вместе взятое, несомненно, свидетельствует о том, что в вопросе о душе Радищев более склонялся к материалистическому воззрению, чем к идеалистическому. Отсюда становится понятным, почему Пушкин впоследствии писал о Радищеве, что «он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого атеизма» \*\*\*\*.

Хотя материализм Радищева был метафизическим и непоследовательным, но в России XVIII в., в условиях господства реакционной мистико-религиозной идеологии, он сыграл прогрессивную роль, ибо был направлен против официальной церковно-религиозной ортодоксии и мистической

\* См. настоящее издание, стр. 341—342.

\*\* См. настоящее издание, стр. 382.

\*\*\* См. настоящее издание, стр. 382.

\*\*\*\* А. С. Пушкин, Собр. соч., т. 5, 1936, стр. 272.



идеологии масонства. Наносся, таким образом, серьезные удары по господствовавшим в стране идеалистическим теориям, Радищев расчищал почву, на которой должны были развиваться материалистические теории первой половины XIX в. в России.

Радищев до конца дней остался непримиримым противником царизма и крепостного права. Находясь в ссылке, на вопрос любопытствующего, кто он? — Радищев ответил:

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —  
Я тот же, что и был и буду весь мой век:  
Не скот, не дерево, не раб, но человек!  
Дорогу проложить, где не бывало следу,  
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,  
Чувствительным сердцам и истине я в страхе  
В острог Илимский еду \*.

Как революционный общественный деятель, мыслитель-материалист и писатель Радищев оставил неизгладимый след в развитии русского освободительного движения, в развитии русской демократической культуры.

Радищев оказал мощное влияние на последующее развитие антикрепостнического освободительного движения, на развитие революционной и материалистической мысли в России, на развитие русской литературы и эстетики.

В. И. Ленин высоко оценил А. Н. Радищева. «Нам больше всего видеть и чувствовать, — писал Ленин в 1914 г., — каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великоруссов, что *эта* среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов...» \*\*

А. Н. Радищев является гордостью русского народа, его имя золотыми буквами вписано на скрижалях истории нашей родины. Радищев дорог нам как борец с крепостным правом и царизмом, как основоположник антикрепостнической идеологии, как просветитель и мыслитель-материалист.

И. Я. ЦИПАНОВ.

---

\* См. настоящее издание, стр. 487—488.

\*\* В. И. Ленин, Соч., т. 21, изд. 4, стр. 85.

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ИЗ  
ПЕТЕРБУРГА  
В  
МОСКВУ





---

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайй».  
*Тилемахида*, том II, кн. XVIII,  
стих. 514 <sup>1</sup>.

А. М. К. <sup>2</sup>

Любезнейшему другу.

**Ч**то бы разум и сердце произвести ни захотели, тебе оно, о! сочувственник мой, посвящено да будет. Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно — и ты мой друг.

Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину на веки? Ужели сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сея мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом. «Отыми завесу с очей природного чувствования — и блажен буду». Сей глас природы раздавался громко в сложении моем. Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и — веселие неизреченное! — я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благодетствии себе подобных. — Се мысль, побудившая

меня начертать, что читать будешь. Но если, говорил я сам себе, я найду кого-либо, кто намерение мое одобрит, кто ради благой цели не опорочит неудачное изображение мысли, кто состраждет со мною над бедствиями собратии своей, кто в шествии моем меня подкрепит, — не сугубый ли плод произойдет от поднятого мною труда?.. Почто, почто мне искать далеко кого-либо? Мой друг! ты близь моего сердца живешь — и имя твое да озарит сие начало.

## ВЫЕЗД

Отужинав с моими друзьями, я лег в кибитку. Ямщик по обыкновению своему поскакал во всю лошадиную мочь, и в несколько минут я был уже за городом. Расставаться трудно, хотя на малое время, с тем, кто нам пужен стал на всякую минуту бытия нашего. Расставаться трудно: но блажен тот, кто расстаться может, не улыбаясь; любовь или дружба стрегут его утешение. Ты плачешь, произнося прости; но вспомни о возвращении твоём, и да исчезнут слезы твои при сем воображении, яко роса пред лицом солнца. Блажен возрыдавший, надейся на утешителя; блажен живущий иногда в будущем; блажен живущий в мечтании. Существо его усугубляется, веселия множатся, и спокойствие упреждает нахмуренность грусти, распложая образы радости в зеркалах воображения. — Я лежу в кибитке. Звон почтового колокольчика, наскучив моим ушам, призвал наконец благодетельного Морфея. Горесть разлуки моя, преследуя за мною в смертоподобное мое состояние, представила меня воображению моему уединенна. Я зрел себя в пространной долине, потерявшей от солнечного зноя всю приятность и пестроту зелени; не было тут источника на прохлаждение, не было древесных сени на умерение зноя. Един, оставлен среди природы пустынный! Вострепетал. — Несчастный, — возопил я, — где ты? где делалось все, что тебя прельщало? где то, что жизнь твою делало тебе приятно? Неужели веселости, тобою вкушенные, были сон и мечта? — По счастью моему случившаяся на дороге рытвина, в которую кибитка моя толкнулась, меня разбудила. Кибитка моя остановилась. Приподнял я голову. Вижу на пустом месте стоит дом в три жилища. — Что такое? — спрашивал у повозчика моего. — Почтовый двор. — Да где мы? — В Софии, — и между тем выпрягал лошадей.

Повсюду молчание. Погруженный в размышлениях, не приметил я, что кибитка моя давно уже без лошадей стояла. Привезший меня извозчик извлек меня из задумчивости. — Барин-батюшка, на водку! — Сбор сей хотя не законный, но охотно всякий его платит, дабы не ехать по указу. — Двадцать копеек послужили мне в пользу. Кто сзякал на почте, тот знает, что подорожная <sup>4</sup> есть оберегательное письмо, без которого всякому кошельку, — генеральский, может быть, исключая, — будет пакладно. Вынув се из кармана, я шел с нею, как ходят иногда для защиты своей со крестом.

Почтового комиссара нашел я храпящего; легонько взял его за плечо. — Кого чорт давит? Что за манер выезжать из города ночью? Лошадей нет; очень еще рано; взойди, пожалуй, в трактир, выпей чаю, или усни. — Сказав сие, г. комиссар отворотился к стене и паки захрапел. Что делать? потряс я комиссара опять за плечо. — Что за пропасть, я уже сказал, что нет лошадей, — и, обернув голову одеялом, г. комиссар от меня отворотился. — Если лошади все в разгоне, — размышлял я, — то несправедливо, что я мешаю комиссару спать. А если лошади в конюшне... — Я вознамерился узнать, правду ли г. комиссар говорил. Вышел на двор, сыскал конюшню и нашел в оной лошадей до двадцати; хотя, правду сказать, кости у них были видны, но меня бы дотащили до следующего стана. Из конюшни я опять возвратился к комиссару; потряс его гораздо крепче. Казалось мне, что я к тому имел право, нашед, что комиссар солгал. Он второпях вскочил и, не продрав еще глаз, спрашивал: кто приехал? не... — но опомнившись, увидя меня, сказал мне: — видно, молодец, ты обык так обходиться с прежними ямщиками. Их бивали палками; но ныне не прежняя пора. — Со гневом г. комиссар лег спать в постелю. Мне его так же хотелось попотчивать, как прежних ямщиков, когда они в обмане приличались; но щедрость моя, давая на водку городскому повозчику, побудила софийских ямщиков запретить мне поскорее лошадей, и в самое то время, когда я намерялся сделать преступление на спине комиссарской, зазвенел на дворе колокольчик. Я пребыл добрый гражданин. Итак двадцать медных копеек избавили миролюбивого человека от следствия; детей моих

от примера невоздержания во гневе, и я узнал, что рас-судок есть раб нетерпеливости.

Лошади меня мчат; извозчик мой затынул песню, по обыкновению заунывную. Кто знает голоса русских народ-ных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого. — На сем музыкальном расположении народного уха умеи учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего народа. Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива. Если захочет разгнать скуку, или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. Бурлак <sup>5</sup>, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обгаренный кровию от оплеух, многое может решить, доселе гадательное в исто-рии российской.

Извозчик мой поет. Третий был час пополуночи. Как прежде колокольчик, так теперь его песня произвела оцать во мне сон. О, природа, объяв человека в пелены скорби при рождении его, влача его по строгим хребтам боязни, скуки и печали чрез весь его век, дала ты ему в отраду сон. Уснул, и все скончалось. Несносно пробужде-ние несчастному. О, сколь смерть для него приятна. А есть ли она конец скорби? Отче всеблагий, неужели отворишь взоры свои от скончевающего бедственное житие свое мужественно? Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Се глас отчий, взывающий к себе свое чадо. Ты жизнь мне дал, тебе ее и возвращаю, на земли она стала уже бесполезна.

## ТОСНА <sup>6</sup>

Поехавши из Петербурга, я воображал себе, что дорога была наилучшая. Таковую ее почитали все те, которые ездили по ней вслед государя. Такова она была действи-тельно, но на малое время. Земля, насыпанная на дороге, сделав ее гладкою в сухое время, дождями разжиженная, произвела великую грязь среди лета и сделала ее непрохо-димую... Обеспокоен дурною дорогою, я, встав из кибитки, вошел в почтовую избу, в намерении отдохнуть. В избе

нашел я проезжающего, который, сидя за обыкновенным длинным крестьянским столом в переднем углу, разбирал бумаги и просил почтового комиссара, чтобы ему поскорее велел дать лошадей. На вопрос мой — кто он был? — узнал я, что то был старого покрою стряпчий, едущий в Петербург с великим множеством изодранных бумаг, которые он тогда разбирал. Я немедленно вступил с ним в разговор, и вот моя с ним беседа: — Милостливый государь! Я, нижайший ваш слуга, быв регистратором при разрядном архиве <sup>7</sup>, имел случай употребить место мое себе в пользу. Посильными моими трудами я собрал родословную, на ясных доводах утвержденную, многих родов российских. Я докажу княжеское или благородное их происхождение занесколько сот лет. Я восстановлю не редкого в княжеское достоинство, показав от Владимира Мономаха или от самого Рюрика его происхождение. Милостивый государь! — продолжал он, указывая на свои бумаги, — все великороссийское дворянство долженствовало бы купить мой труд, заплатя за него столько, сколько ни за какой товар не платят. Но с дозволения вашего высокородия, благородия или высокоблагородия, не ведаю, как честь ваша, они не знают, что им нужно. Известно вам, сколько блаженные памяти благоверный царь Федор Алексеевич российское дворянство обидел, уничтожив местничество <sup>8</sup>. Сие строгое законоположение поставило многие честные княжеские и царские роды наравне с новгородским дворянством <sup>9</sup>. Но благоверный же государь император Петр Великий совсем привел их в затмение своею табелью о рангах <sup>10</sup>. Открыл он путь чрез службу военную и гражданскую всем к приобретению дворянского титула и древнее дворянство, так сказать, затоптал в грязь. Ныне всемилостивейше царствующая наша мать утвердила прежние указы высочайшим о дворянстве положением <sup>11</sup>, которое было всех степенных наших востревожило, ибо древние роды поставлены в дворянской книге ниже всех. Но слух носится, что в дополнение вскоре издан будет указ, и тем родам, которые дворянское свое происхождение докажут за 200 или 300 лет, приложится титул маркиза или другое знатное, и они пред другими родами будут иметь некоторую отличность. По сей причине, милостивейший государь, труд мой должен весьма быть приятен всему древнему благородному обществу; но всяк имеет своих злодеев.



В Москве завернулся я в компанию молодых господчиков и предложил им мой труд, дабы благосклонностию их возвратить хотя истраченную бумагу и чернила; но вместо благоприятия попал в посмеяние и, с горя оставив столичный сей град, вдался пути до Питера, где, известно, гораздо больше просвещения. — Сказав сие, поклонился мне об руку и, вытянувшись прямо, стоял передо мною с величайшим благоговением. Я понял его мысль, вынул из кошелька... и, дав ему, советовал, что, приехав в Петербург, он продал бы бумагу свою на вес разносчикам, для обертки; ибо мнимое маркизство скружить может многим голову, и он причиною будет возрождению истребленного в России зла — хвастовства древняя породы.

## ЛЮБАНИ 12

Зимою ли я ехал или летом, для вас, думаю, равно. Может быть и зимою и летом. Нередко то бывает с путешественниками, поедут на санях, а возвращаются на телегах. — Летом. — Бревешками вымощенная дорога замучила мои бока; я вылез из кибитки и пошел пешком. Лежа в кибитке, мысли мои обращены были в неизмеримость мира. Отделяясь душевно от земли, казалось мне, что удары кибиточные были для меня легче. Но упражнения духовные не всегда нас от телесности отвлекают; и для сохранения боков моих пошел я пешком. В нескольких шагах от дороги увидел я пашущего ниву крестьянина. Время было жаркое. Посмотрел я на часы. Первого сорок минут. Я выехал в субботу. Сегодня праздник. Пашущий крестьянин принадлежит, конечно, помещику, который оброку<sup>13</sup> с него не берет. Крестьянин пашет с великим тщанием. Нива, конечно, не господская. Соху поворачивает с удивительною легкостью. — Бог в помощь, — сказал я, подошед к пахарю, который, не останавливаясь, доканчивал зачатую борозду. — Бог в помощь, — повторил я. — Спасибо, барин, — говорил мне пахарь, отряхая сошник и перенося соху на новую борозду. — Ты, конечно, раскольник, что пашешь по воскресеньям? — Нет, барин, я прямым крестом крещусь, — сказал он, показывая мне сложенные три перста. — А бог милостив, с голоду умирать не велит, когда есть силы и семья. — Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и воскресенью не спускаешь, да еще и

в самый жар? — В неделе-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим на барщину; да под вечером возим оставшее в лесу сено на господский двор, коли погода хороша; а бабы и девки для прогулки ходят по праздникам в лес по грибы да по ягоды. Дай бог, — крестясь, — чтоб под вечер сегодня дождик пошел. Барин, коли есть у тебя свои мужички, так они того же у господа молят. — У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не кленет. Велика ли у тебя семья? — Три сына и три дочки. Первинькому-то десятый годок. — Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь свободным? — Не одни праздники, и ночь наша. Не ленись наш брат, то с голоду не умрет. Видишь ли, одна лошадь отдыхает, а как эта устанет, возьмусь за другую; дело-то и споро. — Так ли ты работаешь на господина своего? — Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов, сам ты счет знаешь. Да хотя растянишь на барской работе, то спасибо не скажут. Барин подушных не заплатит <sup>14</sup>; ни барана, ни холста, ни курицы, ни масла не уступит. То ли житье нашему брату, как где барин оброк берет с крестьянина, да еще без приказчика. Правда, что иногда и добрые господа берут более трех рублей с души; но все лучше барщины. Ныне еще поверье заводится отдавать деревни, как то называется, на аренду. А мы называем это: отдавать головой. Голый наемник <sup>15</sup> дерет с мужиков кожу; даже лучшей поры нам не оставляет. Зимой не пускает в извоз, ни в работу в город; все работай на него, для того что он подушные платит за нас. Самая дьявольская выдумка отдавать крестьян своих чужому в работу. На дурного приказчика хотя можно пожаловаться, а на наемника кому? — Друг мой, ты ошибаешься, мучить людей законы запрещают. — Мучить? Правда, но небось, барин, не захочешь в мою кожу. — Между тем пахарь запряг другую лошадь в соху и, начав новую борозду, со мною простился.

Разговор сего земледельца возбудил во мне множество мыслей. Первое представилось мне неравенство крестьянского состояния. Сравнил я крестьян казенных с крестьянами помещичьими. Те и другие живут в деревнях; но одни платят известное, а другие должны быть готовы платить то, что господин хочет. Одни судятся своими равными; а другие в законе мертвы, разве по делам уголовным. Член

общества становится только тогда известен правительству, его охраняющему, когда нарушает союз общественный, когда становится злодей! Сия мысль всю кровь во мне воспалила. Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение. Углубленный в сих размышлениях, я нечаянно обратил взор мой на моего слугу, который, сидя на кибитке передо мной, качался из стороны в сторону. Вдруг почувствовал я быстрый мраз, протекающий кровь мою, и, прогоняя жар к вершинам, нудил его распространяться по лицу. Мне так стало во внутренности моей стыдно, что едва я не заплакал. Ты во гневе твоём, говорил я сам себе, устремляешься на гордого господина, изнуряющего крестьянина своего на ниве своей; а сам не то же ли или еще хуже того делаешь? Какое преступление сделал бедный твой Петрушка, что ты ему воспрещаешь пользоваться усладителем наших бедствий, величайшим даром природы несчастному, — сном? Он получает плату, сыт, одет, никогда я его не секу ни плетьюми, ни батожем (о, умеренный человек!), — и ты думаешь, что кусок хлеба и лоскут сукна тебе дают право поступать с подобным тебе существом, как с кубарем, и тем ты только хвастаешь, что не часто подсекаешь его в его вертении. Ведаешь ли, что в первенственном уложении, в сердце каждого написано? Если я кого ударю, тот и меня ударить может. — Вспомни тот день, как Петрушка пьян был и не поспел тебя одеть. Вспомни о его пощечине. О, если бы он тогда, хотя пьяный, опомнился и тебе отвечал бы соразмерно твоему вопросу! — А кто тебе дал власть над ним? — Закон. — Закон? И ты смеешь поносить сие священное имя? Несчастный... — Слезы потекли из глаз моих; и в таком положении почтовые клячи дотащили меня до следующего стана.

## ЧУДОВО <sup>16</sup>

Не успел я войти в почтовую избу, как услышал на улице звук почтового колокольчика, и чрез несколько минут вошел в избу приятель мой Ч... <sup>17</sup> Я его оставил в Петербурге, и он намерения не имел оттуда выехать так скоро. Особливое происшествие побудило человека нраву кругтого, как то был мой приятель, удалиться из Петербурга, и вот что он мне рассказал.

— Ты был уже готов к отъезду, как я отправился в Петергоф. Тут я препроводил праздники столь весело, сколько в шуму и чаду веселиться можно. Но, желая поездку мою обратить в пользу, вознамерился съездить в Кронштадт и на Систербек <sup>18</sup>, где, сказывали мне, в последнее время сделаны великие перемены. В Кронштадте прожил я два дни с великим удовольствием, насыщаясь зрением множества иностранных кораблей, каменной одежды крепости Кронштадтской и строений, стремительно возвышающихся. Любопытствовал посмотреть нового Кронштадту плана и с удовольствием предусматривал красоту намереваемого строения; словом, второй день пребывания моего кончился весело и приятно. Ночь была тихая, светлая, и воздух благоарастворенный вливал в чувства особую нежность, которую лучше ощущать, нежели описать удобно. Я вознамерился в пользу употребить благодать природы и насладиться еще один хотя раз в жизни великолепным зрелищем восхождения солнца, которого на гладком водяном горизонте мне еще видеть не удавалось. Я нанял морскую 12-ти весельную шлюпку и отправился на С...

Версты с четыреплыли мы благополучно. Шум весел единозвучностию своею возбудил во мне дремоту, и томное зрение едва ли воспрядало от мгновенного блеска падающих капель воды с вершины весел. Стихотворческое изображение преселяло уже меня в прелестные луга Пафоса и Амафонта <sup>19</sup>. Внезапу острый свист возникающего вдали ветра разогнал мой сон, и отягченным взорам моим представлялися сгущенные облака, коих черная тяжесть, казалось, стремилась к нам на главу и падением устрашала. Зерцаловидная поверхность вод начинала рябеть, и тишина уступала место начинающемуся плесканию валов. Я рад был и сему зрелищу; соглядал величественные черты природы и не в чванство скажу, что других устрашать начинало, то меня веселило. Восклидал изредка, как Вернет <sup>20</sup>: ах, как хорошо! Но ветер, усиливаясь постепенно, понуждал думать о достижении берега. Небо от густоты непрозрачных облаков совсем померкло. Сильное стремление валов отнимало у кормила направление, и порывистый ветер, то вознося нас на мокрые хребты, то низвергая в утесистые ритвины водяных зыбей, отнимал у гребущих силу шестивного движения. Следуя поневоле направлению ветра, мы носились наудачу. Тогда и берега начали бояться; тогда

и то, что бы нас при благополучном плавании утешать могло, начинало приводить в отчаяние. Природа завистливою нам на сей час казалася, и мы на нее негодовали теперь за то, что не распростирала ужасного своего величества, сверкая в молнии и слух тревожа громовым треском. Но надежда, преследуя человека до крайности, нас укрепляла, и мы, слико нам возможно было, ободряли друг друга.

Носимые валами, внезапно судно наше остановилось недвижимо. Все наши силы, совокупно употребленные, не были в состоянии совратить его с того места, на котором оно стояло. Упражняясь в сведении нашего судна с мели, как то мы думали, мы не заметили, что ветер между тем почти совсем утих. Небо помалу очистилося от затмевавших спеневу его облаков. Но восходящая заря вместо того, чтоб принести нам отраду, явила нам бедственное наше положение. Мы узрели ясно, что шлюпка наша не на мели находилася, но погрязла между двух больших камней и что не было никаких сил для ее избавления оттуда невредимо. Вообрази, мой друг, наше положение; все, что я ни скажу, все слабо будет в отношении моего чувства. Да и если б я мог достаточные дать черты каждому души моея движению, то слабы еще были бы они для произведения в тебе подобного тем чувствованиям, какие в душе моей возникали и теснились тогда. Судно наше стояло на середине гряды каменной, замыкающей залив, до С... простирающийся. Мы находилися от берега на полторы версты. Вода начинала проходить в судно наше со всех сторон и угрожала нам совершенным потоплением. В последний час, когда свет от нас преходить начинает и отверзается вечность, ниспадают тогда все степени, мнением между человекoв воздвигнутые. Человек тогда становится просто человек: так, видя приближающуюся кончину, забыли все мы, кто был какого состояния, и помышляли о спасении нашем, отливая воду, как кому споручно было. Но какая была в том польза? Колико воды союзными нашими силами было исчерпаемо, толико во мгновение паки накоплялося. К крайнему сердце наших сокрушению ни вдали, ни вблизи не видно было мимоидущего судна. Да и то, которое бы подало нам отраду, явясь взорам нашим, усугубило бы отчаяние наше, удаляясь от нас и избегая равныя с нами участи. Наконец, судна нашего правитель, более нежели все другие к опасностям морских происшествий обыкший, взи-

равший поневоле, может быть, на смерть хладнокровно в разных морских сражениях в прошедшую Турецкую войну<sup>21</sup> в Архипелаге, решился или нас спасти, спасаясь сам, или погибнуть в сем благом намерении: ибо, стоя на одном месте, погибнуть бы нам должно было. Он, вышед из судна и перебираясь с камня на камень, направил шествие свое к берегу, сопровождаем чистосердечнейшими нашими молитвами. С начала продолжал он шествие свое весьма бодро, прыгая с камня на камень, переходя воду, где она была мелка, переплывая ее, где она глубже становилась. Мы с глаз его не спускали. Наконец увидели, что силы его начали ослабевать, ибо он переходил камни медлительнее, останавливаясь почасту и сядя на камень для отдохновения. Казалось нам, что он находился иногда в размышлении и нерешимости о продолжении пути своего. Сие побудило одного из его товарищей ему преследовать, дабы подать ему помощь, если он увидит его изнемогающа в достижении берега; или достигнуть оного, если первому в том будет неудача. Взоры наши стремились вослед то за тем, то за другим, и молитва наша о их сохранении была нелицемерна. Наконец последний из сих подражателей Моисея в прохождении без чуда морския пучины своими стопами остановился на камне недвижим, а первого совсем мы потеряли из виду.

Сокровенные доселе внутренние каждого движения, заклепанные, так сказать, ужасом, начали являться при исчезании надежды. Вода между тем в судне умножалась, и труд наш, возрастая в отливании оной, утомлял силы наши приметно. Человек ярого и нетерпеливого сложения рвал на себе волосы, кусал персты, проклинал час своего выезда. Человек робкия души и чувствовавший долго, может быть, тягость удручительных неволи, рыдал, орошая слезами своими скамью, на которой ниц распростерт лежал. Иной, вспоминая дом свой, детей и жену, сидел, яко окаменелый, помышляя не о своей, но о их гибели, ибо они питались его трудами. Каково было моею души положение, мой друг, сам отгадывай, ибо ты меня довольно знаешь. Скажу только тебе то, что я прилежно молился богу. Наконец, начали мы все предаваться отчаянию, ибо судно наше более половины водою натекло и мы стояли все в воде по колена. Нередко помышляли мы выйти из судна и шествовать по каменной гряде к берегу, но пребывание одного

из наших сопутников на камне уже несколько часов и скрывать другого из виду представляло нам опасность перехода более, может быть, нежели она была в самом деле. Среди таковых горестных размышлений увидели мы близ противоположенного берега, в расстоянии от нас, каком то было, точно определить не могу, два пятна черные на воде, которые, казалось, двигались. Зримое нами нечто черное и движущееся, казалось, помалу увеличивалось; наконец, приближаясь, представило ясно взорам нашим два малые судна, прямо идущие к тому месту, где мы находились среди отчаяния, во сто крат надежду превосходящего. Как в темной храмине, свету совсем неприступной, вдруг отверзается дверь, и луч денный, влетев стремительно в среду мрака, разгоняет оный, распростираясь по всей храмине до дальнейших ее пределов, — тако, увидев суда, луч надежды ко спасению протек наши души. Отчаяние превратилось в восторг, горесть в восклицание, и опасно было, чтобы радостные телодвижения и плескания не навлекли нам гибели скорее, нежели мы будем исторгнуты из опасности. Но надежда жития, возвращаясь в сердца, возбудила паки мысли о различии состояний, в опасности уснувшие. Сие послужило на сей раз к общей пользе. Я укротил излишнее радование, во вред обратиться могущее. По несколько времени увидели мы две большие рыбацьи лодки, к нам приближающиеся, и, при настижении их до нас, увидели в одной из них нашего спасителя, который, прошед каменною грядою до берега, сыскал сии лодки для нашего извлечения из явной гибели. Мы, не мешкая ни мало, вышли из нашего судна и поплыли в приехавших судах к берегу, не забыв снять с камня сотоварища нашего, который на оном около семи часов находился. Не прошло более получаса, как судно наше, стоявшее между камней, облегченное от тяжести, всплыло и развалилось совсем. Плывучи к берегу среди радости и восторга спасения, Павел, — так звали спасшего нас сопутника, — рассказал нам следующее.

— Я, оставя вас в предстоящей опасности, спешил по камням к берегу. Желание вас спасти дало мне силы чрезвычайные; но сажень за сто до берега силы мои стали ослабевать, и я начал отчаяваться в вашем спасении и моей жизни. Но, полежав с полчаса на камени, вспрынув с новою бодростию и не отдыхая более, дополз, так сказать,

до берега. Тут я растянулся на траве и, отдохнув минут десять, встал и побежал вдоль берега к С... что имел мочи. И хотя с немалым истощением сил, но вспоминая о вас, добежал до места. Казалось, что небо хотело испытать вашу твердость и мое терпение, ибо я не нашел ни вдоль берега, ни в самом С... никакого судна для вашего спасения. Находясь почти в отчаянии, я думал, что нигде не можно мне лучше искать помощи, как у тамошнего начальника. Я побежал в тот дом, где он жил. Уже был седьмой час. В передней комнате нашел я тамошней команды сержанта. Рассказав ему коротко зачем я пришел и ваше положение, просил его, чтобы он разбудил Г..., который тогда еще почивал. Г. сержант мне сказал: друг мой, я не смею. — Как, ты не смеешь? Когда двадцать человек тонут, ты не смеешь разбудить того, кто их спасти может? Но ты, бездельник, лжешь, я сам пойду... — Г. сержант, взяв меня за плечо не очень учтиво, вытолкнул за дверь. С досады чуть я не лопнул. Но, помня более о вашей опасности, нежели о моей обиде и о жестокосердии начальника с его подчиненным, я побежал к караульной, которая была версты с две расстоянием от проклятого дома, из которого меня вытолкнули. Я знал, что живущие в ней солдаты содержали лодки, в которых, ездя по заливу, собирали булыжник на продажу для мостовых; я и не ошибся в моей надежде. Нашел сии две небольшие лодки, и радость теперь моя несказанна; вы все спасены. Если бы вы утонули, то и я бы бросился за вами в воду. — Говоря сие, Павел обливался слезами. Между тем достигли мы берега. Вышед из судна, я пал на колени, возвел руки на небо. — Отче всеильный, — возопил я: тебе угодно, да живем; ты нас водил на испытание, да будет воля твоя. — Се слабое, мой друг, изображение того, что я чувствовал. Ужас последнего часа прободал мою душу, я видел то мгновение, что я существовать перестану. Но что я буду? Не знаю. Страшная неизвестность. Теперь чувствую; час бьет; я мертв; движение, жизнь, чувство, мысли, — все исчезнет мгновенно. Вообрази себя, мой друг, на краю гроба, не почувствуешь ли корчущий мраз, лиющийся в твоих жилах и завроременно жизнь пресекающий. О, мой друг! — Но я удалился от моего повествования.

Совершив мою молитву, ярость вступила в мое сердце. Возможно ли, говорил я сам себе, что в наш век, в Европе,



подле столицы, в глазах великого государя совершалось такое бесчеловечие! Я вспомянул о заключенных агличанах в темнице бенгальского субаба<sup>22</sup>. \*

Воздохнул я во глубине души. — Между тем дошли мы до С... Я думал, что начальник, проснувшись, накажет своего сержанта и претерпевшим на воде даст хотя успокоение. С сею надеждою пошел я прямо к нему в дом. Но поступком его подчиненного столь был раздражен, что я не мог умерить моих слов. Увидев его, сказал: — Государь мой! Известили ли вас, что за несколько часов пред сим двадцать человек находились в опасности потерять живот свой на воде и требовали вашей помощи? — Он мне отвечал с наивеличайшею холодною, куря табак: — Мне о том сказали недавно, а тогда я спал. — Тут я задрожал в ярости человечества. — Ты бы велел себя будить молотком по голове, буде крепко спишь, когда люди тонут и требуют от тебя помощи. — Отгадай, мой друг, какой его был ответ. Я думал, что мне сделается удар от того, что я слышал. Он мне сказал: — не моя то должность. — Я вышел из терпения. — Должность ли твоя людей убивать, скаредный человек; и ты носишь знаки отличности, ты начальствуешь над другими!.. — Окончать не мог моя речи, плюнул почти ему в рожу и вышел вон. Я волосы драл с досады. Сто делал расположений, как отместить сему зверскому начальнику не

---

\* Агличане приняли в свое покровительство ушедшего к ним в Калькуту чиновника бенгальского, подвергшего себя казни своим издоимством. Справедливо раздраженный субаб, собрав войско, приступил к городу и оный взял. Аглинских военнопленных велел ввергнуть в тесную темницу, в коей они в полсутки издохли. Осталось от них только двадцать три человека. Несчастные сии сулили страже великие деньги, да возвестит владельцу о их положении. Вопль их и стенание возвещало о том народу, о них соболезующему; но никто не хотел возвестить о том властителю. П о ч и в а е т о н — ответствовано умирающим агличанам; и ни один человек в Бенгале не мнил, что для спасения жизни ста пятидесяти несчастных должно отъяти сон мучителя на мгновение.

Но что ж такое мучитель? Или паче, что ж такое народ, обыкновенный к игу мучительства? Благоговение ль или боязнь тягчит его согбенна? Если боязнь, то мучитель ужаснее богов, к коим человек воссылает или молитву или жалобу во время ночи или в часы дневные. Если благоговение, то возможно человека возбудить на почитание соделателей его бедствий; чудо, возможное единому суеверию. Чему более удивляться, зверству ли спящего набаба или подлости несмеющего его разбудить? — Р е н а л ь<sup>23</sup>, И с т о р и я о И н д и я х. Т о м II.

за себя, но за человечество. Но, опомнясь, убедился воспоминанием многих примеров, что мое мщение будет бесплодно, что я же могу прослыть или бешеным или злым человеком; смирился.

Между тем люди мои сходили к священнику, который нас принял с великою радостью, согрел нас, накормил, дал отдохновение. Мы пробыли у него целые сутки, пользуясь его гостеприимством и угощением. На другой день, нашед большую шлюпку, доехали мы до Ораниенбаума благополучно. В Петербурге я о сем рассказывал тому и другому. Все сочувствовали мою опасность, все хулили жестокосердие начальника, никто не захотел ему о сем напомнить. Если бы мы потонули, то бы он был нашим убийцею. — Но в должности ему не предписано вас спасать, — сказал некто. — Теперь я прощусь с городом навеки. Не въеду николи в сие жилище тигров. Единое их веселие — грызть друг друга; отрада их — томить слабого до издыхания и раболепствовать власти. И ты хотел, чтоб я поселился в городе! Нет, мой друг, — говорил мой повествователь, вскочив со стула, — заеду туда, куда люди не ходят, где не знают, что есть человек, где имя его неизвестно. Прости; — сел в кибитку и поскакал.

### СПАСКАЯ ПОЛЕСТЬ <sup>24</sup>

Я вслед за моим приятелем скакал так скоро, что настиг его еще на почтовом стану. Старался его уговорить, чтоб возвратился в Петербург, старался ему доказать, что малые и частные неурядица в обществе связи его не разрушат, как дробинка, падая в пространство моря, не может возмутить поверхности воды. Но он мне сказал наотрез: — Когда бы я, малая дробинка, пошел на дно, то бы, конечно, на Финском заливе бури не сделалось, а я бы пошел жить с тюленями. — И, с видом негодования простясь со мною, лег в свою кибитку и поехал поспешно.

Лошади были уже впряжены; я уже ногу занес, чтобы влезть в кибитку; как вдруг дождь пошел. — Беда велика, — размышлял я; закроюсь ценовкою и буду сух. — Но едва мысль сия в мозге моем пролетела, то как будто меня окунули в пролубь. Небо, не спросясь со мною, разверзло облако, и дождь лил ведром. — С погодою не сладишь; по пословице: тише едешь — чаще будешь, — вылез

я из кибитки и убежал в первую избу. Хозяин уже ложился спать, и в избе было темно. Но я и в потемках выпросил позволение обсушиться. Снял с себя мокрое платье и, что было посуше, положив под голову, на лавке скоро заснул. Но постеля моя была непуховая, долго нежиться не позволила. Проснувшись, услышал я шопот. Два голоса различить я мог, которые между собою разговаривали. — Ну муж, Расскажи-тка, — говорил женский голос. — Слушай жена.

— Жил-был... — И подлинно на сказку похоже; да как же сказке верить? — сказала жена вполголоса, зевая ото сна; поверю ли я, что были Полкан, Бова<sup>25</sup> или Соловей Разбойник. — Да кто тебя толкает в шею, верь, коли хочешь. Но то правда, что в старицу силы телесные были в уважении и что силачи оные употребляли во зло. Вот тебе Полкан. А о Соловье Разбойнике читай, мать моя, истолкователей русских древностей. Они тебе скажут, что он Соловьем назван красноречия своего ради. — Не перебивай же моей речи. Итак, жил-был где-то государев наместник<sup>26</sup>. В молодости своей таскался по чужим землям, выучился есть устерсы и был до них великий охотник. Пока деньженок своих мало было, то он от охоты своей воздерживался, едал по десятку, и то когда бывал в Петербурге. Как скоро полез в чины, то и число устерсов на столе его начало прибавляться. А как попал в наместники и когда много стало у него денег своих, много и казенных в распоряжении, тогда стал он к устерсам как брюхатая баба. Спит и видит, чтобы устерсы кушать. Как пора их приходит, то нет никому покою. Все подчиненные становятся мучениками. Но во что бы то ни стало, а устерсы есть будет. — В правление<sup>27</sup> посылает приказ, чтобы наряжен был немедленно курьер, которого он имеет в Петербург отправить с важными донесениями. Все знают, что курьер поскачет за устерсами, но куда ни вертись, а прогоны выдавай. На казенные денежки дыр много. Гонец, снабженный подорожною, прогонами, совсем готов, в куртке и чикчерах явился пред его высокопревосходительство. — Пospешай, мой друг, — вещает ему униженный орденами, — поспешай, возьми сей пакет, отдай его в Большой Морской. — Кому прикажете? — Прочти адрес. — Его... его... — Не так читаешь. — Государю моему гос... — Врешь... господину Корзинкину, почтенному лавошнику, в С.-Петербурге в Большой Морской. — Знаю,

ваше высокопревосходительство. — Ступай же, мой друг, и как скоро получишь, то возвращайся поспешно и ни мало не медли; я тебе скажу спасибо не одно.

И ну-ну-ну, ну-ну-ну; по всем по трем, вплоть до Питера, к Корзинкину прямо на двор. — Добро пожаловать. Куды какой его высокопревосходительство затейник, из-за тысячи верст шлет за какою дрянью. Только барин добрый. Рад ему служить. Вот устерсы, теперь лишь с биржи. Скажи, не меньше ста пятидесяти бочка, уступить нельзя, самим пришли дороги. Да мы с его милостию сочтемся. — Бочку взвалили в кибитку, поворотя оглобли, курьер уже опять скачет, успел лишь зайти в кабак и выпить два кружка сивухи.

Тинь-тинь... Едва у городских ворот услышали звон почтового колокольчика, караульный офицер бежит уже к наместнику (то ли дело, как где все в порядке) и рапортует ему, что вдали видна кибитка и слышен звон колокольчика. Не успел выговорить, как шасть курьер в двери. — Привез, ваше высокопревосходительство. — Очень кстати; (оборотясь к предстоящим) право, человек достойный, исправен и не пьяница. Сколько уже лет по два раза в год ездит в Петербург; а в Москву сколько раз, упомянуть не могу. Секретарь, пиши представление. За многочисленные его в посылках труды и за точнейшее оных исправление удостоаваю его к повышению чином.

В расходной книге у казначея записано: по предложению его высокопревосходительства дано курьеру Н. Н., отправленному в С.-П. с наинужнейшими донесениями, прогонных денег в оба пути на три лошади из экстраординарной суммы... Книга казначейская пошла на ревизию, но устерсами не пахнет.

По представлению господина генерала и проч. приказали: быть сержанту Н. Н. прапорщиком. — Вот жена, — говорил мужской голос, — как добиваются в чины, а что мне прибыли, что я служу беспорочно, не подамся вперед ни на палец. По указам велено за добропорядочную службу награждать. Но царь жалует, а псарь не жалует. Так то наш г. казначей; уже другой раз по его представлению меня отсылают в уголовную палату <sup>28</sup>. Когда бы я с ним был заодно, то бы было не житье, а масленица. — И... полно, Клементьич, пустяки-то молоть. Знаешь ли, за что он тебя не любит? За то, что ты промен берешь со всех, а с ним

не делишься. — Потише, Кузьминична, потише; неравно кто подслушает. — Оба голоса умолкли, и я опять заснул.

Поутру узнал я, что в одной избе со мною ночевал присяжной с женою, которые до света отправились в Новгород.

Между тем как в моей повозке запрягали лошадей, приехала еще кибитка, тройкою запряженная. Из нее вышел человек, закутанный в большую япанчу, и шляпа с распущенными полями, глубоко надетая, прештествовала мне видеть его лицо. Он требовал лошадей без подорожной; и как многие повозчики, окружив его, с ним торговались, то он, не дожидаясь конца их торга, сказал одному из них с нетерпением: — запрягай поскорей, я дам по четыре копейки на версту. — Ямщик побежал за лошадьми. Другие, видя, что договариваться уже было не о чем, все от него отошли.

Я находился от него не далее как в пяти саженьях. Он, подошед ко мне и, не снимая шляпы, сказал: — милостивый государь, снабдите чем ни есть человека несчастного. — Меня сие удивило чрезмерно и я не мог вытерпеть, чтобы ему не сказать, что я удивляюсь просьбе его о вспоможении, когда он не хотел торговаться о прогонах и давал против других вдвое. — Я вижу, — сказал он мне, — что в жизнь вашу поперечного вам ничего не встречалось. — Столь твердый ответ мне очень понравился, и я, не медля ни мало, вынув из кошелька... — не осудите, — сказал, — более теперь вам служить не могу; но если доедем до места, то, может быть, сделаю что-нибудь больше. — Намерение мое при сем было то, чтобы сделать его чистосердечным; я и не ошибся. — Я вижу, — сказал он мне, — что вы имеете еще чувствительность, что обращение света и снискание собственной пользы не затворили вход ее в ваше сердце. Позвольте мне сесть на вашей повозке, а служителю вашему прикажите сесть на моей. — Между тем лошади наши были впряжены, я исполнил его желание — и мы едем.

— Ах, государь мой, не могу себе представить, что я несчастлив. Не более недели тому назад я был весел, в удовольствии, недостатка не чувствовал, был любим, или так казалось; ибо дом мой всякий день был полон людьми, заслужившими уже знаки почестей; стол мой был всегда как великолепное некое торжество. Но если тщеславие толкое имело удовлетворение, равно и душа наслаждалась истинным блаженством. По многих сперва бесплодных стараниях, предприятиях и неудачах, наконец, получил я в жену ту,

которую желал. Взаимная наша горячность, услаждая и чувства и душу, все представляла нам в ясном виде. Не зрели мы облачного дня. Блаженства нашего достигали мы вершины. Супруга моя была беременна, и приближался час ее разрешения. Все сие блаженство определила судьба, да рушится одним мгновением.

У меня был обед, и множество так называемых друзей, собравшись, насыщали праздный свой голод на мой счет. Один из бывших тут, который внутренно меня не любил, начал говорить с сидевшим подле него, хотя вполголоса, но довольно громко, чтобы говоренное жене моей и многим другим слышно было. Неужели вы не знаете, что дело нашего хозяина в уголовной палате уже решено. —

Вам покажется мудрено, — говорил спутник мой, обращая ко мне свое слово, — чтобы человек неслужащий и в положении, мною описанном, мог подвергнуть себя суду уголовному. И я так думал долго, да и тогда, когда мне дело, прошед нижние суды, достигло до высшего. Вот в чем оно состояло: я был в купечестве записан; пуская капитал мой в обращение, стал участником в частном откупу. Несомнительность моя причиною была, что я доверил лживому человеку, который, лично попавшись в преступлении, был от откупу отрешен и по свидетельству будто его книг сделался, повидимому, на нем большой начет. Он скрылся, я остался в лицах, и начет положено взыскать с меня. Я сделав выправки, сколько мог, нашел, что начету на мне или совсем не было или бы был очень малый, и для того просил, чтобы сделали расчет со мною, ибо я по нем был порукою. Но вместо того чтобы сделать должное по моему прошению удовлетворение, велено недоимку взыскать с меня. Первое неправосудие. Но к сему присовокупили и другое. В то время, как я сделался в откупу порукою, имущества за мною никакого не было, но по обыкновению послано было запрещение на имение мое в гражданскую палату. Странная вещь — запрещать продавать то, чего не существует в имении! После того купил я дом и другие сделал приобретения. В то же самое время случай допустил меня перейти из купеческого звания в звание дворянское, получа чин. Наблюдая свою пользу, я нашел случай продать дом на выгодных кондициях, совершив купчую в самой той же палате, где существовало запрещение. Сие поставлено мне в преступление; ибо были люди, которых удовольствие помрачалось

блаженством моего жития. Стряпчий казенных дел<sup>29</sup> сделал на меня донос, что я, избегая платежа казенной недоимки, дом продал, обманул гражданскую палату, назвавшись тем званием, в коем я был, а не тем, в котором находился при покупке дома. Тщетно я говорил, что запрещение не может существовать на то, чего нет в имении, тщетно я говорил, что по крайней мере надлежало бы сперва продать оставшееся имение и выручить недоимку сей продажей, а потом предпринимать другие средства; что я звания своего не утаивал, ибо в дворянском уже купил дом. Все сие было отринуто, продажа дому уничтожена, меня осудили за ложный мой поступок лишить чинов, — и требуют теперь, — говорил повествователь, — хозяйина здешнего в суд, дабы посадить под стражу до окончания дела.

Сие последнее повествуя, рассказывающий возвысил свой голос. — Жена моя, едва сие услышала, обняв меня, вскричала: — нет, мой друг, и я с тобою. Болес выговорить не могла. Члены ее все ослабели, и она упала бесчувственна в мои объятия. Я, подняв ее со стула, вынес в спальную комнату и не ведаю, как обед окончался.

Пришед чрез несколько времени в себя, она почувствовала муки, близкое рождение плода горячности нашей возвещающие. Но, сколь ни жестоки они были, воображение, что я буду под стражею, столь ее тревожило, что она только и твердила: и я пойду с тобою. Сие несчастное приключение ускорило рождение младенца целым месяцем, и все способы бабки и доктора, для пособия призванных, были тщетны и не могли воспретить, чтобы жена моя не родила чрез сутки. Движения ее души не токмо с рождением младенца не успокоились, но, усилившись гораздо, сделали ей горячку. — Почто распространяться мне в повествовании? Жена моя на третий день после родов своих умерла. Видя ее страдания, можете поверить, что я ее не оставлял ни на минуту. Дело мое и осуждение в горести позабыл совершенно. За день до кончины моей любезной незрелый плод наша горячности также умер. Болезнь матери его занимала меня совсем, и потеря сия была для меня тогда невелика. Вообрази, вообрази, — говорил повествователь мой, взяв обеими руками себя за волосы, — вообрази мое положение, когда я видел, что возлюбленная моя со мною расставалась навсегда. — Навсегда! — вскричал он диким голосом. — Но зачем я бегу? Пускай меня посадят в темницу; я уже

нечувствителен; пускай меня мучат, пускай лишают жизни. — О, варвары, тигры, змеи лютые, грызите сие сердце, пускайте в него томной ваш яд. — Извините мое иступление, я думаю, что я лишусь скоро ума. Сколь скоро воображу ту минуточку, когда любезная моя со мною расставалась, то я все позабываю, и свет в глазах меркнет. Но окончу мою повесть. В толки жестоком отчаянии, лежащу мне над бездыханным телом моей возлюбленной, один из искренних моих друзей, прибежав ко мне: — Тебя пришли ваять под стражу, команда на дворе. Беги отсель, кибитка у задних ворот готова, ступай в Москву, или куда хочешь, и живи там, доколе можно будет облегчить твою судьбу. — Я не внимал его речам, но он, усилясь надо мною и взяв меня с помощью своих людей, вынес и положил в кибитку; но вспомня, что надобны мне деньги, дал мне кошелек, в котором было только пятьдесят рублей. Сам пошел в мой кабинет, чтобы найти там денег и мне вынести; но, нашед уже офицера в моей спальне, успел только прислать ко мне сказать, чтобы я ехал. Не помню, как меня везли первую станцию. Слуга приятеля моего, рассказав все происшедшее, простился со мною, а я теперь еду, по пословице, — куда глаза глядят.

Повесть сопутника моего тронула меня несказанно. Возможно ли, говорил я сам себе, чтобы в толь мягкосердое правление, каково ныне у нас, толикие производились жестокости? Возможно ли, чтобы были столь безумные судии, что для насыщения казны (можно действительно так назвать всякое неправильное отнятие имения для удовлетворения казенного требования), отнимали у людей имение, честь, жизнь? Я размышлял, каким бы образом могло сие происшествие достигнуть до слуха верховных власти. Ибо справедливо думал, что в самодержавном правлении она одна в отношении других может быть беспристрастна. — Но не могу ли я принять на себя его защиту? Я напишу жалобницу в высшее правительство. Уподроблю все происшествие и представлю неправосудие судивших и невинность страждущего. — Но жалобницы от меня не примут. Спросят, какое я на то имею право; потребуют от меня верующего письма. — Какое имею право? Страждущее человечество. Человек, лишенный имения, чести, лишенный половины своей жизни, в самовольном изгнании, дабы избежать поносительного заточения. И на сие надобно верующее письмо?



От кого? Ужели сего мало, что страждет мой согражданин?— Да и в том нет нужды. Он человек: вот мое право, вот верующее письмо. — О, богочеловек! Почто писал ты закон твой для варваров? Они, крестясь во имя твое, кровавые приносят жертвы злобе. Почто ты для них мягкосерд был? Вместо обещания будущия казни, усугубил бы казнь настоящую и, совесть возжигая по мере злодеяния, не дал бы им покоя денно-ночно, доколь страданием своим не загладят все злое, еже сотворили. Таковые размышления то-лико утомили мое тело, что я уснул весьма крепко и не просыпался долго.

Возмущенные соки мыслию стремились, мне спящу, к голове и, тревожа нежный состав моего мозга, возбудили в нем воображение. Несчетные картины представлялись мне во сне, но исчезали, как легкие в воздухе пары. Наконец, как то бывает, некоторое мозговое волокно, тронутое сильно восходящими из внутренних сосудов тела парами, задрожало долее других на несколько времени, и вот что я грезил.

Мне представилось, что я царь, шах, хан, король, бей, набаб, султан, или какое-то сих названий нечто, сидящее во власти на престоле.

Место моего восседения было из чистого золота и хитро искладенными драгими разного цвета камнями блистало лучезарно. Ничто сравниться не могло со блеском моих одежд. Глава моя украшалась венцем лавровым. Вокруг меня лежали знаки, власть мою изъявляющие. Здесь меч лежал на столпе, из серебра изваянном, на коем изображались морские и сухопутные сражения, взятие городов и прочее сего рода; везде видно было вверху имя мое, носимое Гением славы, над всеми сими подвигами парящим. Тут виден был скипетр мой, возлежащий на снопах, обильными класами отягченных, изваянных из чистого золота и природе совершенно подражающих. На твердом коромысле вознесенные зрелися весы<sup>30</sup>: в единой из чаш лежала книга с надписью *З а к о н м и л о с е р д и я*, в другой — книга же с надписью *З а к о н с о в е с т и*. Держава<sup>31</sup>, из единого камня иссеченная, поддерживаема была грудю младенцев, из белого мрамора иссеченных. Венец мой возвышен был паче всего и возлежал на раменах сильного исполина, воскраие же его поддерживаемо было истиною. Огромной величины змия, из светлыя стали искованная,

облежала вокруг всего седалища при его подножии и, конец хвоста в зеве держаща, изображала вечность.

Но не единые бездыханные изображения возвещали власть мою и величество. С робким подобострастием и взоры мои ловащи, стояли вокруг престола моего чины государственные. В некотором отдалении от престола моего толпилось бесчисленное множество народа, коего разные одежды, черты лица, осанка, вид и стан различие их племени возвещали. Трепетное их молчание уверяло меня, что они все воли моей подвластны. По сторонам, на несколько возвышенном месте, стояли женщины в великом множестве в прелестнейших и великолепнейших одеждах. Взоры их изъявляли удовольствие на меня смотреть, и желания их стремились на предупреждение моих, если бы они возродились.

Глубочайшее в собрании сем присутствовало молчание; казалось, что все в ожидании были важного какого происшествия, от коего спокойствие и блаженство всего общества зависели. Обращенный сам в себя и чувствуя глубоко вкоренившуюся скуку в душе моей, от насыщающего скоро единообразия происходящую, я долг отдал естеству и, рот разинув до ушей, зевнул во всю мочь. Все вяли чувствованию души моей. Внезапу смятение распростерло мрачный покров свой по чертам веселия, улыбка улетала со уст нежности и блеск радования с ланит удовольствия. Искаженные взгляды и озирание являли нечаянное нашествие ужаса и предстоящая беды. Слышны были вздохи, колющие предтечи скорби; и уже начинало раздаваться задерживаемое присутствием страха стенание. Уже скорыми в сердце всех стопами шествовало отчаяние и смертные содрогания, самая кончины мучительнее. Тронутый до внутренности сердца толико печальным зрелищем, ланитные мышцы нечувствительно стянулись ко ушам моим и, растягивая губы, произвели в чертах лица моего кривление, улыбке подобное, за коим я чхнул весьма звонко. Подобно как в мрачную атмосферу, густым туманом отягченную, проникает полуденный солнца луч, летит от жизненной его жаркости сгущенная парами влага и, разделенная в составе своем, частью, улегчась, стремительно возносится в неизмеримое пространство эфира и частью, удержав в себе одну только тяжесть земных частиц, падает низу стремительно, мрак, присутствовавший повсюду в небытии светозарного шара,

исчезает весь вдруг и, сложив поспешно непроницательный свой покров, улетает на крылах мгновности, не оставляя по себе ниже знака своего присутствования, — тако при улыбке моей развеялся вид печали, на лицах всего собрания поселившийся; радость проникла сердца всех быстро-течно, и не оставалось косога вида неудовольствия нигде. Все начали восклицать: да здравствует наш великий государь, да здравствует навеки. Подобно тихому полуденному ветру, помавающему листьям дерев и любово-страстное производящему в дуброве шумление, тако во всем собрании радостное шептание раздавалось. Иной вполголоса говорил: он усмирил внешних и внутренних врагов, расширил пределы отечества, покорил тысячи разных народов своей державе. Другой восклицал: он обогатил государство, расширил внутреннюю и внешнюю торговлю, он любит науки и художества, поощряет земледелие и рукоделие. Женщины с нежностью вещали: он не дал погибнуть тысячам полезных сограждан, избавя их до сосца еще гибельныя кончины. Иной с важным видом возглашал: он умножил государственные доходы, народ облегчил от податей, доставил ему надежное пропитание. Юношество, с восторгом руки на небо простирая, рекло: он милосерд, правдив, закон его для всех равен, он почитает себя первым его служителем. Он законодатель мудрый, судия правдивый, исполнитель ревностный, он паче всех царей велик, он вольность дарует всем.

Речи таковыя, ударяя в тимпан моего уха, громко раздавались в душе моей. Похвалы сии истинными в разуме моем изображались, ибо сопутствуемы были искренности наружными чертами. Таковыми их приемля, душа моя возвышалася над обыкновенным зрением кругом; в существе своем расширялась и, вся объемля, касалася степеней божественной премудрости. Но ничто не сравнилось с удовольствием самоодобрения при раздавании моих приказаний. Первому воначальнику повелевал я итти с многочисленным войском на завоевание земли, целым небесным поясом от меня отделенной. — Государь, — отвечал он мне, — слава единая имени твоего победит народы, оную землю населяющие. Страх предшествовать будет оружию твоему, и возвращуся, приносяй дань царей сильных. — Учредителю плаванья я рек: — да корабли мои рассеются по всем морям, да узрят их неведомые народы; флаг мой

да известен будет на Севере, Востоке, Юге и Западе. — Исполню, государь. — И полетел на исполнение, яко ветер, определенный надувать ветрила корабельные. — Возвести до дальнейших пределов моя область, — рек я хранителю законов, — се день рождения моего, да ознаменится он в летописях навеки отпущением повсеместным. Да отверзутся темницы, да изыдут преступники и да возвратятся в дома свои, яко заблудшие от истинного пути. — Милосердие твое, государь! есть образ всещедрого существа. Бегу возвестити радость скорбящим отцам по чадах их, супругам по супругам их. — Да воздвигнутся, — рек я первому зодчию, — великолепнейшие здания для убежища Мусс, да украсятся подражаниями природы различными; и да будущи ненарушимы, яко небесные жительницы, для них же они уготовляются. — О, премудрый, — отвечал он мне, — егда веления твоего гласа стихи повиновались и, совокупя силы свои, учреждали в пустынях и на дебрях обширные грады, превосходящие великолепием славнейшие в древности; колико мало важен будет сей труд для ревностных исполнителей твоих велений. Ты рек, и грубые строения припасы уже гласу твоему внемлют. — Да отверзется ныне, — рек я, — рука щедроты, да излиются остатки избытка на немощствующих, сокровища ненужные да возвратятся к их источнику. — О, всещедрый владыко, всевышним нам дарованный, отец своих чад, обогатитель нищего, да будет твоя воля. — При всяком моем изречении все предстоящие восклицали радостно, и плескание рук не токмо сопровождало мое слово, но даже предупреждало мысль. Единая из всего собрания жена, облегшаяся твердо о столп, испускала вздохи скорби и являла вид презрения и негодования. Черты лица ее были суровы и платье простое. Глава ее покрыта была шляпою, когда все другие обнаженными стояли главами. — Кто сия? — вопрошал я близь стоящего меня. — Сия есть странница, нам неизвестная, именует себя Прямовзорой и глазным врачом. Но есть волхв опаснейший, носяй яд и отраву, радуется скорби и сокрушению; всегда нахмуренна, всех презирает и поносит; даже не падит в ругании своем священныя твоя главы. — Почто ж злодейка сия терпима в моей области? Но о ней завтра. Сей день есть день милости и веселия. Приидите, сотрудники мои в ношении тяжкого бремени правления, примите достойное за труды и подвиги ваши воздаяние. —

Тогда, восстав от места моего, возлагал я различные знаки почестей на предстоящих; отсутствующие забыты не были, но те, кои приятным видом словам моим шли во сретение, имели большую во благоденствиях моих долю.

По сем продолжал я мое слово: — Пойдем, столпы моя держава, опоры моя власть, пойдем усладиться по труде. Достойно бо, да вкусит трудившийся плода трудов своих. Достойно царю вкусити веселия, он же изливает многочисленные всем. Покажи нам путь к уготованному тобою празднеству, — рек я к учредителю веселий. — Мы тебе последуем. — Постой, — вещала мне странница от своего места, — постой и подойди ко мне. Я — врач, присланный к тебе и тебе подобным, да очищу зрение твое. — Какие бельма! — сказала она с восклицанием. — Некая невидимая сила нудила меня итти пред нее; хотя все меня окружавшие мне в том препятствовали, делая даже мне насилие.

— На обоих глазах бельма, — сказала странница, — а ты столь решительно судил о всем. — Потом коснулась обоих моих глаз и сняла с них толстую плену, подобну роговому раствору. — Ты видишь, — сказала она мне, — что ты был слеп и слеп совершенно. — Я есмь Истина. Всевышний, подвигнутый на жалость стенанием тебе подвластного народа, ниспослал меня с небесных кругов, да отжену темноту, проницанию взора твоего препятствующую. Я сие исполнила. Все вещи представляются днесь в естественном их виде взорам твоим. Ты проникнешь во внутренность сердец. Не утаится более от тебя змия, крыющаяся в излучинах душевных. Ты познаешь верных своих подданных, которые вдали от тебя не тебя любят, но любят отечество; которые готовы всегда на твое поражение, если оно отмстит порабощение человека. Но не возмутят они гражданского покоя безвременно и без пользы. Их призови себе в друзья. Изжени сию гордую чернь, тебе предстоящую и прикрывшую срамоту души своей позлащенными одеждами. Они-то истинные твои злодеи, затмевающие очи твои и вход мне в твои чертоги воспрещающие. Един раз являюся я царям во все время их царствования, да познают меня в истинном моем виде; но я никогда не оставляю жилища смертных. Пребывание мое не есть в чертогах царских. Стража, обсевшая их вокруг и бдящая денно-ночно стоглазно, воспрещает мне вход в оныя. Если когда проникну сию сплоченную толпу,

то, подняв бич гонения, все тебя окружающие тщатся меня изгнать из обиталища твоего; бди убо, да паки не удалюся от тебя. Тогда словеса ласкательства, ядовитые пары издыхающие, бельма твои паки возродят, и кора, светом непроницаемым, покрывает твои очи. Тогда ослепление твое будет сугубо; едва на шаг один взоры твои досягать будут. Все в веселом являться тебе будет в виде. Уши твои не возмутятся стенанием, но усладится слух сладкопением ежечасно. Жертвенные курения обыдут на лесть отверстую душу. Осязанию твоему подлежать будет всегда гладкость. Никогда не раздерет благотворная шероховатость в тебе нервов осязательности. Вострепещи теперь за таковое состояние. Туча вознесется над главой твоей, и стрелы карающего грома готовы будут на твое поражение. Но я, вещаю тебе, поживу в пределах твоего обладания. Егда восхощешь меня видети, егда осажденная кознями ласкательства душа твоя взалкает моего взора, воззови меня из твоея отдаленности; где слышен будет твердый мой глас, там меня и обрящешь. Не убойся гласа моего николи. Если из среды народныя возникнет муж, порицающий дела твоя, ведай, что той есть твой друг искренний. Чуждый надежды мзды, чуждый рабского трепета, он твердым гласом возвестит меня тебе. Блюдишь и не дерзай его казнити, яко общего возмутителя. Призови его, угости его, яко странника. Ибо всяк, порицающий царя в самовластии его, есть странник земли, где все пред ним трепещет. Угости его, вещаю, почти его, да возвратившись возможет он паче и паче глаголати нельстиво. Но таковые твердые сердца бывают редки; едва один в целом столетии явится на светском ристалище. А дабы бдительность твоя не усыпьялася негою власти, се кольцо дарую тебе, да возвестит оно тебе твою неправду, когда на нее дерзать будешь. Ибо ведай, что ты первейший в обществе можешь быть убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общия тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого. Ты виною будешь, если мать восплачет о сыне своем, убиенном на ратном поле, и жена о муже своем; ибо опасность плена едва оправдать может убийство, войною называемое. Ты виною будешь, если запустеет нива, если птенцы земледельателя лишатся жизни у тощего без здравыя пищи сосца матерня. Но обрати теперь взоры свои на себя и на предстоящих тебе, воззри на исполнение твоих велений, и

если душа твоя не содрогнется от ужаса при взоре таковом, то отыду от тебя, и чертог твой загладится навсегда в памяти моей.

Изрекшая странницы лицо казалось веселым и вещественным сияющее блеском. Воззрение на нее вливало в душу мою радость. Уже не чувствовал я в ней зыбей тщеславия и надутлости высокомерия. Я ощущал в ней тишину; волнение любочестия и обуревание властолюбия ее не касались. Одежды мои, столь блестящие, казались замараны кровию и омочены слезами. На перстах моих виделись мне остатки мозга человеческого; ноги мои стояли в типе. Вокруг меня стоящие являлись того скареее. Вся внутренность их казалась черною и сгареемою тусклым огнем ненасытности. Они метали на меня и друг на друга искаженные взоры, в коих господствовали хищность, зависть, коварство и ненависть. Военачальник мой, посланный на завоевание, утопал в роскоши и веселии. В войсках подчиненности не было; воины мои почитались хуже скота. Не радели ни о их здравии ни прокормлении; жизнь их ни во что вменялася; лишались они установленной платы, которая употреблялася на ненужное им украшение. Большая половина новых воинов умирали от небрежения начальников или ненужных и безвременных строгости. Казна, определенная на содержание всеополчения, была в руках учредителя веселостей. Знаки военного достоинства не храбрости были уделом, но подлого раболепия. Я зрел пред собою единого знаменитого по словесам военачальника, коего я отличными почтил знаками моего благоволения; я зрел ныне ясно, что все его отличное достоинство состояло в том только, что он пособием был в насыщении сладострастия своего начальника и на оказание мужества не было ему даже случая, ибо он издали не видал неприятеля. От таких то воинов я ждал себе новых венцов. Отвратил я взор мой от тысячи бедств, представившихся очам моим.

Корабли мои, назначенные, да прейдут дальнейшие моря, видел я плавающими при устье пристанища. Начальник, полетевший для исполнения моих велений на крылех ветра, простерши на мягкой постеле свои члены, упоялся негою и любовию в объятиях наемной возбудительницы его сладострастия. На изготованном велением его чертеже совершенного в мечтании плаванья уже видны были во всех частях мира новые острова, климату их свойственными пло-

дами изобилующие. Обширные земли и многочисленные народы изобразились из кисти новых сих путешественников. Уже при блеске исцных светильников начерталось величественное описание сего путешествия и сделанных приобретений слогом цветущим и великолепным. Уже золотые диски уготовлялись на одежду столь важного сочинения <sup>32</sup>. О, Кук! <sup>33</sup> Почто ты жизнь свою провел в трудах и лишениях? Почто скончал ее плачевным образом? Если бы воссел на сии корабли, то, в веселиях начав путешествие и в веселиях его скончая, столь же бы много сделал открытий, сидя на одном месте (и в моем государстве) только же бы прославился; ибо ты бы почтен был твоим государем.

Подвиг мой, коим в ослеплении моем душа моя наиболее гордилась, отпущение казни и прощение преступников едва видны были в обширности гражданских деяний. Веление мое или было совсем нарушено, обращаясь не в ту сторону, или не имело желаемого действия превратным одного толкованием и медлительным исполнением. Милосердие мое делалось торговлею, и тому, кто давал больше, стучал молот жалости и великодушия. Вместо того, чтобы в народе моем чрез отпущение вины прослыть милосердным, я прослыл обманщиком, ханжею и пагубным комедиантом. Удержи свое милосердие, вещали тысячи гласов, не возвещай нам его великолепным словом, если не хочешь его исполнить. Не соплощай с обидою насмешку, с тяжестью ее ощущение. Мы спали и были покойны, ты возмутил наш сон; мы бдеть не желали, ибо не над чем. — В созидании городов видел я одно расточение государственныя казны, нередко омытой кровию и слезами моих подданных. В воздвижении великолепных зданий к расточению нередко присовокуплялося и непонятие о истинном искусстве. Я зрел расположение их внутреннее и внешнее без малейшего вкуса. Виды оных принадлежали веку Готфов и Вандалов <sup>34</sup>. В жилище, для Мусс уготованном, не зрел я лиющихся благотворно струев Кастилии и Ипокрены <sup>35</sup>; едва пресмыкающееся искусство дерзало возводить свои взоры выше очерченной обычаем округи. Зодчие, согбенные над чертежем здания, не о красоте одного помышляли, но как приобретут ею себе стяжание. Возгнушался я моего пышного тщеславия и отвратил очи мои. — Но паче всего уязвило душу мою изливание моих щедрот. Я мнил в ослеплении моем, что ненужная казна



общественная на государственные надобности не может лучше употребиться, как на вспоможение нищего, на оделние нагого, на прокормление алчущего, или на поддержание погибающего противным случаем, или на мзду не радящему о стяжании достоинству и заслуге. Но сколь прискорбно было видеть, что щедроты мои изливались на богатого, на льстеца, на вероломного друга, на убийцу иногда тайного, на предателя и разрушителя общественной доверенности, на уловившего мое пристрастие, на снисходящего моим слабостям, на жену, кичащуюся своим бесстыдством. Едва-едва досызали слабые источники моего щедроты застенчивого достоинства и стыдливые заслуги. Слезы пролились из очей моих и сокрыли от меня толь бедственные представления безрассудной моей щедроты. — Теперь ясно я видел, что знаки почестей, мною раздаваемые, всегда доставались в удел недостойным. Достоинство неопытное, пораженное первым блеском сих мнимых блаженств, вступало в единый путь с ласкательством и подлостью духа, на снисkanie почестей, вожделенной смертных мечты; но, влача косвенно стопы свои, всегда на первых степенях изнемогало и довольствоваться было осуждаемо собственным своим одобрением, во уверении, что почести мирские суть пепел и дым. Видя во всем толикую превратность, от слабости моей и коварства министров моих проистекшую, видя, что нежность моя обращалась на жену, ищущую в любви моей удовлетворения своего только тщеславия и внешность только свою на услаждение мое устрояющую, когда сердце ее ощущало ко мне отвращение, — возревел я яростию гнева. — Недостойные преступники, злодеи! вещайте, почто во зло употребили доверенность господя вашего <sup>36</sup>? предстаньте ныне пред судию вашего. Вострепещите в окаменелости злодеяния вашего. Чем можете оправдать дела ваши? Что скажете во извинение ваше? Се он, его же призову из хижины уничтожения. Прииди, — вещал я старцу, коего созерцал в крае обширных моей области кроющегося под заросшею мхом хижиною, — прииди облегчить мое бремя; прииди и возврати покой томящемуся сердцу и востревоженному уму. — Изрекши сие, обратил я взор мой на мой сан, познал обширность моя обязанности, познал, откуда проистекает мое право и власть. Вострепетал во внутренности моей, убоялся служения моего. Кровь моя пришла в жестокое волнение, и я пробудился. — Еще не опомнившись, схватил я себя за

палец, но термового кольца на нем не было. О, если бы оно пребывало хотя на мизинце царей!

Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкою или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается.

### ПОДБЕРЕЗЬЕ <sup>37</sup>

Насилу очнуться я мог от богатырского сна, в котором я столько сгрезил. — Голова моя была свинцовой тяжелее, хуже, нежели бывает с похмелья у пьяниц, которые по неделе пьют запоем. Не в состоянии я был продолжать пути и трястися на деревянных дрогах (пружин у кибитки моей не было). Я вынул домашний лечебник; искал, нет ли в нем рецепта от головной дурноты, происходящей от бреда во сне и наяву. Лекарство со мною хотя всегда ездило в запасе, но, по пословице: на всякого мудреца довольно простоты, — против бреда я себя не предостерег, и от того голова моя, приехав на почтовый стан, была хуже болвана.

Вспомнил я, что некогда блаженной памяти нянюшка моя Клементьевна, по имени Прасковья, нареченная Пятница, охотница была до кофею и говаривала, что помогает он от головной боли. — Как чашек пять выпью, — говаривала она, — так и свет вижу, а без того умерла бы в три дни.

Я взялся за нянюшкино лекарство, но, не привыкнув пить вдруг по пяти чашек, попотчивал излишне для меня сваренным молодого человека, который сидел на одной со мной лавке, но в другом углу у окна. — Благодарю усердно, — сказал он, взяв чашку с кофеем. — Приветливый вид, взгляд неробкий, вежливая осанка, казалось, не кстати были к длинному полукафтанию и к примазанным квасом волосам. Извини меня, читатель, в моем заключении, я родился и вырос в столице, и, если кто не кудряв и не напудрен, того я ни во что не чту. Если и ты деревенщина и волос не пудришь <sup>38</sup>, то не осуди, буде, я на тебя не взгляну и пройду мимо.

Слово за слово я с новым моим знакомцом поладил. Узнал, что он был из Новгородской семинарии и шел пешком в Петербург повидаться с дядею, который был секретарем в губернском штате <sup>39</sup>. Но главное его намерение было, чтоб сыскать случай для приобретения науки. — Сколь великий недостаток еще у нас в пособиях просвещения, —

говорил он мне. — Одно сведение латинского языка не может удовлетворить разума, алчущего науки. Виргилия, Горация, Тита Ливия, даже Тацита почти знаю наизусть, но когда сравню знания семинаристов с тем, что я имел случай по счастью моему узнать, то почитаю училище наше принадлежащим к прошедшим столетиям. Классические авторы <sup>40</sup> нам все известны, но мы лучше знаем критические объяснения текстов, нежели то, что их до днесь делает приятными, что вечность для них уготовало. Нас учат философии, проходим мы логику, метафизику, ифику, богословие, но, по словам Кутейника <sup>41</sup> в «Недоросле», дойдем до конца философского учения и возвратимся вспять. Чему удивиться: Аристотель и схоластика донныне царствуют в семинариях. Я по счастью моему знаком стал в доме одного из губернских членов <sup>42</sup> в Новгороде, имел случай приобрести в оном малое знание во французском и немецком языках и пользовался книгами хозяина того дома. Какая разница в просвещении времен, когда один латинский язык был в училищах употребителен, с нынешним временем! Какое пособие к учению, когда науки не суть таинства, для сведущих латинский язык токмо отверсты, но преподаются на языке народном! — Но для чего, — прервав он свою речь, продолжал, — для чего не заведут у нас вышних училищ, в которых бы преподавались науки на языке общественном, на языке российском? Учение всем бы было внятнее; просвещение доходило бы до всех поспешнее, и одним поколением позже за одного латинщика нашлось бы двести человек просвещенных; по крайней мере в каждом суде был бы хотя один член, понимающий, что есть юриспруденция или законоучение. — Боже мой! — продолжал он с восклицанием, — если бы привести примеры из размышлений и разглагольствований судей наших о делах! Что бы сказали Гроций, Монтескью, Блекстон <sup>43</sup>! — Ты читал Блекстона? — Читал первые две части, на российский язык переведенные. Не худо бы было заставлять судей наших иметь сию книгу вместо святцов, заставлять их чаще в нее заглядывать, нежели в календарь. Как не потужить, — повторил он, — что у нас нет училищ, где бы науки преподавались на языке народном.

Вошедший почталион помешал продолжению нашей беседы. Я успел семинаристу сказать, что скоро желание его исполнится, что уже есть повеление об учреждении но-

вых университетов <sup>44</sup>, где науки будут преподаваться по его желанию. — Пора, государь мой, пора...

Между тем как я платил почталиону прогонные деньги, семинарист вышел вон. Выходя, выронил небольшой пук бумаги. Я поднял упавшее и не отдал ему. Не обличив меня, любезный читатель, в моем воровстве; с таким условием я и тебе сообщу, что я подтибрил. Когда же прочтешь, то знаю, что кражи моей наружу не выведешь; ибо не тот один вор, кто крал, но и тот, кто принимал, — так писано в законе русском. Признаюсь, я на руку нечист; где что немного похожее на рассудительное увижу, то тотчас стяну; смотри, ты не клади мыслей плохо. — Читай, что мой семинарист говорит:

Кто мир нравственный уподобил колесу, тот, сказав великую истину, не иное что, может быть, сделал, как взглянул на круглый образ земли и других великих в пространстве носящихся тел, изрек только то, что зрел. Поступая в познании естества, откроют, может быть, смертные тайную связь веществ духовных или нравственных с веществами телесными или естественными; что причина всех перемен, превращений, превратностей мира нравственного или духовного зависит, может быть, от кругообразного вида нашего обиталища и других к солнечной системе принадлежащих тел, равно, как и оно, кругообразных и коловращающихся... На мартиниста <sup>45</sup> похоже; на ученика Шведенборга <sup>46</sup>... Нет, мой друг! я пью и ем не для того только, чтоб быть живу, но для того, что в том нахожу немалое услаждение чувств. И покаюсь тебе, как отцу духовному, я лучше ночь просижу с пригоженькою девочкою и усну упоенный сладострастием в объятиях ее, нежели, зарывшись в еврейские или арабские буквы, в цыфири или египетские иероглифы, потщуся отделить дух мой от тела и рыскать в пространных полях бредоумствований, подобен древним и новым духовным витязям. Когда умру, будет время довольно на неосязательность, и душенька моя набродится досыта.

Оглянись назад, кажется, еще время то за плечами близко, в которое царствовало суеверие и весь его причет; невежество, рабство, инквизиция и многое кое-что. Давно ли то было, как Вольтер кричал <sup>47</sup> против суеверия до безголощины; давно ли Фридрих <sup>48</sup> неутолимый его был враг не токмо словом своим и деяниями, но, что для него страшнее, державным своим примером. Но в мире сем все приходит

на прежнюю степень, ибо все в разрушении свое имеет начало. Животное, прозябаемое, родится, растет, дабы произвести себе подобных, потом умереть и уступить им свое место. Бродящие народы собираются во грады, основывают царства, мужают, славятся, слабеют, изнемогают, разрушаются. Места пребывания их не видно; даже имена их погибнут. Христианское общество вначале было смиренно, кротко, скрывалось в пустынях и вертепах, потом усилилось, вознесло главу, устранилось с вертега пути, вдалось суеверию; в исступлении шло стезею, народам обыкновенною; воздвигло начальника, расширило его власть, и папа стал всесильный из царей. Лутер <sup>40</sup> начал преобразование, воздвиг раскол, изъялся из-под власти его и много имел последователей. Здание предубеждения о власти папской рушиться стало, стало исчезать и суеверие, истина нашла любителей, попрала огромный оплот предрассуждений, но недолго пребыла в сей стезе. Вольность мыслей вдалась необузданности. Не было ничего святого, на все посягали. Дошед до краев возможности, вольномыслие возвратится вспять. Сия перемена в образе мыслей предстоит нашему времени. Не дошли еще до последнего края беспрепятственного вольномыслия, но многие уже начинают обращаться к суеверию. Разверни новейшие таинственные творения <sup>50</sup>, возмнишь быти во времена схоластики и словопрений, когда о речениях заботился разум человеческий, не мысля о том, был ли в речении смысл; когда задачею любомудрия почиталось и на решение исследователей истины отдавали вопрос, сколько на игольном острии может уместиться душ.

Если потомкам нашим предлежит заблуждение, если, оставя естественность, гоняться будут за мечтаниями, то весьма полезный бы был труд писателя, показавшего нам из прежних деяний, шествие разума человеческого, когда, сотрясший мглу предубеждений, он начал преследовать истину до выпренностей ее и когда, утомленный, так сказать, своим бодрствованием, растлевать начинал паки свои силы, томиться и ниспускаться в туманы предрассудков и суеверия. Труд сего писателя бесполезен не будет; ибо, обнажая шествие наших мыслей к истине и заблуждению, устранит хотя некоторых от пагубных стези и заградит полет невежества; блажен писатель, если творением своим мог просветить хотя единого, блажен, если в едином хотя сердце посеял добродетель.

Счастливыми назваться мы можем: ибо не будем свидетели крайнего посрамления разумных твари. Ближние наши потомки счастливее нас еще быть могут. Но пары, в грязи омерзения почившие, уже воздымаются и предопределяются объяти зрения круг. Блаженны, если не узрим нового Магомета <sup>51</sup>; час заблуждения еще отдалится. Внемли, когда в умствованиях, когда в суждениях о вещах нравственных и духовных начинается ферментация и восстает муж твердый и предприимчивый на истину или на прельщение, тогда последует премена царств, тогда премена в исповеданиях.

На лестнице, по которой разум человеческий нисходит долженствует во тьму заблуждений, если покажем что-либо смешное и улыбкою соделаем добро, блаженны наречемся.

Бродя из умствования в умствование, о возлюбленные, блюдитесь, да не вступите на путь следующих исследований.

Вещал Акиба: вошел по стезе равви Иозуа в сокровенное место, я познал тройственное. Познал 1-е: не на восток и не на запад, но на север и юг обращаться довлеет. Познал 2-е: не на ногах стоящему, но восседая надлежит испражняться. Познал 3-е: не десницею, но шуйцею отирать надлежит задняя. На сие возразил Бен Газас: дотоле обесстудил еси чело свое на учителя, да извергающего присматривал? Ответствовал он: сии суть таинства закона; и нужно было, да сотворю сотворенное и их познаю.

Смотри Белев словарь <sup>52</sup>, статью Акиба.

## НОВГОРОД <sup>53</sup>

Гордитесь, тщеславные созидатели градов, гордитесь, основатели государств; мечтайте, что слава имени вашего будет вечна; столпите камень на камень до самых облаков; иссекайте изображения ваших подвигов и надписи, дела ваши возвещающие. Полагайте твердые основания правления законом непрременным. Время с острым рядом зубов смеется вашему кичению. Где мудрые Солоновы и Ликурговы законы <sup>54</sup>, вольность Афин и Спарты утверждавшие? — В книгах. — А на месте их пребывания пасутся рабы железом самовластия. — Где пышная Троя, где Карфага? <sup>55</sup> — Едва ли видно место, где гордо они стояли. — Курится ли таинственно единому существу нетленная жертва во

славных храмах древнего Египта? Великолепные оных остатки служат убежищем блеющему скоту во время средиденного зноя. Не радостными слезами благодарения всевышнему отцу они орошаемы, но смрадными извержениями скотского тела. — О! гордость, о! надменность человеческая, воззри на сие и познай, колико ты ползуща!

В таковых размышлениях подъезжал я к Новгороду, смотря на множество монастырей, вокруг одного лежащих.

Сказывают, что все сии монастыри, даже и на пятнадцать верст расстоянием от города находящиеся, заключались в оном; что из стен его могло выходить до ста тысяч войска. Известно по летописям, что Новгород имел народное правление. Хотя у их были князья, но мало имели власти. Вся сила правления заключалась в посадниках и тысяцких. Народ в собрании своем на вече был истинный государь. Область новгородская простиралась на севере даже за Волгу. Сие вольное государство стояло в Ганзейском союзе <sup>56</sup>. Старинная речь: кто может стать против бога и великого Новагорода, — служить может доказательством его могущества. Торговля была причиною его возвышения. Внутренние несогласия и хищный сосед совершили его падение.

На мосту вышел я из кибитки моей, дабы насладиться зрелищем течения Волхова. Не можно было, чтобы не пришел мне на память поступок царя Ивана Васильевича по взятии Новагорода. Уязвленный сопротивлением сея республики <sup>57</sup>, сей гордый, зверский, но умный властитель хотел ее разорить до основания. Мне зрится он с долбнею на мосту стоящ, так иные повествуют, приносяй на жертву ярости своей старейших и начальников новгородских. Но какое он имел право свирепствовать против них, какое он имел право присвоить Новгород? То ли, что первые великие князья российские жили в сем городе? Или что он писался царем всея Руси? Или что новгородцы были славенского племени? Не на что право, когда действует сила? Может ли оно существовать, когда решение запечатлется кровию народов? Может ли существовать право, когда ист силы на приведение его в действительность? Много было писано о праве народов, нередко имеют на него ссылку; но законоучители не помышляли, может ли быть между народами судия. Когда возникают между ими вражды; когда ненависть или корысть устремляет их друг на друга, судия

их есть меч. Кто пал мертв или обезоружен, тот и виновен; повинуются непрекословно сему решению, и апелляции на оное нет. — Вот почему Новгород принадлежал царю Ивану Васильевичу. Вот для чего он его разорил и дымящиеся его остатки себе присвоил. — Нужда, желание безопасности и сохранности созидают царства; разрушают их несогласие, ухищрение и сила. — Что ж есть право народное? — Народы, говорят законоучители, находятся один в рассуждении другого в таком же положении, как человек находится в отношении другого в естественном состоянии. — Вопрос: в естественном состоянии человека какие суть его права? Ответ: взгляни на него. Он наг, алчущ, жаждущ. Все, что взять может на удовлетворение своих нужд, все присволяет. Если бы что тому воспрепятствовать захотело, он препятствие удалит, разрушит и приобретет желаемое. Вопрос: если на пути удовлетворения нуждам своим он обрящет подобного себе, если, например, двое, чувствуя голод, восхотят насытиться одним куском, — кто из двух большее к приобретению имеет право? Ответ: тот, кто кусок возьмет. Вопрос: кто же возьмет кусок? Ответ: кто сильнее. — Неужели сие есть право естественное, неужели се основание права народного! — Примеры всех времен свидетельствуют, что право без силы было всегда в исполнении почитаемо пустым словом. — Вопрос: что есть право гражданское? Ответ: кто едет на почте, тот пустяками не занимается и думает, как бы лошадей поскорее промыслить.

### ИЗ ЛЕТОПИСИ НОВОГОРОДСКОЙ

Новгородцы с великим князем Ярославом Ярославичем вели войну и заключили письменное примирение. —

Новгородцы сочинили письмо для защищения своих вольностей и утвердили оное пятидесятью осьмью печатями. —

Новгородцы запретили у себя обращение чеканной монеты, введенной татарами в обращение. —

Новгород в 1420 году начал бить свою монету. —

Новгород стоял в Ганзейском союзе. —

В Новгороде был колокол, по звону которого народ собирался на вече для рассуждения о вещах общественных. —

Царь Иван письмо и колокол у новгородцев отнял. —

Потом — в 1500 году — в 1600 году — в 1700 году — году — Новгород стоял на прежнем месте.

Но не все думать о старине, не все думать о завтрашнем дне. Если беспрестанно буду глядеть на небо, не смотря на



то, что под погами, то скоро споткнушь и упаду в грязь... — размышлял я. Как ни тужи, а Новагорода попрежнему не населишь. Что бог даст вперед. — Теперь пора ужинать. Пойду к Карпу Дементьичу...

— Ба! ба! ба! добро пожаловать, откуда бог принес, — говорил мне приятель мой, Карп Дементьич, прежде сего купец третьей гильдии <sup>58</sup>, а ныне именитый гражданин. — По пословице, счастливый к обеду. Милости просим садиться. — Да что за пир у тебя? — Благодетель мой, я женил вчера парня своего. — Благодетель твой, — подумал я, — не без причины он меня так величает. Я ему, как и другие, пособил записаться в именитые граждане. Дед мой будто должен был по векселю 1000 рублей, кому, того не знаю, с 1737 году. Карп Дементьич в 1780 вексель где-то купил и какой-то приладил к нему протест. Явился он ко мне с искусным стряпчим, и в то время взяли они с меня милостиво одни только проценты за 50 лет, а занятой капитал мне весь подарили. — Карп Дементьич человек признательный. — Невестка, водки нечаянному гостю. — Я водки не пью. — Да хотя прикушай. Здоровья молодых... — и сели ужинать.

По одну сторону меня сел сын хозяйский, а по другую посадил Карп Дементьич свою молодую невестку... Прервем речь, читатель. Дай мне карандаш и листочек бумажки. Я тебе во удовольствие нарисую всю честную компанию и тем тебя причастным сделаю свадебной пирушке, хотя бы ты на Алеутских островах бобров ловил. Если точных не спишу портретов, то доволен буду их силуетами. Лаватер <sup>59</sup> и по них учит узнавать, кто умен и кто глуп.

Карп Дементьич — седая борода в восемь вершков от нижней губы. Нос кляпом, глаза ввалились, брови как смоль, кланяется об руку, бороду гладит, всех величает: благодетель мой. — Аксинья Парфентьевна, любезная его супруга. В шестьдесят лет бела, как снег, и красна, как маков цвет, губки всегда сжимает кольцом, ренского не пьет, перед обедом полчарочки при гостях, да в чулане стаканчик водки. Приказчик мужнин хозяину на счете покаявает: по приказанию Аксиньи Парфентьевны куплено годового запаса 3 пуда белил ржевских и 30 фунтов румян листовых... Приказчики мужнины — Аксиньины камердинеры. — Алексей Карпович, сосед мой застольный. Ни уса ни бороды, а нос уже багровый, бровями моргает, в кружок острижен, кланяется гусем, отряхая голову и поправляя

волосы. В Петербурге был сидельцем. На аршин когда меряет, то спускает на вершок; за то его отец любит как сам себя; на пятнадцатом году матери дал оплеуху. — Парасковья Денисовна, его новобрачная супруга, бела и румяна. Зубы как уголь <sup>60</sup>. Брови в нитку, чернее сажи. В компании сидит, потупя глаза, но во весь день от окошка не отходит и пялит глаза на всякого мужчину. Под вечерок стоит у калитки. Глаз один подбит. Подарок ее любезного муженька для первого дни; — а у кого догадка есть, тот знает за что.

Но, любезный читатель, ты уже зеваешь. Полно, видно, мне снимать силуеты. Твоя правда; другого не будет, как нос да нос, губы да губы. Я и того не понимаю, как ты на силуете белилы и румяна распознаешь.

— Карп Дементыч, чем ты ныне торгуешь? В Петербург не едешь, льну не привозишь, ни сахару, ни кофе, ни красок не покупаешь. Мне кажется, что торг твой тебе был не в убыток. — От него-то было я и разорился. Но на силу бог спас. Получив одним годом изрядный барышок, я жене построил здесь дом. На следующий год был льну неурожай, и я не мог поставить, что законтрактовал. Вот отчего я торговать перестал. — Помню, Карп Дементыч, что за тридцать тысяч рублей, забранных вперед, ты тысячу пуд льну прислал должникам на раздел. — Ей, больше не можно было, поверь моей совести. — Конечно и на заморские товары был в том году неурожай. Ты забрал тысяч на двадцать... Да, помню; на них пришла головная боль <sup>61</sup>. — Подлинно, благодетель, у меня голова так болела, что чуть не треснула. Да чем могут заимодавцы мои на меня жаловаться? Я им отдал все мое имение. — По три копейки на рубль. — Никак нет-ста, по пятнадцати. — А женин дом? — Как мне до него коснуться; он не мой. — Скажи же, чем ты торгуешь? — Ничем, ей, ничем. С тех пор, как я пришел в несостояние, парень мой торгует. Нынешним летом, слава богу, поставил льну на двадцать тысяч. — На будущее, конечно, законтрактует на пятьдесят, возьмет половину денег вперед и молодой жене построит дом... — Алексей Карпович только что улыбается. — Старинный шутник, благодетель мой. Полно молоть пустяки; возьмемся за дело. — Я не пью, ты знаешь. — Да хоть прикушай.

Прикушай, прикушай, — я почувствовал, что у меня щеки начали рдеть, и под конец пира я бы, как и другие,

напился пьян. Но, по счастью, век за столом сидеть нельзя, так как всегда быть умным невозможно. И по той самой причине, по которой я иногда дурачусь и брежу, на свадебном пиру я был трезв.

Вышед от приятеля моего Карпа Дементьича, я впал в размышление. Введенное повсюду вексельное право, то есть строгое и скорое по торговым обязательствам взыскание, почитал я доселе охраняющим доверие законоположением; почитал счастливым новых времен изобретением для усугубления быстрого в торговле обращения, чего древним народам на ум не приходило. Но отчего же, буде нет честности в дающем вексельное обязательство, отчего оно тщетная только бумажка? Если бы строгого взыскания по векселям не существовало, ужели бы торговля исчезла? Не заимодавец ли должен знать, кому он доверяет? О ком законоположение более пеших долженствует, о заимодавце ли или о должнике? Кто более в глазах человечества заслуживает уважения, заимодавец ли, теряющий свой капитал, для того что не знал кому доверил, или должник в оковах и в темнице. С одной стороны — легковёрность, с другой — почти воровство. Тот поверил, надеясь на строгое законоположение, а сей... А если бы взыскание по векселям не было столь строгое? Не было бы места легковёрию, не было бы, может быть, плутовства в вексельных делах... Я начал опять думать, прежняя система пошла к чорту, и я лег спать с пустою головою.

## БРОННИЦЫ <sup>62</sup>

Между тем как в кибитке моей лошадей переменили, я захотел посетить высокую гору, близь Бронниц находящуюся, на которой, сказывают, в древние времена, до пришествия, думаю, славян, стоял храм, славившийся тогда издаваемыми в оном прорицаниями, для слышания коих многие северные владельцы прихаживали. На том месте, повествуют, где ныне стоит село Бронницы, стоял известный в северной древней истории город Холмоград <sup>63</sup>. Ныне же на месте славного древнего капища построена малая церковь.

Восходя на гору, я вообразил себя преселенного в древность и пришедшего, да познаю от державного божества грядущее и обрящу спокойствие моей нерешимости. Боже-

ственный ужас объемлет мои члены, грудь моя начинает воздыматься, взоры мои тупеют и свет в них меркнет. Мне слышится глас, грому подобный, вещаяй: безумный! почто желаешь познати тайну, которую я сокрыл от смертных непроницаемым покровом неизвестности? Почто, о, дерзновенный! познати жаждешь то, что едина мысль предвечная постигать может? Ведай, что неизвестность будущего соразмерна бренности твоего сложения. Ведай, что предузнанное блаженство теряет свою сладость долговременным ожиданием, что прелестность настоящего веселия, нашед утомленные силы, немощна произвести в душе столь приятного дрожания, какое веселие получает от нечаянности. Ведай, что предузнанная гибель отнимает безвременно спокойствие, отравляет утехи, ими же наслаждался бы, если бы скончания их не предузнал. Чего ищешь, чадо безрасудное? Премудрость моя все нужное насадила в разуме твоём и сердце. Вопросы их во дни печали и обрящешь утешителей. Вопросы их во дни радости и найдешь обуздателей наглого счастья <sup>64</sup>. Возвратись в дом свой, возвратись к семье своей; успокой востревоженные мысли, вниди во внутренность свою, там обрящешь мое божество, там услышишь мое вещание. — И треск сильного удара, гремящего во власти Перуна <sup>65</sup>, раздался в долинах далеко. Я опомнился. Достиг вершины горы и, узрев церковь, возвел я руки на небо. Господи, — возопил я, — се храм твой, се храм, вещают, истинного, единого бога. На месте сем, на месте твоего ныне пребывания, повествуют, стоял храм заблуждения. Но не могу поверить, о всеильный! чтобы человек мольбу сердца своего воссылал ко другому какому-либо существу, а не к тебе. Мощная десница твоя, невидимо всюду простертая, и самого отрицателя всемогущия воли твоя нудит признавати природы строителя и содержателя. Если смертный в заблуждении своем странными, непристойными и зверскими нарицает тебя именованиями, почитание его однако же стремится к тебе, предвечному, и он трепещет пред твоим могуществом. Егова, Юпитер, Брама <sup>66</sup>; бог Авраама, бог Моисея, бог Конфуция, бог Зороастра, бог Сократа, бог Марка Аврелия, бог христиан, о, бог мой! ты един повсюду. Если в заблуждении своем смертные, казалось, не тебя чтили единого, но боготворили они твои несравненные силы, твои неугодные дела. Могущество твое, везде и во всем ощущаемое, было везде и во всем

поклоняемо. Безбожник, тебя отрицающий, признавая природы закон непременный, тебе же приносит тем хвалу, хваля тебя паче нашего песнопения. Ибо, проникнутый до глубины своею изящностью твоего творения, ему предстоит трепетен. — Ты ищешь, отец всещедрый, искреннего сердца и души непорочной; они отверсты везде на твое пришествие. Сними, господи, и воцарися в них. — И пребыл я несколько мгновений отринoven окрестных мне предметов, ниспед во внутренность мою глубоко. — Возвед потом очи мои, обратив взоры на близь стоящие селения; се хижины уничтожения, — вещал я, — на месте, где некогда град великий гордые возносил свои стены. Ни малейшего даже признака оных не осталось. Рассудок претит имети веру и самой повести: столь жаждущ он убедительных и чувственных доводов. — И все, что зрим, прейдет; все рушится, все будет прах. Но некий тайный глас вещает мне, пребудет нечто во веки живо.

С течением времен все звезды помрачатся, померкнет солнца блеск; природа, обветшав лет дряхлостью, падет.

Но ты во юности бессмертной процветешь, незаблемый среди сражения стихиев, развалин вещества, миров всех разрушенья \*.

### ЗАЙЦОВО <sup>68</sup>

В Зайцове на почтовом дворе нашел я давнышнего моего приятеля г. Крестьянкина. Я с ним знаком был с ребячества. Редко мы бывали в одном городе; но беседы наши, хотя не часты, были однако же откровенны. Г. Крестьянкин долго находился в военной службе и, наскучив жестокостями оной, а особливо во время войны, где великие насилия именем права войны прикрываются, перешел в статскую. По несчастию его, и в статской службе не избегнул того, отчего, оставляя военную, удалиться хотел. Душу он имел очень чувствительную и сердце человеколюбивое. Дознанные его столь превосходные качества доставили ему место председателя уголовной палаты. Сперва не хотел он на себя принять сего звания, но, помывлив несколько, сказал он мне: мой друг, какое обширное поле отверзается мне на удовлетво-

---

\* Смерть Катонова, трагедия Еддесонова <sup>67</sup>. Действ. V. Явл. 1.

рение любезнейшей склонности моей души! какое упражнение для мягкосердия! Сокрушим скипетр жестокости, который столь часто тягчит рамена невинности; да опустеют темницы и да не узрит их оплошная слабость, нерадивая неопытность, и случай во злодеяние да не вменится николи. О, мой друг! исполнением моей должности источу слезы родителей о чадах, воздыхания супругов; но слезы сия будут слезы обновления во благо. Но иссякнут слезы страждущей невинности и простодушия. Колико мысль сия меня восхищает, пойдем, ускорим отъезд мой. Может быть, скорое прибытие мое там нужно. Замедля, могу быть убийцею, не предупреждая заключения или обвинения прощением или разрешением от уз.

С таковыми мыслями поехал приятель мой к своему месту. Сколь же много удивился я, узнав от него, что он оставил службу и намерен жить всегда в отставке.

— Я думал, мой друг, — говорил мне г. Крестьянкин, — что услаждающую рассудок и обильную найду жатву в исполнении моей должности. Но вместо того нашел я в одной желчь и терние. Теперь, наскучив оною, не в силах будучи делать добро, оставил место истинному хищному зверю. В короткое время он заслужил похвалу скорым решением залежавшихся дел; а я прослыл копотким. Иные почитали меня иногда мздоимцем за то, что не спешил отягчить жребия несчастных, впадающих в преступление нередко поневоле. До вступления моего в статскую службу, приобрел я лестное для меня название человеколюбивого начальника. Теперь самое то же качество, коим сердце мое толико гордилось, теперь почитают послаблением или непозволительною поноровкою. Видел я решения мои осмеянными в том самом, что их изящными делало; видел их оставляемыми без действия. С презрением взирал, что для освобождения действительного злодея и вредного обществу члена, или дабы наказать мнимые преступления лишением имени, чести, жизни, начальник мой, будучи не в силах меня преклонить на беззаконное очищение злодейства или на обвинение невинности, преклонял к тому моих сочленов, и нередко я видел благие мои расположения исчезающими, яко дым в пространстве воздуха. Они же, во маду своего гнусного послушания, получили почести, кои в глазах моих столь же были тусклы, сколь их прельщали своим блеском. Нередко в затруднительных случаях, когда уверение в невинности

названного преступником меня побуждало на мягкосердие, я прибегал к закону, дабы искати в нем подпору моей нерешимости; но часто в нем находил вместо человеколюбия жестокость, которая начало свое имела не в самом законе, но в его обветшалости. Несоразмерность наказания преступлению часто извлекала у меня слезы. Я видел (да и может ли быть иначе), что закон судит о деяниях, не касаясь причин, оные производивших. И последний случай, к таковым деяниям относящийся, понудил меня оставить службу. Ибо, не возмогши спасти виновных, мощною судьбы рукою в преступление вовлеченных, я не хотел быть участником в их казни. Не возмогши облегчить их жребия, омыл руки мои в моей невинности и удалился жестокосердия.

В губернии нашей жил один дворянин, который за несколько уже лет оставил службу. Вот его послужной список. Начал службу свою при дворе истопником, произведен лакеем, камерлакеем, потом мундшенком; какие достоинства надобны для прехождения сих степеней придворныя службы, мне неизвестно. Но знаю то, что он вино любил до последнего издыхания. Пробыв в мундшенках лет 15, отослан был в герольдию <sup>69</sup>, для определения по его чину. Но он, чувствуя свою неспособность к делам, выпросился в отставку и награжден чином коллежского ассесора <sup>70</sup>, с которым он приехал в то место, где родился, то есть в нашу губернию, лет шесть тому назад. Отличная привязанность к своей отчизне нередко основание имеет в тщеславии. Человек низкого состояния, добившийся в знатность, или бедняк, приобретший богатство, сотрясши всю стыдливости застенчивость, последний и слабейший корень добродетели, предпочитает место своего рожденья на распростертые своея пышности и гордыни. Там скоро ассесор нашел случай купить деревню, в которой поселился с немалою своею семьсю. Если бы у нас родился Гогард<sup>71</sup>, то бы обильное нашел поле на карикатуры в семействе г. ассесора. Но я худой живописец; или если бы я мог в чертах лица читать внутренности человека с Лаватеровою пронизательностию, то бы и тогда картина ассесоровой семьи была примечания достойна. Не имея сих свойств, заставляю вещать их деяния, кои всегда истинные суть черты душевного образования.

Г. ассесор, произошед из самого низкого состояния, зрел себя повелителем нескольких сотен себе подобных. Сие вскружило ему голову. Не один он жаловаться может, что

употребление власти вскружает голову. Он себя почел высшего чина, крестьян почитал скотами, данными ему (едва не думал ли он, что власть его над ними от бога проистекает), да употребляет их в работу по произволению. Он был корыстолюбив, копил деньги, жесток от природы, вспыльчив, подл, а потому над слабейшими его надменен. Из сего судить можешь, как он обходился с крестьянами. Они у прежнего помещика были на оброке, он их посадил на пашню <sup>72</sup>, отнял у них всю землю, скотину всю у них купил по цене, какую сам определил, заставил работать всю неделю на себя, а дабы они не умирали с голоду, то кормил их на господском дворе, и то по одному разу в день, а иным давал из милости месячину <sup>73</sup>. Если который казался ему ленив, то сек розгами, плетьюми, батожем или кошками, смотря по мере лености; за действительные преступления, как то: кражу не у него, но у посторонних, не говорил ни слова. Казалось, будто хотел в деревне своей возобновить нравы древнего Лакедемона <sup>74</sup> или Запорожской сечи. Случилось, что мужики его для пропитания на дороге ограбили проезжего, другого потом убили. Он их в суд за то не отдал, но скрыл их у себя, объявля правительству, что они бежали; говоря, что ему прибыли не будет, если крестьянина его высекут кнутом и сошлют в работу <sup>75</sup> за злодеяние. Если кто из крестьян что-нибудь украл у него, того он сек как за леность или за дерзкий или остроумный ответ, но сверх того надевал на ноги колодки, кандалы, а на шею рогатку. Много бы мог я тебе рассказать его мудрых распоряжений; но сего довольно для познания моего ироя. Сожительница его полную власть имела над бабами. Помощниками в исполнении ее велений были ее сыновья и дочери, как то и у ее мужа. Ибо сделали они себе правилом, чтобы ни для какой нужды крестьян от работы не отвлекать. Во дворе людей было <sup>76</sup> один мальчик, купленный им в Москве, парикмахер дочернин да повариха старуха. Кучера у них не было, ни лошадей; разезжал всегда на пахотных лошадях. Плетьюми или кошками секли крестьян сами сыновья. По щекам били или за волосы таскали баб и девок дочери. Сыновья в свободное время ходили по деревне или в поле играть и бесчинничать с девками и бабами, и никакая не избегала их насилия. Дочери, не имея женихов, вымещали свою скуку над прядильницами, из которых они многих изуевали. Суди сам, мой друг, какой конец мог быть таковым



поступкам. Я заметил из многочисленных примеров, что русский народ очень терпелив, и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость. Сие самое и случилось с ассесором. Случай к тому подал неистовый и беспутный или, лучше сказать, зверский поступок одного из его сыновей.

В деревне его была крестьянская девка, недурна собою, сговоренная за молодого крестьянина той же деревни. Она понравилась середнему сыну ассесора, который употребил все возможное, чтобы ее привлечь к себе в любовь; но крестьянка верна пребывала в данном жениху ее обещании, что хотя редко в крестьянстве случается, но возможно. В воскресенье должно было быть свадьбе. Отец жениха, по введенному у многих помещиков обычаю, пошел с сыном на господский двор и понес повенечные <sup>77</sup> два пуда меду к своему господину. Сию-то последнюю минуту дворянчик и хотел употребить на удовлетворение своей страсти. Взял с собою обоих своих братьев и, вызвав невесту чрез постороннего мальчика на двор, потащил ее в клеть, зажав ей рот. Не будучи в силах кричать, она сопротивлялась всеми силами зверскому намерению своего молодого господина. Наконец, превозможенная всеми тремя, принуждена была уступить силе; и уже сие скверное чудовище начинал исполнением умышленное, как жених, возвратившись из господского дома, вошел на двор и, увидя одного из господчиков у клетки, усумнился о их злом намерении. Кликнув отца своего к себе на помощь, он быстрее молнии полетел ко клетю. Какое зрелище представилось ему. При его приближении затворилась клеть; но совокупные силы двух братьев немощны были удержать стремления разъяренного жениха. Он схватил близ лежащий кол и, вскоча в клеть, ударил вдоль спины хищника своей невесты. Они было хотели его схватить, но, видя отца женихова, бегущего с колом же на помощь, оставили свою добычу, выскочили из клетки и побежали. Но жених, догнав одного из них, ударил его колом по голове и ее проломил. Сии злодеи, желая отмстить свою обиду, пошли прямо к отцу и сказали ему, что, ходя по деревне, они встретились с невестою, с ней пошутили; что, увидя, жених ее начал их бить, будучи вспомогателем своим отцом. В доказательство показали проломленную у одного из братьев голову. Раздраженный до внутрен-

ности сердца болезнию своего рождения, отец вскипел гневом ярости. Немедля велел привести пред себя всех трех злодеев, — так он называл жениха, невесту и отца женихова. Представшим им пред него первый вопрос его был о том, кто проломил голову его сыну. Жених в сделанном не отперся, рассказав все происшествие. Как ты дерзнул, — говорил старый ассесор, — поднять руку на твоего господина? А хотя бы он с твоею невестою и ночь переспал накануне твоя свадьба, то ты ему за то должен быть благодарен. Ты на ней не женишься; она у меня останется в доме, а вы будете наказаны. — По таковом решении, жениха велел он сечь кошками немилосердно, отдав его в волю своих сыновей. Побой вытерпел он мужественно; неробким духом смотрел, как начали над отцем его то же производить истязание. Но не мог вытерпеть, как он увидел, что невесту господские дети хотели вести в дом. Наказание происходило на дворе. В одно мгновение выхватил он ее из рук ее похищающих, и освобожденные побежали оба со двора. Сие видя, барские сыновья перестали сечь старика и побежали за ними в погоню. Жених, видя, что они его настигать начали, выхватил заборину и стал защищаться. Между тем шум привлек других крестьян ко двору господскому. Они, соболезнуя о участи молодого крестьянина и имея сердце озлобленное против своих господ, его заступили. Видя сие, ассесор, подбежав сам, начал их бранить и первого, кто встретился, ударил своею тростью столь сильно, что упал бесчувствен на землю. Сие было сигналом к общему наступлению. Они окружили всех четверых господ и, коротко сказать, убили их до смерти на том же месте. Толико ненавидели они их, что ни один не хотел миновать, чтобы не быть участником в сем убийстве, как то они сами после признались. В самое то время случилось ехать тут исправнику той округи с командою. Он был частию очевидным свидетелем сему происшествию. Взяв виновных под стражу, а виновных было половина деревни, произвел следствие, которое постепенно дошло до уголовной палаты. Дело было выведено очень ясно, и виновные во всем признавались, в оправдание свое приводя только мучительские поступки своих господ, о которых уже вся губерния была известна. Таковому делу я обязан был по долгу моего звания положить окончательное решение, приговорить виновных к смерти и вместо оной к торговой казни <sup>78</sup> и вечной работе.

Рассматривая сие дело, я не находил достаточной и убедительной причины к обвинению преступников. Крестьяне, убившие господина своего, были смертоубийцы. Но смертоубийство сие не было ли принужденно? Не причиною ли оногo сам убитый ассесор? Если в арифметике из двух данных чисел третье следует непрекословно, то и в сем происшествии следствие было необходимо. Невинность убийц, для меня по крайней мере, была математическая ясность. Если, идущу мне, нападет на меня злодей и, вознесши над главою моею кинжал, восхочет меня им пронзить, — убийцею ли я почтуса, если я предупрежду его в его злодеянии и бездыханного его к ногам моим повергну? Если нынешнего века скосырь, привлекший должное на себя презрение, восхочет оногo на мне отомстить, и, встретясь со мною в уединенном месте, вынув шпагу, сделает на меня нападение, да лишит меня жизни или, по крайней мере, да уязвит меня, — виновен ли я буду, если, извлеки мой меч на защищение мое, я избавлю общество от тревожащего спокойствие его члена? Можно ли почестъ деяние оскорбляющим сохранность члена общественного, если я исполню его для моего спасения, если оно предупредит мою пагубу, если без того благосостояние мое будет плачевно навеки?

Исполнен таковыми мыслями, можешь сам вообразить терзание души моей при рассмотрении сего дела. С обыкновенною откровенностью сообщил я мои мысли моим сочленам. Все возопили против меня единым гласом. Мягкосердые и человеколюбие почитали они виновным защищением злодеяний; называли меня поощрителем убийства; называли меня сообщником убийцев. По их мнению, при распространении моих вредных мнений исчезнет домашняя сохранность. Может ли дворянин, говорили они, отныне жить в деревне покоен? Может ли он видеть веления его исполняемы? Если послушники воли господина своего, а паче его убийцы, невинными признаваемы будут, то повинование прервется, связь домашняя рушится, будет паки хаос, в начальных обществах обитающий. Земледелие умрет, орудия его сокрушатся, нива запустеет и бесплодным порастет златком; поселяне, не имея над собою власти, скитаться будут в лености, тунеядстве и разьидутся. Города почувствуют властодержавную десницу разрушения. Чуждо будет гражданам ремесло, рукоделие скончает свое прилежание и рачительность, торговля иссякнет в источнике своем, бо-

гатство уступит место скаредной нищете, великолепнейшие здания обветшают, законы затмятся и порастут недействительностию. Тогда огромное сложение общества начнет валиться на части и издыхати в отдаленности от целого; тогда престол царский, где ныне опора, крепость и сопряжение общества зиждутся, обветшает и сокрушится; тогда владыка народов почтется простым гражданином, и общество узрит свою кончину. Сию достойную адския кисти картину тщилися мои сотоварищи предлагать взорам всех, до кого слух о сем деле доходил. Председателю нашему, — вещали они, — сродно защищать убийство крестьян. Спросите, какого он происхождения? Если не ошибаемся, он сам в молодости своей изволил ходить за сохою. Всегда новостатейные сии дворянчики странные имеют понятия о природном над крестьянами дворянском праве. Если бы от него зависело, он бы, думаем, всех нас поверстал в однодворцы <sup>79</sup>, дабы тем уравнивать с нами свое происхождение. — Такими-то словами мнили сотоварищи мои оскорбить меня и ненавистным сделать всему обществу. Но сим не удовольствовались. Говорили, что я приял мзду от жены убитого ассесора, да не лишится она крестьян своих отсылкою их в работу, и что сия то истинная была причина странным и вредным моим мнениям, право всего дворянства вообще оскорбляющим. Несмысленные думали, что посмеяние их меня уязвит, что клевета поругает, что лживое представление доброго намерения от оного меня отвлечет! Сердце мое им было неизвестно. Не знали они, что нетрепетен всегда предстою собственному моему суду, что ланиты мои не рдели багровым румянцем совести.

Мздоимство мое основали они на том, что ассесорша за мужнину смерть мстить не желала, а, сопровождаема своею корыстию и следуя правилам своего мужа, желала крестьян избавить от наказания, дабы не лишиться своего имения, как то она говорила. С таковою просьбою она приезжала и ко мне. На прощение за убиение ее мужа я с ней был согласен, но разнствовали мы в побуждениях. Она уверяла меня, что сама довольно их накажет, а я уверял ее, что, оправдывая убийцев ее мужа, не надлежало их подвергать более той же крайности, дабы паки не были злодеями, как то их называли несвойственно.

Скоро и а м е с т н и к известен стал о моем по сему делу мнении, известен, что я старался преклонить сотоварищей

моих на мои мысли и что они начинали колебаться в своих рассуждениях; к чему однако же не твердость и убедительность моих доводов способствовали, но деньги ассесорши. Будучи сам воспитан в правилах неоспоримой над крестьянами власти, с моими рассуждениями он не мог быть согласен и вознегодовал, усмотрев, что они начинали в суждении сего дела преимуществовать, хотя ради различных причин. Посылает он за моими сочленами, увещевает их, представляет гнусность таких мнений, что они оскорбительны для дворянского общества, что оскорбительны для верховной власти, нарушая ее законоположения; обещает награждение исполняющим закон, претя мщением неповинующимся оному; и скоро сих слабых судей, не имеющих ни правил в размышлениях, ни крепости духа, преклоняет на прежние их мнения. Не удивился я, увидев в них перемену, ибо не дивился и прежде в них воспоследовавшей. Сродно хвильным, робким и подлым душам содрогаться от угрозы власти и радоваться ее приветствию.

Наместник наш, превратив мнения моих сотоварищей, вознамерился и ласкал себя, может быть, превратить и мое. Для сего намерения позвал меня к себе поутру в случившийся тогда праздник. Он принужден был меня позвать, ибо я не хаживал никогда на сии безрассудные поклонения, которые гордость почитает в подчиненных должностию, лесть нужными, а мудрец мерзительными и человечеству поносными. Он избрал нарочно день торжественный, когда у него много людей было в собрании; избрал нарочно для слова своего публичное собрание, надеясь, что тем разительнее убедит меня. Он надеялся найти во мне или боязнь души или слабость мыслей. Против того и другого устремил он свое слово. Но я за нужное не нахожу пересказывать тебе все то, чем надменность, ощущение власти и предубеждение к своему проницанию и учености одушевляло его витийство. Надменности его ответствовал я равнодушием и спокойствием, власти — непоколебимостию, доводам — доводами и долго говорил хладнокровно. Но наконец содрогшееся сердце разлило свое избыточество. Чем больше видел я угождения в предстоящих, тем порывистее становился мой язык. Незыблемым гласом и звонким произношением возопил я наконец сие. Человек рождается в мир равен во всем другому. Все одинаковые имеем члены, все имеем разум и волю. Следственно, человек без отношения к обще-

ству есть существо, ни от кого не зависящее в своих действиях. Но он кладет оным преграду, согласуется не во всем своей единой повиноваться воле, становится послушен велениям себе подобного, словом, становится гражданином<sup>80</sup>. Какая же ради вины обуздывает он свои хотения? почто поставляет над собою власть? почто беспределен в исполнении своей воли, послушания чертою оную ограничивает? Для своей пользы, — скажет рассудок; для своей пользы, — скажет внутреннее чувство; для своей пользы, — скажет мудрое законоположение. Следственно, где нет его пользы быть гражданином, там он и не гражданин. Следственно, тот, кто восхощет его лишит пользы гражданско-го звания, есть его враг. Против врага своего он защиты и мщения ищет в законе. Если закон или не в силах его заступит, или того не хочет, или власть его не может мгновенное в предстоящей беде дать вспомоществование, тогда пользуется гражданин природным правом защищения, сохранности, благосостояния. Ибо гражданин, становясь гражданином, не перестает быть человеком, коего первая обязанность, из сложения его происходящая, есть собственная сохранность, защита, благосостояние. Убийенный крестьянами ассесор нарушил в них право гражданина своим зверством. В то мгновение, когда он потакал насилию своих сыновей, когда он к болезни сердечной супругов присовокуплял поругание, когда на казнь подвигался, видя сопротивление своему адскому властвованию, — тогда закон, стрегущий гражданина, был в отдаленности, и власть его тогда была неощутительна; тогда возрождался закон природы, и власть обиженного гражданина, неотъемлемая законом положительным в обиде его, приходила в действительность; и крестьяне, убившие зверского ассесора, в законе обвинения не имеют. Сердце мое их оправдает, опираясь на доводах рассудка, и смерть ассесора, хотя насильственная, есть правильна. Да не возмнит кто-либо искать в благоразумии политики, в общественной тишине довода к осуждению на казнь убийцев в злобе дух испутившего ассесора. Гражданин, в каком бы состоянии небо родиться ему ни судило, есть и пребудет всегда человек; а доколе он человек, право природы, яко обильный источник благ, в нем не иссякнет никогда; и тот, кто дерзнет его уязвить в его природной и ненарушимой собственности, тот есть преступник. Горе ему, если закон гражданский его не

накажет. Он замечен будет чертою мерзения в своих согражданах, и всяк, имея довольно сил, да отмстит на нем обиду, им соделанную. — Умолк. Наместник не говорил мне ни слова; изредка подымал на меня поникшие взоры, где господствовала ярость бессилия и мести злоба. Все молчали в ожидании, что, оскорбитель всех прав, я взят буду под стражу. Изредка из уст раболепия слышалось журчание негодования. Все отвращали от меня свои очи. Казалося, что близь стоящих меня объял ужас. Неприметно удалилися они, как от зараженного смертоносною язвою. Наскучив зрелищем толикого смещения гордыни с нижнейшею подлостью, я удалился из сего собрания льстецов.

Не нашед способов спасти невинных убийц, в сердце моем оправданных, я не хотел быть ни сообщником в их казни, ниже оной свидетелем; подал прошение об отставке и, получив ее, еду теперь оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния и услаждать мою скуку обхождением с друзьями. — Сказав сие, мы расстались и поехали всяк в свою сторону.

Сей день путешествие мое было неудачно; лошади были худы, выпрягались поминутно; наконец, спускаясь с небольшой горы, ось у кибитки переломилась, и я далее ехать не мог. — Пешком ходить мне в привычку. Взяв посошок, отправился я вперед к почтовому стану. Но прогулка по большой дороге не очень приятна для петербургского жителя, непохожа на гулянье в Летнем саду или в Баба<sup>81</sup>, скоро она меня утомила, и я принужден был сесть.

Между тем как я, сидя на камне, чертил на песке фигуры кой-какие, нередко кривобокие и кривоугольные, думал я и то и сё, скачет мимо меня коляска. Сидящий в ней, увидев меня, велел остановиться, — и я в нем узнал моего знакомого. — Что ты делаешь? — сказал он мне. — Думаю думаю. Времени довольно мне на размышление; ось переломилась. Что нового? — Старая дрянь. Погода по ветру, то слякоть, то ведро. А!.. Вот новенькое. Дурындин женился. — Неправда. Ему уже лет с восемьдесят. — Точно так. Да вот к тебе письмо... Читай на досуге; а мне нужно поспешать. Прости, — и расстались.

Письмо было от моего приятеля. Охотник до всяких новостей, он обещал меня в отсутствии снабжать оными и сдержал слово. Между тем к кибитке моей подделали новую ось, которая по счастью была в запасе. Едучи, я читал,

## Любезный мой!

На сих днях совершился здесь брак между 78-летним молодцом и 62-летней молодкою. Причину толь престарелому спарению отгадать тебе трудненько, если оной не скажу. Распусти уши, мой друг, и услышишь. — Госпожа Ш... — витязь в своем роде не последний, 62 лет, вдова с 25-летнего своего возраста. Была замужем за купцом, неудачно торговавшим; лицом смазлива; оставшись после мужа бедною сиротою и ведая о жестокосердии собратий своего мужа, не захотела прибегнуть к прошению надменной милостыни, но за благо рассудила кормиться своими трудами. Доколе красота юности водилась на ее лице, во всегдашней была работе и щедрую получала от охотников плату. Но сколь скоро заметила, что красота ее начинала увядать и любовные заботы уступили место скучливому одиночеству, то взялась она за ум и, не находя больше покупателей на обветшалые свои прелести, начала торговать чужими, которые если не всегда имели достоинство красоты, имели хотя достоинство новости. Сим способом нажив себе несколько тысяч, она с честью изъяслась из презрительного общества сводень и начала в рост отдавать деньги, своим и чужим бесстыдством нажитые. По времени забыто прежнее ее ремесло, и бывшая сводня стала нужная в обществе мотов тварь. Прожив покойно до 62 лет, нелегкое надоумило ее собраться замуж. Все ее знакомые тому дивятся. Приятельница ее ближняя Н... приехала к ней. — Слух носится, душа моя, — говорит она поседелой невесте, — что ты собралась замуж. Мне кажется солгано. Какой-нибудь насмешник выдумал сию басню.

Ш. Правда совершенная. Завтра сговор, приезжай пировать с нами.

Н. Ты с ума сошла. Неужели старая кровь разыгралась; неужели какой молокосос подбил к тебе под крылышко?

Ш. Ах, матка моя! не кстати ты меня наравне с молодыми считаешь ветреницами. Я мужа беру по себе...

Н. Да то я знаю, что придет по тебе. Но вспомни, что уже нас любить нельзя и не для чего, разве для денег.



Ш. Я такого не возьму, который бы мне мог изменить. Жених мой меня старше 16 годами.

Н. Ты шутишь!

Ш. По чести правда: барон Дурындин.

Н. Нельзя этому статься.

Ш. Присзжай завтра ввечеру: ты увидишь, что лгать не люблю.

Н. А хотя и так, ведь он не на тебе женится, но на твоих деньгах.

Ш. А кто ему их даст? Я в первую ночь так не обезумею, чтобы ему отдать все мое имение; уже то время давно прошло. Табакерочка золотая, пряжки серебряные и другая дрянь, оставшаяся у меня в закладе, которой с рук нельзя сбыть. Вот весь барыш любезного моего женишка. А если он неугомонно спит, то сгоню с постели.

Н. Ему хоть табакерочка перепадет, а тебе в нем что проку?

Ш. Как, матка? Сверх того, что в нынешние времена не худо иметь хороший чин, что меня называть будут, ваше высокородие, а кто поглупее — ваше превосходительство, но будет таки кто-нибудь, с кем в долгие зимние вечера можно хоть поиграть в бирюльки. А пыне сиди, сиди, все одна; да и того удовольствия не имею, когда чхну, чтоб кто говорил: здравствуй. А как муж будет свой, то какой бы насморк ни был, все слышать буду: здравствуй, мой свет, здравствуй, моя душенька...

Н. Прости, матушка...

Ш. Завтра сговор, а через неделю свадьба.

Н. (Уходит).

Ш. (Чхает). Небось не воротится. То ли дело, как муж свой будет!

Не дивись, мой друг! на свете все колесом вертится. Сегодня умное, завтра глупое в моде. Надеюсь, что и ты много увидишь дурындиных. Если не женитьбою всегда они отличаются, то другим чем-либо. А без дурындиных свет не простоял бы трех дней.

## КРЕСТЬЦЫ <sup>82</sup>

В Крестьцах был я свидетелем расставания у отца с детьми, которое меня тем чувствительнее тронуло, что я сам отец и скоро, может быть, с детьми расставаться буду. Несчастный

предрассудок дворянского звания велит им идти в службу. Одно название сие приводит всю кровь в необычайное движение! Тысячу против одного держать можно, что из ста дворянчиков, вступающих в службу, 98 становятся повесами, а два под старость или, правильнее сказать, два в дряхлые их, хотя нестарые, лета становятся добрыми людьми. Прочие происходят в чины, расточают или наживают имение и проч.... Смотри иногда на большого моего сына и размышляя, что он скоро войдет в службу, или, другими словами, что птичка вылетит из клетки, у меня волосы дыбом становятся. Не для того, чтобы служба сама по себе развращала нравы; но для того, чтобы со зрелыми нравами надлежало начинать службу. — Иной скажет: а кто таких молокососов толкает в шею? — Кто? Пример общий. Штаб-офицер семнадцати лет; полковник двадцатилетний; генерал двадцатилетний; камергер, сенатор, наместник, начальник войск. И какому отцу не захочется, чтобы дети его, хотя в малолетстве, были в знатных чинах, за которыми идут в след богатство, честь и разум. — Смотри на сына моего, представляется мне: он начал служить, познакомился с вертопрахами, распутными, игроками, щеголями. Выучился чистенько наряжаться, играть в карты, картами доставать прокормление, говорить обо всем ничего не мысля, таскаться по девкам или врать чепуху барыням. Каким-то образом фортуна, вертясь на курей ножке, приголубила его; и сынок мой, не брея еще бороды, стал знатным боярином. Возмечтал он о себе, что умнее всех на свете. Чего доброго ожидать от такого полководца или градоначальника? — Скажи поистине, отец чадолюбивый, скажи, о, истинный гражданин! не захочется ли тебе сынка твоего лучше удавить, нежели отпустить в службу? Не больно ли сердцу твоему, что сынок твой, знатный боярин, презирает заслуги и достоинства, для того что их участь пресмыкаться в стезе чинов, пронырства гнушаяся? Не возрыдаешь ли ты, что сынок твой любезный с приятною улыбкою отнимать будет имение, честь, отравлять и резать людей, не своими всегда боярскими руками, но посредством лап своих любимцев.

Крестницкий дворянин, казалось мне, был лет пятидесяти. Редкие седины едва пробивались сквозь светлорусые власы главы его. Правильные черты лица его знаменовали души его спокойствие, страстям непреступное. Нежная

улыбка безмятежного удовольствия, незлобием рождаемого, изрыла ланиты его ямками, в женщинах столь прельщающими; взоры его, когда я вошел в ту комнату, где он сидел, были устремлены на двух его сыновей. Очи его, очи благо-растворенного рассудка, казались подернуты легкою пленною печали; но искры твердости и упования пролетали оную быстротечно. Пред ним стояли два юноши, возраста почти равного, единым годом во времени рождения, но не в шестии разума и сердца они разнствовали между собою. Ибо горячность родителя ускоряла во младшем развержение ума, а любовь братня умеряла успех в науках во старшем. Понятия о вещах были в них равные, правила жизни знали они равно, но остроту разума и движения сердца природы в них насадила различно. В старшем взоры были тверды, черты лица незыбки, являли начатки души неробкой и непоколебимости в предприятях. Взоры младшего были остры, черты лица шатки и непостоянны. Но плавное движение оных необманчивый был знак благих советов отчих. — На отца своего взирали они с несвойственною им робостию, от горести предстоящей разлуки происходящую, а не от чувствования над собою власти или начальства. — Редкие капли слез точились из их очей. — Друзья мои, — сказал отец, — сегодня мы расстанемся, — и, обняв их, прижал возрыдавших к перси своей. — Я уже несколько минут был свидетелем сего зрелища, стоя у дверей неподвижен, как отец, обратясь ко мне: — Будь свидетелем, чувствительный путешественник, будь свидетелем мне пред светом, сколь тяжко сердцу моему исполнять державную волю обычая. Я, отлучая детей моих от бдящего родительского ока, единственное к тому имею побуждение, да приобретут опытности, да познают человека из его деяний и, наскучив гремлением мирского жития, да оставят его с радостию; но да имут отишие в гонении и хлеб насущный в скудости. А для сего-то остаюся я на ниве моей. Не даждь, владыко всещедрый, не даждь им скитатися за милостынею вельмож и обретати в них утешителя! Да будет соболезнуай о них их сердце; да будет им творяй благостыню их рассудок. Воссядите и внемлите моему слову, еже пребывати во внутренности душ ваших долженствует. — Еще повторю вам, сегодня мы разлучимся. — С неизреченным услаждением зрю слезы ваши, орошающие ланиты вашего лица. Да отнесет сие души вашей зыбление совет мой во святая ея, да вос-

колеблется она при моем воспоминании и да буду отсутствием оградою вам от зол и печалей.

Прияв вас даже от чрева материя в объятии мои, не восхотел николи, чтобы кто-либо был рачителем в исполнениях, до вас касающихся. Никогда наемная рачительница не касалась телеси вашего и никогда наемный наставник не коснулся вашего сердца и разума. Неусыпное око моея горячности бдело над вами денноночно, да не приблизится вас оскорбление; и блажен нарицаюся, доведши вас до разлучения со мною. Но не воображайте себе, чтобы я хотел исторгнуть из уст ваших благодарность за мое о вас попечение, или же признание, хотя слабое, ради вас мною соделанного. Вождаем собственныя корысти побуждением, предпринятое на вашу пользу имело всегда в виду собственное мое услаждение. Итак изжените из мыслей ваших, что вы есте под властию моею. Вы мне ничем не обязаны. Не в рассудке, а меньше еще в законе хочу искати твердости союза нашего. Он оснуется на вашем сердце. Горе вам, если его в забвении оставите! Образ мой, преследуя нарушителя союза нашея дружбы, поженет его в сокровенности его и устроит ему казнь несносную, дондеже не возвратится к союзу. Еще вещаю вам, вы мне ничем не должны. Возарите на меня, яко на странника и пришельца, и если сердце ваше ко мне ощутит некую нежную склонность, то поживем в дружбе, в сем наивеличайшем на земли благоденствии. Если же оно без ощущения пребудет — да забвении будем друг друга, яко же нам не родитися. Дажь, всещедрый, сего да не узрю, отошед в недра твоя сие предваряй! Не должны вы мне ни за воскормление ни за наставление, а меньше всего за рождение. — За рождение? — Участники были ли вы в нем? Вопрошаемы были ли, да рождени будете? На пользу ли вашу родитися имели, или во вред? Известен ли отец и мать, рождая сына своего, блажен будет в житии или злополучен? Кто скажет, что, вступая в супружество, помышлял о наследии и потомках; а если имел сие намерение, то блаженства ли их ради произвести их желал, или же на сохранение своего имени? Как желать добра тому, кого не знаю, и что сие? Добром назваться может ли желание неопределенное, помаваемое неизвестностию? — Побуждение к супручеству покажет и вину рождения. Прельщенный душевною паче добротою матери вашея, нежели лепою лица, я употребил способ верный на взаимную

горячность, любовь искреннюю. Я получил мать вашу себе в супруги. Но какое было побуждение нашей любви? Взаимное услаждение; услаждение плоти и духа. Вкушая веселие, природой повеленное, о вас мы не мыслили. Рождение ваше нам было приятно, но не для вас. Произведение самого себя льстило тщеславию; рождение ваше было новый и чувственный, так сказать, союз, союз сердец подтверждающий. Он есть источник начальной горячности родителей к сынам своим; подкрепляется он привычкою, ощущением своей власти, отражением похвал сыновних к отцу. — Мать ваша равного со мною была мнения о ничтожности должностей ваших, от рождения проистекающих. Не гордилась она пред вами, что носила вас во чреве своем, не требовала признательности, питая вас своею кровию; не хотела почтения за болезни рождения, ни за скуку вскармливания сосцами своими. Она тщилась благою вам дать душу, яко же и сама имела, и в ней хотела насадить дружбу, но не обязанность, не должность, или рабское повиновение. Не допустил ее рок зрети плодов ее насаждений. Она нас оставила с твердостью хотя духа, но кончины еще не желала, зря ваше младенчество и мою горячность. Уподобляясь ей, мы совсем ее не потеряем. Она поживет с нами, доколе к ней не отыдем. Ведаете, что любезнейшая моя с вами беседа есть беседовать о родшей вас. Тогда, мнится, душа ее беседует с нами, тогда становится она нам присутственна, тогда в нас она является, тогда она еще жива. — И отирал вещающий капли задержанных в душе слез.

Сколь мало обязаны вы мне за рождение, толико же обязаны и за вскармливание. Когда я угощаю пришельца, когда питаю птенцов пернатых, когда даю пищу псу, лижущему мою десницу, — их ли ради сие делаю? — Отраду, увеселение или пользу в том нахожу мою собственную. С таким же побуждением производят вскармливание детей. Родившиеся в свет, вы стали граждане общества, в коем живете. Мой был долг вас воскормить; ибо, если бы допустил до вас кончину безвременную, был бы убийца. Если я рачительнее был в вскармлении вашем, нежели бывают многие, то следовал чувствованию моего сердца. Власть моя, да пекуся о вскармлении вашем или небрегу о нем; да сохраню дни ваши или расточителем в них буду; оставлю вас живых или дам умереть завременно, — есть ясное доказательство, что вы мне не обязаны в том, что живы. Если бы умерли от

моего о вас небрежения, как то многие умирают, мщение закона меня бы не преследовало. — Но, скажут, обязаны вы мне за учение и наставление. — Не моей ли я в том искал пользы, да благи будете. Похвалы, воздаваемые доброму вашему поведению, рассудку, знаниям, искусству вашему, распространяясь на вас, отражаются на меня, яко лучи солнечны от зеркала. Хваля вас, меня хвалят. Что успел бы я, если бы вы вдалились пороку, чужды были учения, тупы в рассуждениях, злобны, подлы, чувствительности не имея? Не только сострадатель был бы я в вашем косвенном хождении, но жертва, может быть, вашего неистовства. Но ныне спокоен остаюся, отлучая вас от себя; разум прям, сердце ваше крепко, и я живу в нем. О, друзья мои, сыны моего сердца! родив вас, многие имел я должности в отношении к вам, но вы мне ничем не должны; я ищу вашей дружбы и любви; если вы мне ее дадите, блажен отиду к началу жизни и не возмущуся при кончине, оставляя вас навеки, ибо поживу на памяти вашей.

Но, если я исполнил должность мою в воспитании вашем, обязан сказать ныне вам вину, почто вас так, а не иначе воспитывал и для чего сему, а не другому вас научил; и для того услышите повесть о воспитании вашем и познайте вину всех моих над вами деяний.

Со младенчества вашего принуждения вы не чувствовали. Хотя в деяниях ваших вождаемы были рукою моею, не ощущали однако же николи ее направления. Деяния ваши были предузнаты и предваряемы; не хотел я, чтобы робость или послушание повинования малейшею чертою ознаменовала на вас тяжесть своего перста. И для того дух ваш, нетерпящ веления безрассудного, кроток к совету дружества. Но, если, младенцам вам сущим, находил я, что уклонялись от пути, мною назначенного, устремляемы случайным ударением, тогда останавливал я ваше шествие или, лучше сказать, неприметно вводил в прежний путь, яко поток, оплоты прорывающий, искусною рукою обращается в свои берега.

Робкая нежность не присутствовала во мне, когда казалось, не рачил об охранении вас от неприязненности стихий и погоды. Желал лучше, чтобы на мгновение тело ваше оскорбилось преходящею болью, нежели дебели пребудете в возрасте совершенном! И для того почаству ходили вы босы, непокровенную имея главу; в пыли, в грязи возлежали

на отдохновение, на скамьи или на камни. Не меньше старался я удалить вас от убийственной пищи и питья. Труды наши лучшая была приправа в обеде нашем. Воспомните, с каким удовольствием обедали мы в деревне, нам неизвестной, не нашед дороги к дому. Сколь вкусен нам казался тогда хлеб ржаной и квас деревенский!

Не ропщите на меня, если будете иногда осмеяны, что не имеете казистого восшествия, что стоите, как телу вашему покойнее, а не как обычай или мода велит, что одеваетесь не со вкусом, что волосы ваши кудрятся рукою природы, а не чесателя. Не ропщите, если будете небрежены в собраниях, а особливо от женщин, для того что не умеете хвалить их красоту; но вспомните, что вы бегаєте быстро, что плаваете не утомляясь, что подымаете тяжести без натуги, что умеете водить соху, вскопать гряду, владеете косяю и топором, стругом и долотом; умеете ездить верхом, стрелять. Не опечальтесь, что вы скакать не умеете как скоморохи. Ведайте, что лучшее плясание ничего не представляет величественного; и если некогда тронуты будете зрением оною, то любострастие будет тому корень, все же другое оному постороннее. — Но вы умеете изображать животных и неодушевленных, изображать черты царя природы, человека. В живописи найдете вы истинное услаждение не токмо чувств, но и разума. — Я вас научил музыке, дабы дрожжащая струпа согласно вашим нервам возбуждала дремлющее сердце; ибо музыка, приводя внутренность в движение, делает мягкосердие в нас привычкою. — Научил я вас и варварскому искусству сражаться мечем. Но сие искусство да пребудет в вас мертво, доколе собственная сохранность того не востребует. Оно, уповаю, не сделает вас наглыми; ибо вы твердый имеете дух и обидою не сочтете, если осел вас улягнет или свинья смрадным до вас коснется рылом. — Не бойтесь сказать никому, что вы корову доить умеете, что шти и кашу сварите или зажаренный вами кусок мяса будет вкусен. Тот, кто сам умеет что сделать, умеет заставить сделать и будет на погрешности снисходителен, зная все в исполнении трудности.

Во младенчестве и отрочестве не отягощал я рассудка вашего готовыми размышлениями или мыслями чуждыми, не отягощал памяти вашей излишними предметами. Но, предложив вам пути к познаниям, с тех пор, как начали разума своего ощущати силы, сами шествуете к отверстой

вам стезе. Познания ваши тем основательнее, что вы их приобрели не твердя, как то говорят по пословице, как со-рока Якова. Следуя сему правилу, доколе силы разума не были в вас действующи, не предлагал я вам понятия о все-вышнем существе и еще менее об откровении. Ибо то, что бы вы познали прежде, нежели были разумны, было бы в вас предрассудок и рассуждению бы мешало. Когда же я узрел, что вы в суждениях ваших вождаетесь рассудком, то предложил вам связь понятий, ведущих к познанию бога; уверен во внутренности сердца моего, что всецедрому отцу приятнее зрети две непорочные души, в коих светильник познаний не предрассудком возжигается, но что они сами возносятся к начальному огню на возгорение. Предложил я вам тогда и о законе откровенном, не сокрывая от вас все то, что в опровержение оногo сказано многими. Ибо желал, чтобы вы могли сами избирать между млеком и желчью, и с радостью видел, что восприяли вы сосуд утешения неробко.

Преподавая вам сведения о науках, не оставил я ознакомить вас с различными народами, изучив вас языкам иностранным. Но прежде всего попечение мое было, да познаете ваш собственный, да умеете на оном изъяснять ваши мысли словесно и письменно, чтобы изъяснение сие было в вас непринужденно и поту на лице не производило. Английский язык, а потом латинский <sup>83</sup>, старался я вам известнее сделать других. Ибо упругость духа вольности, переходя в изображение речи, приучит и разум к твердым понятиям, столь во всяких правлениях нужным.

Но, если рассудку вашему предоставлял я направлять стопы ваши в стезях науки, тем бдетельнее тщился быть во нравственности вашей. Старался умерять в вас гнев мгновения, подвергая рассудку гнев продолжительный, мщение производящий. Мщение!.. душа ваша мерзит его. Вы из природного сего чувствительныя твари движения оставили только оберегательность своего сложения, поправ желание возвращать уязвления.

Ныне настало то время, что чувства ваши, дошед до совершенства возбуждения, но не до совершенства еще понятия о возбуждаемом, начинают тревожиться всякою внешностию и опасную производить зыбь во внутренности вашей. Ныне достигли времени, в которое, как то говорят, рассудок становится определителем делания и неделания; а лучше



сказать, когда чувства, доселе одержимые плавностию младенчества, начинают ощущать дрожание, или когда жизненные соки, исполнив сосуд юности, превышать начинают его воскраия, ища стезю свойственным для них стремлениям. Я сохранил вас неприступными доселе превратным чувств потрясениям, но не сокрыл от вас неведения покровом пагубных следствий совращения от пути умеренности в чувственном услаждении. Вы свидетели были, сколь гнусно избыточество чувственного насыщения, и возгнушались; свидетели были страшного волнения страстей, превысивших берега своего естественного течения, познали гибельные их опустошения и ужаснулись. Опытность моя, носяся над вами, яко новый Эгид<sup>84</sup>, охраняла вас от неправильных уязвлений. Ныне будете сами себе вожди и, хотя советы мои будут всегда светильником ваших начинаний, ибо сердце и душа ваша мне отверсты, но яко свет, отдаляясь от предмета, менее его освещает, тако и вы, отриновенны моего присутствия, слабое ощутите согрение моего дружбы. И для того преподам вам правила единожития и общежития, дабы по усмирении страстей не возгнушались деяний во оных свершенных и не познали, что есть раскаяние.

Правила единожития, елико то касаться может до вас самих, должны относиться к телесности вашей и нравственности. Не забывайте никогда употреблять ваших телесных сил и чувств. Упражнение оных умеренное укрепит их не истощая и послужит ко здравью вашему и долгой жизни. И для того упражняйтесь в искусствах, художествах и ремеслах, вам известных. Совершенствование в оных иногда может быть нужно. Неизвестно нам грядущее. Если неприятное счастье отымет у вас все, что оно вам дало, — богаты пребудете во умеренности желаний, кормясь делом рук ваших. Но если во дни блаженства все небрежете, поздно о том думать во дни печали. Нега, излечение и неумеренное чувств услаждение губят и тело и дух. Ибо изнуряяй тело невоздержностию изнуряет и крепость духа. Употребление же сил укрепит тело, а с ним и дух. Если почувствуешь отвращение к яствам и болезнь постучится у дверей, воспрями тогда от одра твоего, на нем же лелеешь чувства твои, приведи уснувшие члены твои в действие упражнением и почувствуешь мгновенное сил обновление; воздержки себя от пищи, нужной во здравии, и глад сделает пищу твою сладкою, огорчавшую от сытости. Помните все-

гда, что на утоление жады нужен только кусок хлеба и ковш воды. Если благодетельное лишение внешних чувствований, сон, удалится от твоего возглавия и не сможешь возобновить сил разумных и телесных, — беги из чертогов твоих и, утомив члены до усталости, возляги на одре твоём и почишь во здравие.

Будьте опрятны в одежде вашей; тело содержите в чистоте, ибо чистота служит ко здравью, а неопрятность и смрадность тела нередко отверзает неприметную стезю к гнусным порокам. Но не будьте и в сем неумеренны. Не гнушайтесь пособить, поднимая погрязшую во рве телегу, и тем облегчить упавшего; вымараете руки, ноги и тело, но просветите сердце. Ходите в хижины уничижения; утешайте томящегося нищетою; вкусите его брашна, и сердце ваше усладится, дав отраду скорбящему.

Ныне достигли вы, повторю, того страшного времени и часа, когда страсти пробуждаться начинают, но рассудок слаб еще на их обуздание. Ибо чаша рассудка без опытности на весах воли воздымется, а чаша страстей опустится мгновенно долу. И так к равновесию не иначе приблизиться можно, как трудолюбием. Трудитесь телом; страсти ваши не столь сильные будут иметь волнение; трудитесь сердцем, упражняясь в мягкосердии, чувствительности, соболезновании, щедроте, отпущении, и страсти ваши направятся ко благому концу. Трудитесь разумом, упражняясь в чтении, размышлении, разыскании истины или происшествий, и разум управлять будет вашею волею и страстями. Но не возмните в восторге рассудка, что можете сокрушить корени страстей, что нужно быть совсем бесстрастну. Корень страстей благ и основан на нашей чувствительности самую природою. Когда чувства наши, внешние и внутренние, ослабевают и притупляются, тогда ослабевают и страсти. Они благою в человеке производят тревогу, без нее же уснул бы он в бездействии. Совершенно бесстрастный человек есть глупец и истукан нелепый, невозможай ни благого, ни злого. Не достоинство есть воздержатися от худых помыслов, не могши их сотворить. Безрукий не может уязвить никого; но не может подать помощи утопающему, ни удержати на бреге падающего в пучину моря. — Итак умеренность во страсти есть благо; шествие во стезе средою<sup>85</sup> есть надежно. Чрезвычайность во страсти есть гибель; бесстрастие есть нравственная смерть. Яко же шественик,

отдаляясь среды стези, вдается опасности ввергнуться в тот или другой ров, таково бывает шествия во нравственности. Но буде страсти ваши опытностию, рассудком и сердцем направлены к концу благому, скинь с них бразды томного благоразумия, не сокращай их полета; мета их будет всегда величье; на нем едином остановиться они умеют.

Но, если я вас побуждаю не быть бесстрастными, паче всего потребна в юности вашей умеренность любовных страсти. Она природою насаждена в сердце нашем ко блаженству нашему. И так в возрождении своем никогда ошибиться не может, но в своем предмете и неумеренности. И так блюдитесь, да не ошибетесь в предмете любви вашей и да не почтете взаимною горячностью оныя образ. С благим же предметом любви неумеренность страсти сея будет вам неизвестна. Говоря о любви, естественно бы было говорить и о супружестве, о сем священном союзе общества, коего правила не природа в сердце начертала, но святость коего из начального обществ положения проистекает. Разуму вашему, едва шествие свое начинающему, сие бы было непонятно, а сердцу вашему, не испытывшему самолюбивую в обществе страсть любви, повесть о сем была бы вам неощутительна, а потому и бесполезна. Если желаете о супружестве иметь понятие, вспомните о родшей вас. Представьте меня с нею и с вами, возобновите слуху вашему глаголы наши и взаимные лобызания и приложите картину сию к сердцу вашему. Тогда почувствуете в нем приятное некое содрогание. Что оно есть? Познаете со временем; а днесь довольны будьте оною ощущением.

Приступим ныне вкратце к правилам общежития. Предписать их не можно с точностию, ибо располагаются они часто по обстоятельствам мгновения. Но, дабы, колико возможно, менее ошибаться, при всяком начинании спросите ваше сердце; оно есть благо и николи обмануть вас не может. Что вещает оно, то и творите. Следуя сердцу в юности, не ошибетесь, если сердце имеете благое. Но следовати возмнивый рассудку, не имея на браде власов, опытность возвещающих, есть безумец.

Правила общежития относятся ко исполнению обычаев и нравов народных, или ко исполнению закона, или ко исполнению добродетели. Если в обществе нравы и обычаи не противны закону, если закон не полагает добродетели преткновений в ее шествии, то исполнение правил общежи-

тия есть легко. Но где таковое общество существует? Все известные нам многими наполнены во нравах и обычаях, законах и добродетелях противоречиями. И от того трудно становится исполнение должности человека и гражданина, ибо нередко они находятся в совершенной противоположности.

Понеже добродетель есть вершина деяний человеческих, то исполнение ее ничем не долженствует быть препинаемо. Небреги обычаев и нравов, небреги закона гражданского и священного, столь святые в обществе вещи, буде исполнение оных отлучает тебя от добродетели. Не дерзай николи нарушения ее прикрывать робостию благоразумия. Благодарствен без нее будешь во внешности, но блажен ни-коли.

Последуя тому, что палагают на нас обычаи и нравы, мы приобретем благоприятство тех, с кем живем. Исполняя предписание закона, можем приобрести название честного человека. Исполняя же добродетель, приобретем общую доверенность, почтение и удивление, даже и в тех, кто бы не желал их ощущать в душе своей. Коварный Афинский сенат, подавая чашу с отравою Сократу <sup>86</sup>, трепетал во внутренности своей пред его добродетелию.

Не дерзай никогда исполнять обычая в предосуждение закона. Закон, каков ни худ, есть связь общества. И, если бы сам государь велел тебе нарушить закон, не повинуйся ему, ибо он заблуждает себе и обществу во вред. Да уничтожит закон, яко же нарушение одного повелевает; тогда повинуйся, ибо в России государь есть источник законов.

Но, если бы закон или государь, или бы какая-либо на земли власть, подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в оной неколебим <sup>87</sup>. Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже самой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою; и, если предадут тебя смерти, осмеяны будут, а ты поживешь на памяти благородных душ до скончания веков. Убойся заранее именовать благоразумием слабость в деяниях, сего первого добродетели врага. Сегодня нарушишь ее уважения ради какового, завтра нарушение ее казаться будет самою добродетелию; и так порок воцарится в сердце твоем и исказит черты непорочности в душе и на лице твоем.

Добродетели суть или частные или общественные. Побуждения к первым суть всегда мягкосердие, кротость, соболезнование, и корень всегда их благ. Побуждения к добродетелям общественным нередко имеют начало свое в тщеславии и любочестии. Но для того не надлежит останавливаться в исполнении их. Предлог, над ним же вращаются, придает им важности. В спасшем Курции<sup>88</sup> отечество свое от пагубоносных язвы никто не зрит ни тщеславного, ни отчаянного или наскучившего жизнию, но ироя. Если же побуждения наши к общественным добродетелям начало свое имеют в человеколюбивой твердости души, тогда блеск их будет гораздо больший. Упражняйтесь всегда в частных добродетелях, дабы могли удостоиться исполнения общественных.

Еще преподам вам некоторые исполнительные правила жизни. — Старайтесь паче всего во всех деяниях ваших заслужить собственное свое почтение, дабы, обращая во уединении взоры свои во внутрь себя, не токмо не могли бы вы раскаяваться о сделанном, но взирали бы на себя со благоговением.

Следуя сему правилу, удаляйтесь, елико то возможно, даже вида раболепствования. Вошед в свет, узнаете скоро, что в обществе существует обычай посещать в праздничные дни по утрам знатных особ; обычай скаредный, ничего не значущий, показующий в посетителях дух робости, а в посещаемом дух надменности и слабый рассудок. У римлян было похожее сему обыкновение, которое они называли амбицию, то-есть снискание или обхождение; а оттуда и любочестие названо амбицию, ибо посещениями именитых людей юноши снискивали себе путь к чинам и достоинствам. То же делается и ныне. Но если у римлян обычай сей введен был для того, чтобы молодые люди обхождением с испытанными научались, то сомневаюсь, чтобы цель в обычае сем всегда непорочно сохранилась. В наши же времена, посещая знатных господ, учения целию своею никто не имеет, но снискание их благоприятства. Итак, да не преступит нога ваша порога, отделяющего раболепство от исполнения должности. Не посещай николи передней знатного боярина, разве по долгу звания твоего. Тогда среди толпы презренной и тот, на кого она взирает с подобострастием, в душе своей тебя, хотя с негодованием, но от нее отличит.

Если случится, что смерть пресечет дни мои прежде, нежели в благом пути отвердеете, и, юны еще, восхитят вас страсти из стези рассудка, — то не отчаивайтесь, соглядая иногда превратное ваше шествие. В заблуждении вашем, в забвении самих себя, возлюбите добро. Распутное житие, безмерное любочестие, наглость и все пороки юности оставляют надежду исправления, ибо скользят по поверхности сердца, его не уязвляя. Я лучше желаю, чтобы во младых летах ваших вы были распутны, расточительны, наглы, нежели сребролюбивы или же чрезмерно бережливы, щеголеваты, занимаясь более убранством, нежели чем другим. Систематическое, так сказать, расположение в щегольстве означает всегда сжатый рассудок. Если повествуют, что Юлий Кесарь <sup>89</sup> был щеголь, но щегольство его имело цель. Страсть к женщинам в юности его была к сему побуждением. Но он из щеголя облекся бы мгновенно во смраднейшее рубище, если бы то способствовало к достижению его желаний.

Во младом человеке не токмо щегольство преходящее простительно, но и всякое почти дурачество. Если же наилучшими деяниями жизни прикрывать будете коварство, ложь, вероломство, сребролюбие, гордость, любомщение, зверство, — то хотя ослепите современников ваших блеском ясной наружности, хотя не найдете никого столь любящего вас, да представит вам зеркало истины, не мните однако же затмить взоры прозорливости. — Проникнет она светозарную ризу коварства, и добродетель черноту души вашей обнажит. Возненавидит ее сердце твое, и яко чувственница увядать станет прикосновением твоим, но мгновенно, но стрелы ее издали язвить тебя станут и терзать.

Простите, возлюбленные мои, простите, друзья души моей; днесь при сопутном ветре отчалите от берега чуждыя опытности ладью вашу; стремитесь по валам жития человеческого, да научитесь управлять сами собою. Блажени, не претерпев крушения, если достигнете пристанища, его же жаждем. Будьте счастливы во плавании вашем. Се искренное мое желание. Естественные силы мои, истощав движением и жизнью, изнемогут и угаснут; оставляю вас навеки; но се мое вам завещание. Если ненавистнос счастье истощит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на земли не останется, если, доведенну до крайности, не будет тебе покрова от угнетения, — тогда вспомни, что ты

человек, вспомяни величество твое, восхити венец блаженства, его же отъяти у тебя тщатся. — Умри. — В наследие вам оставляю слово умирающего Катона <sup>90</sup>. — Но, если во добродетели умрети сможешь, умей умереть и в пороке и будь, так сказать, добродетелен в самом зле. — Если, забыв мои наставления, поспешать будешь на злые дела, обыкшая душа добродетели востревожится; явлюся тебе в мечте. — Восприяни от ложка твоего, преследуй душевно моему видению. — Если тогда источится слеза из очей твоих, то усни паки; пробудишься на исправление. Но если среди злых твоих начинаний, вспоминая обо мне, душа твоя не зыбнется и око пребудет сухо... Се сталь, се отрава. — Избавь меня скорби; избавь землю поносных тяжести. — Будь мой еще сын. — Умри на добродетель.

Вещавшу сие старцу, юношеский румянец покрыл сморщенные ланиты его; взоры его испускали лучи надежного радования, черты лица сияли сверхъестественным веществом. — Он облобызал детей своих и, проводив их до повозки, пребыл тверд до последнего расставания. Но едва звон почтового колокольчика возвестил ему, что они начали от него удаляться, упругая сия душа смягчилась. Слезы проникли сквозь очей его, грудь его воздымалася; он руки свои простирал вслед за отъезжающими; казалось, будто желает остановить стремление коней. Юноши, узрев издали родшего их в такой печали, возрыдали столь громко, что ветер доносил жалостный их стон до слуха нашего. Они простирали также руки к отцу своему; и казалось, будто его к себе звали. Не мог старец снести сего зрелища; силы его ослабели, и он упал в мои объятия. Между тем пригорок скрыл отъехавших юношей от взоров наших; пришед в себя, старец стал на колени и возвел руки и взоры на небо: господи, — возопил он, — молю тебя, да укрепишь их в стезях добродетели, молю, блажени да будут. Веси, николи не утруждал тебя, отец всецедрый, бесполезною молитвою. Уверен в душе моей, яко благ еси и правосуден. Любезнейшее тебе в нас есть добродетель; деяния чистого сердца суть наилучшая для теби жертва... Отлучил я ныне от себя сынов моих... Господи, да будет на них воля твоя. — Смущен, но тверд в надеянии своем, отъехал он в свое жилище.

Слово крестницкого дворянина не выходило у меня из головы. Доказательства его о ничтожестве власти родителей над детьми казались мне неоспоримы. Но если в благоуч-

режденном обществе нужно, чтобы юноши почитали старцев, и неопытность — совершенство, то нет, кажется, нужды власть родительскую делать беспредельною. Если союз между отцом и сыном не на нежных чувствованиях сердца основан, то он, конечно, не тверд; и будет не тверд, вопреки всех законоположений. Если отец в сыне своем видит своего раба и власть свою ищет в законоположении, если сын почитает отца наследия ради, то какое благо из того обществу? Или еще один невольник в прибавок ко многим другим, или змия за пазухой... Отец обязан сына воскормить и научить и должен наказан быть за его проступки, доколе он не войдет в совершеннолетие; а сын должности свои да обрящет в своем сердце. Если он ничего не ощущает, то виновен отец, почто ничего не насадил. Сын же вправе требовати от отца вспомоществования, доколе пребывает немощен и малолетен; но в совершеннолетии естественная сия и природная связь рушится. Птенец пернатых не ищет помощи от произведших его, когда сам начнет находить пищу. Самец и самка забывают о птенцах своих, когда сии возмужают. Се есть закон природы. Если гражданские законы от него удалятся, то производят всегда урода. Ребенок любит своего отца, мать или наставника, доколе любление его не обратится ко другому предмету. Да не оскорбится сим сердце твое, отец чадолюбивый; естество того требует. Единное в том тебе утешение да будет, вспоминая, что и сын сына твоего возлюбит отца до совершенного только возраста. Тогда же от тебя зависеть будет обратить его горячность к тебе. Если ты в том успеешь, блажен и почтения достоин. — В таковых размышлениях доехал я до почтового стана.

### ЯЖЕЛБИЦЫ <sup>91</sup>

Сей день определен мне был судьбою на испытание. Я отец, имею нежное сердце к моим детям. Для того то слово крестичного дворянина меня столь тронуло. Но потрясши меня до внутренности, изливало некое усладительное чувствование надежды, что блаженство наше в отношении детей наших зависит много от нас самих. Но в Яжелбицах определено мне было быть зрителем позорища, которое глубокий корень печали оставило в душе моей, и нет надежды на его истребление. О, юность! услыши мою повесть;



познай свое заблуждение; воздержись от произвольных гибели и пресеки путь к будущему раскаянию.

Я проезжал мимо кладбища. Необыкновенный вопль терзающего на себе волосы человека понудил меня остановиться. Приблизясь, увидел я, что там совершалось погребение. Надлежало уже гроб опускать в могилу, но тот, которого я издали зрел терзающего на себе волосы, повергся на гроб и, ухватясь за оный весьма крепко, не дозволяя оный опускать в землю. С великим трудом отвлекли его от гроба, и, опустя оный в могилу, зарыли ее поспешно. Тут страждущий вещал к предстоящим: почто вы меня его лишили, почто меня с ним не погребли живого и не скончали моей скорби и раскаяния. Ведайте, ведайте, что я есмь убийца возлюбленного моего сына, его же мертвца предали земле. Не дивитесь сему. Я не прекратил жизни его ни мечем, ни отравою. Нет, я более сего сделал. Я смерть его уготовал до рождения его, дав жизнь ему отравленную. Я есмь убийца, каковых много, но есмь убийца лютейший других. Убийца сына моего до рождения его. Я, я един прекратил дни его, изливав томный яд в начало его. Он воспретил укрепиться силами тела его. Во все время жития своего не наслаждался он здравием ни дня единого; и томящегося в силах своих разверстие яда пресекло течение жизни. Никто, никто меня не накажет за мое злодеяние! — Отчаяние ознаменовалось на лице его, и бездыханна почти отнесли его с сего места.—

Нечаянный хлад разлился в моих жилах. Я оцепенел. Казалось мне, я слышал мое осуждение. Воспоманул дни распутныя моей юности. Привел на память все случаи, когда востревоженная чувствами душа гонялася за их услаждением, почитая мздоимную участницу любовныя утехи истинным предметом горячности. Воспоманул, что невоздержание в любострастии навлекло телу моему смрадную болезнь. О, если бы не далее она корень свой испускала! О, если бы она с утолением любострастия прерывалася! Прияв отраву сию в веселии, не токмо согреваем ее в недрах наших, но даем ее в наследие нашему потомству. О, друзья мои возлюбленные, о, чада души моей! Не ведаете вы, koliko согреших пред вами. Бледное ваше чело есть мое осуждение. Страшусь возвестить вам о болезни, иногда вами ощущаемой. Возненавидите, может быть, меня и в ненависти вашей будете справедливы. Кто уверит вас и меня, что вы не носите в крови вашей сокровенного жала, определен-

ного, да скончат дни ваши безвременно. Прияв сей смрадный яд в тело мое в совершенном возрасте, затверделость моих членов противилася его распространению и борется с его смертоносностию. Но вы, прияв его от рождения вашего, нося его в себе, как нужную часть сложения, — как воспротивитесь разрушительному его сожжению? Все ваши болезни суть следствия сея отравы. О, возлюбленные мои! плачьте о заблуждении моего юношества, призовите на помощь врачебное искусство и, если можете, не ненавидьте меня.

Но теперь отверзается очам моим все пространство сего любострастного злодеяния. Согрешил предо мною, навлекши себе безвременную старость и дряхлость в юношеских еще летах. Согрешил пред вами, отравив жизненные ваши соки до рождения вашего, и тем уготовил вам томное здравие и безвременную, может быть, смерть. Согрешил, и сие да будет мне в казнь, согрешил в горячности моей, взяв в супружество мать вашу. Кто мне порукою в том, что не я был причиною ее кончины? Смертоносный яд, источаясь в веселии, преселился в чистое ее тело и отравил непорочны ее члены. Тем смертоноснее он был, чем был сокровеннее. Ложная стыдливость воспретила мне ее в том предостеречь: она же не остерегалася отравителя своего и горячности своей к нему. Воспаление, ей приключившееся, есть плод, может быть, уделенной ей мною отравы... О, возлюбленные мои, колико должны вы меня ненавидеть!

Но кто причиною, что сия смрадная болезнь во всех государствах делает столь великие опустошения, не токмо пожиная много настоящего поколения, но сокращая дни грядущих? Кто причиною, разве не правительство? Оно, дозволяя распутство мздоимное, отверзает не токмо путь ко многим порокам, но отравляет жизнь граждан. Публичные женщины находят защитников, и в некоторых государствах состоят под покровительством начальства. Если бы, говорят некоторые, запрещено было наемное удовлетворение любовных страсти, то бы нередко были чувствуемы сильные в обществе потрясения. Увозы, насилия, убийство нередко бы источник свой имели в любовной страсти. Могли бы они потрясти и самые основания общества. — И вы желаете лучше тишину и с нею томление и скорбь, нежели тревогу и с нею здравие и мужество. Молчите, скаредные учителя, вы есте наемники мучительства; оно, проповедуя всегда

мир и тишину, заключает засыпляемых лестию в оковы. Бойтся оно даже посторонния тревоги. Желало бы, чтоб везде одинако с ним мыслили, дабы надежно лелеяться в величестве и утопать в любострастии... Я не удивляюся глаголам вашим. Сродно рабам желати всех зреть в оковах. Одинаковая участь облегчает их жребий, а превосходство чье-либо тягчит их разум и дух.

## ВАЛДАИ <sup>92</sup>

Новый сей городок, сказывают, населен при царе Алексее Михайловиче взятыми в плен поляками. Сей городок достопамятен в рассуждении любовного расположения его жителей, а особливо женщин незамужних.

Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разурмяненных девок? Всякого проезжающего наглые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться его щедростью на счет своего целомудрия. Сравнивая нравы жителей сея в города произведенныя деревни со нравами других российских городов, подумаешь, что она есть наидревнейшая и что развратные нравы суть единые токмо остатки ее древнего построения. Но как немного более ста лет, как она населена, то можно судить, сколь развратны были и первые его жители.

Бани бывали и ныне бывают местом любовных торжествований. Путешественник, условясь о пробывании своем с услужливою старушкою или парнем, становится на двор, где намерен приносить жертву всеобожжаемой Ладе <sup>93</sup>. Настала ночь. Баня для него уже готова. Путешественник раздевается, идет в баню, где его встречает или хозяйка, если молода, или ее дочь, или свойственницы ее, или соседки. Отирают его утомленные члены; омывают его грязь. Сие производят совлекши с себя одежды, возжигают в нем любострастный огонь, и он препровождает тут ночь, теряя деньги, здравие и драгоценное на путешествие время. Бывало, сказывают, что оплошного и отягченного любовными подвигами и вином путешественника сии любострастные чудовища предавали смерти, дабы воспользоваться его именем. Не ведаю, правда ли сие, но то правда, что наглость валдайских девок сократилася. И хотя они не откажутся и ныне

удовлетворить желаньям путешественника, но прежней наглости в них не видно.

Валдайское озеро, над которым построен сей город, достопамятно останется в повествованиях жертвовавшего монаха жизнью своею ради своей любовницы. В полуторе версте от города, среди озера, на острове находится Иверский монастырь, славным Никоном патриархом построенный. Один из монахов сего монастыря, посещая Валдаи, влюбился в дочь одного валдайского жителя. Скоро любовь их стала взаимною, скоро стремились они к совершению ее. Единжды насладившись ее веселием, не в силах они были противиться ее стремлению. Но состояние их полагало оному преграду. Любовнику нельзя было отлучаться часто из монастыря своего; любовнице нельзя было посещать кельи своего любовника. Но горячность их все преодолела; из любострастного монаха она сделала неустрашимого мужа и дала ему силы почти чрезвычайные. Сей новый Леандр <sup>94</sup>, дабы наслаждаться веселием ежедневно в объятиях своей любовницы, едва ночь покрывала черным покровом все зримое, выходил тихо из своей кельи и, совлекая свои ризы, преплывал озеро до противустоящего берега, где восприемлем был в объятия своей любезной. Баня и в ней утех любовные для него были готовы, и он забывал в них опасность и трудность преплывания, и боязнь, если бы отлучка его стала известна. За несколько часов до рассвета возвращался он в свою келью. Тако препроводил он долгое время в сих опасных преплываниях, награждая веселием ночным скуку дневного заключения. Но судьба положила конец его любовным подвигам. В одну из ночей, когда сей неустрашимый любовник отправился чрез валы на зрение своей любезной, внезапно восстал ветер, ему противный, будуще ему на среде пути его. Все силы его немощны были на преодоление разъяренных вод. Тщетно он утомлялся, напрягая свои мышцы; тщетно возвышал глас свой, да услышан будет в опасности. Видя невозможность достигнуть берега, вознамерился он возвратиться к монастырю своему, дабы, имея попутный ветер, тем легче одного достигнуть. Но едва обратил он шествие свое, как валы, осилив его утомленные мышцы, затопили его в пучине. На утро тело его найдено на отдаленном берегу. Если бы я писал поэму на сие, то бы читателю моему представил любовницу его в отчаянии. Но сие было бы здесь излишнее. Всяк знает, что любовнице,

хотя на первое мгновение, скорбно узнать о кончине любезного. Не ведаю и того, бросилась ли сия новая Геро в озеро, или же в следующую ночь паки топила баню для путешественника. Любовная летопись гласит, что валдайские красавицы от любви не умирали... разве в больнице.

Правы валдайские переселились и в близъ лежащий почтовый стан, Зимногорье<sup>95</sup>. Тут для путешественника такая же бывает встреча, как и в Валдаях. Прежде всего представляются взорам разурмяненные девки с баранками. Но как молодые мои лета уже прошли, то я поспешно расстался с мазанными валдайскими и зимногорскими сиренами.

### ЕДРОВО<sup>96</sup>

Доехав до жилья, я вышел из кибитки. Неподалеку от дороги над водою стояло много баб и девок. Страсть, господствовавшая во всю жизнь надо мною, но уже угасшая, по обыкшему ее стремлению направила стопы мои к толпе сельских сих красавиц. Толпа сия состояла болес нежели из тридцати женщин. Все они были в праздничной одежде, шеи голые, ноги босые, локти наруже, платье заткнутое спереди за пояс, рубахи белые, взоры веселые, здоровье на щеках начертанное. Приятности, заглубевшие хотя от зноя и холода, но прелестны без покрова хитрости; красота юности в полном блеске, в устах улыбка или смех сердечный; а от него виден становился ряд зубов, белее чистейшей слоновой кости. Зубы, которые бы щеголих с ума свели. Приезжайте сюда, любезные наши боярыньки московские и петербургские, посмотрите на их зубы, учитесь у них, как их содержать в чистоте. Зубного врача у них нет. Не сдирают они каждый день лоску с зубов своих ни щетками ни порошками. Станьте с которою из них вы хотите рот со ртом; дыхание ни одной из них не заразит вашего легкого. А ваше, ваше, может быть, положит в них начало... болезни... боюсь сказать какой: хотя не покраснеете, но рассердитесь. — Разве я говорю неправду? Муж одной из вас таскается по всем скверным девкам; получив болезнь, пьет, ест и спит с тобою же; другая же сама изволит иметь годовых, месячных, недельных или, чего боже спаси, ежедневных любовников. Познакомься сегодня и совершив свое желание, завтра его не знает; да и того иногда не знает, что уже она одним его поцелуем заразилась. — А ты, голубушка моя, пят-

надцатилетняя девушка, ты еще непорочна, может быть; но на лбу твоём я вижу, что кровь твоя вся отравлена. Блаженной памяти твой батюшка из докторских рук не выживал, а государыня матушка твоя, направляя тебя на свой благочестивый путь, нашла уже тебе женишка, заслуженного старика генерала, и спешит тебя выдать замуж для того только, чтобы не сделать с тобой визита воспитательному дому. А за стариком то жить нехудо, своя воля; только бы быть замужем, дети все его. Ревнив он будет, тем лучше; более удовольствия в украденных утехах; с первой ночи приучить его можно не следовать глупой старой моде с женою спать вместе.

И не приметил, как вы, мои любезные городские сватьяшки, тетушки, сестрицы, племянницы и проч., меня долго задержали. Вы, право, того не стоите. У вас на щеках румяна, на сердце румяна, на совести румяна, на искренности... сажа. Все равно, румяна или сажа. Я побегу от вас во всю конскую рысь к моим деревенским красавицам. Правда, есть между ими на вас похожие, но есть такие, каковых в городах слыхом не слыхано и видом не видано... Посмотрите, как все члены у моих красавиц круглы, рослы, не искривлены, не испорчены. Вам смешно, что у них ступни в пять вершков, а может быть, и в шесть. Ну, любезная моя племянница, с трехвершковой твоею ножкою, стань с ними рядом и бегите взапуски; кто скорее достигнет высокой березы, по конец луга стоящей? А... а... Это не твое дело... А ты, сестрица моя голубушка, с трехчетвертным своим станом <sup>97</sup> в охвате, ты изволишь издеваться, что у сельской моей русалки брюшко на воле выросло. Постой, моя голубушка, посмеюсь и я над тобою. Ты уже десятый месяц замужем, и уж трехчетвертной твой стан изуродовался. А как то дойдет до родов, запоешь другим голосом. Но дай бог, чтобы обошлось все смехом. Дорогой мой зятюшка ходит повеся нос. Уже все твои шнуравья бросил в огонь. Кости из всех твоих платьев повибаскал, но уже поздно. Сросшихся твоих накриво составов тем не спрямит. — Плачь, мой любезный зять, плачь. Мать наша, следуя плачевной и смертию разрешающихся от бремени жен ознаменованной моде, уготовала за многие лета тебе печаль, а дочери своей болезнь, детям твоим слабое телосложение. Она теперь возносит над главою ее смертоносное острие; и, если оно не коснется дней твоя супруги, благодари случай; а если

веришь, что провидение божие о том заботилось, то благодари и его, коли хочешь. — Но я еще с городскими боярыньками. — Вот что привычка делает; отвязаться от них не хочется. И, право, с вами бы не расстался, если бы мог довести вас до того, чтобы вы лица своего и искренности не румянили. Теперь прощайте. —

Покуда я глядел на моющую платье деревенских нимф, кибитка моя от меня уехала. Я намерялся идти за нею вслед, как одна девка, по виду лет двадцати, а, конечно, не более семнадцати, положила мокрое свое платье на коромысло, пошла одною со мною дорогою. Поравнявшись с ней, начал я с нею разговор. — Не трудно ли тебе нести такую тяжелую ношу, любезная моя, как назвать не знаю? — Меня зовут Анною, а ноша моя не тяжела. Хотя бы и тяжела была, я бы тебя, барин, не попросила мне пособить. — К чему такая суровость, Аннушка, душа моя? я тебе худого не желаю. — Спасибо, спасибо; часто мы видим таких шелкунов, как ты; пожалуй, проходи своею дорогою. — Анютушка, я, право, не таков, как я тебе кажуся, и не таков, как те, о которых ты говоришь. Те, думаю, так не начинают разговора с деревенскими девками, а всегда поцелуем; но я хотя бы тебя поцеловал, то, конечно бы, так, как сестру мою родную. — Не подъезжай, пожалуй; рассказы таковы я слыхала; а коли ты худого не мыслишь, чего же ты от меня хочешь? — Душа моя, Аннушка, я хотел знать, есть ли у тебя отец и мать, как ты живешь, богато ли или убого, весело ли, есть ли у тебя жених? — А на что это тебе, барин? От роду в первый раз такие слышу речи. — Из сего судить можешь, Анюта, что я не негодяй, не хочу тебя обругать или обесчестить. Я люблю женщин для того, что они соответственное имеют сложение моей нежности; а более люблю сельских женщин или крестьянок для того, что они не знают еще притворства, не налагают на себя личины притворной любви, а когда любят, то любят от всего сердца и искренно... — Девка в сие время смотрела на меня, выпяля глаза с удивлением. Да и так быть должно; ибо кто не знает, с какою наглостию дворянская дерзкая рука поползается на непристойные и оскорбительные целомудрию шутки с деревенскими девками. Они в глазах дворян старых и малых суть твари, созданные на их угождение. Так они и поступают; а особливо с несчастными, подвластными их велениям. В бывшее Пугачевское возмущение когда все слу-

жители вооружились на своих господ, некакие крестьяне (повесть сия нелижива), связав своего господина, везли его на неизбежную казнь. Какая тому была причина? Он во всем был господин добрый и человеколюбивый, но муж не был безопасен в своей жене, отец в дочери. Каждую ночь посланные его приводили к нему на жертву бесчестия ту, которую он того дня назначил. Известно в деревне было, что он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности. Наехавшая команда выручила сего варвара из рук на него злобствовавших. Глупые крестьяне, вы искали правосудия в самозванце! но почто не поведали вы сего законным судиям вашим? Они бы предали его гражданской смерти, и вы бы невинны остались. А теперь злодей сей спасен. Блажен, если близкий взор смерти образ мыслей его переменял и дал жизненным его сокам другое течение. — Но крестьянин в законе мертв <sup>98</sup>, сказали мы... Нет, нет, он жив, он жив будет, если того восхочет...

— Если, барин, ты не шутишь, — сказала мне Анюта, — то вот что я тебе скажу: у меня отца нет, он умер уже года с два; есть матушка да маленькая сестра. Батюшка нам оставил пять лошадей и три коровы. Есть и мелкого скота, и птиц довольно; но нет в доме работника. Меня было сватали в богатый дом за парня десятилетнего <sup>99</sup>, но я не захотела. Что мне в таком ребенке? Я его любить не буду. А как он придет в пору, то я состареюсь, и он будет таскаться с чужими. Да сказывают, что свекор сам с молодыми невестками спит, покуда сыновья вырастают. Мне для того-то не захотелось итти к нему в семью. Я хочу себе ровню. Мужа буду любить, да и он меня любить будет, в том не сомневаюсь. Гулять с молодцами не люблю, а замуж, барин, хочется. Да знаешь ли для чего? — говорила Анюта, потупя глаза. — Скажи, душа моя Анютушка, не стыдись; все слова в устах невинности непорочны. — Вот что я тебе скажу. Прошлым летом, год тому назад, у соседа нашего женился сын на моей подруге, с которой я хаживала всегда в посиделки. Муж ее любит, а она его столько любит, что на десятом месяце после венчанья родила ему сынка. Всякий вечер она выходит пестовать его за ворота. Она на него не наглядится. Кажется, будто и паренек-то матушку свою уж любит. Как она скажет ему: агу, агу, он и засмеется. Мне то до слез всякий день; мне бы уж хотелось самой иметь такого же паренька... — Я не мог тут вытерпеть и,



обняв Анюту, поцеловал ее от всего моего сердца. — Смотри, барин, какой ты обманщик, ты уже играешь со мною. Поди, сударь, прочь от меня, оставь бедную сироту, — сказала Анюта, заплакав. — Кабы батюшка жив был и это видел, то бы, даром, что ты господин, нагрел бы тебе шею. — Не оскорбляйся, моя любезная Анютушка, не оскорбляйся, поцелуй мой не осквернит твоей непорочности. Она в глазах моих священна. Поцелуй мой есть знак моего к тебе почтения и был исторгнут восхищением глубоко тронутых души. Не бойся меня, любезная Анюта, не подобен я хищному зверю, как наши молодые господчики, которые отъятие непорочности ни во что вменяют. Если бы я знал, что поцелуй мой тебя оскорбит, то клянусь тебе богом, что бы не дерзнул на него. — Рассуди сам, барин, как не осердиться за поцелуй, когда все они уж посулены другому. Они заранее все уж отданы, и я в них не властна. — Ты меня восхищаешь. Ты уже любить умеешь. Ты нашла сердцу своему другое, ему соответствующее. Ты будешь блаженна. Ничто не развратит союза вашего. Не будешь ты окружена соглядателями, в сети пагубы уловить тебя стрегущими. Не будет слух сердечного друга твоего уязвлен прельщающим гласом, на нарушение его к тебе верности призывающим. Но почто же, моя любезная Анюта, ты лишена удовольствия наслаждаться счастьем в объятиях твоего милого друга? — Ах, барин, для того, что его не отдают к нам в дом. Просят ста рублей. А матушка меня не отдает; я у ней одна работница. — Да любит ли он тебя? — Как же не так. Он приходит по вечерам к нашему дому, и мы вместе смотрим на паренька моей подруги... Ему хочется такого же паренька. Грустно мне будет; но быть терпеть. Ванюха мой хочет идти на барках в Питер в работу и не воротится, покуда не выработает ста рублей для своего выкупа. — Не пускай его, любезная Анютушка, не пускай его; он идет на свою гибель. Там он научится пьянствовать, мотать, лакомиться, не любить пашню, а больше всего он и тебя любить перестанет. — Ах, барин, не страшай меня, — сказала Анюта, почти заплакав. — А тем скорее, Анюта, если ему случится служить в дворянском доме. Господский пример заражает верхних служителей, нижние заражаются от верхних, а от них язва разврата достигает и до деревень. Пример есть истинная чума; кто что видит, тот то и делает. — Да как же быть? Так мне и век за ним не бывать замужем.

Ему пора уже жениться; по чужим он не гуляет, меня не отдают к нему в дом; то высватают за него другую, а я, бедная, умру с горя... — Сие говорила она, проливая горькие слезы. — Нет, моя любезная Анютушка, ты завтра же будешь за ним. Поведи меня к своей матери. — Да вот наш двор, — сказала она, остановясь. — Проходи мимо, матушка меня увидит и худое подумает. А хотя она меня и не бьет, но одно ее слово мне тяжелее всяких побоев. — Нет, моя Анюта, я пойду с тобою... — и, не дожидаясь ее ответа, вошел в ворота и прямо пошел на лестницу в избу. Анюта мне кричала вслед: — постой, барин, постой. — Но я ей не внимал. В избе нашел я Анютину мать, которая квашню месила; подле нее на лавке сидел будущий ее зять. Я без дальних околичностей ей сказал, что я желаю, чтобы дочь ее была замужем за Иваном, и для того принес ей то, что надобно для отвлечения препятствия в сем деле. — Спасибо, барин, — сказала старуха, — в этом теперь уж нет нужды. Ванюха теперь пришед сказывал, что отец уж отпускает его ко мне в дом. И у нас в воскресенье будет свадьба. — Пускай же посуленное от меня будет Анюте в приданое. — И на том спасибо. Приданого бояре девкам даром не дают. Если ты над моей Анютой что сделал и за то даешь ей приданое, то бог тебя накажет за твое беспутство; а денег я не возьму. Если же ты добрый человек и не ругаешься над бедными, то, взяв я от тебя деньги, лихие люди мало ли что подумают. — Я не мог надивиться, нашед толико благородства в образе мыслей у сельских жителей. Анюта между тем вошла в избу и матери своей меня расхвалила. Я было еще попытался дать им денег, отдавая их Ивану на заведение дому; но он мне сказал: у меня, барин, есть две руки, я ими дом и заведу. — Приметив, что им мое присутствие было не очень приятно, я их оставил и возвратился к моей кибитке.

Едущу мне из Едрова, Анюта из мысли моей не выходила. Невинная ее откровенность мне нравилась безмерно. Благородный поступок ее матери меня пленил. Я сию почтенную мать с засученными рукавами за квашнею или с поддошником подле коровы сравнивал с городскими матерями. Крестьянка не хотела у меня взять непорочных, благоумышленных ста рублей, которые в соразмерности состояний должны быть для полковницы, советницы, майорши, генеральши пять, десять, пятнадцать тысяч или

более; если же госпоже полковнице, майорше, советнице, или генеральше... (в соразмерности моего посула едровской ямщицихе), у которой дочка лицом недурна, или только что непорочна, и того уже довольно, знатный боярин, семидесятой, или, чего боже сохрани, семьдесят второй пробы, посулит пять, десять, пятнадцать тысяч, или глухо знатное приданое, или сыщет чиновного жениха, или выпросит в почетные девицы <sup>100</sup>, то я вас вопрошаю, городские матушки, не ёкнет ли у вас сердечко? не захочется ли видеть дочку в позлащенной карете, в бриллиантах, едущую четвернею, если она ходит пешком, или едущую цугом, вместо двух заморенных кляч, которые ее таскают? Я согласен в том с вами, что бы вы обряд и благочиние сохранили и не так легко сдалися, как феатральные девки. Нет, мои голубушки, я вам даю сроку на месяц или на два, но не более. А если доле заставите вздыхать первостатейного бесплодно, то он, будучи занят делами государственными, вас оставит, дабы не терять с вами драгоценнейшего времени, которое он лучше употребить может на пользу общественную. — Тысяча голосов на меня подымаются; ругают меня всякими мерзкими названиями: мошенник, плут, кан... бес... <sup>101</sup> и пр. и пр. Голубушки мои, успокойтесь, я вашей чести не поношу. Ужели все таковы? Поглядитесь в сие зеркало; кто из вас себя в нем узнает, та брани меня без всякого милосердия. Жалобницы я на ту я не подам, суда по форме говорить с ней не стану.

Анюта, Анюта, ты мне голову скружила! Для чего я тебя не узнал лет 15 тому назад. Твоя откровенная невинность, любострастному дерзновению неприступная, научила бы меня ходить во стезях целомудрия. Для чего первый мой в жизни поцелуй не был тот, который я на щеке твоей прилепил в душевном восхищении. Отражение твоея жизненности проникнуло бы во глубину моего сердца, и я бы избегнул скаредностей, житие мое исполнивших. Я бы удалился от смрадных наемниц любострастия, почтил бы ложе супружества, не нарушил бы союза родства моею плотскою несытостью; девственность была бы для меня святая святых, и ее коснуться не дерзнул бы. О, моя Анютушка! сиди всегда у околицы и давай наставления твоею незастенчивою невинностью. Уверен, что обратишь на путь добродетели начинающего с оного совращатися и укрепишь в нем к совращению наклонного. Не встревожься, если закре-

нелый в развратности, поседевший в объятиях бесстыдства, мимо тебя пройдет и тебя презрит; не тщися воспретить его шествию услаждением твоего разговора. Сердце его уже камень; душа его покрылась алмазною корою. Не может благодетельное жало невинных добродетели положить на нем глубокия черты. Конец ее скользнет по поверхности гладко затверделого порока. Блюди, да о нее острие твое не притупится. Но не пропусти юношу, опасными лепоты прелестями облеченного; улови его в твои сети. Он горд, надменен, порывист, нагл, дерзновенен, обидящ, уязвляющ кажется. Но сердце его уступит твоему впечатлению и отвернется на восприятие твоего благотворного примера. — Анюта, я с тобой не могу расстаться, хотя уже вижу двадцатый столп <sup>102</sup> от тебя. —

Но что такое за обыкновение, о котором мне Анюта сказывала? Ее хотели отдать за десятилетнего ребенка. Кто мог такой союз дозволить? Почто не ополчится рука, законы хранящая, на искоренение толикого злоупотребления? В христианском законе брак есть таинство, в гражданском — соглашение или договор. Какой священнослужитель может неравный брак благословить, или какой судия может его вписать в свой дневник? Где нет соразмерности в летах, там и брака быть не может. Сие запрещают правила естественности, яко вещь, бесполезную для человека; сие запрещать долженствовал бы закон гражданский, яко вредное для общества. Муж и жена в обществе суть два гражданина, делающие договор, в законе утвержденный, которым обещаются прежде всего на взаимное чувств услаждение (да не дерзнет здесь никто оспорить первейшего закона сожития и основания брачного союза, начало любви непорочнейшия и твердый камень основания супружнего согласия), обещаются жить вместе, общее иметь стяжание, возвращать плоды своя горячности и, дабы жить мирно, друг друга не уязвлять. При неравенстве лет, можно ли сохранить условие сего соглашения? Если муж десяти лет, а жена двадцати пяти, как то бывает часто во крестьянстве; или если муж пятидесяти, а жена пятнадцати или двадцати лет, как то бывает во дворянстве, — может ли быть взаимное чувств услаждение? Скажите вы мне, мужья старички, но скажите по совести, стоите ли вы названия мужа? Вы можете только возжечь огонь любовный, не в состоянии его утушить.

Неравенством лет нарушается единый из первейших законов природы; то может ли положительный закон быть тверд, если основания не имеет в естественности? скажем яснее: он и не существует. — Возвращать плоды взаимной горячности. — Но может ли тут быть взаимность, где с одной стороны пламя, а с другой нечувствительность! Может ли быть тут плод, если насажденное дерево лишается благодетельного дождя и питающая росы? А если плод когда и будет, но будет он тощ, невзрачен и скорому подвержен гниению. — Не уязвлять друг друга. — Се правило предвечное, верное, буде счастливою в супругах симпатиею чувства их равномерно услаждаются, то союз брачный будет благополучен; малые домашние волнения скоро утихают при нашествии веселия. И, когда мраз старости подернет чувственное веселие непроницаемою корою, тогда напоминание прежних утех успокоит брюзгливую древность лет. — Одно условие брачного договора может и в неравенстве быть исполняемо: жить вместе. — Но будет ли в том взаимность? Один будет начальник самовластный, имея в руках силу, другой будет слабый подданнык и раб совершенный, веление господина своего исполнять только могущий. — Вот, Аня, благие мысли, тобою мне внушенные. Прости, любезная моя Аня, поучения твои вечно пребудут в сердце моем впечатленны, и сыны сынов моих наследят в них.

Хотилковский ям был уже в виду, а я еще размышлял о едровской девке и в восторге души моей воскликнул громко: о, Аня! Аня! — Дорога была негладка, лошади шли шагом; повозчик мой вслушался в мою речь, оглянувшись на меня: видно, барин, — говорил он мне, улыбаясь и поправляя шляпу, — что ты на Анянку нашу призабрался. Да уж и девка! Не одному тебе она нос утерла... Всем взяла... На нашем яму много смазливых, но перед ней все плюнь. Какая мастерица плясать! всех за пояс заткнет, хоть бы кого... А как пойдет в поле жать... загляденье. Ну... брат Ванька счастлив. — Иван брат тебе? — Брат двоюродный. Да ведь и парень! Трое вдруг молодцов стали около Анянки свататься; но Иван всех отбоярил. Они и тем, и сем, но не тут-та. А Ванюха тотчас и подцепил... (Мы уже въезжали в околицу)... То-то, барин! Всяк пляшет, да не как скоморох. — И к почтовому двору подъехал.

Всяк пляшет, да не как скоморох, — твердил я, вылезая из кибитки... Всяк пляшет, да не как скоморох, — повторил я, наклоняясь и подняв развертывая...

## ХОТИЛОВ<sup>103</sup>

### ПРОЕКТ В БУДУЩЕМ

Доведя постепенно любезное отечество наше до цветущего состояния, в котором оно ныне находится; видя науки, художества и рукоделия, возведенные до высочайшей степени совершенства, до коей человеку достигнути дозволяется; видя в областях наших, что разум человеческий, вольно распростирая свое крылье, беспрепятственно и незаблужденно возносится везде к величию и надежным ныне стал стражею общественных законоположений, — под державным его покровом свободно и сердце наше, в молитвах ко всевышнему творцу воссылаемых, с неизреченным радованием сказать может, что отечество наше есть приятное божеству обиталище; ибо сложение его не на предрассудках и суевериях основано, но на внутреннем нашем чувствовании щедрот отца всех. Неизвестны нам вражды, столь часто людей разделявшие за их исповедание, неизвестно нам в оном и принуждение. Родившись среди свободы сей, мы истинно братьями друг друга почитаем, единому принадлежа семейству, единого имея отца, бога.

Светильник науки, посяя над законоположением нашим, отличает ныне его от многих земных законоположений. Равновесие во властях, равенство в имуществах отъемлют корень даже гражданских несогласий. Умеренность в наказаниях, заставляя почитать законы верховной власти, яко веления нежных родителей к своим чадам, предупреждает даже и бесхитростные злодеяния. Ясность в положениях о приобретении и сохранении имений не позволяет возродиться семейным распрям. Межа, отделяющая гражданина в его владении от другого, глубока и всеми зрима, и всеми свято почитаема. Оскорбления частные между нами редки и дружелюбно примиряются. Воспитание народное пеклося о том, да кротки будем, да будем граждане миролюбивые, но прежде всего да будем человеки.

Наслаждаясь внутреннею тишиною, внешних врагов не имея, доведя обществу до высшего блаженства гражданского сожития, неужели толико чужды будем ощущению

человечества, чужды движениям жалости, чужды нежности благородных сердец, любви чужды братния и оставим в глазах наших на всегдашнюю нам укоризну, на поношение дальнейшего потомства треть целую общников наших, сограждан нам равных, братий возлюбленных в естестве, в тяжких узах рабства и неволи? Зверский обычай поработать себе подобного человека, возродившийся в знойных полосах Ассии, обычай, диким народам приличный, обычай, знаменующий сердце окаменелое и души отсутствие совершенное, простерся на лице земли быстротечно, широко и далеко. И мы, сыны славы, мы, именем и делами словуты в коленах земнородных, пораженные невежества мраком, восприяли обычай сей; и ко стыду нашему, ко стыду прошедших веков, ко стыду сего разумного времяточия сохранили его нерушимо даже до сего дня.

Известно вам из деяний отцев ваших, известно всем из наших летописей, что мудрые правители нашего народа, истинным подвигаемы человеколюбием, дознав естественную связь общественного союза, старались положить предел стоглавному сему злу. Но державные их подвиги утешились известным тогда гордыми своими преимуществами в государстве нашем чиновостоянием, но ныне обветшалым и в презрение впадшим, дворянством наследственным. Державные предки наши среди могущества сил скипетра своего немощны были на разрушение оков гражданския неволи. Не токмо они не могли исполнить своих благих намерений, но ухищрением помянутого в государстве чиновостояния подвигнуты стали на противные рассудку их и сердцу правила. Отцы наши зрели губителей сих, со слезами, может быть, сердечными, сожимающих узы и отягчающих оковы наиболее в обществе сочленов. Земледельцы и до днесь между нами рабы; мы в них не познаем сограждан нам равных, забыли в них человека. О, возлюбленные наши сограждане! о, истинные сыны отечества! воззрите окрест вас и познайте заблуждение ваше. Служители божества предвечного, подвизаемые ко благу общества и ко блаженству человека, единомыслием с нами, изъясняли вам в поучениях свсих во имя всецедрого бога, имп проповедуемого, колико мудрости его и любви противно властвовать над ближним своим самопроизвольно. Стараются они доводами, в природе и сердце нашем почерпнутыми, доказать вам жестокость вашу, неправду и грех. Еще глас их тор-

жественно во храмах живого бога вопиет громко: опомнитесь, заблудшие, смягчитесь, жестокосердые; разрушите оковы братии вашей, отверзите темницу неволи и дайте подобным вам вкусити сладости общежития, к нему же всещедрым уготованы, яко же и вы. Они благодетельными лучами солнца равно с вами наслаждаются, одинаковые с вами у них члены и чувства, и право в употреблении оных должно быть одинаково.

Но если служители божества представили взорам вашим неправоту порабощения в отношении человека, за долг наш вменяем мы показать вам вред оной в обществе и неправильность оного в отношении гражданина. Излишне, казалось бы, при возникшем столь уже давно духе любознания изыскивать или поновлять доводы о существенном человеков, а потому и граждан, равенстве. Возросшему под покровом свободы, исполненному чувствами благородства, а не предрассуждениями доказательства о первенственном равенстве суть движения его сердца обыкновенные. Но се несчастье смертного на земли: заблуждати среди света и не зрети того, что прямо взорам его предстоит.

В училищах, юным вам сущим, преподали вам основания права естественного и права гражданского. Право естественное показало вам человеков, мысленно вне общества, приравнявших одинаковое от природы сложение и потому имеющих одинаковые права, следственно, равных во всем между собою и единые другим не подвластных. Право гражданское показало вам человеков, променявших беспредельную свободу на мирное оная употребление. Но если все они положили свободе своей предел и правило деяниям своим, то все равны от чрева материя в природной свободе, равны должны быть и в ограничении оной. Следственно и тут один другому не подвластен. Властитель первый в обществе есть закон; ибо он для всех один. Но какое было побуждение вступить в общество и полагати произвольные пределы деяниям? Рассудок скажет: собственное благо; сердце скажет: собственное благо; нерастленный закон гражданский скажет: собственное благо. Мы в обществе живем, уже многие степени усовершенствования протекшем, и потому запамятовали мы начальное оного положение. Но возвратите на все новые народы и на все общества естества, если так сказать можно. Во-первых, порабощение есть преступление; во-вторых, един злодей или неприятель испытует



тягость неволи. Соблюдая сии понятия, познаем мы, колико удалилися мы от цели общественной, колико отстоим еще вершины блаженства общественного далеко. Все сказанное нами вам есть обычно, и правила таковые иссосали вы со млеком матерним. Един предрассудок мгновения, единая корысть (да не уязвитесь нашими изречениями), единая корысть отъемлет у нас взор и в темноте беснующим нас уподобляет.

Но кто между нами оковы носит, кто ощущает тяготу неволи? Земледелец! кормилец нашей тощеты, насытитель нашего глада, тот, кто дает нам здравие, кто житие наше продолжает, не имея права распоряжати ни тем, что обрабатывает, ни тем, что производит. Кто же к ниве ближайшее имеет право, буде не делатель ее? Представим себе мысленно мужей, пришедших в пустыню для сооружения общества. Помышляя о прокормлении своем, они делят просшую лаком землю. Кто жребий на уделе получает? Не тот ли, кто ее вспахать возможет? Не тот ли, кто силы и желание к тому имеет достаточные? Младенцу или старцу, расслабленному, немощному и нерадивому удел будет бесполезен. Она пребудет в запустении, и ветр класов на ней не возвеет. Если она бесполезна делателю ее, то бесполезна и обществу; ибо избытка своего делатель обществу не отдаст, не имея нужного. Следственно, в начале общества тот, кто ниву обработать может, тот имел на владение ею право, и обрабатывающий ее пользуется ею исключительно. Но колико удалилися мы от первоначального общественного положения относительно владения. У нас тот, кто естественное имеет к оному право, не токмо от того исключен совершенно, но, работая ниву чуждую, зрит пропитание свое зависящее от власти другого! Просвещенным вашим разумам истины сии не могут быть непонятны, но деяния ваши в исполнении сих истин препинаемы, сказали уже мы, предрассуждением и корыстию. Неужели сердца ваши, любовью человечества полные, предпочтут корысть чувствованиям, сердце улаждающим? Но какая в том корысть ваша? Может ли государство, где две трети граждан лишены гражданского звания и частию в законе мертвы, назваться блаженным? Можно ли назвать, блаженным гражданское положение крестьянина в России? Ненасытец кровей один скажет, что он блажен, ибо не имеет понятия о лучшем состоянии.

Мы постараемся опровергнуть теперь эти зверские властителей правила, яко же их опровергали некогда предшественники наши деяниями своими неуспешно.

Блаженство гражданское в различных видах представиться может. Блаженно государство, говорят, если в нем царствует тишина и устройство. Блаженно кажется, когда нивы в нем не пустеют и во градах гордые воздымаются зданием. Блаженно, называют его, когда далеко простирает власть оружия своего и властвует оно вне себя не токмо силою своею, но и словом своим над мнениями других. Но все сии блаженства можно назвать внешними, мгновенными, преходящими, частными и мысленными.

Возврем на подлежащую взорам нашим долину. Что видим мы? Пространный воинский стан. Царствует в нем тишина повсюду. Все ратники стоят в своем месте. Наивеличайший строй зрится в рядах их. Единое веление, единое руки мановение начальника движет весь стан и движет его стройно. Но можем ли назвать воинов блаженными? Превращенные точностию воинского повиновения в куклы, отъемлется у них даже движения воля, толико живым вещам свойственная. Они знают только веление начальника, мыслят, что он хочет, и стремятся, куда направляет. Толико всемогущий жезл над могущественнейшею силою государства. Совокупны возмогут вся, но разделенны и наедине пасутся, яко скоты, амо же пастырь пожелает. Устройство на счет свободы столь же противно блаженству нашему, как и самые узы. — Сто невольников, пригвожденных ко скамьям корабля, веслами двигаемого в пути своем, живут в тишине и устройстве; но загляни в их сердце и душу. Терзание, скорбь, отчаяние. Желали бы они нередко променять жизнь на кончину; но и ту им оспорируют. Конец страдания их есть блаженство; а блаженство неволе не сродно, и потому они живы. Итак да не ослепимся внешним спокойствием государства и его устройством и для сих только причин да не почтем оное блаженным. Смотри всегда на сердца сограждан. Если в них найдешь спокойствие и мир, тогда сказать можешь воистину: се блаженны.

Европейцы, опустошив Америку <sup>104</sup>, утучнив нивы ее кровию природных ее жителей, положили конец убийствам своим новою корыстию. Запустелые нивы сего обновленного сильными природы потрясениями полукружия почувствовали соху, недра их раздирающую. Злак, на тучных лугах

выраставший и иссыхавший бесплодно, почувствовал бы-  
лие свое, острием косы подсекаемо. Валяются на горах гор-  
дые древесса, издревле вершины их осенявшие. Леса бес-  
плодные и горные дебри претворяются в нивы плодоносные  
и покрываются стовидными произращениями, единой Аме-  
рике свойственными или удачно в оную преселенными. Туч-  
ные луга потаптываются многочисленным скотом, на яству  
и работу человеком определяемым. Везде видна строящая  
рука делателя, везде кажется вид благосостояния и внеш-  
ний знак устройства. Но кто же столь мощною рукою нудит  
скупую, ленивую природу давать плоды свои в толиком  
обилии? Заклав индийцев единовременно, злобствующие  
европейцы, проповедники миролюбия во имя бога истины,  
учители кротости и человеколюбия, к корени яростного  
убийства завоевателей прививают хладкровное убийство  
порабощения приобретением невольников куплею. Сии-то  
несчастные жертвы знойных берегов Нигера и Сенагала <sup>105</sup>,  
отринутые своих домов и семейств, преселенные в неведо-  
мые им страны, под тяжким жезлом благоустройства взди-  
рают обильные нивы Америки, трудов их гнушающейсся.  
И мы страну опустошения назовем блаженною для того, что  
поля ее не поросли тернием и нивы их обилуют произраще-  
ниями разновидными? Назовем блаженною страну, где  
сто гордых граждан утопают в роскоши, а тысячи не имеют  
надежного пропитания, ни собственного от зноя и мраза  
укрова? О, дабы опустети паки обильным сим странам!  
дабы терние и волчец, простирая корень свой глубоко, истребил все драгие Америки произведения! Вострепещите, о,  
возлюбленные мои, да не скажут о вас: «премени имя, по-  
весть о тебе вещает».

Мы дивимся и ныне еще огромности египетских зданий.  
Неуподобительные пирамиды чрез долгое время доказывать  
будут смелое в созидании египтян зодчество. Но для чего  
сии столь нелепые кучи камней были уготованы? На погреб-  
ение надменных фараонов. Кичливые сии властители, жа-  
дая бессмертия, и по кончине хотели отличествовати внеш-  
ностию своею от народа своего. Итак огромность зданий,  
бесполезных обществу, суть явные доказательства его пора-  
бощения. В остатках погибших градов, где общее блажен-  
ство некогда водворялось, обрящем развалины училищ,  
больниц, гостиниц, водоводов, позорищ и тому подобных  
зданий; во градах же, где известнее было я, а не мы, нахо-

дим остатки великолепных царских чертогов, пространных конюшен, жилища зверей. Сравните то и другое; выбор наш не будет затруднителен.

Но что обретаем в самой славе завоеваний? Звук, гремление, надутость и истощение. Я таковую славу применю к шарам <sup>106</sup>, в 18-м столетии изобретенным: из шелковой ткани сложенные, наполняются они мгновенно горячим воздухом и взлетают с быстротою звукадо высших пределов эфира. Но то, что их составляло силу, источается из среды тончайшими скважинами непрестанно; тяжесть, горь вращавшаяся, приемлет естественный путь падения долу; и то, что месяцы целые сооружалось со трудом, тщанием и издвигением, едва часов несколько может веселить взоры зрителей.

Но вопросы, чего жаждет завоеватель? Чего он ищет, опустошая страны населенные или покоряя пустыни своей державе? Ответ получим мы от яростнейшего из всех, от Александра, Великим названного <sup>107</sup>, но велик поистине не в делах своих, но в силах душевных и разорениях. «О, афиняне! — вещал он, — koliko стоит мне быть хвалиму вами». Несмысленный! возари на шествие твое. Крутой вихрь твоего полета, преносся чрез твою область, затаскивает в вертение свое жителей ея и, влача силу государства во своем стремлении, за собою оставляет пустыню и мертвое пространство. Не рассуждаешь ты, о, ярый вепрь, что, опустошая землю свою победою, в завоеванной ничего не обрящешь, тебя улаждающего. Если приобрел пустыню, то она соделается могилою для твоих сограждан, в коей они сокрыватися будут; населяя новую пустыню, превратишь страну обильную в бесплодную. Какая же прибыль, что из пустыни соделал селитьбы, если другие населения тем сделал пустыми? Если же приобрел населенную страну, то исчисли убийства твои и ужаснися. Искоренить долженствуешь ты все сердца, тебя в громоносности твоей возненавидевшие; не мни убо, что любити можно, его же бояться нудятся. По истреблении мужественных граждан останутся и будут подвластны тебе робкие души, рабства иго воспряти готовые; но и в них ненависть к подавляющей твоей победе укоренится глубоко. Плод твоего завоевания будет, — не лести себе, — убийство и ненависть. Мучитель пребудешь на памяти потомков; казниться будешь, ведая, что мерзят тебя новые рабы твои и от тебя кончины твоея просят.

Но, нисходя к ближайшим о состоянии земледельцев понятиям, колико вредным его находим мы для общества. Вредно оно в размножении произрастений и народа, вредно примером своим и опасно в беспокойствии своем. Человек, в начинаниях своих двигаемый корыстию, предприимлет то, что ему служить может на пользу, ближайшую или дальнюю, и удаляется того, в чем он не обретает пользы, ближайшей или дальновидной. Следуя сему естественному побуждению, все начинаемое для себя, все, что делаем без принуждения, делаем с прилежанием, рачением, хорошо. Напротив того, все то, на что несвободно подвигаемся, все то, что не для своей совершаем пользы, делаем оплошно, лениво, косо и криво. Таковых находим мы земледельцев в государстве нашем. Нива у них чуждая, плод оныя им не принадлежит. И для того обрабатывают ее лениво; и не радуют о том, не запустест ли среди делания. Сравни сию ниву с данною надменным владельцем на тощее прокормление делателю. Не жалеет сей о трудах своих, ее ради предпринимаемых. Ничто не отвлекает его от делания. Жестокость времени он одолевает бодрственно; часы, на упокоение определенные, проводит в трудах; во дни, на веселие определенные, оною чуждается. Зане рачит о себе, работает для себя, делает про себя. И так нива его даст ему плод сугубый; и так все плоды трудов земледельцев мертвеют или паче не возрождаются, они же родились бы и были живы на насыщение граждан, если бы делание нив было рачительно, если бы было свободно.

Но если принужденная работа дает меньше плода, то не достигающие своей цели земные произведения толико же препятствуют размножению народа. Где есть нечего, там, хотя бы и было кому есть, не будет; умрут от истощения. Тако нива рабства, неполный давая плод, мертвит граждан, им же определены были природою избытки ее. Но сим ли одним препятствуется в рабстве многоплодие? К недостатку прокормления и одежд присвокупили работу до изнеможения. Умножь оскорбления надменности и уязвления силы, даже в любезнейших человека чувствованиях; тогда со ужасом узришь возникшее губительство неволи, которое тем только различествует от побед и завоеваний, что не дает тому родиться, что победа посекает. Но от нее вреда больше. Легко всяк усмотрит, что одна опустошает случайно, мгновенно; другая губит долговременно и все-

гда; одна, когда преидет полет ее, скончаеает свое свирепство; другая там только начнется, где сия кончится, и прмениться не может, разве опасным всегда потрясением всея внутренности.

Но нет ничего вреднее, как всегдашнее на предметы рабства воззрение. С одной стороны родится надменность, а с другой — робость. Тут никакой не можно быть связи, разве насилие. И сие, собираясь в малую среду, властодержавное свое действие простирает всюду тяжко. Но поборники неволи, власть и острое в руках имеющие, сами ключимые во узах, наияростнейшие оныя бывают проповедники. Кажется, что дух свободы толико в рабах иссякает, что не токмо не желают скончать своего страдания, но тягосно им зрети, что другие свободствуют. Оковы свои возлюбляют, если возможно человеку любить свою пагубу. Мне мнится в них зрети змию, совершившую падение первого человека. — Примеры властвования суть заразительны. Мы сами, признаться должно, мы, ополченные палицею мужества и природы на сокрушение стоглавного чудовища, иссосающего пищу общественную, уготованную на прокормление граждан, мы поползулися, может быть, на действия самовластия, и, хотя намерения наши были всегда благи и к блаженству целого стремились, но поступок наш державный полезностью своею оправдаться не может. Итак ныне молим вас отпущения нашего неумышленного дерзновения.

Не ведаете ли, любезные наши сограждане, коликая нам предстоит гибель, в коликой мы вращаемся опасности. Загрубелые все чувства рабов, и благим свободы мановением в движение не приходящие, тем укрепят и усовершенствуют внутреннее чувствование. Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможет. Таковы суть братья наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщениии своем. Приведите себе на память прежние повествования<sup>108</sup>. Даже обольщение колико яростных сотворило рабов на погубление

господ своих! Прельщенные грубым самозванцем, текут ему вослед и ничего толико не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не щадили они ни пола, ни возраста. Они искали паче веселие мщениа, нежели пользу сотрясения уз.

Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно. Гибель возносится горе постепенно, и опасность уже возвращается над главами нашими. Уже время, вознесши косу, ждет часа удобности, и первый льстец или любитель человечества, возникши на пробуждение несчастных, ускорит его мах. Блюдитесь <sup>109</sup>.

Но если ужас гибели и опасность потрясения стяжаний подвигнуть может слабого из вас, неужели не будем мы толико мужественны в побеждении наших предрассуждений, в посприии нашего корыстолюбия и не освободим братию нашу из оков рабства и не восстановим природное всех равенство? Ведая сердце ваших расположение, приятнее им убедить доводами, в человеческом сердце почерпнутыми, нежели в исчислениях корыстолюбивого благоразумия, а менее еще в опасности. Идите, возлюбленные мои, идите в жилища братии вашей, возвестите о премене их жребия. Вещайте с ощущением сердечным: подвигнутые на жалость вашею участию, соболезуя о подобных нам, дознав ваше равенство с нами и убежденные общею пользою, пришли мы, да лобзаем братию нашу. Оставили мы гордое различие, нас толико времени от вас отделявшее, забыли мы существовавшее между нами неравенство, восторжествуем ныне о победе нашей, и сей день, в он же сокрушаются оковы сограждан нам любезных, да будет знаменитейший в летописях наших. Забудьте наше прежнее злодейство на вас, и да возлюбим друг друга искренно.

Се будет глагол ваш; се слышится он уже во внутренности сердец ваших. Не медлите, возлюбленные мои. Время летит; дни наши преходят в недействии. Да не скончаем жизни нашея, возымев только мысль благую и не возмогши ее исполнить. Да не воспользуется тем потомство наше, да не пожнет венца нашего, и с презрением о нас да не скажет: они были.

Вот что я прочел в замазанной грязью бумаге, которую поднял я перед почтовою избою, вылезая из кибитки моей.

Вошел в избу, я спрашивал, кто были проезжие неза-

долго передо мною. — Последний из проезжающих, — говорил мне почталион, — был человек лет пятидесяти; едет по подорожной в Петербург. Он у нас забыл связку бумаг, которую я теперь за ним вслед посылаю. — Я попросил почталиона, чтобы он дал мне сии бумаги посмотреть, и, развернув их, узнал, что найденная мною к ним же принадлежала. Уговорил я его, чтобы он бумаги сии отдал мне, дав ему за то награждение. Рассматривая их, узнал, что они принадлежали искреннему моему другу, а потому не почел я их приобретение кражею. Он их от меня доселе не требовал, а оставил мне на волю, что я из них сделать захочу.

Между тем как лошадей моих перепрягали, я любопытствовал, рассматривая доставшиеся мне бумаги. Множество нашел я подобных той, которую читал. Везде я обретал расположения человеколюбивого сердца, везде видел гражданина будущих времен. Более всего видно было, что друг мой поражен был несоразмерностию гражданских чиновосостояний. Целая связка бумаг и начертаний законоположений относилась к уничтожению рабства в России. Но друг мой, ведая, что высшая власть недостаточна в силах своих на претворение мнений мгновенно, начертал путь повременным законоположениям к постепенному освобождению земледельцев в России. Я здесь покажу шествие его мыслей. Первое положение относится к разделению сельского рабства и рабства домашнего. Сие последнее уничтожается прежде всего, и запрещается поселян и всех, по деревням в ревизии написанных, брать в дома. Буде помещик возьмет земледельца в дом свой для услуг или работы, то земледелец становится свободен. Дозволить крестьянам вступать в супружество, не требуя на то согласия своего господина. Запретить брать выводные деньги <sup>110</sup>. Второе положение относится к собственности и защите земледельцев. Удел в земле, ими обрабатываемой, должны они иметь, собственностию; ибо платят сами подушную подать. Приобретенное крестьянином имение ему принадлежать долженствует; никто его оного да не лишит самопроизвольно. Восстановление земледельца во звание гражданина. Надлежит ему судиму быть ему равными, то есть в расправах <sup>111</sup>, в кои выбирать и из помещичьих крестьян. Дозволить крестьянину приобретать недвижимое имение, то есть покупать землю. Дозволить невозбранное приобретение



вольности, платя господину за отпускную известную сумму. Запретить произвольное наказание без суда. — Исчезни варварское обыкновение, разрушья власть тигров! — вещает наш законодатель... За сим следует совершенное уничтожение рабства.

Между многими постановлениями, относящимися к восстановлению по возможности равенства во гражданах, нашел я табель о рангах. Сколь она была некстати нынешним временам и оным несоразмерна, всяк сам может вообразить. Но теперь дуга коренной лошади звенит уже в колокольчик и зовет меня к отъезду; и для того я за благо положил лучше рассуждать о том, что выгоднее для едущего на почте, чтобы лошади шли рысью или иноходью, или что выгоднее для почтовой клячи, быть иноходцем или скакуном, — нежели заниматься тем, что не существует.

### ВЫШНИЙ ВОЛОЧОК <sup>112</sup>

Никогда не проезжал я сего нового города, чтобы не посмотреть здешних шлюзов. Первый, которому на мысль пришло уподобиться природе в ее благодеяниях и сделать реку рукодельную, дабы все концы единыя области в ящике привести сообщение, достоин памятника для дальнейшего потомства. Когда нынешние державы от естественных и нравственных причин распадутся, позлащенные нивы их порастут тернием и в развалинах великолепных чертогов гордых их правителей скрываться будут ужи, змси и жабы, — любопытный путешественник обрящет глаголющие остатки величия их в торговле. Римляне строили большие дороги, водоводы, коих прочности и ныне по справедливости удивляются; но о водяных сообщениях, каковые есть в Европе, они не имели понятия. Дороги, каковые у римлян бывали, наши не будут никогда; препятствует тому наша долгая зима и сильные морозы, а каналы и без обделки не скоро заровняются.

Но мало увеселительным было для меня зрелищем вышневолоцкий канал, наполенный барками, хлебом и другим товаром нагруженными и приуготовляющимися к прохождению сквозь шлюз для дальнейшего плавания до Петербурга. Тут видно было истинное земли изобилие и избытки земледельца; тут явен был во всем своем блеске мощный побудитель человеческих деяний — корыстолюбие.

Но если при первом взгляде разум мой усладился видом благосостояния, при раздроблении мыслей скоро увяло мое радование. Ибо вспомянул, что в России многие земледельцы не для себя работают; и так изобилие земли во многих краях России доказывает отягченный жребий ее жителей. Удовольствие мое переменялось в равное негодование с тем, какое ощущаю, ходя в летнее время по таможенной пристани <sup>113</sup>, взирая на корабли, привозящие к нам избытки Америки и другие ее произведения, — как то сахар, кофе, краски и другие, не осушившиеся еще от пота, слез и крови, их омывших при их возделании.

Вообрази себе, — говорил мне некогда мой друг, — что кофе, налитой в твоей чашке, и сахар, распущенной в оном, лишали покоя тебе подобного человека, что они были причиною превосходящих его силы трудов, причиною его слез, стонаний, казни и поругания; дерзай, жестокосердой, усладить гортань твою. — Вид прещения, сопутствовавший сему изречению, поколебнул меня до внутренности. Рука моя задрожала, и кофе пролился.

А вы, о жители Петербурга, питающиеся избытками изобильных краев отечества вашего, при великолепных пиршествах или на дружеском пиру или наедине, когда рука ваша вознесет первый кусок хлеба, определенный на ваше насыщение, остановитесь и помыслите. Не то же ли я вам могу сказать о нем, что друг мой говорил мне о произведениях Америки? Не потом ли, не слезами ли и стенанием утучнялися нивы, на которых оный возрос? Блаженны, если кусок хлеба, вами алкаемый, извлечен из класов, родившихся на ниве, казенною называемой, или по крайней мере на ниве, оброк помещику своему платящей. Но горе вам, если раствор его составлен из зерна, лежавшего в житнице дворянской. На нем почтили скорбь и отчаяние; на нем знаменовалось проклятие всевышнего, егда во гневе своем рек: проклята земля в делах своих. Блюдитесь, да не отравлены будете вождельною вами пищею. Горькая слеза нищего тяжко на ней возлегает. Отрините ее от уст ваших; постытесь, се истинное и полезное может быть пощение.

Повествование о некотором помещике докажет, что человек корысти ради своей забывает человечество в подобных ему и что за примером жестокосердия не имеем нужды ходить в дальние страны, ни чудес искать за тридцать земель; в нашем царстве они воочью совершаются,

Некто, не нашед в службе, как то по просторечию называют, счастья, или не желая оно в ней снискать, удалился из столицы, приобрел небольшую деревню, например, во сто или в двести душ, определил себя искать прибытка в земледелии. Не сам он себя определял к сохе, но вознамерился наидействительнейшим образом всевозможное сделать употребление естественных сил своих крестьян, прилагая оные к обработыванию земли. Способом к сему надежнейшим почел он уподобить крестьян своим орудиям, ни воли, ни побуждения не имеющим; и уподобил их действительно в некотором отношении нынешнего века воинам, управляемым грудю, устремляющимся на бою грудю, а в единственности ничего не значущим. Для достижения своей цели, он отнял у них малой удел пашни и сенных покосов, которые им на необходимое пропитание дают обыкновенно дворяне, яко в воздаяние за все принужденные работы, которые они от крестьян требуют. Словом, сей дворянин некто всех крестьян, жен их и детей заставил во все дни года работать на себя. А дабы они не умирали с голоду, то выдавал он им определенное количество хлеба, под именем месячины известное. Те, которые не имели семейств, месячины не получали, а по обыкновению лакедемонян <sup>114</sup> пировали вместе на господском дворе, употребляя, для соблюдения желудка, в мясоед пустые шти, а в посты и постные дни хлеб с квасом. Истинные розговины бывали разве на святой неделе.

Таковым урядникам <sup>115</sup> производилася так же приличная и соразмерная их состоянию одежда. Обувь для зимы, то есть лапти, делали они сами; онучи получали от господина своего; а летом ходили босы. Следственно, у таких узников не было ни коровы, ни лошади, ни овцы, ни барана. Дозволение держать их господин у них не отымал, но способы к тому. Кто был позажиточнее, кто был умереннее в пище, тот держал несколько птиц, которых господин иногда брал себе, платя за них цену по своей воле.

При таком заведении не удивительно, что земледелие в деревне г. некто было в цветущем состоянии. Когда у всех худой был урожай, у него родился хлеб сам четверт, когда у других хороший был урожай, то у него приходил хлеб сам десят и более. В недолгом времени к двумстам душам он еще купил двести жертв своему корыстолюбию; и, поступая с ними равно как и с первыми, год от году умножал

свое имение, усугубляя число стелящих на его нивах. Теперь он считает их уже тысячами и славится как знаменитый земледелец.

Варвар! недостойн ты носить имя гражданина. Какая польза государству, что несколько тысяч четвертей в год более родится хлеба, если те, кои его производят, считаются наравне с волом, определенным тяжкую вадирати борозду? Или блаженство граждан в том почитаем, чтоб полны были хлеба наши житницы, а желудки пусты? чтобы один благословлял правительство, а не тысячи? Богатство сего кровопийца ему не принадлежит. Оно нажито грабжом и заслуживает строгого в законе наказания. И суть люди, которые, взирая на утучненные нивы сего палача, ставят его в пример усовершенствования в земледелии. И вы хотите называться мягкосердыми, и вы носите имена почитателей о благе общем. Вместо вашего поощрения к такому насилию, которое вы источником государственного богатства почитаете, прострите на сего общественного злодея ваше человеколюбивое мщение. Сокрушите орудия его земледелия, сожгите его риги, овишы, житницы и развейте пепел по нивам, на них же совершалось его мучительство, ознаменуйте его яко общественного татя, дабы всяк, его видя, не только его гнушался, но убегал бы его приближения, дабы не заразиться его примером.

## ВЫДРОПУСК 116

Здесь я опять принялся за бумаги моего друга. В руки мне попало начертание положения о уничтожении придворных чинов.

## ПРОЕКТ В БУДУЩЕМ

Вводя нарушенное в обществе естественное и гражданское равенство постепенно паки, предки наши не последним способом почли к тому умаление прав дворянства. Полезно государству в начале своим личными своими заслугами, ослабело оно в подвигах своих наследственностью, и, сладкий при насаждении его корень произнес наконец плод горький. На месте мужества водворилася надменность и самолюбие, на месте благородства души и щедроты посеялися раболепие и самонедоверение, истинные скряги на великое.

Жительствова среди столь тесных душ и подвизаемые на малости ласкательством наследственных достоинств и заслуг, многие государи возмнили, что они суть боги и вся, его же коснутся, блаженно сотворят и пресветло. Тако и быть долженствует в деяниях наших, но токмо на пользу общую. В таковой дремоте величания власти возмечтали цари, что рабы их и прислужники, ежечасно предстоя взорам их, заимствуют их светозарности; что блеск царский, преломляясь, так сказать, в сих новых отсветках, многочисленнее является и с сильнейшим отражением. На таковой блуждения мысли воздвигли цари придворных истуканов, кои, истинные феатральные божки, повинуются свистку или трещетке. Пройдем степени придворных чинов и с улыбкою сожаления отвратим взоры наши от кичащихся служением своим, но возрыдаем, видя их предпочитаемых заслуге. Дворецкой мой, конюший и даже конюх и кучер, повар, крайчий, птицелов с подчиненными ему охотниками, горничные мои прислужники, тот, кто меня бреет, тот, кто чешет власы главы моея, тот, кто пыль и грязь отирает с обуви моея, о многих других не упоминая, равняются или председательствуют служащим отечеству силами своими душевными и телесными, не щадя ради отечества ни здоровья своего ни крови, возлюбляя даже смерть ради славы государства. Какая вам в том польза, что в доме моем господствуют чистота и опрятность? Сытее ли вы накормитесь, буде кушанье мое лучше вашего приготовлено и в сосудах моих лиется вино изо всех концов вселенныя? Укроется ли в шествии вашем от неприязненности погоды, буде колесница моя позлащенна и кони мои тучны? Лучший ли даст нива вам плод, луга ваши больше ли позеленеют, буде потопчутся на ловитве зверей в мое увеселение? Вы улыбнетесь с чувствованием жалости. Но нередкий в справедливом негодовании своем скажет нам: тот, кто рачит о устройстве твоих чертогов, тот, кто их нагревает, тот, кто огненную пряность полуденных растений сочетает с хладною вязкостью северных туков для услаждения расслабленного твоего желудка и оцепенелого твоего вкуса; тот, кто воспеняет в сосуде твоём сладкий сок африканского винограда; тот, кто умащает окружие твоей колесницы, кормит и напояет коней твоих; тот, кто во имя твое кровавую битву ведет со зверями дубравными и птицами небесными; все сии тунеядцы, все сии лелеятелли, как и многие другие, твоея надменности, высятся надо

мною; над источившим потоки кровей на ратном поле, над потерявшим нужнейшие члены тела моего, защищая грады твои и чертоги, в них же сокрытая твоя робость завесою величавости мужеством казалася; над провождающим дни веселий, юности и утех во сбережении малейших полушки, да облегчится, елико то возможно, общее бремя налогов; над нерачившим о имени своем, трудяся денно-нощно в снискании средств к достижению блаженств общественных; над попирающим родство, приязнь, союз сердца и крови, вещая правду на суде во имя твое, да возлюблен будеши. Власы белеют в подвигах наших, силы истощеваются в подъемлемых нами трудах, и при воскраии гроба едва возмогаем удостоиться твоего благоволения; а сии упитанные тельцы сосцами нежности и пороков, сии незаконные сыны отечества наследят в стяжании нашем.

Тако и более еще по справедливости возглаголют от вас многие. Что дадим мы, владыки сил, в ответ? Прикроем бесчувствием уничижение наше, и видится воспаленна ярость в очах наших на вещающих сице. Таковы бывают нередко ответы наши вещаниям истины. И никто да не дивится сему, когда наилучший между нами дерзает таковая; он живет с ласкательями, беседует с ласкателями, спит в лести, хождает в лести. И лесь, и ласкательство соделают его глуха, слепа и неосязательна.

Но да не падет на нас таковая укоризна. С младенчества нашего возненавидев ласкательство, мы соблюли сердце наше от ядовитой его сладости, даже до сего дня; и ныне новый опыт в любви нашей к вам и преданности явен да будет. Мы уничтожаем ныне сравнение царедворского служения с военным и гражданским. Истребися на памяти обыкновение, во стыд наш толико лет существовавшее. Истинные заслуги и достоинства, рачение о пользе общей да получают награду в трудах своих и едины да отличаются.

Сложив с сердца нашего столь несносное бремя, долго-времяно нас теснившее, мы явим вам наши побуждения на уничтожение толь оскорбительных для заслуги и достоинства чинов. — Вещают вам, и предки наши тех же были мыслью, что царский престол, коего сила во мнении граждан коренится, отличествовати долженствует внешним блеском, дабы мнение о его величестве было всегда всецело и ненарушимо. Оттуда пышная внешность властителей народов, оттуда стадо рабов, их окружающих. Согласиться

всяк должен, что тесные умы и малые души внешность поразать может. Но чем народ просвещеннее, то есть чем более особенников в просвещении, тем внешность менее действовать может. Нума <sup>117</sup> мог грубых еще римлян уверить, что нимфа Егерия наставляла его в его законоположениях. Слабые перуанцы охотно верили Манко Капаку <sup>118</sup>, что он сын солнца и что закон его с небеси истекает. Магомет мог прельстить скитающихся аравитян своими бреднями. Все они употребляли внешность, даже Моисей принял скрыжали заповедей на горе среди блеску молнии. Но ныне, буде кто прельстити восхощет, не блистательная нужна ему внешность, но внешность доводов, если так сказать можно, внешность убеждений. Кто бы восхотел ныне посланше свое утвердить свыше, тот употребит более наружность полезности, и тою все тронутся. Мы же, устремляя все силы наши на пользу всех и каждого, почто нам блеск внешности? не полезностию ли наших постановлений, ко благу государства текущею, блистает наше лице? Всяк, взирающий на нас, узрит наше благомыслие, узрит в подвиге нашем свою пользу и того ради нам поклонится, не яко во ужасе шествующему, но сидящему во благости. Если бы древние персы управлялися всегда щедротою, не бы возмечтали быти Ариману <sup>119</sup> или ненавистному началу зла. Но если пышная внешность нам бесполезна, колико вредны в государстве быть могут ее оберегатели. Единственною обязанностию во служении своем имея угождение нам, колико изыскательны будут они во всем том, что нам правиться может. Желание наше будет предупреждено; но не токмо желанию не допустят воародиться в нас, но даже и мысли, зане готово уже ей удовлетворение. Воззрите со ужасом на действие таковых угождений. Нантвердейшая душа во правилах своих позыбнется, приклонит ухо ласкательному сладкопению, уснет. И се сладостные чары обыдут разум и сердце. Горесть и обида чуждые едва покажутся нам преходящими недугами; скорбети о них почтем или неприличным, или же противным и воспретим даже жаловатися о них. Язвительнейшие скорби и раны и самая смерть покажутся нам необходимыми действиями течения вещей и, являясь нам позади непрозрачных завесы, едва возмогут ли в нас произвести то мгновенное движение, какое производят в нас феатральные представления. Зане стрела болезни и жало зла не в нас дрожит вонзенное.

Се слабая картина всех пагубных следствий пышного царей действия. Не блаженны ли мы, если возмогли укрыться от возмущения благонамерений наших? Не блаженны ли, если и заразе примера положили преграду? Надежны в благосердии нашем, надежны не в разврате со вне, надежны во умеренности ваших желаний, возблагоденствуем снова и будем примером позднешему потомству, како власть со свободою сочетать должно на взаимную пользу.

### ТОРЖОК <sup>120</sup>

Здесь, на почтовом дворе, встречен я был человеком, отправляющимся в Петербург на скитанье прошения <sup>121</sup>. Сие состояло в снискании дозволения завести в сем городе свободное книгопечатание. Я ему говорил, что на сие дозволения не нужно, ибо свобода на то дана всем. Но он хотел свободы в ценсуре, и вот его о том размышлении.

Типографии у нас всем иметь дозволено <sup>122</sup>, и время то прошло, в которое боялися поступаться оным дозволением частным людям; и для того, что в вольных типографиях ложные могут печатаны быть пропуски, удерживались от общего добра и полезного установления. Теперь свободно иметь всякому орудии печатания, но то, что печатать можно, состоит под опекою. Ценсура сделана нянькою рассудка, остроумия, воображения, всего великого и изящного. Но где есть няньки, то следует, что есть ребята, ходят на помочах, от чего нередко бывают кривые ноги; где есть опекуны, следует, что есть малолетные, незрелые разумы, которые собою править не могут. Если же всегда пребудут няньки и опекуны, то ребенок долго ходить будет на помочах и совершенный на возрасте будет каляка. Недоросль будет всегда Митрофанушка <sup>123</sup>, без дядьки не ступит, без опекуна не может править своим наследием. Таковы бывают везде следствия обыкновенной ценсуры, и чем она строже, тем следствия ее пагубнее. Послушаем Гердера <sup>124</sup>.

«Наилучший способ поощрять доброе есть не препятствие, дозволение, свобода в помышлениях. Розыск вреден в царстве науки: он сгущает воздух и запирает дыхание. Книга, проходящая десять ценсур прежде, нежели достигнет



света, не есть книга, но подделка святой инквизиции; часто изуродованный, сеченный батожем, с кляпом во рту узник, а раб всегда... В областях истины, в царстве мысли и духа не может никакая земная власть давать решений и не должна; не может того правительство, менее еще его цензор, в клобуке ли он или с тямляком. В царстве истины он не судия, но ответчик, как и сочинитель. Исправление может только совершиться просвещением; без главы и мозга не шевельнется ни рука ни нога... Чем государство основательнее в своих правилах, чем стройнее, светлее и тверже оно само в себе, тем менее может оно позыбнуться и стрястися от дуновения каждого мнения, от каждой насмешки разъяренного писателя; тем более благоволит оно в свободе мыслей и в свободе писаний, а от нее под конец прибыль, конечно, будет истине. Губители бывают подозрительны; тайные злодеи робки. Явный муж, творяй правду и твердый в правилах своих, допустит о себе глагол всякий. Хождает он во дни и на пользу себе строит клевету своих злодеев. Откупы в помышлениях вредны... Правитель государства да будет беспристрастен во мнениях, дабы мог объяти мнения всех и оные в государстве своем позволять, просвещать и наклонять к общему добру; оттого то истинно великие государи столь редки.

Правительство <sup>125</sup>, дознав полезность книгопечатания, оное дозволило всем; но, паче еще дознав, что запрещение в мыслях утщит благое намерение вольности книгопечатания, поручило цензуру или присмотр за изданиями управе благочиния <sup>126</sup>. Долг же ее в отношении сего может быть только тот, чтобы воспрещать продажу язвительных сочинений. Но и сия цензура есть лишняя. Один несмысленный урядник благочиния может величайший в просвещении сделать вред и на многие лета остановку в шествии разума; запретит полезное изобретение, новую мысль и всех лишит великого. Пример в малости. В управу благочиния принесен для утверждения перевод романа. Переводчик, следуя автору, говоря о любви, назвал ее: лукавым богом. Мундирный цензор, исполненный духа благоговения, сие выражение почернил, говоря: «неприлично божество называть лукавым». Кто чего не понимает, тот в то да не мешается. Если хочешь благорастворенного воздуха, удали от себя контильню; если хочешь света, удали затмение; если хочешь, чтобы дитя не было застенчиво, то выгони лозу из

училища. В доме, где плети и батожье в моде, там служители пьяницы, воры и того еще хуже\*.

Пускай печатают все, кому что на ум ни взойдет. Кто себя в печати найдет обиженным, тому да дастся суд по форме. Я говорю не смехом. Слова не всегда суть деяния, размышлений же не преступлений. Се правила наказа о новом уложении<sup>127</sup>. Но брань на словах и в печати всегда брань. В законе никого бранить не велено, и всякому свобода есть жаловаться. Но если кто про кого скажет правду, бранью ли то почитать, того в законе нет. Какой вред может быть, если книги в печати будут без клейма полицейского? Не токмо не может быть вреда, но польза; польза от первого до последнего, от малого до великого, от царя до последнего гражданина.

Обыкновенные правила цензуры суть: почеркивать, мазать, не позволять, драть, жечь все то, что противно естественной религии и откровению, все то, что противно правлению, всякая личность, противное благонравию, устройству и тишине общей. Рассмотрим сие подробно. Если безумец в мечтании своем, не токмо в сердце, но громким гласом речет: «несть бога», в устах всех безумных раздается громкое и поспешное эхо: «несть бога, несть бога». Но что ж из того? Эхо — звук; ударит в воздух, позабнет его и исчезнет. На разуме редко оставит черту, и то слабую; на сердце же никогда. Бог всегда пребудет бог, ощущаем и неверующим в него. Но если думаешь, что хулением всевышний оскорбится, — урядник ли благочиния может быть за него истец? Всесильный звонящему в трещетку или биющему в набат доверия не даст. Возгнущается метатель грома и молнии, ему же все стихии повинуются, возгнущается колеблящий сердца из-за пределов вселенныя дать мстити за себя и самому царю, мечтающему быти его на земли преемником. — Кто ж может быть судисю в обиде отца предвечного? — Тот его обижает, кто, мнит, возможет судити о его обиде. Тот даст ответ пред ним.

---

\* Такого же роду цензор не позволял, сказывают, печатать те сочинения, где упоминалось о божии, говоря, я с ним дела никакого не имею. Если в каком-либо сочинении порочили народныя нравы того или другого государства, он недозволенным сие почитал, говоря, Россия имеет тракт дружбы с ним. Если упоминалось, где о князе или графе, того не позволял он печатать, говоря, сие есть личность, ибо у нас есть князья и графы между знатными особами.

Отступники откровенной религии <sup>128</sup> более доселе в России делали вреда, нежели непризнаватели бытия божия, афеисты. Таковых у нас мало: ибо мало у нас еще думают о метафизике. Афеист заблуждает в метафизике, а раскольник в трех пальцах. Раскольниками называем мы всех россиян, отступающих в чем-либо от общего учения греческия церкви. Их в России много, и для того служение им дозволяется. Но для чего не дозволять всякому заблуждению быть явному? Явнее оно будет, скорее сокрушится. Гонения делали мучеников; жестокость была подпорю самого христианского закона. Действия расколов суть иногда вредны. Воспрети их. Проповедаются они примером. Уничтожь пример. От печатной книги раскольник не бросится в огонь, но от ухищренного примера. Запрещать дурачество есть то же, что его поощрять. Дай ему волю; всяк увидит, что глупо и что умно. Что запрещено, того и хочется. Мы все Евины дети.

Но, запрещая вольное книгопечатание, робкие правительства не богохуления боятся, но боятся сами иметь порицателей. Кто в часы безумия не щадит бога, тот в часы памяти и рассудка не пощадит незаконной власти. Не бойся громов всесильного смеется виселице. Для того-то вольность мыслей правительствам страшна. До внутренности потрясенный вольнодумец прострет дерзкую, но мощную и незыбкую руку к истукану власти, сорвет ее личину и покров и обнажит ее состав. Всяк узрит бранные его ноги, всяк возвратит к себе данную им ему подпору, сила возвратится к источнику, истукан падет. Но если власть не на тумане мнений восседает, если престол ее на искренности и истинной любви общего блага возник, — не утвердится ли паче, когда основание его будет явно, не возлюбится ли любящий искренно? Взаимность есть чувство природы, и стремление сие почил в естестве. Прочному и твердому зданию довольно его собственного основания; в опорах и контрфорсах ему нужды нет. Если позыбнется оно от ветхости, тогда только побочные тверди ему нужны. Правительство да будет истинно, вожди его нелицемерны; тогда все плевелы, тогда все изблевания смрадность свою возвратят на извергателя их; а истина пребудет всегда чиста и беловидна. Кто возмущает словом (да назовем так в угодность власти все твердые размышления, на истине основанные, власти противные), есть такой же безумец, как

и хулу глаголяй на бога. Бude власть шестует стезею, ей назначенной, то не возмутится от пустого звука клеветы, яко же господь сил не тревожится хулением. Но горе ей, если в жадности своей ломит правду. Тогда и едина мысль твердости ее тревожит, глагол истины ее сокрушит, деяние мужества ее развеет.

Личность <sup>129</sup>, но язвительная личность, есть обида. Личность в истине столь же позволительна, как и самая истина. Если ослепленный судия судит в неправду и защитник невинности издаст в свет его коварный приговор, если он покажет его ухищрение и неправду, то будет сие личность, но дозволенная; если он его назовет судиею наемным, ложным, глупым — есть личность, но дозволить можно. Если же называть его станет именованиями смрадными и бранными словами поносить, как то на рынках употребительно, то сие есть личность, но язвительная и недозволенная. Но не правительства дело вступаться за судию, хотя бы он поносился и в правом деле. Не судия да будет в том истец, но оскорбленное лице. Судия же пред светом и пред поставившим его судиею да оправдится единым делом \*. Тако долженствует судить о личности. Она наказания достойна, но в печатании более пользы устроит, а вреда мало. Когда все будет в порядке, когда решения всегда будут в законе, когда закон основан будет на истине и заклеплется удручение, тогда разве, тогда личность может сделать разврат. Скажем нечто о благодравии и сколько слова ему вредят.

Сочинения любострастные, наполненные похотливыми начертаниями, дышущие развратом, коего все листы и строки стрекательною наготою зияют, вредны для юношей и незрелых чувств. Распламеняя воспаленное воображение, тревожа спящие чувства и возбуждая покоящееся сердце, безвременную наводят возмужалость, обманывая юные чувства в твердости их и заготовляя им дряхлость. Таковые

---

\* Г. Дикинсон, имевший участие в бывшей в Америке перемене и тем прославившийся, будучи после в Пенсильвании <sup>130</sup> президентом, не возгнушался сражаться с наступавшими на него. Издашы были против него наижесточайшие листы. Первейший градоначальник области нисшел в ристалище, издал в печать свое защищение; оправдался, опроверг доводы своих противников и их устыдил... Се пример для последования, как мстить должно, когда кто кого обвиняет пред светом печатным сочинением. Если кто свирепствует против печатных строки, тот заставляет мыслить, что печатанное истино, а мстящий таков, как о нем напечатано.

сочинения могут быть вредны; но не они разврату корень. Если, читая их, юноши пристрастятся к крайнему услаждению любовной страсти, то не могли бы того произвести в действие, не бы были торгующие своею красотою. В России таковых сочинений в печати еще нет, а на каждой улице в обеих столицах видим раскрашенных любовниц. Действие более развратит, нежели слово, и пример паче всего. Скитающиеся любовницы, отдающие сердца свои с публичного торгова наддателю, тысячу юношей заразят язвою и все будущее потомство тысячи сея; но книга не давала еще болезни. Итак цензура да останется на торговых девок, до произведений же развратного хотя разума ей дела нет.

Заклучу сим: цензура печатаемого принадлежит обществу, оно дает сочинителю венец или употребит листы на обертки. Равно как ободрение феатральному сочинению дает публика, а не директор феатра, так и выпускаемому в мир сочинению цензор ни славы не даст, ни бесславия. Завеса поднялась, взоры всех устремились к действию; нравится — плещут, не нравится — стучат и свищут. Оставь глупое на волю суждения общего; оно тысящу найдет ценсоров. Настрожайшая полиция не возможет так запретить дряни мыслей, как негодующая на нее публика. Один раз им воньмут, потом умрут они и не воскреснут во веки. Но если мы признали бесполезность цензуры или паче ее вред в царстве науки, то познаем обширную и беспредельную пользу вольности печатания.

Доказательства сему, кажется, не нужны. Если свободно всякому мыслить и мысли свои объявлять всем беспрекословно, то естественно, что все, что будет придумано, изобретено, то будет известно; великое будет велико, истина не затмится. Не дерзнут правители народов удалиться от стези правды и убоятся, ибо пути их, злость и ухищрения обнажатся. Вострепещот судия, подписывая несправедный приговор и его раздерет. Устыдится власть имеющий употреблять ее на удовлетворение только своих прихотей. Тайный грабеж назовется грабежем, прикрытое убийство — убийством. Убоятся все злые строгаго взора истины. Спокойствие будет действительное, ибо заквасу в нем не будет. Ныне поверхность только гладка, но ил, на дне лежащий, мутится и тмит прозрачность вод.

Прощаясь со мною, порицатель цензуры дал мне не большую тетрадку. Если, читатель, ты нескучлив, то читай; что перед тобою лежит. Если же бы случилось, что ты сам принадлежишь к ценсурному комитету, то загни лист и скачи мимо.

## КРАТКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЦЕНСУРЫ

Если мы скажем и утвердим ясными доводами, что цензура с инквизициею принадлежат к одному корню; что учредители инквизиции изобрели цензуру, то есть рассмотрение приказное книг до издания их в свет, то мы хотя ничего не скажем нового, но из мрака протекших времен извлечем, вдобавок многим другим, ясное доказательство, что священнослужители были всегда изобретатели оков, которыми отягчался в разные времена разум человеческий, что они подстригали ему крылие; да не обратит полет свой к величию и свободе.

Проходя протекшие времена и столетия, мы везде обретаем терзающие черты власти, везде зрим силу, возникающую на истину, иногда суеверие, ополчающееся на суеверие. Народ афинский, священнослужителями возбужденный, писания Протагоровы <sup>131</sup> запретил, велел все списки оных собрать и сжечь. Не он ли, в безумии своем, предал смерти, на неизгладимое вовеки себе поношение, вочеловеченную истину — Сократа? В Риме <sup>132</sup> находим мы больше примеров такового свирепствования. Тит Ливий повествует, что найденные во гробе Нумы писания были сожжены повелением сената. В разные времена случалось, что книги гадательные велено было относить к претору <sup>133</sup>. Светоний повествует, что Кесарь Август таковых книг велел сжечь до двух тысяч. Еще пример несообразности человеческого разума! Неужели, запрещая суеверные писания, власти сии думали, что суеверие истребится? Каждому в особенности своей воспрещали прибегнуть к гаданию, совершаемому нередко на обуздание токмо мгновенное грызущей скорби, оставляли явные и государственные гадания Авгуров и Аруспициев <sup>134</sup>. Но если бы во дни просвещения возмнили книги, учащие гаданию или суеверие проповедающие, запрещать или жечь, не смешно ли бы было, чтобы истина приняла жезл гонения на суеверие? чтоб истина

искала на поражение заблуждения опоры власти и меча; когда вид ее один есть наихудший бич на заблуждение?

Но Кесарь Август не на гадания одни простер свои гонения: он велел сжечь книги Тита Лабиеция. «Злодеи его, — говорит Сенека ритор, — изобрели для него сие нового рода наказание. Неслыханное дело и необычайное — казнь извлекать из учения. Но по счастью государства сие разумное свирепствование изобретено после Цицерона. Что быть могло, если бы троена начальники <sup>135</sup> за благо положили сосудить разум Цицерона?» Но мучитель скоро отомстил за Лабиеция тому, кто исходатайствовал сожжение его сочинений. При жизни своей видел он, что и его сочинения преданы были огню \*. «Не злomu какому примеру тут следовано, — говорит Сенека, — его собственному» \*\*. Дажь небо, чтобы зло всегда обращалось на изобретателя его и чтобы воздвигший гонение на мысль зрел всегда свои осмеянными, в поругании и на истребление осужденными! Если мщение когда-либо извинительно быть может, то разве сие.

Во времена народного правления в Риме гонение такого рода обращалось только на суеверие, но при императорах простерлось оно на все твердые мысли. Кремуций Корд в истории своей назвал Кассия, дерзнувшего осмеять мучительство Августово на Лабиеиевы сочинения, последним римлянином <sup>138</sup>. Римский сенат, ползая пред Тиверием, велел во угождение ему Кремуциеву книгу сжечь. Но многие с оной остались списки. «Тем паче, — говорит Тацит, — смеяться можно над попечением тех, кои мечтают, что всемогуществом своим могут истребить воспоминание следующего поколения. Хотя власть бешенствует на казнь рассудка, но свирепствованием своим себе устроила стыд и посрамление, им славу».

Не забавились сожжения книги иудейские при Антиохе Епифане, царе Сирском. Равной с ними подвержены были

---

\* Сочинения Ария Моптана <sup>138</sup>, издавшего в Нидерландах первый реестр запрещенным книгам, вмещены были в тот же реестр.

\*\* Кассий Север <sup>137</sup>, друг Лабиеция, видя писани его в огне, сказал: «теперь меня сжечь надлежит, ибо я их наизусть знаю». Сие подало случай при Августе к законоположению о поносительных сочинениях, которое по природному человеку обезьянству принято в Англия и в других государствах.

участи сочинения христиан. Император Диоклетиан книги священного писания велел предать сожжению. Но христианский закон, одержав победу над мучительством, покорил самих мучителей и ныне остается во свидетельство неложное, что гонения на мысли и мнения не токмо не в силах оные истребить, но укоренят их и распространяют. Арнобий справедливо восстает противу такового гонения и мучительства. «Иные вещают, — говорит он, — полезно для государства, чтобы сенат истребить велел писания, в доказательство христианского исповедания служащие, которые важность опровергают древняя религии. Но запрещать писания и обнародованное хотеть истребить не есть защищать богов, но бояться истины свидетельствования». Но по распространении христианского исповедания священнослужители оного толико же стали злобны против писаний, которые были им противны и не в пользу. Недавно порицали строгость сию в язычниках, недавно почитали ее знаком недоверения к тому, что защищали, но скоро сами ополчились всемогуществом. Греческие императоры, занимаясь более церковными прениями, нежели делами государственными, а потому управляемые священниками, воздвигли гонение на всех тех, кто деяния и учения Иисусовы понимал с ними различно. Таковое гонение распростерлося и на произведение рассудка и разума. Уже мучитель Константин <sup>139</sup>, Великим названный, следуя решению Никейского собора, предавшему Ариево учение проклятию, запретил его книги, осудил их на сожжение, а того, кто оные книги иметь будет, — на смерть. Император Феодосий II проклятые книги Нестория велел все собрать и предать огню. На Халкидонском соборе то же положено о писаниях Евтихия. В Пандектах Юстиниановых <sup>140</sup> сохранены некоторые таковые решения. Несмысленные! Не ведали, что истребляя превратное или глупое истолкование христианского учения и запрещая разуму трудиться в исследовании каких-либо мнений, они останавливали его шествие; у истины отнимали сильную опору: различие мнений, прения и невозбранное мыслей своих изречение. Кто может за то поручиться, что Несторий, Арий, Евтихий и другие еретики быть бы могли предшественниками Лутера, и если бы вселенские соборы не были созваны <sup>141</sup>, что бы Декарт <sup>142</sup> родиться мог десять столетий прежде? Какой шаг вспять сделан ко тьме и невежеству!



По разрушении Римской империи монахи в Европе были хранители учености и науки. Но никто у них не оспаривал свободы писать, что они желали. В 768 году Амвросий Оперт, монах бенедиктинской, посылая толкование свое на Апокалипсис <sup>143</sup> к папе Стефану III и прося дозволения о продолжении своего труда и о издании его в свет; говорит, что он первый из писателей просит такового дозволения. «Но да не исчезнет, — продолжает он, — свобода в писании для того, что уничтожение поклонилось непринужденно». Собор Санский в 1140 году осудил мнения Абелардовы <sup>144</sup>, а папа сочинения его велел сжечь.

Но ни в Греции, ни в Риме, нигде примера не находим, чтобы избран был судия мысли, чтобы кто дерзнул сказать: у меня просите дозволения, если уста ваши отверзать хотите на велеречие; у нас клеймится разум, науки и просвещение, и все, что без нашего клейма явится в свет, объявляем заранее глупым, мерзким, негодным. Такое постыдное изобретение предоставлено было христианскому священству, и цензура была современна инквизиции.

Нередко, проходя историю, находим разум суеверию, изобретения наиболее полезнейшие современниками грубейшему невежеству. В то время, как боязливое недоверие к вещи утверждаемой побудило монахов учредить цензуру и мысль истреблять в ее рождении, в то самое время дерзал Колумб в неизвестность морей на искание Америки; Кеплер предузнавал бытие притягательной в природе силы, Ньютоном доказанной; в то же время родился начертавший в пространстве путь небесным телесам — Коперник. Но к вящему сожалению о жребии человеческого умствования скажем, что мысль великая рождала иногда невежество. Книгопечатание родило цензуру, разум философский в XVIII столетии произвел Иллюминатов <sup>145</sup>.

В 1479 году находим древнейшее доселе известное дозволение на печатание книги. На конце книги под заглавием: «Знай сам себя», печатанной в 1480 году, присоединено следующее: «мы Морфей Жирардо, божиим милосердием, патриарх Венецианский, первенствующий в Далматии, по прочтении вышеписанных господ, свидетельствующих о вышеписанном творении, и по таковому же онного заключению и присоединенному доверению также свидетельствуем, что книга сия православна и богобоязлива». Древнейший документ цензуры, но не древнейший безумия!

Древнейшее о цензуре узаконение, доселе известное, находится в 1486 году, изданное в самом том городе, где изобретено книгопечатание. Предупреждали монашеские правления, что оно будет орудием сокрушения их власти, что оно ускорит развержение общего рассудка, и могущество, на мнении, а не на пользе общей основанное, в книгопечатании обращет свою кончину. Да позволят нам здесь присовокупить памятник, ныне еще существующий на пагубу мысли и на посрамление просвещения.

Указ о неиздании книг греческих, латинских и пр. на народном языке без предварительного ученых удостоения 1486 года \*.

«Бертольд, божиею милостию, святыя Маинцкия епархии архиепископ, в Германии архиканцлер и курфирст. Хотя для приобретения человеческого учения чрез божественное печатание искусство возможно с изобилием и свободнее получать книги, до разных наук касающиеся, но до сведения нашего дошло, что некоторые люди, побуждаемые суетныя славы или богатства желанием, искусство сие употребляют во зло и данное для научения в житии человеческом обращают на пагубу и злоречие.

Мы видели книги, до священных должностей и обрядов исповедания нашего касающиеся, переведенные с латинского на немецкий язык и неблагопристойно для святого закона в руках простого народа обращающиеся; что ж сказать наконец о предписаниях святых правил и законоположений; хотя они людьми искусными в законоучении, людьми мудрейшими и красноречивейшими писаны разумно и тщательно, но наука сама по себе толико затруднительна, что красноречивейшего и ученейшего человека едва на оную достаточна целая жизнь.

Некоторые глупые, дерзновенные и невежды попускаются переводить на общий язык таковые книги. Многие ученые люди, читая переводы сии, признаются, что ради великой несвойственности и худого употребления слов они непонятнее подлинников. Что же скажем о сочинениях, до других наук касающихся, в которые часто вменяют ложное, надписывают ложными названиями и тем паче славнейшим писателям приписывают свои вымыслы, чем более находится покупателей.

---

\* Кодекс дипломатический, изданный Гуденом. Том IV.

Да вещают таковы́е переводчики, если возлюбляют истину, с каким бы намерением то ни делали, с добрым или худым, до того нет нужды; да вещают, немецкий язык удобен ли к преложению на оный того, что греческие и латинские изящные писатели о вышних размышлениях христианского исповедания и о науках писали точнее и разумнейше? Признаться надлежит, скудости ради своей, язык наш на сказанное недостаточен весьма, и нужно для того, чтобы они неизвестные имена вещам в мозгу своем сооружали; или, если употребят древние, то испортят истинный смысл, чего наипаче опасаемся в писаниях священных в рассуждении их важности. Ибо грубым и неученым людям и женскому полу, в руки которых попадутся книги священные, кто покажет истинный смысл? Рассмотрим святого евангелия строки или послания апостола Павла, всяк разумный признается, что много в них прибавлений и исправлений писцовых.

Сказанное нами довольно известно. Что же помыслим о том, что в писателях кафолическия церкви находится зависящее от строжайшего рассмотрения? Многое в пример поставить можем, но для сего намерения довольно уже нами сказанного.

Понеже начало сего искусства в славном нашем граде Майнце, скажем истинным словом, божественно явилось и ныне в оном исправленно и обогащено пребывает, то справедливо, чтобы мы в защиту нашу приияли важность сего искусства. Ибо должность наша есть сохранять святыя писания в нерастленной непорочности. Сказав таким образом о заблуждениях и о продерзостях людей наглых и злодеев, желая, елико нам возможно, пособием господним, о котором дело здесь, предупредить и наложить узду всем и каждому, церковным и светским нашей области подданным и вне пределов оныя торгующим, какого бы они звания и состояния ни были, сим каждому повелеваем, чтобы никакое сочинение в какой бы науке, художестве или знании ни было, с греческого, латинского или другого языка переводимо не было на немецкий язык или уже переведенное, с переменою токмо заглавия или чего другого, не было раздаваемо или продаваемо явно или скрытно, прямо или посторонним образом, если до печатания или после печати до издания в свет не будет иметь отверстого дозволения на печатание или издание в свет от любезных нам светлейших и

благородных докторов и магистров университетских, а именно: во граде нашем Майнце, от Иоганна Бертрама де Наумбурха в касающемся до богословии, от Александра Дидриха в законоучении, от Феодорика де Мешедя во врачебной науке, от Андрея Елера во словесности, избранных для сего в городе нашем Эрфурте докторов и магистров. В городе же Франкфурте, если таковые, на продажу изданные, книги не будут рассмотрены и утверждены почтенным и нам любезным одним богословии магистром и одним или двумя докторами и лиценциатами <sup>146</sup>, которые от думы оного города на годовом жалованье содержимы быть имеют.

Если кто сие наше попечительное постановление презрит или против такового нашего указа подаст совет, помощь или благопритство своим лицом или посторонним, — тем самым подвергает себя осуждению на проклятие, да сверх того лишен быть имеет тех книг и заплатит сто золотых гульденов пени в казну нашу. И сего решения никто без особого повеления да нарушить не дерзает. Дано в замке С. Мартына, во граде нашем Майнце, с приложением печати нашей. Мсяца Января, в четвертый день 1486 года.

Его же о предыдущем, каким образом отправлять цензуру. «Лета 1486 Бертольд и пр. Почтеннейшим, ученнейшим и любезнейшим нам во Христе И. Бертраму богословии, А. Дидриху законоучения, Ф. де Мешедю, врачевания докторам и А. Елеру словесности магистру, здравие и к нижеписанному прилежание.

Известившись о соблазнах и подлогах, от некоторых в науках переводчиков и книгопечатников происшедших, и желая оным предварить и заградить путь по возможности, повелеваем, да никто в епархии и области нашей не дерзает переводить книги на немецкий язык, печатать или печатные раздавать, доколе таковые сочинения или книги в городе нашем Майнце не будут рассмотрены вами и касательно до самой вещи, доколе не будут в переводе и для продажи вами утверждены, согласно с вышеобъявленным указом.

Надеясь твердо на ваше благоразумие и осторожность, мы вам поручаем: когда назначаемые к переводу, печатанию или продаже сочинения или книги к вам принесены будут, то вы рассмотрите их содержание и, если нелегко можно дать им истинный смысл, или могут возродить заблуждения и соблазны или оскорбить целомудрие, то оные отвергните; те, которые вы отпустите свободными, имеете

вы подписать своеручно и именно на конце двое от вас, дабы тем виднее было, что те книги вами просмотрены и утверждены. Богу нашему и государству любезную и полезную должность отправляйте. Дан в замке С. Мартына, 10 Января 1486 года».

Рассматривая сие новое по тогдашнему времени законоположение, находим, что оно клонилось более на запрещение, чтобы мало было книг печатано на немецком языке или, другими словами, чтобы народ пребывал всегда в невежестве. На сочинения, на латинском языке писанные, цензура, кажется, не распространялася. Ибо те, которые были сведущи в языке латинском, казались были уже ограждены от заблуждения, ему неприступны и что читали, понимали ясно и некриво \*. Итак священники хотели, чтобы одни причастники их власти были просвещенны, чтобы народ науку почитал божественного происхождения, превыше его понятия и не смел бы оныя коснуться. Итак изобретенное на заключение истины и просвещения в теснейшие пределы, изобретенное недоверяющею властью ко своему могуществу, изобретенное на продолжение невежества и мрака, ныне во дни наук и любомудрия, когда разум отряс несродные ему пути суеверия, когда истина блистает столично паче и паче, когда источник учения протекает до дальнейших отраслей общества, когда старания правительств стремятся на истребление заблуждений и на отверстие беспреткновенных путей рассудку к истине, постыдное монашеское изобретение трещущей власти принято ныне повсеместно, укоренено и благою приемлется преградю блуждению. Непستовые! осмотритесь, вы стяжаете превратностию дать истине опору, вы заблуждением хотите просвещать народы. Блюдитесь убо, да не возродится тьма. Какая вам польза, что властвовать будете над невеждами, тем паче загрубелыми, что не от недостатка пособий к просвещению невежды пребыли в невежестве природы или паче в естественной простоте, но сделав уже шаг к просвещению, остановлены в шестви и обращены вспять, во тьму гонимы? Какая в том вам польза бороться самим с собою и исторгать шуйцею, что десницею насадили? Воззрите на веселящееся о сем священство. Вы заранее уже ему служите. Прострите тьму и почувствуйте

---

\* Сравнить с ним можно дозволение иметь книги иностранные всякого рода и запрещение таковых же на языке народном.

на себе оковы, — если не всегда оковы священного суеверия, то суеверия политического, не столь хотя смешного, но столь же пагубного.

По счастью однако же общества, что не изгнали из областей ваших книгопечатание. Яко древо, во всегдашней весне насажденное, не теряет своея зелени, тако орудия книгопечатания остановлены могут быть в действии, но не разрушены.

Папы, уразумев опасность их власти, от свободы печатания родитья могущей, не укоснили законоположить о цензуре, и сие положение прияло силу общего закона на бывшем вскоре потом соборе в Риме. Священный Тиверий, папа Александр VI первый из пап законоположил о цензуре в 1507 году. Сам согбенный под всеми злодеяниями, не устыдился пещися о непорочности исповедания христианского. Но власть когда краснела! Буллу<sup>147</sup> свою начинает он жалобю на диавола, который куколь сеет во пшенице и говорит: «Узнав, что посредством сказанного искусства многие книги и сочинения в разных частях света, наипаче в Кельне, Майнце, Триере, Магдебурге напечатанные, содержат в себе разные заблуждения, учения пагубные, христианскому закону враждебные, и ныне еще в некоторых местах печатаются, желая без отлагательства предварить сей ненавистой язве, всем и каждому сказанного искусства печатникам и к ним принадлежащим и всем, кто в печатном деле обращается в помянутых областях, под наказанием проклятия и денежных пени, определяемой и взыскиваемой почтенными братьями нашими, Кельнским, Майнцким, Триерским и Магдебургским архиепископами или их наместниками в областях их, в пользу апостольской камеры, апостольскою властью наистрожайше запрещаем, чтобы не дерзали книг, сочинений или писаний печатать или отдавать в печать без доклада вышесказанным архиепископам или наместникам и без их особливого и точного безденежно испрошенного дозволения; их же совесть обременяем, да прежде нежели дадут таковое дозволение, назначенное к печатанию прилежно рассмотрят или чрез ученых и православных велят рассмотреть и да прилежно пекутся, чтобы не было печатано противного вере православной, безбожное и облази производящего». А дабы прежние книги не соделали более несчастий, то велено было рассмотреть все о книгах реестры и все печатные книги, а которые что-либо

содержали противное католическому исповеданию, те сжечь.

О! вы цензуру учреждающие, вспомните, что можете сравниться с папою Александром VI, и устыдитесь.

В 1515 году Латеранский собор о цензуре положил, чтобы никакая книга не была печатана без утверждения священства.

Из предыдущего видели мы, что цензура изобретена священством и ему была единственно присвоена. Сопровождаемая проклятием и денежным взысканием, справедливо в тогдaшнее время казаться могла ужасною нарушителью изданных о ней законоположений. Но опровержение Лутером власти папской, отделение разных исповеданий от римския церкви, прения различных властей в продолжение тридесатилетней войны произвели много книг, которые явились в свет без обыкновенного клейма цензуры. Везде однако же духовенство присвоило себе право производить цензуру над изданиями; и когда в 1650 году учреждена была во Франции цензура гражданская, то богословской факультет Парижского Университета новому установлению противуречил, ссылаясь, что двести лет он пользовался сим правом.

Скоро по введении \* книгопечатания в Англии учреждена цензура. Звездная палата <sup>148</sup>, не меньше ужасная в свое время в Англии, как в Испании инквизиция или в России Тайная канцелярия, определила число печатников и печатных станов; учредила освобождателя <sup>149</sup>, без дозволения которого ничего печатать не смели. Жестокости ее против писавших о правительстве несчетны и история ее оными наполнена. Итак, если в Англии суеверие духовное не в силах было наложить на разум тяжкую узду цензуры, возложена она суеверием политическим. Но то и другое пеклися, да власть будет всецела, да очи просвещения покрыты всегда пребудут туманом обаяния и да насилие царствует на счет рассудка.

Со смертью графа Страфорда <sup>150</sup> рушилась Звездная палата: но ни уничтожение сего, ни судебная казнь Карла I не могли утвердить в Англии вольности книгопечатания.

---

\* Виллиам Какстон, лондонский купец, завел в Англии книгопечатницу при Эдуарде IV в 1474 году. Первая книга, печатанная на английском языке, была: «Рассуждение о шашечной игре», переведенное с французского языка. Вторая — «Собрание речений и слов философов», переведенное лордом Риверсом.

Долгий парламент<sup>151</sup> возобновил прежние положения, против ее сделанные. При Карле II и при Якове I они паки возобновлены. Даже по совершении премены<sup>152</sup> в 1692 году узаконение сие подтверждено, но на два только года. Скончавшись в 1694 году, вольность печатания утверждена в Англии совершенно, и ценсура, зевнув в последний раз, издохла \*.

Американские правительства приняли свободу печатания между первейшими законоположениями, вольность гражданскую утверждающими. Пенсильванская область, в основательном своем законоположении, в главе I, в предложительном объявлении прав жителей пенсильванских, в 12 статье говорит: «народ имеет право говорить, писать и обнародовать свои мнения; следовательно, свобода печатания никогда не долженствует быть затрудняема». В главе 2 о образе правления, в отделении 35: «печатание да будет свободно для всех, кто хочет исследовать положения законодательного собрания или другой отрасли правления». В проекте о образе правления в Пенсильванском государстве, напечатанном, дабы жители оногo могли сообщать свои примечания, в 1776 году в июле, отделение 35: «Свобода печатания отверста да будет всем, желающим исследовать законодательное правительство, и общее собрание да не коснется оныя никаким положением. Никакой книгопечатник да не потребует к суду за то, что издал в свет примечания, ценения, наблюдения о поступках общего собрания, о разных частях правления, о делах общих или о поведении служащих, поколику оное касается до исполнения их должностей». Делаварское государство в объявлении изъяснительном прав, в 23 статье, говорит: «Свобода печатания да сохраняется будет ненарушимо». Мариландское государство в 38 статье теми же словами объясняется. Виргинское в 14 статье говорит сими словами: «Свобода печатания есть наивеличайшая защита свободы государственной».

Книгопечатание до перемены 1789 года, во Франции последовавшей, нигде толико стесняемо не было, как в сем государстве. Стоглазый Арг, сторучный Бриарей<sup>153</sup>, парижская полиция свирепствовала против писаний и писателей.

---

\* В Дании вольное книгопечатание было мгновенно. Стихи Вольтеров на сей случай к датскому королю во свидетельство остались, что похвалою даже мудрому законоположению спешить не надлежит.



В Бастильских темницах томилась несчастные, дерзнувшие оуждать хищность министров и их распутство. Если бы язык французский не был толико употребителен в Европе, не был бы всеобщим, то Франция, стена под бичем ценсуры, не достигла бы до того величия в мыслях, какое явили многие ее писатели. Но общес употребление французского языка побудило завести в Голландии, Англии, Швейцарии и Немецкой земле книгопечатницы, и все, что явиться не держало во Франции, свободно обнародовано было в других местах. Тако сила, кичаясь своими мышцами, осмеяна была и не ужасна; тако свирепства пенящихся челюсти праздны оставались, и слово твердое ускользало от них непоглощено.

Но дивись несообразности разума человеческого. Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, когда необузданность и безначалие дошли до края возможного, ценсура во Франции не уничтожена. И хотя все там печатается ныне невозбранно, но тайным образом. Мы недавно читали, — да восплачут французы о участи своей и с ними человечество! — мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступаая самодержавно, как доселе их государь, насильственно взяли печатную книгу и сочинителя оной отдали под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания. Лафает был исполнителем сего приговора. О, Франция! ты еще хождаешь близ Бастильских пропастей <sup>154</sup>.

Размножение книгопечатниц в Немецкой земле, сокрывая от власти орудия оных, отъемлет у нее возможность свирепствовать против рассудка и просвещения. Малые немецкие правления хотя вольности книгопечатания стараются положить преграду, но безуспешно. Векерлин хотя мстящею властью посажен был под стражу, но Седое Чудовище <sup>155</sup> осталось у всех в руках. Покойный Фридрих II, король прусский, в землях своих печатание сделал почти свободным не каким-либо законоположением, но дозволением токмо и образом своих мыслей. Чему дивиться, что он не уничтожил ценсуры; он был самодержец, коего любезнейшая страсть была всесилие. Но воздержись от смеха. — Он узнал, что указы, им изданные, некто намерен был, собрав, напечатать. Он к оным приставил двух ценсоров, или, правильнее сказать, браковщиков. О, властвование! о, всесилие! ты мышцам своим не доверяешь. Ты боишься собственного своего обвинения; боишься, чтобы язык твой тебя не посра-

мил, чтобы рука твоя тебя не заушила! — Но какое доброси насильствованные цензоры произвести могли? Не добро, но вред. Скрыли они от глаз потомства нелепое какое-либо законоположение, которое на суд будущий власть оставить стыдилась, которое оставшись явным, было бы, может быть, уздою власти, да не дерзает на уродливое. Император Иосиф II рушил отчасти преграду просвещения, которая в Австрийских наследных владениях, в царствование Марии Терезии, тяготила рассудок; но не мог он стрясти с себя бремени предрассудений и предлинное издал о цензуре постановление<sup>156</sup>. Если должно его хвалить за то, что не возбранял опорочивать свои решения, находить в поведении его недостатки и таковые порицания издавать в печати; но похулим его за то, что на свободе в изъяснении мыслей он оставил узду. Сколь легко употребить можно оную во зло!... \* Чему дивиться? скажем и теперь, как прежде: он был царь. Скажи же, в чьей голове может быть больше несообразностей, если не в царской?

В России... Что в России с цензурою происходило, узнаете в другое время. А теперь, не производя цензуры над почтовыми лошадьми, я поспешно отправился в путь.

## МЕДНОЕ<sup>157</sup>

«Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла, ой люли, люли, люли, люли...» Хоровод молодых баб и девок; пляшут; подойдем поближе, — говорил я сам себе, развертывая найденные бумаги моего приятеля. — Но я читал следующее. Не мог дойти до хоровода. Уши мои задернулись печалию, и радостный глас нехитростного веселия до сердца моего не проник. О, мой друг!<sup>158</sup> где бы ты ни был, внемли и суди:

Каждую неделю два раза<sup>159</sup> вся Российская империя извещается, что Н. Н. или Б. Б. в несостоянии или не хочет платить того, что занял или взял, или чего от него требуют. Занятое либо проиграно, проезжено, прожито, проедено, прошито, про... или раздарено, потеряно в огне, или воде, или Н. Н. или Б. Б. другими какими-либо случаями вошел

\* В новейших известиях читаем, что наследник Иосифа II намерен возобновить цензурную комиссию, предместником его уничтоженную.

в долг или под взыскание. То и другое наравне в ведомостях приемлется. — Публикуется — «Сего... дня по полуночи в 10 часов, по определению уездного суда или городского магистрата, продаваться будет с публичного торга отставного капитана Г... недвижимое имение, дом, состоящий в... части, под №... и при нем шесть душ мужского и женского полу; продажа будет при оном доме. Желающие могут осмотреть заблаговременно».

На дешевое охотников всегда много. Наступил день и час продажи. Покупщики съезжаются. В зале, где она производится, стоят неподвижны на продажу осужденные. Старик лет в 75, опершись на вязовой дубинке, жаждет угадать, кому судьба его отдаст в руки, кто закроет его глаза. С отцем господина своего он был в Крымском походе<sup>160</sup>, при фельдмаршале Минихе; в Франкфуртскую баталию<sup>161</sup> он раненого своего господина унес на плечах из строю. Возвращаясь домой, был дядькою своего молодого барина. Во младенчестве он спас его от утопления, бросаясь за ним в реку, куда сей упал, переезжая на пароме, и с опасностью своей жизни спас его. В юношестве выкупил его из тюрьмы, куда посажен был за долги в бытность свою в гвардии унтер-офицером. — Старуха 80 лет, жена его, была кормилицею матери своего молодого барина; его была нянькою и имела надзирание за домом до самого того часа, как выведена на сие торжище. Во все время службы своя ничего у господ своих не утратила, ничем не покорыстовалась, никогда не лгала, а если иногда им досадила, то разве своим праводушием. — Женщина лет в 40, вдова, кормилица молодого своего барина. И до днесь чувствует она еще к нему некоторую нежность. В жилах его льется ее кровь. Она ему вторая мать, и ей он более животом своим обязан, нежели своей природной матери. Спя зачала его в веселии, о младенчестве его не радела. Кормилица и нянька его были его воспитанницы<sup>162</sup>. Они с ним расстаются, как с сыном. — Молодица 18 лет, дочь ее и внучка стариков. Зверь лютый, чудовище, изверг! Посмотри на нее, посмотри на румяные ее ланиты, на слезы, лиющияся из ее прелестных очей. Не ты ли, не возмогши прельщением и обещаниями уловить ее невинности, ни устрашить ее непоколебимости угрозами и казнию, наконец употребил обман, обвенчав ее за спутника твоих мерзостей и в виде его наслаждался веселием, которого она делить с тобой гнушалася. Она узнала обман твой. Венчан-

ный с нею не коснулся более ее ложа, и ты, лишен став твоея утехы, употребил насилие. Четыре злодея, исполнители твоея воли, держали руки ее и ноги... но сего не окончаем. На челе ее скорбь, в глазах отчаяние. Она держит младенца, плачевный плод обмана или насилия, но живой слепок прелюбодейного его отца. Родив его, позабыла отцево зверство, и сердце начало чувствовать к нему нежность. Она боится, чтобы не попасть в руки ему подобного. — Младенец... Твой сын, варвар, твоя кровь. Иль думаешь, что где не было обряда церковного, тут нет и обязанности? Иль думаешь, что данное по приказанию твоему благословение наемным извещателям слова божия сочелование их утвердило, иль думаешь, что насильственное венчание во храме божием может назваться союзом? Всесильный мерзит принуждением, он услаждается желаньями сердечными. Они одни непорочны. О! koliko между нами прелюбодейств и растлений совершается во имя отца радостей и утешителя скорбей при его свидетелях, недостойных своего сана. — Детина лет в 25, венчанный ее муж, спутник и наперстник своего господина. Зверство и мщенье в его глазах. Раскаивается о своих к господину своему угождениях. В кармане его нож; он его схватил крепко; мысль его отгадать нетрудно... Бесплодное рвение. Достанешься другому. Рука господина твоего, носящаяся над главою раба непрестанно, согнет выю твою на всякое угождение. Глад, стужа, зной, казнь, все будет против тебя. Твой разум чужд благородных мыслей. Ты умереть не умеешь. Ты склонись и будешь раб духом, как и состоянием. А если бы восхотел противиться, умрешь в оковах томною смертию. Судии между вами нет. Не захочет мучитель твой сам тебя наказывать. Он будет твой обвинитель. Отдаст тебя градскому правосудию. — Правосудие! — где обвиняемый не имеет почти власти оправдаться. — Пройдем мимо других несчастных, выведенных на торжище.

Едва ужасоносный молот <sup>163</sup> испустил тупой свой звук и четверо несчастных узнали свою участь, — слезы, рыдание, стон пронзили уши всего собрания. Наитвердейшие были тронуты. Окаменелые сердца! почто бесплодное соболезнование? О, квакеры! <sup>164</sup> если бы мы имели вашу душу, мы бы сложились и, купив сих несчастных, даровали бы им свободу. — Жив многие лета в объятиях один другого, несчастные сии к поносной продаже восчувствуют тоску разлуки. Но если закон, иль, лучше сказать, обычай варварский, ибо

в законе того не писано, дозволяет толикое человечеству посмеяние, какое право имеете продавать сего младенца? Он незаконнорожденный. Закон его освобождает. Пойдите, я буду доноситель; я избавлю его. Если бы с ним мог спасти и других! О, счастье! почти ты так обидело меня в твоём раздле? Днесъ жажду вкусити прелестного твоего взора, впервые ощущать начинаю страсть к богатству. — Сердце мое столь было стеснено, что, выскочив из среды собрания и отдав несчастным последнюю гривну из кошелька, побежал вон. На лестнице встретился мне один чужестранец, мой друг. — «Что тебе сделалось? ты плачешь!» — Возвратись, — сказал я ему: — не будь свидетелем срамного поворота. Ты проклинал некогда обычай варварской в продаже черных невольников в отдаленных селениях твоего отечества; возвратись, — повторил я, — не будь свидетелем нашего затмения и да не возвестиши стыда нашего твоим согражданам, беседуя с ними наших нравах. — «Не могу сему я верить, — сказал мне мой друг; — невозможно, чтобы там, где мыслить и верить дозволяется всякому, кто как хочет, столь постыдное существовало обыкновение». — Не дивись, — сказал я ему: — установление свободы в исповедании обидит одних попов и чернецов, да и те скорее пожелают приобрести себе овцу, нежели овцу во Христово стадо. Но свобода сельских жителей обидит, как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения.

## ТВЕРЬ 165

Стихотворство у нас, — говорил товарищ мой трактирного обеда, — в разных смыслах как оно приемлется, далеко еще отстоит величия. Поэзия было пробудилась, но ныне паки дремлет, а стихосложение шагнуло один раз и стало в пень <sup>166</sup>.

Ломоносов, уразумев смешное в польском одеянии <sup>167</sup> наших стихов, снял с них несродное им полукафтанье. Подав хорошие примеры новых стихов, надел на последователей своих узду великого примера, и никто доселе отшатнуться от него не дерзнул. По несчастию случилось, что Сумароков в то же время был; и был отменный стихотворец. Он употреблял стихи по примеру Ломоносова, и ныне все вслед за ни-

ми не воображают, чтобы другие стихи быть могли, как ямбы, как такие, какими писали сии оба знаменитые мужи. Хотя оба сии стихотворцы преподавали правила других стихосложений, а Сумароков и во всех родах оставил примеры, но они столь маловажны, что ни от кого подражания не заслужили. Если бы Ломоносов предложил Иова или псалмопевца <sup>168</sup> дактилями, или если бы Сумароков «Семиру» или «Димитрия» <sup>169</sup> написал хорееми, то и Херасков вздумал бы, что можно писать другими стихами опричь ямбов, и более бы славы в осмилетнем своем приобрел труде <sup>170</sup>, описав взятие Казани свойственным эпопеи стихосложением. Не дивлюсь, что древний треух на Виргилия <sup>171</sup> надет ломоносовским покроем; но желал бы я, чтобы Омир <sup>172</sup> между нами не в ямбах явился, но в стихах, подобных его, — эксаметрах, — и Костров, хотя не стихотворец, а переводчик, сделал бы эпоху в нашем стихосложении, ускорив шествие самой поэзии целым поколением.

Но не одни Ломоносов и Сумароков остановили российское стихосложение. Неутомимый воевик Тредиаковский немало к тому способствовал своею «Телемахидою». Теперь дать пример нового стихосложения очень трудно, ибо примеры в добром и худом стихосложении глубокий пустили корень. Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят везде на карауле. Кто бы ни задумал писать дактилями, тому тотчас Тредиаковского приставят дядькою <sup>173</sup>, и прекраснейшее дитя долго казаться будет уродом, доколе не родится Мильтона, Шекспира или Вольтера. Тогда и Тредиаковского выроют из поросшей мхом забвения могилы, в «Телемахиде» найдутся добрые стихи и будут в пример поставляемы.

Долго благой перемене в стихосложении препятствовать будет привыкшее ухо ко краесловию. Слышав долгое время единоголасное в стихах окончание, безрифмие покажется грубо, негладко и нестройно. Таково оно и будет, доколе французский язык будет в России больше других языков в употреблении. Чувства наши, как гибкое и молодое дерево, можно вырастить прямо и криво, по произволению. Сверх же того в стихотворении, так, как и во всех вещах, может господствовать мода, и если она хотя несколько имеет в себе естественного, то принята будет без прекословия. Но все модное мгновенно, а особливо в стихотворстве. Блеск наружный может заржаветь, но истинная красота не поблекнет никогда. Омир, Виргилий, Мильтон, Расин, Вольтер,

Шекспир, Тассо и многие другие читаны будут, доколе не истребится род человеческий.

Излишним почитаю я беседовать с вами о разных стихах, российскому языку свойственных. Что такое ямб, хорей, дактиль, или анапест, всяк знает, если немного кто разумеет правила стихосложения. Но то бы было не излишнее, если бы я мог дать примеры в разных родах достаточные. Но силы мои и разумение коротки. Если совет мой может что-либо сделать, то я бы сказал, что российское стихотворство, да и сам российский язык, гораздо обогатились бы, если бы переводы стихотворных сочинений делали не всегда ямбами. Гораздо бы эпической поэме свойственнее было, если бы перевод «Генриады»<sup>174</sup> не был в ямбах, а ямбы некраесловные хуже прозы.

Все выше сказанное изрек пирный мой товарищ одним духом и с толикою поворотливостию языка, что я не успел ничего ему сказать на возражение, хотя много кой-чего имел на защищение ямбов и всех тех, которые ими писали.

— Я и сам, — продолжал он, — заразительно последовал примеру и сочинял стихи ямбами, но то были оды. Вот остаток одной из них, все прочие сгорели в огне; да и оставшуюся та же ожидает участь, как и сестра ее постигшая. В Москве не хотели ее напечатать по двум причинам; первая, что смысл в стихах неясен и много стихов топорной работы, другая, что предмет стихов несвойствен нашей земле. Я еду теперь в Петербург просить о издании ее в свет, ласкаясь, яко нежный отец своего дитяти, что ради последней причины, для коей ее в Москве печатать не хотели, снисходительно воззрят на первую. Если вам не в тягость будет прочесть некоторые строфы... — сказал он мне подавая бумагу. — Я ее развернул и читал следующее: Вольность...<sup>175</sup> Ода... — За одно название отказали мне издание сих стихов. Но я очень помню, что в Наказе<sup>176</sup> о сочинении нового уложения, говоря о вольности, сказано: «вольностию называть должно то, что все одинаковым повинуются законам». Следственно, о вольности у нас говорить вместно.

1

О! дар небес благословенный,  
Источник всех великих дел;  
О! вольность, вольность, дар бесценный!

Позволь, чтоб раб тебя воспел.  
Исполни сердце твоим жаром,  
В нем сильных мышц твоих ударом  
Во свет рабства тьму претвори,  
Да Брут и Телль еще проснутся <sup>177</sup>,  
Седей во власти, да смятутся  
От гласа твоего цари.

Сию строфу обвинили для двух причин: за стих «во свет рабства тьму претвори». Он очень туг и труден на изречение ради частого повторения буквы Т и ради соития частого согласных букв, «бства тьму претв.», — на десять согласных три гласных, а на российском языке толико же можно писать сладостно, как и на италианском... Согласен... хотя иные почитали стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия... Но вот другой: «да смятутся от гласа твоего цари». Желать смятения царю есть то же, что желать ему зла; следовательно... Но я не хочу вам наскучить всеми примечаниями, на стихи мои сделанными. Многие, признаюсь, из них были справедливы. Позвольте, чтобы я вашим был чем.

## 2

Я в свет пзшел и ты со мною...

Сию строфу пройдем мимо. Вот ее содержанье:  
Человек во всем от рождения свободен...

## 3

Но что ж претит моей свободе?  
Желаньям зрю везде предел;  
Возникла обща власть в народе,  
Соборный всех властей удел.  
Ей общество во всем послушно,  
Повсюду с ней единодушно,  
Для пользы общей нет препон,  
Во власти всех своей зрю долю,  
Свою творю, творя всех волю;  
Вот что есть в обществе закон.



## 4

В середине злачныя долины,  
 Среди тягчепных жатвой нив,  
 Где нежны процвитают крины,  
 Среди мирных под сеньми олив  
 Паросска <sup>178</sup> мрамора белее,  
 Яснейша дня лучей светлее,  
 Стоит прозрачный всюду храм.  
 Там жертва лжива не курится,  
 Там надпись пламенная зрится:  
 «Конец невинности бедам».

## 5

Оливной ветвию <sup>179</sup> венчанно,  
 На твердом камени седей,  
 Безжалостно и хладнонравно  
 Глухое божество.....

и пр. — изображается закон в виде божества во храме, коего стражи суть истина и правосудие.

## 6

Возводит строгие зеницы,  
 Льет радость, трепет вокруг себя;  
 Равно на все взирает лица,  
 Ни ненавидя, ни любя;  
 Он лести чужд, лицеприятства,  
 Породы, знатности, богатства,  
 Гнушаясь жертвенныя тли;  
 Родства не знает, ни приязни,  
 Равно делит и мзду, и казни;  
 Он образ божий на земли.

## 7

И се чудовище ужасно,  
 Как гидра, сто имея глав,  
 Умильно и в слезах всечасно,  
 Но полны челюсти отрав.  
 Земные власти попирает,  
 Главою неба досязает,

«Его отчизна там», — гласит.  
Призраки, тьму повсюду сеет,  
Обманывать и льстить умеет  
И слепо верить всем велит.

8

Покрывши разум темнотою,  
И всюду вея ползкий яд...

Изображение священного суеверия, отъемлющего у человека чувствительность, влекущее его в ярем порабощения и заблуждения, во броню его облекшее:

Бояться истины велел...

Власть называет оное изветом божества; рассудок — обманом.

9

Возрیم мы в области обширны,  
Где тусклый трон стоит рабства...

В мире и тишине суеверия священное и политическое, подкрепляя друг друга,

Союзно общество гнетут.  
Одно сковать рассудок тщится,  
Другое волю стерть стремится;  
«На пользу общую», — рекут.

10

Покоя рабского под сенью  
Плодов златых не возрастет;  
Где все ума претит стремленью,  
Великость там не прозябет.

И все злые следствия рабства, как то: беспечность, лень, коварство, голод и пр.

11

Чело надменное вознесши,  
Схватив железный скипетр, царь,  
На громном троне властно севши,

В народе зрит лишь подлу тварь.  
Живот и смерть в руке имея:  
«По воле, — рек, — щажу злодея,  
Я властию могу дарить;  
Где я смеюсь, там все смеется;  
Нахмурюсь грозно, все смятется,  
Живешь тогда, велю коль жить».

12

И мы внимаем хладнокровно...

как алчный змий, ругаяся всем, отравляет дни веселня и утех. Но, хотя вокруг твоего престола все стоят, преклонше колена, трепещи, се мститель грядет, прорицаая вольность...

13

Возникнет рать повсюду бранна,  
Надежда всех вооружит;  
В крови мучителя венчанна  
Омыть свой стыд уж всяк спешит.  
Меч остр, я зрю, везде сверкает,  
В различных видах смерть летает,  
Над гордою главою паря.  
Ликуйте, склепанны народы;  
Се право мщненное природы  
На плаху возвело царя.

14

И ноци се завесу лживой  
Со треском мощно разодрав,  
Кичливой власти и строптивой  
Огромный истукан поправ,  
Сковав сторучна исполина,  
Влечет его, как гражданина,  
К престолу, где народ воссел:  
«Преступник власти, мною дашной!  
Вещай, злодей, мною венчанной,  
Против меня восстать как смел?»

Тебя облек я во порфиру  
 Равенство в обществе блюсти,  
 Вдовицу призирать и сиру,  
 От бед невинность чтоб спасти,  
 Отцем ей быть чадолюбивым;  
 Но мстителем непримиримым  
 Пороку, лже и клевете;  
 Заслуги честью награждати,  
 Устройством зло предупреджати,  
 Хранити нравы в чистоте.

Покрыл я море кораблями...

Дал способ к приобретению богатств и благоденствия.  
 Желал я, чтобы земледелец не был пленник на своей ниве и  
 тебя бы благословлял...

Своих кровей я без пощады  
 Гремящую воздвигнул рать;  
 Я медны изваял громады <sup>180</sup>,  
 Злодеев внешних чтоб карать.  
 Тебе велел повиноваться,  
 С тобою к славе устремляться.  
 Для пользы всех мне можно все.  
 Земные недра раздираю,  
 Металл блестящий извлекаю,  
 На украшение твое.

Но ты, забыв мне клятву данну,  
 Забыв, что я избрал тебя;  
 Себе в утеху быть венчанну  
 Возмнил, что ты господь, не я;  
 Мечем мой расторг уставы,  
 Безгласными поверг все нравы,  
 Стыдиться истине велел.  
 Расчистил мерзостям дорогу,

Взывать стал не ко мне, но к богу,  
А мной гнушаться восхотел.

19

Кровавым потом доставая  
Плод, кой я в пищу насадил,  
С тобою крохи разделяя,  
Своей натуги не щадил;  
Тебе сокровищей всех мало!  
На что ж, скажи, их не достало,  
Что рубище с меня сорвал?  
Даришь любимца полна лести!  
Жену, чуждающую чести!  
Иль злато богом ты признал?

20

В отличность знак изобретенный  
Ты начал наглости дарить;  
В злодея меч мой изощренный,  
Ты стал невинности сулить;  
Сгруженные полки в защиту,  
На брань ведешь ли знамениту,  
За человечество карать?  
В кровавых борешься долинах.  
Дабы, упившись в Афинах,  
Ирой! — зевав, могли сказать.

21

Злодей, злодеев всех лютейший...

Ты все совокупил злодеяния и жало свое в меня устремил...

Умри! умри же ты стократ» —  
Народ вещал...

22

Великий муж, коварства полный,  
Ханжа, и льстец, и святотать!  
Един ты в свет столь благотворный  
Пример великий мог подать.

Я чту, Кромвель <sup>181</sup>, в тебе злодея,  
Что, власть в руке своей имея,  
Ты твердь свободы сокрушил.  
Но научил ты в род и роды,  
Как могут мстить себя народы.  
Ты Карла на суде казнил.

23

И се глас вольности раздается во все концы...

На вече весь течет народ;  
Престол чугунный разрушает,  
Самсон как древле сотрясает,  
Исполненный коварств чертог.  
Законом строит твердь природы.  
Велик, велик ты, дух свободы,  
Зиждителен, как сам есть бог!

24

В следующих одиннадцати строфах заключается описание царства свободы и действия ее, то есть сохранность, спокойствие, благоденствие, величие...

34

Но страсти, изощряя злобу...  
превращают спокойствие граждан в пагубу...

Отца на сына воздвигают,  
Союзы брачны раздирают,

и все следствия безмерного желания властвовать...

35, 36, 37

Описание пагубных следствий роскоши. Междоусобий.  
Гражданская брань. Марий, Сулла <sup>182</sup>, Август...

Тревожну вольность усыпил.  
Чугунный скипетр обвил цветами...

Следствие того — порабощение...

Таков есть закон природы; из мучительства рождается вольность, из вольности рабство...

## 40

На что сему дивиться? и человек рождается на то, чтобы умереть...

Следующие 8 строф содержат прорицания о будущем жребии отечества, которое разделится на части, и тем скорее, чем будет пространнее. Но время еще не пришло. Когда же оно наступит, тогда

Встрещат заклепы тяжкой ночи.

Упругая власть при издыхании приставит стражу к слову и соберет все свои силы, дабы последним махом раздавить возникающую вольность...

## 49

Но человечество возревет в оковах и, направляемое надеждою свободы и неистребимым природы правом, двинется... И власть приведена будет в трепет. Тогда всех сил сложение, тогда тяжелая власть

Развеется в одно мгновенье.  
О, день, избраннейший всех дней!

## 50

Мне слышится уж глас природы,  
Начальный глас, глас божества.

Мрачная твердь позыбнулась, и вольность воссияла.

Вот и конец, сказал мне новомодный стихотворец. — Я очень тому порадовался и хотел было ему сказать, может быть, неприятное на стихи его возражение, но колокольчик возвестил мне, что в дороге складнее поспешать на почтовых клячах, нежели карабкаться на Пегаса<sup>183</sup>, когда он с норовом.

Въезжая в сию деревню, не стихотворческим пензем слух мой был ударяем, но пронзающим сердца воплем жен, детей и старцов. Встав из моей кибитки, отпустил я ее к почтовому двору, любопытствуя узнать причину приметного на улице смятения.

Подошед к одной куче, узнал я, что рекрутский набор был причиною рыдания и слез многих толпящихся. Из многих селений казенных и помещичьих сошлись отправляемые наотдачу рекруты.

В одной толпе старуха лет пятидесяти, держа за голову двадцатилетнего парня, вопила: — Любезное мое дитетко, на кого ты меня покидаешь? Кому ты поручаешь дом родительский? Поля наши порастут травкою; мохом — наша хижина. Я, бедная престарелая мать твоя, скитаться должна по миру. Кто согреет мою дряхлость от холода, кто укроет ее от зноя? Кто напоит меня и накормит? Да все то не столь сердцу тягостно; кто закроет мои очи при издыхании? Кто примет мое родительское благословение? Кто тело предаст общей нашей матери, сырой земле? Кто придет вспомнить меня над могилою? Не канет на нее твоя горячая слеза; не будет мне отрады той.

Подле старухи стояла девка уже взрослая. Она так же вопила: — Прости, мой друг сердечный, прости, мое красное солнушко. Мне, твоей невесте нареченной, не будет больше утехи, ни веселья. Не позавидуют мне подружки мои. Не взойдет надо мною солнце для радости. Горевать ты меня покидаешь ни вдовою, ни мужнею жепною. Хотя бы бесчеловечные наши старосты, хоть дали бы нам обвенчаться; хотя бы ты, мой милый друг, хотя бы одну уснул ноченьку, уснул бы на белой моей груди. Авось ли бы бог меня помиловал и дал бы мне паренька на утешение.

Парень им говорил: — Перестаньте плакать, перестаньте рвать мое сердце. Зовет нас государь на службу. На меня пал жеребей<sup>185</sup>. Воля божия. Кому не умирать, тот жив будет. Авось-либо я с полком к вам приду. Авось-либо дослужуся до чина. Не крушися, моя матушка родимая. Береги для меня Прасковьюшку. — Рекрута сего отдавали из экономического селения<sup>186</sup>.

Совсем другого рода слова внял слух мой в близь стоящей толпе. Среди оной я увидел человека лет тридцати,



посредственного роста, стоящего бодро и весело на окрест стоящих взирающего.

— Услышал господь молитву мою, — вещал он. — Достигли слезы несчастного до утешителя всех. Теперь буду хотя знать, что жребий мой зависеть может от доброго или худого моего поведения. Доселе зависел он от своенравия женского. Одна мысль утешает, что без суда батожьем наказан не буду!

Узнав из речей его, что он господский был человек, любопытствовал от него узнать причину необыкновенного удовольствия. На вопрос мой о сем, он отвечал: — Если бы, государь мой, с одной стороны поставлена была виселица, а с другой глубокая река и, стоя между двух гибелей, неминуемо бы должно было идти направо или налево, в петлю или в воду, что избрали бы вы, чего бы заставил желать рассудок и чувствительность? Я думаю, да и всякий другой избрал бы броситься в реку, в надежде, что, преплыв на другой берег, опасность уже минется. Никто не согласился бы испытать, тверда ли петля, своей шеею. Таков мой был случай. Трудна солдатская жизнь, но лучше петли. Хорошо бы и то, когда бы тем и конец был, но умирать томною смертию, под батожьем, под кошками, в кандалах, в погребе, нагу, босу, алчущу, жаждущу, при всегдашнем поругании; государь мой, хотя холопей считаете вы своим имением, нередко хуже скотов, но, к несчастью их горчайшему, они чувствительности не лишены. Вам удивительно, вижу я, слышать таковые слова в устах крестьянина; но, слышав их, для чего не удивляетесь жестокосердию своей собратии, дворян?

И поистине не ожидал я сказанного от одетого в смурый кафтан со бритым лбом<sup>187</sup>. Но, желая удовлетворить моему любопытству, я просил его, чтобы он уведомил меня, как, будучи толь низкого состояния, он достиг понятий, недостающих нередко в людях, несвойственно называемых благородными.

— Если вы не поскучаете слышать моей повести, то я вам скажу, что я родился в рабстве: сын дядьки моего бывшего господина. Сколь восхищаюсь я, что не назовут уже меня Ванькою, ни поносительным именованьем, ни позыва не сделают свистом. Старый мой барин, человек добросердечный, разумный и добродетельный, нередко рыдавший над участью своих рабов, хотел за долговременные заслуги

отца моего отличить и меня, дав мне воспитание наравне с своим сыном. Различия между нами почти не было, разве только то, что он на кафтане носил сукно, моего потоне. Чему учили молодого боярина, тому учили и меня; наставления нам во всем были одинаковы, и без хвастовства скажу, что во многом я лучше успел своего молодого господина.

Ванюша, — говорил мне старый барин, — счастье твое зависит совсем от тебя. Ты более к учености и нравственности имеешь побуждений, нежели мой сын. Он по мне будет богат и нужды не узнает, а ты с рождения с нею познакомился. Итак старайся быть достоин моего о тебе попечения. — На семнадцатом году возраста молодого моего барина отправлен был он и я в чужие края с надзирателем, коему предписано было меня почитать спутником, а не слугою. Отправляя меня, старый мой барин сказал мне: надеюсь, что ты возвратишься к утешению моему и своих родителей. Раб ты в пределах сего государства, но вне оных ты свободен. Возвратясь же в оное, уз, рождением твоим на тебя наложенных, ты не обрящешь. — Мы отсутствовали были пять лет и возвращались в Россию; молодой мой барин в радости видеть своего родителя, а я, признаюсь, ласкаясь пользоваться сделанным мне обещанием. Сердце трепетало, вступая опять в пределы моего отечества. И поистине предчувствие его было не ложно. В Риге молодой мой господин получил известие о смерти своего отца. Он был оною тронут, я приведен в отчаяние. Ибо все мои старания приобрести дружбу и доверенность молодого моего барина всегда были тщетны. Он не только меня не любил, из зависти, может быть, тесным душам свойственной, но ненавидел.

Приметив мое смятение, известием о смерти его отца произведенное, он мне сказал, что сделанное мне обещание не позабудет, если я того буду достоин. В первый раз он осмелился мне сие сказать, ибо, получив свободу смертью своего отца, он в Риге же отпустил своего надзирателя, заплатив ему за труды его щедро. Справедливость надлежит отдать бывшему моему господину, что он много имеет хороших качеств, но робость духа и легкомыслие оные помрачают.

Чрез неделю после нашего в Москву приезда бывший мой господин влюбился в изрядную лицом девицу, но которая с красотою телесною соединяла скарднейшую душу и сердце жестокое и суровое. Воспитанная в надменности

своего происхождения, отличию почитала только внешность, знатность, богатство. Через два месяца она стала супругой моего барина и моя повелительница. До того времени я не чувствовал перемены в моем состоянии, жил в доме господина моего, как его сотоварищ. Хотя он мне ничего не приказывал, но я предупреждал его иногда желания, чувствуя его власть и мою участь. Едва молодая госпожа переступила порог дому, в котором она определялася начальствовать, как я почувствовал тягость моего жребия. Первый вечер по свадьбе и следующий день, в который я ей представлен был супругом ее, как его сотоварищ, она занята была обыкновенными заботами нового супружества; но ввечеру, когда при довольно многолюдном собрании пришли все к столу и сели за первый ужин у новобрачных, и я, по обыкновению моему, сел на моем месте на нижнем конце, то новая госпожа сказала довольно громко своему мужу: если он хочет, чтоб она сидела за столом с гостями, то бы холопей за оный не сажал. Он, взглянув на меня и движим уже ею, прислал ко мне сказать, чтобы я из-за стола вышел и ужинал бы в своей горнице. Вообразите, колико чувствительно мне было сие уничижение. Я, скрыв однако же иступающие из глаз моих слезы, удалился. На другой день не смел я показаться. Не наведываясь обо мне, принесли мне обед мой и ужин. То же было и в следующие дни. Через неделю после свадьбы, в один день, после обеда, новая госпожа, осматривая дом и распределяя всем служителям должности и жилище, зашла в мои комнаты. Они для меня уготованы были старым моим барином. Меня не было дома. Не повторю того, что она говорила, будучи в оных, мне в посмеяние, но, возвратясь домой, мне сказали ее приказ, что мне отведен угол в нижнем этаже, с холостыми официантами, где моя постель, сундук с платьем и бельем уже поставлены; все прочее она оставила в прежних моих комнатах, в коих поместила своих девок.

Что в душе моей происходило, слыша сие, удобнее чувствовать, если кто может, нежели описать. Но дабы не занимать вас излишним, может быть, повествованием, госпожа моя, вступив в управление дома и не находя во мне способности к услуге, поверстала меня в лакеи и надела на меня ливрею. Малейшее мнимое упущение сей должности влекло за собою пощечины, батожье, кошки. О, государь мой, лучше бы мне не родиться! Колико крат негодовал я на умер-

шего моего благодетеля, что дал мне душу на чувствование. Лучше бы мне было возрасти в невежестве, не думав никогда, что емь человек, всем другим равный. Давно бы, давно бы избавил себя ненавистной мне жизни, если бы не удерживало прещение вышнего над всеми судии. Я определил себя сносить жребий мой терпеливо. И сносил не токмо уязвления телесные, но и те, коими она уязвляла мою душу. Но едва не преступил я своего обета и не отъял у себя томные остатки плачевного жития при случившемся новом души уязвлении.

Племянник моей барыни, молодец осмнадцати лет, сержант гвардии, воспитанный во вкусе московских щегольков, влюбился в горнишную девку своей тетушки и, скоро овладев опытною ее горячностью, сделал ее матерью. Сколь он ни решителен был в своих любовных делах, но при сем происшествии несколько смутился. Ибо тетушка его, узнав о сем, запретила вход к себе своей горнишной, а племянника побранила слегка. По обыкновению милосердых господ, она намерилась наказать ту, которую жаловала прежде, выдав ее за конюха замуж. Но как все они были уже женаты, а беременной для славы дома надобен был муж, то хуже меня из всех служителей не нашла. И о сем госпожа моя в присутствии своего супруга мне возвестила яко отменную мне милость. Не мог я более терпеть поругания. — Бесчеловечная женщина! во власти твоей состоит меня мучить и уязвлять мое тело; говорите вы, что законы дают вам над нами сие право. Я и сему мало верю: но то твердо знаю, что вступать в брак никто принужден быть не может. — Слова мои произвели в ней зверское молчание. Обратясь потом к супругу ее: — Неблагодарный сын человеколюбивого родителя, забыл ты его завещание, забыл и свое изречение; но не доводи до отчаяния души твоя благороднейшей, страшись! — Более сказать я не мог, ибо по повелению госпожи моей отведен был на конюшню и сечен нещадно кошками. На другой день едва я мог встать от побоев с постели; и паки приведен был пред госпожу мою. — Я тебе прошу, — говорила она, — твою вчерашнюю дерзость; женись на моей Маврушке, она тебя просит, и я, любя ее в самом ее преступлении, хочу это для нее сделать. — Мой ответ, — сказал я ей, — вы слышали вчера, другого не имею. Присовокуплю только то, что просить на вас буду начальство в принуждении меня к тому, к чему не имеете права. — Ну, так пора

в солдаты, — вскричала яростно моя госпожа... — Потерявший путешественник в страшной пустыне свою стезю меньше обрадуется, сыскав опять оную, нежели обрадован был я, услышав сии слова: — в солдаты, — повторила она, и на другой день то было исполнено. — Несмысленная! она думала, что так, как и поселянам, поступление в солдаты есть наказание. Мне было то отрада, и как скоро мне выбрили лоб, то я почувствовал, что я переродился. Силы мои обновилися. Разум и дух паки начали действовать. О! надежда, сладостное несчастному чувство, пребуди во мне! — Слеза тяжкая, но не слеза горести и отчаяния иступила из очей его. — Я прижал его к сердцу моему. Лице его новым озарилось веселием. — Не все еще исчезло, ты вооружаешь душу мою, — вещал он мне, — против скорби, дав чувствовать мне, что бедствие мое не бесконечно...

От сего несчастного я подошел к толпе, среди которой увидел трех скованных человек крепчайшими железамы. Удивления достойно, сказал я сам себе, взирая на сих узников: — теперь унылы, томны, робки, не токмо не желают быть воинами, но нужна даже величайшая жестокость, дабы вместить их в сие состояние; но, обыкнув в сем тяжком во исполнении звании, становятся бодры, предприимчивы, гнушаяся даже прежнего своего состояния. Я спросил у одного близстоящего, который по одежде своей приказным служителем быть казался. — Конечно, бояся их побегу, заключили их в толь тяжкие оковы? — Вы отгадали. Они принадлежали одному помещику, которому занадобилися деньги на новую карету, и для получения оной он продал их для отдачи в рекруты казенным крестьянам.

Я. Мой друг, ты ошибаешься, казенные крестьяне покупать не могут своей братии.

Он. Не продажею оно и делается. Господин сих несчастных, взяв по договору деньги, отпускает их на волю; они, будто по желанию, приписываются в государственные крестьяне к той волости, которая за них платила деньги, а волость по общему приговору отдает их в солдаты. Их везут теперь с отпусковыми для приписания в нашу волость.

Вольные люди, ничего не преступившие, в оковах, продаются как скоты! О, законы! премудрость ваша часто бывает только в вашем слоге! Не явное ли се вам посмеяние? Но паче еще того посмеяние священного имени вольности. О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в от-

чаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ и кровию нашу обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулись великие мужи для заступления избитого племени, но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены. Не мечта сие, но взор пронизает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие! — С негодованием отошел я от толпы.

Но склепанные узники теперь вольны. Если бы хотя немного имели твердости, утщитили бы удручительные помыслы своих тиранов... Возвратимся... — Друзья мои, — сказал я пленникам в отечестве своем, — ведаете ли вы, что если вы сами не желаете вступить в воинское звание, никто к тому вас теперь принудить не может? — Перестань, барин, шутить над горькими людьми. И без твоей шутки больно было расставаться одному с дряхлым отцом, другому с малолетними сестрами, третьему с молодою женою. Мы знаем, что господин нас продал для отдачи в рекруты за тысячу рублей. — Если вы до сего времени не ведали, то ведайте, что в рекруты продавать людей запрещается; что крестьяне людей покупать не могут; что вам от барина дана отпуская; и что вас покупщики ваши хотят приписать в свою волость, будто по вашей воле. — О, если так, барин, то спасибо тебе; когда нас поставят в меру<sup>188</sup>, то все скажем, что мы в солдаты не хотим и что мы вольные люди. — Прибавьте к тому, что вас продал ваш господин не в указное время и что отдадут вас насильным образом \*. — Легко себе вообразить можно радость, распростершуюся на лицах сих несчастных. Вспрынув от своего места и бодро потрясая свои оковы, казалось, что испытывают свои силы, как бы их свергнуть. Но разговор сей ввел было меня в великие хлопоты: отдатчики рекрутские, вразумев моей речи, воспаленные гневом, прискочив ко мне, говорили: — барин не в свое мешается дело, отойди пока сух; — и сопротивляющегося начали меня толкать столь сильно, что я с поспешностию принужден был удалиться от сея толпы.

Подходя к почтовому двору, нашел я еще собрание поселян, окружающих человека в разорванном сертуке,

---

\* Во время рекрутского пабора запрещается в продаже крестьян совершать купчие.

несколько, казалось, пьяного, кривляющегося на предстоящих, которые, глядя на него, хохотали до слез. — Что тут за чудо? — спросил я у одного мальчишка, — чему вы смеетесь? — А вот рекрут иноземец, по-русски не умеет пикнуть. — Из редких слов, им изреченных, узнал я, что он был француз. Любопытство мое паче возбудилось; и желал узнать, как иностранец мог отдаваем быть в рекруты крестьянами? Я спросил его на сродном ему языке: — Мой друг, какими судьбами ты здесь находишься?

Ф р а н ц у з. Судьбе так захотелось, где хорошо, тут и жить должно.

Я. Да как ты попался в рекруты?

Ф р а н ц у з. Я люблю воинскую жизнь, мне она уже известна, я сам захотел.

Я. Но как то случилось, что тебя отдают из деревни в рекруты? Из деревень берут в солдаты обыкновенно одних крестьян, и русских, а ты, я вижу, не мужик и не русский.

Ф р а н ц у з. А вот как. Я в Париже с ребячества учился перукамахерству. Выехал в Россию с одним господином. Чесал ему волосы в Петербурге целый год. Ему мне заплатить было нечем. Я, оставив его, не нашел места, чуть не умер с голоду. По счастью мог попасть в матрозы на корабль, идущий под российским флагом. Прежде отправления в море приведен я к присяге, как российский подданный, и отправился в Любек. На море часто корабельщик бил меня линьком за то, что был ленив. По неосторожности моей упал с вантов на палубу и выломил себе три пальца, что меня навсегда сделало неспособным управлять гребнем. Приехав в Любек, попался прусским наборщикам<sup>189</sup> и служил в разных полках. Нередко за леность и пьянство бит был палками. Заколов, будучи пьяный, своего товарища, ушел из Мемеля, где я находился в гарнизоне. Вспомнил, что я обязан в России присягою; и, яко верный сын отечества, отправился в Ригу с двумя талерами в кармане. Дорогою питался милостынею. В Риге счастье и искусство мое мне послужили; выиграл в шинке рублей с двадцать и, купив себе за десять изрядный кафтан, отправился лаксеем с казанским купцом в Казань. Но, проезжая Москву, встретился на улице с двумя моими земляками, которые советовали мне оставить хозяина и искать в Москве учительского места. Я им сказал, что худо читать умею. Но они мне отвечали: — ты говоришь по-французски, то и того довольно. — Хозяин

мой не видал, как я на улице от него удалился; он продолжал путь свой, а я остался в Москве. Скоро мне земляки мои нашли учительское место за сто пятьдесят рублей, пуд сахару, пуд кофе, десять фунтов чаю в год, стол, слуга и карета. Но жить надлежало в деревне. Тем лучше. Там целый год не знали, что я писать не умею. Но какой-то сват того господина, у которого я жил, открыл ему мою тайну, и меня свезли в Москву обратно. Не нашед другого подобного сему дурака, не могши отправлять мое ремесло с изломанными пальцами и боясь умереть с голоду, я продал себя за двести рублей. Меня записали в крестьяне и отдают в рекруты. Надеюсь, — говорил он важным видом, — что скоро будет война, то дослужуся до генеральского чина; а не будет войны, то набью карман (коли можно) и, увенчан лаврами, отъеду на покой в мое отечество.

Пожал я плечами не один раз, слушав сего бродягу, и с уязвленным сердцем лег в кибитку, отправился в путь.

### ЗАВИДОВО <sup>190</sup>

Лошади были уже впряжены в кибитку, и я приготовлялся к отъезду, как вдруг сделался на улице великий шум. Люди начали бегать из края в край по деревне. На улице видел я воина в гранодерской шапке, гордо расхаживающего и, держа поднятую плеть, кричащего: — «Лошадей скорее; где староста? его превосходительство будет здесь чрез минуту; подай мне старосту...» — Сняв шляпу за сто шагов, староста бежал во всю прыть на сделанный ему позыв. — «Лошадей скорее!» — «Тот час, батюшка; пожалуйста подорожную». — «На. Да скорее же, а то я тебя...» — говорил он, подняв плеть над головою дрожащего старосты. Недоконченная сия речь столь же была выражения исполнена, как у Виргилия в «Энеиде» речь Эола к ветрам <sup>191</sup>: «Я вас!...» и, сокращенный видом плети властновелительного гранодера, староста столь же живо ощущал мощь десницы грозящего воина, как бунтующие ветры ощущали над собою власть сильной Эоловой остроги. Возвращая новому Полкану подорожную, староста говорил: — «Его превосходительству с честною его фамилией потребно пятьдесят лошадей, а у нас только тридцать налицо, другие в разгоне». — «Роди, старый чорт. А не будет лошадей, то тебя изуродую». — «Да где же их взять, коли взять негде?» —



«Разговорился еще... А вот лошади у меня будут»... и, схватя старика за бороду, начал его бить по плечам плетью нещадно. — «Полно ли с тебя? Да вот три свежие, — говорил строгий судья ямского стана, указывая на впряженных в мою повозку. — Выпряги их для нас». — «Кои барин-та их отдаст». — «Как бы он не отдал! У меня и ему то же достанется. Да кто он таков? — Невесть какой-то...» — как он меня величал, того не знаю.

Между тем, я, вышед на улицу, воспретил храброму предтече его превосходительства исполнить его намерение и, выпрягая из повозки моих лошадей, меня заставить ночевать в почтовой избе.

Спор мой с гвардейским Полканом прерван был приходом его превосходительства. Еще издали слышен был крик повозчиков и топот лошадей, скачущих во всю мочь. Частое биение копыт и зрению уже неприметное обращение колес поднимающеюся пылью толико сгустили воздух, что колесница его превосходительства закрыта была непроницаемым облаком от взоров ожидающих его, аки громовой тучи, ямщиков. Дон Кишот <sup>182</sup>, конечно, нечто чудесное бы тут увидел; ибо несущееся пыльное облако под знатною его превосходительства особою, вдруг остановясь, разверлося, и он предстал нам от пыли серовиден, отродию черных подобным.

От приезде моего на почтовый стан до того времени, как лошади вновь впряжены были в мою повозку, прошло по крайней мере целый час. Но повозки его превосходительства запряжены были не более как в четверть часа... и поскакали они на крылех ветра. А мои клячи, хотя лучше казались тех, кои удостоилися вести превосходительную особу, но, не бояся гранодерского кнута, бежали посредством рысью.

Блаженны в единовластных правлениях вельможи. Блаженны украшенные чинами и лентами. Вся природа им повинуется. Даже несмысленные скоты угождают их желаниям и, дабы им в путешествии зевая не наскучилось, скачут они, не жалея ни ног ни легкого, и нередко от натуги околевают. Блаженны, повторю я, имеющие внешность, к благоговению всех влекущую. Кто ведает из трепещущих от плети, им грозящей, что тот, во имя коего ему грозят, безгласным в придворной грамматике называется; что ему ни А... ни О... во всю жизнь свою сказать не

удалось\*, что он одолжен, и сказать стыдно кому, своим повышением; что в душе своей он скареднейшее есть существо; что обман, вероломство, предательство, блуд, отравление, татьство, грабеж, убивство не больше ему стоят, как выпить стакан воды; что ланиты его никогда от стыда не краснели, разве от гнева или пощечины; что он друг всякого придворного истопника и раб едва-едва при дворе нечто значущего. Но властелин и презирающ не ведающих его низкости и ползущества. Знатность без истинного достоинства подобна колдунам в наших деревнях. Все крестьяне их почитают и боятся, думая, что они чрезвычайные повелители. Над ними сии обманщики властвуют по своей воле. А сколь скоро в толпу, их боготворящую, завернется мало кто, грубейшего невежества отчуждившийся, то обман их обнаруживается, и таковых дальновидцов они не терпят в том месте, где они творят чудеса. Равно берегись и тот, кто посмеет обнаружить колдовство вельмож.

Но где мне гнаться за его превосходительством! Он поднял пыль столбом, которая по пролете его исчезла, и я, приехав в Клин, нашел даже память его погибшую с шумом.

### КЛИН <sup>184</sup>

— «Как было во городе во Риме, там жил да был Евфимиам князь...» — Поющий сию народную песнь, называемую «Алексеем Божиим человеком» <sup>185</sup>, был слепой старик, сидящий у ворот почтового двора, окруженный толпою, по большей части ребят и юношей. Сребровидная его глава, замкнутые очи, вид спокойствия, в лице его зримого, заставляли взирающих на певца предстоять ему со благоговением. Неискусный хотя его напев, но нежностью изречения сопровождаемый, пронизал в сердца его слушателей, лучше природе внемлющих, нежели взрощенные во благогласии уши жителей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриелли, Маркези или Тоди <sup>186</sup>. Никто из предстоящих не остался без зыбления внутрь глубокого, когда клинский певец, дошед до разлуки своего ироя, едва прерывающимся сжемгновенно гласом изрекал свое повествование. Место, на коем были его очи, исполнились испугающих из чувствительной от бед души слез, и потоки оных

---

\* См. рукописную Придворную Грамматику <sup>183</sup> Фон-Визина.

пролилися по ланитам воспевającego! О, природа, колико ты властительна! Взвирая на плачущего старца, жены възрыдали; со уст юности отлетела сопутница ее, улыбка; на лице отрочества явились робость, неложный знак болезненного, но неизвестного чувствования; даже мужественный возраст, к жестокости толико привыкший, вид восприял важности. О! природа, — возопил я паки...

Сколь сладко неязвительное чувствование скорби! Колико сердце оно обновляет и оногo чувствительность. Я рыдал вслед за ямским собранием, и слезы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером... <sup>197</sup> О, мой друг <sup>198</sup>, мой друг! почто и ты не зрел сея картины? ты бы прослезился со мною, и сладость взаимного чувствования была бы гораздо усладительнее.

По окончании песнословия все предстоящие давали старику как будто бы награду за его труд. Он принимал все денежки и полушки, все куски и краюхи хлеба довольно равнодушно; но всегда сопровождав благодарность свою поклоном, крестясь и говоря к подающему: — «Дай бог тебе здоровья». Я не хотел отъехать, не быв сопровождаем молитвою сего, конечно, приятного небу старца. Желал его благословения на совершение пути и желания моего. Казалось мне, да и всегда сие мечтаю, как будто соблагословение чувствительных душ облегчает стезю в шествии и отъемлет терние сомнительности. Подошед к нему, я в дрожащую его руку толико же дрожащею от боязни, не тщеславия ли ради то делаю, положил ему рубль. Перекрестясь, не успел он изрещи обыкновенного своего благословения подающему, отвлечен от того необыкновенностию ощущения лежащего в его горсти. И сие уязвило мое сердце. Колико приятнее ему, — вещал я сам себе, — подаваемая ему полушка! Он чувствует в ней обыкновенное к бедствиям соболезнование человечества, в моем рубле ощущает, может быть, мою гордость. Он не сопровождает его своим благословением. О! колико мал я сам себе тогда казался, колико завидовал давшим полушку и краюшку хлеба певшему старцу! — Не пятак ли? — сказал он, обращая речь свою неопределенно, как и всякое свое слово. — Нет, дедушка, рублевик, — сказал близъ стоящий его мальчик. — Почто такая милостыня? — сказал слепой, опуская места своих очей и ища, казалось, мысленно вообразити себе то, что в горсти его лежало. — Почто она не могущему ею пользо-

ваться? Если бы я не лишен был зрения, сколь бы велика моя была за него благодарность. Не имея в нем нужды, я мог бы снабдить им неимущего. Ах! если бы он был у меня после бывшего здесь пожара, умолк бы хотя на одни сутки вопль алчущих птенцов моего соседа. Но на что он мне теперь? не вижу, куда его и положить; подаст он, может быть, случай к преступлению. Полушку немного прибыли украсть, но за рублем охотно многие протянут руку. Возьми его назад, добрый господин, и ты и я с твоим рублем можем сделать вора. — О, истина! koliko ты тяжка чувствительному сердцу, когда ты бываешь в укоризну. — Возьми его назад, мне, право, он не надобен, да и я уже его не стою; ибо не служил изображенному на нем государю. Угодно было создателю, чтобы еще в бодрых моих летах лишен я был вождей моих. Терпеливо сношу его прещение. За грехи мои он меня посетил... Я был воин, на многих бывал битвах с неприятелями отечества; сражался всегда неробко. Но воину всегда должно быть по нужде. Ярость исполняла всегда мое сердце при начатии сражения; я не щадил никогда у ног моих лежащего неприятеля и просящего, безоруженному помилования не дарил. Вознесенный победою оружия нашего, когда устремлялся на карание и добычу, пал я ниц, лишенный зрения и чувств пролетевшим мимо очей в силе своей пушечным ядром. О! вы, последующие мне, будьте мужественны, но помните человечество. — Возвратил он мне мой рубль и сел опять на место свое покойно.

— Прими свой праздничный пирог, дедушка, — говорила слепому подошедшая женщина лет пятидесяти. — С каким восторгом он принял его обеими руками! — Вот истинное благодеяние, вот истинная милостыня. Тридцать лет сряду ем я сей пирог по праздникам и по воскресеньям. Не забыла ты своего обещания, что ты сделала во младенчестве своем. И стоит ли то, что я сделал для покойного твоего отца, чтобы ты до гроба моего меня не забывала? Я, друзья мои, избавил отца ее от обыкновенных нередко побой крестьянам от проходящих солдат. Солдаты хотели что-то у него отнять; он с ними заспорил. Дело было за гумнами. Солдаты начали мужика бить; я был сержантом той роты, которой были солдаты, прилучился тут; прибежал на крик мужика и его избавил от побой; может быть, чего и больше, но вперед отгадывать нельзя. Вот что вспомнила кормилица моя нынешняя, когда увидела меня здесь в нищенском

состоянии. Вот чего не позабывает она каждый день и каждый праздник. Дело мое было невеликое, но доброе. А доброе приятно господу; за ним никогда ничто не пропадает.

— Неужели ты меня столько пред всеми обидишь, старичок, — сказал я ему, — и одно мое отвергнешь подавание? Неужели моя милостыня есть милостыня грешника? Да и та бывает ему на пользу, если служит к умягчению его ожесточенного сердца. — Ты огорчаешь давно уже огорченное сердце естественною казнию, — говорил старец; не ведал я, что мог тебя обидеть, не приемля на вред послужить могущего подавания; прости мне мой грех, но дай мне, коли хочешь мне что дать, дай, что может мне быть полезно... Холодная у нас была весна, у меня болело горло — платчишка не было чем повязать шеи — бог помилował, болезнь миновалась... Нет ли старинького у тебя платка? Когда у меня заболит горло, я его повяжу; он мою согреет шею, горло болеть перестанет; я тебя вспоминать буду, если тебе нужно воспоминание нищего. — Я снял платок с моей шеи, повязал на шею слепого... И расстался с ним.

Возвращаясь чрез Клин, я уже не нашел слепого певца. Он за три дни моего приезда умер. Но платок мой, — сказывала мне та, которая ему приносила пирог по праздникам, — надел, заболев перед смертью, на шею, и с ним положили его во гроб. О! если кто чувствует цену сего платка, тот чувствует и то, что во мне происходило, слушая сие.

## ПЕШКИ 199

Сколь мне ни хотелось поспешать в окончани моего путешествия, но, по пословице, голод — не свой брат, принудил меня зайти в избу и, доколе не доберуся опять до рагу, фрикасе, паштетов и прочего французского кушанья, на отраву изобретенного, принудил меня пообедать старым куском жареной говядины, которая со мною ехала в запасе. Пообедав сей раз гораздо хуже, нежели иногда обедают многие полковники (не говорю о генералах) в дальних походах <sup>200</sup>, я, по похвальному общему обыкновению, налил в чашку приготовленного для меня кофию и услаждал прихотливость мою плодами пота несчастных африканских невольников.

Увидев предо мною сахар, месившая квашню хозяйка подслала ко мне маленького мальчика попросить кусочек

сего боярского кушанья. — Почему боярское? — сказал я ей, давая ребенку остаток моего сахара; — неужели и ты его употреблять не можешь? — Потому и боярское, что нам купить его не на что, а бояре его употребляют для того, что не сами достают деньги. Правда, что и бурмистр наш, когда ездит к Москве, то его покупает, но также на наши слезы. — Разве ты думаешь, что тот, кто употребляет сахар, заставляет вас плакать? — Не все; но все господ дворяне. Не слезы ли ты крестьян своих пьешь, когда они едят такой же хлеб, как и мы? — Говоря сие, показывала она мне состав своего хлеба. Он состоял из трех четвертей мякины и одной части несеяной муки. — Да и то слава богу при нынешних неурожаях. У многих соседей наших и того хуже. Что ж, вам, бояре, в том прибыли, что вы едите сахар, а мы голодны? Ребята мрут, мрут и взрослые. Но как быть! Потужишь, потужишь, а делай то, что господин велит. — И начала сажать хлебы в печь.

Сия укоризна, произнесенная не гневом или негодованием, но глубоким ощущением душевныя скорби, исполнила сердце мое грустию. Я обозрел в первый раз внимательно всю утварь крестьянския избы. Первый раз обратил сердце к тому, что доселе на нем скользило. — Четыре стены, до половины покрытые, так, как и весь потолок, сажею; пол в щелях, на вершок по крайней мере поросший грязью; печь без трубы, но лучшая защита от холода, и дым, всякое утро зимою и летом наполняющий избу; окончины, в коих натянутый пузырь смеркающийся в полдень пропускал свет; горшка два или три (счастлива изба, коли в одном из них всякий день есть пустые шти!). Деревянная чашка и кружкі, тарелками называемые; стол, топором срубленный, который скоблят скребком по праздникам. Кобыто кормить свиней или телят, буде есть, спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется. К счастью, кадка с квасом, на уксус похожим, и на дворе баня, в коей коли не парятся, то спит скотина. Посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки с лаптями для выхода. — Вот в чем почитается по справедливости источник государственного избытка, силы, могущества; но тут же видны слабость, недостатки и злоупотребления законов и их шароховатая, так сказать, сторона. Тут видна алчность дворянства, грабеж, мучительство наше и беззащитное нищеты состояние. —

Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? то, чего отнять не можем, — воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. — Закон запрещает отъяти у него жизнь. — Но разве мгновенно. Сколько способов отъяти ее у него постепенно! С одной стороны — почти всесилие, с другой — немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина есть законодатель, судия, исполнитель своего решения и, по желанию своему истец, против которого ответчик ничего сказать не смеет. Се жребий заклепанного во узы, се жребий заключенного в смрадной темнице, се жребий вола во ярме...

Жестокосердый помещик! посмотри на детей крестьян, тебе подвластных. Они почти наги. Отчего? не ты ли родших их в болезни и горести обложил сверх всех полевых работ оброком? Не ты ли несотканное еще полотно определяешь себе в пользу? На что тебе смрадное рубище, которое к неге привыкшая твоя рука подъяти гнушается? едва послужит оно на отирание служащего тебе скота. Ты собираешь и то, что тебе не надобно, несмотря на то, что неприкрытая нагота твоих крестьян тебе в обвинение будет. Если здесь нет на тебя суда, — но пред судиею, не ведающим лицепрятия, давшим некогда и тебе путеводителя благого, совесть, но коего развратный твой рассудок давно изгнал из своего жилища, из сердца твоего. Но не ласкайся безвозмездием. Неусыпный сей деяний твоих страж уловит тебя наедине, и ты почувствуешь его кары. О! если бы они были тебе и подвластным тебе на пользу... О! если бы человек, входя по часту во внутренность свою, исповедал бы неукротимому судии своему, совести, свои деяния. Претворенный в столп неподвижный громopodobным ее гласом, не пускался бы он на тайные злодеяния; редки бы тогда стали губительствы, опустошения... и пр. и пр. и пр.

## ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ <sup>201</sup>

Здесь я видел также изрядный опыт самовластия дворянского над крестьянами. Проезжала тут свадьба. Но вместо радостного поезда и слез боязливой невесты, скоро в радость претвориться определенных, зрелись на челе определенных вступать в супружество печаль и уныние. Они друг друга ненавидят и властью господина своего влекутся на

казнь, к олтарю отца всех благ, подателя нежных чувствований и веселий, зиждителя истинного блаженства, творца вселенных. И служитель его примет исторгнутую властью клятву и утвердит брак! И сие назовется союзом божественным! И богохуление сие останется на пример другим! И неустройство сие в законе останется ненаказанным!... Почто удивляться сему? Благословляет брак наемник; градодержатель, для хранения закона определенный, — дворянин. Тот и другой имеют в сем свою пользу. Первый ради получения мзды; другой, дабы, истребляя поносительное человечеству насилие, не лишиться самому лестного преимущества управлять себе подобным самовластно. — О! горестная участь многих миллионов! конец твой сокрыт еще от взора и внучат моих...

Я тебе, читатель, позабыл сказать, что парнасский судья <sup>202</sup>, с которым я в Твери обедал в трактире, мне сделал подарок. Голова его над многим чем испытывала свои силы. Сколь опыты его были удачны, коли хочешь, суди сам, а мне скажи на ушко, каково тебе покажется. Если, читая, тебе захочется спать, то сложи книгу и усни. Береги ее для бессоницы.

### СЛОВО О ЛОМОНОСОВЕ <sup>203</sup>

Приятность вечера после жаркого летнего дня выгнала меня из моей кельи. Стопы мои направил я за Невский монастырь и долго гулял в роще, позади его лежащей \*. Солнце лице свое уже сокрыло, но легкая завеса ночи едва-едва ли на синем своде была чувствительна \*\*. Возвращаясь домой, я шел мимо Невского кладбища. Ворота были отверсты. Я вошел... На сем месте вечного молчания, где наитвердейшее чело поморщится несомненно, помыслив, что тут долженствует быть конец всех блестящих подвигов, на месте незыблемого спокойствия и равнодушия непоколебимого, могло ли бы, казалось, совместно быть кичение, тщеславие и надменность? Но гробницы великолепные? Суть знаки несомненные человеческия гордыни, но знаки желанья его жити вечно. Но се ли вечность, которая человек толико жаждущ?.. Не столп, воздвигнутый над тлением

---

\* Озерки.

\*\* Июнь.



твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не камень со иссечением имени твоего пренесет славу твою в будущие столетия. Слово твое, живущее присно и во веки в творениях твоих, слово Российского племени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит во устах народных, за необозримый горизонт столетий. Пускай стихии, свирепствуя сложенно, разверзнут земную хлябь, и поглотят великолепны[й] сей град, откуда громкое твое пение раздавалось во все концы обширных России; пускай яростный некий завоеватель истребит даже имя любсаго твоего отечества: но доколе слово российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Если умолкнет оно, то и слава твоя угаснет. Лестно, лестно так умереть. Но если кто умеет изчислить меру сего продолжения, если перст гадания, назначит предел твоему имени, то не се ли вечность?.. Сие изрек я в восторге, остановясь пред столпом, над тлением Ломоносова<sup>204</sup> воздвигнутым. — Нет, не хладный камень сей повествует, что ты жил на славу имени российского, не может он сказать, что ты был. Творения твои да повествуют нам о том, житие твое да скажет, почто ты славен<sup>205</sup>.

Где ты, о! возлюбленный мой!<sup>206</sup> где ты? Прииди беседовати со мною о великом муже. Прииди да соплетем венец насадителю Российского слова. Пускай, другие раболепствуя власти, превозносят хвалою силу и могущество. Мы воспоем песнь заслуге к обществу.

Михайло Васильевич Ломоносов родился в Холмогорах..... Рожденный от человека, который не мог дать ему воспитания, дабы посредством одного, понятие его изострилося и украсилося полезными и приятными знаниями, определенный по состоянию своему, препровождать дни свои между людей, коих окружность мысленная области не далее их ремесла простирается, сужденный делить время свое между рыбным промыслом и старанием получить мзду своего труда; — разум молодого Ломоносова не мог бы достигнуть той обширности, которую он приобрел, трудясь в испытании природы, ни глас его той сладости, которую он имел от обхождения чистых Мусс. От воспитания в родительском доме он приял маловажное, но ключ учения, знание читать и писать, а от природы — любопытство. И се, природа, твое торжество. Алчное любопытство, вселенное тобою в души наши, стре-

мится к познанию вещей; а кипящее сердце славолюбием не может терпеть пут, его стесняющих. Ревет оно, клокочет, стонет и, махом прерывая узы, летит стремглав (нет преткновения) к предлогу своему. Забыто все, один предлог в уме; им дышим, им живем.

Не выпуская из очей своих вожделенного предмета, юноша собирает познание вещей, в слабейших ручьях протекшего наук источника до нижайших степеней общества. Чуждый руководства, столь нужного для ускорения в познаниях, он первую силу разума своего, память, острит и украшает тем, что бы рассудок его острить долженствовало. Сия тесная округа сведений, кои он мог приобрести на месте рождения своего, не могла усладить жаждущего духа, но паче возжгла в юноше непреодолимое к учению стремление. Блажен! что в возрасте, когда волнение страстей изводит нас впервые из нечувствительности, когда приближаемся степени возмужалости, стремление его обратилось к познанию вещей.

Подстрекаем науки алчбою, Ломоносов оставляет родительский дом; течет в престольный град <sup>207</sup>, приходит в обитель иноческих Мусс <sup>208</sup> и вмещается в число юношей, посвятивших себя учению свободных наук и слову божию.

Преддверие учености есть познание языков; но представляется яко поле, тернием насажденное, и яко гора, строгим камнем усеянная. Глаз не находит тут приятности расположения, стопы путешественника — покойныя гладости на отдохновение, ни зеленеющего убежища утомленному тут нет. Тако учащийся, приступив к неизвестному языку, поражается разными звуками. Гортань его необыкновенным журчанием исходящего из нее воздуха утомляется, и язык, новообразно извиваться принужденный, изнемогает. Разум тут цепенеет, рассудок без действия ослабевает, воображение теряет свое крылье; единая память бдит и острится, и все излучины и отверстия свои наполняет образами неизвестных доселе звуков. При учении языков все отвратительно и тягостно. Если бы не подкрепляла надежда, что, приучив слух свой к необыкновенности звуков и усвоив чуждые произношения, не откроются потом приятнейшие предметы, то неуповательно, восхотел бы кто вступить в столь строгий путь. Но, превзошед сии трудности, коликократно награждается постоянство в понесенных трудах. Новые представляются тогда естества виды, новая цепь

воображений. Познанием чуждого языка становимся мы гражданами той области, где он употребляется, беседуем с жившими за многие тысячи веков, усвояем их понятия; и всех народов, и всех веков изобретения и мысли сочтываем и приводим в единую связь.

Упорное прилежание в учении языков сделало Ломоносова согражданином Афин и Рима <sup>209</sup>. И се наградилося его постоянство. Яко слепец, от чрева материя света не зревший, когда искусною глазорачевателя рукою воссияет для него величество дневного светила, — быстрым взором протекает он все красоты природы, дивится ее разновидности и простоте. Все его пленяет, все поражает. Он живет обихом всегда во зрении очей чувствует ее изящности, восхищается и приходит в восторг. Тако Ломоносов, получивши сведение латинского и греческого языков, пожирал красоты древних витий и стихотворцев. С ними научался он чувствовать изящности природы; с ними научался познавать все уловки искусства, крыющегося всегда в одушевленных стихотворством видах, с ними научался изъяслять чувства свои, давать тело мысли и душу бездыханному.

Если бы силы мои достаточны были, представил бы я, как постепенно великий муж водворял в понятие свое понятия чуждые, кои, преобразовавшись в душе его и разуме, в новом виде явились в его творениях или родили совсем другие, уму человеческому доселе недоведомые. Представил бы его, ищущего знания в древних рукописях своего училища и гонящегося за видом учения везде, где казалось быть его хранилище. Часто обманут бывал в ожидании своем, но частым чтением церковных книг <sup>210</sup> он основание положил к изящности своего слога; какое чтение он предлагает всем желающим приобрести искусство русского слова.

Скоро любопытство его щедрое получило удовлетворение. Он ученик стал славного Вольфа <sup>211</sup>. Отрясая правила схоластики или паче заблуждения, преподанные ему в монашеских училищах, он твердые и ясные полагал степени к восхождению во храм любомудрия. Логика научила его рассуждать; математика верные делать заключения и убеждаться единою очевидностию; метафизика преподала ему гадательные истины, ведущие часто к заблуждению; физика и химия, к коим, может быть, ради изящности силы воображения прилежал отлично, ввели его в жертвенник природы

и открыли ему ее тайнства; металлургия и минералогия, яко последственницы предыдущих, привлекли на себя его внимание; и деятельно хотел Ломоносов познать правила, в оных науках руководствующие.

Изобилие плодов и произведений понудило людей мнеть их на таковые, в коих был недостаток. Сие произвело торговлю. Великие в меновом торгу затруднения побудили мыслить о знаках, всякое богатство и всякое имущество представляющих. Изобретены деньги. Злато и серебро, яко драгоценнейшие по совершенству своему металлы и доселе украшением служившие, преобразены стали в знаки, всякое стяжание представляющие. И тогда только поистине, тогда возгорелась в сердце человеческом ненасытная сия и мерзительная страсть к богатствам, которая, яко пламень, вся пожирающий, усиливается, получая пищу. Тогда, оставив первобытную свою простоту и природное свое упражнение, земледелие, человек предал живот свой свирепым волнам или, презрев глад и зной пустынный, претекал чрез оные в неведомые страны для снискания богатств и сокровищ. Тогда, презрев свет солнечный, живой нисходил в могилу и, расторгнув недра земные, прорывал себе нору, подобен земному гаду, ищущему в ночи свою пищу. Тако человек, сокрываясь в пропастях земных, искал блестящих металлов и сокращал пределы своей жизни на половину, питаясь ядовитым дыханием паров, из земли исходящих. Но как и самая отрава, став иногда привычкою, бывает необходимою человеку в употреблении, так и добывание металлов, сокращая дни ископателей, не отвергнуто ради своей смертоносности; а паче изысканы способы добывать легчайшим образом большее число металлов по возможности.

Сего-то хотел познать Ломоносов деятельно и для исполнения своего намерения отправился в Фрейберх. Мне мнится, зрю его пришедшего к отверстию, чрез которое истекает исторгнутый из недр земных металл. Приемлет томное светило, определенное освещать его в ущелинах, куда солнечные лучи досязать не могут николи. Исполнил первый шаг, — что делаешь? — вопиет ему рассудок. — Неужели отличила тебя природа своими дарованиями для того только, чтобы ты употреблял их на пагубу своей собратии. Что мыслишь, нисходя в сию пропасть? Желает ли снискать вящее искусство извлекати серебро и злато? Или не ведаешь,

какое в мире сотворили они зло? Или забыл завоевание Америки?.. Но нет, нисходи, познай подземные ухищрения человека и, возвратясь в отечество, имей довольно крепости духа подать совет зарыть и заровнять сии могилы, где тысячи в животе сущие погребаются.

Трепещущ нисходит в отверствие и скоро теряет из виду живоносное светило. Желал бы я последовать ему в подземном его путешествии, собрать его размышления и представить их в той связи и тем порядком, какими они в разуме его возрождались. Картина его мыслей была бы для нас увеселительною и учебною. Проходя первый слой земли <sup>212</sup>, источник всякого прозябения, подземный путешественник обрел его несходственным с последующими, отличающимся от других паче всего своею плодоносною силою. Заключал, может быть, из того, что поверхность сия земная не из чего иного составлена, как из тления животных и прозябений, что плодородие ее, сила питательная и возобновительная, начало свое имеет в неразрушимых и первенственных частях всяческого бытия, которые, не переменяя своего существа, переменяют вид только свой, из сложения случайного рождающийся. Проходя далее, подземный путешественник зрел землю всегда расположенную слоями. В слоях находил иногда остатки животных, в морях живущих, находил остатки растений и заключать мог, что слоистое расположение земли начало свое имеет в наплавном положении вод и что воды, переселяясь из одного края земного шара к другому, давали земле тот вид, какой она в недрах своих представляет. Сие единовидное слоев расположение, теряясь из его зрака, представляло иногда ему смешение многих разнородных слоев. Заключал из того, что свирепая стихия, огонь, проникнув в недра земные и встретив противоборствующую себе влагу, ярься, мутила, трясла, валила и метала все, что ей упорствовать тшилося своим противодействием. Смутив и смешав разнородные, знойным своим дохновением возбудила в первобытностях металлов силу притяжательную и их соединила. Там узрел Ломоносов сии мертвые по себе сокровища в природном их виде, вспомнил алчбу и бедствие человеков и с сокрушенным сердцем оставил сие мрачное обиталище людской ненастности.

Упражняясь в познании природы, он не оставил возлюбленного своего учения стихотворства. Еще в отечестве

своим случаем показал ему, что природа назначала его к величю; что в обыкновенной стезе шествия человеческого он скитаться не будет. Псалтирь, Симеоном Полоцким <sup>213</sup> в стихе предложенная, ему открыла о нем таинство природы, показала, что и он стихотворец. Беседа с Горацием, Виргилием и другими древними писателями, он давно уже удостоверялся, что стихотворение российское весьма было несродно благогласию и важности языка нашего. Читая немецких стихотворцев, он находил, что слог их был плавнее русского, что стопы в стихах были расположены по свойству языка их. И так он вознамерился сделать опыт сочинения новообразными стихами, поставив сперва русскому стихотворению правила, на благогласии нашего языка основанные. Сие исполнил он, написав оду на победу <sup>214</sup>, одержанную русскими войсками над турками и татарами, и на взятие Хотина, которую из Марбурга он прислал в Академию наук. Необыкновенность слога, сила выражения, изображения, едва не дышущие, изумили читающих сие новое произведение. И сие первородное чадо стремящегося воображения по непроложенному пути в доказательство с другими купно послужило, что, когда народ направлен единожды к усовершенствованию, он ко славе идет не одной тропинкою, но многими стезями вдруг.

Сила воображения и живое чувствование не отвергают разыскания подробностей. Ломоносов, давая примеры благогласия, знал, что изящность слога основана на правилах, языку свойственных. Восхотел их извлечь из самого слова, не забывая однако же, что обычай первый всегда подает в сочетании слов пример, и речении, из правила исходящие, обычаем становятся правильными. Раздробляя все части речи и сообразуя их с употреблением их, Ломоносов составил свою грамматику. Но не довольствуясь преподавать правила русского слова, он дает понятие о человеческом слове вообще яко благороднейшем по разуму даровании, данном человеку для сообщения своих мыслей. Се сокращение общей его грамматики: слово представляет мысли; орудие слова есть голос; голос изменяется образованием или выговором; различное изменение голоса изображает различие мыслей; итак слово есть изображение наших мыслей, посредством образования голоса чрез органы, на то устроенные. Поступая далее от сего основания, Ломоносов определяет неразделимые части слова, коих изображения

называют буквами. Сложение нераздельных частей слова производит склады, кои опричь образовательного различия голоса различаются еще так называемыми ударениями, на чем основывается стихосложение. Сопряжение складов производит речения, или знаменательные части слова. Сии изображают или вещь или ее деяние. Изображение словесное вещи называется и мя; изображение деяния — глагол. Для изображения же сношения вещей между собою и для сокращения их в речи служат другие части слова. Но первые суть необходимы и называться могут главными частями слова, а прочие служебными. Говоря о разных частях слова, Ломоносов находит, что некоторые из них имеют в себе отмены. Вещь может находиться в разных в рассуждении других вещей положениях. Изображение таковых положений и отношений именуется падежами. Деяние всякое располагается по времени; отсюда и глаголы расположены по временам, для изображения деяния, в какое время оно происходит. Наконец Ломоносов говорит о сложении знаменательных частей слова, что производит речи.

Предпослав такое философическое рассуждение о слове вообще, на самом естестве телесного нашего сложения основанном, Ломоносов преподает правила российского слова. И могут ли быть они посредственны, когда начертавший их разум водим был в грамматических терниях светильником остроумия? Не гнушайся, великий муж, сея хвалы. Между согражданами твоими не грамматика твоя одна соорудила тебе славу. Заслуги твои о российском слове суть многообразны; и ты считаешься в малопритязательном сем своем труде яко первым основателем истинных правил языка нашего и яко разыскателем естественного расположения всяческого слова. Твоя грамматика <sup>215</sup> есть преддверие чтения твоя риторики <sup>216</sup>, а та и другая — руководительницы для осязания красот изречения творений твоих. Поступая в преподавании правил, Ломоносов вознамерился руководствовать согражданам своим в стезях тернистых Гелликона <sup>217</sup>, показав им путь к красноречию, начертавая правила риторики и поэзии. Но краткость его жизни допустила его из подъятого труда совершить одну только половину.

Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, исторгается из среды народных. Восходит на лобное место. Все

взоры на него стремятся, все ожидают с нетерпением его произречения. Его же ожидает плескание рук или посмеяние, горшее самой смерти. Как можно быть ему посредственным? Таков был Демосфен, таков был Цицерон; таков был Пит; таковы ныне Бурк, Фокс, Мирабо и другие. Правила их речи почерпаемы в обстоятельствах, сладость изречения — в их чувствах, сила доводов — в их остроумии. Удивляясь толико отменным в слове мужам <sup>213</sup> и раздробляя их речи, хладнокровные критики думали, что можно начертать правила остроумию и воображению, думали, что путь к прелестям проложить можно томными предписаниями. Сие есть начало риторики. Ломоносов, следуя, не замечая того, своему воображению, исправившемуся беседою с древними писателями, думал также, что может сообщить согражданам своим жар, душу его исполнявший. И хотя он тщетный в сем предпринял труд, но примеры, приводимые им для подкрепления и объяснения его правил, могут несомненно руководствовать пускающемуся вслед славы, словесными науками стяжаемой.

Но если тщетный его был труд в преподавании правил тому, что более чувствовать должно, нежели твердить, — Ломоносов надежнейшие любящим российское слово оставил примеры в своих творениях. В них сосавшие уста сладости Цицероновы и Демосфеновы растворяются на велеречие. В них на каждой строке, на каждом препинании, на каждом слоге, почто не могу сказать при каждой букве, слышен стройный и согласный звон столь редкого, столь мало подражаемого, столь свойственного ему благогласия речи.

Прияв от природы право неоцененное действовать на своих современников, прияв от нее силу творения, поверженный в среду народная толщи, великий муж действует на оную, но и не в одинаком всегда направлении. Подобен силам естественным, действующим от средоточия, которые, простирая действие свое во все точки окружности, деятельность свою присну везде соделовают, — тако и Ломоносов, действуя на сограждан своих разнообразно, разнообразны отвезал общему уму стези на познании. Повлекши его за собою во след, расплетая запутанный язык на велеречие и благогласие, не оставил его при тощем без мыслей источнике словесности. Воображению вещал: лети в беспредельность мечтаний и возможности, собери яркие цветы одуше-



вленного и, вождяся вкусом, украшай оными самую неосязательность. И се паки гремевшая на Олимпийских играх Пиндарова труба возгласила хвалу всевышнего во след Псальмопевца <sup>219</sup>. На ней возвестил Ломоносов величие предвечного, восседающего на крыле ветренней, предшествуемого громом и молниєю и в солнце являя смертным свою существование, жизнь. Умеряя глас трубы Пиндаровой, на ней же он воспел бренность человека и близкий предел его понятий. В бездне миров <sup>220</sup> беспредельной, как в морских волнах малейшая песчинка, как во льде, не тающем николи, искра едва блестящая, в свирепейшем вихре как прах тончайший, что есть разум человеческий? Се ты, о Ломоносов, одежда моя тебя не сокроет.

Не завидую тебе, что, следуя общему обычаю ласкати царям, нередко недостойным не токмо похвалы, стройным гласом воспетой, но ниже гудочного бряцания, ты льстил похвалою в стихах Елисавете. И если бы можно было без уязвления истины и потомства, простил бы я то тебе ради признательныя твоя души ко благодеяниям. Но позавидует не могущий во след тебе итти писатель оды, позавидует прелестной картине народного спокойствия и тишины, сей сильной ограды градусов <sup>221</sup> и сел, царств и царей утешения, позавидует бесчисленным красотам твоего слова, и если удастся когда-либо достигнуть непрерывного твоего в стихах благогласия, но доселе не удалось еще никому. И пускай удастся всякому превзойти тебя своим сладкопением, пускай потомкам нашим покажешься ты нестроен в мыслях, неизбыточен в существовании твоих стихов!.. Но воззри: в просторном ристалище, коего конца око не досягает, среди толпящейся многочисленности, на возглавии, впереди всех, се врата отверзающ к ристалищу, се ты. Прославиться всяк может подвигами, но ты был первый. Самому всеильному нельзя отнять у тебя того, что дал. Родил он тебя прежде других, родил тебя в вожди, и слава твоя есть слава вождя. О! вы, доселе бесплодно трудившиеся над познанием существовании души и как сия действует на телесность нашу, се трудная вам предлежит задача на испытание. Вспрайте, как душа действует на душу, какая есть связь между умами? Если знаем, как тело действует на тело прикосновением, поведайте, как неосязаемое действует на неосязаемое, производя вещь существование; или какое между безвещественностей есть прикосновение. Что оно существ-

вует, то знаете. Но если ведаете, какое действие разум великого мужа имеет над общим разумом, то ведайте еще, что великий муж может родить великого мужа; и се венец твой победоносный. О! Ломоносов, ты произвел Сумарокова.

Но если действие стихов Ломоносова могло размахистый сделать шаг в образовании стихотворческого понятия его современником, красноречие его чувствительного или явного ударения не сделало. Цветы, собранные им в Афинах<sup>222</sup> и в Риме и столь удачно в словах его пресажденные, сила выражения Демосфенова, сладкоречие Цицероново, бесплодно употребленные, повержены еще во мраке будущего. И кто? он же, пресытившись обильным велеречием похвальных твоих слов, возгремит не твоим хотя слогом, но будет твой воспитанник. Далеко ли время сие или близко, блудящий взор, скитаяся в неизвестности грядущего, не находит подножия остановиться. Но если мы непосредственного от витийства Ломоносова не находим отродия, действие его благогласия и звонкого препинания бесстопной речи было однако же всеобщее. Если не было ему последователя в витийстве гражданском, но на общий образ письма оно распространилось. Сравни то, что писано до Ломоносова, и то, что писано после его, — действие его прозы будет всем внятно.

Но не заблуждаем ли мы в нашем заключении? Задолго до Ломоносова находим в России красноречивых пастырей церкви, которые, возвещая слово божие пастве своей, ее учили и сами словом своим славились. Правда, они были; но слог их не был слог российский. Они писали, как можно было писать до нашествия татар, до сообщения россиян с народами европейскими. Они писали языком славенским. Но ты, зревший самого Ломоносова и в творениях его учааяся, может быть, велеречию, забвен мною не будешь. Когда российское воинство, поражая гордых оттоманов, превысило чаяние всех, на подвиги его взирающих оком равнодушным или завистливым, ты, призванный на торжественное благодарение богу браней, богу сил, о! ты, в восторге души твоей к Петру взывавший над гробницею его, да придет зрети плода своего насаждения: «В о с т а н и, П е т р, в о с с т а н и!» когда очарованное тобою ухо очаровало по чреде око, когда казалось всем, что, приспевый ко гробу Петрову, воздвигнути его желаешь, силою вышею

одаренный; тогда бы и я вещал к Ломоносову: зри, зри и здесь твое насаждение. Но если он слову мог тебя научить... В Платоне душа Платона <sup>223</sup> и да восхитит и увидит нас, тому учило его сердце.

Чуждый раболепствования не токмо в том, что благоговение наше возбуждать может, но даже и в люблении нашем, мы, отдавая справедливость великому мужу, не возмним быти ему богом всезиждущим, не посвятим его истуканом на поклонение обществу и не будем пособниками в укоренении какого-либо предрассуждения или ложного заключения. Истина есть высшее для нас божество, и, если бы всесильный восхотел изменить ее образ, являясь не в ней, лице наше будет от него отвращено.

Следуя истине, не будем в Ломоносове искать великого деписателя, не сравним его с Тацитом, Реналем или Робертсоном; не поставим его на степени Маркграфа или Ридигера <sup>224</sup>, зане упражнялся в химии. Если сия наука была ему любезна, если многие дни жития своего провел он в исследовании истин естественности, но шествие его было шествие последователя. Он скитался путями проложенными <sup>225</sup> и в нечисленном богатстве природы не нашел он ни малейшия былинки, которой бы не зрели лучшие его очи, не соглядал он ниже грубейшия пружины в естественности, которую бы не обнаружили его предшественники.

Ужели поставим его близь удостоившегося наилестнейшия надписи, которую человек низ изображения своего зреть может? Надпись, начертанная не ласкательством, но истиною, дерзающею на силу: «С е и с т о р г н у в ш и й гром с небеси и скиптр из руки царей» <sup>226</sup>. За то ли Ломоносова близь его поставим, что преследовал электрической силе в ее действиях; что не отвращен был от исследования о ней, видя силою ее учителя своего пораженного смертно <sup>227</sup>. Ломоносов умел производить электрическую силу, умел отвращать удары грома, но Франклин в сей науке есть водчий, а Ломоносов рукодел.

Но если Ломоносов не достиг великости в испытаниях природы, он действия ее великолепные описал нам слогом чистым и внятнм. И, хотя мы не находим в творениях его, до естественныя науки касающихся, изящного учителя естественности, найдем однако же учителя в слове и всегда достойный пример на последование.

Итак, отдавая справедливость великому мужу, поставляя имя Ломоносова в достойную его лучезарность, мы не ищем здесь вменить ему и то в достоинство, чего он не сделал или на что не действовал; или только, распложая неистовое слово, вождаемся исступлением и пристрастием? Цель наша не сия. Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму проложил, есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы он войти во храм не мог. Бакон Веруламский <sup>228</sup> не достоин разве напоминания, что мог токмо сказать, как можно размножать науки? Не достойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всесилие, для того, что не могли избавить человечества из оков и пленения? И мы не почтем Ломоносова для того, что не разумел правил позорищного стихотворения и томился в эпопеи <sup>229</sup>, что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда пронизателен в суждениях и что в самых одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей. Но внемли: прежде начатия времен, когда не было бытию опоры и вся терялося в вечности и неизмеримости, все источнику сил возможно было, вся красота вселенныя существовала в его мысли, но действия не было, не было начала. И се рука всемогущая, толкнув вещественность в пространство, дала ей движение. Солнце воссияло, луна прияла свет, и телеса крутящиеся горе образовалися. Первый мах в творении всемогущий был; вся чудесность мира, вся его красота суть только следствия. Вот как понимаю я действие великия души над душами современников или потомков; вот как понимаю действие разума над разумом. В стезе российской словесности Ломоносов есть первый. Беги, толпа завистливая, се потомство о нем судит, оно нелицемерно.

Но, любезный читатель, я с тобою закалякался... Вот уже Всесвятское... Если я тебе не наскучил, то подожди меня у околицы, мы повидаемся на возвратном пути <sup>230</sup>. Теперь прости. — Ямщик, погоняй.

МОСКВА! МОСКВА!!!...

---

**ПИСЬМО К ДРУГУ,  
ЖИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ В ТОВОЛЬСКЕ,  
ПО ДОЛГУ ЗВАНИЯ СВОЕГО**



Санктпетербург, 8 августа 1782-го года

**В**чера происходило здесь с великолепием посвящение монумента, *Петру Первому* в честь воздвигнутого; то-есть открытие его статуи, работы Г. Фальконета <sup>1</sup>. Любезный друг, побеседуем о сем в отсутствии. Пребывая в отдаленном *отечества* нашего краю; отлученный от твоих ближних; среди людей, неизвестных тебе ни со стороны качеств разума и сердца; не нашед еще, может быть, в краткое время твоего пребывания не токмо друга, но ниже приятеля, с коим бы ты, мог сетовать во дни печали и скорби, и радоваться в часы веселия и утех: ибо печаль и скорбь исчисляются днями и годами, веселие часами, утехи же мгновением. Ты охотно, думаю, употребишь час хотя единый отдохновения твоего, на беседование с делившим некогда с тобою горесть и радовавшимся о твоей радости; с кем ты юношеские провел дни свои.

Вокруг места, где сооружался сокровенно чрез 15-ть лет образ изваянный *императора Петра*, воздвигнута была рисованная на полотне заслона, а хоромина, бывшая над ним, неприметно сломана, и место вокруг все очищено.

В день, назначенный для торжества, во втором уже часу пополудни, толпы народа стекались к тому месту, где зреть

желали лице обновителя своего и просветителя. Полки гвардии Преображенский и Семеновский, бывшие некогда сотоварищи опасностей Петровых и его побед, также и другие полки гвардии тут бывшие, под предводительством начальников своих окружили места позорища, артиллерия, кирасирский Новотроицкий полк и Киевский пехотный заняли места на близ лежащих улицах. Все было готово; тысячи зрителей на сделанных для того возвышениях и толпа народа, рассеянного по всем близ лежащим местам и кровлям, ожидали с нетерпением зрети образ того, которого предки их в живых ненавидели, а по смерти оплакивали. Истинно бо есть и непреложно; достоинство, заслуги и добродетель привлекают ненависть нередко и самих тех, кои причины не имеют их ненавидеть; когда же вина и предлог ненависти исчезает, то и она не отрицает им должного, и слава великого мужа утверждается по смерти. Сооружившая монумент славы *Петра, императрица Екатерина*, сев на суда у летнего своего дома, прибыла к пристани, вышла на берег, шествовала на уготованное при сенате ей место, между строя воев своих. Едва вступить она успела на оное, как бывшая вокруг статуи заслона, помалу и неприметно как, опустилася. И се явился паки взорам нашим сидящ на коне борзом, в древней отцов своих одежде, муж, основание града сего положивший и первый, который на невских и финских водах воздвиг Российский Флаг <sup>2</sup>, доселе не существовавший. Явился он взорам любезных чад своих сто лет спустя, когда впервые трепещущая его рука, младенцу ему существу, прияла скипетр обширных России, пределы коей он расширил столь славно.

Благословенно да будет явление твое, речет преемница престола его и дел и преклоняет главу. Все следуют ее примеру. И се слезы радости орошают ланиты. *О, Петр!* — Когда громкие дела твои возбуждали удивление и почтение к тебе, из тысячи удивлившихся великости твоего духа и разума был ли хотя один, кто от чистоты сердца тебя возносил. Половина была ласкателей, кои во внутренности своей тебя ненавидели и дела твои порицали; другие, объемлемые ужасом беспредельно самодержавных власти, раболепно пред блеском твоея славы опускали зеницы своих очей. Тогда был ты жив, царь, всемогущ. Но днесь, когда ты ни казнить, ни миловать не можешь, когда ты бездыханен, когда ты меньше силен, нежели последний из твоих воинов,

шестьдесят лет по смерти, хвалы твои суть истинны, благодарность неслестна. Но колико крат более признание наше было живее и тебя достойнее, когда бы оно не следовало примеру твоея преемницы, достойному хотя примеру, но примеру того, кто смерть и жизнь миллионов себе подобный в руке своей имеет. Признание наше было бы свободнее, и чин открытия изваянного твоего образа превратился бы в чин благодарственного молебствия, каковое в радости своей народ воссылает к предвечному отцу.

Из тысящей бывших тут зрителей, известных было три человека, кои *Петра I* видели. Но неприметно было, ощутили ли они при явлении *его* образа то благоговение, которое ощущаем, увидев мужа славна, нам известного. — Действие продолжалось. Пушечная пальба со стоящих на реке судов, с крепости и адмиралтейства и троекратный беглый огонь, возвещали отсутственным явлением образа, приведшего силы пространная Россия в действие. Стоявшие в строю полки ударили поход, отдавая честь и с преклонными знаменами шли мимо подавшего им первый пример слепого повиновения воинской подчиненности, показывая учредителю своему плоды его трудов, при продолжающейся военных судов пальбе, которые Сардамскому плотнику в честь украсились многочисленными флагами. Сей день ознаменован <sup>3</sup> прощением разных преступников и медалию, сделанною в честь обновителя России.

Статуя представляет мощного всадника, на коне борзом стремящемся на гору крутую, коея вершины он уже достиг, раздавив змею в пути лежащую и жалом своим быстрое ристание коня и всадника остановить покусившуюся. Узда простая, звериная кожа вместо седла, подпругою придерживаемая, суть вся конская сбруя. Всадник без стремян, в полукафтаны, кушаком препоясан, облеченный багрянницею, имеющ главу, лаврами венчанную, и десницу простертую. Из сего довольно можешь усмотреть мысли изваятеля. Еслиб ты здесь был, любезный друг, если бы ты сам видел сей образ, ты, зная и правила искусства, ты, упражняясь сам в искусстве, сему обратном, ты лучше бы мог судить о нем. Но позволь отгадать мне мысли творца образа Петрова. Крутизна горы суть препятствия, кои *Петр* имел, производя в действо свои намерения; змея, в пути лежащая, коварство и злоба, искавшие кончины его за введение новых нравов; древняя одежда, звериная кожа и весь простой

убор коня и всадника, суть простые и грубые нравы и непросвещение, кои *Петр* нашел в народе, который он преобразовать вознамерился; глава, лаврами венчанная, — победитель бо был прежде, нежели законодатель; вид мужественный и мощный и крепость преобразователя; простертая рука, покровительствующая, как ее называет Дидеро, и взор веселый суть внутреннее уверение достигшия цели, и рука простертая являет, что крепки[й] муж преодолел все стремлению его противившиеся пороки, покров свой дает всем, чадами его называющимся. Вот, любезный друг, слабое изображение того, что, взирая на образ *Петров*, я чувствую. Прости, буде я ошибаюсь в моих суждениях о искусстве, коего правила мне малоизвестны. Надпись сделана на камне самая простая: *Петру Первому, Екатерина Вторая, Лета 1782-го.*

*Петр* по общему признанию наречен Великим, а сенатом — отцем отечества. Но за что он может великим назваться. Александр разоритель полусвета назван великим; Константин, омытый в крови сыновней, назван великим; Карл первый, возобновитель Римския империи, назван великим; Лев, папа римский, покровитель наук и художеств, назван великим; Козма Медицис, герцог тосканский, назван великим; Генрих, добрый Генрих IV, король французский, назван великим; Людвиг XIV, тщеславый и кичливый Людвиг, король французский, назван великим; Фридрих II, король прусский, еще при жизни своей назван великим. Все сии владетели, о множестве других не упоминаемая, коих ласкательство великими называет, получили сие название для того, что исступили из числа людей обыкновенных услугами к отечеству, хотя великие имели пороки. Частный человек гораздо скорее может получить название великого, отличаяся какой-либо добродетелию или качеством, но правителю народов мало для приобретения сего лестного названия, иметь добродетели или качества частных людей. Предметы, над коими разум и дух его обращается, суть многочисленны. Посредственный царь исполнением одной из должностей своего сана был бы, может быть, великий муж в частном положении; но он будет худой государь, если для одной пренебрежет многие добродетели. Итак, вопреки женеvскому гражданину<sup>4</sup>, познаем в *Петре* мужа необыкновенного, название великого заслужившего правильно.



И хотя бы *Петр* не отличился различными учреждениями, к народной пользе относящимися, хотя бы он не был победитель Карла XII, то мог бы и для того великим назваться, что дал первый стремление столь обширной громаде, которая яко первенственное вещество была без действия. Да не унижуся в мысли твоей, любезный друг, превознося хвалами столь властного самодержавца, который истребил последние признаки дикой вольности своего отечества. Он мертв, а мертвому льстити невозможно! И я скажу, что мог бы *Петр* славнее быть, возносяся сам и вознося отечество свое, утверждая вольность частную; но если имеем примеры, что цари оставляли сан свой дабы жить в покое, что происходило не от великодушия, но от сытости своего сана, то нет и до скончания мира примера, может быть, не будет, чтобы царь упустил добровольно что ли[бо] из своей власти, сядя на престоле \*.

---

\* Если бы све было писано в 1790 году, то пример Лудвига XVI дал бы сочинителю другие мысли.

---

**ЖИТИЕ**  
**ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА УШАКОВА,**  
**С ПРИОБЩЕНИЕМ НЕКОТОРЫХ**  
**ЕГО СОЧИНЕНИЙ**



**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

ЖИТИЕ ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА УШАКОВА

Алексею Михайловичу Кутузову

**Н**е без удовольствия, думаю, любезнейший мой друг, вспоминаешь иногда о днях юности своея; о времени, когда все страсти, пробуждаясь в первый раз, производили в новой душе нестройное хотя волнение, но дни блаженнейшие всея жизни соделовали. Беззаботный дух и разум неопытностию не претили в веселии распространяться чувствам, чуждым скорбного еще нервов содрогания. Да и самая печаль, грусть и отчаяние скользили, так сказать, на юном сердце, не проникая начальную его твердость, когда нередко наиплачевнейший день скончался веселия иступлением. Отвлеки мысленно невинную часто порочность из деяний юности, найдешь, что после первых восторгов веселия подобных в жизни своей не чувствовал. Первое веселие назвать можно вершиною блаженства, и потому только, что оно первое; последующее уже есть повторение и нечаянности приятность его не живит. Не с удовольствием ли, мой друг, повторю я, вспомняешь о времени возрождения нашей дружбы, о блаженном сем союзе душ, составляющем ныне мое утешение во дни скорби, и надеяние мое для дней успокоения. Не возрадуешься ли, если узришь паки подавшего некогда нам пример мужества, узришь учителя

моего по крайней мере в твердости. Воспомини, о мой друг! *Федора Васильевича* сгараема внутренним огнем, кончину свою слышавшего из уст нельстивого своего врача, и к тебе, мой друг, к тебе прибегающего на скончание своего мучения... Воспомини сию картину, и скажи, что делалось тогда в душе твоей. Пиющий Сократ отраву пред друзьями своими наилучшее преподавал им учение, какого во всем житии своем не возмог.

Таковые размышления побудили меня описать житие сотоварища нашего *Федора Васильевича Ушакова*. Я ищю в том собственного моего удовольствия; а тебе, любезнейшему моему другу, хочю отверсти последние излучины моего сердца. Ибо нередко в изображениях умершего найдешь черты в живых еще сущего.

Первые годы жизни *Федора Васильевича* мало мне известны; и хотя бы охотно и с удовольствием их я начертал, находя в первейших детских и отроческих деяниях начальное образование души его, находя в пятилетнем *Ушакове* семена твердости, душу его возвышавшей в возмужалых летах: но лучше признаюсь в неведении моем, нежели поставлю что-либо гадательное вместо истины, и единственного да не отыму побуждения ко чтению сего повествования во истине.

Но не гадательным предположением назвать можно, если скажу, что воспитанием своим в Сухопутном кадетском корпусе <sup>1</sup> положил он основательное образование прекрасныя своей души. Ибо в душе своей более предуспеть мог, нежели в разуме, скончав жизнь свою тогда, когда юношескою крепостию мозга представления, воображения и мысли, проницая друг друга, первые полагают украшения верховного нашего члена главы; когда разум, хотя собрав посредством чувств много понятий, не имел еще довольно времени устроить их в порядок, дабы и последнее возбудило первое, преходя все между стоящее.

Успехи *Федора Васильевича* в науках побудили тогда тайного советника *Теплова* <sup>2</sup> взять его к себе в должность секретаря, с чином титулярного советника. По издании Рижского торгового устава, при составлении которого он много трудился, получил он чин коллежского асессора. Люди, ослепляющиеся внешностию и чтущие в человеке чин, а не человека, завидуя ему и преуказуя его возвышение, обучалися уже его почитать заранее: но сколь не рав-

ных с ними он сам о себе был мыслей, доказал то самым делом.....

Императрица Екатерина, между многими учреждениями на пользу государства, восхотела, чтобы между людьми, в делах судебных, или судопроизводных обращающимися, было некоторое число судей, имеющих понятие, каким образом отличившиеся законоположением своим народы оное соображали с деяниями граждан на суде. На сей конец определила послать в Лейпцигский университет двенадцать юношей <sup>3</sup> для обучения юриспруденции и другим к оной относящимся наукам. Будучи извещен о сем благом намерении императрицы, *Федор Васильевич* прибегнул просьбою к начальнику своему, да участвует в приобретении знаний, сотовариществуя юношам, избанным для отправления в Лейпцигский университет.

Узнав о его предприятии, многие из его друзей увещевали его, да останется при своем месте, и да не предпочтет неверную стезю к почестям, ученость, покровительству своего начальника, и да не подроет тем основания своего возвышения. В делах житейских, говорили они ему, все зависит от расчета и уловки. Кто в них следует единому рассудку и добродетели, тот не брежет о себе. Благоразумие, а иногда один расторопный поступок далее возводят стяжающего почестей, нежели все добродетели и дарования совокупно. Положим, что государь истинное достоинство только награждает и пристрастен не бывает николи; но если бы возможно было ему хотя одному быть беспристрастному в своем государстве, все другие начальствующие в его образе таковы не будут; ибо если он возможет чужд быть родству, приятни, дружбе, любви, хотя потому, что равного себе не имеет, то кого найдешь ему подобного. Сверх же того, он малого токмо числа отечеству, или ему служащих сам по себе знает истинныя заслуги, о всех других судит по слуху, награждает того, кого назначают вельможи, казнит нередко того, кто им не нравится. Из нескольких миллионов ему подвластных едва единое сто служат ему; все другие (источая кровавые слезы, признаться в том должно), все другие служат вельможам. Доказательства для сего не нужны. Скажу только одно: посмотри на поступающих в чины; кто чин, или место, или награждение какого бы рода ни было получит, обязанным себя, да и справедливо, почитает благодарить за то вельможей. Одного благодарит за то,

что его рекомендовал государю, другого за то, что не был ему противен, третьего, чтобы вперед не говорил о нем худо. Государь нередко бывает в сем случае ничто иное, как корабль, направляемый тем ветром, который других перевозогаает. Итак, оставь пустую мысль и тщетное намерение быть известным государю в низком состоянии, следуй начатому пути и предуспешь.

Положим, что ты пребыванием своим в училище приобретешь знания превосходнейшие, что достоин будешь управлять не токмо важным отделением, но достоин будешь венца; неужели думаешь, что тебя государь поставит на первую по себе степень? Тщетная мечта юного воображения! По возвращении твоём имя твое будет забыто. Вместо того, что ты известен ныне чрез твоего начальника, о тебе тогда и не вспомнят, ибо не удостоит тебя государь, может быть, воззрения, отвлеченный от того или правления заботою, или надменностию сана своего, или завистию вельможей, которые, осаждая непрестанно престол царский, претят проникнуть до него достоинству. А если истекает на него награждение, то уделяют его всегда в виде милости, а не должным за заслуги воздаянием. Ты поместишься в число таких людей, кои не токмо не равны будут тебе в познаниях, но и душевными качествами иногда ниже скотов почестья могут; гнушаться их будешь, но ежедневно с ними обращаться должен. Окрест себя узришь не редко согбенные разумы и души и самую мерзость. Возненавиден будешь ими; пожнут тебя, да оставишь ристание им свободно. А если тогда начальник твой будет таковых же качеств, как и раболепствующие ему, берегись, гибель твоя неизбежна.

Таковыми ужасными представлениями друзья *Федора Васильевича* старались отвратить его от его предприятия. Начальник его, хотя другими доводами, то же имел намерение: но все старания их были тщетны. Полагаясь твердо на правосудие своего государя и алкая науки, *Федор Васильевич* пребыл непоколебим в своем намерении, и учения ради сложил с себя мужественный возраст, что степень почестей, ему уже давано в обществе, стал неопытный юноша, или паче дитя, преклоняясь в управление наставнику, управляя уже собою несколько лет в разных жизни обращениях.

Описывая житие столь близкого сердцу моему человека, как то был *Федор Васильевич*, я не скрою однакоже и того,

чего разум его не мог еще в нем исправить и к чему обращение в большем свете приучило юные его чувства. Сие-то предвременное познание большого общества, где с дядькою казаться уже стыдно, навлекло ему болезнь в летах крепости и смерть безвременную.

Вышед из Кадетскаго корпуса, *Федор Васильевич* стал управлять сам собою. Семнадцатилетний юноша, наперстник вельможки, коего тогдашний доступ до Государя всем был известен, не мог он обойтись без искушения, и сии были различного рода. Большая часть просителей думают, и нередко справедливо, что для достижения своей цели нужна приязнь всех тех, кто хотя мизинцом до дела их касается; и для того употребляют ласки, лесть, ласкательство, дары, угождения и все, что вздумать можно, не только к самому тому, от кого исполнение просьбы их зависит, но ко всем его приближенным, как то к секретарю его, к секретарю его секретаря, если у него оный есть, к писцам, сторожам, лакеям, любовницам, и если собака тут случится, и ту погладить не пропустят. Таковые же ласкательства, угождения и бог весть что употреблено было от просителей на снискание благоволения *Федора Васильевича*. Богач сулил злато, но не успевал, и долженствовал возвращаться с негодованием. Но если благорасположенная душа его отметала мздоимство, не могла она отметить всегда вида приязни. Трудившись во весь день, охотно езжал он по вечерам в собрании малые и большие, на балы, маскарады, ужины, где нередко просиживал за карточною игрою до полуночи, а иногда гораздо позже. Возвращаясь домой, нередко вместо возобновления сил благотворным сном принужден бывал приниматься паки за работу, и светило дневное, восходя на освещение блаженства и несчастья, заставало его согбенного над трудом, не вкушавшего еще сладости успокоения.

В числе множественных просителей бывали иногда женщины, женщины молодые, которые в жару доводов о справедливой или неправильной их просьбе, забывали иногда чем были должны целомудрию, а иные, помня леты того, к кому шли на прошение, умышленно употребляли чары красоты своея на приобретение благосклонности *Федора Васильевича*. Такого рода приключение он сам рассказывал. Се повесть его:

Пробыв гораздо за полночь в веселой беседе с людьми, обыкновенно друзьями называющимися, приехав домой,

работал он до пятого часа утра, и, утомившись веселием и работою, заснул крепко. Беззаботливая юность не беспокоилась еще колючим тернием опытности, и мечты сна его столь же были исполнены веселия, как и бдение. Ему снилось, что лежал в объятиях прекрасная жена, упоенный сладострастием, столь державно над юными чувствами властвующим, и среди прелестных сея мечты отлетел сон от очей его. Но что же представилось просиявшему его взору? Сто крат любезнее виденной им во сне зрел он отроковицу почти, сидящую подле одра его, тщательно отгоняющую крылатых насекомых с лица его и распростертым опахалом умеряющую зной солнца, проникшего уже лучем своим в его спальню. Лето было, и час уже десятый. Не вдруг поверил он, что проснулся. Зря его пробудившегося и устремляя взоры пламенного желанья, с улыбкою страсти и гласом *Сирены* «извините меня, государь мой, — сказала просительница, — что я прервала ваш сон и лишила вас, может быть, приятных мечты возлюбленной». И проникла вещающая жарким своим взором всю его внутренность. Если бы я писал любовную повесть, колико обильная предлежала бы начертанию жатва. Чувственность была в *Федоре Васильевиче* при начале своего возникновения, просительница жила в разводе со старым мужем, имела нужду в представительстве *Федора Васильевича*, увидела его горячее телодвижение, пришла на уловление его и успела.

О если бы и мое пробуждение могло быть иногда таково же, если бы я паки имел не более двадцати лет! Мой друг, жалею, если хочешь, о моей слабости: но се истина.

Сими и сим подобными случаями подсек *Федор Васильевич* корень своего здравия, и, не отъезжая еще в Лейпциг, почувствовал в теле своем болезнь, неизбежное следствие неумеренности и злоупотребления телесных наслаждений.

Как со времени начатия нашего путешествия повествование о *Федоре Васильевиче* сопряжено с повествованием об общем нашем пребывании в Лейпциге: то не удивляйся, мой друг, если оно коснется вообще положения, в котором мы находились, и если найдешь здесь некоторые черты расположения твоих мыслей в тогдашнее время. Ибо забыть того нельзя, колико единомыслие между нами царствовало.

В продолжение нашего пути *Федор Васильевич* навлек на себя ненависть путеводаителя нашего <sup>4</sup>, и самое то ка-

чество, которое ему приобрело нашу приверженность, самое то было причиною, что *Божум* его возненавидел. Твердость мыслей и вольное оных изречение были в нем противны, и с первого раза, когда они в нем явны стали, начал путеводитель наш помышлять, как бы погубить его. Но дивиться не должно, что противоречие в подчиненном, справедливое хотя противоречие, или лучше сказать единое напоминание справедливости произвело здесь со стороны сильного негодование и прещение. Сие в самодержавных правлениях почти повсеместно. Пример самовластия государя, не имеющего закона на последование, ниже в расположениях своих других правил, кроме своей воли или прихотей, побуждает каждого начальника мыслить, что пользуясь уделом власти беспредельной, он такой же властитель частно, как тот в общем. И сие столь справедливо, что нередко правилом приемлется, что противоречие власти начальника \*, есть оскорбление верховной власти. Мысль несчастная, тысячи любящих отечество граждан заключающая в темницу и предающая их смерти; теснящая дух и разум, и на месте величия водворяющая робость, рабство и замешательство, под личиною устройства и покоя! Да сие иначе и быть не может по сродному человеку стремлению к самовластию, и *Гельвецево* о сем мнение <sup>5</sup> ежечасно подтверждается.

Привлекши на себя ненависть путеводителя нашего, *Федор Васильевич* не возмущился сею мыслию, ибо что вещал ему, то была истина. *Божум* рачил более о своей прибыли, нежели о вверенных ему. *Федор Васильевич* имел более опытности, нежели другие его сотоварищи; довольные причины для приведения корыстолюбца на злобу.

Первый случай к несогласию нашему с нашим путеводителем и первая причина его злобствования против *Федора Васильевича* было само в себе малозначущее происшествие, но великое имело действие на расположение наше к

---

\* С вероятностию корень сего правила о непрекословном повиновении найти можем в воинских закоположениях и в смешении гражданских чиновников с военными. Большая часть у нас начальников в гражданском звании начали обращение свое в службе отечеству с военного состояния и, привыкнув давать подчиненным своим приказы, на которые возражения не терпит воинское повиновение, вступают в гражданскую службу с приобретенными в военной мыслию. Им кажется везде строй; кричит в суде «на караул» и определение нередко подписывает палкою.



начальнику нашему. Мы все воспитаны были по русскому обряду и в привычке хотя не сладко есть, но до насыщения. Обыкли мы обедать и ужинать. После великолепного обеда в день нашего выезда ужин наш был гораздо тощ и состоял в хлебе с маслом и старом мясе, ломтями резанном. Такое кушанье, для немецких желудков весьма обыкновенное, вострежило русские, привыкшие более ко штям и пирогам. И если захочешь без предубеждения внять вине нашего неудовольствия, к несчастию нашему потом обратившегося, то найдешь корень оного в первом нашем ужине. Покажется иному смешно, иному низко, иному нелепо, что благовоспитанные юноши могли начальника своего возненавидеть за таковую малость; но самого умереннейшего человека заставь поговорить неделю, то нетерпение в нем скоро будет приметно. Если сладость наскучить может, колыми паче голод. Худая по большей части пища и великая неопрятность в приуготовлении оной произвели в нас справедливое негодование. *Федор Васильевич* взялся изъяснить оное пред нашим начальником. Умеренное его представление принято почти с презрением, а особливо женою *Бокума*, которую можно было почитать истинным нашим гофмейстером. Сие произвело словопрение, и кончилось тем, что *Федор Васильевич* возненавижен стал обоими супругами.

Но не знал наш путеводитель, что худо всегда отвергать справедливое подчиненных требование и что высшая власть сокрушалась иногда от безвременной упругости и безрассудной строгости.

Мы стали отважнее в наших поступках, дерзновеннее в требованиях и от повторяемых оскорблений стали, наконец, презирать его власть. Если бы желание учения не останавливало нас в поступках наших и не умеряло нашего негодования, то *Бокум* на дороге бы испытал, колико безрассудно даже детей доводить до крайности. Во всех сих зыблениях боязни и отваги младшие предводительствуемы были старшими. Из сих первый был *Федор Васильевич*. Но если его кто почтет или сварливым, или злобным, или пронырливым, или коварным, или вспылчивым, тот, конечно, ошибется. Единое негодование на неправду бунтовало в его душе и зыбь свою сообщало нашим, немощным еще тогда самим собою воздыматься на опровержение неправды. Такими происшествиями уготовлялися мы к одной из

знаменитейших, по моему мнению, эпох нашей жизни. Я говорю о содержании нашем в Лейпциге под стражею.

Ничто, сказывают, толико не сопрягает людей, как несчастье. Сия истина подкрепляется и нашим примером. Худые с нами поступки нашего гофмейстера толико нас сделали единомысленными, что, исключая некоторых из нас, могли бы мы поистине один за другого жертвовать всем на свете. Да сие иначе быть не может; ибо дружба в юном сердце есть, как и все оного чувствования, стремительна. Краткое пребывание наше в Митаве, воззрение неизвестных нам доселе нравов, обрядов, языка загладило в душе *Федора Васильевича* угрызение печали. Ежедневные оскорбления начинали было производить в нем раскаяние о предприятном путешествии, но новые предметы отвлекли душу его от горестных мыслей и соделали ее на некоторое время к оскорблениям бесчувственною. Но если новые предметы удобны были загладить в душе *Федора Васильевича* изрытие печали, то не имел он, однако же, довольно опытности, так сказать, в учении, дабы из путешествия своего извлечь всю возможную пользу. Примечания достойно: человек, достигнув возмужалых лет, когда начинает испытывать силы разума, устремляемый бодростию душевных сил, обращает пронизательность свою всегда на вещи, вне зримой окружи лежащие, возносится на крыльях воображения за пределы естественности и нередко теряется в неосязаемом, презирая чувственность, столь мощно его вождающую. Все почти юноши, мыслить начинающие, любят метафизику; с другой же стороны, все чувствовать начинающие придерживаются правил, народным правлениям приличных. И так *Федор Васильевич* мысли свои обращал более к умственным предметам, и не знал еще какую полезность извлечь можно из путешествия.

Между людьми, получившими воспитание разного рода, понятия о священных вещах должныствовали быть, и были разные. Если бы возможно было определить, какое каждый из нас имел тогда понятие о боге и о должном ему почитании, то бы описание сие показалось взятым из какого-либо путешествия, в коем описывается исповедание веры неизвестных народов. Иной почитал бога не иначе, как палача, орудием кары вооруженного, и боялся думать о нем, столь застрашен был силою его прещения. Другому казался он вскруженным толпою младенцев, азбучный

учитель, которого дразнить ни во что вменяется, ибо уловкою какою-нибудь можно избежать его розги и скоро с ним опять поладить. Иной думал, что не токмо дразнить его можно, но делать все ему насмех и вопреки его веляний. Все мы, однако же, воспитаны были в греческом исповедании, и для сохранения нас в православии отправлен с нами был монах, которому в должность предписано было наставлять нас в христианском законе, отправлять для нас службу церковную и бытъ нашим духовником.

Отец *Павел* был в своем роде человек полуученый, знал по-латыне, по-гречески и несколько по-еврейски. В семинарии прошел все нижние и вышние философские и богословские классы и был учителем риторики. Но если ему известны были правила красноречия, древними авторами преподаваемого, если знал он, что есть метафора, антитезис и прочие риторические фигуры, то никто столь мало не был красноречив, как наш отец *Павел*. Добродушие было первое в нем качество, другими же он не отличался и более способствовал к возродившемуся в нас в то время непочтению к священным вещам, нежели удобен был дать наставление в священном законе. Судить можно из следующего.

Исправление наше (ибо при первом нашем свидании он почел нас богоотступниками, хотя ручаться можно, что ни один из нас в то время ниже повести не читывал о афеистах), исправление наше начал он тем, что заставил нас при утренних и вечерних на молитве собраниях петь. Если вспомнишь, мой друг, сколь нестройный, несогласный и шумный у нас был всегда концерт, то и теперь еще улыбнешься. Иной тянул очень низко, иной высоко, иной тонко, иной звонко, иной чресчур кудряво, и наконец устроенное на приучение ко благоговению превратилось постепенно в шутку и посмеялище.

Отец *Павел*, если припомнишь, гораздо был смешлив, и если случалось ему во время богослужения видеть что-либо смешное, то, забыв важность своего действия, начинал смеяться, как то случилось ему в Лейпциге, увидев одного из нас, а именно *К. [князя] Т. [Трубецкого]*, поющего на крылосе, искривив лицо для высокого напева. Для сей-то причины он отправлял богослужение, большею частию зазамурившись.

В Риге на молитве случилось весьма смешное происшествие. Отец *Павел*, опасаясь увидеть что-либо пред глаза-

ми, могущее подвигнуть его на смех, зажмурился, начиная пение. Сидит *М. [Михаил] У. [Ушаков]*, человек шуточный и проказливый, захотел воспользоваться, дабы рассмешить нашего отца *Павла*.

Икона, пред коей совершался наш молитвенный напев, стояла вверху довольно просторного стола, на котором раскладены лежали наши шапки, шляпы, муфты, перчатки. Пред столом стоял отец *Павел*, зажмурившись. *М. У. [Ушаков]*, взяв легонько одну из перчаток, на столе лежавших, и, согнув персты ее образом смешного кукиша, положил оную возвышенно прямо пред поющего нашего духовника. При делании поясных поклонов, растворил зажмурившийся глаза свои, и первое представилась ему сложенная перчатка. Не мог он воздержаться, захохотал громко, и мы все за ним.

Отец *Павел*, не привыкнув еще к нашим проказам, обретал в них более, нежели простые и юношеские шутки. Оборотясь, наименовал он нас богоотступниками, непотребными, и другими в приложении юношества смешными названиями; сделавшего же вину смеха называл, неграмматично может быть, мошенником, да и того хуже. При первых уже словах *М. У. [Ушаков]*, будучи весьма вспыльчив, восколебался и столь же смешным деянием, как сей неприличными словами, представили нам позорище, какого ни на каком театре за рубль купить не можно. *М. У. [Ушаков]*, схватив висящую на стене шпагу, и привесив ее к бедре своей, бодро приступил к чернецу; показывая ему ефес с темляком, говорил ему, немного заикаясь от природы: *забыл разве, батюшка, что я кирасирский офицер* <sup>6</sup>. В таком вкусе было продолжение сего действия, которое для нас кончилось смехом, для *М. У. [Ушакова]* мнимую победою, а для отца *Павла* отытием с негодованием в свою комнату.

Сие и подобные сему происшествия умалили в нас почтение к духовной над нами власти, так как шутки над нашим гофмейстером некоторого проезжавшего российского гвардий офицера, о чем я скажу после, возбудили к нему в нас совершенное пренебрежение.

Еще о красноречии отца *Павла*: следуя, не ведаю, данному предписанию, или по собственному своему побуждению, он каждое воскресение по совершении литургии становился пред царскими дверьми за налоом, и преподавал нам толкование о чтенном того дня евангелии. Вследствие

сего обряда в некакой праздник, во благовещение, если хорошо помню, он объяснить нам старался, что в священном писании разумеется под ангелом божийм. «Ангел есть слуга господень, которого он посылал для посылок; он то же, что у государя курьер, как то г. *Гуляев*». Тогда был в Лейпциге приехавший из Петербурга с некоторыми приказаниями курьер кабинета, и был с нами присутствен на литургии. При изречении сего забыли мы должное к церкви благоговение, забыли ангела, видели действительного курьера и все захохотали громко. Отец *Павел* засмеялся за нами вслед, зажмурил глаза, потом заплакал и сказал: Аминь.

Приехав в Лейпциг, забыл *Федор Васильевич* все обиды и притеснения своего начальника и вдался учению с наивеличайшим рвением, но как не окоренел еще в трудолюбии сего рода, то на время от одного отвлечен был случившимся с нами неприятным происшествием, которое для всех нас было деятельною наукою нравственности во многих отношениях.

Если иные в повествовании сем найдут что-либо пристрастное, не буду тронут тем, ведая, что они ошибаются; но ты, мой друг, будучи содействователь всего, обрящешь в нем истину.

Имея власть в руке своей и деньги, забыл гофмейстер наш умеренность и подобно правителям народов возмнил, что он не для нас с нами; что власть, ему данная над нами, и определенные деньги не на нашу были пользу, но на его. Власть свою хотел он употребить на приведение нас к молчанию о его поступках. Человек много может сносить неприятностей, удручений и оскорблений. Доказательством сему служат все единоначальства. Глад, жажда, скорь, темница, узы, и самая смерть мало его трогают. Не доводи его токмо до крайности. Но сего то притеснители частные и общие, по счастью человечества, не разумеют, и, простирая повсеместную тяготу, предел оныя, на коем отчаяние бодрственную возносит главу, зрят всегда в отдаленности, хожда воскрай гибели, покрытой спасительною для человека мглою. Не ведают мучители, и даждь господи, да в неведении своем пребудут ослепленны навсегда, не ведают, что составляющее несносную печаль сему, другому не причиняет ниже единого скорбного мгновения, да и в оборот, то, что в одном сердце ни малейшего не произведет содрогания,

во сте других родит отчаяние и иступление. Пребуди благое неведение всецело, пребуди нерушимо до скончания века, в тебе почил сохранность страждущего общества. Да не дерзнет никто совлещи покров сей с очей власти, да исчезнет помышляяй о сем, и умрет в семени до рождения своего.

Первое, чем *Бокум* по приезде в Лейпциг начал правление свое, было сокращение издержек относительно нас, елико то возможно было. Но не воображай, чтобы домо-строительство было тому причиною; что он отчислял от нашего содержания, то удвоил во своем, и принужден был лишать нас даже нужнейших вещей на содержание наше. О сем те, кои из нас были постарее, и в числе оных первый был *Федор Васильевич*, делали ему весьма кроткие представления, гораздо кротче, нежели когда-либо парижский парламент делывал французскому королю. Но как таковые представления были частные, как то бывают и парламентские, а не от всех, то *Бокум* отвергал их толико же самовластно, как и король французский, говоря своему народу: «в том состоит наше удовольствие».

Наскучив представлениями, *Бокум* захотел их пресечь вдруг, показав пространство своей власти. Придравшись к маловажному проступку *К. [кн.] Т. [Трубецкого]*, он посадил его под стражу, отлучив его от обхождения с нами, и приставил у дверей комнаты, в которую он был посажен, часового с полным оружием, выпросив нарочно для того трех человек солдат. Не довольствуясь таким наглым поступком, он грозил посажденному под стражу и нам за ним, если не уйдемся, то, по данной ему власти, он будет нас наказывать фуктелем, как то называют, или ударами обнаженного тесака по спине. Сие произвело в нас противное действие тому, которое он ожидал. Ведали мы, что власти таковой ему дано не было <sup>7</sup>, и всякому известно было, что мягкосердие начинало в России писать законы, оставя все изветы лютости прежних, хотя поистине душесильных времен. Негодование в нас возросло до иступления; но мы не забыли еще умеренности, и хотя скопом и заговором, но для ребят довольно правильно и благопристойно, пришли все просить его об отпущении вины *К. [кн.] Т. [Трубецкого]* и об освобождении его из-под стражи. Вместо того, чтобы воспользоваться кротким расположением душ наших и привлечь к себе нашу признательность отпущением вины

сотоварища нашего в уважение нашея просьбы, он ее нагло отвергнул и выслал нас с презрением. Сие уязвило сердца наши глубоко, и мы не столько помышлять начали о нашем учении, как о способах освободиться от толико несносного ига.

Подобно как в обществах, где удручение начинает превышать пределы терпения и возникает отчаяние, так и в нашем обществе начиналися сходбища, частые советования, предприятия, и все, что при заговорах бывает, взаимные о вспомоществовании обещания, неумеренность в изречениях; тут отважность была похваляема, а робость молчала, но скоро единомыслие протекло всех души, и отчаяние ждало на воспаление случая.

*Бокум* одного не удалял. Причина нашего недовольствия была недостаток иногда в нужных для нашего содержания вещах, то-есть в пище, одежде и прочем. Вторая зима по приезде нашем в Лейпциг была жесточее обыкновенных, и с худыми предосторожностями холод чувствительнее для нас был, нежели в самой России при тридцати градусах стужи.

Домостроительство *Бокума* простиралось и на дрова, и мы более в сем случае терпели недостатка, нежели в чем другом. Хотя запрещено было, как то нам сказывали, присылать к нам деньги из домов наших, но мы, неизвестны будучи о сем запрещении и охотны, особливо на случай нужды, преступить сие повеление, имели при отъезде нашем из России по несколько собственных денег. Кто их имел, не только удовлетворял необходимым своим нуждам, но снабжал и товарищей своих. Словом, во все продолжение нашего пребывания, кто имел свои деньги, тот употреблял их не токмо на необходимые нужды, как то на дрова, одежду, пищу, но даже и на учение, на покупку книг; не утаю и того, что деньги, нами из домов получаемые, послужили к нашему в любострастии невоздержанию, но не они к возрождению одного в нас были причиною или случаем. Нерадение о нас нашего начальника и малое за юношами в развратном обществе смотрение были одного корень, как то оно есть и везде, в чем всякий человек без предубеждения признается.

Один из нашего общества, *Н. [Насакин]*, не получал из дому своего ни копейки, и для того претерпевал более других нужду. В помянутую зиму не в силах более терпеть холода ради болезненного расположения тела, решился сде-

лать гофмейстеру представление. *Бокума* он нашел играющего на билиарде с неким из его единоземцев и главным подстрекателем \* его надменности. *Н. [Насакин]* объявил ему о своем недостатке, прося дать приказание истопить его горницу. За день сего *Бокум* посадил под стражу *К. [кн.] Т. [Трубецкого]*, который был комнатный товарищ *Н. [Насакина]*. На отказ, сделанный *Бокумом, Н. [Насакин]* сделал возражение, а *Бокум*, не хотя оно слушать, а особливо при напоминателе о его власти, оставив свою игру, начал пришедшего толкать неучтиво; а как сей тому противился и, к нему обернувшись, говорил, что требование его о сем справедливо, то *Бокум*, и паче того раздраженный, ударил *Н. [Насакина]* по щеке. Сей мнимый отчасти знак бесчестия столь сильно обезоружил *Н. [Насакина]*, что он, не сказав более начальнику нашему ни слова, поклонился и вышел вон.

Отрада несчастному есть убежище на лоне дружбы, беседование о скорби своей. И возвестил нам обиженный о происшедшем с ним. Презрение к начальнику нашему было первое душ наших движение: но скоро к тому присовокупилось и негодование. Всяк боялся такой же участи; иной мечтал уже следствие своего отчаяния в таком случае, другой, изумленный предварительно таковою мыслию, находился в нерешимости, что должно будет ему сделать, если на него падет жребий, равный с *Н. [Насакиным]*. Но все единогласно положили, что *Бокум*, сделав поступок противный не только добрым нравам, но и благопристойности, долженствовал сделать *Н. [Насакину]* удовлетворение за обиду. В общежитии, говорил нам *Федор Васильевич*, если таковой случай произойдет, то оный не иначе заглажен быть может, как кровию. Сие говорил он из опытов и подкреплял примерами, но ни он, ни мы не понимали еще всей гнусности поединков в благоустроенном обществе и, вождаемые примерами, судили, что настоял бы и теперь к оному случай, если бы дело должно было иметь с посторонним человеком, а не с начальником нашим.

---

\* Сказывали, что сей молодец, за деньги достав себе звание министра при каком-то дворе, должность свою отправлял с похвалою. Сие оправдает мнение тех, кои думают, чтоб быть употреблену с похвалою в делах министерских, надобен ум, а честности мало. Коварство, пронырство, искусство высяться и низиться по обстоятельствам могут сделать отличного министра, но доброго гражданина николи.



Мы в то время начали только слушать преподавания права естественного и, не объяв еще всю оною связь, остановились при первых движениях, производимых в человеке оскорблением. Не имея в шестии свосм ни малейшия преграды, человек в естественном положении при совершении оскорбления, влекомый чувствованием сохранности своей, пробуждается на отражение оскорбления. От сего рождается мщение, или древний закон, *око за око*, закон, ощущаемый человеком всечасно, но загражденный и умеряемый законом гражданским. Несовершенное еще расположение мыслей представило уму нашему в естественном нас положении, в отношении нашего начальника, и мы заключили, что *Н. [Насакин]* долженствовал возвратить *Бокуму* полученную им пощечину.

Заключительный и общий наш приговор был таков, что *Н. [Насакин]* должен итти к *Бокуму* и в присутствии нашем требовать от него в обиде своей удовлетворения. Если же он не восхочет того исполнить, то надлежит ему пощечину *Бокуму* возвратить. Долго *Н. [Насакин]* размышлял, колебался, не мог решиться на сей поступок: но мы приговор наш подкрепили тем, что если он сего не исполнит, то лишен будет нашаея приязни и обхождения с нами. Ничто столь сильного и столь скорого не могло произвести действия в душе оскорбленной *Н. [Насакина]*, как наша угроза. Если бы приговор наш был в противную сторону, то он да и всякий из нас, и кто бы то ни было, в равном токмо с нами положении, терпеливо бы принял еще десять пощечин, нежели бы захотел притти в презрение у своих сотоварищей.

Собравшись и условившись, каким образом долженствовал *Н. [Насакин]* требовать от *Бокума* удовольствия в обиде, ему сделанной, мы пошли к нему, исключая *К. [кн.] Т. [Трубецкого]*, который сидел под стражею.

В комнате, где бывала обыкновенная наша трапеза, ожидались мы его, послав его известить, что мы желаем его видеть. Едва он вошел в комнату, как началось действие, которое при первом шаге нашего жития могло бы превратным жребием ввергнуть нас в совершенную гибель. Столь юность без советов дружества сама себе губительна! но провидение блело над нами, ибо превратности в сердце нашем не зрело; и для того щит его носится всегда над неопытною и блюдет ее в самой пропасти.

Вследствие сделанного между нами положения, *Н. [Насакин]*, подступив к *Бокуму*, просил от него удовлетворения в обиде. Приятнее, может быть, будет читателю, приятнее тебе, мой любезный друг, если я употреблю здесь самые почти те слова, которые в то время были изречены; они были кратки, как и действие было мгновенно.

*Н. [Насакин]*. Вы меня обидели, и теперь пришел я требовать от вас удовольствия.

*Б. [Бокум]*. За какую обиду и какое удовольствие?

*Н.* Вы мне дали пощечину.

*Б.* Неправда, извольте итти вон.

*Н.* А если не так, то вот она, и другая.

Сие говоря, ударил *Н. [Насакин]* *Бокума* и повторил удар.

Опасаясь дальнейшего следствия, *Бокум* вышел из горницы. Писарь *Бокумов*, бывший тогда с ним, вообразив себе, что *Н. [Насакин]* хочет господина его заколоть, ибо имел при себе шпагу, оторвал у него ее с бедра, за что он был наказан только тем, что *М. У. [Ушаков]* снял с него парик. Но причина, для коей *Н. [Насакин]* имел при себе шпагу, была иная; он был в гостях и, пришед, не имел времени раздеться, и на сражение пришел со шляпою и шпагою; но *Бокум* в обвинении своем не пропустил сего обстоятельства, и сказал, что мы, а паче *Н. [Насакин]*, покушались на его жизнь, и сей вынул уже шпагу из ножен до половины, но он нас как ребят разогнал и раскидал. Итак, в самой клевете не забывал он хвастовства и никогда не признался, что *Н. [Насакин]* ему возвратил пощечину с лихвою.

Но если бы вздумали располагать великость вины по оружию, которое кто имел, то никого не надлежало обвинить более других, как меня. Ибо у меня были в то время карманные пистолеты, заряженные с дробью, которые я, купив за день пред сим происшествием, зарядил, и хотел итти испытать оных действие в определенном к тому месте, но, по счастью, меня тогда не обыскали. Из сего глупая юности происшествия могло бы произойти, признаюся охотно, что-либо слезное и несмешное, если бы *Бокум* имел кого-либо при себе, oprичь старого своего писаря; и если бы вождаем мыслию, что мы умышляли убить его, стал бы на нас наступать. В жару испустления чего не могло бы случиться, но, к счастью, *М. У. [Ушаков]* двери запер, и на крик старого писаря никто войти не мог.

По совершении нашего приступа, мы, почитая его правильным поступком, заявили о нем университетскому ректору. Возвратясь от него, души наши покойны не были. Мы чувствовали наш проступок, но чувствовали и тяжесть нашего положения, и на весах правосудия мы осуждены бы быть не могли. Но всякий судия есть человек, нередко вождается внешностию.

Я ныне еще трепещу, вспоминая о намерении нашем при сем происшествии. Мы рассуждали, что наш поступок, конечно, не одобряют, что *Бокум* расцветит его тусклыми красками клеветы, что, если посадил под стражу за мало-важный поступок, может сделать над нами еще более, и мы возвращены будем в Россию для наказания, а более того на посмеяние; и для того многие из нас намерение положили оставить тайно Лейпциг, пробраться в Голландию или Англию, а оттуда, сыскав случай, ехать в Ост-Индию или Америку. Таковы могли быть следствия безрассудной строгости начальника и неопытной юности. Но *Бокум* предупредил умышляемому нами побегу, и не прошло получаса, как он, испросив от тамошнего военного начальника солдат вооруженных <sup>8</sup>, посадил нас под стражу, каждого в своей комнате.

В сем тягчительном для нас положении мы прибегнули к российскому в Дрездене министру <sup>9</sup>, описав ему случившееся во всей подробности: но письмо наше до него не дошло, как то мы после узнали, ибо *Бокум* тамошнему правительству сказал ложно, что ему велено было все наши письма останавливать, и не прежде отправлять в Россию, как он уведомлен будет о их содержании. Таким образом, ни министр нашего двора в Дрездене, ни в Петербурге не могли быть известны о истинном нашем положении, сколько мы о том ни писали. Когда же напелся человек, нас довольно любящий, из сожаления единственно и на своем иждивении отправившийся в Россию для извещения, кого должно, о происшедшем с нами, то о всем было от министра нашего по представлениям *Бокума* предварено и жалобе нашей не внято.

Но я могу тебе наскучить, мой любезный друг, рассказывая о том, что тебе столь же известно, как мне; и для того заключу повествование о сем неприятном тогда для нас происшествии, но поистине сказать, преподавшем нам много нравочения деятельно. Намерение мое было показать

только то, сколь много ошибаются начальники в употреблении своей власти и коликой вред причиняют безвременную и безрассудную строгостию. Если бы мы исполнили наше намерение и ушли бы из Лейпцига, вообрази, колико горести навлекли бы мы нашим родителям, друзьям, да и всем сердцам, юность возлюбляющим. Если бы государство изгнанием добровольным десяти граждан ничего, казалось, не потеряло, но отечество потеряло бы, конечно, искренно любящих его сынов. Бude кто захочет на сие доказательство, то не дам никакого; но тебе только, мой друг, вспомяну о возвращении нашем в Россию. Вспомни нетерпение наше видеть себя паки на месте рождения нашего, вспомни о восторге нашем, когда мы узрели между, Россию от Курляндии отделяющую. Если кто бесстрастный ничего иного в восторге не видит, как неумеренность, или иногда дурачество, для того не хочу я марать бумаги; но если кто, понимая, что есть исступление, скажет, что не было в нас такового и что не могли бы мы тогда жертвовать и жизнью для пользы отечества, тот, скажу, не знает сердца человеческого. Признаюсь, и ты, мой любезный друг, в том же признаешься, что последовавшее по возвращении нашем<sup>10</sup> жар сей в нас гораздо умерило. О, вы, управляющие умами и волею народов властители, колико вы бываете часто кратковидцы и близоруки, коликократно упускаете вы случай на пользу общую, утушая заквас, воздымающий сердце юности. Единожды смирив его, нередко навеки соделаете калекою.

Под стражею содержимы были мы, как государственные преступники или отчаянные убийцы. Не токмо отобраны были у нас шпаги, но рапиры, ножи, ножницы, перочинные ножички; и когда приносили нам кушанье, то оно было нарезано кусками, ибо не было при оном ни ножей, ни вилок. Окончины были заколочены, оставлено токмо одно малое отверстие на возобновление воздуха, часовой сидел у нас в передспальной комнате и мог видеть нас лежащих на постеле, ибо дверь в спальную нашу была вынута.

Не взирая на все предосторожности, чтобы воспретить нам между собою сообщение и чтобы мы не могли известить министра нашего о нашем положении, ибо сие и была причина строгого нашего содержания под стражею, мы написали письмо и подписали его все своеручно. Никого к нам не допускали, сидели мы по двое вместе, и потому странно

покажется, что все могли подписать письмо. Способ мы к тому употребили особый, и да знают удруचितели, что нередко строгость их бывает осмеяна в самом том, в чем они усугубляют оную.

Дом, в котором мы жительствовавали, был в два жилья и имел четыре отделения вверху и четыре внизу, в каждом отделении было по две комнаты, и мы жили по двое вместе. Шестеро из нас жили вверху и четверо внизу, прочие комнаты занимали учителя наши. Письмо написано было *Федором Васильевичем*. Привязав его на длинную нитку, выпускали его за окно; способный ветер приносил его к отверстию другого окна, в которое оно было приемлемо, и по подписании тем же способом доставляли его в другую комнату; таким образом мы умели на пользу нашу употребить самые силы естества. На почту относимы письма наши были одним из наших учителей <sup>11</sup>, который из единого человеколюбия жертвовал всем своим тогдашним счастьем и отправился в Россию для нашего защищения, взяв от нас на дорогу одни карманные часы, в чем состояло все тогдашнее наше богатство: но в предприятии своем не успел, как то я сказал уже прежде. Великодушный муж! никто из нас не мог тебе за то воздать достойно, но ты живешь и пребудешь всегда в наших сердцах.

Не довольствуясь тем, что посадил нас под стражу, *Бокум* испросил от совета университетского, чтобы над нами произвели суд. К допросам возили нас скрытным образом и судопроизводство было похоже на то, какое бывало в инквизициях, или в Тайной канцелярии, исключая телесные наказания. Решение сего суда было, что ты и я, *Я. [Янов]* и *Р. [Рубановский]* были освобождены, а прочие, между которыми был *Федор Васильевич*, остались еще под стражею, но скоро были освобождены по повелению нашего министра. Конец сему полусмешному и полуплачевному делу был тот, что министр, приехав в Лейпциг, нас с *Бокумом* помирил, и с того времени жили мы с ним почти как ему неподвластные; он рачил о своем кармане, а мы жили на воле, и не видали его месяца по два.

Случилось во время нашего пребывания в Лейпциге проезжать чрез оный генерал-поручику и бывшему потом сенатором *Н. Е. М. [Муравьеву]* с супругою своею. Сотовариществовал ему в путешествии шурия его гвардии офицер <sup>12</sup>, человек молодой, любящий шутку безвредную, и

охотно смеялся насчет глупцов. Совершенно такового нашел он в нашем гофмейстере. Он, пользуясь пристрастием его к хвастовству, вывел его, по пословице, на свежую воду. До того времени не ведали мы, что гофмейстер наш за похвалу себе вменял прослыть богатырем, и если ему не было случая на подвиги с *Бовою* равные, то были удалства другого рода, достойные помещения в *Дон Кишотовых* странствованиях.

Помянутый гвардии офицер, подстрекая самолюбие *Божума*, довел его до того, что он для доказательства своих телесных сил выпивал по его приказаниям одним разом по несколько бутылок воды или пива, давал себя толкать многим лакеям вдруг, упираясь против их усилия совлещи его с места, а сим приказано было не жалеть своих толчков, дивясь о своем против его малосилии: но сего не довольно было. Он его заставил ворочать всякие тяжести, подымать стулья, столы, платя ему за то, не умеряя и не скрывая своего смеха: *Ну, Божум!*

Примечания достойно, до какой степени слабость сия в человеке возрасти может, и нередко она в общежитии бывает разными нечаянными случаями поддерживаема и возвышаема. *Божум* доведен был до того, что согласился вытерпливать удары довольно сильного электрического орудия. Сперва удары электрической силы были умеренны, и дабы его убедить самого в превосходстве его сил, удары производимы были над многими вдруг. Все по предварительному условию, будто от жестокости удара падали на землю, он один оставался непоколебим, торжествуя въявь над падающими. Уверив таким образом его самого в превосходстве его сил, удары электрического орудия становились сильнее; он выдерживал их, не показывая, сколь они для него были болезненны; сила ударов столь, наконец, была велика, что едва его с ног не сшибала.

Таковые подвиги производились ежедневно во все время пребывания сказанных путешественников в Лейпциге. Мы были непрестанные оных зрители, и презрение наше к *Божуму* с того времени стало совершенное.

Отправление российских морских сил в Архипелаг в последнюю войну между Россиею и Турциею доставило нам в Лейпциге случай видеть многих наших соотчичей, проезжавших из России в Италию и оттуда в Россию. Некто (имя его утаю, дабы не произвести в лице его краски стыда, или

блédности раскаяния), некто в проезд свой чрез Лейпциг оказывал отличное уважение *Федору Васильевичу* и снискать хотел его дружбу. Последствие показало, сколь мало она была искренна и продолжалась не более, как пребывание в Лейпциге сего мечтанного покровителя учености. Ни одного дня не проходило, скажу охотно, ни одного почти часа во дни, чтоб *Федор Васильевич* не был с Ф...<sup>13</sup>, вместе упражняясь с ним в рассуждениях, большею частию метафизических. Он делал ему уверении, что пвлечет его из руки отягощения, обещая ему мощное свое покровительство. Вняв лестному гласу дружбы, *Федор Васильевич* отверз ему свое сердце. Луч надежды, казалось, обновился в нем; но скоро сбылася с ним французская пословица: *отсутствующие всегда виноваты*. Едва сказанный покровитель уехал из Лейпцига, как забыл *Федора Васильевича* и деланные ему обещания, да и столь совершенно, что на все письма его не отвечивал ему ни слова. Или ему низко было вступать в переписку с неравным ему состоянием; или благодарить надлежит за то наукам, что среди обиталища их, различие состояний нечувствительно и взоров природного равенства не тягчит, и для того в Лейпциге Ф... обходился с *Федором Васильевичем*, как с равным себе. И поистине равен он был тебе, мразная душа, силами разума, но далеко превышал тебя добротою сердца.

Сие происшествие оставило на душе *Федора Васильевича* некую мрачность, которая пребыла с ним до кончины его; посеяло в душе его справедливую недоверчивость к обещаниям, наипаче знатных, и понудило его вдаться еще более учению, от коего единственные ожидал он себе отрады; в чем он и не ошибался. Ибо желание науки хотя не навсегда, но паки развеяло темноту грусти, и истина светом своим награждала ему за его скорбь.

Признаться надлежит, что Ф... присутствием своим в Лейпциге и обхождением с нами возбудил как в *Федоре Васильевиче*, так и во всех нас великое желание к чтению, дав нам случай узнать книгу *Гельвециеву о Разуме*. Ф... толикое пристрастие имел к сему сочинению, что почитал его выше всех других, да других, может быть, и не знал. По его совету *Федор Васильевич* и мы за ним читали сию книгу, читали со вниманием, и в оной мыслить научались. Лестна всякому сочинителю похвала иногда и невежды, но *Гельвеций*, конечно, равнодушно не принял, узнав, что целое

общество юношей в его сочинении мыслить \* училося. В сем отношении сочинение его немалую может всегда приносить пользу.

Предоставленный сам себе и полагая единственное упование на правосудие государя своего, восчувствовал *Федор Васильевич* к предстателям мерзение. Он устремил все силы свои и помышления на снискание науки, и в том было единственное его почти упражнение. Сие упорное прилежание к учению ускорило, может быть, его кончину. За год пред смертию приключилась ему болезнь, которая была, можно сказать, преддверием другой, введшей его во гроб. Употребляя действительные и мощные лекарства, он не покидал, вопреки совету своего врача, упражняться денно-ночно в чтении, и в сие время начал писать о книге *Гельвециевой* письма, коих найдены после него только касающиеся до начала первой книги сочинения о *Разуме*. Упорным своим к учению прилежанием он остановил в крови своей смертоносной болезни жало, которое следующей весною, воссвиrepствовав снова, отверзло ему врата смерти.

Сие пишу я для собственного моего удовольствия, пишу для друга моего, и для того мало нужды мне, если кто наскучит чтением сего, не нашед в повествовании моем ни одного происшествия, достойного памятника и ради мерзости своея или изящности ради равно блистающего. Ибо равно имяниты для нас *Нерон* и *Марк Аврелий*, *Калигула* и *Тит*, *Аристид* и *Шемяка*, *Картуш*, *Александр*, *Катиллина* и *Стенька Разин*; все славны, все живут на памяти потомства и не возмущаются тем, что о них мыслят. Не тревожился бы и всяк любящий человечество, если бы добрая или худая слава по смерти во что-либо вменялась; но, по несчастию всех, имеяй власть в руках, мало рачит о том, что о нем скажут, живу ему сущу, и не помышляет нимало о том, что скажут о нем по смерти. Он ищет токмо ободрения своего самолюбия и стяжания своей пользы. Не тревожился *Юлий Кесарь*<sup>15</sup> о том, что прослышет государственным татем, когда похищал общественную казну, не тревожился *Ла*<sup>16</sup>, что прослышет общественным злодеем, вводя во Францию мнимое богатство, которое, существовав одно

---

\* *Г. Грим*<sup>14</sup> в бытность свою в Лейпциге, извещен будучи, с каким прилежанием мы читали *Гельвециеву* книгу о разуме, по возвращении своем в Париж сказывал о сем *Гельвецию*.



мгновенье, повергло часть государства в нищету; не тревожился *Людвиг XIV*<sup>17</sup>, в величии своем, оставит ли потомство ему титул великого, которое в живых ему прилагало ласкательство; не боятся правители народов прослыть грабителями, налагая на сограждан своих отяготительные подати, ни прослыть убийцами своей собратии и разбойниками в отношении тех, которых неприятелями именуют, вчиняя войну и предавая смерти тысячи воинов.

Сказав сие, может быть некстати, я возвращаюсь к умершему нашему другу и постараюсь отыскать в его деяниях то, что привлекательно быть может, не для ищущих блестящих подвигов в повествованиях и с равным вкусом читающих *Квинта Курция* и *Серванта*<sup>18</sup>, но для тех, коих души отверсты на любление юности.

Нам предписано было учиться всем частям философии и правам, присовокупя к оным учение нужных языков, но *Федор Васильевич* думал, что не излишнее для него будет иметь понятие и о других частях учености, и для того имел он в разных частях учителей, платя им за преподавание их собственные свои деньги. При сих способах для приобретения разных знаний он надежнейшим всегда почитал прилежное чтение книг.

Сие располагал он всегда соответственно тому, что преподаваемо нам было в коллегиях \*. Итак, когда по общему школьному обыкновению начали нас учить прежде всего логике, то *Федор Васильевич* читал *Арново*<sup>19</sup> искусство мыслить и основания философии *С'Гравезанда*<sup>20</sup> и, сравнивая их мнения со мнениями своего учителя, старался отыскать истину в среде различия оных.

Между разными упражнениями, к приобретению знаний относящимися, *Федор Васильевич* отменно прилежал к латинскому языку<sup>21</sup>. Сверх обыкновенных лекций имел он особые. Солнце, восходя на освещение трудов земнородных, нередко заставляло его беседующего с римлянами. Наиболее всего привлекала его в латинском языке сила выражений. Исполненные духа вольности, сии властители царей упругость своей души изъявили в своем речении. Не льстец *Августов* и не лизорук *Меценатов*<sup>22</sup> прельщали его, но *Цицерон*, гремящий против *Катилины*, и колкий *Са-*

---

\* В немецких университетах коллегиею называют собрание слушателей при преподавании какой-либо науки.

*тирик*, не падающий *Нерона*. Если бы смерть тебя не восхитила из среды друзей твоих, ты, конечно, о, бодрственная душа, прилепился бы к языку сих гордых островян, кои некогда, прельщенные наихитрейшим из властителей, царю своему жизнь отъяти покусились судебным порядком; кои для утверждения благосостояния общественного изгнали наследного своего царя, избрав на управление постороннего; кои при наивеличайшей развратности нравов, возмеряя вся на весах корысти, и ныне нередко за величайшую честь себе вменяют противоборствовать державной власти и оную побеждать законно.

Между разными науками, коих основания алчная *Федора Васильевича* душа пожрать, так сказать, хотела вдруг, отменно прилепился он к математике. Сходствуя с расположением его разума, точность сей науки услаждала его рассудок. С какою жадностию он проходил все части сей в началах своих столь отвратительныя, так сказать, науки, но столь общепользующей в ее употреблении! Свойственно душе *Федора Васильевича* было мыслить, что огромнейшие в мире тела, наиотдаленнейшие от нашего обиталища, коих единое наше зрение, сие наивластительнейшее и великолепнейшее из чувств наших, может постигать при вспоможениях человеком изобретенных, что сии малейшие точки во зрении, необъятные в действительности громады, повинуются в течении своем исчислению. И как не возгордиться человеку во бренности своей, подчиняя власти своей звук, свет, гром, молнию, лучи солнечные, двигая тяжести необъятные, досягая дальнейших пределов вселенныя, постигая и предузнавая будущее. Таковые размышления побудили некогда сказать *Архимеда*: если бы возможно было иметь вне земли опору неподвижную, то бы он землю превратил в ее течении. Дай мне вещество и движение, и мир созижду, вещал *Декарт* <sup>23</sup>. Таковые размышления составили все системы о мире, все правдоподобия о нем, и все нелепости.

За счастье почесть можно, если удостоишься в течении жития своего беседовать с мужем, в мире прославившимся; удовольствием почитаем, если видим и отличившегося злодея, но отличным счастьем почесть должно, если сопричастен будешь беседе добродетелию славимого. Таковым счастьем пользовались мы хотя недолгое время в Лейпциге, наслаждаяся преподаваниями в словесных науках известного *Геллерта* <sup>24</sup>. Ты не позабыл, мой друг, что *Федор*

*Васильевич* из всех нас был любезнейший *геллертов* ученик, и что удостоился в сочинениях своих поправляем быть сим славным мужем. Малое знание тогда немецкого языка лишило нас пользоваться его наставлениями самым действием; ибо хотя мы слушателями были его преподаваний, но недостаток в знании немецкого языка препятствовал нам равняться с *Федором Васильевичем*.

Вращаясь всечасно между разными предметами разума человеческого, не возможно было, чтобы в учении разум *Федора Васильевича* пребыл всегда, так сказать, страдательным, упражняясь только в исследовании мнений чуждых. Но в сем-то и состоит различие обыкновенных умов от изящных. Одни приемлют все, что до них доходит, и трудятся над чуждым изданием, другие, укрепив природные силы своя учением, устраняются от проложенных стезей и вдаются в неизвестные и непроложенные. Деятельность есть знаменующая их отличность, и в них-то сродное человеку беспокойствие становится явно. Беспокойствие, производшее все, что есть изящное, и все уродливое, касающееся обоюдно до пределов даже невозможного и непонятого, возродившее вольность и рабство, веселие и муку, не щадящее ни дружбы, ни любви, терпящее хладнокровно скорбь и кончину, покорившее стихии, родившее мечтание и истину, ад, рай, сатану, бога.

*Федор Васильевич*, упражняясь в размышлениях о вещах, видел возрождающиеся в разуме его мысли, отличную новостью своею от обретаемых им на пути учености, и для того не мог оставаться в бездействии. Скоро подан был ему случай испытать свои силы в изображении связию своих мыслей. Ежегодно бывал нам экзамен, или испытание о приобретениях наших в учении. Сколь много все таковые испытания имеют смешного и цели, для коей они уставлены, недостигающего, всяк ведающий о них до пряма, признается. Нередко тот, кто более всех знает, почитается невеждою и ленивым, хотя трудится наиприлежнейше и с успехом. Но тем экзамены полезны, что возбуждают тщеславие и устремляют учащегося отличать пред сотоварищами своими: но дабы и в сем случае не возбуждать тщеславия безуспешно, то нужно, чтобы таковые испытания не были редки, дабы возникшая страсть в обыкновенных душах не угасала. Для назначенных же перстом всевечным к бессмертию в посторонних подстреканиях любочестия нужды нет. Они

сами в себе довольно имеют ко стяжанию славы побуждения, и хотя оные не бескорыстны, но умовенны всегда в благом источнике.

По прошествии трех лет обязаны мы были к наступившему для нас времени на испытание, показать наши успехи в учении, представя письменно связь мыслей о какой-либо материи. *Федор Васильевич* избрал для сего наиважнейшие предметы, до человека касающиеся в гражданском его отношении.

Человек, живущий в обществе под сению законов для своего спокойствия, зрит мгновенно силу общую, до днесь ему покровительствовавшую, возникающую на его погубление. Друзья его до сего дня, сограждане его возлюбленные, становятся его враги, преследуют ему, и рука сильного подавляет слабого, томит его в оковах и темнице, отдает его на поругание и на смерть. Что может оправдать таковое свирепство? Сие-то намерен показать *Федор Васильевич* в сочинении своем, разыскав следующие задачи:

1. На чем основано право наказания?
2. Кому оное принадлежит?
3. Смертная казнь нужна и полезна ли в государстве?

Цель, для коей он писал сие, не позволяла ему распространиться; но все, что можно сказать в оправдание несчастного права казни, и все, что может ее представить, вероятно, справедливою, того *Федор Васильевич* не проронил. Связь его мыслей есть следующая.

Показав, что человек, ощущая себя слабым на удовлетворение своих недостатков в единственном положении, следуя чувствительному своему сложению, для сохранности своей вступает в общество. Дабы общество направляемо было всегда ко благому концу, условием изъявительным или предполагаемым поставляется власть, могущая сие производить и отвращать зло, которое бы могло причинено быть обществу. Лице, власть сие имеющее, именуют государем в единственном и соборном лице. Следственно, тот кто долг имеет пецися о благе общества, имеет право не дозволять и препятствовать вредить ему; следственно, что тот, кто поставляет власть для своего блага, согласуется повиноваться и ее прещению, когда деянии его от благой цели устраняются. Показав, что при определении наказаний иной цели иметь не можно, как исправление преступника

или действие примера для воздержания от будущего преступления, *Федор Васильевич* доказывает ясными доводами, что смертная казнь в обществе не только не нужна, но и бесполезна. Сие ныне почти общеприемлемое правило утверждает он примером России. Я не намерен преследовать *Федору Васильевичу* в рассуждениях его. Изображая их здесь, могу или отнять силу его доводов, или только оные распространить без нужды. Тому и другому предварить можно, читая его сочинения, которое ясностию мыслей, краткостию слога и твердостью доводов заставит всякого потужить о безвременной кончине сочинителя на двадцати третьем году его возраста.

Опрочь малого сочинения о любви, и писем о *Гельвециевой* книге о *Разуме* ничего болес не найдено в бумагах *Федора Васильевича*. Выписки из многих книг, хотя без связи, доказывают, что он располагал свое чтение со вниманием. Кто может определить, что с ним потеряло общество? определить могу я, что потерял друга: но если судьба позавидовала тогда моему блаженству, наградила она меня с избытком, дав мне, мой друг, тебя.

Последнее время жития своего, среди терзания болезни, и грусти, от нее рождающейся, *Федор Васильевич* не забыл учения, и разве истощение сил отвлекало его от упражнения в науке. Наконец, наступило время, когда почувствовал он совершенное сил своих изнеможение. За неделю еще пред кончиною своею ходил он с нами на гулянье и наслаждался еще беседою любящих его, но силы его, ослабев, принудили лечь в постелю. Надежда, сие утешительное чувство в человеке, не покидала его; но за три дни до кончины своею почувствовал он во внутренности своей болезнь несказанную, конечное разрушение тела его предвещающую. Не хотел он пребыть в неведении, призвав своего врача, на искусство коего он справедливо во всем полагался, просил его прилежно, да объявит ему истину, есть ли еще возможность дать ему облегчение, и да не льстит ему напрасною надеждою исцеления, буде само естество положило уже тому преграду. «Не мни, вещал зрящий кончину своего шествия, томным хотя гласом, но мужественно; не мни, что, возвещая мне смерть, востревожишь меня безвременно, или дух мой привдешь в трепет. Умереть нам должно; днем ранее или днем позже, какая соразмерность с вечностию!»

Долго человеколюбивый врач колебался в мыслях своих, откроет ли ему грозную тайну, ведая, что утешение страждущего есть надежда и что она не покидает человека до последнего издыхания. Но, видя упорное желание в больном ведать истину о своей болезни и понимая его нетрепетность, возвестил ему, что силы его не более одних суток противиться могут свирепости болезни, что завтра он жизни не будет уже причастен.

Случается, и много имеем примеров в повествованиях, что человек, коему возвещают, что умереть ему должно, с презрением и нетрепетно взирает на шествующую к нему смерть во сретение. Много видали и видим людей, отъемлющих самих у себя жизнь мужественно. И поистине нужна неробость и крепость душевных сил, дабы взирати твердым оком на разрушение свое. Но страсть, действовавшая в умирающем без болезни, пред кончиною его живет в нем до последняя минуты и крепит дух. Нередко таковой зрит и за предел гроба и чает возродиться. Когда же в человеке истощением сил телесных истощаются и душевные, сколь трудно укрепить дух противу страха кончины, а тем паче тому, кто, нисходя во гроб, за оным ничего не видит. Сравни умирающего на лобном месте или отъемлющего у себя жизнь насильственно с умирающим нетрепетно по долговременной болезни на одре своем и скажи, кто мужественнее был, испуская дух бодрственно?

Услыша приговор свой из уст врача, *Федор Васильевич* не востревожился нимало, но взяв руку его, «нелицемерный твой ответ, сказал он ему, почитаю истинным знаком твоя дружбы. Прости в последний раз и оставь меня».

Удостоверенный в близкой кончине своей, *Федор Васильевич* велел нас всех позвать к себе, да последнюю совершит с нами беседу. «Друзья мои, вещал он нам, стоящим около его постели, час приспел, да расстанемся; простите, но простите навеки». Рыдающих облобызал и, не хотев более о сем грустить, выслал всех вон.

Оснадцать лет уже совершилось, как мы лишились *Федора Васильевича*, но, мой друг, сколь скоро вспомню о нем, то последнее его с нами свидание столь живо существует в моем воображении, что то же и днесь чувствую, что чувствовал тогда. Сердце мое толико уязвлено было тогда скорбью, что впоследствии ни иступление радости и утех,

ни величайшая печаль потеряннем возлюбленной супруги<sup>25</sup> не истребило чувствование прежних печали.

Спустя несколько времени он призвал меня к себе и вручил мне все свои бумаги. «Употреби их, говорил он мне, как тебе захочется. Прости теперь в последний раз; помни, что я тебя любил, помни, что нужно в жизни иметь правила, дабы быть блаженным, и что должно быть твердо в мыслях, дабы умирать бестрепетно». Слезы и рыдание были ему в ответ, но слова его громко раздались в моей душе и незагладимую чертою ознаменовались на памяти. Поживут они всецелы, доколе дыхание в груди моей не исчезнет и не охладет в жилах кровь. Дажь небо, да мысль присутственна мне будет в преддверии гроба и да возмогу важное сынам моим оставить наследие, последнее завещание умирающего вождя моя юности, и живого да оставлю им в вожди друга любезнейшего, друга моего сердца, тебя.

Что после сего последовало, тебе, мой друг, более известно, нежели кому другому. Ты последние часы был при нем безотлучен, ты был свидетелем последнего вздымания его груди. Скажи, мой друг, почто и я тут не был. Или слабость моего здоровья, или нетвердость духа, или какая другая причина отлучила меня от умирающего и воспретила мне видеть последние черты его жизни и прехождение ее во смерть. Но ко всем сим причинам совокупно было и недозволение на то умирающего. Или столь мал был жар дружбы в сердце моем, что я не преступил его веления. О мой друг! в минуты благоденствия, когда разум ничем не упрекает сердцу, мысль сия тягчит меня, и я мал становлюся перед собою.

Предвещание врача начало совершаться. Доселе нечувствительным покатом состав жизни спускался ко смерти, но вдруг она повлекла его всеильною рукою. За несколько часов пред кончиною *Федор Васильевич* почувствовал во внутренности своей болезнь несносную, возвещающую ему отшествие жизни. Доселе уста его не испускали жалобного стона, но, скорбь одолев сопротивлением, страждущий вскричал содрагающимся гласом. Знаки антонова огня, внутренность его обьявшего, начинали казаться на поверхности тела; в окрестностях желудка видны были черные пятна. Терзаемый паче всякого истязания, суеверием или мучительством на казнь невинности изобретаемого, прибегнул *Федор Васильевич*, к тебе, мой друг, да скончаешь

его болезнь, болезнь, а не жизнь скончати называю, ибо врата кончины ему уже были отверсты. Тебя, мой друг, просил он, да будешь его при издыхании благодетель, и дашь ему яду, да скоро пресечется его терзание. Ты сего не исполнил, и я был в приговоре, да не исполнится требование умирающего. Но почто толика в нас была робость. Или боялися мы почестся убийцами? Напрасно; не есть убийца, избавляяй страждущего от конечного бедствия или скорби. Друг наш долженствовал умереть, и час врачом был ему назначен по нелживым признакам, то не все ли равно было для нас, что болящий скончает жизнь свою мгновенно, или продлится она в нем на час еще един; но то не равно, что продолжится в терзании несносном. Мы потерять его были уже осуждены. Скажет некто, что врач мог ошибиться. Согласен; но болящий не ошибался в мучении своем, и прав был, желая скончания оногo, а мы не правы, дав оному продолжиться.

Мой друг, ты укоснил дать помощь *Федору Васильевичу*, но не избавился вперед<sup>26</sup>, может быть, от требования такого же рода. Если еще услышишь глас стнящего твоего друга, если гибель ему предстоять будет необходимая и воззову к тебе на спасение мое, не медли, о, любезнейший мой; ты жизнь несносную скончаешь и дашь отраду жизнию гнушаемому и ее возненавидевшему.

Наконец, естественным склонением к разрушению, пресеклась жизнь *Федора Васильевича*. Он был, и его не стало. Из миллионов единый исторгнутый неприметен в обращении миров. Хотя не можно о нем сказать во всем пространстве, как некогда *Тацит* говорил о *Агриколе* и *Даламбер* о *Монтескью*: «конец жизни его для нас был скорбен, для отечества печален, чуждым и даже неизвестным не без прискорбия». Но то скажу справедливо, что всяк, кто знал *Федора Васильевича*, жалел о безвременной его кончине, тот кто провидит в темноту будущего и уразумеет, что бы он мог быть в обществе, тот чрез многие веки потужит о нем; друзья его о нем восплакали; а ты, если можешь днесь внимать гласу стнящего, приинкни, о, возлюбленный, к душе моей, ты в ней увидишь себя живого.

*Конец первой части.*



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### РАЗМЫШЛЕНИЯ

#### 1. О ПРАВЕ НАКАЗАНИЯ И О СМЕРТНОЙ КАЗНИ

#### 2. О ЛЮБВИ

#### 3. ПИСЬМА О ПЕРВОЙ КНИГЕ ГЕЛЬВЕЦИИВА СОЧИНЕНИЯ, О РАЗУМЕ

#### *Разыскание следующих вопросов*

1. На чем основывается право наказания?

2. Кому оно право принадлежит?

3. Смертная казнь нужна ли и полезна ли в государстве, то-есть в обществе людей, законами управляемом?

Прежде разыскания сих вопросов надлежит определить смысл понятия о наказании. Я под оным разумею зло, соделываемое начальником преступнику закона. Дав таковое изъяснение, мне надлежит, кажется, рассмотреть человека, каков он произведен природою, не коснувшись общества, дабы яснее определить, на чем основывается право наказания. Сие то я и намерен разыскать столь кратко, сколько то возможно, по существу самой вещи и по намерении сего сочинения.

Если мы вообразим первенственное состояние человека, состояние равенства и независимости, то узрим его самовластным судиею своих определений. Если мы рассмотрим его существо, то найдем его одаренного понятием (то-есть свойством составлять идеи и оные сравнивать) и физическою, или телесною, чувствительностию. Понятие делает его удобным ко блаженству, то-есть определять хотение свое сходственно со своим благосостоянием; телесная чувствительность повещает ему о его надобностях и показывает ему способы удобнейшие к удовлетворению оным. Любовь самого себя или своего благосостояния, есть основание всех человеческих деяний. Сие чувство, природою в нас впечатленное, есть всеобщее, и для того не требовало бы доводов, но случается, что наипростейшие и яснейшие истины подвергаются иногда сомнениям. Для того я дам оному доказательство, на самом существе нашего понятия основанное.

Всякое понятием одаренное существо имеет чувство о своем существовании, ибо кто чувствует, тот не может быть бесчувствен. Следственно, он может предпочесть со-

стояние пребывания другому состоянию пребывания, то есть почитать одно счастливее другого: но предпочитать одно состояние другому есть то же, что определять свое хотение и избирать состояние пребывания, счастливейшим почитаемое, суть одинаковые вещи. Из сего следует, что все права и должности человека из сего происходят начала и все оному без изъятия суть подчиненны. Оттуда право защищать себя, или отвращая обиду, или награждая ущерб, или предупреждая своего злодея, если случится быть в грозящей опасности или уверенному о злодейском намерении своего противника. Ибо имеющий право к цели имеет неотменно право к способам позволительным; итак, старание о своей сохранности, будучи средством, необходимым для пребывания во благосостоянии, есть право, нераздельное от человека. Доселе понятие о наказании исчезло для того, что оно предполагает начальника, истребляет понятия естественныя свободы, а потому и равенства. Но сие состояние независимости и равенства, столь прекрасное в воображении, не могло продлиться вследствие несовершенства человека. Слабость младенчества, немощь старости, природная склонность человека к самовластию, непрестанная боязнь, да не подвергнется насилиям могущественнейших, словом, препятствия, сохранности каждого в естественном состоянии вредящие, превзошед своим сопротивлением силы, употребляемые каждым для пребывания в сем состоянии, люди принуждены стали пременить внешнее состояние их жития. Но как они не могли произвести новых сил, а совокупить и соединить токмо имевшие, то надлежало установить общество, где каждый подвергался верховному вождению государя, и менял свою природную свободу, силами каждого ограниченную, на свободу гражданскую, в житии по законам состоящую. Рассмотрим теперь человека, в сем новом положении и начнем объяснением существа государств.

Народ есть общество людей, соединившихся для снискания своих выгод и своей сохранности соединенными силами, подчиненное власти, в нем находящейся: но как все люди от природы суть свободны и никто не имеет права у них отнять сея свободы, следовательно, учреждение обществ предполагает всегда действительное или безмолвное согласие. О сем иные сомневаются, почитая народ собранием единственников. Но оно представляет

нравственную особу, общим понятием и хотением одаренною, и для того права и обязанности иметь могущею; следовательно, можно ей сделать обиду.

Общество, так сложенное, долженствовало помышлять о таком средстве, которое бы положило всем оною членам необходимость направлять все их деяния сходственно с общим благом: для того люди, пременяя образ своего бытия, не пременяют своей природы, и злодеяния, принудившие их составить общество, не истребились бы, беспорядок остался бы и разрушение государства последовало бы непременно. Но как скорбь и отвращение от зла и притяжательность веселия суть равно всеобщии, то ясно следует, что найдешивейшее средство подчинить частное хотение хотению всеобщему и принудить граждан поступать только сходственно с намерениями законоположника, есть учреждение награждений и наказаний. Я пред сим доказал, что общество не может быть разве действительным или безмолвным согласием всех единственников. А как установление наказаний есть средство необходимое для содержания порядка и для направления деяний каждого сходственно с общим благом, то ясно, что начало права наказаний основывается на их согласии, ибо кто желает цели, тот желает и средства.

Некто возразить может: определяя волю свою к цели блаженства, возможно ли, чтоб человек условился на предосудительное своему благосостоянию? Ответствую: 1) вступая в общество, никто не мнит о себе, что будет нарушитель закона, а тем общественный злодей; но каждый обязуясь жить по законам, никто из оных не исключен, и сие никому не предосудительно. 2) Всяк властен вдать опасности не токмо несколько своих прав, но и самую жизнь для сохранения оной. В таком деянии человека выбор стремится к цели своей выгоды, ибо меняет он зло действительное и настоящее на зло будущее, от коего он легко уклониться может. Сии рассуждения влекут заключение, что человек, обязуясь терпеть зло, начальником ему соделованное за преступление закона, ничего не терпит, но паче выигрывает; следственно, действие сие, стремящееся единственно к его сохранности, есть законно и твердо.

Положив основание праву наказания, я могу приступить к решению второго моего вопроса, то-есть кому принадлежит право наказания. А понеже сия задача есть

дальнее токмо следствие первой, то довольно будет, если утвержду оную одним простым доводом, не входя в дальнейшее рассмотрение.

Состав каждого правления требует государя, или вождя, который бывает нераздельною или соборною особою, одаренною верховною властью для направления всех единственных волей и сил к общественному благу. А как сохранность народа и содержание доброго порядка суть первые предметы его попечения, чего без учреждения наказаний и награждений приобрести не можно, то ясно следует, что право наказания принадлежит единому токмо государю, право, которое он может вручить нижним властям. Но они суть токмо исполнители вышних воли государя, законами определенной и пересуду неподверженной.

Я приступлю теперь к последней задаче. Вопросается: смертное наказание полезно ли и нужно ли в обществе? Для решения сего надлежит рассмотреть цель наказания вообще.

Цель законодателя при учреждении наказаний есть сохранность граждан, утверждение законного владения их именней, предварение природной склонности человека присвоить все, что может взять невозмездно, наконец, приведение к должностям уклонившихся от оных. Отсюда истекает примерное наказание, стремящееся к отвращению от беззаконных и злых дел всех ведающих о болезнях, злодеянии претерпеваемых. Иные отмечают исправление, которое ничто иное есть как средство к приведению преступника в самого себя истязанием; средство к произведению в душе истинного раскаяния и отвращения от злых дел. Другие мнят быти возмездию состоящему в соделании зла за зло. Сомневаюсь, чтоб те были правы, а докажу, что сии, конечно, ошибаются.

Представим себе государство нравственною особою, а граждан оною ее членами. То можно ли подумать, что человек, раздробивши себе ногу, восхотел бы воздать зло за зло, и преломить себе другую. Положение государства есть сему подобно. Все действия государства должны стремиться к благосостоянию оною; а награждать злом за зло есть то же, что невозвратное зло себе соделать. Желать себе зла противно существу общества, и таковое действие предполагает безумие, но безумие права не составляет. Следовательно, таковое действие ни есть законно, ни полезно,

а потому и невозможно; да и полагающие возмездие, кажется, похожи на последователей системы *беспристрастной свободы*, которые, утверждая, что *хотение есть хотение и что хочу, для того что хочу*, приемлют, очевидно, действие без причины.

Отметающие исправление основываются на невозможности судить об оном и определить время, когда преступник придет в себя. Суд, говорят они, объемлет внешние токмо действия; никто не судит о намерении, и законодатель не может пещися о исправлении.

Дабы ответствовать с точностию на сие заключение, надлежит сперва разыскать, может ли человек исправиться? Для сего рассмотрим его в себе самом и спросим природу. Человек рождается ни добр ни зол. Утверждая противное того и другого, надлежит утверждать врожденные понятия, небытие коих доказано с очевидностию. Следственно, злодеянии не суть природны человеку; следственно, люди зависят от обстоятельств <sup>27</sup>, в коих они находятся, а опыты нас удостоверяют, что многие люди повиновались несчастному соитию странных приключений. Если же человек случайно бывает преступником, то всяк может исправиться. Если он повинуется предметам, его окружающим, и если соитие внешних причин приводит его в заблуждение, то ясно, что, отъемля причину, другие воспоследуют действию. Сверх же того, дабы доказать, что исправление невозможно, надлежало бы определить силу злобы, потребной в преступнике для соделания действия, запрещенного законами. А как может оное быть? Творец действия иногда не ведает сам побуждений, его влекущих, то-есть что он не ясно видит соитие обстоятельств, побудивших его к действию. Если же невозможно положить явного предела исправлению, если же, напротив того, очевидно, что человек может исправиться и что люди разнятся токмо в количестве; то не справедливо ли будет в сем случае клониться к большей вероятности. Сие-то я и намерен рассмотреть, восходя от действия ко причинам.

Представим себе человека, на несколько степеней страсть имеющего, и совсем к добродетели равнодушного: добродетелию я называю навык действий полезных общественному благу. Таковой человек столь же непременно падает в злодеяние, как брошенный камень падает на землю. Решить должно, можно ли сего человека исправить? Зло-

деяние в человеке рождается от притяжания веселия и от глупых надежды безвозмездия, отчего должно воздерживать его болезнию. Злодей, уличенный в своем злодеянии, осуждается на потеряние своей свободы. Утрата невозвратимая, все превосходящая, а паче для человека просвещенного. Вринутый в глубокую темпичу и в снедь скуке, отчаяние объемлет его душу; за оным следует ярость на свое непроворство. Ибо трудно неистовству признаться виновным, но немощь соделати зло превращает, так сказать, естество его хотения, равно как невозможность удовлетворить желанию оное истребляет. Дошед до сея степени, он себя рассматривает; а рассуждение человека о известных обстоятельствах всегда бывает справедливо, если разум его не ослеплен страстию. Здесь все его страсти утихли или настоящим страданием, или воображением отсутствия всех веселий. Он познает свое злодеяние. И можно ли, чтоб он его не познал? Если человек наикрепчайший колеблется, если *Катон*, если *Брут*, сии строгие стойки возмogli подвигнуться и пременили намерение, то какой смертный не пременился? К тому ж мы охотно последуем в рассуждениях другим людям, дабы избавиться трудности исследования, угождая природному человека недействию, или повинуюся общественному рассуждению. Тако преступник, зря себя покрыта бесчестьем и срамотою, у всех в презрении, един среди всех и преданный себе самому, прибегает к раскаянию, яко к единой несчастных отраде, которая поистине сильнее, нежели думают.

Но преступник, скажут мне, может затвердеть во злодеянии, он может даже нечувствителен быть к болезни, которую ощущает. Сие невразумительно; но раскаяние, кое неизбежно, производит непременно отвращение к действиям, приведшим в раскаяние, а телесная болезнь делает оные ужасными. Несчастный, чрез долгое время навывший с ужасом взирать на прошедшие свои дела, отвращается от злодейства, а впечатление сие, всегда и непрерывно пребывающее, столь привычно ему станет, что от единых мысли злодеяния вострепещет. Если все люди имеют свойство соединять с одинаковыми предметами одинаковые мысли и воображать нераздельными идеи, кои они в одно имели время, так что одна не может возбудиться без другой; если привычка другая есть природа, коли не первая, как то думает *Гельвеций*, и если чувствование скорби сильнее по

себе оставляет впечатление, нежели чувствование, мысленным воображением познаваемое, то я могу утверждать, что в человеке степени порока пременяются в десять лет во столько же степеней добродетели. Дабы смертная казнь производила свое действие, нужно, чтобы преступления были всечасны; ибо каждое примерное наказание предполагает вновь сделанное преступление; желать сего есть то же, что хотеть, чтоб самая та же вещь была сама по себе купно и другая вещь в одно время, следовательно, желать противоречия.

Но скажет некто, если телесные болезни, смерти предшествующие, сильнее всего в человеке действуют, то надлежит прибегнуть к изысканным казням? Признаюсь, что они весьма чувствительно и сильно действуют; но и то известно, что они преходящие токмо доставляют выгоды, и сие-то думаю доказывает их бесполезность. Какое зверство, какой ужасный вымысел в казнях при *Калигуле*, *Нероне*, *Диоклитиане!* какое, напротив того, наблюдение в сохранении жизни граждан во время республики. Различие в сии времена во нравах относится всегда к похвале народного правления. Сие и доказывает, что не жестокость казни удерживает преступника или предваряет преступление, но мудрое законоположение и соединение общей корысти с частными корыстями, поелику то возможно. Свирепость наказаний показывает всегда народное повреждение и причиняет избежание казни, а надежда укрыться от оныя умаляет ее действие и воспрещает жертвовать злодейским, но настоящим веселием. Владычество привычки есть всеобщее над человеком, и яко веселие исчезает продолжением, тако поражение теряет свою силу частым повторением. Избраннейшая казнь теряет свое действие и становится, наконец, бесплодною; как же соразмерить наказание преступлению? В телесном и нравственном мире все имеет свои пределы, естество человеческое имеет также свой предел во зле и благе; то ясно, что полагая изысканные казни, надлежит на чем-нибудь остановиться. Тут будет несоразмерность наказания с преступлением; будет сие несправедливо, а потому сумасбродно.

Понеже ясно, что смертная казнь никогда долговременного не производит впечатления и, поражая сильно и мгновенно души, бывает тем и недействительною; понеже жестокость казни становится вредною непременною ради

следствия своея бесполезности; то я могу заключить, что смертное наказание не может быть ни полезно, ни нужно в государстве.

Положив сие начальное правило и устремляя внимательное око на сложение государств и на обряд уголовных дел, я покажу два опасных следствия смертных казни. Образ всякого правления влечет за собою неравенство клений. Монархическое тем и существует, аристократическое оного отвергнуть не может, в демократическом хотя бы надлежало быть равенству имений, но судя с точностию, не может быть истинной демократии, и сие правление, приличествуя токмо весьма малым и бедным государствам, не может, и по мнению *г. Руссо*<sup>28</sup>, сделать народа счастливым по склонности своей к возмущениям. Опыты всех веков и настоящее государств состояние доказывают невозможность равенства имений. А неравенство оных производит, с одной стороны, нищету, а с другой — роскошь; сего ради могу я сделать положение, что в двадцати миллионах жителей найдется по самой крайней мере двести в крайнее убожество поверженных: едва возмогут они добыти дневную пищу, и жизнь непременно будет им в отягощение. Они восхотят оной лишиться; закон им доставит сие благодеяние, которого удостоятся они злодействами; и се уже двести преступников, укрепленных мгновением казни и надеждою нескольких годов услаждения.

Второе следствие, ужаснее первого, истекает из обряда уголовных дел. Люди определяют наиважнейшие действия своея жизни по нравственной ясности; следственно, и знаки, преступление утверждающие, на оной же должны основываться: но и по мнению самого творца книги *о преступлениях и наказаниях*<sup>29</sup>, нравственная ясность ничто иное есть, как наивеличайшая вероятность; а как нет вероятности, коея бы противоположность не была возможна, то заключаю, что со всеми осторожностями в осуждении преступления можно ошибиться и осудить невинного и что бывают случаи, коих истина едва чрез долгое течение времени отвергается. Ибо какой человек почтется преступити не могущим? Невежество судии введет его в погрешность, сребролюбие повредит его правоту, отеческая нежность, любовь сыновняя, предстательство вельмож, долговременное дружество и многие малые сим подобные причины



не возмогут ли его обольстить, и не преступит ли он власти своей на судилище?

Рассмотрим свидетельство. Хотя и говорят, что вера ко свидетелю возрастает по мере умаления его корысти, но можно ли назначить предел, где корысть исчезает; может ли кто проникнуть в тайные излучины сердца человеческого? Или нет уже более душ низких и подлых, всегда лично прикрытых и тем наименование честных людей приобретающих, прельщенных или обоязненных и того ради на ложное свидетельство готовых? Из сего заключаю, что приговор, на свидетельстве основанный, подвержен заблуждению. Признаюсь, что таковые случаи суть редки, но единая их возможность приведет в ужас сердце праведное и от вопля невинного в бедствии содрогатися обычное; а если бывают случаи, в коих можно предположить, что невинность разве чрез долгое течение времени открывается, и если опыты доказывают, что часто невинные сопреступниками вменялися и казнены смертию, то благоразумно и праведно иметь готовое всегда средство скончавати мучение невинных жертвы, а смертная казнь не есть средство таковое.

Сии причины, царствование императрицы Елисаветы Петровны <sup>30</sup> и опыты всех времен, доказующие, како смертное наказание не послужило к удобрению человека, побуждают меня заключить, что установление сей казни совсем в государстве бесполезно, да и казнить смертию для примера надлежит только того, кого без опасности сохранить не возможно. Я тем более подвизаюся на сие рассуждение, что известно, что люди располагают свои деяния по повторяемому действию зол, им известных, а не по действию зол, им неведомых.

Сим образом исправленный и высшим правосудием освобожденный чувствует преисполненна себя благодарностию: но живо чувствующий благоденствие, старается явить признание о нем; всяк хочет быть почитаем, и скорбит, зря себя в презрении. Итак, желание почтения и скорбь презрения произведут в преступнике стремление ознаменитися, да будет общественного почтения достоин, да воздаст, так сказать, за худые свои дела, и да погрузятся они в вечное забвение. Тако во Греции воины, избавившиеся смерти бегством, храброму мужу всегда постыдным, но срамом и стыдом покрытые бывали всегда в последующее время наизамяннейшие; следственно, бывает предел довольно известный,

где виновный почестся может обратившимся к должности своей, то не достойно ли о сем насторожайше исследовать? Сердце мудрого законодателя не источит ли кровь, наказуя невинного? Ибо наказание исправившегося преступника есть заклятие невинных жертвы.

Я не намерен распространять силу сего заключения на убийцов. Жребий разрушителю договора и общественному злодею есть смерть гражданская. Ибо несть свято, несть ненарушимо паче жизни гражданина. Я думаю, однако же, что по оному заключению могу судить о воровствах и о других меньших преступлениях, назначая токмо некоторые пределы, да не войду в скучные подробности. Если бедность, столь всегда близко преступления, ввела человека в заблуждение; если стремление страстей юности, всегда буйственной, но всегда гибкой, вринуло его в преступление, то не побудит ли сие мыслить благосклонно о преступнике? Следовательно, кажется, не можно с основанием исключить исправление из намерений законодателя.

Мы видели, что предметы установления наказаний суть или средства воспретить преступнику впредь вредить обществу, или пример для других, да отвратятся от содеяния подобных злодеяний, или, наконец, исправление. Дабы решить теперь, полезно ли и нужно ли в государстве учреждение смертных казни, рассмотрим каждый из сих предметов особо.

1. Я уже показал, что исправление неотменно входит в расположение законодателя, понеже совершенное разрушение вещи истребляет понятие о исправлении; ибо отъемляй жизнь у преступника разрушает его бытие, его истребляет; то заключаю, что в сем случае смертная казнь предосудительна.

2. Предварить, чтобы преступник впредь не вредил обществу, для сего надлежит сделать его только немощным. Темница для сего избыточна. Следует, что в сем случае смертная казнь не нужна.

3. Наказание для примера отвратить от подобных преступлений согражданина виновного; для сего надлежит изыскать наказание, которое бы сильнее, действительнее и продолжительнее душу поражало. Обыкновенно думают; что законная смерть оставляет по себе впечатление наисильнейшее, или действительнейшее, или долговременнее пребывающее. О сем я сомневаюсь, и вот тому вина.

Смерти всегда предшествует болезнь, жизни сопутствуют всегда какие-нибудь веселия. К жизни мы, следовательно, прилепляемся ради страха болезней и возжелания веселий. Чем жизнь блаженнее, тем страшнее оную оставить. Оттуда ужас в смертный час в довольствии живущих. Напротив того, чем жизнь несчастнее, тем меньше желают лишиться оной. Оттуда нечувствительность нищего в ожидании последнего часа. А если любление бытия основано на страхе болезни и возжелании веселия, то следует, что желание быть счастливым сильнее в нас, нежели желание [не] быть. Следует, что пренебрежение жизни есть заключение исчисления, доказующего нам самим, что лучше не быть, нежели быть несчастным. Сей довод не есть воображение умоарительства, но токмо обществование происшествий, на опытах людей мудрых и людей мало просвещенных основанное, что и доказывает оно общественность. Не с охотою ли *Катон* отъял у себя жизнь из любви к отечеству? *Сцевола*<sup>31</sup>, влекомый корыстию общего блага, не подвергался ли не токмо смерти, но и острейшей муке? Не терпел ли *Регул*<sup>32</sup> наижесточайших мучений, да исполнит свое обязательство? Я не могу сравнить с сими великими людьми сих злодеев, сих извергов природы, суеверием упоенных и обогривших руки свои в крови царей своих, и толико же безумных убийцов. Сие доказательство довольно, кажется, заключительное утверждает, что смертная казнь не с наибольшею действительностию поражает разумы и что впечатления ее не наисильнейшие суть; по крайней мере они не во всех равны бывают, а потому, не будучи наисильнейшие, да и всегда мгновенные, не могут, конечно, быть действительными.

Но положим, что оные впечатления суть наисильнейшие, как то они суть в самом деле во всех не имеющих великих страстей ни к добру ни ко злу, коих число, конечно, в каждом государстве велико, то утверждаю, что тем самим они и вредны: ибо чем поражение сильнее, тем кратче оно бывает. Правда, что оно объемлет все наши душевные силы, но они подобны изящной музыке; ее действие мгновенно нас восхищает, мгновенно и исчезает. Тогда престает соображение, и человек в совершенное погружается забвение. Смертная казнь удивляет, но не исправляет; она укрепляет, но не трогает; но впечатление медленное и продолжительное оставляет человеку полную власть над собою. Он соорба-

жает, сравнивает; следовательно, сие впечатление по существу своему есть действительнее и тем полезнее. А если продолжительное впечатление глубокие в сердце человеческого оставляет черты, то долженствует следовать, что оно действует на человека сильнее. В таковых обстоятельствах был *Александр Великий* в рассуждении *Филона* <sup>33</sup>, сдиного из первейших своих полководцев, ближайшего своего друга и сына *Парменионова*, великим войском тогда предводительствовавшего; таков же был случай *Генриха IV* в рассуждении *Бирона* <sup>34</sup>. Обличенные оба в оскорблении величества (то-есть в наивеличайшем преступлении, ибо великость одного измеряется всегда вредом, государству от того происходящим), но оба могущественны, не можно было, по мнению моему, их сохранить без опасности. Сие, может быть, единое изъятие, а изъятие правила точность одного доказует. Присовокупим к сему: дабы наказание было справедливо, надлежит оному иметь токмо достаточную силу для отвращения людей от злодеяний. Но какой человек восхощет променять потеряние совершенное и невозвратное своя свободы на злодеяние, какие бы он ни ожидал от него выгоды. Из сего следует, что действие наказания вечныя неволи достаточно для отвращения от преступления наиотважнейшую душу.

Я не войду в раздробление преимущества такого положения, ибо оно всякому благоразумному читателю представится очевидно, потому что нет злодея, кой бы к чему-либо не был пригоден, что самой природе совместно. Если соделаешь зло обществу, возмездится за оное злом, то-есть принужденною работою, сверх же того ясно, что вечная неволя тем и предпочтительна, что действию ее, в глазах народа всегда обретающиеся, суть поразительнее и долговременнее. Теперь рассмотрим, вечная неволя не жесточее ли сама смерть? Конечно, жесточее в глазах общества, но не для терпящегося. Общество судит по своей чувствительности о сердце, привычкою закоренелом, а несчастный утешается отсутствием болезней злее тех, кои он ощущает; раскаяние приходит к нему на помощь, и труды его облегчаются упражнением. А как чувствительность в человеке возрастает по мере крепости его рассудка, нежности телосложения или перемены его состояния, то я заключаю, чем человек будет просвещеннее, тем положение сие будет для него несноснее; чем более он мог жить в довольствии, тем

более сие состояние его скорбить будет. Тем более заслуживает он облегчения, ибо хотя злодей он, но человек. Сего требует правосудие; ибо наказание долженствует всегда быть соразмерно преступлению. А как весьма редко, чтобы одинаковые предметы одинаковые на разных людей имели действия, к тому же ясно, что человек с разумом или человеком, сладострастное житие имевший, гораздо наказание живее восчувствует, нежели невежда или телосильный и крепкий к нужде, и нищете привыкший, то заключаю, если таковые люди за одинаковые преступления одинаково накажутся, один наказан будет жесточее другого и казнь вине не будет соразмерна.

### О ЛЮБВИ

Любовь есть чувство, природою в нас впечатленное, которое один пол имеет к другому. Все одушевленные твари чувствуют приятность, горячность, силу и ярость оныя. Но различное сложение тела, следовательно, больше или меньше раздражительности в нервах, различное соитие обстоятельств, воображение воспламеняющих, словом, различное соитие внешних предметов, на нас действующих, долженствует неотменно производить различное чувствование. Рассматривая любовь при ее источнике, увидим, что сие чувствование равно сродно ленивому ослу и разъяренному льву; португальцу крепкими напитками и пряным зельем воспаленному, и лопарю, утомленному холодом и трудами. Сие чувствование, следовательно, есть необходимое, для того что оно в нашем природном сложении имеет свое начало. Любовь все употребляет средства, к удовлетворению ее служащие, преобразует еленей в тигров, умножается от предстоящих препятствий, удовлетворению ее претящих, умалется, превзошед препоны. *Федер* справедливо примечает, что любовь в естественном состоянии человека ужасна не была для того, что взаимная похоть ее скоро укрощала, но по восстановлении обществ она долженствовала сделаться ужасною, как то она и есть. Самолюбие со всем себя в сравнение ставящее и себе всегда преимущество дающее, долженствовало неотменно озлоблять самолюбие другого. Оно рождало зависть, а зависть — ненависть, и так умножались все наши страсти. Они столь много произвели божественных дел и столько зла сотворили, что их вообще ни

хвалить, ни охуждать не надлежит. Нравоучители, противу страстей восстающие, рассуждают о человеках вообще по человеку, в их воображении сотворенному, или, углубясь в отдаленнейшую метафизику, доказывают весьма велегласными словами, что все несходствующее с совершеннейшею совершенностию (которую не объясняют) и с существенным порядком вещей, которого не знают, есть противудобродетель, порок и зло; итак, мы постараемся отступить от понятия отделенного и будем наблюдать действительные отношения. Назовем добродетелию то, что удовольствия и благосостояние всех (а как сие не возможно), по крайней мере многих людей соделывает, и рассмотрим полезна ли любовь или вредна?

Человек есть хамелеон, принимающий на себя цвет предметов, его окружающих: живущий с мусульманами — мусульманин, с куклами — кукла общества, в коем мы обращаемся. Общежитие вселяет в нас род своих мыслей и побуждает нас то называть добрым, что оно добрым почитает. Мы усвоим помалу страсти, в обществе господствующие; наипаче мы склонны к восприятию того, что нас прельщает, а все, что нам веселие доставляет, или обещает, прельщает нас столь действительно, что объемлет все наши душевные силы. Всяк довольно, хотя и не весьма ясно понимает, что мы благосклонность других людей приобретаем сходствием наших мыслей и деянием, с их мыслями и действием, а сие подтверждается опытами. Из того очевидно следует, что двое влюбленных единого составляют человека, единую имеют волю и одинаковые поступки, ибо привычка преобразует природу. Случай, имеющий в общежитии свое начало, восхотел, чтобы мужчины были, что женщины суть, на коих они свои взоры обращают, а не женщины то, что суть мужчины.

Итак, любовь в обществе, не на телесных токмо и чувственных основывающаяся чувствованиях, но тысячию чувствованиями производимая, любовь сия, зависящая от предрассуждений, от обыкновений и от состояния, не имеет в себе ничего непозволительного и ничего наказания достойного. Она становится добродетелию или пороком, располагаясь по воспитанию женщин, тот или другой вид приемлющему. У греков, у коих мать слезы проливала, когда сын ее без лавр возвращался, где дева прославившемуся сердце свое дарила, и везде, где благоразумный законоположник

женщин определил вперять в сердца юношей ревность к добродетельным и отвращение от порочных поступков, заслуживают они уважение, почтение и любовь; но в нашем веке, где красота, *которая ужаснее стихии, ее родившей*, воспыхивается в играх и забавах, где вся разума ее округа внешним ограничивается блеском, где свобода в убранстве, где прелесть поступи и несколько наизусть выученных модных слов заступают место мыслей и изгоняют природное чувствование, где она принуждена ежечасно притворяться и скрывать свои невиннейшие склонности, где она злословна для того, что неведуща, честолюбива для того, что не имеет должного к себе почтения, и коварна для того, что живет всегда в принуждении и беспрестанно безделицами упражняется; где она неограниченно обожателями своими управлять желает; достойна ли она, чтобы быть ее жертвою, в угождение ей наполнять голову свою замысловатыми безделицами, оставить любовь истины, дабы ей понравиться? посвятить ей время свое, коего потеря всегда невозвратна? В наблюдении бесчисленного множества вещей, кои по рассмотрении найдем безделицами, но трудными безделицами, может ли кто без внутреннего отвращения видеть старого, впрочем заслуженного и испытанного министра, который от чрезмерной нежности невинного осудил на смерть, дабы пощадить злодея, отца своего обладательницы. Кто не возропщет на него! кто столь сильно объят любовию, что разум его никогда не в состоянии покойно наблюдать вещи, а сердце всегда в движении и кто своими приобретенными знаниями мог бы свету быть полезен? Но кто может противиться сим голубым глазам, сему томящемуся и восхитительному взору, сему пронизательному и привлекающему гласу. Кто может облобызать белую сию и нежную руку, на коей поцелуй впечатлевается, и не потерять своего сердца? Кто может видеть сию непринужденную походку, сию величественную осанку, воровские глазки, и, что всего больше, слышать и видеть добродетельные предупреждения, и не восхититься и не воспалиться? Тот, кто в младости к тому приуготовлен, кто старается познать истинное определение человека, кто украшает разум свой полезными и приятными знаниями, кто питается противными сим страстями, кто величайшее услаждение находит в том, чтоб быть отечеству полезным и быть известным свету.

ПИСЬМА <sup>85</sup>, КАСАЮЩИЕСЯ ДО ПЕРВОЙ  
КНИГИ ГЕЛЬВЕЦИИЕВА СОЧИНЕНИЯ О РАЗУМЕ

*Письмо 1*

Милостивый мой государь.

Я намерен с вами беседовать о вещи весьма важной и многим трудностям подверженной; ласкаю себя, что вы мне на сие дадите дозволение, ведая довольно, что глубочайшие размышления не токмо вам не наскучат, но возбудят разве ваше любопытство. Вещь сия есть важная, ибо непосредственно касается до человека; трудная, ибо познание сердца человеческого и побуждений к действию и недействию весьма запутано. Сие превзойдет, может быть, мои силы; но самое сие побуждает меня прибегнуть к вашему просвещению, которое, по счастью моему, я узнал и почитаю. Я ищу наставления, следовательно, я сомневаюсь. Но как нерешительность для разума, истину возлюбляющего, есть несноснейшее состояние, то и прошу я вашей помощи. Но не отважно ли сие? И поистине сей мой поступок, от чрезмерного желанья познаний происходящий, был бы непростителен, если бы я менее уверен был в милости вашей ко мне; если бы вы во время пребывания вашего в Лейпциге не удостоили меня дружеского обхождения и если бы вы мне не дали полезного для меня дозволения прибегать к вам во всем, что до меня касаться может. Я осмеливаюсь почитать себя воспитанником вашим, ибо все нас наставляющие, или дающие нам способы к наставлению по справедливости истинными родителями почитаться могут. Но сие есть наималейшее из одолжений ваших. Вы извлекли душу мою из бездействия и уныния, в коих она погрязла, и, по несчастию, не без причины. Вы возвратили ей всю ее деятельность, отъемля причину ее угнетающую. Вы вселили в меня неутомимое рвение к исследованию всех полезных истин и отвращение непреоборимое ко всем системам, имеющим основание в необузданном воображении их творцов, и мерзение к путанице высокопарных и звонких слов, коими прежде сего я отягощал память мою. Но сколь велика долженствует быть, наконец, моя признательность за то, что от вас познал я удивления достойного сочинителя, коего книгу вы благоволили прочесть со мною! После того я три раза читал ее со всевозможным вниманием, и для того только воздержив-



ваюсь хвалить его, что я уверен совершенно, что хвалить такого мужа, как есть сей, должен только тот, кто сам заслужил уже похвалу.

Скажу только то, что удивляясь его пронизательности, ясности и изящности его слога, нередко сожалею о его краткости. Из него-то почерпну содержание сих писем, которые заключать будут сокращение сочинения о *Разуме*, или по крайней мере одного первья и третия книги. Но исполнение сего предприятия весьма трудное, требует напряжения разума и довольно времени; да и тем паче, что не всегда я с автором одного мнения, по крайней мере в помянутых двух книгах. Для объяснения моих сомнений в великие нужно войти подробности; и я за нужное почел прежде всего предложить вам со всевозможною краткостию стезю, которою он шествовал во утверждении своих основательных мнений и во извлечении следствий. Цель моя была двояка при сем маловажном труде. Первая, чтобы тот, кто читал сию книгу и о ней уже размышлял, мог бы себе посредством сея выписки мгновенно представить всю цепь мыслей сочинителя, вторая, чтобы начинающий, имея сию выписку пред собою, не был бы от главного предмета отвлекаем окольными и прекрасными побочными разглагольствованьями сочинителя и не проронил нить умствования его, запутавшись во множестве деяний, им приводимых, где по действию заключается о причине. Вы можете судить, достигнул ли я моего предмета; мне же должно ожидать вашего суждения с почтением пребывания чрез всю жизнь мою наилучшей благодарностию

есмы и проч.

## Письмо 2

Сочинитель рассматривает разум, яко способность мыслить, которая по сему и долженствует быть качеством какого-либо существа, духовного или вещественного; ибо другие роды нам неизвестны. Сия задача, нерешенная до сего времени, не может иметь о себе доказательства; тем паче, что сочинитель, полагая все действия нашего разума в чувствовании, сие равно с тем и другим предположением согласуется. Но сие то и требует, мне кажется, доказательства. Почитая душу вещественною, рассмотрим, может ли она чувствовать. Я прежде всего замечу, что *вещество и тело*

суть два слова равного значения; ибо сказать можно, что всякое вещество есть тело и всякое тело есть вещество. А понеже пространство, заключающее в себе понятие неразделимости, непроницательность производящая, что два тела не могут в одно время занимать одного места, бездеятельность, качество тел, посредством которого они тщатся пребывать в настоящем положении, и следствие непременно самой их непроницательности суть три свойства тел необходимые; понеже тело заключает в себе понятие общее, и поелику то, что прилагаем роду, прилагаем всем единственностям, к нему принадлежащим, то следует, что все единственности, поелику суть тела, заключают в себе вышесказанные три качества. Следует, если бы начало чувствующее было телесно, то было бы протяженно и делимо. Следует, чтобы понимать можно было треть и четверть чувствования, что противоречит опытам.

В теле примечаем мы только движение, что не иное есть, как перемена места, быстротечность и направление. Но равное ли видим в нашей душе? И для того-то в каждом ударе чувств две вещи различать надлежит: телесную, или ударение в мозге; духовную, или понятие, в душе от того рождающееся. Кто захочет о сем сделать на самом себе примечание, познает оное непременно. Когда разум напряженно рассматривает некоторые предметы и рассуждает о понятиях, оными производимых, то он не замечает ни мало о ударе некоторых предметов на орудие слуха, хотя равное бывает их действие с теми, кои производят звук, и хотя орудие здраво. Причина же тому есть, что душа оному не внимает. Но сочинитель думает, что откровение таковой силы, какова, например, сила притяжания, не долженствует ли побуждать мыслить, что тела имеют еще некоторые свойства неизвестные, как то свойство чувствовать. В первом моем письме я намерен разыскать сие выражение.

Есмь и проч.

### *Письмо 3*

Все согласуются, что есть во всех телах небесных всеобщая тяжественность; что качество сие, очевидное в магните притяжением железа и стали и, по мнению утвердителей тяжественности, свойственное всякому телу, осязательное

становится только в весьма больших телах, в малых же совсем неощутительно. Истинная же причина, оную производящая, нам неизвестна, и философы доселе в оном несогласны. Одни утверждают с вероятностью, что некое тонкое и невидимое вещество действует на тела и их одного к другому устремляет, и они называются *устремителями*. Другие говорят, что есть в телах сила скрытая и сокровенная, между ими притяжательность производящая. Оные присносущность утверждают на всемогуществе божием и называются *притяжателями*. Но если бы притяжательность была действие всемогущества божия непосредственное, в существе тел неутвержденное: то можно бы сказать столь же справедливо, что бог тела движет непосредственно, что и было бы непрестанное чудо.

Если мы вообразим два тела без движения и среди их совершенную пустоту, то нелепо будет утверждать, что они могут сблизиться, или притянуть одно другое; ибо тела вследствие своей существенности тщатся пребывать в настоящем положении. Не можно приступить к противоположному мнению для того, что понимать неудобно причины, для чего тело недвижимое будет двигаться в ту, а не в другую сторону; еще же неудобопонятнее, что движущееся тело престаёт двигаться или пременяет направление или скорость. Итак, если достоверно, что всякое тело по существу своему сохраняет свое положение и что перемена в оном происходит токмо вследствие его непроницательности, то ясно, что тяжественность, то-есть сила, тело к центру направляющая, хотя нам неизвестная, не есть свойство в телах присносущное. Да и по мнению тех, которые притяжательность почитают силою, в веществе вкорененною, сила сия не в теле, над коим действует. Следует, поелику известны нам силы только двух родов, силы телесные, из непроницательности тел проистекающие, и силы духовные, существующие токмо в животных, то притяжательность долженствовала бы принадлежать к третьему роду сил, но ни к телесным ни к духовным. Но дабы утверждать сие, то надлежит непрекословно доказать бытие сих сил, и что сила притяжания не происходит из тонкого вещества, тело окружающего. Если бы единожды возможно было, что бы два тела притягивать могли друг друга и расстояние между ними не было бы наполнено тончайшим веществом, то существенность притяжательности была бы неоспорима. Но как сие

невозможно, то можно в том сомневаться или совсем отрицать.

Если же довольную имеем причину отметить силу протяжательную, то с лучшим основанием отрицать можем в вещественности свойство чувствовать. Но если верно, что вещественность чувствовать может, где найдем мы чувствующую соединенность или неразделимость? Присвоим ли оную каждой вещества частице или соборным телам? Или присвоим сию соединенность жидкостям и твердостям в сложных и в началах? Говорят: в природе нет опричь единственностей; но каковы они? Единственностию ли назовем камень или сложением единственностей? Чувствительное ли он вещество или содержит столько оных, сколько в нем песчинок? Если каждая начальная порошинка (атом) есть вещество чувственное, то как вообразить сие тесное сообщеие, от которого один чувствует себя в другом и столь совершенно, что оба суть один? Части чувствующие суть протяженны, но существо чувственное неразделимо, одно, всецело, или же ничто. Сии непреоборимые трудности с предыдущими причинами совокупно утверждают меня во мнении, что, познав вещественность протяженною и разделимою, надлежит удостовериться, что она чувствовать не может, ибо, утверждая противное, станешь присвоять одному существу свойства, одно другое исключают.

Есмь и проч.

#### *Письмо 4*

Сочинитель полагает быть в человеке двум силам страдательным, которых он признает производящими наш разум причинами. Первая, свойство принимать ударения внешних предметов, и сия есть телесная чувствительность. Другая, свойство хранить сделанное на чувствах ударение, называется память. Память, по мнению сочинителя, есть ни что иное как единое от орудий телесной чувствительности и чувствование продолженное, но ослабевшее. То, что в нас чувствует, говорит он, то непременно и воспоминает. Се доказательство его.

Когда я воспоминаю образ дуба, тогда внутренние мои органы находятся почти точно в таком же положении, в каком они были, когда дуб сей представлялся моему зрению. Таковое положение органов производит чувствование.

Следовательно, вспоминать есть чувствовать. Сие заключение для меня не кажется убедительным, и здесь доказательство основано на том, что в задаче. Положим, что воспоминание образ дуба, внутренние мои органы в равном положении находятся с тем, в каком они были видя сей дуб; однако же сим вопросом не удовлетвориться, для чего и как, и довод недостаточен; ибо ясно, что здесь не заключает сочинитель одинаковых действий на одинаковые причины, ибо действия суть равны. Когда дуб находился пред моими глазами, тогда внутренние мои органы, позабытые лучами, исходящими от дуба, образ его начертывали в глубине моего глаза на нервной сети, совокупляющейся с зрящим (оптическим) нервом, который есть продолжение мозга, и чрез него зрление доходило до мозга, где душа извлекала понятие. Но удаленный внешнего предмета, что действует на мои органы? И если бы при воспоминании внутренние мои органы были в таковом же положении, как при ударе предметов на чувства, то, не имея ничего пред глазами, я видел бы солнце. Следственно, понятие напоминовенное совершенно разнствует от понятия, возбуждаемого предстоящим предметом. Изъяснение памяти, что она есть чувствование продолженное, но ослабшее, для меня не удовлетворительно. Ибо, или чувствование продолжается безостановочно, или когда-либо останавливается и возобновляется. Если бы бывало первое, то бы понятия нам были присутственны непрестанно, чего, однако же, нет; ибо тщетно иногда стараемся возобновить иные понятия, которые мы имели прежде; иногда же совсем их позабываем, но обыкновенно забываем их наполовину. Если бы ударение терялося совсем, как то случается; как бы вещественность могла вспоминать, что было на нее ударение в то время, когда оно на нее бывает вновь? Говоря, что память ни что иное есть, как чувствование продолженное, но ослабшее, все присвоим чувствительности, но чувствительность производится движением нервов. Сие движение может умножиться и уменьшиться по мере удареия сильного или слабого всех частей предмета; следовало бы, что когда вспоминаю о солнце, то же бы было, что я вижу луну, коея свет 200 000 раз слабее света солнечного. Но видеть луну теперь и вспоминать только о солнце суть две совсем разные вещи. А потому ясно, что понятия чувственные представляются нам посредством чувств; напоминовенные же производим мы сами по образу.

понятий чувственных, поелику мы об оных воспоминаем. Понимаю я довольно ясно, что понятия, памятию произведенные, суть таковы же, как и настоящие: но сие относится к душе. Что же касается до тела, то всякое настоящее памятию сопряжено с некоторым движением в мозгу, чего не бывает с произведенным памятию.

Признаться надлежит, что истинный источник памяти от нас скрыт совершенно. Ведаем мы, что и тело в оном участвует; но и то верно, что возобновление понятий есть собственное действие души.

Письмо сие окончу я различием, сделанным в воспоминании. Оно двояко. 1) Сила сохранять на несколько времени понятие настоящее. *Локк* сие называет *рассмотрение*. 2) Сила возобновлять и оживлять в разуме понятия, которые, родясь в оном, исчезли и из оного совсем удалилися. Сие собственно назвать можно памятию.

Есмь и проч.

### Письмо 5

Сочинитель, разыскивая прилежно действия разума человеческого, ограничивает их на способность замечать сходства и различия, приличность и разнообразность предметов между собою. Слова всех языков, которые почест можно собранием всех мыслей человеческих, подтверждают сию истину, для того, что они представляют нам одни токмо образы внешних предметов, отношений их одного к другому и отношение их к нам. Разум человеческий превыше познания сих отношений не возносится и черты сея не преступает. Но и суждение ничто иное есть, как самое сие усмотрение или изъявление оного: то и следует, что все действия разума суть токмо суждения. Но и судить есть ничто иное, как усматривать сходство и разность, принадлежность и неприличность наших чувствований и понятий. Следственно, поелику сила сия ничто иное есть, как телесная чувствительность, то и судить есть чувствовать; следственно, все действия разума суть чувствования.

Рассуждение сие нахожу я весьма заключительным. Все предложения в оном ясны и основаны на истине и опытах, одно исключая, то-есть, что способность сравнивать понятия наши и чувствования есть телесная чувствительность. Сие требует рассмотрения, и поелику оно есть главное его предложение, то позвольте мне оное раздробить.

Я за доказанное приемлю, что все действия нашего разума состоят в способности усматривать сходствия и несходствия, принадлежности и разнообразия в предметах. Теперь доказать должно, что для сей способности нужна только телесная чувствительность.

Нет ни малого в том сомнения относительно познания различий между предметами. Получив два чувствования или два понятия, не могу не чувствовать, что то, что чувствую в одном, в другом того не чувствую; или сказать яснее, что одно ударение иначе душу возбуждает, нежели другое. Чувствуя сие, чувствую их различие. Следует, что для усмотрения различия между предметами нужно токмо чувствовать. Но можно ли то же сказать о их сходствии? Определим, что значит сие слово. Что назовем сходствие одного предмета с другим? Сходствие существенное или случайное бывает, когда части, один предмет составляющие, равнородны или равнообразны другому; или когда части одного предмета суть во всем одинаковы с частями другого предмета. Если сие верно, то для познания сего нужна одна чувствительность телесная. Ибо, имея два чувствования, разуму присутственные, усматриваю непременно, как они ударяют на мои чувства, одинаким ли образом или разнообразно; следует, оное усмотреть есть чувствовать.

Принадлежностью называем, когда один предмет к другому пристоен, приятен, полезен, или нужен, или когда таковым нам кажется (в дальнейшее изъяснение сих названий я не вхожу, дабы вместо объяснения их не затмить). Но опыты доказывают, что разные чувствования разнообразно на душу действуют. Иные рассматривает она с удовольствием, на другие взирает с отвращением; и посредством того же опыта мы можем определить принадлежность или разность между предметами. Я из того заключаю, что судить есть то же, что чувствовать.

Для изъяснения сего рассуждения я постараюсь отдалить все возражения, которые против него сделать можно.

1) Если душа есть существо страдательное, то или каждый предмет она чувствовать будет раздельно, или будет чувствовать целый предмет хотя сложный. Но, не имея силы их сблизить, она сравнения между ими сделать не может, не может о них судить. Что значит весь сей вздор? Каждый предмет будет она чувствовать особенно, то-есть,

что одно чувствование не будет другим, или, что одно чувствование не существует в другом, равно как одно тело не может занимать одного места с другим в одно время. Весь предмет будет чувствуем, то-есть оба чувствования присутственны будут разуму. Следует, что душа не будет иметь силы их сравнить и что не может судить о их смежности. Но из сказанного мною можно заключить совсем противное и сказать: следовательно, не будет ей нужды их сближать, следовательно, она будет судить об отношениях двух чувствований или иметь их присутственными разуму, то-есть будет их чувствовать; но то и другое равно, как то доказано прежде. Но говоря, что душа не имеет силы сближать чувствования одного с другим, если разумеем, что душа не властна устремлять или отвращать своего внимания, продолжать или окончать своего размышления, тогда задача становится важнее и касается до следующей: свободны ли мы или нет? О сем я с вами в особом письме беседовать буду.

2) Понятия уравнительные, больший, меньший; понятия числительные, один, два; понятия отвлеченные, добродетель, красота, конечно, не суть чувствования, хотя разум производит их тогда, когда я чувствую. Дабы удостовериться о слабости сего рассуждения, войдем в некоторые подробности. Что может быть простее понятия, что отношение ничто иное есть, как чувствование или выражение чувствования, произведенного во мне рассмотрением двух предметов. Я сооружаю понятие великого; но оно не само по себе, а уравнительное; следственно, кто имеет понятие великого, тот неминуемо имеет понятие малого. Следует, если имею понятие о большой палке и о малой вдруг, то такое нужно сравнение, дабы чувствовать, что большая палка больше маленькой. Но как получил я понятие о большем и малом? Получив два разные удара и примечая или чувствуя, что один предмет имеет больше частей, нежели другой, я назвал один большим, а другой малым; хотя бы назвал их иначе, вещь в самом деле не переменялась бы. Но как составляем мы численные понятия? Замечая различия чувствований. Например, цветок ударяет на орудие моего обоняния, я чувствую сие ударение и сохраняю его посредством памяти. Другой цветок производит равное ударение, я и оное чувствую. Но, сохранив прежнее ударение, теперь чувствую не токмо ударение настоящее, но чувствую также,



что чувствовал подобное. Чувствовать, что было во мне подобное чувствование, есть то же, что иметь понятие о двух чувствованиях, и так далее. Разум следует той же стезе при составлении общих понятий. Ибо очевидно, если ударение разных предметов на мои чувства одинаково, то невозможно мне не чувствовать, что чувствование мое при воззрении какого-либо предмета есть подобное тому, которое имел, видя другой предмет. Но изображение сего чувствования есть составление понятия общего, или отвлеченного, которое существовать будет токмо в моей голове и которое, однакоже, чувствовал я в самом деле.

3) Если бы в употреблении наших чувств мы были токмо страдательны, то не было бы между нами никакого сообщения, не можно было мне знать, что тело, которое я осязаю, и тело, которое вижу, есть то же. Или мы ничего вне себя чувствовать не будем, или будем чувствовать всегда пять существ отделенно, коих единственности нам приметить невозможно. Возражение сие весьма сильно, в том признаюсь. Но приняв, что в употреблении наших чувств мы действующие (хотя сие мне кажется нелепым, ибо не быть в употреблении чувств страдательным, есть то же, что бы быть властну не чувствовать того, что чувствую), легче ли можем понять сообщение между чувств и как душа замечает единственность понятия. Представь себе слепого, узнавшего опытами, каким образом шар и угольник ударяют на его осязание. Слепой сей получив зрение не возможет, конечно, посредством одного различить шар от угольника; ибо если чувства его ударяемы, например, шаром известным образом, не следует из того, чтобы и глаза его ударяемы были равномерно. Следственно, опыты нас тому учат, следственно, рассуждение, следственно, и сие есть чувствовать. Хотя совершенного уверения о единственности вещи в нас нет, но для чего тому удивляться, если доводам идеалистов мы опричь брани ничего противопоставить не можем.

4) Наконец, последнее возражение есть сие: если бы суждение об отношениях было простое чувствование и происходило бы единственно от предмета, то суждения мои никогда не были бы ложны, ибо то не ложно, что когда чувствую, то чувствую. Но на сие буду ответствовать в следующем письме, следуя стезям сочинителя, который доказывает, что все наши заблуждения от наших страстей и от

неведения происходят. И если сие последнее возражение достаточно будет опровергнуто, то излишнее будет, да и нелепо утверждать, что сила суждений не есть свойство чувствовать.

Есмь и проч.

*П р и м е ч а н и е.* Сочинения Федора Васильевича суть токмо в переводе. Первое и последнее из оных писал он на французском языке, прочее же на немецком.

---

**БЕСЕДА**  
**О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ СЫН ОТЕЧЕСТВА**



**Н**е все рожденные в отечестве достойны величественного наименования сына отечества (патриота). Под игом рабства находящиеся не достойны украшаться сим именем. Поддержишь чувствительное сердце, не произноси суда твоего на таковые изречения, доколе стоиши при праге. Вступи и виждь! Кому неизвестно, что имя сына отечества принадлежит человеку, а не зверю или скоту, или другому бессловесному животному? Известно, что человек существо свободное, поелику одарено умом, разумом и свободною волею; что свобода его состоит в избрании лучшего, что сие лучшее познает он и избирает посредством разума, постигает пособием ума и стремится всегда к прекрасному, величественному, высокому. Все сие обретает он в едином последовании естественным и откровенным законам, инако божественными называемым, и извлеченным от божественных и естественных гражданским или общежительным. Но в ком заглушены сии способности, сии человеческие чувствования, может ли украшаться величественным именем сына отечества? Он не человек, но что? он ниже скота, ибо и скот следует своим законам, и не примечено еще в нем удаления от оных. Но здесь не касается рассуждение о тех злосчаст-

нейших, кои коварство или насилие лишило сего величественного преимущества человека, кои соделаны чрез то такими, что без принуждения и страха ничего уже из таких чувствований не производят, кои уподоблены тяглому скоту, не делают выше определенной работы, от которой им освободиться нельзя; кои уподоблены лошади, осужденной на всю жизнь возить телегу, и не имеющие надежды освободиться от своего ига, получая равные с лошадью воздаяния и претерпевая равные удары; не о тех, кои не видят конца своему игу, кроме смерти, где кончатся их труды и их мучения, хотя и случается иногда, что жестокая печаль, объяв дух их размышлением, возжигает слабый свет их разума и заставляет их проклинать бедственное свое состояние и искать оному конца; не о тех здесь речь, кои не чувствуют другого, кроме своего унижения, кои ползают и движутся во смертном сне (летаргия), кои походят на человека одним токмо видом, в прочем обременены тяжестью своих оков, лишены всех благ, исключены от всего наследия человеков, угнетены, унижены, презренны, кои не что иное, как мертвые тела, погребенные одно против другого, работают необходимое для человека из страха; им ничего кроме смерти не желательно, и коим наималейшее желание заказано, и самые маловажные предприятия казнятся; им позволено только расти, потом умирать; о коих не спрашивается, что они достойного человечества сделали? какие похвальные дела, следы прошедшей их жизни, оставили? какое добро, какую пользу принесло государству сие великое число рук? — Не о сих здесь слово; они не суть члены государства, они не человеки, когда суть не что иное, как движимые мучителем машины, мертвые трупы, тяглый скот! Человек, человек потребен для ношения имени сына отечества! Но где он? где сей украшенный достойно сим величественным именем? Не в объятиях ли неги и любострастия? Не объятый ли пламенем гордости, любоначалия, насилия? Не зарытый ли в скверно-прибыточестве, зависти, зловожденении, вражде и раздоре со всеми даже и теми, кои одинаково с ним чувствуют и к одному и тому же устремляются? или не погрязший ли в тину лени, обжорства и пьянства? Вертопрах, облетающий с полудня (ибо он тогда начинает день свой) весь город, все улицы, все дома для бессмысленнейшего пустоглаголанья, для обольщения целомудрия, для заражения благодравия, для уловления

простоты и чистосердечия, соделавший голову свою мучным магазином, брови вместилищем сажки, щеки коробками белил и сурика, или лучше сказать, живописною палитрою, кожу тела своего вытянутою барабанною кожею, похож больше на чудовище в своем убранстве, нежели на человека, и его распутная жизнь, знаменуемая смрадом, из уст и всего тела происходящим, задушается целою аптекою благовонных опрыскиваний, словом, он модный человек, совершенно исполняющий все правила щегольской большого света науки; он ест, спит, валяется в пьянстве и любострастии, несмотря на истощенные силы свои; переодевается, мелет всякий вздор, кричит, перебегает с места на место, кратко, он щеголь. Не сей ли есть сын отечества? — или тот поднимающий величавым образом на твердь небесную свой взор, попирающий ногами своими всех, кои находятся пред ним, терзающий ближних своих насилием, гонением, притеснением, заточением, лишением звания, собственности, мучением, прельщением, обманом и самым убийством, словом, всеми, одному ему известными, средствами раздирающий тех, кои осмелятся произносить слова: человечество, свобода, покой, честность, святость, собственность и другие сим подобные? — потоки слез, реки крови не токмо не трогают, но услаждают его душу. Тот не должен существовать, кто смеет противоборствовать его речам, мнению, делам и намерениям! Сей ли есть сын отечества? или тот, простирающий объятия свои к захвачению богатства и владений целого отечества своего, а ежели бы можно было, и целого света, и который с хладнокровием готов отъять у злосчастнейших соотечественников своих и последние крохи, поддерживающие унылую и томную их жизнь, ограбить, расхитить их пылинки собственности; который восхищается радостью, ежели открывается ему случай к новому приобретению; пусть то заплачено будет реками крови собратий его, пусть то лишит последнего убежища и пропитания подобных ему сочеловеков, пусть они умирают с голоду, стужи, зноя; пусть рыдают, пусть умерщвляют чад своих в отчаянии, пусть они отваживают жизнь свою на тысячи смертей; все сие не поколеблет его сердца; все сие для него не значит ничего; он умножает свое имение, а сего и довольно. Итак, не сему ли принадлежит имя сына отечества? Или не тот ли, сидящий за исполненным произведениями всех четырех стихий столом, коего услаждению вкуса

и брюха жертвуют несколько человек, отъятых от служения отечеству, дабы по пресыщении мог он быть перевален в постель и там бы спокойно уже заниматься потреблением других произведений, какие он вздумает, пока сон отнимет у него силу двигать челюстями своими? Итак, конечно, сей, или же который-нибудь из вышесказанных четырех? (ибо пятого сложения толь же отдельно редко найдем). Смесь сих четырех везде видна, но еще не виден сын отечества, ежели он не в числе сих! Глас разума, глас законов, начертанных в природе и сердце человеков, не согласен наименовать вычисленных людей сынами отечества! Самые те, кои подлинно таковы суть, произнесут суд (не на себя, ибо они себя не находят такими), но на подобных себе, и приговорят исключить таковых из числа сынов отечества; послику нет человека, сколько бы он ни был порочен и ослеплен собою, чтобы сколько-нибудь не чувствовал правоты и красоты вещей и дел.

Нет человека, который бы не чувствовал прискорбия, видя себя уничижаема, поносима, порабощаема насилием, лишаема всех средств и способов наслаждаться покоем и удовольствием и не обретая нигде утешения своего. Не доказывает ли сие, что он любит *честь*, без которой он, как без души. Не нужно здесь изъяснять, что сия есть истинная честь, ибо ложная, вместо избавления, покоряет всему вышесказанному и никогда не успокоит сердца человеческого. Всякому врождено чувство истинной чести; но освещает оно дела и мысли человека по мере приближения его к оному, следуя светильнику разума, проводящему его сквозь мглу страстей, пороков и предубеждений к тихому ее, чести то-есть, свету. Нет ни одного из смертных, толико отверженного от природы, который бы не имел той вложенной в сердце каждого человека пружины, устремляющей его к люблению *чести*. Всяк желает лучше быть уважаем, нежели поносим, всяк устремляется к дальнейшему своему совершенствованию, знаменитости и славе: как бы ни силился ласкатель Александра Македонскаго, Аристотель, доказывать сему противное, утверждая, что сама природа расположила уже род смертных так, что одна и притом гораздо большая часть оных должна непременно быть в рабском состоянии и, следовательно, не чувствовать, что есть *честь*? а другая в господственном, потому что немногие имеют благородные и величественные чувствования. —

Не спорно, что гораздо знатнейшая часть рода смертных погружена во мрачность варварства, зверства и рабства; но сие нисколько не доказывает, что человек не рожден с чувствованием, устремляющим его к великому и к совершенствованию себя и, следовательно, к люблению истинной славы и *чести*. Причиною тому или род провозжаемой жизни, обстоятельности, или в коих быть принуждены, или малоопытность, или насилие врагов праведного и законного возвышения природы человеческой, подвергающих оную силою и коварством слепоте и рабству, которое разум и сердце человеческое обессиливает, налагая тягчайшие оковы презрения и угнетения, подавляющего силы духа вечного. Не оправдывайте себя здесь, притеснители, злодеи человечества, что сии ужасные узы суть порядок, требующий подчиненности. О, ежелиб вы проникли цепь всея природы, сколько вы можете, а можете много! то другие бы мысли вы ощутили в себе; нашли бы, что любовь, а не насилие содержит толь прекрасный в мире порядок и подчиненность. Вся природа подлежит оному, и где оный, там нет ужасных позорищ, извлекающих у чувствительных сердец слезы сострадания и при которых истинный друг человечества содрогается. Что бы такое представляла тогда природа, кроме смеси нестройной (хаоса), ежели бы лишена была оной пружины? Поистине она лишилась бы величайшего способа как к сохранению, так и совершенствованию себя. Везде и со всяким человеком рождается оная пламенная любовь к снисканию *чести* и похвалы у других. Сие происходит из врожденного человеку чувствования своей ограниченности и зависимости. Сие чувство толь сильно, что всегда побуждает людей к приобретению для себя тех способностей и преимуществ, посредством которых заслуживается любовь как от людей, так и от высочайшего существа, свидетельствуемая услаждением совести; а заслужив других благосклонность и уважение, человек учиняется благонадежным в средствах сохранения и совершенствования самого себя. И если сие так, то кто сомневается, что сильная оная любовь к *чести* и желание приобрести услаждение совести своей с благосклонностию и похвалою от других есть величайшее и надежнейшее средство, без которого человеческое благосостояние и совершенствование быть не может? Ибо какое тогда останется для человека средство преодолеть те трудности, кои неизбежны на пути,

ведущем к достижению блаженного покоя, и опровергнуть то малодушное чувство, кое наводит трепет при воззрении на недостатки свои? Какое есть средство к избавлению от страха пасть навеки под ужаснейшим бременем оных, ежели отъять, во-первых, исполненное сладкой надежды прибежище к высочайшему существу, не яко мстителю, но яко источнику и началу всех благ; а потом к подобным себе, с которыми соединила нас природа ради взаимной помощи и которые внутренно преклоняются к готовности оказывать оную и, при всем заглушении сего внутреннего гласа, чувствуют, что они не должны быть теми святотатцами, кои препятствуют праведному человеческому стремлению к совершенствованию себя? Кто посеял в человеке чувство сие искать прибежища? — Врожденное чувство зависимости, ясно показывающее нам оное двойственное к спасению и удовольствию нашему средство. И что, наконец, побуждает его ко вступлению на сии пути? что устремляет его к соединению с сими двумя человеческого блаженства средствами и к заботе нравиться им? — Поистине не что иное, как врожденное пламенное побуждение к приобретению для себя тех способностей и красоты, посредством которых заслуживается благоволение божие и любовь собратии своей, желание учиниться достойным их благосклонности и покровительства. Рассматривающий деяния человеческие увидит, что се одна из главнейших пружин всех величайших в свете произведений! И се начало того побуждения к люблению *чести*, которое посеяно в человеке при начале сотворения его! се причина чувствования того услаждения, которое обыкновенно сопряжено всегда с сердцем человека, как скоро изливается на оное благоволение божие, которое состоит в сладкой тишине и услаждении совести, и как скоро приобретает он любовь подобных себе, которая обыкновенно изображается радостью при воззрении его, похвалами, восклицаниями. Се предмет, к коему стремятся истинные человеки и где обретают истинное свое удовольствие! Доказано уже, что истинный человек и сын отечества есть одно и то же; следовательно, будет верный отличительный признак его, ежели он таким образом *честолюбив*.

Сим да начинает украшать он величественное наименование сына отечества, монархии. Он для сего должен почитать свою совесть, возлюбити ближних, ибо единою любовью



приобретается любовь; должно исполнять звание свое так, как повелевает благоразумие и честность, не заботясь нимало о воздаянии, почести, превозношении и славе, которая есть сопутница, или паче тень, всегда следующая за добродетелию, освещаемую не вечерним солнцем правды; ибо те, которые гоняются за славою и похвалою, не только не приобретают для себя оных от других, но паче лишаются.

Истинный человек есть истинный исполнитель всех предуставленных для блаженства его законов; он свято повинуется оным. Благородная и чуждая пустосвятства и лицемерия скромность сопровождает все чувствования, слова и деяния его. С благоговением подчиняется он всему тому, чего порядок, благоустройство и спасение общее требуют; для него нет низкого состояния в служении отечеству; служа оному, он знает, что он содействует здравоносному обращению, так сказать, крови государственного тела. Он скорее согласится погибнуть и исчезнуть, нежели подать собою другим пример неблагонавия, и тем отнять у отечества детей, кои бы могли быть украшением и подпорою оною; он страшится заразить соки благосостояния своих сограждан; он пламенеет нежнейшею любовию к целостности и спокойствию своих соотчичей; ничего столько не жаждет зреть, как взаимной любви между ними; он возжигает сей благотворный пламень во всех сердцах; не страшится трудностей, встречающихся ему при сем благородном его подвиге; преодолевает все препятствия, неутомимо бдит над сохранением честности, подает благие советы и наставления, помогает несчастным, избавляет от опасностей заблуждения и пороков, и ежели уверен в том, что смерть его принесет крепость и славу отечеству, то не страшится пожертвовать жизнью; если же она нужна для отечества, то сохраняет ее для всемерного соблюдения законов естественных и отечественных; по возможности своей отвращает все, могущее запятнать чистоту, и ослабить благонамеренность оных, яко пагубу блаженства, и совершенствование соотечественников своих. Словом, он *благонравен!* Вот другой верный знак сына отечества! Третий же и, как кажется, последний отличительнейший знак сына отечества, когда он *благороден*. Благороден же есть тот, кто учинил себя знаменитым мудрыми и человеколюбивыми качествами и поступками своими; кто сияет в обществе разумом и добродетелию и, будучи воспламенен истинно мудрым любочестием, все силы

и старания свои к тому единственно устремляет, чтобы, повинаясь законам и блюстителям оных, придерживающим властям, как всего себя, так и все, что он ни имеет, не почитать иначе, как принадлежащим отечеству, употреблять оное так, как вверенный ему залог благоволения соотчичей и государя своего, который есть отец народа, ничего не щадя для блага отечества. Тот есть прямо благороден, которого сердце не может не трепетать от нежной радости при едином имени отечества и который не иначе чувствует при том воспоминании (которое в нем непрестанно), как бы то говорено было о драгоценнейшей всего на свете его части. Он не жертвует благом отечества предрассудкам, кои мечутся, яко блистательные, в глаза его; всем жертвует для блага оного: верховная его награда состоит в добродетели, то есть в той внутренней стройности всех склонностей и хотений, которую премудрый творец вливает в непорочное сердце и которой в ее тишине и удовольствии ничто в свете уподобиться не может. Ибо истинное *благородство* есть добродетельные поступки, оживотворяемые истинною честью, которая не инде находится, как в непрерывном благотворении роду человеческому, а преимущественно своим соотечественникам, воздавая каждому по достоинству и по предписуемым законам естества и народоправления. Украшенные сими единственно качествами как в просвещенной древности, так и ныне почтены истинными хвалами. И вот третий отличительный знак сына отечества!

Но сколь ни блистательны, сколь ни славны, ни восхитительны для всякого благомыслящего сердца сия качества сына отечества, и хотя всяк сроден иметь оные, но не могут, однакож, не быть не чисты, смешаны, темны, запутаны, без надлежащего воспитания и просвещения науками и знаниями, без коих наилучшая сия способность человека удобно, как всегда то было и есть, превращается в самые вреднейшие побуждения и стремления и наводняет целые государства злочестиями, беспокойствами, раздорами и неустойством. Ибо тогда понятия человеческие бывают темны, сбивчивы и совсем химерические. Почему прежде, нежели пожелает кто иметь помянутые качества истинного человека, нужно, чтобы прежде приучил дух свой к трудолюбию, прилежанию, повиновению, скромности, умному состраданию, к охоте благотворить всем, к любви отечества, к желанию подражать великим в том примерам також к любви

к наукам и искусствам, сколько позволяет отправляемое в общежитии звание; применился бы к упражнению в истории и философии или любомудрии, не школьном, для словопрения единственно обращенном, но в истинном, научающем человека истинным его обязанностям; а для очищения вкуса возлюбил бы рассматривание живописи великих художников, музыки, изящества, архитектуры или зодчества.

Весьма те ошибутся, которые почтут сие рассуждение тою платоническою системою общественного воспитания, которой события никогда не увидим, когда в наших глазах род такового точно воспитания и на сих правилах основанного, введен богомудрыми монархами, и просвещенная Европа с изумлением видит успехи оного, восходящие к предположенной цели исполненскими шагами!

О ЧЕЛОВЕКЕ,  
О ЕГО  
СМЕРТНОСТИ  
И  
БЕССМЕРТИИ





---

Le temps présent est gros de  
l'avenir. *Leibnitz* <sup>1</sup>.

## КНИГА ПЕРВАЯ

НАЧАТО 1792 ГОДА ГЕНВАРЯ 15.  
ИЛИМСК.

*Друзьям моим*

**Н**ечаянное мое преселение в страну отдаленную, разлучив меня с вами, возлюбленные мои, отъемля почти надежду видеться когда-либо с вами, побудило меня обратить мысль мою на будущее состояние моего существа, на то состояние человека, когда разрушится его состав, прервется жизнь и чувствование, словом, на то состояние, в котором человек находиться будет, или может находиться по смерти. Не удивляйтесь, мои возлюбленные, что я мысль мою несусь в страну неведомую и устремляюсь в область гаданий, предположений, систем; вы, вы тому единственною виною. В необходимости лишиться, может быть, навсегда надежды видеться с вами, я уловить хочу, пускай не ясность и не очевидность, но хотя правдоподобие или же токмо единую возможность, что некогда, и где — не ведаю, облобызаю паки друзей моих, и скажу им (каким языком — теперь не понимаю): *люблю вас попрежнему!* А если бы волшебная некая сила пренесла меня в сие мгновение в обитаемую вами храмину, я бы прижал вас к моему сердцу; тогда все будущее и самая вечность исчезли бы, как сон.

Обратим взор наш на человека; рассмотрим самих себя; проникнем оком любопытным во внутренность нашу и

потщимся из того, что мы есть, определить или, по крайней мере, угадать, что мы будем или быть можем; а если найдем, что бытие наше, или, лучше сказать, наша единственность, сие столь чувствуемое я продлится за предел дней наших на мгновение хотя едино, то воскликнем в радости сердечном: мы будем паки совокупны; мы можем быть блаженны; мы будем! — Будем?.. Помедлим заключением, любезные мои! сердце в восторге нередко ввергало разум в заблуждение.

Прежде нежели (как будто новый некий провидец) я прореку человеку, что он будет или быть может по разрушении тела его, я скажу, что человек был до его рождения. Изведши его на свет, я провлеку его полегоныку чрез терние житейское, и дыхание потом исторгнув, ввергну в вечность. Где был ты, доколе члены твои не образовались; прежде нежели ты узрел светило дневное? что был ты, существо, всесилию и всеведению сопричастное в бодрственные твои лета? Измерял ли ты обширность небесных кругов до твоего воплощения? или пылинка, математической почти точке подобная, носился в неизмеримости и вечности, теряясь в бездне вещества? — Вопросы дерзновенные, возлюбленные мои! но вопросы, подлежащие моему слову.

Удалим от нас все предрассудки, все предубеждения и, водимые светильником опытности, постараемся, во стезе, к истине ведущей, собрать несколько фактов, кои нам могут руководствовать в познании естественности. Не во внутренность ее проникнуть настоит нам возможность, но разве уловить малую нить, для руководствования в постижении постепенного ее шествия, оставляя существам, человека превышающим, созерцать ее внутренность и понимать всю связь ее деяний. Но сколь шествие в испытании природы ни препинаемо препятствиями разнородными, разыскатель причину вещи, деяния или действия не в воображении отыскивать долженствует, или, как древний гадатель, обманывая сам себя и других, не на вымысле каком-либо основать ее имеет; но, разыскивая, как вещь, деяние или действие суть, он обнаружит тесные и неясственные сопряжения их с другими вещами, деяниями или действиями; сблизит факты однородные и сходственные, раздробит их, рассмотрит их сходственности, и, раздробляя паки проистекающие из того следствия, он, поступая от одного следствия к другому, достигнет и вознесется до об-

щего начала, которое, как средоточие истины, озарит все стези, к оной ведущие.

Поищем таковых в природе фактов, до предрождественного существования человека касающихся, и обратим внимание наше на них.

Человек зачинается во чреве жены. Сие есть естественное происшествие. Он зачинается во чреве жены; в нем растет и, дозрев по девятимесячному в утробе матерней пребывании, исходит на свет, снабженный всеми органами чувств, глагола и разума, которые усовершенствования достигать могут постепенно; сие всем известно. Но деяние пророждения, то-есть образ, как зародыш делается, растет, совершенствуется, есть и пребывает доселе таинством, от проницательнейших очей сокровенным. Любопытство наше в познании сего таинства удовлетворяем по возможности и не токмо могли видеть, как постепенно животное растет по зачатию своем, но счастливые случаи, любопытством неутомимым соглядаемые, послужили наукам в пользу, и в России имеем прекрасное собрание растущих зародышей<sup>2</sup> от первого почти дня зачатия даже до рождения. Каким же образом происходит зачатие и питание или приращение, остается еще вопросом, который в одних токмо догадках доселе имел решение. Но при сем, во мраке погруженном, деянии естественном можем провидеть нечто поучительное и луч слабый на испытание изливающее. Мы видим, что семя, от которого зародыш зачинается, в некоторых животных существует в матери до плододения; но для развержения, для рощения бессильно. Сие в животных пернатых видим ясно. Яице есть сие семя, и до плододения содержит в себе те же, существенность его составляющие, части — белок и желток. Но если мы обратим взоры наши на существа, единою степенью на лестнице творений от животных отстоящие; если мы рассмотрим земную собратию нашу, растения, отличающуюся от животных лишением местоменяющейся способности, и следствием может быть оной способности чувствования, — то мы увидим ясно, что для произведения высочайшего кедра, сосны или дуба равно нужно зерно или семя, как для произведения малейшей травы, на дерне стелющейся, или по голом камени растущего мха.

Итак, о растениях и о птицах можно не токмо сказать с вероятностию, но почти с убедительною ясностию, что семя существует не токмо до зачатия, но и до плододения. Сие



однакоже для тех и для других необходимо, и самка без самца \* семя дает бесплодное. Заключение вывода по правилу сходственности, сказать можно то же о всех животных и о самом человеке. Итак, заключим, что человек преджил до зачатия своего, или сказать правильнее, семя, содержащее будущего человека, существовало; но жизни, то-есть способности расти и образоваться лишено. Следует, что нужна причина, которая воззовет его к жизни и к бытию действительному; ибо бытие без жизни хотя не есть смерть, но полуничтожество и менее почти смерти.

Восходя таким образом от факта известного до вероятного, можно почти безошибочно сказать, что человек существует в жене до зачатия своего, но в полуничтожном своем виде; и нужна необходимо плододетельная влажность мужская, чтобы воззвать семя от бездеятельности к деянию, от полуничтожества к жизни.

Семя мужское есть средство, коим семя жены становится зародыш, как то из предыдущего следует: оно дает жизнь. И если нужно, чтобы бездейственная вещественность для получения движения имела начальное ударение, то для дания жизни нужно также ударение плододетельного сока. Если мы рассмотрим сопутствующие деянию зарождения обстоятельства в животных (даже в растениях сие приметно, хотя не столь явственно), а паче в человеке, то ударение, которое мужеский плододетельный сок впечатлевает семени, не может почтяться простым или единственно механическим. Сверх того, что сок сей имеет свойство весьма подстрекающее и способное возбуждать раздраженность семени женского, что он его пронизает, кормит и образует; но воззри, до коликой степени возвышенна раздраженность и чувственность во время плотского соития; воззри, колико живоносным веселием оно сопутствует; измерь, если можешь, на весах естественности и сие веселие и притяжание плотское и любовь. Или сия так же естественна и в естественности имеет свое начало; но как пища, поглощенная желудком, превратится в питательное молоко или хил, умножа груду крови в животном, протекает неисчислимыми и неудобозримыми ходами, и очищаяся в

---

\* Славный естествоиспытатель Линней <sup>3</sup> привел в ясность различие полов в растениях и плододение их посредством цветочной пыли, без коей цвг в плод превратиться не может.

нечисленных железах, достигает самого мозга, возобновляет его состав и, протекши и прешед тончайшие его каналы, производит нервную жидкость, едва понимаемую, но никогда не зренную. Но сего мало. Кусок хлеба, тобою поглощенный, превратится в орган твоея мысли. Тако любовь, прияв начало в телесности, в действии своем столь же далеко отстоит от начала своего, как кусок снедаемый от действия мозга в мысленной силе. О, ты, вкушавший в объятиях возлюбленной супруги кратчайшее, но величайшее веселие на земли, на тебя ссылаюся; вещай, не казалось ли тебе, что се конец бывает твоея жизни! Я не сладострастную здесь картину начертать намерен, но действие. Раздраженность всех частей тела, ею одаренных, чувствительность тех, коим она свойственна \*, возвышаются в сию минуту до такой степени, что кажется, тут предел бывает жизни. И действительно, были примеры, что люди в соитии жизни лишались \*\*. Иначе быть тому нельзя; се настоеит прехождение от ничтожества к бытию, се жизнь сообщается. Не удивительно, что после соития слабость приметна в животном: он уделил жизни своея, коея нужное количество для своего состава он паки приобретет пищею, извлекая жизнь из того, чем питается: ибо все, его питающее, есть живо.

Но в сем безжизненном состоянии человека, когда он не есть еще зародыш, но семя или зерно, может ли он почесться человеком, может ли причтен быть к тварям разумным? Вопрос самой пустой и не стоящий ответа, если бы за ним не следовал другой, более казистый и вид сомнения имеющий. Что есть человек, и где он есть до произведения семени, из коего родиться имеет? Ибо, если можем понять, что семя предсуществует зачатию, то оно предсуществует в самке известной; но где оно было, доколе в ней не образовалось в виде семени?

Дерзновенный, ты хочешь взойти до бесконечности; но воззри на свое сложение; ты едва от земли отделен, и если бы око твое не водило тебя до пределов, солнечной системе смежных, и мысль твоя не летала в преддверие вечности, мог ли бы ты чем-либо отличен быть от пресмыкающихся?

---

\* Славный Галлер <sup>4</sup> доказал, что иные части чувственны, другие только раздражительны.

\*\* Не говоря о других, можно в пример привести известного живописца Рафаэля.

Вооружай зрение твое телескопами, за дальнейшие неподвижные звезды досягающими; вооружай его микроскопами, в миллионы миллионов раз увеличивающими; что узришь ты? что ты ни на единую черту от данного тебе пребывания отделиться не можешь, не взирая на недавнее твое и столь величественное воскресение. И узришь хотя часть органа, мысль тебе дающего; но какое стекло даст узреть тебе твое чувствование? Безумный! оно ему не подлежит. Устремляй мысль свою; воспаряй воображение; ты мыслишь органом телесным, как можешь представить себе что-либо опричь телесности? Обнажи умствование твое от слов и звуков, телесность явится пред тобою всецела; ибо ты она, все прочее догадка.

Но дадим ответ на предыдущие вопросы, сколь нелепы они бы ни были. Если не достоверно, но хотя вероятно, что человек предсуществовал зачатию в семени, то суть две возможности, где существовало сие семя, опричь той вероятности, что оно в жене начиналось; а сие есть вероятнейшее других предположение. Но скажем хотя слово о них. Или семя содержалось одно в другом, из разверзшихся прежде его в бытие, и содержит в себе все семена, сколько их быть может, одно в другом до бесконечности. Или семя сие есть часть прежнего, которое было часть другого, прежде его к жизни воззванного, и может делиться паки на столько частей или новых семян, сколько то быть должно и может; равномерно и отделенные от него части паки делимы быть имеют до бесконечности. Бесконечность... о, безумные мы! все, чего измерить не можем, для нас есть бесконечно; все, чему в продолжении не умеем назначить предела, вечно. Но для чего не утверждать, как то сказали мы выше, что семя образуется в жене? Ибо, если чувствительность, мысль и все свойства человека (не говоря о животных и растениях) образуются в нем постепенно и совершенствуют, то для чего не сказать, что и жизнь, которая в семени, яко в хранилище, пребывать имеет \*, доколе не изведет на развержение, образуется в органах человека. Ибо всякая сила, не токмо действующая в человеке, но в вселенной вообще, действует органом; по крайней мере, мы иначе никакой силы пости-

---

\* Не возможно ли уподобить душу металлу минерализованному? <sup>б</sup> Когда огонь руду проникнет, металл отделится и явится в своем блеске: так и огонь жизни, проникнув семя, являет душу.

гать не можем. Когда всеильный восхотел, чтоб движение и жизнь нам явны быть могли, он поставил солнце: вот чувственный его орган! Почто же дивиться, что смертные его боготворили?

Придем к другому вопросу. Семя до зачатия, или человек в предрождественном своем состоянии, мог ли почесться тварью разумною, или другими словами, сопряжена ли была душа с семенем, доколе не прешло семя в зародыш? Какое слабое удовлетворение твоему высокомерию, если и согласимся дать семени душу! но что сия душа? свойство ее жизни, или в совершенном возрасте человека есть чувствовать и мыслить; а понеже ведаем, что чувственные орудия суть нервы, а орудие мысли, мозг, есть источник нерв, что без него или же только с его повреждением или болезнию тела исчезает понятие, воображение, память, рассудок; что нервы толико тупеть могут, что суть иногда в болезненном состоянии тела почти бесчувственны; если же общий закон природы есть, что сила не иначе действует (для нас по крайней мере), как органом или орудием, то скажем не обинуясь, что до рождения, а паче до зачатия своего человек есть семя и не может быть что-либо иное. Бесчувствен, нем, не ощущай, как может быть разумною тварию? И хотя бы (согласимся и на то), хотя бы душа жила в семени до начатия веков; но когда она начинает действовать и мыслить, того не знает, не воспоминает, что она когда-либо была жива. А поелику не помнит о своем предрождественном состоянии, то человек настоящий, я настоящее, я, отличающееся от всех других обратных мне существ, не есть то я, что было; а хотя бы я нынешнее то же я было, которое было в предрождественном состоянии; но что в том мне пользы? Нет тождественности души в двух состояниях, то-есть в нынешнем и предрождественном \*; не все ли равно, что она не существовала до зачатия или рождения.

Но нет ли какой-либо возможности, что душа может существовать с семенем сопряженна до зачатия зародыша? Вы

---

\* Нельзя ли сказать: несть тождественности души в рожденном ее состоянии и по смерти; ибо душа есть сила, действующая органом, а орган разрушится. Душа, лишенная воспоминаения воплощенного ее состояния, будет особенна, будет высшее существо, потому что напоминовения лишение лишит ее всего, что нас терзает: она будет я. Итак, соединится ли она со своим началом или пребудет особенна, но будет высшее существо.

видели, мои возлюбленные, что все предыдущие умствования суть предположительные или паче гадательные, то и сие мнение о предрождественном существовании души, поелику противоречия в себе не заключает, есть возможно. А если к тому присовокупим, что поелику всякая сила действует свойственным ей органом, и семя есть орган, для действия души определенный, но не разверженный, то можно сказать, что сила живет в органе и душа в семени; ибо если орган или семя не развержено и неустроено, то из того не следует, чтобы оно было мертво; ибо смерть есть разрушение, или паче, как то увидим далее, смерть не существует в природе, но существует разрушение, а следствие одно токмо преобразование. Присовокупим к сему предварительно, что как из опытов знаем, что по разрушении каждая частица отходит к своей стихии или началу, да паки в сложение преидет, то сила жизни не отойдет ли к своему началу или стихии; и поелику стихия каждая одинакова, то частица оной может пребывать семени совокупна.

Вот что возможно сказать о предрождественном состоянии человека; но и тут, как видите, друзья мои, много предположений, систем, догадок. Таково есть положение наше, что мы едва ли можем удостоверены быть о том токмо, что предлежит нашим чувствам. Сведение о вещах внутреозрительное несть свойство нашего разума. Если чего не ощущаем, то заключаем по сходствию. И дабы вам сие изъяснить примером: мы по сходствию токмо заключаем, что рождены и смертны есмы. Итак, о прошедшем и будущем своем состоянии человек судит по сходствию. Блажен, если жребий его не есть блуждание!

Се настал час бытия и жизни! О, всесильный! отпусти дерзновение мое; я умствованием одним угадать тебя тщуся, доколе не воззван к жизни! Но я живу и тебя чувствую. О, всесильный! в том нет дерзновения!

Представим себе мужа и жену в цветущих силою летах, горящих взаимною любовью; представим себе невинные их лобзания, преддверие веселия. Представим их на непорочном ложе вкушающих его приятности, ужели думаешь, что восторг, исступление, забвение самого себя (во время соития) суть напрасны, и должны существовать без намерения? Когда есть цель малейшему микроскопическому зверку, ужели думаешь, что величайшее плотское веселие не имеет

оной? И можно ли в ней ошибиться! Намерение есть чувствование, цель жизнь.

Уже жена зачала во чреве; уже зародыш жив. Сердце, сей источник крови и вземлище ее, в нем биет даже с первого дня соития. Началось кормление \*, рождение. Уже мало-помалу члены его образуются. Каждое волокно ищет своих подруг, с коими согрудится \*\*, и составляются мышцы. Но паче всего образуется голова, растет больше и величается. В ней пребывание чувствий и умственных сил! — Пребыв во чреве жены предопределенные девять месяцев, зародыш стал дитя \*\*\*. Орудии движения, чувствия, голоса и жизни получили свое дополнение; основание уже положено разумным силам, орган их уже готов, как гладкая таблица готова на восприятие впечатлений. Упругость, содрогательность существуют уже в образованном, да некогда произведут страсти, притяжение и отвращение. И се рождается дитя — человек да будет.

Итак исшел на свет совершеннейший из тварей, венец сложенных вещественных, царь земли, но единокровный сродственник, брат всему на земле живущему, не токмо зверю, птице, рыбе, насекомому, черепокожному, полипу, но растению, грибу, мху, плесне, металлу, стеклу, камню, земле. Ибо, сколь ни искусственно его сложение, начальные части его следуют одному закону с родящимся под землею. Если кристалл, металл или другойкакой-либо камень образуется вследствие закона смежности, то и части, человека составляющие, тому же следуют правилу. Если он зарождается и растет во чреве матернем, прилежное разыскание показывает (хотя еще внимания на то не обращено), что для образования чего-либо и в царстве ископаемом нужна матка; и если в животных то издревле известно, что матка

---

\* Человек во чреве образуется подобно растению: он кормится пуповиною, как растение корнем.

\*\* Peut-être les affinités suivent les loix de la force magnétique ou électrique; ne pourrait on pas dire que l'affinité est universelle par les intermédiaires. S'il y a des affinités doubles, n'y peut il y avoir des triples etc. °.

\*\*\* Легкое его еще не дышит, а большая грудная железа сосет; кажется, и у человека нет еще правых сердечных камеры, и вместо крови, белый сок протекает его жилы. Сердце потом образуется, кровь краснеет, и хотя легкого не касается, по обращение ее живее. Все в нем пульс; и как скоро выходит на свет, воздух и млеко составляют его пищу; самая боль и всякая потребность дают ему случай всосать теплоту тысячью стезями.

без мужеского сообщения бесплодна, то ныне явно уже о растениях и о подземных вероятно \*. Но если кристаллизация, если руденение далеко отстоят от зачатия, питания и рождения, не образование ли есть цель того и другого? Образование есть видимое действие; — но причина? не сомневайся! то же начало, которое жизнь тебе дает, действует и в законе смежности.

Мы не унижаем человека, находя сходственности в его сложении с другими тварями, показуя, что он в сущности следует одинаковым с ними законам. И как иначе то быть может? не веществен ли он? Но намерение наше, показав его в вещественности и единообразности, показать его отличие; и тогда не узрим ли мы сопричастность его высшему порядку существ, которых можно токмо угадать бытие, но ни ощущать чувствами, ни понимать существенного сложения невозможно.

Человек, сходствуя с подземными, наипаче сходствует с растениями. Мы не скажем, как некоторые умствователи: человек есть растение <sup>7</sup>, ибо, хотя в обоих находятся великие сходства, но разность между ими неизмерима. В растении находим мы жилы, питательный сок, в оных обращающийся; находим различие полов, матку, плододение мужеское, семя, зачатие, рождение, детство, мужеские лета, произведение, старость, смерть; следовательно растение есть существо живое, а может быть — и чувствительное, — (да не остановимся при словах!) но чувственность сия есть другого рода, может быть, одна токмо раздражительность. А паче всего вертикальное положение растений сходственно единому человеку. Хотя в растениях чувственность не явна (и самая чувственница из сего не исключается), но согласиться нельзя, чтобы обращение соков действовало в них по простым гидростатическим правилам. В них существует истинная жизнь. Они на земли не для обновления токмо родов своих, но служат в пищу высшей степени существам. Сие есть одна простая догадка: но поелику органическое тело сохраниться может токмо пищею, то каждый род органических веществ питается веществами органическими же в разных их видах и сложениях; а питаясь сходствующими с органами его веществами, не жизнь ли

---

\* Что есть металлическая жила, что земля купоросная, селитренная, если не матки? что пары металлические, купоросный и селитренный газ, если не мужеский сок?

он принимает в пищу, которая, почерпаясь из нижнего рода веществ, протекши и процежаясь, так сказать, сквозь бесчисленные каналы, единообразуется той, которая органы его движет.

Паче всего сходственность человека примечательна с животными. Равно как и они, он отличествует от растений тем, что имеет уста. Растение, стоя в нижней степени существ земных, есть вся уста, по выражению одного известного писателя<sup>8</sup>. Сок из земли корнями, росу же небесную сосет оно листвием. Человек уже отличествует, как и другие животные, от насекомых; ибо и сии, как гниды, суть токмо рот, желудок и его продолжение. Все органы, коими одарен человек, имеют и животные, разумея в назначенной их постепенности. Слух, обоняние, вкус, осязание, взор, все они имеют. Побуждение к пище равно терзательно и усладительно для всех живущих на лице земли, не исключая и растений. Исторгни его из недра земного, или замкни токмо источники небесные, цвет увянет, иссохнет корень, отпадет листвие, и вместо красящегося зеленостию листов и всеми цветами раздробленного луча солнечного в цвету своем, узришь его поросшее мхом и плеснию подернутое, преходящее в разрушение. Равномерно, отыми яства от животного и человека, возбуди алчбу и жажду в недрах его, лиша его всего того, что обновляет в нем кровь, дыхание и жизнь, ты скоро узришь страшные признаки смерти, окрест его летающие. Шествие будет токмо доколе не изнеможет. Взоры поникли, коими жизнь, кажется, помалу исступает, глаза въямившиеся, тело все обвисло морщинами; но вскоре остатки жизни превращаются в болезни лютые, в нестерпимые корчи и судороги, и будто жизнь, сие неведомое нами существо, в каждой фибре, в каждой нерве заключенное и растворенное, так сказать, во всех соках и твердых частях телес животных, жизнь начнет отделяться сперва с великим возбуждением чувственности, раздражительность вникает при конечном расслаблении, чувствительность живет при исчезании, и жизнь, сей безвещественный огонь, дав животному вздохнуть в последние, излетает. Труп хладеет, кровь, лимфа и водяность приходят в согнительное воспечение, все члены распадаются, каждое начало отходит к своей стихии, каменородная часть животного, кости, противятся несколько времени проникшему в него тлению; но скоро могущество воздуха, разрушив известное их



сложение, разделит их на составляющие их части и, иссовав в воздухообразном виде содержащуюся в них кислоту, остатки предаст земле.

Человек, сходяствуя в побуждении к питанию с животными, равно сходяствует он с ними и растениями в плодородии. С большими и многими малыми животными он даже сходяственные имеет уды детородные. Они все отстоят от главы в отдаленности, а вследствие возникшего положения человека они лежат в нижней его половине. Напротив того, они суть глава растений и их краса. Цветок — О, ты, возмогший пронизательностью твоею узреть сие таинство природы, бессмертный Линней, не возгнушайся жертвоприношением желающего тебя постигнуть! — цветок есть одр любовный, ложе брачное, на коем совершается таинство порождения. — Хотя многие животные, как то все птицы, разнствуют от человека в порождении, но сходяствуют с ним все живорождающие. Многие самки носят девять месяцев; родят обыкновенно одного, и дитя своего вскармливают сосцами своими.

Внутренность человека равномерно сходяствует со внутренностию животных. Кости суть основание тела; мышцы — орудия произвольного движения; нервы — причина чувствования; легкое равно в них дышит; желудок устроен для одинаковых упражнений; кровь обращается в артериях и венах, имея началом сердце с четырьмя его отделениями; лимфа движется в своих каналах, строение желез и всех отделительных каналов, чашечная ткань и наполняющий ее жир, наконец, мозг и зависящие от него деяния: понятие, память, рассудок. Не унизит то человека, если скажем, что звери имеют способность размышлять. Тот, кто их одарил чувствительностию, дал им мысль, склонности и страсти; и нет в человеке, может быть, ни единыя склонности, ни единыя добродетели, коих бы сходяственности в животных не находилося.

Нашед многочисленныя сходяственности между животными и человеком, нужно нам видеть и то, чем он отличается от всех других животных, живущих на земле. Возникший его образ отличает его внешность приметным образом и есть ему одному на земле свойствен. Хотя медведь становится на задние лапы, а обезьяны ходят и бегают на них, но сложение ног человеческих доказывает, что ему одному прямо ходить должно. Хотя сие хождение есть след-

стве искусственнейшего учения, хотя были примеры, что человек имел четвероножное шествие\*, но из того не следует, что оно ему свойственно вследствие его сложения. Широкая его ступня, большой у ноги палец и положение других с движущимися ступнями мышцами суть явное доказательство, что человек не пресмыкаться должен по земле, а смотреть за ее пределы. Но сие то и есть паче всего человека отличающее качество, что совершенствоваться он может, равно и развращаться; пределы тому и другому еще неизвестны. Но какое животное толико успевать может в добром и худом, как человек? Речь его и все оныя следствия, зверство его неограниченное убивая братию свою хладнокровно, повинуюся власти, которую сам создал; и какой зверь сьедает себе подобного из лакомства, разве не он? Напротив, какое великодушие, отриновение самого себя; но о сем говорить еще не место.

Оставя теперь все следствия возникшего положения человека, мы находим; что сложение его паче всех животных беззащитнейшее, а хотя нежнейший имеет состав, но твердейшее имеет здравие. Все звери, или паче животные живут в свойственном для них климате. Слоны живут под жарким поясом, медведь белый на льдинах Северного Океана; но человек рассеян во всех климатах. Гладкая и бесшерстная, но твердая его кожа противостоит всем непогодам и водворяется во всех странах света. Но самая сия беззащитность родила вымысел, и человек облекся в одежду. Но не от единых нагости восприял он свой покров. Если она была к тому побуждением в холодном климате, живучи под равноденственным кругом не токмо казалася не нужна одежда, но тягостен и малейший на теле покров. Однакож мы противное тому видим. Жители Гвинеи, Сенегала, Нигера, Конго носят опоясье. Сколь чувствования народов сих ни притупленны, но стыдливость есть корень сего обыкновения. Сие суждение не есть произвольное или догадка; когда самки некоторых зверей дубравных чувствуют сие движение, когда многих родов самки ждуть прислуги самца и обуздывают, так сказать, свою похотливость, то ужели самке человеческой стыд будет чужд? Возникшее положение, открывая детородные части в человеке, влечет, кажется, за собою неминуемое следствие — опояску.

---

\* Пример младенца и диких.

Паче всего кажется человек к силам умственным образован\*. Горизонтальное положение всех зверей, обращая зрение их, обоняние и вкус книзу, кажется наипаче определяет их блаженствовать в насыщении желудка; ибо и другое чувственное блаженство, соитие, всем зверям есть временно \*\*. Самую обезьяну, и совершеннейшую из них и наиболее на человека похожую, оранг-утанга, из сего исключать не должно. Руки ее и ноги не сходятся с человеческими так, как и вся почти внешность. Сколь некоторые роды людей, например, эскимы и другие, внешностию ни уродливы (если можно разнообразие природы почесть уродством), но члены их соразмернее обезьяны. Бюффон называет род обезьян животным четвероруким; но не взирая на слабое сходствие очертаний у них с человеком, причтем и их к четвероногим; ибо по их сложению не имеют они той точки равновесия, которая, воздымая человека от земли, шествие его делает возниченным и вид приятным. Череп его круглеет, лоб воздымается, нос становится острее, две ровные губы составляют уста, где обитает улыбка.

Казалось бы, что понеже человек, наипаче к мысленным действиям определенный, иметь долженствовал отменное во всем образование головного мозга, в котором, как то всякому чувствуемо, обитает мысль; и хотя находятся некоторые в нем отмены против мозга других животных, но доселе сие различие столь найдено повидимому маловажно, что нельзя сказать, в чем точно состоит преимущественная отмена в сложении мозга человеческого против мозга больших животных. Сверх же того, анатомия не была еще руководительницею к познанию, от чего в мозгу зависит память, воображение, рассудок и другие умственные силы. Сколь на сей конец опыты Галлеровы ни были многочисленны, но света действия умственных человеческих главы не распростерли. Доселе оно кажется трудно, а, может быть, совсем невозможно, если рассудишь, что действие разума есть неразделимо. И хотя толкователи сих действий решат оные неким (ими вымышленным) движением малейших фибр мозговых, но где находится среда, в которую все сие дви-

---

\* Он превратил климаты, в холодной полосе он зной ощущает; он подвержен многим болезням, но живет долее земных зверей. Детство, отрочество, юность долее внем. Он долее всех учиться должен, ибо должен иметь более знания других.

\*\* Одному человеку не поставлено в нем меры.

жения стекаются, никто не видал, ибо пинеальная железа<sup>9</sup>, мозольное тело суть ли истинное пребывание души, о том только прежде сего гадали, а ныне молчат. Распространение просвещения и общий разум показали, что опыты суть основание всего естественного познания. Итак, может быть одно соразмерное сложение мозга, изящнейшее его положение, так, как приятная внешность человека, суть истинное отличие человеческого мозга в его образовании.

Некоторые писатели, представив себе мысленные линии, по человеческому образу проведенные, находили в большем или меньшем углу, от пресечения сих линий происходящем, различие человека от других животных, даже различие между народами; а известный Лафатер<sup>10</sup> в угле, также мысленно начертанном, не токмо находил различие разумов между людей, но оное выдавал за непреложное правило. Но оставим правила вероятной, но далеко распростертой и от того бессущественной его физиогномии; скажем нечто о других. Кампер<sup>11</sup> проводит линию чрез утлость уха до основания носа, и другую линию с верхнего края лобных кости до наиболее псунувшейся части бороды. В углу, где пресекаются сии линии, он находит различие животных от человека, а наипаче различие народов и определение их красоты. Птицы начертает, говорит Кампер, самый малейший угол. Чем более угол сей расширяется, тем животное сходственнее становится в образе своем человеку. Обезьяны имеют в образе своем сей угол от 42 до 50 степеней; сия последняя степень уже человекообразна. Европейцы 80, а греческая воображаемая красота от 90 степеней восходит до 100. Гердер<sup>12</sup>, стараяся показать естественную сему причину, говорит, что она состоит в отношении животного к его горизонтальному или перпендикулярному строению и такому положению его главы, от которого зависит счастливое положение головного мозга и красота и соразмерность всех личных частей. Протяни, говорит он, линии от последняя шейных кости, первую до точки, где кончится затылок, другую до высоты темя, третью до самого передка лба и линию до окончания бороды, то явно будет не токмо различие в образовании головы, но и самая причина оная; то-есть, что все зависит от строения и направления сих частей к горизонтальному или перпендикулярному шествию.

Вот как человек пресмыкается в стезе, когда он хочет уловить природу в ее действиях. Он воображает себе точки,

линии, когда подражать хочет ее образам; воображает себе движение, тяжественность, притяжение, когда истолковать хочет ее силы; делит время годами, днями, часами, когда хочет изразить ее шествие, или свой шаг ставит мерою ее всеобъемлющему пространству. Но мера ее не шаг есть и не миллионы миллионов шагов, а беспредельность; время есть не ее, но человеческое; силы же ее и образы суть токмо всеобщая жизнь.

Гельвеций не без вероятности утверждал, что руки были человеку путеводительницы к разуму. И поистине, чему одолжен он изобретением всех художеств, всех рукоделий, всех пособий, для наук нужных? Но сие в человеке изящнейшее чувство осязания не ограничено на единые персты рук. Примеры видели удивительнейшие, что возможен человек, лишенный сих нужных для него членов. Если чувство его осязания не столь изощренно, как осязание паука, то нет ему в том нужды; оно бы было ему бесполезно, ибо несоизмерно бы было другим его чувствам и самому понятию его. Равным образом, отделяя от лица земли, вследствие своего строения, чувство обоняния и вкуса в нем притупели; ибо прокормление не стало быть его первейшею целию. А хотя оно ему необходимо, то рука его, вооруженная искусством, заменяет стократно недостаток его в изящности помянутых двух чувств. Но и тут с лучшим правдоподобием сказать можно, что вкус и обоняние суть в человеке изящнее, нежели в прочих животных. Если он не равняется обонянием со псом, следы зверя оным угадывающего, то сколь изыскателен он в благовонии следов. Сравни сладострастного сибарита или жителя пышных столиц в действиях вкуса и обоняния с действием тех же чувств в животных, и скажи, где будет перевес.

Человек равно преимуществует пред другими животными в чувствах зрения и слуха. Какое ухо ощущает благогласие звуков паче человеческого? Если оно в других животных (пускай слух и был бы в них изящнейший) служит токмо на отдаление опасности, на открытие удовлетворительного в пище, в человеке звук имеет тайное сопряжение с его внутренностию. Одни, может быть, певчие птицы могут быть причастны чувствуванию благогласия \*. Птица

---

\* Могли ли бы они петь благогласно, не чувствуя благогласия?

поет, извлекает звуки из гортани своей, но ощущает ли она, как человек, все страсти, которые он один токмо на земле удобен ощущать при размерном сложении звуков? О, вы, душу в исступление приводящие, Глюк, Паизелло, Моцарт, Гайден, о, вы, орудие сих изящных слагателей звуков, Маркези, Мара, неужели вы не разнствуете с чижем или соловьем? Не птицы благопевчие были учителя человека в музыке; то было его собственное ухо, коего вглубленное перед другими животными в голове положение \* всякий звук, с мыслию сопряженный, несет прямо в душу.

Орел, паря превыше облаков, зрит с высоты своего взлета кроющуюся под травным листием свою снедь. Человек не столь имеет чувствие зрения дальновидно, как он; миллионы животных ускользают от его взора своею малою; но кто паче его возмог вооружить свое зрение? Он его расширил почти до беспредельности. С одного конца досязает туда, куда прежде единою мыслию достигать мог; с другого превышает почти и самое воображение. Кто может сравниться с Левенгуком <sup>13</sup>, с Гершелем <sup>14</sup>?

Но изящность зрения человеческого наипаче состоит в созерцании соразмерностей в образах естественных. Не изящность ли зрения, изощренного искусством, произвела Аполлона Бельведерского, Венеру Медицейскую, картину Преображения <sup>15</sup>, Пантеон и церковь Св. Петра в Риме и все памятники живописи и ваения?

Но все сии преимущества обведены бы, может быть, были тесною чертою, если бы не одарен был человек способностью, ему одному свойственною, речью. Он един в природе велеречив, все другие живые его собратия немы. Он един имеет нужные для речи органы. Хотя многие животные звуки гортанию производят, хотя птицы паче других в органах голоса сходствуют с человеком и некоторые изучиться могут произносить слова человеческия речи; но сорока, скворец или попугай ничто иное суть в сем случае, как обезьяны, человеку подражающие в его телодвижениях. Но если попугай может подражать в произношении некоторых слов человеку, если снегирь или канарейка подражают своим пением пению человеческому, то человек в подражании всех звуков пения превышает всех животных; и

---

\* Уши зверей заостренные и все лежащие. Рассмотрение уха певчих птиц будет когда-либо сему ясным доказательством.

справедливо его один английский писатель <sup>16</sup> назвал *посмешиком* между всеми земными тварями.

Речь есть, кажется, средство к собранию мыслей воедино; ее пособию одолжен человек всеми своими изобретениями и своим совершенствованием. Кто б помыслил, что столь малейшее орудие, язык, есть творец всего, что в человеке есть изящно. Правда, что он может без него обойтись и вместо речи говорить телодвижениями; правда, что в новейшие времена искусство, так сказать, мысли распространено и на лишенных того чувства, которое к речи есть необходимо; но сколь бы шестиве разума без звучная речи было томно и пресмыкающееся! О, ты \*, возмогший речию одарить немого, ты, соделавший чудо, многие превышающее, не возмог бы ты ничего, если бы сам был безгласен, когда бы речь в тебе силы разума твоего не изощрила! Если немой, тобою наставленный, может причастен быть в твоих размышлениях, невероятно, чтобы разум его воспарил до изобретений речию одаренного. Хотя и то истинно, что лишение одного чувства укрепляет какое-либо другое; но вообще разум лишенного речи более изощряться будет раздражением, нежели собственною своею силою; не имеющий слуха коликких внутренних чувствований будет лишен, и, кажется, изъявления оных ему мало быть могут свойственны. — Итак, речь, расширяя мысленные в человеке силы, ощущает оных над собою действие и становится почти изъявлением всесилія.

Осмотрев таким образом человека во внешности его и внутренности, посмотрим, каковы суть действия его сложения, и не найдем ли, наконец, чего либо в них, что может дать вероятность бессмертия, или что, обнаружив какое-либо противоречие, идею второя жизни покажет нелепостию. Если заблуждение предлежит нам в стезе нашей, источник истины, всеотче! прости луч на разумение наше! Желание наше в познании нелицемерно и не тщеславием вождается, но любовию.

Из внешнего сложения человека видели мы, что менее всех других животных он способен к хищности. Пальцы его не вооружены острыми когтями для раздирания своая снеди, как у тигра; нет у него серпообразных клыков на отъятие жизни; напротив того, зубы его суть, кажется, дока-

---

\* Аббе де Л'ене <sup>17</sup>.

зательство, что пища овощная сродственнее его сложению, нежели мясная; да когда он и сию вкушает, то прежде изменит ее существенность варением. Итак, человек не есть животное хищное. С другой стороны, сложение его рук препятствует ему укрываться там, где могут животные, когти имеющие. Стоящее его положение препятствует ему избегать опасности бегством; но искусственные его персты доставляют ему оборону издали. Итак, человек, вследствие телесного своего сложения, рожден, кажется, к тишине и миролюбию. О, как он удаляется от своей цели! Железом и огнем вооружив руки свои, на произведение искусственных действий сложенные, он восвирепел паче льва и тигра; он убивает не в спесь себе, но на увеселение, не голодом в отчаяние приведенный, но хладнокровно. О, тварь, чувствительнейшая из всех земнородных! на то ли тебе даны нервы?

Уже в некоторых животных примечается опрятность и благопристойность. Птица ощипывает носом своим перья, зверь лижет шерсть свою языком, а более всех других человек любит соблюдение своего благообразия. Хотя нередко страсти и неумеренность его обезображают, но примеры единственные не отвергают правила общего. Я пройду здесь охоту, примеченную во всех диких народах, к украшению своего тела; умолчу о той степени, на которой она находится в ученейших народах; не скажу ничего, сколь все украшения уродуют тело вместо усугубления его красоты; но что человеку благолепие сродно, то, с одной стороны, вообразим, что когда он изящнейшие черты изобразить хочет, он изображает нагость. Облеки в одежду Медичейскую Венеру, она ничто иное будет, как развратная жеманка европейских столиц; левая рука ее целомудреннее всех вообразимых одежд. С другой стороны, представь себе вид безобразный: власы растерзанные, лице испещренное жжением, колонием и краскою, уши или нос дырявые, губы разрезанные и зубы непокрытые, шея и чрево задавленные, ноги и персты сжатые. Привычка нас заставляет находить украшением то, что сами с некоторою отменою почитаем безобразностию. Итак, свойственная человеку опрятность и благопристойность учили бы его сохранению своего образа в природном его виде, если бы превратность не учила другому. А ты, о, превратнейший из всех, ибо употребляешь насилие власти, о, законодавец тигр<sup>18</sup>! почто дерзашь уродовать благообразие человека? Он хотя преступник, но тот



же человек. Вникни в его естественность, увидишь, что благообразие ему дано тем, кто жизнь ему дал. Ты уничтожаешь его паче всякия твари, отъемля у него образование. И какая в том польза? —

Следствием нежности в нервенном сложении и раздражительности в сложении фибров человек паче всех есть существо соучаствующее. Соучаствование таковое в животных уже примечается: звери стекаются к испускающему жизнь брату их. Но паче всех одарен им человек. Жаль видеть обезображение даже неодушевленного. Вдохнешь, видя великолепные развалины; вдохнешь, видя следы опустошения, когда огонь и сталь распространяют смерть по лугам и нивам. Преселись на место, где позабылись земли до основания. Хотя бы животные избегли бедствий естественных и гнева стихий, но глубокопроницающая печаль обойдет твое сердце, и ты, если не камень, потрясешься и восплачешь.

Наипаче таковое чувствование возбуждается в нас, взирая на скорбь и терзание животного. Стрела болезни пройдет душу, и она содрогнется. Обыкнув себя применять ко всему, человек в страждущем зрит себя и болезнует. Все чувствие таковое, проникающее нас посредством органов глазных, производит в нас страх и ужас. Но томящееся журчание, но воздыхание, но стон, крик, визг, хрипленне, выводит нас из нас самих, возбуждает иступление. Чувствование предваряет рассудку, или, паче, человек во мгновение сне становится весь чувствование, рассудок молчит и страждет естественность. Человек сопечалится человеку, равно он ему и совеселится. Войдя во храмину, где веселие распростерло жизнедательную масть свою в сердца, где около торжествующих все блещет радостью, где руки плещут и ноги сопутствуют восторгу, а паче грудь, исполненная утехи, образует глас в радование, вздыхает от нежности или испускает крик веселостей; когда сердце и душа, исполняясь блаженства, явить хочет свое наслаждение и гортань поет; скажи, если ты не Альцест<sup>19</sup> или не Тимон, не воспоешь ли с поющими, не умножишь ли хоровода пляшущих? Когда разве дряхлость отъяла силу движения в ногах и лишила голос твой приятности, то не будешь участвовать в веселии общем. Но знай, что ты не токмо существо, соучаствующее всему чувствующему, но ты есть существо подражательное. Если можешь с безумными обезуметь, то

там, где фирс<sup>20</sup> Вакхов вооружен блистает, как не быть тебе вакхантом?

Сие соучаствование человеку толико сосущественно, что на нем основал он свое увеселение, к не малой чести изобретению разума человеческого служащее. Скажи, не жмет ли и тебя змий, когда ты видишь изваяние Лаокоона? Не увядает ли твое сердце, когда смотришь на Маврикия<sup>21</sup>, занесшего ногу во гроб? Скажи, что чувствуешь, видя произведение Корреджия или Альбана, и что возбуждает в тебе кисть Ангелики Кауфман? Исследовал ли ты все, что в тебе происходит, когда на позорище видишь бессмертные произведения Вольтера, Расина, Шекспира, Метастазия, Мольера и многих других, не исключая и нашего Сумарокова?— Не тебе ли Меропа<sup>22</sup>, вознесши руку, вонзить хочет в грудь кинжал? Не ты ли Зопир<sup>23</sup>, когда иступленный Сеид, вооруженный сталию, на злодеяние несется? Не трепещет ли дух в тебе, когда востревоженный сновидением Ричард<sup>24</sup> требует лошади? «Нет у него детей!»— размышляет во мрачнотихом мщении Макбет<sup>25</sup>; что мыслишь, когда он сие произносит? О, чувствительность, о, сладкое и колющее души свойство! тобою я блажен, тобою стражду!

Я не намерен здесь распространяться примерами о том, что каждому известно; но представьте себе и очарованное око театральным украшением, и ухо, отсылающее дрожание в состав первов и фибров, возбужденное благогласием; представьте себе игру, природе совершенно подражающую, и слово, сладости несравненного исполненное; представьте все сие себе, и кто сказать может, что человек не превыше всего на земле поставлен? Увеселение юных дней моих<sup>26</sup>! к которому сердце мое столь было прилеплено, в коем никогда не почерпал развратности, от коего отходил всегда паче и паче удобренный, будь утешением чад моих! Да прилепятся они к тебе более других утех! Будь им истинным упражнением, а не тратою драгоценного времени!

Мы сказали, что человек есть существо подражательное, и сие его свойство есть ничто иное, как последование предыдущего или, лучше сказать, есть отрасль соучаствования. Я не разыскивал того прежде, но и теперь того же воздержуся, какой существует механизм в подражании и соучаствовании, как образ, вне нас лежащий, как звук, посторонним существом произнесенный, образуют внутренность нашу? Происходит ли то в первом случае какими-либо

лучами, отражающимися от внешних тел, как будто электрическое вещество, исходящее заострениями, и несущими образ на сеть глазную посредством светильного вещества; производит ли, в другом случае, звук, раздающийся в ухе нашем и тимпан оною ударяющий, производит ли в нервах дрожание, струнному орудию подобное (что вероятно); или нервный сок, прирав в себя внешние образы, внутреннюю чувственную им сходственность соделывает. Я уже сказал, — в познаниях сих многие суть догадки; и мы, прешед причины, ибо нам оне неизвестны, не скажем, *как* то происходит, ибо того не ведаем, но скажем: *оно есть*. Давно всем известно, что человек, живучи с другими, примет их привычки, походки и проч., даже самые склонности. В семейственной жизни сие наиболее приметно бывае. Не токмо дети имеют иногда привычки своих родителей или наставников, но имеют нередко их страсти. Примеры сему не токмо из истории почерпнуть бы можно было, но можно иметь их из ежедневного общежития. И не удивительно уже, что частое долговременное повторение одинакового действия всегда имея пред собою, может в привычку преобразиться; но подражательность столь свойственна человеку, что единое мгновение оную приводит в действительность. На сем свойстве человека основывали многие управление толпы многочисленной. Первый Сципион<sup>27</sup>, обвиняемый пред народом в злоупотреблении своея власти во время предводительствования римскими войсками: «Народ! — воскликнул он, — сей день вождием моим вы победили неприятеля, воздадим благодарение богам!» и, не ждав нимало, пошел в Капитолию, народ ему последовал, и обвинитель его посрамлен остался. Ужели думаете, что убежденный благорассуждением народ римский шествовал за Сципионом? Нимало! ни десятой доле бывшим в собрании не было слышно его изречение. Он пошел, друзья его за ним, и все машинально ему следовали. В магнетизме Месмеровом видели самое явное доказательство подражательности непреоборимой. Сидящие около его чана едва одного из среды своей зрели в содрогании, все приходили в таковое же. Воображение ли над ними действовало или что другое, до того нет нам нужды; но что все чувствовали в нервной системе потрясение, то истинно. И сей нового рода врач, основав искусство свое на сем естественном подражании, приводил сим простым способом в движение, ка-

залося, силу неизвестную. Но если бы помыслили, что буде в собрании, где наипаче объемлет скука, один зевнет, то все зевают, то бы Месмерово чудо таким не казалось.

Различие полов, как то мы прежде уже видели, есть постановление природы повсеместное, на котором она основала сохранение родов не токмо животных, но растений, а может быть и ископаемых. Постановив различие [полов], она, может быть, столь же общим законом, возродила в них одного к другому побуждение; и можем ли ведать, что сила притяжения, действующая в химических смежностях, не действует и в телах органических? Животное иначе живет, нежели растение; но кто отвергнет, что растение не живо? Чем более вникают в деяния природы, тем видима наиболее становится простота законов, коим следует она в своих деяниях. Итак на различии полов основала она в человеке склонность к общежитию, из коея паки проистекают различные человеческие склонности и страсти. Но последуем ее постепенности.

Из различия полов следует склонность их одного к другому, склонность непреоборимая, столь сладостная в сердце добродетельном, столь зверская в развратном. Толико могущественно, толико глубоко положила природа корень сей склонности, что единое произвольно кажущееся движение в растениях относится к ней. Я говорю здесь о так называемом сне растений.

В животных склонность сия временное имеет действие, но в человеке всегдашнее. В нем склонность сия хотя столь же почти необходима, как и в животных, но подчинена очарованиям приятности и оставлена его управлению, выбору, произволу и умеренности. В человеке склонность сия хотя в младости разверзается, но позже нежели во всех других животных, а потому самому может быть она в нем и продолжительнее. Она в человеке отличается тем, что сопрягает оба пола во взаимный союз непринужденно и свободно, нередко на целый их век. Кто из животных, разве не человеческие супруги, могут сказать: мы два плоть едина, мы душа единая! — О, сладостный союз природы! почто ты толико и столь часто бываешь уродован?

От любви супружней проистекает любовь матерняя. Зачав во чреве своем, родив в болезни, питая своими

сосцами \*, дитя есть, поистине, отпрыск матери, отрасль совершенная, не по уподоблению токмо, но в самой сущности. Союз их есть почти механический. Да не унизим его таким изречением; он есть органический и будет нравственный и духовный, когда вскармление развернет все новорожденного силы и образует его внутренность и внешность. О, чувствования преизящные! в вас лежит корень всякия добродетели. Наилютейшее чудовище смягчится семейственною любовию. Преторгла ея природа скитание зверообразного человека, обуздала его нежностью, и первое общество возникло в доме отеческом. Продолжительное младенчество, продолжительная в неопытности юность причащает его к общежитию неприметно. Сопутник неотлучный матери, лежа у сосцев ее и пресмыкаяся на земле, он, воспрянув на ноги отвесно, бежит во след отцу, естественному своему учителю. Малолетство его подчиняет его родителям в рассуждении его слабости; юность то же производит неопытностью. Привычка, благодарность, уважение, почтение делают сей союз наитвердейшим. Вот первое общество, вот первое начальство и царство первое. Человек рожден для общежития <sup>28</sup>. Поздое его совершеннолетие воспретит, да человеки не разыдутся, как звери. О, Руссо! куда тебя завлекла чувствительность необъятная \*\*?

Человеку и, может быть, животному вообще, кажется быть свойственно, вследствие его чувственного состава, внутреннее ощущение правого и неправого. Не делай того другому, чего не хочешь, чтобы тебе случилось, если не есть правило, из сложения чувствительного человека проистекающее, то разве начертанное в нас перстом всевечного. Все превратности, все лжи, все неправды, злобы, убивства не в силах опровергнуть сего чувствования. Возникшая страсть запирает глас чувствительности, но ужели нет ее, когда лежит поприще?

Единому человеку между всех земных тварей удалось познать, что существует всеотец, всему начало, источник всех сил. Я здесь не буду говорить, что он доходит до сего познания силою разума, возносяся от действий к причинам, и наконец к высшей из всех причин; не разыщу, что позна-

---

\* Примечания достойно, что из видимых членов в человеке зубы совершаются после всех других.

\*\* См. *Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes*,

ние бога пропстекло от ужаса или радости и благодарности; понятие о всевышнем существе в нем есть; сам он его себе сложил или получил откуда, того мы не рассматриваем. Но то истинно, что когда разум, а паче сердце страстями незатменно, вся плоть, все кости ощущают над собою власть, их превышающую. Называй сие кто как хочет; но Гоббес, но Спиноза ее ощущали; и если ты не изверг, о, человек! то отца своего ты чувствовать должен, ибо он повсюду; он в тебе живет, и что ты чувствуешь, есть дар вселюбящего.

Итак, познание бога может проистекать из единыя нашей чувствительности, и познание сие есть ее упражнение; упражнение, ведущее к вершине земного блаженства, внутреннего удовольствия, добродетели.

О, смертный, познавай бога! утешись, если страждешь, возблаженствуешь паче, если блаженствуешь. Он жив, и ты дышишь; он жив будет во веки, в тебе живет надежда, что и ты причастен будешь бессмертию. О, смертный! Отверзи очи твои, и узришь всеотца во свете \*.

Обозрев человека в его чувствованиях и действиях, оттуда проистекаемых, порядок требовал бы, чтобы мы показали его во всей его славе, возносящегося превыше всего творения, постигающего начертание создания, и сим возвышающим его дарованием, разумом, божеству уподобляющегося. Но для постижения, колико человек велик, нужно токмо воззреть на все его изобретения, на все вымыслы и творения. Науки, художества, общественная связь, законы суть доказательства избыточные, что человек превыше всего на земли поставлен. Но рассматривая и удивляясь величественности его разума и рассудка, увидим, что сие существо, творцу вселенныя сопричащающееся, проникающее незыблемыми стопами естественность, нередко уродствует, заблуждает; да и столь заблуждение ему почти сродно, что прежде нежели истины достигнуть может, бродит во тьме и заблуждениях, рождая нелепости, небылицу, чудовищей. И в том самом, о, гордое существо, чем наипаче возноситься

---

\* (В сем месте сочинитель начертал <sup>29</sup> только предметы, о которых рассуждать был намерен; вот они. — О различии людей в их чувствованиях и страстях и о степени оных в каждом человеке. От чего зависят темпераменты? Откуда различия в представлениях божества? Что оно часто похоже на человека, то неудивительно: человек его изображает, и поелику он человек, за человека зреть не может. Различие прав, правлений и проч.)

можешь, тем паче являешься смешон. Все однакоже заблуждения человека и нелепости суть доказательство мыслящего его существа, и что мысль есть наисвойственнейшее качество его.

Второе, что при рассмотрении умственных сил человека явно становится, есть то, что многие его умственные силы следуют законам естественности. Что сила воображения, например, зависит от климата, и что люди совсем бы иначе нам предъявлялися, если бы естественное житие, правление, законы, нравы и обычаи не делали его совсем от того, как рожден, отменным. Одна теплая хранина климат ображает, и какие из того последствия? Не из того ли происходят и несообразности, которые видны часто в людских нравах и законоположениях?

Третье, что при рассмотрении умственных сил человека явственно становится, есть различие, в оных примечаемое, не токмо у одного народа с другим, но у человека с человеком. Но сколь один народ от другого ни отличает, однако вообразя возможность, что он может усовершенствоваться, найдем, что может он быть равен другому, что индейцы, древние греки, европейцы суть по среде на стезе совершенствования; из чего заключить можно, что развержение народного разума зависит от стечения счастливых обстоятельств. Но совсем иначе судить должно о различии разумов между единственными человеками, и сколь Гельвеций ни остроумен <sup>30</sup>, доказательства его о единосии разумов суть слабы.

Четвертое, что замечается при рассмотрении разумных сил человека, есть то, что силы сии ничто при рождении, разверзаются, укрепляются, совершенствуют, потом тупеют, ослабевают, немеют и исчезают; что сия постепенность следует постепенности в развержении и уничтожении сил телесных и что тесное есть сопряжение между плодотельного сока и человеческих умственных сил. Свидетельствуют тому брада или безумие, следствие несчастного самораствления. Но прежде всего скажем нечто о умственных силах человека, о действовании оных и о чудесности их.

Человек имеет силу быть о вещах сведому. Следует, что он имеет *силу познания*, которая может существовать и тогда, когда человек не познает. Следует, что бытие вещей независимо от силы познания о них и существует по себе.

Мы вещи познаем двояко: 1-е, познавая перемены, которые вещи производят в силе познания; 2-е, познавая союз вещей с законами силы познания и с законами вещей. Первое называем *опыт*, второе *рассуждение*. Опыт бывает двоякий: 1-е, поелику сила понятия познает вещи чувствованием, то называем чувственность, а перемена, в одной происходящая, — чувственный опыт; 2-е, познание отношения вещей между собою называем разум, а сведение о переменах нашего разума есть опыт разумный.

Посредством памяти мы вспоминаем о испытанных переменах нашей чувственности. Сведение о испытанном чувствовании называем представление.

Перемены нашего понятия, производимые отношениями вещей между собою, называем мысли.

Как чувственность отличается от разума, так отличается представление от мысли.

Мы познаем иногда бытие вещей, не испытывая от них перемены в силе понятия нашего. Сие назвали мы рассуждение. В отношении сей способности называем силу познания ум или рассудок. Итак, рассуждение есть употребление ума или рассудка.

Рассуждение есть ничто иное, как прибавление к опытам, и в бытии вещей иначе нельзя удостовериться, как чрез опыт.

Вот краткое изображение сил умственных в человеке; но все сии виды силы познания нашего не суть различны в существовании своем, но она есть едина и неразделима.

Однакож, раздробляя, так сказать, силу познания или паче, прилагая ее к разным предметам, ей надлежащим, человек воздвиг пространное здание своей науки. Не оставил отдаленнейшего края вселенной, куда бы смелый его рассудок не устремлялся; проник в сокровеннейшие недра природы и постиг ее законы в невидимом и неосязаемом; беспредельному и вечному дал меру; исчислил неприступное; преследовал жизнь и творение и дерзнул объять мыслью самого творца. Часто человек ниспадал во глубину блуждения и животворил мечтания, но и на косвенной стезе своей велик и богу подражающ. О, смертный! воспряни от лица земли и дерзай, куда несет тебя мысль, ибо она есть искра божества!

Сколько есть способов познавать вещи, толико же путей и к заблуждению. Мы видели, что познание человеческое



есть двойко: 1-е *опыт*, 2-е *рассуждение*. Если в первом случае, — мы ложно познаем перемены, происходящие в чувственности нашей; ибо заблуждение сего рода всегда происходит не от вещи и не от действия ее над нашими чувствами (поелику внешние вещи всегда действуют на нас соразмерно отношению, в котором они с нами находятся), но от расположения нашей чувственности. Например: болящему желтухою все предметы представляются желтее; что белое для него было прежде, то ныне желтое; что было желтое, то кирпичного цвета, и так далее. Правда, что раздробление луча солнечного есть седьмично, как и прежде, и болящему желтухою от рождения различие цветов будет равное со всяким другим; но тот кто видел предметы в другом виде, тот может судить о сем. — Например: колокол бьет; глухой, не чувствуя перемены в ухе своем, понятия иметь не будет о звуке, но другой скажет: слышу звон! И если звон колокола есть знак какого-либо собрания, то слышащий пойдет, а глухой скажет: мне не повещали, — и чувства его обманут. Постепенность в таковых заблуждениях и все следствия оных, бывающие новыми заблуждениями по чреде своей, суть неудобопределяемы и многочисленны.

Если знаем ложно отношение вещей между собою, то опять заблуждаем. Отношение вещей между собою есть непременно, но ложность существует в познании нашем. Например: два предмета предостоят глазам моим, но не в равном расстоянии. Естественно, вследствие законов перспективы, что ближайший предмет должен казаться больше, а отдаленнейший меньше; но нсобыкшим очам они покажутся равны, и сравнение их будет ложно; ибо величина не есть сама по себе, но понятие относительное и от сравнения приистекающее. Число сих заблуждений, из познания отношения вещей приистекающих, происходит от рассуждения, и нередко заключая в себе оба рода предыдущих, тем сильнее бывает их действие, тем оно продолжительнее и преодоление их тем труднее, чем они далее отстоят от своего начала.

К рассуждению требуются две вещи, кои достоверными предполагаются: 1, союз, вследствие коего мы судим, и 2, вещь, из союза коея познать должно вещи, не подлежавшие опыту. Сии предположения называются посылки, а познание, из оных приистекающее, — заключение. Но как все

посылки суть предложения опытов и из оных извлечения или заключения, то *заключения* из посылок, или рассуждение, есть токмо прибавление опыта; следственно, познаем таким образом вещи, коих бытие познано опытом.

Из сего судить можем, коликократно могут быть заблуждения человеческие и нигде столь часты, как на стезе рассуждения. Ибо, сверх того, что и чувственность обмануть нас может и что худо познать можем союзы вещей или их отношение, ничего легче нет, как ложно извлекаемое из посылок заключение и рассуждение превратное. Тысячи тысяч вещей претят рассудку нашему в правильном заключении из посылок и преторгают шествие рассудка. Склонности, страсти, даже нередко и случайные внешности, вмеща в среду рассуждения посторонние предметы, столь часто рождают нелепости, сколь часты шаги нашего в житии шествия. Когда рассматриваешь действия разумных сил и определяешь правила, коим они следуют, то кажется ничего легче нет, как избежание заблуждения; но едва изгладил ты стезю своему рассудку, как вникают предубеждения, восстают страсти и, налетев стремительно на зыблющееся кормило разума человеческого, несут его паче сильнейших бурь по безднам заблуждения. Единая леность и нерадение толикое множество производят ложных рассуждений, что число их означать трудно, а следствия исторгают слезы.

Сверх прямо извлекаемого рассуждения из предпосылаемых посылок, на опытах основанных, человек имеет два рода рассуждения, которые, возводя его к светлейшим и предвечным истинам, паки к неисчислимым и смешнейшим заблуждениям бывают случаем. Сии суть: уравнение и сходственность. Они основаны на двух непреложных (сами в себе) правилах, а именно: 1-е, равные и одинаковые вещи состоят в равном или одинаковом союзе или отношении; 2-е, сходственные вещи имеют сходственное отношение или в сходственном состоят союзе. Сколь правила сии изобильны истинами, сколь много все науки им одолжены своим распространением, столь обильны они были заблуждениями. Кто не знает, что мы наипаче убеждаемся сходственностию, что наши обыкновеннейшие суждения ее имеют основанием; что мы о важнейших вещах иначе судить не можем, как вследствие сходственности, и если надобен вам пример, то войдем во внутренность нашу на одно мгновение. Кто

может, чувствуя токмо себя, рассматривая токмо себя, сказать: состав мой разрушиться имеет, я буду мертв! Напротив того, продолжению чувствования или жизни мы меры в себе не имеем, и могли бы заключить, что сложение наше бессмертно есть. Но видя окрест нас разрушение всеобщее, видя смерть нам подобных, мы заключаем, что и мы той же участи подвержены и умереть должны. Итак, заблуждение стоит воскрай истине, и как возможно, чтобы человек не заблуждал! Если бы познание его было нутрозрительное, то и рассуждение наше имело бы не *достоверность*, но *ясность*; ибо противоположность была бы во всяком рассуждении невозможна. В таковом положении человек не заблуждал бы никогда, был бы бог. Итак, вздохнем о заблуждениях человеческих, но почерпнем из того высшее стремление к познанию истины и ограждению рассудка от превратности.

Мы видели, что заблуждения наши основание свое нередко имеют в чувственности нашей; но если мы покажем, что разумные наши силы определяются внешностию, то заблуждения человека суть почти неизбежны, и будем иметь вящее побуждение снисходительно взирать не токмо на все заблуждения рода человеческого, но и на самые его дурачества. Блаженны, если можем за словом нашим на месте строгости суждения возродить соболезнование и человеколюбие.

Все действует на человека. Пища его и питье, внешняя стужа и теплота, воздух, служащий к дыханию нашему (а сей сколь много имеет составляющих его частей), электрическая и магнитная силы, даже самый свет. Все действует на наше тело, все движется в нем. Влияние звезд, столь глупо понимаемое прежде сего, неоспоримо. Что могут лучи солнечные или их отсутствие, тому доказательством служат негры и эскимы. Что может луна, то явствует из периодического женского истечения и видно над многими ума лишенными. Хижина, поставленная над блатом и топью, дебрию или на горе вознесенная, различие производят в нас, и местоположение жилища нашего хотя не есть образователь единственный человека, но к образованию его много способствует. Все, что взоры наши ударяет, что колеблет слух, что колет язык или что ему льстит, все приятное и отвратительное обонянию, все образует чувства. Наконец, образователи осязания столь многочисленны, сколь различно бывает положение человека.

Из сего можно судить, сколь с чувственностью нашею и мысленность превращениям подвержена. Она следует в иных местах и случаях телесности приметным образом. Одним примером сие объяснить возможно. В Каире, даже в Марсели, когда подует известный ветер, то нападает на человека некая лень и изнеможение: силы телесные худеют, и душа расслабевает, тогда и мыслить тягостно. Вот пример действия внешней причины. Дадим примеры внутренних. Вольтер, сказывают, пивал великое множество кофию, когда хотел что-либо сочинять. Живя многие годы с немцами, я приметил, что многие из ученых людей не могли вдаваться упражнению без трубки табаку; отними ее у них из рта, разум их стоит, как часы, от коих маетник отъят. Кто не знает, что Ломоносов наш не мог писать стихов, не напиваясь почти вполпьяна водкою виноградною? Кто не имел над собою опытов, что в один день разум его действует живее, в другой слабее! А от чего зависит сие? Нередко от худого варения желудка. Если бы мы действие сего прилежнее отыскивали в истории, то с ужасом усмотрели бы, что бедствия целых земель и народов часто зависели от худого действия внутренности и желудка.

Физические причины, на умственность человеческую действующие, можно разделить на два рода. Одни действуют повременно, и действие оных наипаче приметно бывает над единственными людьми, как то из предыдущих примеров очевидно. Другие же причины действуют неприметным образом, и сии суть общественны, и действия оных приметны над целыми народами и обществами. Хотя смеялися над славным Монтескье<sup>31</sup>, что он мнение свое о действии климата основал на замороженном телячьем языке, но если вникнем, что климат действует на все тела без различия, а паче на все жидкости, на воздух, лучи солнечные и проч.; что роза, пресаженная из одной страны в другую, теряет свою красоту; что человек, хотя везде человек, но сколь он отличен в одной своей внешности и виде своем, то действие климата<sup>32</sup> если не мгновенно, но оно чрезвычайно, и что оно человека погубляет, так сказать, неприметно и без явного принуждения. Возьми в пример европейцев, переселяющихся в Индию, Африку и Америку, какая в них ужасная перемена! Англичанин в Бенгале забыл великую хартию и *habeas corpus*; он паче всякого индейского набоба.

Наипаче действие естественности явно становится в человеческом воображении, и сие следует в начале своем всегда внешним влияниям. Если бы здесь место было делать пространные сравнения, то бы в пример списал некоторые места из *Гюлистан*<sup>33</sup> Саадиева, из европейских и арабских, мне известных, стихотворцев, что-либо из Омира и Оссиана. Различие областей, где они жилали, всякому явно бы стало; увидели бы, что воображение их образовалось всегда окрест их лежащую природою. Воображение Саадиево гуляет, летает в цветящемся саду, Оссианово несется на утлом древе, поверх валов. А если кто захочет сделать сравнение исповеданий и мифологии народов, в разных концах земли обитающих, то сколь воображение каждого образовалось внешностию, никто не усумнится. Индейские боги купаются в водах млечных и сахарных; *Один*<sup>34</sup> пьет пиво из черепа низложенного врага.

Но если климат и вообще естественность на умственность человека столь сильно действуют, паче того образуется она обычаями, нравами, а первый учитель в изобретениях был недостаток. Разум исполнительный в человеке зависел всегда от жизненных потребностей и определяем был местоположениями. Живущий при водах изобрел ладью и сети; странствующий в лесах и бродящий по горам изобрел лук и стрелы и первый был воин; обитавший на лугах, зелению и цветами испещренных, удомовил миролюбивых зверей и стал скотоводитель. Какой случай был к изобретению земледелия, определить невозможно; пускай была то Церера или Триптолем<sup>35</sup>, или согнанный с пажити своея скотоводитель подражать стал природе сеянием злаков для питания своего скота, и после, возревновав его обилию, насадил хлеб. Как бы то ни было, земледелие произвело раздел земли на области и государства, построило деревни и города, изобрело ремесла, рукоделия, торговлю, устройство, законы, правления. Как скоро сказал человек: сия пядень земли моя! он пригвоздил себя к земле и отверз путь зверообразному самовластию, когда человек повелевает человеком. Он стал кланяться воздвигнутому им самим богу и, облекши его багряницею, поставил на олтаре превыше всех, воскурил ему фимиам; но наскучив своею мечтою и стряхнув оковы свои и плен, попрали обоготворенного и преторг его дыхание. Вот шествие разума человеческого<sup>36</sup>. Так образуют его законы и пра-

вление, соделывают его блаженным или ввергают в бездну бедствий.

Животное, нагбенное к земле, следует своему стремлению в насыщении себя и в продолжении своего рода. Примеченный в нем слабый луч рассудка ограничивается токмо на два сказанные побуждения, и в удовлетворении оных состоит его блаженство, если можно назвать блаженством тупое услаждение своея потребности. Животное исполняет сие, направляемо к тому непреоборимым стремлением. Но возникший образованию своим человек, слабый в своем сложении, имея многочисленные недостатки, нудясь к изобретению способов на свое сохранение, свободен в своем действии; стремление его и все склонности подчинены рассудку. И хотя сей, для определения своего, имеет побуждения, но оные возвесить может всегда и избирать. Таким образом, он есть единое существо на земле, ведающее злое и злое, могущее избирать и способное к добродетели и пороку, к бедствию и блаженству. Свободное его деяние сопрягло неразрывным союзом с женою, а с семейственною жизнью перешел он в общественную, подчинил себя закону, власти, ибо способен принять награду и наказание; и став на пути просвещения помощью общественного жития, сцепляя действия с причинами за пределы зримого и незримого мира, то, что прежде мог токмо чувствовать, тут познал силой умствования, что есть бог.

Различие, примечаемое в разумных силах человека, тем явственнее становится, чем долее одно поколение отстоит от другого. Общественный разум единственно зависит от воспитания, а хотя розница в силах умственных велика между человека и человека, и кажется быть от природы происходящая, но воспитание делает все<sup>37</sup>. В сем случае мысль наша разствуует от Гельвецевой; и как здесь не место говорить о сем пространно, то, сократя по приличности слово наше, мы постараемся предложить мысли наши с возможною ясностию.

Изящнейший учитель о воспитании, Ж. Ж. Руссо<sup>38</sup>, разделяет его на три рода. «Первое, воспитание природы, то-есть развержение внутреннее наших сил и органов. Второе, воспитание человека, то-есть наставление, как употреблять сие развержение сил и органов. Третье, воспитание вещей, то-есть приобретение нашея собственныя опытности над предметами, нас окружающими. Первое от нас

независимо вовсе; третье зависит от нас в некоторых только отношениях; второе состоит в нашей воле, но и то токмо предположительно, ибо как можно надеяться направить совершенно речи и деяния всех, дитя окружающих?»

Сколь Гельвеций ни старался доказывать, что человек разумом своим никогда природе не обязан, однакоже для доказательства противного положения мы сошлемся на опытность каждого. Нет никого, кто с малым хотя вниманием примечал развержение разумных сил в человеке, нет никого, кто б не был убежден, что находится в способностях каждого великое различие от другого. А кто обращался с детьми, тот ясно понимает, что поелику побуждения в каждом человеке различествуют, поелику различны в людях темпераменты, поелику вследствие неравного сложения в нервах и фибрах человек разнствует от другого в раздражительности, а все сказанное опытами доказано, то и силы умственные должны различествовать в каждом человеке неминуемо. Итак, не токмо развержение сил умственных будет в каждом человеке особо, но и самые силы сии разные должны иметь степени. Возьмем в пример память: посмотри, сколь один человек превосходит другого сим дарованием. Все примеры, приводимые в доказательство, что память может быть приобретенная, не опровергнут, что она есть дар природы. Войдем в первое училище и в самый первый класс, где побуждения к учению суть весьма ограничены; сделай один токмо вопрос, и убедись в том, что природа бывает иногда нежною матерью, иногда мачихою завистливою. Но нет; да отдалимся хуления! Природа всегда едина, и действия ее всегда одинаковы. — Что различия между умственными силами в человеках явны бывают даже от младенчества, то неоспоримо; но тот, который степению или многими степенями отстоит от своего товарища в учении вследствие шествия естественности и законов ее, сотовариществовать бы ему не долженствовал; ибо семя, от него же рожденное, не могло достигнуть равной с тем организации, с коим оно сравнивается; ибо человек к совершенству доходит не одним поколением, но многими. Парадоксом сего почитать не должно; ибо кому не известно, что шествие природы есть тихо, неприметно и постепенно. Но и то нередко бывает, что наченшееся развержение останавливается, и сие бывает на счет рассудка. Если бы в то время, когда Ньютон полагал основание своих

бессмертных изобретений, препят был в своем образовании и преселен на острова Южного Океана, возмог ли бы он быть то, что был? Конечно, нет. Ты скажешь: он лучшую бы изобрел ладью на преплытие ярящихся валов, и в Новой Зеландии он был бы Ньютон. Пройди сферу мыслей Ньютона сего острова и сравни их с понявшим и начертавшим путь телесам небесным и доказавшим их взаимное притяжение, и вещай!

Сие наипаче явственно, когда поставишь в сравнение один народ с другим, или пройдеши историю умообразия одного народа чрез несколько веков. Кажется, что сему можно бы было дать доказательства, на естественности человека основанные. Но здесь тому не место и далеко от-вело бы нас от предмета нашего. Случалось, и сей опыт повторять можно довольно часто, что взятому иногда во младенчестве дикому европейцы старались дать сходственное со своим воспитание; но оно не бывало удачно. Я здесь многих видал тунгузов, воспитанных в русских домах; но на возрасте тунгуз в силах умственных всегда почти далеко отстоял от русского. Кажется из сего заключить можно, что надобно природе несколько поколений, чтобы уравнивать в человеках силы умственные. Органы оных будут нежнее и тончее; кровь, лимфа, а особливо нервная, лучше преработанные, прейдут от отца в зародыш; и поелику есть в природе всеобщая постепенность, то и в сем случае она вероятна.

Как в постепенности таковой отстоит народ от народа, равно может отстоять человек от человека. Первый имел воспитание естественное и нравственное лучше своего отца; сыну своему мог дать лучшее своего; третий того же семейства, вероятно, изощреннее и понятнее будет первых двух.

Таким-то образом воспитание в поколениях может остановиться. Один произойдет постепенно и непрерывно, пользуясь всеми воспитания выгодами, другой, которого воспитание не было окончано, остановится на пути. Могут ли они быть равны? Природа содействует в сем случае человеку. Возьмем пример животных, коих водворить хотим в другом климате. Перемещенное едва ли к нему привыкнет, но родившееся от него будет с оным согласнее, а третьего по происхождению можно почитать истинным той страны уроженцем, где дед его почитался странником.



Таким образом, признавая силу воспитания, мы силу природы не отъемлем. Воспитание, от нее зависящее, или развержение сил, останется во всей силе; но от человека зависеть будет учение употреблению оных, чему содействовать будут всегда в разных степенях обстоятельства и все нас окружающее.

Приступим теперь к постепенности, которая примечается в природе, и обозрим ее в развержении сил умственных в человеке, которые, сказали мы, следуют во всем силам телесным. Будем восприемниками новорожденному, не оставим его ни на единое мгновение чрез все течение его жизни, и когда дойдем с ним до меты его, пребудем ему неотступны до последнего его вздыхания.

Четыре или пять месяцев после зачатия зародыш движется; сердце и глава образовались уже прежде и исполняли свое назначение. До девяти месяцев и до самого того мгновения, когда дитя исходит на свет, члены его и органы разверзаются и совершенствуют и, достигнув степени, превыше коей дальнейшее развержение и совершенствование невозможно в матерней утробе, он лучшая требует пищи, свободнейшего движения, лучшей жизни. Легкое проникается воздухом атмосферы, уста приемлют пищу, глаза приучаются к блеску и уши к звуку; но дитя едва ли в сии минуты может равняться с растением. Чувства его ударяемы внешними предметами, все жизненные соки обращаются, он уже чувствует. Нельзя, чтобы мозг был без действительности; но он еще токмо источник чувственности, а не орган мысленный. — Итак, дитя не мыслит; болезнь учит его, что он существует, но сие чувствование едва может сравниться с движением чувственницы. Болезнь, а потом голод нудят его изъявлять их криком. — Помалу члены его укрепляются, движения его становятся сильнее, потребности величают; тогда делаются приметными в младенце побуждения. Он кричит сильнее и тем старается изъявлять свое желание. Если не удовольствован, то приходит в ярость, и сия страсть первее всех поселяется в сердце. Все внешние предметы действуют на органы чувственные младенца неотступно, и приметно становится в нем начальное образование умственных сил. Он начинает познавать различие между вещей; знает, что вкусу его льстит и что ему противно; глаза его учатся размеру, слух привыкает ко звукам; он начинает распознавать вещи едиными наименова-

ниями; знает уже свое имя, следовательно, орган памяти также разверзся. Но хотя во всех сих случаях видна умственность, но сколь слаба она, сколь недостаточна и хуже звериного стремления. Иначе быть нельзя; он еще пресмыкается, ползает, четвероножен есть. Но уже восстает он от земли. Он зрит на выпренность; измерение ему становится свойственнее, слух тончает, прилепление к дающей ему пищу становится сильнее. Он уже изучился изъяслять свою радость; изъясление скорби было первое его движение. Улыбка его переходит в смех, ярость становится нетерпелива, все побуждения стремительнее. Память его расширяется, приметно становится суждение, но весьма недостаточно. И язык его, произносивший доселе неясственные токмо звуки, начинает произносить слова. С того времени, как младенец научается говорить, развержение его умственных сил становится все приметнее; ибо он может изъяслять все, что чувствует, и все, чего желает, словом, все, что доселе мог обнаруживать токмо криком и слезами; самые слезы проливает он реже, и помалу младенец становится дитя. Силы телесные его укрепились, а с ними и умственные; он уже превышает оными других животных во многом, но точности в суждениях его нет. Понятия его становятся отвлеченны, хотя следует наипаче чувственности и примеру: сей его образует более всего. Страсти в нем разверзаются; рассудок начинает снискивать опору или в слышанном, или в испытанном, и дитя становится отрок. Силы телесные укрепились; отрок обык уже употреблению своих членов, чувств и органов; умственные его силы острятся; он испытал уже свободу, уже дерзает рассуждать, но опытность его мала, и рассуждения превратны и косвенны. Блажен, как то вещает Руссо, если отрок ничего еще не мыслил, не знал ничего, был чужд рассудку. Он удален ложных понятий, предрассуждений, превратности мнений и склонностей! И все члены его достигли уже своего совершенства, все сосуды исполнены влажностей, начинают уже избыточествовать. В юноше возникает новое некое чувство. Грудь его вздымается чаще и сильнее, весь состав его ощущает необычайное движение, чувственность его потеряла свою плавность, она зыблется и недоумевает; тихая грусть обходит его; разум, начинавший действовать, затмевается; нижняя половина лица его покрывается волосами; у женщин же является временное

истечение; человек уже готов для пророжденья. О, любовь! о чувствование, паче всех сладчайшее! Кто возможет стремлению твоему противиться? Не безумно ли бы было такое сопротивление? Природа влияла тебя во всю нашу чувственность на наше услаждение и на соблюдение рода человеческого.

Едва познал он вину необычайного движения своєю чувственности, как старается прилепить ее к достойному предмету, и не успокоится, доколе его не сыщет. Тогда самая сия чувственность, тогда родившаяся страсть начинают напрягать силы умственные. Они получают новую от страсти упругость и, как лучи света, изливаются от среды своєю во все точки круга, в котором действуют. Вот возмужалость, вот время страстей, укрепление сил умственных и возвышение их до степени для них возможной. Вот время достижения величайших истин и заблуждений; время, в которое человек уподобляется всевышнему или ниспадает ниже низжайшей степени животных.

Как трение стончевает пружины, так и силы телесные притупляются употреблением. Человек начинает расслабевать в силах своих телесных; душевные следуют за ними. Страсти исчезают, а с ними и рвение к познаниям. И хотя рассудок еще не ослабел, но вновь не делает приобретений. Новое его не движет, ибо чувства его притупели; память ослабла, и воображение потеряло крылья. И так рассудок вращается над постигнутыми истинами, но оные уже стоят все на высшем круге и не для него. Настает старость. Сия истинная зима человеческого тела и разума, сия безнадежная зима обвеснования, простирая мраз свой во весь состав человека, полагает предел всем силам его. Гибкие доселе члены начинают цепенеть; око померкло, ухо уже не слышит, не обоняет нос, и вкус остается на пряные и колющие язык яства; осязательность почти уже увяла; раздражительность фибров онемела и ярость свою потеряла; чувствительность притупела и ослабела; жизненные соки иссякли в источнике их, сердце бьет слабее, мозг твердеет; силы умственные угасают, понятие померкло, память совсем исчезла, рассудок пресмыкается и наконец истлевает совершенно. Телу для движения нужна оборона, разум нисшел до степени младенчества. Но и нить жизни преторглася! Грудь перестает дышать, сердце не бьет более, и светильник умственный потух.

Безумные! Почто слышу вопль ваш, почто стенания? Или вы хотите превратить предвечный закон природы и шествие его остановить на мгновение едино? Рыдания ваши и молитвы суть хуление. Вы мните, что всеотец вам подобен — вы скорбите, о, несмысленные! — Жизнь погасшая не есть уничтожение. Смерть есть разрушение, превращение, возрождение. Ликуйте, о, други! болезнь исчезла, терзание миновалось; злосчастию, гонению нет уже места; тягостная старость увяла, состав рушился, но возобновился. — В восторге алчные души вас видеть, едва не впал в погрешность и заключение извлек, не дав ничего в доказательство.

Блажен, о, человек! если смерть твоя была токмо естественная твоя кончина; если силы твои телесные и умственные токмо изнемогли, и умереть мог от единых старости. Житие твое было мудрственно и кончина легкий сон! Но таковая кончина редко бывает жребием человека. Восхищенный страстями, он носится по острям; неумеренность раздирает его тело, неумеренность лишает его рассудка; состаревшись в бодрствующие свои лета, не ветхость дней замыкает ему очи; болезни, внедрившиеся в его тело, преторгают его дыханье безвременно и раскаевающегося на одре смертном подавляют отчаянно. Во младости неумеренность любовных страсти, в различных ее видах, расслабляет силы телесные и умственные. О, юноша! читай Тиссо об онанизме и ужаснися. О, юноша! войди в бедственное жилище скорбящих от неумеренности любострастия; возри на черты лиц страждущих: — се смерть летает окрест их. — Где разум, где рассудок, когда терзается чувственность? Они возникают, но мгновенно и едва блещут в простершемся мраке. Или думаешь, что орган умственный цел пребудет, когда органы жизни нарушены?

Но единая ли сия болезнь неумеренности снедает человека в силах его телесных и умственных! Посмотри на болящего огневицею, возари на того, у коего повредился орган умственный. — Где ты, о, дар божественный? О, рассудок! где ты?...

*Конец первой книги.*

---

## КНИГА ВТОРАЯ

**И**так, достигли мы, странствуя чрез житие человеческое, до того часа, когда прерывается мера шествию, когда время и продолжение превращаются для него, и настает вечность. Но остановим на мгновение отходящего к ней, заградим врата ее надеждою и воззрим на нее оком беспристрастным. Да не улыбнется кто-либо при сем изречении! Сколько возможно иметь пристрастия к вещественности, равно возможно и к единой мысленности, хотя бы она ничто иное была, как мечта. Воззри на описание рая, или жилища душ, во всех известных религиях; розыщи побуждение страдавших за исповедание; устрями взор твой на веселящегося Катона, когда не оставалось ему ни вольности, ни убежища от победоносного Юлиева оружия: увидишь, что и желание вечности равно имеет основание в человеке со всеми другими его желаниями.

Надежда, бывшая неотступною сопутницею намерений в человеке, не оставляет занесшего уже ногу во гроб. Надежда путеводительствует его рассудку, и вот его заключение: «я жив, не можно мне умереть! я жив и вечно жить буду!» Се глас чувствования внутреннего и надежды вопреки всех других доводов. Кто может убедиться, если убе-

ждение свое захочет основать единственно на внутреннем чувствовании, что он мертв быть может? Чувствовать и бесчувственну быть, жизнь и смерть суть противоречия, и если бы, как то мы видели, не имели мы основанием к рассуждению правила сходственности, то сего заключения нам сделать бы было невозможно; ибо познания не суть нутрозрительны. Но я зрю, что все, окрест меня существующее, изменяется; цвет блекнет и валится, трава иссыхает, животные теряют движение, дыхание, телесность их разрушается; то же вижу и в подобных мне существах. Я зрю везде смерть, то-есть разрушение; из того заключаю, что и я существовать престану. И кажется, если бы удалено было от мысленности нашей понятие о смерти, то живой ее бы не понимал; но смерть всего живущего заставляет ожидать того же жребия.

Представим себе теперь человека удостоверенного, что состав его разрушиться должен, что он должен умереть. Прилепленный к бытию своему накрепчайшими узами, разрушение кажется ему всегда ужасным. Колеблется, мятется, стонет, когда приближившись к отверстию гроба, он зрит свое разрушение. Ты есть!.. Час бьет, нить дней твоих прервется, ты будешь мертв, бездыханен, бесчувствен, ты будешь ничто! — Ужасное превращение! чувства содрогаются, колеблется разум! трепещуща от страха и неизвестности мысль истлевающая носится во всех концах возможного, ловит тень, ловит подобие, и, если удалось ей ухватить какое-либо волокно, где она уцепиться может, не размышляя, вещественность ли то или воображение, прицепляется и виснет. И возможно ли человеку быть жития своего ненавистником? Когда вознесу ногу, да первый шаг исполню в вечность, я взоры обращаю вспять. «Постой, помедли на одну минуту! О, ты, составлявший блаженство дней моих, куда идешь?..» О, глас разительнее грома! Се глас любви, дружбы! мой друг, вся мысль мятется! я умираю, оставляя жену, детей! — Свершайся, жестокое решение, я лишаюсь друга! Не малодушие, возлюбленный мой, заставит меня вздохнуть при скончании течения дней моих. Если я равнодушно не терплю отсутствия твоего, каково будет мое лишение, если то будет в вечность.

Имея толикие побуждения к продолжению жития своего, но не находя способа к продолжению оногo, гонимый

с лица земли печально, грустию, прещением, болезнию, скорбию, человек взоры свои отвращает от тления, устремляет за пределы дней своих, и паки надежда возникает в изнемогающем сердце. Он опять прибегает к своему внутреннему чувствованию и его вопрошает, и луч таинственный пронизывает его рассудок. Водимый чувствованием и надеждою, имея опору в рассудке, а может быть, и в воображении, он прелетает неприметную черту, жизнь от смерти отделяющую, и первый шаг его был в вечность. Едва ощутил он, или лучше сказать, едва возмог вообразить, что смерть и разрушение тела не суть его кончина, что он по смерти жить может, воскреснет в жизнь новую, он восторжествовал и, попирая тление свое, отделился от него бодрственно и начал презирать все скорби, печали, мучительства. Болезнь лютая исчезла, как дым, пред твердою и бессмертия коснувшеюся его душею; неволя, заточение, пытки<sup>30</sup>, казнь, все душевные и телесные огорчения легчайших паров отлетели от духа его, обновившегося и ощутившего вечность.

Таковые были, вероятно, побуждения человека, да возникнет в разуме и сердце его понятие будущия жизни. Многие ее чают быть; иные следуют в том единственно испуплению; другие, и сии суть многочисленны, уверению своему имеют основанием единое предубеждение и наследованное мнение; многие же мнение свое и уверение основывают на доводах. Но каково бы ни было основание сего мнения, все вообразительные возможности будущего человеческого бытия не ускользнули от ловственного его проникания. Но были, и суть многие, которые, отменяя свое чувственное уверение и надежду и оспаривая у человека будущее его бытие, старались находить доводы, что смерть в человеке есть его последняя и совершенная кончина; что он, совершивши течение дней своих, умрет навсегда и не возможет восстать, существовать, быть ни в какой вообразительной возможности. Доводы их суть блестящи и, может быть, убедительны. Возвесья, по силе нашей, обе противоположности, я вам оставлю избирать, любезные мои, те, кои наиболее имеют правдоподобия или ясности, буде не очевидности. А я, лишенный вас, о, друзья мои, последую мнению, утешение вливающему в душу скорбящую.

Доселе почитали быть в природе два рода возможных существ. Все, к первому роду относящиеся, называют тела,

а общее, или отвлеченное о них понятие, назвали веществом, материя. Вещество есть само в себе неизвестно человеку; но некоторые его качества подлежат его чувствам, и на познании оных лежит все его о веществе мудрование. К другому роду относящиеся существа чувствам нашим не подлежат, но некоторые феномены в мире были поводом, что оные почли не действием вещественности, но существам другого рода, коих качества казались быть качествами вещественности противоречащими. Таковые существа назвали духи. При первом шаге в область неосязательную, находим мы суждение произвольное; ибо, если дух чувствам нашим не подлежит, если познания наши не суть нутрозорительные, то заключение наше о бытии духов не иначе может быть, как вероятное, а не достоверное, а менее того ясное и очевидное. Кто вникал в деяния природы, тот знает, что она действует всегда единовременно или вдруг, и в сложениях, ею производимых, мы не находим черты, отличающей составляющую часть от другой, но всегда совокупность. Например, человек назвал противоречащими качествами тепло и стужу<sup>40</sup>, находя действия их противоречащими; но природа и то, что тепло производит, и то, что производит стужу, вместила в единое смешение и, положив закон действию их непременяющийся, явление оных таковым же учинила. Поистине, в природе меньше существует противоположных действий, нежели думали прежде; и то, что мы таковыми назвали, существует нередко токмо в нашем воображении.

Различие духа и вещественности произошло, может быть, от того, что мысль свойственна одной главе, а не ноге или руке. Различие таковое есть самоизвольно; ибо, не ведая, ни что есть дух, ни что вещественность, долженствовали бы их поставлять различными существами, да и столь различными, что если бы сложение человека не убеждало очевидно, что качества, приписанные духу и вещественности, в нем находятся совокупны, то бы сказали, что дух не может там быть, где тело, и наоборот. Но как сопряжение таковое очевидно, то вместо того, чтобы сказать: существо человеческое имеет следующие качества, напр., мыслить, перемещать место, чувствовать, пророждать и проч., вместо того сказали: человек состоит из двух существ, и каждому из них назначена своя область для действия; вместо того, чтобы сказать, что то, из чего сложен мир (а кто



исчислил все существа, оный составляющие?), имеет те и те свойства, сказали, что в нем находятся существа разнородные. О, умствователи! неужели не видите, что вы малейшую токмо частицу разнородности их ощутили, но что они все в един гнездятся состав. Ведаешь издревле, сколь луч солнечный далеко отстоит от простоя глины или песка; ведал, что луч солнечный тебя греет и освещает, что глина дает тебе сосуд на пищу; а ныне ведаешь, что они находиться могут в одном составе существенно. Ты ведаешь, что мысль находится в твоей главе; но ведаешь ли, с чем она еще может быть сопряжена? Тот, кто силою своего слова мог вселить ее в мозг твой, ужели бессилен был вместить ее в другое что-либо опричь тебя? О, надменность!

Но обозрим быстротечно свойства, присвоенные вещественности, и свойства мысленности и что в них может быть противоречное; или, нет ли следа, что они одинаковому существу свойственны быть могут?

Свойствами вещественности вообще почитаются следующие: непроницательность, протяженность, образ, делимость, твердость, бездействие. Свойствами духовных существ почитаются: мысль, чувственность, жизнь. Но сии свойства, духовным существам присвоенные, поелику являются нам посредством вещественности, почитаются токмо видимыми действиями или феноменами, происходящими от духовного существа, которое может само по себе иметь сии свойства и чувствам не подлежать. Итак, вопрос настоять будет: может ли вещественность иметь жизнь, чувствовать и мыслить, или духовное существо иметь пространство, образ, делимость, твердость, бездействие? В обоих случаях произведение будет одинаково. Если сие доказать возможно, то разделение существ на вещественные и духовные исчезнет; если же доводы будут недостаточны и найдутся доводы, противное сему доказывающие, то нужно, и нужно необходимо, поставлять бытие двух существ разнородных, духа \* и вещественности.

Вещественностию называют то существо, которое есть предмет наших чувств, разумея, есть или быть может предметом наших чувств. Ибо, если оно им не подлежит теперь, то происходит оно от малости или тонкости своей, а не вслед-

---

\* Говоря о духах, я разумею токмо одну, так называемую душу человеческую.

ствие своего естества. Поступим теперь к изъяснению свойств вещественности.

Непроницательностию разумеем то, что две частицы вещественности, или два тела, не могут существовать в одном месте в одно время. — Сие есть аксиома, ибо противное предложение есть противоречие. — Или, что неразделимая частица вещественности, или атом, встретившаяся на пути другой такой же частицы, сия последняя не может продолжать своего пути, доколе первая не уступит ей места. *Протяженность* есть то свойство вещественности, вследствие коего она занимает место в пространстве; а поелику протяженность имеет предел, то *всякую ограниченную протяженность называют образом*. В отношении определенности говорят, что протяженность имеет образ. Итак непроницательность, протяженность и образ суть свойства нераздельные всякого существа, чувствам нашим подлежащего. Образ дает вещественности определенность, протяженность — место, а непроницательность — отделенность.

Химические опыты доказывают чрезмерную *разделимость* вещественности <sup>41</sup>. Но естествослы разумеют, что есть возможность, чтоб малейшая частица вещественности разделена была до бесконечности достаточною на то силою. Ибо, воображая вещественность протяженною, сколь бы частица оная мала ни была, разум себе представить может частицы еще того меньше до бесконечности, разумея, что будет достаточная сила на их разделение.

Но как сие разделение существует токмо в возможности, и что нет естественныя силы на разделение начал вещественности, то в рассуждении сего приписуют ей свойство *твердости*.

*Бездействие* в отношении вещественности есть двояко. 1-е, вещественность в состоянии покоя пребывает в нем или может пребыть вечно, доколе какая-либо причина не даст ей действия. Заметим заранее, что сие свойство не есть качество существенное вещественности, но относительное, поелику ее почитать можно лишенною движения. 2-е, понятие о вещественности есть частица вещественности, в движение приведенная, которая продолжит движение свое с одинакою скоростью и в одинаковом направлении вечно, доколе что-либо не воспретит сему продолжению, или оное не преобразит.

*Движение* есть свойство перемеять место. Иные говорят, что свойство сие вещественности существенно и от нее неотделимо. Другие почитают, что причина движения в вещественности не существует; а некоторые утверждают, что причина движения, для продолжения оного, должна быть присносущна и происходит от существ, отличных от существа, имеющего непроницательность, протяжение, образ, делимость и твердость; словом, что причина движения в вещественности не существует и быть в ней не может.

*Тяжесть* есть свойство, вследствие которого тело падает к середине земли, и частицы вещественности стремятся к их средоточию. Последствиями оныя почитают притяжение и отражение.

*Притяжение* есть свойство, вследствие которого тела или частицы вещественности сближаются одна с другою. *Отражение* есть свойство сему противоположное, и вследствие которого тела или частицы одна от другой отдаляются.

Те, которые делают движение вещественности сосущественным, те оной не отрицают ни тяжести, ни притяжения, ни отражения. Но другие почитают сии свойства не свойствами, но явлениями и действиями причин, вне вещественности находящихся и ей несущественных.

Рассмотрим поодиночке сии, вещественности приписываемые свойства; побудим себя умствовать над сими остатками древнего учения<sup>42</sup>, которое распространившиеся опыты, и с ними лучшее познание естественности, опровергнут неминуемо. Свойства веществ столь разнообразны, начала оных столь разнородны, смежность же их, посредственная по крайней мере, столь размножена и может быть всеобщая, что рассуждения об общих свойствах, вещественности приписуемых, основанных на отвлеченных понятиях, вероятно, поростут мхом забвения и презрения, как ныне Аристотелевы категории и сокровенные качества алхимистов<sup>43</sup>. Ибо вопросы каждого беспристрастного: что есть вещественность? Ответ будет: не ведаю! А если к сему присовокупим, что химия доказует, что начала первичных веществ суть весьма различных свойств, и хотя она еще держится древнего разделения стихий, но то, что мы называем земля, вода, огонь, воздух, суть сложности. Стихийной земли никто еще не видал, и надежда некоторых видеть ее в алмазе исчезла с того времени, как опыты доказали, что он сгорает и возлетается. Кто возжи-

гал огонь стихийный? Луч солнечный, раздробленный призмой, не есть одинакороден\*. Самая электрическая искра, прменяя цвет подсолнечной окраски, серный ее запах, не суть ли доказательства ее сложности, и нет ли вероятности, что удачные опыты отделят когда-либо свет от теплоты? Опыты одного доктора Пристля<sup>45</sup>, не говоря о последующих, показали, сколь вещество, нами вдыхаемое, есть сложно, и что то вещество, которому можно оставить имя воздуха, не самую большую часть составляет воздуха атмосферического. Кто скажет ныне с прежним убеждением, что упругость есть свойство воздуха собственно, а не другого какого вещества воздухообразного? Не говоря о водяных частицах, в воздухе содержащихся, не говоря о веществах обонятельных и всех других, из тел истлеваемых испаряющихся, а наипаче алкалических, ныне ведают, что так называемая кислотность или твердый воздух, кислотность селитренная, воздух горячий\*\*, разделенны плавают в воздухе атмосферическом, ибо их можно из него извлечь; и что они суть его части существенные, ибо отдели их от него, воздух уже изменился. Что такое есть вода, ныне стало известно. Отсутствие из нее огня делает ее твердою, так нельзя ли сказать, что она, по существу своему, тело твердое? Отреси давящие ее столпы воздуха, увидишь, что она растянется, увеличится, воспарится и сама представится в виде воздуха. Вообрази себе пустоту вместо атмосферы окрест земного шара, водимый опытами, ты землю узришь безводну и иссякшую, все, на ней живущее, исчезнет, растущее увянет и сгорит, распадется самая кристаллизация, и все явления, в след действиям воды идущие, минуют. О, ты, основание земли, гранит, громада необъятная! Ты рассядешься, и шар земный воспылится.

Но обратимся к свойствам вещественности, и прежде всего посмотрим, столь ли приписуемые ей непроницательность и твердость ей пужны и необходимо истекают из понятия о вещественности. Если в понятии непроницательности заключается только то, что два тела, или атома,

\* Лучи солнечные имеют два свойства: теплоту и свет. Но свет от теплоты доселе отличить можно было тем, что вещество света есть мгновенно, а теплота пребывающа. Поелику же флогистон<sup>44</sup> есть основание цветов, то и луч солнечный его содержит в летучем состоянии.

\*\* Зарождение селитры ясно доказывает ее в воздухе присутствие.

или две частицы того, что составляет вещественность, не могут находиться в одно время на одном месте, то сие можно разуметь не токмо о вещественности, но и о всяком существе, какого бы рода оно ни было. Ибо, поелику чувственностью имеем мы представление о вещах, а разумом получаем понятия, то-есть познания их отношений; и поелику *общее* всех представлений есть *пространство*, *общее* всех понятий есть *время*, а *общайшее* сих *общих* есть *бытие*, то, что себе ни вообрази, какое себе существо ни представь, найдешь, что *первое*, что ему нужно, есть *бытие*, ибо без того не может существовать о нем и мысль; *второе*, что ему нужно, есть *время*, ибо все вещи в отношении или союзе своим понимаются или *единовременны*, или в *последовательности* одна за другою; *третье*, что ему нужно, есть *пространство*, ибо существенность всех являющихся нам существ состоит в том, что, действуя на нас, возбуждают они понятие о пространстве и непроницательности, и все, что ни действует на нашу чувственность, имеет место и производит в нас представление о протяжении посредством своего образа, равномерно производит в нас представление о *непроницательности*, поелику одна вещь, действуя на нас из места, дает нам чувствовать, что не есть другая, что заключает в себе понятие *непроницательности*; общее же понятие *непроницательности* и *протяжения* есть *пространство*. Итак все, что имеет *бытие* во *времени* и *пространстве*, заключает в себе понятие *непроницательности*; ибо и познания наши состоят токмо в сведении бытия вещей, в пространстве и времени.

Одна первая причина всех вещей изъята из сего быть долженствует. Ибо, поелику определенные и конечные существа сами в себе не имеют достаточной причины своего бытия, то должно быть существу неопределенному и бесконечному; поелику существенность являющихся существ состоит в том, что они, действуя на нас, производят понятие о пространстве и, существуя в нем, суть самым тем определены и конечны, то существо бесконечное чувственности понято быть не может и долженствует отличествовать от существ, которые мы познаваем в пространстве и времени. А поелику познание первыя причины основано на рассуждении отвлеченным от испытанного и доказывается правилом достаточности, поелику воспящено и невозможно конечным существам иметь удостоверение о безусловной

необходимости высшего существа, ибо конечное от бесконечного отделенно и не одно есть; то понятие и сведение о необходимости бытия божия может иметь бог един. — Увы! мы должны ходить ощупью, как скоро вознесемся выше чувственности.

Но понятие непроницательности заключает в себе и то свойство, которым означается, что одна вещь чрез другую проходить не может. Приложив сие к телам, едва ли сие свойство какому-либо приписать возможно; ибо опыты доказывают, что наитвердыейшие проникаются воздухом и водою, а огню нет ничего непроницаемого. Если бы здесь было место приводить в доказательство опыты физические <sup>46</sup>, то можно бы показать было, сколь трудно привести тело с другим в совершенное соприкосновение. Сверх того известно, что во всяком теле гораздо более находится пустоты, нежели согрудения. Сие особливо явствует из жидких тел, кои удивительно растягиваться и сжиматься могут, что и было поводом утверждать многим, что все твердое вещество, в системе солнечной содержащееся, можно вместить в одну ореховую шелуху; столь велика пустота в наигустейших телах в сравнении их твердых частей. Если же к сему рассудим, сколь, посредством химических смежностей, разные вещества смешаться могут и из таковых смешений происходят совсем новые вещества, то едва ли не вероятно, что непроницательность в последнем смысле есть токмо вымышленное, а не действительное свойство вещественности.

Что мы сказали о непроницательности, как могущем быть свойстве всякого вещества, то же можем сказать о *протяженности* и о *образе*, который есть определенность протяжения. Ибо, сколь скоро какое-либо вещество занимает место в пространстве, то занимать его долженствует определенно; сколь скоро имеет место в пространстве определенное, то имеет уже образ, то-есть протяженно, ибо образ есть определение протяжения. Сие понятие протяженности и образа столь свойственно нашему разуму, наотвлеченнейшие свои понятия почерпающему из веществ, чувствам подлежащих, что понятие, им противолежащее, он представляет себе токмо отрицательно.

Вследствие данного изъяснения бесконечная делимость вещественности есть свойство токмо воображенное, а не существующее, в чем признаются сами те, кои ей оное

приписывают, говоря, что оно ей существенно, поелику возможно, и если бы достаточная была сила на произведение сего разделения, то бы оно произошло действительно. Я не возьмусь опровергать возможности, ибо несуществующее есть токмо мечта и опровержения не заслуживает. Если бы кто захотел сию делимость распространить на самого бога, то стоил ли бы он единого на опровержение слова? — Улыбнемся безумию и замолчим.

о) Впрочем, можно сию делимость распространить и на умственное вещество; ибо, поелику оно в протяженном заключено, а протяженность не токмо мыслию, но и действительно разделить можно, то для чего же неразделимым почитать вещество мыслящее, хотя действие оно неразделимо есть? Прейдем замысловатые бредни; ибо сколь ни замысловаты они, но все бред.

г) Твердость есть то свойство вещественности, которое препятствует ее бесконечной делимости. Нет силы в мире вещественном, говорят естествослы, которая бы могла разделить стихийные начала. Согласимся на сие охотно, ибо опыты благоприятствуют сему мнению и делают его аксиомою. Кто не видит теперь, что твердость есть свойство, делимости противоречащее, и что они в одном существе не могут быть совокупны. Ибо, с одной стороны, делимость представляет разрушение малейших частиц до бесконечности, то-есть доколе разум себе ее вообразить может (возможно ли так заблуждаться и воображение пустое делать бытием?), с другой стороны, твердость препятствует разделению и, держа стихийные начала плотными, представляет разрушению оплоту непреодолимую (действие воображения и здесь явно). Скажите, о вы, у коих рассудок не затмился предубеждениями учебными и предрассудками школы, скажите ваше о сем решении!

од) Оставя теперь воображенное свойство, скажем нечто действительное, и посмотрим, твердость тел столь ли им свойственна и необходима, как то уверяют учителя.

е) Непрекословно надеюсь, согласится, что тело, занимающее место в пространстве, имея протяженность и непроницаемость, имеет также образ; ибо образ есть не что иное, как определение протяженности. Но сей образ не может иначе существовать, как вследствие сцепления или притяжения взаимного частей, как то скажут физики; или

вследствие законов смежности, как то назовут химики. Следственно, сила, содержащая части в тесном или в отдаленном сцеплении, нужна для того, чтобы части были вместе, и нужна необходимо, потому что, если бы она не существовала, то не было бы и самая твердости; если сцепление уничтожится, то все развалится. Сколь далеко завести может таковое предположение, всяк понять может, и не довольно того, что разрушатся тела и перейдут в хаос; но в сем разрушении, где никакая сила не действует, едва ли возродится ничтожество и истинная смерть. Какая пустая мысль! уродливое воображение!

Итак, нужна сила, чтобы какие-либо части вместе находились во взаимной проницательности, или хотя просто одна близь другой. Все равно, где бы сила сия ни находилась, в самом ли веществе, или действует снаружи, она действует, она содержит в сцеплении, она дает образ; следовательно, образ без нее быть не может; уничтожается сцепление, и вещество исчезает; следовательно, сила сия всякому веществу сосущественна, и одного без другой вообразить не можно или не должно. Итак, твердость есть следствие какия-либо силы; следует, что сила сия есть причина, а существо действие, от нее происходящее.

Сколь притяжение свойственно вещественности, столь свойственно ей и отражение. Опыты доказывают, сколь трудно, а может быть, и совсем невозможно привести два вещества в истинное прикосновение; и сия отраженность есть нечто, от твердого вещества совсем отменное, действующее даже в отдаленности от тела, к коему оно принадлежать имеет. Что делает, что наплотнейшие тела и сильнейшим сцеплением стверженные столь проницательны? Что производит упругость, сжимание и растяжение? До какой удивительной степени некоторые вещества растяжены суть или быть могут, кто не убежден опытом, тому не легко поверить может. От чего одно вещество в стеснении становится упружее? От чего другое в растяжении? Отражение существует везде, как и притяжение, и вещества, в соразмерности действия одной силы, ощущают действие и другой. Итак некоторые справедливо заключают, что в самом деле в вещественности существуют токмо притяжения и отражения без всякой твердости. Ибо, для чего предполагать твердое, если части его сплотиться не могут никогда? Заключим, что ссть место в пространстве, где каждая сила существует



и откуда действительность ее простирается, составляя действию ее округу, могуществу ее соразмерную. Локк, или его истолкователь<sup>47</sup>, желая изъяснить создание, говорит: вообразим себе пустое пространство, и всемогущество, вращающееся над ним, рекло: да разделится оно и отвердеет! и се явилась непроницаемость, протяженность, образ. Дополним сию стихотворную и метафизическую картину и, вместо слова, явим мысль всемогущую. О, дерзновение! изрекать словом, звуком, зыблением воздуха мысль предвечную! — Да будет сила в каждой точке пространства! и се действие началось. Притяжение и отражение простерлися из среды своей действием, явился образ и протяженность, вещественность приняла существо. Удел ли был в силах сих силы всемогущия, или новые созданы, тот знает, кто их явил; а мы, во тьме непроницаемой хождая, ловя мечту или блуждание, речем, как некогда Аякс Омиров: отреши мрак<sup>48</sup> от очей моих, и узрю! — Удивительно, говорит Пристлей, путеводительствующий нам<sup>49</sup> в сих суждениях, что поелику твердость столь мало, кажется, имеет места в системе сей, удивительно, что мудрствовавшие давно не рассудили, что она и совсем нестати! —

Друзья мои! раздробляя свойства вещественности, да не исчезнет она совсем и да не будем сами тень и мечта.

Бездействие, вследствие данного нами изъяснения, есть то состояние существа, из коего оно исступит не может, доколе что-либо его из оного не извлечет. После всего, нами сказанного, утверждать, что бездействие есть свойство природы, кажется нелепо. Безрассудный! когда зришь в превыспренняя и видишь обращение тел лучезарных; когда смотришь окрест себя и видишь жизнь, рассеянную в тысящи тысящей образах повсюду, ужели можешь сказать, что бездействие вещественности свойственно и движение ей несродно? Когда все движется в природе и все живет, когда малейшая пылинка и тело огромнейшее подвержены переменам неизбежным, разрушению и паки сложению, ужели пайдешь место бездействию и движение изымешь вон? Если ты ничего не знаешь бездействиюемого, если все видишь в движении, то не суемудрие ли говорить о том, что не существует, и полагать не быть тому, что есть? Начтонам знать, что до сложения мира было, и можно ли нам знать, как то было? Вещественность движется и живет; заключим, что движение ей сродно, а бездействие есть вещество твоего вос-

паленного мозга, есть мгла и тень. Сияет солнце, а ты хочешь, чтоб свойство его была тьма; огонь жжет, а ты велишь ему быть мразом. Отступи со своим всесилием, оно смех токмо возбуждает.

Итак, показав неосновательность мнения о бездействии вещественности, мы самым тем показали, что движение от нее неотделимо. И поистине, не напрасное ли умствование говорить о том, что могло быть до сотворения мира? Мы видим, он существует, и все движется; имеем право неоспоримое утверждать, что движение в мире существует, и оно есть свойство вещественности, ибо от нее неотступно.

Неужели после всего, что мы сказали о движении, притяжении и отражении, нужно еще говорить о *тяжести*, дабы показать, что свойство сие есть сосущественно вещественности? Сию всеобщую силу в природе (притяжение и отражение в ее понятии заключаются), предузнанную Кеплером и доказанную Ньютоном, ужели не свойством почтем естественности потому только, что причина ее сокрывается от проникания нашего, являя очам токмо свое действие? Но сила сия, действуя соразмерно плотности или сгуждению тел и отстоянию их, увеличиваясь по мере плотности и уменьшаяся по квадратам отстояния, да будет действие некоего упругого вещества, которое эфиром назвал Ньютон, или что другое, мы скажем, что она есть и действует с вещественностию нераздельно, следовательно, она ей сосущественна. Да и самый эфир<sup>50</sup>, сколь жидок, сколь тонок, сколь пронизателен он бы ни был, не вещественность ли он сам? Но Ньютон, делая его причиною, кажется, его к веществу не причел; ибо, будучи причиною, он не может иметь свойств того, что производит; ибо, кажется, нелепо сказать, что причина тяжести или притяжения сама имеет тяжесть и притяжательна. Но бытие эфира есть токмо предположенное, а не доказанное, изобретенное для объяснения гипотезы, хотя и блестящая, но ничего другого, как предположения без опытности. Если к сему прибавим, что есть тела (ибо и жидкости суть тела), осязанию подверженные, коих свойство есть не тяжесть, а сила средодаляющая, как то огонь, воздухообразные вещества или газы, и самая вода; и кажется, что если они следуют иногда закону тяжести, то токмо в совокуплении своем и отвердении. Их свойство не есть тяжесть, не сцепление, но растяжение и возлетание или, лучше сказать, они суть и то и другое вследствие

законов смежности. Я с трепетом возражаю что-либо изобретению остроумия и, дерзая противоречить Нютону, покажусь бессмысленным; но как сказать можно, что огонь имеет тяжесть, и где притяжение воспаряющей воды, лишеной воздуха и без давления атмосферы?

Сии то суть общие свойства вещественности, предлог общего естествословия, или онога метафизическая часть. Видите, сколь ненадежны суждения человеческие, сколь противоречимы, сколь оспариваемы; ибо все в оных зависит от первого изъяснения. Часто спорящиеся друг друга не понимают оттого, что разные о вещи имеют понятия, а чаще того желание заслужить имя остроумного и великого ввергает нас в область воображения, а потому и блуждения. Случается, и очень часто, что, нашед на пути опытов своих или наблюдений один факт новый, или новообразный, стараются привязать к нему все испытанные прежде и составляют систему; а поелику сие название стало несколько смешно, то изображаемым доводам дают имя теории, или умозрения. О, умствователи! держитесь опытности и пользу свою почерпайте из нее. Не тщитесь угадать, чего невозможно. То, к чему стремитесь, есть мысль всевышняя, а вы что? Нютон, сопрягая изобретенную им тяжесть с измерением и исчислением, дал ей блестящее правдоподобие, и никто не смеет ему противоречить, ибо почтение к его изобретению иссоаем почти со млеком матерним. Тяжесть существует в природе, или, паче, притяжение неоспоримо; но тяжесть небесных системы и притяжение тел небесных, движущихся в направлении прямой линии, едва ли не рушится, когда столь же замысловатый, столь же дерзновенный разум сопряжет новые откровения воедино и тяжесть оспорить захочет. Если можно истину предчувствовать, то сие предчувствование вероятно.

Но обратимся к нашему предлогу и разыщем: свойства вещественности могут ли быть свойства разумного вещества, или человеческия души? Мы не скажем, да и нелепо то было бы, что чувствование, мысль суть то же, что движение, притяжение или другое из описанных выше сего свойств вещественности. Но если мы покажем, что все они могут быть или суть поистине свойства вещества чувствующего и мыслящего, то не в праве ли будем сказать, что оно и вещьественность суть едино вещество; что чувственность и мысль суть ее же свойства, но поколику она образуется в те-

лах органических, что суть силы в природе, чувствам и самым подлежащие токмо в их сопряжении с телами, от чего бывают явления; что вещество, коему силы сии суть свойственны, нам неизвестно; что жизнь, сие действие неизвестно также вещества, везде рассеяна и разнообразна; что она явственнее там становится, где наиболее разных сил сопряжено воедино; что там их более, где превосходнее является организация; что там, где лучшая бывает организация, начинается и чувствование, которое, восходя и совершенствуясь постепенно, достигает мысленности, разума, рассудка; что все сии силы, и самая жизнь, чувствование и мысль являются не иначе, как вещественности совокупные; что мысленность следует всегда за нею, и перемены, в ней примеченные, соответствуют переменам вещественности, так заключим, что в видимом нами мире живет вещество однородное, различными свойствами одаренное; что силы в нем всегда существуют, следственно, ему искони присвоены. Но как союз сей произведен, то нам неизвестно; ибо понятие наше возвестися может токмо до познания первичной причины, но тут и наш предел. И прежде всего, непроницаемость сколь свойственна вещественности, равномерно и мысленности. Уже я зрю заранее толпы, на нас восстающие; улыбки презрения, осмеяние, — о, если бы было одно опровержение доводов! — — — Пребудем в стезе нашей и да молва не отвратит нас от нашей цели. — Непроницаемость, видели мы, есть то свойство какого-либо вещества, вследствие коего оно с другим не может находиться на одном месте в одно время. Если сие свойство приписано вещественности, вот как оно разумеется, или как можно разуметь о умственности. Хотя здесь повторим прежние доводы, но из порядка, нами принятого, их исключить нельзя.

Все, что существует, не может иначе иметь бытие, как находясь где-либо, ибо хотя пространство есть понятие отвлеченное, но в самом деле существующее, не яко вещество, но как отбытие оно. А дабы убедиться в сем, то, если не оспоримо, что нужна пустота (как может без нее быть движение?), то место, или точка, где она есть, дать может понятие о пространстве, то-есть о вместилище бытия. Следует, что мысленное вещество должно где-либо находиться. А поелику каждое из них есть вещество особенное, особым бытием снабженное, то два таких вещества не могут быть на одном месте в одно время. Смейся, если лучше,

разумеешь, но воззри на себя и убедишься. Где мысль твоя живет? Где ее источник? В главе твоей, в мозгу: сему учит опыт ежечасный, ежемгновенный, всеобщий. Но разум, но мысль стоящего близ тебя неужели в тебе, в мозгу твоём, для опровержения моих доводов? Всяк имеет свою главу, свою мысль, и мысль единого не есть мысль другого, и наоборот. Вы оба, или мысленности ваши, существуют не в одном месте, следовательно, непроницательны суть. Не возражай мне, что мозги ваши суть различны, или органы мысленности суть непроницательны. Напрасно, мысленность ваша такова. И если скажешь, мысленность наша отвлекает нас от телесности, и две особые мысленности могут быть совокупны относительно мыслению! — согласен; но осмотрим. Твое воображение клокочет и кипит, и где бы ты мысленно ни носился, пускай возницы твои легче звука и быстрее света, о, тварь, се точка, и ты на ней!

Ступим шаг еще в изъяснении площадных наших доводов. Я скажу, мысленность твоя протяженна, мысленность твоя имеет образ. Вижу, вижу, смеешься, хохочешь, влечешь за собой меру и вопрошаешь: которой геометрической фигуре она подобна? Помедли и суди сам.

Протяженность есть то свойство вещества, вследствие коего оно занимает место в пространстве. Дадим еще оружие против себя. Протяженность есть то, что измерению подлежит. А поелику все, что измерению подлежит, имеет предел, то определенная протяженность или измеримость есть образ. Что мысленность твоя в мозгу заключена, о том, надеюсь, не будешь спорить; что она не извне на мозг действует, и то, кажется, уступишь мне без прекословия; но во всем ли она мозгу, или в некоторой его части, того сказать не можем. По вскрытии черепа головного нигде знаков пребывания ее не оказывалось. Но она в мозгу, и сие для нас довольно. Положим теперь, что кубическое содержание мозга есть сто дюймов, то мысленность твоя, в которой бы части ни была, сколь бы мала ни была, хотя бы была точка математическая, содержится во сто; ибо мозг измерить, свесить можно\*. Если целое велико кажется, ставь дроби, ставь  $\frac{1}{100}$ ,  $\frac{1}{1000}$ ,  $\frac{1}{100000}$ , до возможного; все будет известная для нее дробь и измеримая.

---

\* Кто знает, что не от тяжести ли или легости происходит различие умов?

Дав протяженность мысленности твоей, дадим ей образ, сколь ни нелепо тебе то кажется; ибо, поелику образ есть определение протяженности, мозг есть протяжен, а потому и все, содержащееся в нем. Сверх того, мозг имеет сам по себе определенный образ, следует, что и содержащееся в нем образованно. *Ваятель делает сперва глиняную форму, да образует своего Аполлона.* Но каков может быть образ твоей мысленности, до того мне нужды нет, да и определить того не могу. Или изведем, что воздух и подобное ему вещество, да и всякое жидкое тело образуется по сосуду, в коем содержится. Если воздуха никто на сажень не мерил, то, кажется, для того, что содержащееся его количество в кубической сажени может содержаться равно в кубическом дюйме и растянуться на сто кубических сажен. Но если воздух неудобоизмерим, то взвесить его можно. Не бойся, не бойся, я мысленности твоей на безмен не положу. Сила электрическая, собранная в Лейденской склянице, взвешена. Кто знает протяжение и образ силы магнитныя, кто взвешивал ее? Но кто отрицать станет, что она не вещественна?

О других свойствах вещественности, поколику они могут почитаться свойствами мысленности, нужды говорить не имеем; ибо 1-е, делимость есть свойство воображенное и несуществующее; 2-е, твердость есть свойство не столь ясно утвержденное, как то кажется при первом взгляде; 3-е, бездействие есть мечта; 4-е, движение, — мысленность один из его источников разнородных; 5-е, тяжесть, или паче притяжение и отражение. Имеет ли мысленность стремление к центру земли, того не ведаю; но питание, пророждение, жизнь, любовь и ненависть что суть?

Но если надобно кому-либо на сие доказательство, то не нужна ли сила притяжения на какое бы то сложение ни было? А если сила сия имеет точку, откуда действует, то что, паче мысленности, может быть действия средю? Оно таково в самом деле . . . . .

Если мы оком размышляющим проникнем действия природы и, собрав опыты, вознамеримся отыскать в веществах различия, то не будет нужды напрягать воображение, дабы иметь какое-либо понятие о том, что едва ли мысль постигать может. Не будем творители новых веществ, а, паче, восстановив все на единой лестнице, мы явим неисчисленное вещественности разнообразие и могущество всеотца бесконечное.

Свойства вещественности, доселе предлогом нашего слова бывшие, суть токмо, так сказать, метафизические, заключались в отвлеченнейших понятиях. Но есть свойства вещественности, или паче веществ, поелику оне нам известны, кои, проистекая от их коренного сложения, заимствуют свойства состоятельных или начальных частей веществ. Для познания такового нужно говорить о началах веществ, или стихиях, и о некоторых явлениях, первое место в природе занимающих.

Показав, что свойства вещественности суть свойства мысленности, покажем, поколику вероятно, что и мысленность есть вещественности свойство, и прежде всего спросим, какие суть свойства вещества мыслящего, не поколику мы оно предполагаем гадательно, но поколику мы оно познаем самым делом.

Свойства мысленного вещества, или явления, кои к действию его относиться могут, суть: жизнь, чувствование, мышление. Сии свойства суть нечто более, нежели просто движение, притяжение и отражение, хотя сии силы в произведении сих свойств много участвуют, вероятно. Но поелику почитают, что движение и проч. не суть свойства веществ, чувствам нашим подлежащих, то да позволят мне удалиться от моего предмета и войти в некоторое рассмотрение о составлении тел вообще.

Начальные части всех тел называем мы стихии. Сии суть: земля, вода, воздух, огонь. Но в стихийном их состоянии мы их не знаем; мы видим их всегда в сопряжении одна с другою; да и все стихии, опричь земли, ускользали бы, может быть, от чувств наших, если бы земляных частиц в себе не содержали. Сколь стихии в чувственном их положении ни сложны, однако свойства имеют, отличающие их одни от других совсем; и если не дерзновенно будет оные определить, то скажем, что огонь, а может быть, воздух и вода суть начала движущие, а земля, или твердейшая из стихий, разумея все ее роды, есть движимое. Я не утверждаю, что вода, воздух и огонь, в самом их стихийном состоянии, суть вещества, движение производящие сами по себе, или суть токмо, так сказать, орудие другого вещества, деятельность им сообщающего; но они суть то самое, что в телах движение производит, что всякое сложение и разрушение без них существовать не могут, и что они гораздо более места занимают, нежели твердая стихия земля;

что в стихийном их состоянии, сколько то из опытов понимать можно, они чувствам нашим подлежать не могут, и что земляная стихия есть единая, которой, поистине, и мы вещественности принадлежать можем.

Но опыты являют нам, что есть вещества, движение производящие, или входящие в состав тел органических и других, кои, кажется, к веществам, стихиями называемым, не принадлежат. Например: свет, хотя он есть огню совокупен; сила электрическая, хотя и имеет свойство огня; сила магнитная; *стихия соли*, которая, кажется, есть всеобщий разделитель, а особливо соединяясь с воздухом и водою; и, может быть, многие другие. Наблюдая их прилежно, найдешь, что они истинную имеют силу или *энергию*; но что она есть? То может быть ей одной известно, или давшему ее стихиям.

Дабы показать, сколь разделение веществам, нами сделанное, на движущие и движимые, есть истинно и на опытах основано, войдем в некоторые подробности о стихиях и о их сложениях . . . . .

Говоря о стихиях и о некоторых явлениях, в природе примеченных, которые, кажется, принадлежат к действию веществ, от четырех признанных стихий отличающихся, мы видели, что оне, совокупляясь одна с другою, столь естество свое изменяют, что почти кажутся быть совсем другими веществами. Вода становится земле подобна, огонь твердеет, становится осязателен, не жжет и не светит, а присутствие воздуха явно единою тяжестью. В других сложениях, а особливо сохраняя свою жидкость, они удерживают отчасти свои свойства, отчасти, изменяясь, пак представляют совсем новые явления.

Средства, употребляемые природою на сложение стихий, кажутся быть многочисленны и различны, но часто в разнообразии своем, как нам известно, следуют одинаковым законам. Естествословы, не входя в дальние рассмотрения, уобщая понятия и восходя от одной отвлеченности к другой, а паче сделав себе систему и вознеждая в нее все известные факты, сказали, что общий закон, вследствие коего делаются все сложения, есть притяжение. Но хотя Бюфон и говорит, что образ производит великую разность, но кристаллизация или стеклование суть ли одно? То и другое производит сцепление, но сколь оно разнообразно, сколь разнообразно в действии! Говорят, что все тела находятся в



сложении своем токмо вследствие сцепления, и для доказательства сего употребляют известный всем опыт двух весьма гладких поверхностей; но сие сцепление есть одно из слабейших, и если не была другая сила, что удержало бы золото под молотом, что дало бы ему столь ужасное растяжение? Ужели сцепление в стекле сильнее золота?

Одно из главных средств, природою на сложение стихий и изменение их употребляемое, есть организация. В ней действуют все стихии совокупно; в ней и другие силы явственны. Анализис частей животного дает все стихии. Но тело органическое почестъ можно химическою лабораториею, в коей происходят разного рода амальгамы, сложении, разделении и проч. и производят почти новые вещества. Не говоря ни о чем другом, воззрим на сложение мозга и на продолжение его нервов. А если и то истинно, что в них существует так названная нервная влажность, сколь отменное я существо от всего другого! Одно, что в ней сходственное примечается, есть то, что она похожа на силу электрическую и магнитную. Может быть и то, что сии оба вещества, всосанные в тело, в нем амальгамируются и передвоятся, и с другими стихиями составляют нервную жидкость.

Что сия существует в организации животных, вероятно, и разные на то отыскаться могут убедительные факты.

Мы сказали, что свойства мысленного вещества суть: жизнь, чувствование, мышление. Жизнь есть то действие явления, чрез которое семя разverzается, растет, получает совершенное дополнение всех своих сил, производит паки семя, подобное тому, из коего зачалося; потом начинает терять свои силы и приближаться к разрушению. Сия сила есть ли единственно простое произведение, из сложения стихий происходящее, то можно будет утверждать тогда, когда искусством можно будет производить тела органические. Жизнь свойственна не одним животным, но и растениям, а, вероятно, и ископаемым, что побуждает заключать, что сила, жизнь дающая, есть одинакова, или, паче, одна является различною в разных сложениях. А поелику явное присутствие огня с действием жизни совокупно\*, то

---

\* По отдалении солнца вся природа мертвеет. Не умирают животные, ибо в себе заключают больше огня, нежели растения.

и не безрассудно заключать можно, что огонь есть одно из необходимых начал жизни, если он не есть самая она.

Раздраженность примечается в телах в их разделении, воскипании. Квас и все, что ферментациею называем, не есть начало раздраженности. Раздраженность примечательна уже в растениях, а, паче, в чувственнице. Есть ли она произведение силы электрической и какой другой, то неизвестно, но вероятно. Посмотри, как чувственница увыдает от малейшего прикосновения.

Чувственность есть свойство ощущать. Опыты доказывают, что она есть свойство нервов, а физиологи приписывают ее присутствию нервной жидкости. Чувственность всегда является с мысленностию совокупна, а сия есть свойственна мозгу и в нем имеет свое пребывание. Без жизни же и они бы нам не были известны. Итак возможно, что жизнь, чувствование и мысль суть действие единого вещества, разнообразного в разнообразных сложениях, или же чувственность и мысль суть действие вещества отличного, в сложение которого, однако же, входит если не что другое, то сила электрическая или ей подобная. Итак, если мысленность мы там только обретаем, где обретаем чувственность, если чувственность неразлучна с жизнью <sup>51</sup>, то не вправе ли мы сказать, что сии три явления тел суть действия единого вещества? Ибо, хотя жизнь находим мы без чувственности, а чувственность без мысли, однако кажется быть жизни сопутницею раздраженность, что есть нижайшая токмо, может быть, степень чувственности, и если чувственность и мысль не сопутницы всегдашние жизни, то по той токмо причине, что нет всегда свойственных им органов, нервов; ибо есть и таковые вещества, стоящие, так сказать, на смежности единыя жизни и чувственности, которые для того кажутся быть мысли лишены, что не имеют ее органа, мозга.

Прибавим еще и то: понеже в существо жизни входит частию составительною и, кажется, необходимою огонь; понеже в чувственности примечать можно явления, электрической силе подобные, что она действует на наши нервы, как то и сила магнитная; понеже чувственность кажется быть продолжением токмо мысленности, ибо и понятия и мысли все происходят от чувственности и органы сея суть продолжение органа мысленного, — то не ясно ли, что мысль, чувственность и жизнь суть свойства вещества

непроницательного, протяженного, образованного, твердого, и проч.; ибо огонь и сила электрическая и магнитная суть свойства того же вещества, или оное само.

Присовокупим к сим общим рассуждениям о вещественности некоторые подробности, которые объяснят и дополнят все, что о сей материи сказать можно.

«Приписывать действию особого вещества то, что может принадлежать другому, в полном действовании веществу, есть совсем излишнее и ненужное. Давать телу человеческому душу, существа совсем от него отменного и непонятого, есть не только излишне, но и неосновательно совсем. То, что называют обыкновенно душею, то есть жизнь, чувственность и мысль, суть произведение вещества единого, коего начальные и составительные части суть разнородны и качества имеют различные и не все еще испытанные. Если стихии толико могут изменяться в сложении своем, что совсем непохожи на свою первобытность, то почто заключать толико неосновательно и отрицать им действие того, где они части составительные? Успехи наук, а паче химии и физики, доказывают, что не невозможно когда-либо счастливыми опытами уловить природу в ее творительном, производительном стану. И хотя бы чувственность и мысль были силы от всех известных нам отличные, то как быть столь скорым в решениях наших и отрицать, что не вещественности они суть свойства и сей никак принадлежать не могут, ибо ей суть будто противоречущи?»

«Не удивительно, что те, которым природа, так сказать, чужда, кои никогда на нее не обращают ока внимательного, не удивительно, что возмечтали быть себя бессмертными. Не удивительно, что бедствием гонимые <sup>52</sup>, преследуемые скорбию, болезнию, мучением, ищут прибежища превыше жизни. Но то казаться будет всегда странным, что те, коих природа есть упражнение всегдашнее, те, кои наипаче проникли в ее сокровенности, те, кои в разыскании ее таинств находят свое увеселение, что и те, когда дойдет до решения между конечная смерти и возрождения, всегда к нему прилепляются. Столь слабость наша велика, столь возлюбяет человек бытие свое, столь боится разрушения! Сему и быть так должно, ибо во младенчестве, в детстве, в юности, во младости мы окружены всегда предметами, к жизни нас прилепляющими, окружены предубеждениями, о будущей жизни твердящими. И когда настают возмужа-

лые лета, то совершенство жизни затмевает разрушение и его или представляет почти невероятным, или отвлекает мысли от сих предметов. Да и те, которые убедятся в противном, приспев ко гробу и чувствуя нечто необычайное, вдруг обращаются к мыслям, приобретенным в лета безрассудительные. Тот, кто совершенно и беспрестанно был блажен, тому жаль расстаться с утешительной и веселия исполненной жизнью, и для того мнит продолжать ее бессмертием. Тот, который изнемогает под тяжестью превратного счастья, тот в кончине своей зрит оным конец и, вкушав утехы когда-либо, мнит, что и оные возродятся, и сердце, надеждою упоенное, отлетает в вечность».

«Но повторю: как отыскатели деяний природы могут ошибаться в ее действиях! Пройди всю жизнь человеческую от рождения его до кончины: чувственность и мысль следуют телесности в развержении ее, укреплении, совершенствовании, расслаблении, изнеможении, и когда рушится одна, престаёт действие и другая».

«Что мыслит родившийся, что чувствует он? Мысли совсем непричастен, чувственность весьма слабая. Но тело начинает приращаться, и с ним чувственность и мысль. Оно укрепляется, и купно с ним чувственность и мысль. Не лучшее ли время для мысли и чувственности есть то, когда тело, получив полное свое приращение и укрепившись всеми силами своими, находится в полном и цветущем здравии? Но болезни объемлют тело, скорбь мозжит его и сверлит, силы его ослабевают, с ними и душевные. Посмотри на совершившего течение жизни: какая степень осталась в нем чувственности и мысли? Одна изгладилась, другая равняется младенчеству. Почто рыдаешь? Се одр твой, се покой тела твоего! все начала состава его притупилися, и рушиться им должно. Почто же плачешь о неизбежном, почто убегаешь неминуемого? когда жизнь прервется, увянет и чувственность, иссякнет мысль, и всякое напоминовение прелетит, яко легкий дым. Жалеешь о блаженстве своем, то ужели жалеешь и о бедствии и скорбях? Возвесь все минуты печали, болезни и превратностей, и противоположи им минуты радости, здравие и благоденствие; увидишь, что чаша злосчастия всегда претянет чашу блаженства. То и другое суть удобоисчисляемы, и заключение верно. О чем же сетуешь? Воскликни: се час мой! скажи: прости! и отыди».

«Но прежде, нежели преступим к другим предметам, радования и надежды исполненным и отгоняющим отчаяние из сердца и разума, истощим все доводы и притупим, так сказать, тем самым стрелы, душу умерщвляющие».

«Защитники души безвещественныя, несложныя и потому бессмертныя, говорят: человек имеет два уха, два глаза; осязательность его рассеяна по всей поверхности его тела; но чувство внутреннее, от разных чувств происходящее, но мысль, от чувств рождающаяся, есть неразделима, но сведение самого себя, столь живое, столь ясное, всегда едино, просто, неразделимо; а сие побуждает заключать, что вещество, к коему оно принадлежит, также есть простое и неразделимое. А поелику неразделимое разрушиться не может, то заключить должно, что душа, по разрушении тела, пребудет неразделима, следовательно, она есть безвещественна, а потому и бессмертна».

«Скажи, возражатель, неразделимость и вечность мечтающий, скажи и истолкуй мне: как вещество простое может действовать на сложное; как действует непротяженное на протяженное? И еще того непонятнее: как непротяженное заключается в протяженности; ибо ведаем, что понятие протяженности есть неразделимому противоречащее? Как безвещественная и непротяженная твоя душа заключена в протяженное твое влагалище, того я не знаю и молчу; да и ты не знаешь и быти ей утверждаешь. Желая сделать душу, от тела твоего совсем отличную, простую, неразделимую, ты ее делаешь веществом совсем мысленным. Она уже не вещество, единственно отвлечение, точка математическая, следовательно, воображение, сон, мечта. Вещество неразделимое, простое, словом, душа твоя, есть ничтожество, бессуществование, небытие; ибо кто видал, кто ощущал, если не в мечтании, что-либо несложное, простое, неразделимое? Да и как нам себе его представить? Когда хотим изобразить точку, то говорим, что она есть конец линии. Чему же душа твоя есть окончание? Мне кажется, о, ты, бессуществование утверждающий! что житие, что услаждение телесные и мысленные тебе наскучили: оставь же нас и отыди в своя превыспренняя и веселися».

«Скажи, о, отрицатель вещественныя души! скажи, отчего находишь столь невозможным согласное действие всех чувств твоих и всех органов? Все, что существует, имеет свою цель, и все его части, способности и силы суть к одной

обращены. Не в мысленности ли ты существуешь? Для чего же ты думаешь, что чувства твои, что органы не для нее суть, и она не от них? Или скажешь, что музыкальное благогласие невозможно, ибо звук единственный, *нота* музыкальная, неблагогласны суть? Из того, что пальцы твои на струнах скрипичных не умеют двигаться искусственно, ты заключаешь, что стройная звучность ей несвойственна. Не заключишь ли, что поелику единственная частица воздуха не может производить звука, что он не есть произведение воздуха? или, что синяя или красная отделенность луча неудобна на произведение света, что все семь отделенностей, составя луч, свет производить неудобны? Безумный! ты скоро скажешь, что и жизнь в человеке есть невозможность, ибо каждая часть тебя не есть жизнь. Смотри, куда ты забрел! не завидую тебе, поистине, ни твоей мысленности. Кто рыщет в мечтании, недостойн, чтобы оно было отлучен. Чувственность местию не замедлит; вощанные твои крылья растают от ее жаркости и, новый Икар, залетевший, куда сам не ведаешь, падешь».

«Скажи, вопрошу паки, как могли в мозг твой войти сия чрезыестественная души твоей простота и неразделимость? Возьми столь художественно изобретенное орудие на показание и деление времени, ударь его о камень, где будет сей почти разумный времени указатель? Или в каждой части? Металл, из коего он сложен, не возможен того без соразмерности в частях его, колесах и пружинах. Но ты паки говоришь, что душа твоя неразделима! Но звук, но благогласие делимы ли суть? Орудия, оные производящие, суть делимы, суть сложны; но не действие их, не произведение. Не от чувств ли ты мысль свою получаешь? мысль твоя неразделима; но неужели неразделимы твое ухо, око, нос? Итак, произведение твоих чувств неразделимо, и скажем твоими словами: душа твоя неразделима. Согласен, что из одной души нельзя сделать двух душ; но следует ли из того, что с разрушением твоих органов и душа разрушиться не может? Разрежь, говорит Пристлей<sup>53</sup>, один шар на двое, выдут ли из того два шара? Выдут две половины, но шара не будет».

«Ужели так трудно тебе вообразить единственность чувствования и мысли, и того, что ты душою называешь, не саму по себе единственную, простую и неразделимую, но единственную и неразделимую яко действителю твоих органов и твоего

сложения? Вообрази себе сие нравственное, сие соборное вещество, которое мы называем общество; представь себе сенат римский или афинскую площадь. Колико частей! колико пружин! колико действий! но все идет к единой цели, все общественного жития стяжают, все мыслят одно, одного желают. Я пример тебе даю, уподобление представляю, а не сравнение. Но все твои усилия, чтоб отделить душу твою от тела, напрасны суть и бессильны».

«Не с телом ли растет душа, не с ним ли мужает и крепится, не с ним ли вянет и тупеет? Не от чувств ли ты получаешь все свои понятия и мысли? Если ты мне не веришь, прочти Локка. Он удивит тебя, что все мысли твои, и самые отвлеченнейшие, в чувствах твоих имеют свое начало\*. Как же душа твоя без них может приобретать понятия, как мыслить? Почто бесплодно делать ее особым от чувственности веществом? Ты похож в сем случае на того, кто бы захотел дать душу носу твоему, дать душу уху, дать ее глазу, а в осязательности твоей было бы столько душ, сколько точек есть на поверхности твоего тела. Неужели на всякое деяние тела дадим ему душу? Гортань моя возгласит песнь, и я скажу, что есть во мне вещество поющее; отверзу уста и возглаголю, а ты скажешь, что есть во мне вещество говорящее, и только для того, чтобы от телесности отбыть. Странник! ты чуждаешься матери твоей, отрицаешь чувствам мысленности происхождение. Все познания твои приходят к тебе от чувств твоих, и ты хочешь, чтоб мысленность моя была им чужда, имела существо, им совсем противоречущее».

«Но откуда возмечтал ты, что душа твоя не есть действие твоих органов, что она бестелесна? Вниди в себя и вонми, колико телесностей на нее действуют. Все чувственные предметы, все страсти, болезнь, жар, стужа, пища, питье, — всё душу твою изменяет. Всё телесно есть; она страдает, а не тело. Может ли знать душа твоя, сие высшая степени вещество, какая мысль в ней возродится чрез одно мгновение, чего она возжелает? Может ли она, если она тела твоего управитель, может ли знать, какое будет его движение чрез час един и какое язык его произнесет слово? Окружен-

---

\* Здесь противоречия нет против сказанного выше, где говорится, что *отвлечение* есть действие рассудка. Мы здесь говорим, где кой ень поиятий отвлеченных.

ная со всех сторон предметами, она есть то, что они ей быть определяют. Если бы они не извещали чувства твои, что ты существуешь, если бы ты чувств лишен был (но того ли ты и желаешь, желая бессмертия?), не известен бы ты был, что ты есть, что существуешь; ибо никакая мысль в тебе не могла бы возродиться».

«Не токмо внешность, но вся внутренность царствует над твоею душою. Когда страсти возжгут огонь в крови твоей, когда неведомое какое беспокойствие обмет всего тебя, и ты, презирая все на свете и самую жизнь, течешь во след предмету, страстию вожделенному, где тогда душа твоя? Где сей устроитель твоея телесности, сей судия твоих деяний, сей царь, где он? Иногда, иногда возвысит он глас, и мечта всемогущества думает страсть усмирить мановением единым, как Эол<sup>54</sup> усмирал бунтующие ветры. Но сии непокорливые его подданники, восстав с новою на него свирепостию, влекут его и, как новая Армида<sup>55</sup>, заключают в цветящиеся и неощущаемые оковы».

«Но не токмо страсти умерщвляют твою душу; все потребности твои, все недостатки властвуют над нею произвольно. Ощущал ли ты когда-либо терзание глада? Ведаешь ли всю власть желудка твоего над твоею мысленностию? Когда он тощ, тело твое изнеможет, и душа ослабеет. Но ты скорее знаешь действие пресыщения. Когда избыточные соками питательными яства обильный хил влиют в твои жилы, и естественность в тебе обновляться начнет, ты знаешь то, сколь слаба тогда мысль твоя. Но вижу то, пресытился питием: обезображено лице, искажены взоры, язык коснеет, или и душа твоя причаствовала в чаше Вакха? О, вещество бестелесное! если чему другому ты неподвластна, то пьяные пары, конечно, сильно на тебя действуют. Когда ты, о, любитель духовных веществ! усумнишься в своей вещественности, то войди в сонм пьяных. Верь мне, скоро, скоро убедишься, что с телом и душа пьянеет».

«Мне скучно становится собирать еще доводы на то, что столь ясно кажется. Но я еще обращаю взор твой на тебя самого. Если ты не убедился о своей вещественности тем, что видел душевные силы возрастаемы с телесными; что они расширены стали удобренным воспитанием; что воображение есть плод страны, где жительствоуешь; что память твоя единственно зависит от твоего мозга, и когда он



старится и твердеет, тогда и память теряет свою способность; что суть способы телесные на ее расширение, и что внимание твое утомляется напряжением: если все сие не есть тебе доказательством, войдем со мною во храмину, уготовленную человеколюбием для страждущего человечества, в хранилище болезней. Не содрогается ли, не немеет ли вождь твой духовный от сего зрелища? Если ты нетрепетно восходил на стены градские и презирал тысячи смертей, окрест тебя летавших, то здесь весь состав твой потрясется! Ты зришь твое разрушение, ты зришь конечную и неминуемую твою смертность. Не тужи о воспаленном огневицею, не жалей о лишенном ума: они варяют в мечтаниях. Верь, они нередко нас блаженнее. Болезни своей они не ведают, и душа веселящихся полна мечтаний. Но содрогнись на беснующегося, вострепещи, взирая на имеющего в мозгу чирей! О, душа, существо безвещественное! что ты и где ты? Если все доводы Эпикура, Лукреция и всех новых их последователей слабы будут на свержение твое с возмечтанного твоего престола, то желающий убедиться в истинном ничтожестве своем найдет их в первой больнице в великом изобилии».

«Если и сего тебе мало, то соглядай вседневное свое положение, когда утомленное твое тело ищет покоя. Воззри на сон. Если хочешь вообразить, что душа твоя есть раб твоего тела, и каково будет состояние ее по смерти, то рассмотри, что есть сон, и познаешь. Первое, когда мечты исполняют главу твою, скажи, властен ли ты на их произведение? Сновидения твои столь же мало от тебя зависят, как и от твоего понятия. А если можно тому верить, что сновидение есть начало пробуждения и производится внешним чем-либо, то предварено твое возражение, когда хотел сновидение отнести к действию твоей души. Но рассмотри себя, когда пары, подъемлющиеся от желудка твоего, не тревожат мозга, когда сон твой покоен и крепок, ты не только не чувствуешь, но и мысль твоя недействительна. А если и то тебя не убеждает, посмотри на тех, коим болезни дают сон долговременный; спроси у них, мечтали ли они что-либо? Или думаешь, что в решении задач математических упражнялись? Впоследние скажу, воззри на объятого обмороком и чувств лишенного. Если когда-либо излишне испущенная кровь повергала тебя в таковое положение, то знаешь ты, что смерть есть, и что душа твоя от жала ее не

ускользнет. И как хочешь ты, чтоб я почел душу твою существенностию, от тела твоего отделенною, веществом особым и самим по себе, когда сон и обморок лишают ее того, что существо ее составляет».

«Скажи, о, ты, желающий жить по смерти, скажи, размышлял ли ты, что оно не токмо невероятно, но и невозможно? Вообрази себе на одно мгновение, что ты уже мертв, что тело твое разрушилось. Ты говоришь, что душа твоя жива. Но она лишена чувств, следовательно лишена орудий мысли, следственно она не то, что была в живом твоём состоянии. И если состояние ее изменилось, то вероятно ли, что она ощущать и мыслить может, чувств лишённа? А если душа будет в другом положении, то следует, что ты в душе своей будешь не тот человек, который был до смерти. Ведаешь ли, от чего зависит твоя особенность, твоя личность, что ты есть ты? Помедлим немного при сем размышлении. Сие мгновение ты, посредством чувств, получаешь извещение о бытии твоём; в следующее мгновение то же чувствуешь; но дабы уверен ты был, что в протекшее мгновение чувствование происходило в том же человеке, в котором происходит в настоящее мгновение, то надлежит быть напоминовению; а если человек не был одарен памятию, то сверх того, чтобы он не мог иметь никаких знаний, но не ведал бы, что он был не далее, как в протекшее мгновение. Если по смерти твоей память твоя не будет души твоя свойство, то можно ли назвать тебя тем же человеком, который был в жизни? Все деяния твои будут новы и к прежним не будут относиться, то что успеешь, жил ли прежде или жив будешь по смерти? Жизни сии не суть единое продолжение; они прерываются. Жить вновь и не знать о том, что был, есть то же, что и не быть. Забвенное для нас не существовало. Что не можно душе твоей сохранить памяти, о том читай многочисленные и убедительные примеры в книгах врачебных. Памяти престол есть мозг; все ее действия зависят от него, и от него единственно; мозг есть вещественность, тело гниет, разрушается. Где же будет память твоя? Где будет прежний *ты*, где твоя особенность, где личность? Верь, по смерти все для тебя минуется, и душа твоя исчезнет.

«По смерти все ничто  
И смерть сама ничто.  
Ты хочешь знать то, где

Будешь по кончине?  
Там будешь ты, где  
Был ты до рожденья».

*Сенека, в трагедии «Троады»<sup>56</sup>.*

«Итак, если мозг и глава нужны для мышления, нервы для чувствования, то как столь безрассудно мечтать, что без них душа действовать может? Как может она быть, когда она их произведение, а они к разрушению осуждены? Не токмо не можно вообразить себе, что есть такое вещество простое, неразделимое, дух; но и того вообразить нельзя, чтобы они были по разрушении, хотя бы и существовали».

«Ведай, что всякое состояние вещества, какого бы то ни было, естественно предопределяется его предшедшим состоянием. Без того последующее состояние не имело бы причины к своему бытию. Итак, предрожденное состояние человека определяло его состояние в жизни, а жизненное его состояние определяет, что он будет по смерти. До зачатия своего человек был семя, коего определение было развержение. Состояние жизни приуговляло распложение и разрушение. Когда же жизнь пройдет, почто мечтать, что она может продлиться? Человек вышел из семени, и состав его рассеменится по сложению стихий, его составлявших. И если по справедливости заключить можем из состояния человека до начатия его жизни о состоянии по скончании ее, то поелику он не имеет воспоминания, что существовал в семени, то не может иметь воспоминания по смерти о том, что был в жизни».

«Итак, о, смертный! оставь пустую мечту, что ты есть удел божества! Ты был нужное для земли явление вследствие законов предвечных. Кончина твоя приспела, нить дней твоих прервалась, скончалось для тебя время и настала вечность!» ———

О, ты<sup>57</sup>, доселе гласом моим вещавший, тиран лютейший, варвар неистовый, хладнокровный человеконенавидец, изыскательнее паче всех мучителей на терзание! Жестокостию твоею и зверством ты превышаешь Тиверию, Нерона, Калигулу, всех древних и новых терзателей человечества! Чем свирепствовать могли они над беззащитною слабостию? Могущество их простиралось на мгновение токмо едино; владычество их за жизнь не заграбляло. Терзанию, болезням, изгнанию, заточению, всему есть предел

непреоборимый, за которым земная власть есть ничто. Едва дух жизненный излетит из уязвленного и изможденного тела, как вся власть тиранов утщется, все могущество их исчезнет, раздробится сила; ярость тогда напрасна, зверство ничтожествовать принуждено, кичение смешно. Конец дней несчастного есть предел злобе мучителей и варварству осмеяние. Но ты, простирая алчноотерзательную твою десницу за кончину дней моих, не мгновенного лишаешь меня блаженства, не скоропретекающего радования, не веселия бренного и скоролетящего. Подавляющая меня твоя рука тяжелее гнетет увядающее сердце, нежели все тяжести земные, свинец и золото и чугун. Жестокосердый! ты лишаешь даже надежды претертую злосчастьем душу, и луч сей единственный, освещавший ее во тьме печалей, ты погашаешь. Лишенного на земле утех, не ожидающего веселия ни на мгновение уже едино, ты ограбляешь его надеяния возродиться на радость и на воздаяние добродетели; ты лишаешь его будущия жизни. Ужель гонители Сократа на равную с ним участь осуждены? Ужель ничтожество есть жребий всех добродетельных и злосчастных?— Но откуда твое дерзновение, откуда власть твоя, откуда веселие, разрушающее покой мой и надеяние? Или не ведаешь, что может отчаяние человека, лишенного семейства, друзей и всякия утехы? Не скроют тебя от карающих руки ни вертепы, ни леса дремучие, ни пустыни! мщение тебя преследует, настигнет тебя, веселием упоенного, и, отъемля у тебя даже средства к утехе, радованию и упокоению, исторгнет из сердца твоего более самую жизни. Я мысль даже в тебе претру надежды будущего, и вечность отлетит— — по что успею я? О, тигр! ты ее не чаешь!

*Конец второй книги.*

---

## КНИГА ТРЕТИЯ

**Д**оселе, возлюбленные мои, я, собирая все возможные и употребительные доводы, смертность души утверждающие, старался дать им возможную ясность и поставить их во всей их блистательности и прелестности, дабы тем явнее могла быть их слабая сторона, если она есть, и оказалось неправильное суждение, если где оно возгnezдилось. Обтекли всю мысленность и телесность человека и проникнув даже до незримых начал вещей, мы видели только то, что нужно было видеть, дабы снискать доказательство предложенной задачи. Теперь возвратимся паки по протекшему пути и соберем все, что найти можем на подкрепление противного мнения и постараемся восстановить человечество в ту истинную лучезарность, для коей оно кажется быть создано. О, истина! непреложный орган всевышнего! спусти на блуждающего во мнениях хотя единый луч предвечного твоего света, да отлетит от меня блуждание, и тебя да узрю!

Желающему вникать в размышления о смертности и бессмертии человека, я бы нелицемерный подал совет стараться быть часто при одре умирающих своей или насильственной смертию. А тому, кто сам находился в преддв-

рии вечности, имея полный и ненарушенный рассудок, тому в совет бы я дал в суждениях своих о смертности и бессмертии человека быть гораздо осторожным. Первый научиться бы мог познавать, что есть смерть; другой, бывши ее близок, мог бы рассуждения свои сопровождать внутренним своим чувствованием; ибо верьте, в касающемся до жизни и смерти, чувствование наше может быть безобманчивее разума. А тот, кто ее не предчувствовал николи, хотя и может иногда угадать то, что другой всею внутренностию ощущает, но чаще, основав убеждение свое на слышанном и изученном, он ему токмо изыскивать будет доказательства для убеждения других в том, в чем сам убежден был не чувствованием, не рассудком, а токмо, так сказать, наслышкою.

Я всегда с величайшим удовольствием читал размышления стоящих на воскраии гроба, на праге вечности, и, соображая причину их кончины и побуждения, ими же вождаемы были, почерпал многое, что мне в другом месте находить не удавалось. Не разумею я здесь воображенные таковые положения, плод стихотворческого изобретения, но истинные таковые положения, в коих, по несчастию, человек случается нередко. Вы знаете единословие или монолог Гамлета Шекеспира и единословие Катона Утиксского у Аддисона<sup>58</sup>. Они прекрасны, но один в них порок — суть вымышленны.

Посторонний, а не вы, может меня спросить<sup>59</sup> вследствие моего собственного положения: какое право имею я говорить о смерти человека? — Вопрос не лишний! и я ему скажу... Но, друзья мои, вы дадите за меня ответ вопрошающему, а я возвращусь к моему слову.

Вопросим паки, что есть смерть? — Смерть есть не что иное, как естественная перемена человеческого состояния. Перемене таковой не токмо причастны люди, но все животные, растения и другие вещества. Смерть на земле объемлет всю жизненную и нежизненную естественность. Знамение ее есть разрушение. Итак, куда бы мы очей своих ни обратили, везде обретаем смерть. Но вид ее угрюмый теряется пред видом жизни; стыдящаяся кроется под сень живущего, и жизнь зрится распростерта повсюду.

Но дабы в незыблемом паки утешении устремить взоры наши к неиссякаемому источнику жизни и к непрестанно

обновляющемуся ее началу, отвратим око наше от жизни и прилепим его к тому, что свойство смертности составляет. В изъяснении, данном нами смерти, мы называли ее переменою; и понеже смертная перемена есть общая в природе, то рассмотрим, что есть перемена вообще.

Вещь, говорим, переменяется, когда из двух противоположных определений, которые в ней произойти могут, одно перестает, другое же начинает быть действительным; например: темно и светло, легко и тяжело, порок и добродетель. Итак, перемена вообще есть прехождение от одного противоположного определения вещи к другому. Но из шествия природы явствует, что во всех переменах, в оной случающихся, находится между противоположностями всегда посредство, так, что если в ней преходит что из одного состояния в другое, первому противоположное, то между сими двумя состояниями находится всегда третье, или состояние среды, которое не иное что быть кажется, как продолжение первого состояния и изменение вещи постепенное, доколе не дойдет она до состояния противоположного. Но и сие состояние, поелику есть токмо последствие из предыдущего, можно назвать продолжением. Итак, утвердительно сказать можем, что будущее состояние вещи уже начинает существовать в настоящем, и состояния противоположные суть следствия одно другого неминуемые. Если мы хотим сие представить себе чувственно, то вообразим что-либо начинающее свое движение колообразно, которое, двигаясь в одинаковом всегда от центра отдалении, движется до тех пор, пока, дошед до того места, откуда началось его движение, останавливается. Следственно, между первую точку, где началось движение, которую назовем настоящим состоянием вещи, до той точки, где движение ее скончалось, которую назовем состоянием противоположным, существуют столько состояний, чрез которые вещь проходить имеет, сколько суть в окружности точек. Следовательно, когда движение вещи началось от одной точки и быть долженствует колообразно, то без препятствия особой силы движение вещи колообразное продолжится до точки последней, следовательно, последняя точка есть произведение первой. Или желаете другой пример. Возьмите яйцо; вы знаете, что оно посредством насижения может оживотвориться и быть птицею. Но виден ли в яйце цыпленок, хотя не сомневаемся, что он в нем содер-

жится? А если захотим преследовать прехождение яйца в цыпленка и ежедневно будем наблюдать его, то увидим постепенное его приращение. Сперва окажется начало жизни — сердце, потом глава, потом стан и другие части тела постепенно до того часа, как чрез 21 день созрев на ишствие, он проклюнет скорлупу яичную и, явися пред создавшим свет живым уже существом, воскликнет аки бы: се аз на прославление твое! Из сего примера усматриваете, сколько состояний пройти имеет яйцо, дабы быть цыпленком. Из сего же видите, что все сии состояния суть непрерывны и выходят одно из другого естественно. Следственно, состояние яйца и цыпленка суть притекающие одно от другого; следственно, насижением из яйца цыпленок выйдет, если в том что не воспрепятствует. Таково есть шествие сил естественных, что они, прияв единожды свое начало, действуют непрестанно и производят перемены постепенные, которые нам по времени токмо видимы становятся. Ничто не происходит скоком <sup>60</sup>, говорит Лейбниц, все в ней постепенно.

Из всего предыдущего следует, что все переменяющееся не может быть непременно ни на единое мгновение. Ибо все переменяющееся (буде оно таково в самой вещи) иметь долженствует силу действовать или способность страдать; но действуя или страдая, становится оно не то, что было. Итак, что может воспятить стремлению перемены? Кто может? Разве тот, кто дал природе силу, кто действие ей дал, движение и жизнь. Вообрази себе напряжение всего, вообрази глубоко насажденную в естественности действительность и вещай, что может ей противостать. Катится время беспрерывно, усталости не знает, шлет грядущее во след претекшему, и все переменяющееся является нам в новый образ облеченно.

О, мера течения, шествия премен и жизни! о, время! помедли, помедли на мгновение хотя едино! — Се безрассудное желание многих, се желание внимающих гласу своих страстей и прихотей и отвращающих рассудок свой от познания вещей. Но время, не внемля глаголу безумия, течет в порядке непрерывном. Нет ни единого в нем мгновения, которое бы возможно было себе представить отделенно, и нет двух мгновений, коих бы предела ознаменовать возможно было. Не в след текут они одно другому, но одно из другого рождается, и все имеют предел един и общий.



Наималейшее мгновение разделить можно на части, которые все свойству времени причастны будут; и нет двух мгновений, где бы третье вогнездить было невозможно. А поелику время есть мера деянию и шествию, то нет двух состояний вещи, между коими бы невозможно было вообразить третье, или, паче сказать, нет двух состояний, между которыми бы назначить можно было предел; ибо едва одно скончалось, другое уже существует. И сие шествие столь стесненно, столь неразрывно, что мысль наша за ним идти может токмо во след, а не одинаковою высотой; ибо вообрази себе мгновение и состояние вещи в нем, как оно уже претекло, и ты мыслишь уже в другом мгновении, и вещь находится уже не в том, в коем о ней ты мыслить стал, и мгновение уже позади тебя.

Приложим сие понятие о перемене к смертности человека. Жизнь и смерть суть состояния противоположные, а умирание средовое, или то состояние, чрез которое скончается жизнь и бывает смерть. Мы видели, что во времени нет и быть не может отделения; мы видели, что и в состояниях вещи разделения существенного нет, и когда движение началось, то непрерывно есть, доколе не скончается. И поелику перемена есть прехождение из одного состояния в противоположное ему чрез состояния средние, одно из другого рождающиеся, то жизнь и смерть, поелику суть состояния противоположные, суть следствия одно другого, и можно сказать, когда природа человека производит, она ему готовит уже смерть. Сия есть следствие той, и следствие неминуемое. И если бы мы имели о вещах познания нутрозрительные, то бы сия великая перемена в одушевленном, как то: прешествие от жизни к смерти, нам менее отделяющеюся казалася, нежели отделения дня от ночи\*, ибо и сии существуют для того, что не можем им преследовать. Но представь себя, текущего по поверхности земли к западу ее, то-есть в противную страну ее обращения; представь шествие свое шествию земли равно скорое, то, начавши течение свое во время, например, полуденное, пребудешь в полудни чрез целые сутки и, пришед паки на то место, откуда началось твое шествие, найдешь паки время полуденное. Из сего примера видим, что перемены суть токмо для

---

\* Примеры чувств. Увеличь взоры микроскопом, увидишь на руках дыры; в чистой воде суть чудовища живые.

нас столь отделенны в прехождениях своих, а не суть таковы по существу вещи.

Итак, не безрассудны ли наши стенания и вопль при умирании человека, если мы знаем и если уверены, что, родившись сдиножды, умереть ему должно? Сколь справедливее было некогда обыкновение рыдать при рождении младенца, по смерти же радоваться и расстание с умершими препровождать в пиршествах и веселиях. Когда неумолимая смерть прострет на чело мое мразное свое покрывало и узрите меня бездыханна, не плачьте, о, возлюбленные мои, не плачьте! Помыслите, что смерть уготована была при рождестве, что она неизбежна, что яко бдение уготовляет сон, а сон уготовляет бдение, то почто не мыслить, что смерть, уготованная жизнию, уготовляет паки жизнь? — Столь в мире все непрерывно. О, возлюбленные мои! восторжествуйте над кончиною моею: она будет конец скорби и терзанию. Исторгнуты от ига предрассудков, помните, что бедствие не есть уже жребий умершего.

Поелику душа и тело находятся в теснейшем союзе, как то явствует из всех их взаимных деяний, то вероятно, что смерть или скончание жизни равно касается того и другого; и если смертию изменяется тело, что видим из простого наблюдения, то должно думать, что изменяется и душа; а поелику телесности отторженная душа чувствам нашим подлежать не будет, то, что ей последует по отделении ее от тела, надлежит постигать единым рассудком.

Опыты нам показывают, что во всех органических телах суть три состояния или время в их бытии. Первое, когда органическое тело начинает подлежать чувствам нашим, то-есть рождение его и жизнь; второе, когда чувства наши не ощущают в теле органическом жизненных движений, то-есть смерть; и третье, когда вид и образ органического тела изменяются и от понятия чувств исчезают: сие называем разрушение, согниение. Но сии состояния суть для чувств наших токмо отделенны, в естественности же каждая из них есть токмо звено непрерывной цепи перемен, то-есть постепенные развержения и облечения одной и той же вещи в несчетные виды и явления. Итак, повторим, что жизнь и смерть и даже разрушение в своей существенности не столь разделенны, как то кажется нашим чувствам; они суть токмо суждения наших чувств о переменах вещественных, а не состояния сами по себе. Се первый луч надежды,

о, возлюбленные! да торжествуют несчастные! се смерть им предстоит, се конец терзанию, се жизнь новая!

За смертью тела следует его разрушение. По разрушении же тела человеческого, части, его составлявшие, отходя к своим началам, как то мы сказали прежде, действовать и страдать не престанут, ибо не исчезнут. Между бытия и небытия есть посредство, вследствие того, что сказали выше; следовательно, одно не есть следствие другого непосредственное; следовательно, после бытия небытие существовать не может, и природа равно сама по себе не может ни дать бытия, ни в небытие обратить вещь, или ее уничтожить.

Душа, находясь в теснейшем союзе с телом, следует всем переменам, с телом случающимся, и, участвовавши в веселиях его и печалях, в здравии его и болезни, достигнет постепенно до того мгновения, когда тело умрет. Но умрет ли и душа с телом, и есть ли на сие возможность? Буде умереть она долженствует, то или все силы ее и могущества, все действия ее и страдания перестанут вдруг, и она исчезнет в одно мгновение; или, яко тело, подверженное тысяче перемен, испытает она разные образования; и в сем последствии перемен будет эпоха, когда душа, изменяясь совсем, не будет душа более и, яко тело, разделяясь на части, перейдет в другие сложения. Третье кажется быть невозможным, ибо природа, как то мы видели, ничего не уничтожает<sup>61</sup>, и небытие или уничтожение есть напрасное слово и мысль пустая.

Обеспокоенные в невозможности небытия, мы рассмотрим вероятность разрушения души.

Если бы душа подвержена была всем переменам, которым подвержено тело, то бы, как то мы сказали, можно было назначить мгновение, когда она совсем изменится и, яко тело, разрушаясь, не будет тело, тако и душа, теряя все свои силы по-малу, распадется и не будет более душа. Но когда имеет быть сие мгновение? Разве тогда, когда не нужна она более телу, в коем испорченные органы, неспособные на содержание жизни, отчудятся и души, тогда разве душа исчезнет. Но мы видели, что тело не исчезает, что нельзя почти сказать теперь: умирает животное; ибо видели, что рождение его смерть уже ему уготовляло и разрушение. Итак, разве душа, теряя по-малу свои силы, с телом будет подвержена единому жребию. Когда

тело здраво и в крепости, равно и душа; тело изнемогло и заболело, равно и душа; тело умирает и распадается на части, что же будет с душою? Орудия ее чувствования и мысли разрушились, ей уже не принадлежат, весь состав уже разрушился; но ужели в ней все опустеет, все пропадут в ней мысли, воображения, все желания, склонности, все страсти, — все, и ни малейшего следа не останется? Не можно сего думать; ибо не иное сие бы было, как совершенное ее уничтожение. Но поелику силы природные, как то мы видели, на уничтожение не возмогают, то душа пребудет навсегда неразрушима, во веки не исчезнет. И поистине, как себе вообразить, как себе представить части души и неминуемое их прехождение, преобразование (полагая, что оне суть)? Части тела разрушаются, разделяются на стихии, из коих составлены были, которые паки преходят в другие составы. Части тела могут по чреде быть земля, растение в снадь животному, которое будет в снадь человеку; следовательно, человек, умерший за несколько лет прежде, будет частию существовать в другом последующем человеке. Но что будет из частей души? Какие суть стихии ее сложения, если бы она сложена быть могла? Куда прейдут сии стихии? — Не время еще ответствовать на сии вопросы; но можете видеть, сколь ответы гадательны быть должны.

Следствие всего предыдущего есть, что душа во веки не разрушится, не исчезнет, что существовать будет во веки; ибо, как бы далеко небытие от бытия ее ни отстояло, но таковое прехождение не может основываться ни в существе единых вещи, ни в существе сложных. Но если душа во веки жива пребудет, то будет ли она страдать и действовать? Страдать и действовать для души есть мыслить, желать и чувствовать; ибо сии суть действия и страдания мыслящего вещества. Но как возможно душе, от тела отделенной, чувствовать и мыслить; ибо орудий чувствования и мысли будет она лишена? Сие так кажется. Но понеже душа уничтожению не может быть причастна, то мысль свойственна ей пребудет, как и бытие; ибо, какое вещество то бы ни было, всякое действует вследствие своих сил и способностей, то ужели одна душа будет сил лишена и, яко первобытная вещественность, недвижима и недействующая?

В дополнение вышесказанного присоедините и следующее размышление. Что научает нас, что мы без чувственности не могли иметь понятий, что сии суть единственно произведения ее и что самые отвлеченнейшие понятия первое начало свое имеют в чувственности? Ответ на сие самый легкий и простой: учит тому нас опыт. Но какие же имеем мы опыты, чтобы заключать, что душа в отделенности от тела будет лишена чувствования и мысли? Никаких, поистине, не имеем и иметь не можем; то и заключение наше о сем неправильно будет, и мы отрицать станем силу в природе потому только, что она нам неизвестна. Точно бы так сие было, если бы житель Египта, видя всегда зыбкую поверхность Нила, заключал, что невозможно вообще, чтобы поверхность воды твердела. Сколь сие суждение нелепо, участвующим жаркого и мразного небесного пояса внятно. Но оно основано на существе вещей и понятий наших, от опытов происходящих. Так и мы, заключая о безмыслии души в отделении ее от телесности, заключим сходственно понятий наших, в опытности почерпнутых; но истинность заключения сего может равняться заключению жителя Египта о невозможности замерзания вод.

Из всего вышеписанного если не можно нам заключить с уверением, что душа бессмертна, если в доводах наших нет очевидности, то могло бы, может быть, для любящих добродетель найтись что-либо убедительное, дающее доводам перевес победоносный. Но из самых доводов рождаются возражения, которые, оставшись без ответа, могут почтены быть доказательствами противоположности того, что доказать стараемся. Если бы одна была возможность, что душа есть вещество само по себе, то убеждение из того последовало бы очевидное. Но доколе не опровергнутся, столь же вероятностию почтется и то, что душа, или то, что мысленным существом называем, есть свойство искусно сложенного тела, подобно как здравие или жизнь суть свойства тел органических. И сие возражение тем сильнее кажется, что оно осязательно быть зрится, а потому требует прилежнейшего рассмотрения и опровержения яснейшего и ни малейшего по себе сомнения не оставляющего.

Что обретаем мы в сложенном? Не то ли, что вещи, которые в некотором находились отдалении, сближаются? Не то ли, что вещи, которые находились в разделении, сообща-

ются, вступают в союз и составляют целое, сами становятся составительными его частями? Из сего сопряжения рождается: 1, некоторый порядок в образе сложения составительных частей; 2, силы и действительных частей чрез то изменяются; ибо в действии нового сложения то препинаемы, то споспешествуемы или переменяемы в направлении своем. Но может ли в целости сложенного явиться новая сила, которая начало не находилась бы в действительности составляющих его частей? Невозможно, поистине невозможно. Если бы все части, все начала, все стихии вещественности были бездействующи и в покое бы находились смертном, то сколь бы сложение их искусственно ни было, сколь бы ни изящно, погрязши в недействии и неподвижности, пребыли бы навсегда мертвы, не возмогаяй на произведение движения, отражения или какия-либо силы. И сие положение хуже было бы хаоса древнего, если было быть ему возможно; ночь вечная была бы ее сопутница, и смерть свойство первое.

Однако же примечаем мы в сложении целого благогласие или согласие, соразмерность, хотя в частях его нет ни того, ни другого. Например, звук одинаковый благогласия не имеет, но сложение многих нередко производит наивелелепнейшее. Стекланный колокол, на котором мокрый перст движется, едва ли, кажется, производит скрип; но кто слышал гармонику, тот ведает, колико внутренность вся от игры ее потрясается. Кирпич, камень, кусок мрамора и меди какую имеют правильность, какую соразмерность? Но взгляни на храм св. Петра в Риме, взгляни на Пантеон, и не почувствуешь ли, что и мысль твоя изящною соразмерностию сих зданий благоустраивается? Но причина сего чувствования явствует из того, что уже сказали. Благогласие, соразмерность, порядок и все тому подобное не могут без различия быть понимаемы; ибо они не что иное значат, как отношение разных чувствований между собою в том порядке, как они нам предлежали. Итак, к сим понятиям принадлежит сравнение разных чувствований, которые вообще составляют целое, частям особенно не принадлежат. Могло ли бы родиться благогласие, если бы каждый звук не оставлял по себе впечатления? Могла ли бы быть соразмерность, если бы каждая оная часть не действовала на орган глазной? Не можно сего и вообразить, ибо действительность в целом не может возродиться, если

начало ее не в частях находится. Итак, во всяком сложном замечать нужно: 1, последование и порядок частей составительных в пространстве или времени; 2, сопряжение начальных сил и порядок, в котором они являются в их сложении. И хотя в сопряжении своем силы ограничиваются взаимно, изменяются, уничтожаются или паче препинаются, никогда из сложения, какое бы оно ни было, сила возродиться не может. Равно как бы кто, смешивая синюю краску с желтою, ожидал бы явления не зеленой, но красной. Частицы синие и желтые изменились, но в зеленом они суть присносущны; а красное явиться бы не могло, ибо красные частицы суть другого совсем существования.

Итак, заключение извлекая из предыдущего, сказать можно: если душа наша или мыслящая сила не есть вещество само по себе, но свойственность сложения, то она происходит, подобно благогласию и соразмерности, из особого положения и порядка частей, или же как сила сложеного, которая начало свое имеет в действительности частей, целое составляющих. Третьего, кажется, мыслить нельзя.

Благогласие, как то мы видели, проистекает из сравнения простых звуков, а соразмерность из сравнения разных неправильных частей; ибо не имеют ни одинаковые звуки благогласия, ни отделенные части соразмерности; следовательно, благогласие и соразмерность основание свое имеют в сравнении. Но где в природе существует оно, где может существовать, разве не в душе? Что есть оно, разве не действие мысленных сил, и может ли оно быть действие чего другого? Нигде всемерно; ибо звуки сами по себе следуют токмо один за другим; в строении камни лежат токмо один возле другого, существуя каждый в своей особенности, имея бытие отделенное; а благогласие и соразмерность суть принадлежности мысли, понятия отвлеченные и без мысли бытия не были бы причастны\*. Но не токмо благогласие и соразмерность, но красота, изящность всякая и самая добродетель не иначе, как в сравнении, почерпают вещество свое и живут в мысли.

Скажите, можно ли из действия какой-либо вещи истолковать ее происхождение, и может ли причина, вещь про-

---

\* Пантеон равен бы был Ивану Великому, если бы не было разумного вещества.

изведшая, понимаема быть из действия вещи или в нем существовать? Видя тень протяженную непрозрачного тела, можем ли что-либо заключить о причине, тело произведшей, или сказать, что она есть вина существованию тела? Так и все, что есть действие сравнения, не может почесться причиною, оное производящею. Если сказать можем, что насвист снегиря или песня канарейки родили канарейку и снегиря, то и соразмерность, порядок, красота суть сами по себе, а не произведения сравнения. Заключим, возлюбленные мои, не обвиняясь, что поелику все вышесказанные свойства суть произведения сравнения, а сравнение предполагает суждение, а сие рассудок и мысль, то все, что есть произведение сравнения, не может иначе быть, как в силе мыслящей и в ней токмо одной; итак, все сложенное, поколику к сравнению относится, начало свое имеет в мысленной силе. Засим возможно ли, чтобы мысленная сила, причина, вина и источник всяческого сравнения, возможно ли, чтобы она была действие самой себя, чтобы была как соразмерность или благогласие, чтобы ее целость состояла из частей, лежащих одна вне другой? ибо все сие действие мысли предполагает и не иначе может приять действительность, как чрез нее. Итак, поелику всякое целое, состоящее из частей, одна вне другой находящихся, предполагает сих частей сравнение, поелику сравнение есть действие силы мысленная, то неможно силу сию приписывать целому, из частей состоящему; ибо сказать сие то же будет, если скажем, что вещь происходит от своего собственного действия. Нелепость сия столь велика, что дальнейшее о сем распложение не иное что, как скуку навлечь может.

Вторая и последняя возможность, что душа, или мыслящее существо, проистекает от сложения телесных органов, состоит, как то видели, в том, что она есть сила или действительность сложенного. Дадим себе сие в задачу и рассмотрим оныя существенность, а потому и истинность.

Действительность, или сила сложенного, основание свое имеет в силах составляющих частей его. Например: шар Монгольфьеров имеет силу вознести человека превыше облаков, превыше области грома и молнии; но если бы оный не был наполнен веществом легче воздуха, нижнюю атмосферу наполняющего; если бы не был сделан из ткани, для вещества сего непроницаемой; если бы количество его не



было соразмерно подъемлемой им тяжести, то не мог бы он вознестися, не мог бы сделать то действительным, что до того времени едва ли возможным почитали. Следовательно сила целого, или сложенного, проистекает из действительности частей его. Силы же частей, целое составляющих, или сходятствуют с силою целого, или с оною суть несходственны. Что такое силы частей, сходящиеся с силою целого, довольно ясно. Например: возьми светильник, сплетенный из десяти свечей, из коих каждая имеет светильную отделенную. В сложении своем светильник дает свет, но свет сей происходит от того, что каждая светильня горит. Раздели свечи; они дадут каждая свет; сложи их, дадут все свет совокупно, но он будет сильнее. Но здесь не рассуждается о усугублении великости сил, а о их сходственности. Взгляни на Кулибинский ревербер<sup>62</sup>. Горит пред ним одна лампада, а вдавленная за ним поверхность отражает ее свет. Но сие отражение составлено из отражения всех зеркальных стекол, ревербер составляющих. Возьми одно из сих стекол: оно свет отразит; составь все вместе, они также свет отразят, но многочисленно: все будет свет, но ярче. Но мы рассуждаем, повторяю, о сходственности сил, а не о великости их. Итак, силы частей могут с силою целого быть сходственны или же силы частей не сходятствуют с силою целого и суть от нее отличны. Пример благогласия, происходящего от единственных и по себе особых звуков и в особенности своей ничего oprичь простого звука не производящих, может здесь быть в объяснение. Слыхали ли вы, любезные мои, роговую егерскую музыку<sup>63</sup>, которая изобретатель у нас был обер-егермейстер Нарышкин и которая в действии своем с церковными органами столь может быть сходственна? Вам известно, что она исполняется посредством охотничьих рогов. Каждый рог производит один звук, и нередко звук весьма грубый; но искусством доведено, что хор роговой может играть разные музыкальные сочинения. И столь ясно действие, от общих роговых звуков происходящее, что буде находишься очень близко того места, где на них играют, то вместо благогласия слышны почти нестройные звуки. Удались от них, — зыбление воздуха, становясь плавнее в отдалении, отъемлет грубость роговых звуков, и благогласие явно. Сие может служить примером, поколику сила целого не сходитьствовать может с силами частей. Сие правило может иметь

сотичные приложения, и примеры оному могут быть многочисленны.

Вследствие сего скажем: силы частей, из коих происходит сила мыслящая, суть с нею сходственные, то-есть так же, как и она, суть силы мысленные; или же они с нею не сходятствуют, то-есть, что силы частей, коих сила мысленная есть произведение, суть другого существа и не мысленны. Третье посредство кажется быть невозможным. Но мы видели прежде, что всякое целое происходит от сравнения, от соображения мыслящего существа и существовать может только в нем; ибо части суть сами по себе, силы частей суть сами по себе, существуя в своей особенности, действуя каждая сама по себе, но в сложении изменяясь токмо и ограничиваясь взаимным действием, сохраняя однако же начальную свою свойственность. Упражняющимся в химии довольно известно, что соль кислая с солью алкалическою есть качества совсем отменного; произведи из них смешение, то выйдет из них совсем соль новая или соль средняя; и хотя действие соли средней не есть действие соли кислой, ни соли алкалической, однако она сохраняет в смешении своем начальное свое происхождение, заимствуя свойства обеих солей. Итак, невозможно, чтобы сила новая в целом произошла единственно от действия взаимного сил частных. Но если таковая сила новая и от частных сил отличная должна понимаема быть в целом, то нужно, чтоб было мыслящее существо, которое оную составило из сравнения или соображения частных сил. Пример, выше приведенный, о смешении краски синей с желтою сие объяснит. Увеличивательное стекло показывает их особенными и в самом их смешении; но глаз в смешении сем зрит зеленость. Таковых примеров можно из чувственности нашей почерпнуть несчетное количество. Итак, поелику происхождение силы целого, не сходящей с силами частей, предполагает сравнение или соображение, а сии предполагают существо мыслящее, то следует, что сила мысленная не может проистекать из частей, таковой же силы не имеющих; следует, что сила, мыслящая в целом или сложенном, должна проистекать из частей, силами равными одаренных, то-есть из сил мыслящих. Сие будет предлог нашего разыскания.

Сие мнение, что мысленная сила, а потому и чувственная, есть произведение частей, с нею сходящих, при

первом взгляде покажется вероятным; ибо 1, пребывания чувств наших суть различны: очи видят, уши слышат, язык вкушает, нос обоняет, осязание распростерто по всей поверхности тела; 2, когда враждебное орудие уязвит руку, боль чувствую в руке; когда огонь приблизится ноге моей, в ней сжение чувствую; когда яства вкушаю, приятность оных чувствуема в моей гортани; воздух благоарастворенный, растягивая легкое без раздиранья, дает чувствование приятное; любовное услаждение чувствуемо наипаче в органах, на даиние жизни устроенных; 3, мы чувствуем, что мысль наша пребывание имеет в голове, и опытами знаем, что расстроенный мозг рождает расстроенный рассудок; но мозг есть тело сложное, имеющее части, следовательно, и мысли могут находиться в нем частно. Вследствие сего опыт учит, что чувствие распростерто по всем членам, а умствование скажет, что и мысль также распростерта. Но рука, от туловища отделенная, нос, от главы отъятый, что чувствуют? Но были примеры, что и без руки рука была чувствуема. Не обоняем ли часто то, что от нас отдаленно? Возри на предстоящий тебе предлог, зажмурь потом глаза, — не зришь ли его пред собою? Отделенный от вас, о, возлюбленные мои, на целую четверть окружности земного шара, когда захочу вас видеть, воззову из внутренности мысленного хранилища образы ваши; я зрю вас пред собою, беседую с вами. Правда, се мечта, но глубоко она во мне насажденна, и, отдаленный, я живу с вами.

Рассудим еще и сие. В душе нашей находится несчетное количество понятий, познаний, склонностей, страстей, которых беспрестанная деятельность упражняет нас беспрестанно. Где находятся они? В коих частях тела лежат рассеяны? Или находятся разделенны иные там, иные инде, воспрянув единожды и никогда не повторяемы; или же все они в единую часть собираются, сопрягаются и составляют связь? Одно из двух: или каждая часть тела имеет силу мыслящую, следственно столько в человеке мыслящих сил, сколько в нем членов или паче стихийных начал; или же она есть едина. Если силы сии многочисленны, пускай каждая из них душа есть совершенная, то нужно, чтобы все сии рассеянные души свои понятия и чувствования относили в единую среду, дабы составлялося целое; а без того, рассеянные везде, одна к другой не будет принадлежать, мысль не будет следовать мысли, ни заключение из

посылок; не возможем мы ни вспоминать, ни сравнивать, ни рассуждать; одне могут быть понятия, но и то всякое по себе, отделенно, особенно, не входя ни в какую связь; и человек сего мгновения не будет ведать, тот ли он, что был за одно мгновение. Он не будет ныне то, что был вчера. Итак, нужно, чтобы для составления нашей единственности нужно, чтобы была в нас единая мысленная сила и притом неразделимая, непротяженная, частей не имеющая; ибо если в ней подозреваемы хотя будут части, то паки выйдет разногласие частей, единую среду требующих; нужно паки прибегнуть к тому, нечто соображающему, соединяющему в едино, что частями производимо, действуемо, чувствуемо, мыслимо. Следовательно, стремяся в противную стезю, мы обрящем себя там, где были прежде. И что претит нам, да назовем сие существо, особенность нашу составляющее, сию силу нашей мысленности, сие могущество, соединяющее воедино наши понятия, склонности, желания, стремления, сие существо простое, несложное, непротяженное, сие существо, известное нам токмо жизнью, чувствованием, мыслию, что претит, да существо сие назовем душою?

Не можно, друзья мои, не можно после всего сказанного усумниться более, чтобы душа в человеке не была существо само по себе, от телесности отличное, дающее ему движение, жизнь, чувствование, мысль. Она такова и есть в самом деле: проста, непротяженна, неразделима, среда всех чувствований и мыслей, словом, есть истинно душа, то-есть существо, от вещественности отменное, и хотя между сими двумя и есть сходствия (действие их взаимное то доказывает), но силы, известные нам одной суть от сил другой отличны. А хотя бы кто еще и хотел назвать душу вещественною, то сие будет напрасное слово: вещь сама в себе, и то, что составляет мысль, что особенность каждого из нас составляет, наше внутреннее я пребудет ни сила магнитная, ни сила электрическая, ни сила притяжения, но нечто другое. А хотя бы она была в источнике своем с ними одинакова, то, проходя в теле органическом, в теле человека, проходя столь искусственные его органы, столь к усовершенствованию способна, что в соединении с телом она является силою лучше всех других известных сил, паче всех, лучше всех; а какова может быть усовершенствовавшись в телесности нашей, то едва нам понимать возможно. И как бы то ни было, всегда нужно мыслящее существо, чтобы

было понимаемо протяженное и образованное; понимающее предшествует всегда понимаемому, мысленное идет во след мыслящему; нужно мыслящее существо для составления целого; без мыслящего существа не было бы ни прошедшего, ни настоящего, ни будущего; не было бы ни постепенности, ни продолжения; исчезло бы время, пресекался бы движение, хаос возродился бы ветхий, и паки бы настала вечность.

Для ищущего истину нелицемерно, доказательства о бессмертии души могут распложаться по мере желания его познать сие таинство; ибо они рассеяны везде, и можно сказать, что вся природа свидетельствует о бессмертии человека. Но паче всего он в себе носит не токмо доводы и доказательства, что в смерти не есть его кончина; но он о истине сей имеет убеждение, убеждение столь сильное, что за слабостию умственных доказательств оно одно становится для него уверением. А хотя и не имеет он о бессмертии своем математическая ясности, но глас внутреннего его чувствования, но столь явная его личность, столь единственное его я, от всего в нем отделенное и все в себя собирающее, едва ли о сем, столь многим распрям подверженном предложении, едва ли не рождает в нем очевидность.

Доселе доводы мои были просто метафизические, единственно умозрительные, основанные на общем рассмотрении веществ; и хотя для кого-либо из вас убедительными быть могут, для других они покажутся слабы. Я сам знаю, чувствую, что для убеждения в истине о бессмертии человека нужно нечто более, нежели доводы умственные; и поистине, касающееся до чувствования чувствованием должно быть подкрепляемо. Когда человек действует, то ближайшая причина к деянию его никогда есть умозрительна, но в чувствовании имеет свое начало; ибо убеждение наше о чем-либо редко существует в голове нашей, но всегда в сердце. Итак, для произведения убеждения о бессмертии человека нужны чувственные и, так сказать, сердечные доводы, и тогда, уверив в истине сей разум и сердце, уверение наше о ней тем будет сильнее, тем будет тверже. Но прежде нежели мы обратим взоры наши на самих себя для отыскания доводов о бессмертии нашем, обозрим оком любопытным всю окрест нас лежащую природу; соберем рассеянные ее виды, о бессмертии человека уве-

ряющие; потом, сошед во внутренность нашу, положим конец нашему рассуждению.

Возри на все, окрест тебя живущее; прости любопытство твое и на то, что мы почитаем неодушевленным: от камня, где, кажется, явственна единая сила сцепления, где части, прилепленные одна к другой, существуют, как будто одна близь другой токмо положены, от камня до человека, коего состав столь искусствен, в коем стихии являются в толико различных сложениях, в коем все действователи, в природе известные, суть сложенные воедино, являют организацию превыше всего, чувствам нашим подлежащего; в коем явны кажутся быть силы, вещественность превышающие и деятельностью своею, скромностью и энергиею участвующие силе всезидущей; от камня до человека явственна постепенность, благоговейного удивления достойная, явственна сия лествица веществ, древле уже познанная, на коей все роды оных един от другого столь мало, кажется, различествуют, что единого другому обратным почесть можно с уверением; лествица, на коей гранит, рубин и алмаз, железо, ртуть и золото суть однородны алою, тюльпану, кедру, дубу; где по чреде сии суть братья мотыльку, змие, орлу, жаворонку, овце, слону, человеку; лествица, на коей кристаллизация и минерализация заимствуют уже силы растительной, на коей коралл, губа, мох различествуют токмо утробю, в ней же зарождаются; лествица, на коей сила растительная, расширяя в другом сложении свою энергию, переходит по-малу в раздраженность, а из сея в чувствительность, где чувственница и полип содействуют; лествица, где чувствительность, распложаяся в чувственности, совокупляется с умственною силою; где оранг-утанг и пещери<sup>64</sup> кажутся быть единоутробны: потом все силы сии, тесняся воедино и расширив свою энергию, отверзают уста в человеке на глаголение и, влеча его насильственно в общественное сожитие, делают его способным постигать даже вселенная зиждителя. О, смертный! возри на свою телесность! ты еси земля, прах, сложение стихий, коего дивность толика же в камени, как и в тебе! труп твой, столь благолепый в жизни, жизненные искры лишенный, есть снедь червию и участок согнания и разрушения. Но возри на разум свой всеобъемлющий, — олтарь тебе готовлю: ты бог еси! Итак, двух конечных свойств заимствуя, вознесися превыше всея твари, над нею

же поставлен, но не мечтай на земли быти более нежели еси. Но ты человек, есть в тебе надежда, и се степень к восхождению; ты совершенствуешь и можешь совершенствовати паче и паче, и что тебе быть определено, гадай!

Если сия постепенность, если сия лестница восхождения в веществах не есть пустой вымысел и напрасное воображение, то неминуемо надлежит предполагать вещества превыше человека и силы невидимые. От самого неодушевленного даже до человека образы организации возрастают, и по мере искусственного образа многообразнее становятся в нем действующие силы; но далее человека, изящнее и искусственнее его сложения мы не знаем. Он кажется быть венец сложений на земли. Но сии сложения, сколь они ни кажутся быть различны, имеют сходственность удивительную. Во всех трех царствах растение и соблюдение твари есть усвоение, да и самое питание в животных не что есть иное, как усвоение; во всех трех царствах различие полов кажется быть для распложения необходимым, и что сие различие в царстве ископаемых нужно, кажется зарождение селитры и металов суть тому доказательства. Но сии сходственности вообще возрастают, так сказать, постепенно к совершенствованию от неодушевленного даже до человека; и если захочешь преследовать единую из начинающих сил и обработку ее в различных организациях, то, взяв в пример единое усвоение, увидишь, что в ископаемых производит она охрустание, не говоря о других ее действиях, в растениях цветы и плод, в животных органы чувственные, орган мысли, мозг. Вообрази же расстояние кристала от органа разума, и помысли, что может единая из сил естества.

Восхождение сие явно во всех сложениях. Чем сложнее искусственнее, тем части, его составляющие, многообразнее, различнее и более заимствующие от нижних сложений. Все возможные силы, сколь нам они известны, соединены в человеке и действуют совокупно: в камени примечается простое усвоение; в растениях сила растущая и плодящаяся; в животных и то и другое, но паче чувствительность, мысль; а человек познает уже первую всему причину. Но неужели человек есть конец творению? Ужели сия удивления достойная постепенность, дошед до него, прерывается, останавливается, ничтожествует? Невозможно! и если бы других не было причин, то и для того только сие

было бы невозможно, что человек телесностию своею столь много различествует от умственности своей, что, находя одной его половине сходственность с веществами нисходящую, нельзя не утверждать бытие восходящей сходственности с другою его половиною.

Уверение наше, что человек в настоящем своем виде не есть организации окончание, что он есть существо двуестественное, уверение сие, почерпнутое из постепенности видов организации, почерпнутое также из постепенности в сложении естественных сил, получит немалое подкрепление, если мы рассудим, вождаясь в том прилежным природы наблюдением, что 1, никакая в природе сила не действует без органа, без свойственного ей орудия; 2, что никакая сила в природе не может пропасть<sup>65</sup>, исчезнуть; а если в том и в другом последовать может убеждение, то явственно будет, 1, что в человеке есть сила, которой тело его есть токмо орудие; 2, что сила сия и по разрушении тела не уничтожается, что может всегда существовать, может жить от тела отделенна, следовательно, что она есть бессмертна.

Что сила не есть орган и, наоборот, что сила не есть действие органа, что сила без орудия, ей свойственного, нам не может быть известна, что сила существует без органа, все сие доказывает опыт. Например: сила магнитная отлична от куска стали, чрез который явны нам ее действия; ибо соверши известные с оною силою опыты, выставь заостренное железо перпендикулярно, оно будет магнит; ударь по острию, магнитную силу имеющему, она в нем исчезает; три его паки в одинаковое направление, и паки приобщится к нему прежняя сила. Из сих опытов явствует, 1, что сила магнитная существует нам невидимо, и в железе; 2, что она нам явна бывает токмо тогда, когда приходит в железо; следует 3, что железо есть орган силы магнитныя, а не действие ее; следует 4, что сила магнитная есть сама по себе. То же можно сказать и о силе электрической и проч. И кажется, 1, что все силы естественные невидимы суть и нам явственны бывают токмо, действуя чрез свое орудие; 2, что они, нашед оное, к нему прилепляются.

Если же мы обратим взоры наши на силы, явственные в организациях, то более еще убедимся, что свойственный им орган нужен, да явственны будут, что они к органу своему прилепляются, и что они оный устроят, да сами паки



явятся во всем совершенстве. Когда зерно, разверженное теплотою, начнет расти, когда яйцо начнет образоваться в птицу насижением матки, когда животное зачнется во утробе самки, не можно ли сказать, что им сообщается теплота жизненная, как то железу сила магнитная? Но се и различие силы подчиненной, единственной, какова есть магнитная, от силы жизненной. Едва сия нашла свойственный ей орган, то, прилепясь к нему, усвоет себе все стихии, все силы подчиненные; разверзает или паче творит орган свой посредством усвоения совершеннее. Орган ее совершенствует, и она с ним могуществует и достигает той вершины совершенства, которое орган ее дать ей может. Что есть сила сия, жизнь дающая? Едва ли угадать можем, если скажем, что она есть свет, эфир или что-либо им подобное. Она ли есть средство между души и тела? Она ли есть ее вожатой на образование тела? Что бы то ни было, силе нужен орган, да действует, да явится в деяниях своих; следует, что тело наше есть орган нашей души, в коем действия ее разнообразно являются. И положим, что душа наша есть вещественна; положим, что она не иначе действует, как и другие силы; положим и то (и сие вероятно), что они в теле посредством нервов чувствовать изучились, что посредством мозга изучились мыслить; положим и то, что она есть та же сила, которая является нам в других образах, например в движении, в притяжении, в раздражительности; но может ли сила какая-либо пропасть, уничтожиться? Ибо, что такое назовем силы уничтожение? Мы видели, что сложенное может токмо разрушиться, но остаются части; но как вообразить разрушение силы? Даже понятие о сем есть противоречие само в себе, более противоречие, нежели сказать, что нечто в ничто обратится. Что всеоживляющий, говорит Гердер, к жизни воззвал, живет; что действует единожды, действует вечно.

И понеже вообразить себе не можем, как сила какая-либо уничтожится, кольми паче нелепо есть воображать, что начало, в человеке действующее, что мыслящее его существо, что душа его уничтожиться долженствует, когда она есть сила, когда сила от органа отлична и не может быть его действие, то как вообразим ее уничтожение, уничтожение силы из всех на земли благолепнейшая, себя самую познающая, собою управляющая, в деяниях своих уподобляющаяся силе творчей? Она ли может уничтожиться,

когда ни единая пылинка, атом единый, не могут изыдти из пределов творения! ибо что есть уничтожение? Изъятие из вселенных, претворение в ничто. То и другое суть пустые слова, и опровергать их будет токмо времени потеря бесплодная и невозвратная. Нет! не токмо сила, в человеке чувствующая и мыслящая, не исчезнет; но вследствие непрерывного шествия, в природе явного, она преидет в другой вещей порядок. Ибо, если в природе явно, что нижняя организация служит для высшей; если грубые земные части в растениях претворяются в тончайшие; если сии суть снедь животным, а все служат человеку, по изречению одного автора <sup>66</sup>, наивеличайшему убийце на земли; если в животных низшие и простые силы претворяются в сложнейшие и тончайшие; если сия элаборация столь приметна в нижней естественности, ужели она остановится при человеке? Если растения и самые животные служат человеку в снедь, к чему же нужен его мозг и нервная влажность и то, что раздраженность мышц делает? Все силы стремятся выше, да в человеке соединены будут; ужели силы, в нем усовершенствованные, ни к чему не послужат? Ужели наилучшая организация определена разрушиться, не оставляя по себе ни малейшего следа? или же все силы, теснившиеся в сложении человека, будут напрасны и токмо разойтись определены? Нет; столь безрассудно божество не определяло! тут не было бы цели, ни намерения, и мысль всесовершенная, всемогущая, предвечная была бы ненацеленна! Се хуление!

Нашед для нас самих, по крайней мере, в общем шествии естественности некоторое уверение, что душа наша, яко единая из сил естественных, исчезнуть не может по разрушении тела, к нему же здесь живет прилепленна, мы постараемся отыскать в нас самих чувственных доводов, которые бы водворять могли в душе нашей ближайшее убеждение о ее нетленности; дабы из того усмотреть, угадать, или же предощутить токмо, хотя несовершенно, каково будет ее состояние по отделении ее от тела.

1. Сколь ни искусственны суть доводы Гельвециевы <sup>67</sup>, что все деяния разума суть не что иное, как простое чувствование; что способность понимать, судить и заключать не что иное есть, как чувствовать способность; но хотя бы то так и было, из того следовать только может, что чувственность есть токмо орудие разумных сил, но не действует;

что чувствовать (то-есть получать на чувства наши ударения предметов) есть самая сила, чувствованиям и мысли действительность дающая. Но паче наблюдения чувствований наших учат нас, что мысль от чувств совсем есть нечто отделенное; ибо когда предмет какой-либо предстоит очам моим, каждое око видит его особенно; ибо зажмурь одно, видишь другим весь предмет неразделимо; открой другое и зажмурь первое, видишь тот же предмет и так же неразделим. Следует, что каждое око получает особое впечатление от одного предмета. Но когда я на предмет взираю обеими, то хотя чувствования моих очей суть два, чувствование в душе есть одно; следовательно, чувствование очей не есть чувствование души: ибо в глазах два, в душе одно. Или же, я вижу колокол, я слышу его звон; я получаю два понятия: образа и звука; я его осязаю, осязаю, что колокол есть тело твердое и протяженное. Итак, я три чувствования имею вдруг, совсем разные, ибо получены мною разными чувствами, но вдруг, в одно мгновение; но я себе из трех чувствований составляю единое понятие, и изрекши: колокол, все три чувствования заключаю в нем. Итак, хотя все три чувствования различны, я вдруг их понимаю; и хотя понятие об образе, звуке, твердости и протяжении суть различные, но существуют в душе совокупно. Итак, чувствование или ударение предметов на чувства наши суть от понятий наша мысленная силы отличны.

Если же отличны суть понятия от чувствования и деяния силы от органов чувственных отличны, то наипаче отличаются от чувственных впечатлений наши суждения, а паче того еще заключения. Суждение есть сравнение двух понятий, или познание отношений, существующих между вещей. Но вещи существуют сами по себе, каждая в своей особенности; познание же отношений их, сравнение оных предполагает сравнителя. А как вещи производят на чувства наши простые токмо ударения, то суждения от чувствований суть отличны. Не имею нужды расплывать слова о заключениях и рассуждениях, которые суть извлечения из суждений. И хотя все наши понятия, суждения и заключения, и самые отвлеченнейшие идеи, корень влекут от предметов чувственных, но можно ли сказать, что отвлеченная идея есть чувственна? Они суть истинные произведения мысленная силы; и если бы она в нас не существовала, если бы она быть могла токмо следствие наша чув-

ственности, то не токмо наука числ и измерения не могли бы возродиться, но исчезла бы вся нравственность; великодушные, честность, добродетель были бы слова без мысли и — о, всеильный! погубилось бы твое всемогущество. Да не возразят нам примером отроковицы, обретенной в лесах Шампани <sup>68</sup>; что я покоюся и сплю, из того следует ли, что уже руки мои не осязают и ноги ходить перестали? Когда бы сила умственная не была сила по себе, Нютон <sup>69</sup> был бы не лучше самоеда, и падшее на него яблоко расшибло бы ему токмо нос, и притяжение небесных тел осталось бы неугаданным.

2. Душа в человеке не токмо имеет могущество творить понятия, как то мы видели, но она есть истинный оных повелитель. Когда чувства отнесли ей собранные образа предметов, на них ударявших, когда память соблюла их в своем хранилище, кто может сам у себя отрицать силу воздавать соблюденную мысль в действительность? От сна аки бы воспрянув, велением моея души мысль облекается паки во образ свой и выходит на зрелище пред воззвавшую ее. Но сего еще мало. Протекая все исполненные образами вещей хранилища памяти, сила умственная не токмо может их по желанию своему воззывать на действительность, но, аки новая Медя <sup>70</sup>, рассекая на части все образы соблюденные, творит из смешения их образ совсем новый, прекраснейший. Энеида, Генриада — суть ли простые изречения чувствований? Законоположение Ликургово <sup>71</sup> паче всех земных законоположений согласнейшее во всех частях своих, есть ли произведение чувств? Иль ухо или глаз, или нос были их творители? Когда ты читаешь картину лобзания первого мужа и жены во Эдеме <sup>72</sup>; когда ты воззришь на изображение последнего суда <sup>73</sup> и не почувствуешь, что сотворить могла их единая токмо сила, что сила их образовала во главе Мильтона и Михаила Анжела, то и я на то согласен, отрицаю во главе твоей быть силе; ты кукла Вокансонова <sup>74</sup>.

3. Ничто, по мнению моему, толико не утверждает, что душа есть сила, и сила сама по себе, как могущество ее прилепляться по произволению своему к одной идее. Сие называем вниманием. И, поистине, когда возникнет в душе воля, и велением ее воззовется от покоя идея на действительность, воззри, как душа ее обозревает, как она ее раздробляет, как все ее виды, стороны, отношения, следствия она обтекает. Все другие мысли воззываются только для того, чтобы та,

на которую устремлено внимание, становилася яснее, блистательнее, лучезарнее. Сравни устремляющего на идею все свое внимание с тем, коего внимание в разные расторгнуто стороны. Один из них Эйлер<sup>75</sup>, другой большого света стрекоза, расчесанный в кудри и ароматами умащенный щеголь. — Что душа мыслями повелевать может, доказательство тому имеем в состоянии сна и болезней, не исключая и самого безумия.

4. Сон есть то, худо еще познанное, ежедневно возобновляющееся состояние животного, в котором действие внешних предметов на все или некоторые его чувства ему бывает неизвестно. В сем положении мысленность его на приобретение новых понятий неспособна, ибо чувства внешние покоятся; но творительная ее сила некоснеет. Проходя хранилище своих мыслей, она отвлекает от сохраненных понятий свойства по произволению своему и, сопрягая их, вследствие совсем новых правил, производит образы, коих единая возможность для бдящего есть неистощимая загадка. Нет для нее невозможного; свойства, которые противоречащими быть кажутся, для силы умственной, отвлеченной от чувств, суть сходственны; из неправильного она в сновидении творит правильное, из уродливого благолепное; то, что во бдении она едва ли подозревать быти может, во сновидении воззывает в действительность. Происшествия целых столетий вмещает она в единую минуту; пределы пространства почти уничтожает своею быстротечностью; беспредельное она измеряет единым шагом и, преторгнув течение времени, объемлет вечность. О, сон! брат смерти и смежность вечности! прости мрачный покров твой на томящееся сердце! да возникнут образы возлюбленных моих предо мною! Да лобжу их и блаженствую!

5. Если мысли сновидящего кажутся быть расстроены по той единственной, может быть, причине, что чрез меру живы суть, то с удивлением взирать должно на лунатиков, или ночных бродяг. Все известные о них примеры доказывают, что они в сонном своем хождении не токмо следуют правильному расположению мыслей, но что в сем положении власть мысленности над телесностию не исчезает; ибо лунатики имеют употребление своих членов подобно бдящим. Что они в сем состоянии предприимлют, поистине удивления достойно. Чужды всякого устрашения восходят на высоты, на которые во бдении с ужасом взирают. Сказать,

как пекоторый пемецкый писатель, что они для того отважны, что не знают опасности, в которую вдаются, есть не иное что, как мнить, что можем всему назначить ясную причину. Конечно, лунатик, идущий по кровле высокого строения, не знает опасности; но опасность существует ли для него, или кто его от нее блюдет? Если тот, кто по веревке ходить изучен, опасности в том не знает, то следует ли, что и другой оный отчужден? Опытность, искусство дают сему лучшее шествие. Лунатик, коего чувства внешние в бездействии, вождается источником чувствования и мысли душею.

6. В состоянии сна, когда душа чувств лишенна, тогда простая идея толико же жива, толико же явственна, как наживейшее чувствование. То же самое происходит и в некоторых болезнях. Отторженная насильственно, так сказать, от союза своего с телом болезнию его, она с вящею действительностию вращается сама в себе. Наиудивительнейшие тогда бывают явления, коими врачебные летописи изобилуют. А чтобы не искать дальнейшего примера, будучи я болен жестокою лихорадкою, бывали мгновения, в которые я со врачом, предприявшим тогда мое пользование от сея болезни, говорил латинским языком столько плавно и правильно, что когда по прошествии моей болезни о том мне сказывали, я дивился тому немало; ибо хотя я разумел язык древнего Рима, но весьма посредственно, дабы не сказать худо, и никогда не изъяснял на оном моих мыслей, и всегда мне стоило великого труда сложить период единый. Итак, посредством хотя мозга, но внутреннею своею силою, душа, в каком бы ни была состоянии, не может отчудиться своей деятельности в творении мысли; и если не может творить что-либо правильное, творит хотя уroda, но творит, созидает, зиждет.

7. Возри на лишенного рассудка, возри на беснующегося. Ты скажешь, что душа ничтожествует в них, что нет ее, что орган мысли расстроенный равняет их скоту, зверю. Но наблюдаи шествие его мысли. Пораженный единою идеею, он все относит к ней, все к ней прилепляет; он не так судит о вещах, как оне ему представлялися, последование его мысли не сходствует с чувствованиями, их родившими; он все сочетает новым порядком, все наклоняет под властвующую над ним мысль. Се беснование его! судит же сам; се вышняя токмо степень внимания; и для того, различныя

ради хотя причины, по просторечию речем: юроде! ты еси человек божий!

8. Наблюдали ли вы когда-либо, какому направлению следует сочетание наших идей? Приметили ли вы, как с детства душа ваша училась сравнивать, измерять, училась совершенно и посредством чувств? Но как можно сказать, что чувства наши чувствоваться учились? Не они, но душа; ибо образ, в глазу начертанный, был с первого дня таковой же, как днесь. Но ведало ли дитя, что есть сей образ? Взвизывая на Ивана Великого, чувствует ли оно уродливую его соразмерность? Или: рассматривая Баженовы<sup>76</sup> образцы зданий, понимает ли, что в зодчем сем присутствен дух Браманта<sup>77</sup>? Когда бы я не имел убеждения ниоткуда, что сила душевная, что разум есть особое что-либо от телесности, то вообразил бы я себе Фридрика II в его детстве, взвизывающего на устройство войск принцем Ангальтским, и потом стоило бы мне токмо взглянуть на его размерение долины при Молвице<sup>78</sup>. Там взор веселящегося куклами; здесь око орлиное, одушевленное славы алчною. Там есть токмо простое чувствование; здесь мысль ироя, преходящая в действительность. О, еслибы, великий муж! слава твоя не стоила толиких слез человечеству, толиких стенаний! —

9. Мне кажется, одно из сильнейших доказательств обестелесности души можем мы почерпнуть из нашей речи. Она есть наилучший и, может быть, единственный устроитель нашей мысленности; без нее мы бы ничем от других животных не отличались, и сие доказывают жившие нечаянно от людей в отдалении совершенном. Кто сказать может, что речь есть нечто телесное? Тот разве, кто звук и слово почтет за одно. Но поелику различествуют сии, тако различествует и душа от тела. Звук ознаменует слово, слово возбуждает идею; звук есть движение воздуха, ударяющего в тимпан органа слышания, но слово есть нечто живое, до тела нашего не касающееся; слово идет в душу; звук в ухе исчезает.

10. Чувственное расположение тела всякого животного уведомляет, что оно существует, что оно живет. Равно чувства напоминают человеку о его чувственности; но сие познание своего бытия в животном столь тупо, столь мрачно, так сказать, что с самопознанием человека ни в какое сравнение войти не может. Он один столь живо, столь ясно ощущает, и что он существует, и что он мыслит, и что мысль

его принадлежит ему. Когда душа его возносится к познанию истины и он ее уловляет в ее святилище, тогда-то наиболее возрождается в нем яснейшее познание бытия своего, и сия ясность его особенности, столь живая, столь единственная, столь неразделимая, знаменует внутреннее его могущество, силу в нем живую.

Возражают утверждающим души бестелесность, а потому и бессмертие, что тело действует на нее всемогущественно; но внимали ли вы когда, колико власть души над телом оно превышает? Мы видели, что мыслями она повелевает, что рождает она их; но она толико властвует или может властвовать над нашими желаниями; но не токмо над желаниями, но над самую болезнь телесною она владычествовать может, и не токмо владычествует над нею, но, яко сон, производит то невольным образом, человек может сложить с себя чувствительность самопроизвольно и жить бестелесен в самом теле. Рассмотрим все сие порознь и перейдем потом к способности совершенствования в человеке, в которой мы обрящем корень будущия нашей жизни.

1. Ежедневно и ежемгновенно испытываемая власть мысли над телесностию столь стала обычна, что мы в ней едва ли что-либо выше простого механизма обретаем. Скажи, как действует рука твоя? скажи, что движет твои ноги? в главе родится мысль, и члены ей повинуются? Или какая раздражительность, в мышцах присутственная, то производит, или электр протекает твои члены? Конечно, и то и другое, или тому подобное. Но как бывает, что мысль, и всегда почти неясная, движет член? Ты скажешь: не ведаю; и я скажу то же. Но в том согласиться должен, что сколь бы машина ни была искусственна, какая бы из вещественных сил, опричь мысли, ей ни была дана, то никогда не произведет действия подобного твоему; ей будет нужен источник движения, который живет в тебе: она себе велеть не может. Толкни ее, она движется, а без того стоит; но движение твое принадлежит тебе: ты еси единый от источников оного. И что дает всему действительность? Мысль, слово безмолвное; речешь: хошу, — и будет. Подобно, как пред началом времени, предвечна мысль возникла на действие; всесильный рек: да будет свет, — и бысть. И ты речешь себе: иди, — и шествуешь. О, человек! В округе своей ты всесилен; ты еси сын мысли! ты сын божий!



2. Ко́лико человек властен над своими мыслями, то́лико же он властен и над своими желаниями и страстями. Хотя мы видим, что большая часть людей предаются стремлению оных, но суть и были примеры, что люди страсти свои совсем попрали; и хотя оно безумием кажется и казаться может и нередко то быть может, но тут видима власть души над телом, и власть сия есть самодержавна. Протеки житие древних пустынножителей и скажи, что тело их было душе не подвластно. Если удивляешься воздержанию Сципиона, не хотевшего зреть своя прекрасная пленницы, то для чего же не удивишься воздержанию пустынножителей? Умерщвление страстей совершенное есть уродливо: ибо противоречит цели естественной; но есть явное и сильное доказательство власти души над телесностию. Если бы и душа была телесности действие и произведение организации, то примеры то́ликого безумия не могли быть никогда. И се видишь, что и в самом отчуждении рассудка душа действует, вследствие особых правил, и не телесно.

3. Но самые страсти, самые желания наши суть действия нашей души, а не телесности. Хотя корень их веществен есть, хотя и цель оных нередко такова же; но что дает страсти в человеке то́ликую энергию и силу? Что силы дает ему на преодоление препятствий? Все, что делает тело, все вяло, все тяжко. Душа действию дает жизнь, и все легко. Воззри на влюбленного, воззри на сребролюбца, воззри на алчущего славы. Или думаешь, что одна телесность их возбуждает? И дабы менее усомниться, что не токмо душа дает страстям ту удивительную действительность, которая в них примечается, то возьмем в пример наителеснейшую из страстей, любовь. Кто не знает, что любовь платоническая на земле есть бред, что источник и цель любви суть телесны? Но вообрази себе все, что человек любви ради подымлет; пройди примеры многочисленные, где любовь, отделяясь своего начала, где цель свою теряя из виду, дает душе влюбленной (ей! душа влюбленна есть) столь силу превосходную, энергию то́лико божественную и плоти отчужденную, что любовь тогда становится мысленна. А дабы убедиться, что страсть есть действие, и действие ее единственное, то сколь скоро тело становится части причастно, то страсть исчезает. Из сего судить можем, чем предмет страсти менее веществен есть, тем она живее быть может и продолжительнее; чем удовлетворение страсти бестелеснее, тем страсть

продолжительнее. О, дружба! о, страсть души усладительная! если ты на земле бываешь надежнейшая отрада сердца, то что будешь ты, когда душа, отрешенная от чувств внешних, сосреждаяся сама в себе, вознесет действительность свою на превыспреннейшую возможность? Какое будет наше чувство, когда усретимся за пределами мира сего? Где взять ему имя, когда едва ли мысль может его постигнуть? Пускай я брежу; но бредмой мое блаженство есть; и разве зависть, разве мучительство захочет прервать мое сновидение! не бойтесь, мгновение сие изъято из пределов мира, и кто за них возмужет?

4. Что душа или мысленность властвует над болезнями тела, то может быть и бывает двояко. Болезнь возможен она дать телу и болезнь отъяти. Я не утверждаю, что все болезни в мысленности имеют свое начало; сие было бы нелепо и опытам противоречуще. Но если во множестве неисчисленном оных суть несколько, которые суть мысленности действие непосредственное, то утверждаемое мною уже более нежели вероятно; равно не утверждаю, что на все болезни лекарство существует в мысленности или душе. Но если имеем примеры явные, что многие единственным и простым действием души были исцеляемы, то кажется, что бы и сии духовные лекарства достойны равное в диспепсториях заслуживать место, как то: хина, меркурий и весь прочий аптекарский припас. Если кто спросит у меня: каким образом душа дает болезнь телу, и как она его лечит? Лечит она его, не щупая пульса и не смотря на язык; болезнь же дает, не отравляя. Более не скажу, ибо не знаю; но то, что всем известно быть может, на том основан будст мой довод.

О! вы <sup>79</sup>, на коих печаль простирала свое жало, свидетельствуюся вами. Вас видел я в изнеможении телесном, вас бесчувственными я зрел, когда разящая весть блаженства вас лишенных объявляла. Или единое слово столь могущественно быть может, что угрожает жизни? Но что оно? Зыбление воздуха. Ужели он толико мгновенно может исполниться ядом и отравой, что шлет смерть и болезни? Какая зараза рассеет в нем мгновенно; какое вещество, какое химическое действие воздух жизненный может претворить в воздух горючий и смертоносный? — Но на что печали посредство зыблющегося воздуха, — да произведет в тебе болезнь, обморок, бесчувствие? Се лист, се хартия дается тебе в руку; черты изображения на ней произвольные, И се чело

твое бледнеет, мутятся взоры, нем стал язык, мраз обтекает всю твою внутренность, и труп твой валится долу. Или паче ядовитого взора баснословного василиска хартия сия и черты отраву носят? Или же зелием паче мышьяка и сулемы они упитаңы? Не манкательное ли се древо <sup>80</sup>, мертвящее всех, под листием его покоющихся? Но почто же один ты страдаешь? Почто электризуем ты один? — Возлюбленные мои! нет нужды нам искать решения задачи сей инде: она имеет корень в мысли. Слово, изреченное или начертанное, возбуждает волнение мысленности. Расстроенность произведет болезнь. Душа болит, душа страдает: оттого болит и страдает тело. Когда источник отравлен, возможен ли истечение его быть здорово? Я прехожу здесь многочисленные и неисчетные примеры действия души над телом, коего конец была болезнь. Но дабы временно хотя улыбаться, говоря о страданиях человечества, мнепомнится, где-тоя читал, что женатый муж ощущал всегда страдание, когда жене его время приспевало разрешаться от беременности. Находят в сем примере иные отменно сходственное сложение нервов; но я признаюсь, сего истолкования не понимаю; другие же, разрешая узел, говорят: се вымышленное!

Прейдем на мгновение к увеселительнейшим предметам и ощутим души над телом действия благотворного. На всех сослатися в том можно, да и кому того испытать не случилось, или быть свидетелем самому или же слышать от свидетелей достоверных, сколь существительные иногда бывают действия души над телом. Кому не случилось быть больным и получить или же чувствовать хотя мгновенное облегчение при посещении возлюбленных нами? Древность сохранила нам пример (жаль, что история часто не что иное есть, как рассказы), сколь душа возможен дать болезнь телу и сколь могущественно она его исцелить может.

Юноша <sup>81</sup> в бодрственных и цветущих летах начал изнемогать во здравии своем; увяла лица его живость, твердость мышц его онемела, смертная бледность простерлась по челу его, и, лишенный сил, на одр возлег. Все врачебные средства, все лекарства были напрасны, и болезнь его ускользала от проницания врачующих; восседая при одре болящего, единый от них, совокупляя с искусством своим дух любомудрственный, столь редкий в сем соединении, приметил в юноше движение необычайное, когда приходила младая Стратоника, жена отца его, а его мачеха, к нему на по-

сечение; кровь текла быстрее, взоры яснее становились, и юноша воззывался к жизни; когда же она отходила во свои чертоги, то паки истощевались его силы, и смертвенчательная слабость обымала его паки, и каждый раз с вящим стремлением влекла его ко гробу. Удостоверясь в истине сей, он глас утешительного дружества простер во уши болящего, и, возывая надежду в отчаявшееся блаженства сердце, извлек из стенища сердца таинство, которое добродетель сама от себя скрывать тщилась под густейшим мраком. Краснеть, стыдиться уже немощен, вещает юноша ко утешающему врачу: кровь мерзнет, чувствую, и отлетает жизнь; се вожделенная смерть!.. Прииди, о, жизни моей жизнь! услышь последнее прощание! твой взор остановит отлетающую душу; произнесу имя твое и умолкну навеки! — Подав надежду умирающему, врач уведомляет немедленно отца о испытанном таинстве. Любя жену, но любя сына, любовь отца в хладном уже от старости теле превозмогла слабую, может быть, страсть и тем паче, что он зрел, сколь любовь сына его была целомудренна и, сокровенна в едином его сердце, довела его до преддверия гроба. — Почто скрывал ты скорбь свою от отца своего? — вещает старец. Живи, если жить можешь, с Стратоникою: она твоя! — О, любовь! богов и человеков услаждение! ты к смерти юношу приближила, ты паки ему жить повелеваешь. — Он стал здрав и верный супруг возлюбленной Стратоники, был блажен. Если пример сей есть не что иное, как изобретение стихотворческое, то и тогда он истинен: ибо в пределах лежит естественности; есть не чрезмерный и не токмо возможный, но вероятный.

Множество есть примеров исцеления болезней без всякого врачевательного посредства. Те, кои рассудить не хотят или не умеют, находят в них всегда чудесность, и чем менее просвещения, тем чудес больше. Многие повести о таких чудесах суть лживы, но многие могут быть вероятны; если то истинно, как то увидим, что мысль может человека лишать чувствительности, то для чего дивиться, что надежда излечения излечить может? Примеры таковые бывали и бываюи, отложа все баснословное из происшествия излечившейся девки в Москве после сновидения, что она выздоровела без лекаря, то правда. Приписывают то непосредственному содействию божества, то-есть противосъестественному действованию его могущества. О, всевышний! уста

мой заграждены на таковое существа твоего уничижение! Действие то божественныя силы, то истинно; оно есть непосредственно или является чрез посредство какое-либо, того не ведаю; оно чудесно, ибо необыкновенно. Но как быть ему чрезвычайному? Всеотче! Ты еси повсюду! Почто ищущи тебя, скитаяся? Ты во мне живешь; и если мы помыслим, то чудеса твои ежечасно возобновляются, но не исходя за пределы естественности; в ней нам ты явен, явен впоследствии непреложных и непрременных ее законов, тобою положенных. Естественность твоя есть чувственность; что ты без нее, как ведать нам?

5. Что мысленность и телесность в тесном находятся сопряжении, то всяк ощущает; что действия их суть взаимныя, то всякому известно; но что человек забывать может свою телесность и жить почти в своей душе или мысленности, тому не все верят; да и не всяк толико властвующ над собою, чтобы таковую в себе отделенность производить мог. Возьмите все примеры древныя и новейшыя, в коих мысленность столь является блестяща и пренебрежена телесность; вспомните Курция<sup>82</sup>, во хлябь разверстую низвергающагося; вспомните Опдама, Сакена<sup>83</sup>, с кораблями своими возлетающих; приведите на память многочисленныя примеры отторгнувших жизни и возлюбивших смерть; соберите все примеры отъявших у себя жизнь из единого оныя пресыщения, примеры, в Англии столь частыя; болезнь *сплин* почитается тому причиною. Но что бы то ни было, везде явна власть души над телом. И поистине, нужно великое, так сказать, сосредреждение себя самого, чтобы решиться отъять у себя жизнь, не имея иногда причины оную возненавидеть. Ужели скажут, что и тут действует единая телесность? Как может сгущение соков или другая какая-либо погрешность в жизненном строительстве произвести решимость к самоубийству, того, думаю, никто не понимает. Но когда душа вещает телу: ты узы мои! ты моя темница! ты мое терзание! я действовать хочу, ты мне воспящаешь! да рушится союз наш, прости во-веки! то сколько бы жало смерти болезненно ни было, притуплено единою мыслию, сладостнее, увеселительнее становится паче всех утех земных. Если покажется кому-либо, что лишить себя жизни не столь много требуется твердости духа, как кажется, ибо прехождение сие есть мгновенно, миг един, — то сомневающимся еще во власти души приведем в пример тех, которые не ток-

мо смерть пренебрегли и равнодушно на нее взирали, но толико мысленностию отделялися от тела, что всякое мучение для них было легко и терзание нечувствительно. Воспомните Амвросия <sup>84</sup>, умирающего под повторяемыми ударами разъяренной и суеверисм подстрекаемой московской черни. Господи! отпусти им! — был глагол праведного: не ведают бо, что творят! — Воспомните Корнелия де Вита <sup>85</sup>, поющего Горациеву песнь среди буйствующей амстердамской черни, оранианскими общниками прельщенной. Примеры мучеников, примеры диких, смеющихся среди терзаний, вам известны; и если не власть души тут явна, то где ж она быть может? А если и сие не убедительно еще, то кто не знает, что Руссо многие из своих бессмертных сочинений написал среди болезни непрестанной. Мендельсон <sup>86</sup>, страдавший от исказанная слабости нервов многие лета, мог терпением, напряжением мысли еще в старости своей вознестись паки на высоту своя юности. Гарве <sup>87</sup> чрез долгое время не мог ни читать, ни писать, даже мышление его было ему тягостно, превозмог оное и написал потом изящные примечания свои на Цицерона; но се его слова: благословенна буди, вещает он, — и самая немощь болезнующего тела, толико часто меня научавшая, сколь дух над телом возмогает! Верьте, то ведаю от опыта моего, что напряжение духовныя силы может подкрепить расслабленное тело и до известныя степени дать ему жизнь новую. Также ведаю, когда душа покоится, то и волнующаяся кровь тихое приемлет обращение, и встревоженные соки жизни смиряются; самая болезнь, если она не превышает меры, бежит от продолжающегося отпорствующия ей души терпения. Я своего примера дать по толиких не дерзаю; но то истинно, когда мысль, нами уловленная, мысль, всю душу исполнившая, всю ее объемлющая, отторгает, так сказать, мысленность от телесности, тогда, забывая все чувствуемое, все зримое, забывая сам себя, человек несется в страну мысленную; время и пространство исчезают пред ним; он сокрушает все пределы, и занесшему ногу в вечность вселенная уже тесна.

*Конец третьей книги.*

---

## КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

**В**от, мои возлюбленные, все, что вероятным образом в за-  
щищение бессмертия души сказать можно. Доводы наши,  
как то вы видели, были троякие: первые почерпнуты были из  
существа вещей и единственно метафизические. Они нам не-  
прерывным последствием посылок, одной из другой рожда-  
ющихся, показали, что существо, в нас мыслящее, есть про-  
стое и несложное, а потому неразрушимое, следовательно,  
бессмертное, и что оно не может быть действие сложения на-  
шего тела, сколь искусственно оно ни есть; вторые, основы-  
ваясь на явственной восходящей постепенности всех изве-  
стных нам существ, но возглавляя себя постепенности, себя  
лестницы, в творении зримой, явили нам человека совершен-  
нее всех земных сложений и организаций; в нем явны виде-  
лись нам все силы естественные, теснящиеся воедино, но  
видели в нем силу, от всех сил естественных отличную. Из  
того вероятным образом заключали, что человек по разру-  
шении тела своего не может ничтожествовать, ибо если не-  
возможно и само в себе противуречущее, что какая-либо си-  
ла в природе исчезала, то мысленность его, будучи всех сил  
естественных превосходнее и совершеннее, исчезнуть не мо-  
жет. Третьего рода доводы, заимствованные из чувственно-

сти нашей, из нас самих извлеченные, показали нам, что мысленная в нас сила от чувственности отлична, что она хотя все свои понятия от чувств получает, но возмощает творить новые, сложные, отвлеченные; что она властвует над понятиями нашими, воззывая их на действительность или устремляясь к единой; что в отвлечении случайном от тела мысленность не забывает творительную свою силу, как то бывает во сне или в некоторых болезнях; что сочетание наших идей с детства, что речь наша, а, паче всего, что явственное наше о нас самих познание суть убедительные доказательства, что мысленность наша не есть явление нашей телесности, ни действие нашего сложения. Наконец, показали мы, дабы отразить зыблющееся хотя, но казистое доказательство о всевластвовании тела нашего над душою, показали мы, повторю, что власть души над телом оную гораздо превышает; и для сего привели примеры из опытов ежедневных, утвердив неоспоримо, что вина и корень всех движений телесных есть мысленность; ибо в ней есть источник движения, а потому не можно ли сказать, что в ней есть и источник жизни; привели мы примеры, колико человек мысленностию своею властвующ над своими желаниями и страстями, что она возмощает дать телу болезнь и здравие, и присовокупим, и самую смерть; что напряжение мысленности отвлекает ее от телесности и делает человека способным на преодоление трудов, болезней и всего, под чем тело изнемогает без содействия души. Утвердив таким образом души неразрушимость, дерзнем подъяти на самую малейшую дробь тяжелую завесу будущего; постараемся предузнать, предчувствовать хотя, что можем быть за пределами жизни. Пускай рассуждение наше воображению будет смежно, но поспешим уловить его, потечем ему во след в радовании; мечта ли то будет, или истинность; сблизиться с вами когда-либо мне есть рай. Лети, душа, жаждущая видети друзей моих, лети во сретение и самому сновидению; в нем блаженство твое, в нем жизнь.

Три суть возможности человеческого бытия по смерти: или я буду существо таковое же, какое я есмь, то-есть, что душа моя по отделении ее от тела паки преидет и оживит тело другое; или же состояние души моей по отделении ее от тела будет хуже, то-есть что она преидет и оживит нижнего рода существо, например, зверя, птицу, насекомое или растение; или душа моя, отделенная смертию от тела, преидет



дет в состояние лучшее, совершеннейшее. Одно из сих трех быть долженствует, ибо хотя и суть вообразимые возможности иного бытия (чего не настроит воображение!), но на поверку всегда выходить будет или то же, или хуже, или лучше, четвертого вообразить не можно; но одному из трех быть должно, буде удостоверилися, что сила мыслящая в нас и чувствующая, что душа не исчезнет. Все сии возможности имели и имеют последователей; все подкрепляемы доводами. Рассмотрим основательность и вероятность оных и прилепимся к той, где вероятность родить может если не очевидность, то хотя убеждение. Блаженны, если вступим в путь истинный; сожаления будем достойны, но не наказания, если заблудим; ибо мы во след течем истине, мы ищем ее со рвением и нелицемерно.

Для удостоверения, что человек или кто-либо от человек бывал уже человек, но под образом другим, или же что кто-либо из человек бывал зверем или чем другим, но не человеком, нужно, кажется, ясное о том воспоминание; нужно, чтобы оное часто было повторяемо, чтобы было, так сказать, ощутительно; ибо пример единственный не может быть доводом или, лучше сказать, свидетельство того или другого доказательством не почтено, да хотя бы сто таких было свидетельств; для того, что могут быть причины таковому свидетельству, основанные на предубеждениях или выгодах.

Хотя мнения сии не заслуживают почти опровержения, но взглянем на них любопытства ради и возвесим на весах беспристрастия. Древние гимнософисты <sup>88</sup> и бракманы и нынешние брамины говорят, что человеческая душа в награждение за добрые дела, на земле соделанные, по отделении ее от тела смертию, преселяется в овцу, корову или слона белого; в возмездие же за дела злые преселяется в свинью, тигра или другого зверя. Древние египтяне также думали, что души их переходили в животных и растения и для того столь тщательно избегали убиения животных, дабы не убить отца своего или мать или не съесть их в тюре.

Сию гипотезу можно наравне поставить со всеми другими вымышлениями для награждения добрых дел и для наказания худых. Тартар и поля Елисейские и Гурии все одного суть свойства, бредни. Древние кельты чаяли в раю пить пиво из черепов своих неприятелей. Спроси русского

простолюдина: каков будет ад? — Язык немеет, — скажет он в ответ: будем сидеть в кипящей в котле смоле. Все таковые воображения суть одного рода; разница только та, что одна другой нелепее. Случалось вам видеть картину страшного суда, не Михаила Анжеля, но продаваемую в Москве на Спасском мосту<sup>89</sup>? Посмотрите на нее и в заключении своем не ошибетесь; и смело распространяйте оное на все изобретения, представляющие состояние души хуже нынешнего, хуже нежели в сопряжении с телом.

Что иные люди бывали люди же прежде сего, тому находят будто правдоподобие имеющие доводы. Великие мужи, говорят они, суть всегда редки; нужны целые столетия, да родится великий муж. Но то примечания достойно, что великий муж никогда не бывает один. Всегда являются многие вдруг, как будто воззванные паки от мрака к бытию, как будто от сна встают пробужденные, да воскреснут во множестве.

Если бы произведение великого мужа для природы было дело обыкновенное, то бы равно было для нее, да произведет его, когда бы то ни случилось, и тут и там, одного, двух. Но шествие ее не так бывает. Великий муж один не родится, но если обрели одного, должны быть уверены, что имеет многих сопутников. И кажется, иначе тому быть нельзя; они всегда рождаются на возобновление ослабевающих пружин нравственного мира; рождаются на пробуждение разума, на оживление добродетели. Подобно, как то уверяют, что землетрясение есть нужное действие<sup>90</sup> естественного строительства на возобновление усыпляющихся сил природы, так и великие люди, яко могущественные рычаги нравственности, простирая свою деятельность во все концы оныя, приводят ее во благое сотрясение, да пробудятся уснувшие души качества и силы ее да воскреснут. Если же еще помыслим, что не прилежание, не старание, не воспитание делают великого мужа, но он бывает таков от природы врожденным неким чувствованием или высшим будто вдохновением, то не подумал ли помыслить, что почти невозможно единого жития течения на произведение великого мужа, но нужны многие; ибо известно всем, сколь мешкотно, сколь тихо бывает шествие наше в учении нашем, и распространение знаний не одним делается днем. Итак, можно вероятно заключить, что великий муж не есть новое произведение природы, но паки бытие, возрождение прежде бывшего,

прежняя мысленность, в новые органы облеченная. Даже история сохранила примеры о воспоминавших о прежнем своем бытии. Пифагор<sup>91</sup> помнил то ясно, Архий, Аполлоний Тианейский; и если б мнение таковое не было нашему веку посмеялищем, то можно подумать, что бы многие о таком прежнем их бытия воспоминании дали бы знать свету, но паче сего можно сослаться на каждого собственное чувствование, если только кто захочет быть чистосердечен. Не имели ли мы все или многие из нас напоминовения о прежнем состоянии, которое не знаем где вклеить в течение жизни нашей? В начальные дни жития нашего случалось бывать на местах, видать людей, о коих поистине сказать бы могли, что они уже нам известны, хотя удостоверены, что их не знаем; откуда таковые напоминовения? Не из прежнего ли бытия, не прежняя ли жизни? Не для того ли они бывают иногда столь же сладостны, что уже были чувствуемы? Если всякий о сем воспоминать не может, то для того, что прилепленный к телесности чрез меру, не может от нее отторгнуться. Но те, кои упражняются в смиренномудрии и мысленности, тем таковое напоминовение легко быть может; чему и дали примеры Пифагор, Аполлоний и другие. Такими-то доводами, любезные мои, стараются дать вид правдоподобия нелепости, и смехотворному дают важность.

Колеблюся, нужно ли опровержение на таковые надутые доказательства; ибо известно, что нужно Пифагору было о себе сказать, что он был прежде Евфорбий, для того, что он утверждал преселение душ. Можно было и Аполлонию говорить то же; ибо если мог делать чудеса, всеми зримые, то верили ему, что он облечен уже в новый образ. Но ныне успехи рассудка мыслить заставляют, что всякое чудо есть осмеяние всевышнего могущества, и что всякий чудодеец есть богохульник. Вот для чего Шведенборг<sup>92</sup> почитается вралем, а Сен-Жермень, утверждавший бессмертность в теле своем, есть обманщик. Какое пустое доказательство, что для произведения великого мужа прерождение нужно, да и в чем состоит таковая прерождения необходимость! Тот, кто может произвести великого мужа, может его произвести в один раз, равно как и в два. История свидетельствует, что обстоятельства бывают случаем на развержение великих дарований; но на произведение оных природа никогда не коснеет, ибо Чингис и Стенька Разин в других по-

ложениях, нежели в коих были, были бы не то, что были; и не царь во Греции, Александр был бы, может быть, Картуш<sup>93</sup>. Кромвель, дошедши до протекторства, явил великие дарования политические, как-то: на войне великие качества военного человека, но, заключенный в тесную округу монашеския жизни, он прослыл бы беспокойным затейником и часто бы бит был шелепами. Повторим: обстоятельства делают великого мужа. Фридрих II не на престоле остался бы в толпе посредственных стихосплетчиков, и, может быть, ничего более.

Что многие великие мужи рождаются вдруг, то естественно есть и быть так долженствует. Изъятия тому есть, но редкие. Редко возмогает тот или другой вознестися превыше своего времени, превыше окружностей своих. Уготовлено да будет место на развержение; великие души влекутся издалека, и да явится Нютон, надлежало, да предшествует Кеплер. Естественно, говорю, чтобы великие мужи являлись вдруг, а не поодиночке. Малейшая искра, падшая на горячее вещество, произведет пожар велий; сила электрическая протекает везде непрерывно и мгновенно, где найдется только вожатого. Таково же есть свойство разума человеческого. Едва один возмог, осмелился, дерзнул изъяться из толпы, как вся окрестность согревается его огнем и, яко железные пылинки, летят прилепиться к мощному магниту. Но нужны обстоятельства, нужно их поборствие, а без того Иоган Гус<sup>94</sup> издыхает во пламени, Галилей влечется в темницу, друг ваш в Илимск заточается<sup>95</sup>. Но время, уготовление, отъемлет все препоны. Лутер стал преобразователь, Декарт преобразователь, и яко вследствие законов движения, удар, данной единому шару, сообщается всем, на пути его стоящим, в едином ли то направлении или раздельно, так и электр души, возродясь единожды, изливаются во все окрестности и стремятся, подобно жидкостям, к равновесию (niveau) и уравниности.

Сколь тоще, сколь пусто доказательство, взятое из напоминовения, когда виды, новые предметы, кажется, будто видим виденные! столь верно, что сие напоминовение происходит от виденных, но подобных, хотя не самых тех, сколь верно, что все наши понятия происходят от чувств наших. Сочетание мыслей на яву имеет то же шествие, как и во сне; разность только та, что рассудок останавливает уродливое сочетание; но если вдашься воображению своему, то

все чудесности небывалого Элдорады будут скоро действительны. Та же сила, которая напоминает при воззрении на новые предметы, будто они уже суть виденные, сочетая воедино виденного по частям, та же сила могла произвести Армиду, солнышкина рыцаря<sup>96</sup>, и в Потерянный Рай вместить все изящности и все пелепости. Кто на яву ссылается на воображение, находится в опасности, что скоро забредит.

Но если предыдущие две возможности о посмертном нашем бытии суть произведения детства, а может быть, и дряхлости рассуждения человеческого, — что столь же, кажется, нелепо думать, что я буду по кончине моей слон белый, как новый Чингис, Европы завсеватель. — Возможность третья, то-есть, что состояние наше посмертное удобриться долженствует, во всем нами прежде сказанном многие имела доводы, и, дабы ее утвердить паче и паче, войдем еще в некоторые подробности. Может быть, я заблуждаю, но блуждание сие меня утешает, подавая надежду соединиться с вами: подобно, как будто привлекательное какое повествование, в истинности никакой основательности не имеющее, но живностию своих изображений, блеском картин и сходством своих начертаний удаляя, отгоняя даже тень печального, влечет воображение, а за ним и сердце в царство хотя мечтаний, но в царство веселий и утех.

Мы видели и для нас по крайней мере доказанным почитаем, что в природе существует явная постепенность, что, восходя от единого существа к другому, мы находим, что одно другого совершеннее или, сказати точнее, одно другого искусственнее в своем сложении; что в сем веществ порядке человек превышает всех других равно искусственнейшим своим сложением, совершеннейшею своею организациею, в которой толико явственно соединены многие силы воедино, а паче всего умственной своею способностию; тщательное наблюдение человеческого воспитания показывает нам, сколь способности в нем углубляются, ширятся, совершенствуют; история учит, колико народы могут в общем разуме своем совершенствоваться.

Природа, люди и вещи суть воспитатели человека; климат, местное положение, правление, обстоятельства суть воспитатели народов. Но начальный способствователь усовершенствования рода человеческого есть речь. Я того разыскивать не намерен, речь наша есть ли что-либо нам данное или самими нами изобретенная. Мне кажется, все рав-

по сказать, что всеотец научил нас говорить каким-либо посредством, или, дав нам органы речи, он дал и способность говорить. Но, кажется, излишнее будет рассмотреть, каким образом, поколику речь к совершенствованию нашему способствует: ибо из того и явствовать будет, что водитель речи, мысленность, возлагать будет орудие, речи лишенная.

Ничто для нас столь обыкновенно, ничто столь просто кажется, как речь наша; но в самом существе ничто столь удивительно есть, столь чудесно, как наша речь. Правда, что радость, печаль, терзание имеют изъявляющие их звуки; но подражание оным было руководителем к изобретению музыки, а не речи; если мы помыслим, что звук, то-есть движение воздуха, и звук произвольный, изображает и то, что глаз видит, и то, что язык вкушает, и обоняет нос, и что слышит ухо, и все осязания тела, и все наши чувствования, страсти и мысли; что звук сей не токмо может изразить все сказанное, всякую мысль, но что звук, сам в себе ничего не значущий, может возбуждать мысли и мысленности представить картину всего чувствуемого, — то в другом порядке вещей сие совсем показалось бы нелепым, невозможным: ибо рассмотри прилежнее служение речи. Время, пространство, твердость, образ, цвет, все качества тел, движение, жизнь, все деяния, словом: все... — и ты, о, всещедрый дарователь, и ты, о, всеильный, не изъемлем... — все преобразуем в малое движение воздуха, и аки неким волхвованием звук поставлен на место всего сущего, всего возможного, и весь мир заключен в малой частице воздуха, на устах наших зыблющегося. О вы, любители чудес, внимайте произнесенному вами слову, и удивление ваше будет нечрезмерно: ибо чудесно есть, кто воззвал род человеческий к общежитию из лесов и дебрей, в них бы скитались, аки звери дубровни и не бы были человеки? Кто устроил их союз? Кто дал им правление, законы? Кто научил гнущаться порока, и добродетель сотворил любезную? Речь, слово; без нее онемелая наша чувствительность, мысленность остановившаяся пребыли бы недействующи, полумертвы, как семя, как зерно, содержащее в себе древо величайшее, которое и даст покоящемуся сень, и согрет охладевшего, и пищу даст прохладную утомленному, и покровом будет от зною и непогоды, и пренесет по валам морским жаждущего богатства или науки до концов вселенныя, по которое

без земли, без влажности мертвеет, ничтожествует. Но едва всеисильный речъ привитал к языку нашему, едва человек изрек слово единое и образ вещи превратил в звук, звук сделал мыслию, или мысль преобразил в чертоносное лепетание, — как будто окрест вращающагося среди густейших мглы ниспадает мрак и темнота, очи его зрят ясность, уши слышат благогласие, чувственность вся дрожит, мысль действует, и се уже может он постигать, что истинно, что ложно; дотолѣ же чужд был и того и другого. Се слабое изображение чудес, речию произведенных. Мне кажутся аллегории тех народов весьма глубокомысленными, кои представляют первую причину всяческаго бытія произведшее прежде всего слово, которое, одаренное всеисилием всевышнего, разделило стихии и мир устроило. Если оно в человеке столь чудесно, столь чудодейтельно, то что возможет речъ предвечнаго? Какой ее орган, какое знамение, кто можѣт то ведать? .

Но сия божественность, нам присвоенная, сия степень к совершенству, сей толико блестящій дар всеотца, речъ наша, столь сама в себе малосущественна, столь зыблющаяся, столь летуча, что несовершеннее средства к нашему устройению, что брѣнее союза между людьми почти себе нельзя представить. Конечно, и естественность наша здѣсь на земли толико несовершенна, что лучшее средство ее бы превышало, тяготило, словом, выше бы было человечества; ибо рассуди: речъ изражает токмо имена, а не вещи, а потому человеческій разум вещей не познает, но имеет о них токмо знаменія, которые начертывает словами. Итак, вся человеческая наука не что иное есть, как изображение знаменій вещей, есть роспись слов; да иначе и быть невозможно. Внутреннее существо вещей нам неизлестно; что есть сила сама в себе, не знаем, как действием следует из причины, не знаем, да и не имеем чувств на постижение всего того. О, человек! когда, возгордившись паче меры, ты возлетаешь в чувствованіи твоём, помысли, что знаніе твое, что наука твоя есть плод твоея речи, или, паче, что она есть собраніе различных звуков, помысли, и усмирися.

Вот, возлюбленные мои, вот на чем основаны человеческіе познанія. Мысли наши суть токмо знаменія вещей, изражаемые произвольными звуками; следовательно, нет существеннаго сопряженія или союза между мыслию и словом; ибо все равно было назвать дурака дураком или ва-

шим; в сем ни малейшего сомнения не может быть. Сколь скоро два языка кому известны, то сие явно. И се обильный источник наших заблуждений: ибо поелику во всех языках каждая вещь имеет уже название, и все несложные мысли свои знаменья, то когда возродится мысль новая, то \* дают ей знамение, сложенное из прежних. Если ты разумеешь под знамением то, что я, то мы друг друга разумем; если же ты понимаешь иначе, то и выходит разгласие, вздор. Равно, как бы один говорил по-еврейски, а другой по-русски. Таковы-то однако же суть большею частию все мнения философические, все исповедания. Один сказал: да, — другой разумел: нет, — а третий и то и другое: от чего случается, что от первого изрекшего знамение вещи оно хотя переходит в том же звуке заключенное чрез многие столетия, но мысль, с ним сопряженная, различествует от первой, как день от ночи. Таковы суть и были наипаче мнения человеческие о высшей силе. Люди называли ее богом, не имея о ней ясного понятия. Вот как разум человеческий бродит, ищет истину, но вся мудрость его, все глубокомыслие заключены в утлом звуке, из гортани его исходимом и на устах его умираемом.

Не место здесь говорить о письме, которое не что иное есть, как произвольно начертанные знаки, кои означают звук, нами произносимый, слово. Но да позволено нам будет следующее токмо рассуждение: поелику звук, выражающий знамение вещи, есть произвольный, то на место сего звучного выражения, слугу нашему внятного, поставь выражение произвольное, подлежащее другому чувству, — то будешь иметь речь, не гласом произнесенную, но зримую, но вкушаемую, но обоняемую, но осязаемую. И се понимать можем, как изобретены письмена, которые суть истинная речь для органа зрения. Примеры лишенных некоторых чувств доказывают ясно, что речь, или произвольное выражение знаменья вещей, может вместо звучных знаков вмещаться в знаки, другим чувствам подлежащие. Глухие, а потому и немые изъясняются знаками и мысли свои заключают в знаках, подлежащих зрению. Из сего понятна возможность изучить их разуметь речь писанную, что аббат

---

\* Доколе вещь не дапо имя, доколе мысль не имеет знаменья, то она разуму нашему чужда, и он над нею не трудится. Дабы усвоить разуму какое-либо познание, нужно пржде всего ее озаменовати.



де л'Еле произвел в действо с удивительным остроумием, а может быть, взирая, каким образом немые изъясняют свои мысли, и видя, что они на место звучных знаков поставляют знаки зримые, изобретатель письмен внял, что им подражать можно, и начертал азбуку. А хотя он, по изречению одного славного немецкого сочинителя<sup>97</sup>, действовал между человеками, яко бог, но, заключая летущий ум в букву, он был не первый, который изобрел речь зримую. Живописец прежде его беседовал уже с нашими взорами; начертание образов зримого, картина была первое зримое изображение, речь звучную заменяемое; живопись родила иероглифы, а сии гораздо уже позже — буквы.

Если бы другие наши чувства столь же удобны были на понимание речи, как ухо и глаз, то бы, конечно, можно было сделать азбуку обоняемую, вкушаемую или осязаемую. Хотя и видали примеры, что слепые могли различать цветы посредством осязания и, может быть, возможно было двух слепо- и немо-рожденных изучить сообщать друг другу свои мысли, но речь обоняемая, речь вкушаемая и даже речь осязаемая не могут быть толико совершенны, как речь зримая, а паче того речь звучная: ибо сия едина в произношении свсем есть разновиднейшая и соответствующая истинному органу слова. Но едва человек мог соединить речь звучную с речью зримую, то потек на изобретения, дерзнул на возможность и успел. Итак, сколь ни брэнна, сколь ни зыбка есть речь наша, яко средство совершенствования, однако к оному была она одно из сильнейших. Подражание, речь, рассудок были руководители его к изобретению и расширению наук и художеств. Да и в самом диком состоянии человека, в первественном его состоянии, в состоянии естественном сии руководители его не оставляют. Сила мысленности его столь же могущественна, как живущего в просвещеннейших государствах, ибо, что язык одного народа искусственнее, изглаженнее другого, что мысленная округа его расширеннее, прсстраннее, обильнсе, из того не следует, что все особенники народа суть разумнее, в мысленности могущественнее наименее совершеннейших народов. Изобретал мысль един, другие же, яко пленники, к колеснице торжествователя сего пригвожденные, бредут ему во след. Они говорят говоренное, мыслят в мысли другого, и нередко не лучше суть младенца, лепечущего во след своея няньки.

Итак, в каком бы то состоянии ни было, человек удобряет свою чувственность, острит силы мысленные, укрепляет понятие, рассудок, ум, воображение и память. Он приобретает несчисленное количество понятий, и из сравнения его рождаются понятия о красоте, порядке, соразмерности, совершенстве. Побуждение его к сожитию ввело его в общественное житие, и се разверзаются в нем новые совершенства. Права и обязанности, в общежитии им приобретенные, возводят его на степень нравственности; се уже рождаются в нем понятия о честности, правосудии, чести, славе; уже из побуждений к сожитию рождается любовь к отечеству, к человечеству вообще, а за ними следует тысячи добродетелей или паче сия из многих рождается; и сожалительность его претворилась в великодушие, щедроту, милосердие. Таким образом достигает он до вершины своего чувствования, до совершенства всех своих качеств, до высшего понятия о добродетели.

Хотя сказанное не на всех распространить можно, но различие между людьми состоит токмо в одной степени, а не в сущности. Да и тот, кто устраняется назначенного пути, устраняется, стремяся к совершенствованию, к блаженству: ибо все, что живет и мыслит, все стремится к расширению своих качеств, к совершенствованию; и сия есть мета мысленного существа. Хотите ли в том быть убежденны? Воззрите на то, что он на земли исполняет. На свет исходит, не имея никакой способности, ни умения, и является паче всех животных беззащитнее, беспомощнее, немощнее; и то природное стремление, которое другим животным столь явно руководствует, в человеке не существует. Но воззри на него, едва ощутил недостатки свои, едва возопил: немощствую, — уже вся природа стремится ему на вспомошествование. Чувства его изощряются, рассудок укрепляется; недостатки рожают склонности, речь ведет его беседовати с богом, и рожденный слабее, немощнее, тленнее, словом, хуже всех других тварей, вследствие способности совершенствования человек возвышается выше всех существ на земли, и явен становится ее властитель.

Итак, стремление к совершенствованию, приращение в совершенствовании кажется быть метою мысленного существа, и в сем заключается его блаженство; но сему стремлению к совершенствованию, сколь оно ни ограничено есть, предела и конца означить невозможно<sup>98</sup>: ибо чем выше

человек восходит в познаниях, тем пространнейшие открываются ему виды. Подстрекаемый всегдашним стремлением, мета его есть шествие беспрестанное, почти бесконечно, и поелику мысленности существенно, то и сама вечность на достижения сея меты недостаточна. Оттуда все старания наши, все наши стремления беспредельны. Желание наше объемлет бесконечность, и вечностию его разве измерить можно, а не временем. Склонности и страсти удовлетворений не знают, и чем более угоджаются, тем сильнее возрастают. Все благородные склонности и все скаредности едину носят на себе печать. Рвение к науке ненасытимо, возродясь единожды; любочестие всеалчно, желало всю землю зреть своим подножием; и даже мерзкое сребролюбие жажде своей к имению не знает ни конца, ни предела. Всякую мысль, всякую мечту мы тщимся поставить мер превыше; где мы обретаем предел и ограду, там будто чувствуем плен и неволю, и мысль наша летит за пределы вселенныя, за пределы пространства, в царство неиспытанного. Даже телесность наша тщится во след мысли и жаждет беспредельного: ибо едва коснется пресыщения, то и наивеличайшее услаждение мерзит.

Поступим теперь к другому. Мы в предыдущем изъяснили, что понятия о красоте, благогласии, соразмерности, даже добродетели рождаются из сравнения: следовательно, не суть понятия сами по себе; мы видели, что сравнение есть деяние вещества мыслящего: следовательно, дабы что-либо поистине могло назваться прекрасным, изящным, нужно деяние умственное, да произойдет сравнение. А как без умственности сравнение быть не может, то не должны ли заключать, что бы и вся красота мира ничтожествовала, не бы были вещества мыслящие, разумные: следовательно, они в *начертании* сложения мира суть необходимы. Как же можно вообразить себе их уничтожение, а особливо тогда, когда деятельною мысленностию они усовершенствовались, следовательно, удобнее еще стали постигать все изящное, все превосходное, всю красоту.

Почерпая из сего новые еще доказательства о бессмертии души нашей, мы также научиться из них можем, что цель, что мета человечества есть совершенствование и блаженство, которое есть следствие добродетели, единья от совершенств. И неужели блаженство наше есть мечта, обольщение? Ужели всеильный, всеблагий отец хотел сделать из нас

игралище куколок? — Таковыми бы мы почтены быть должны, если бы блаженство наше с жизнью нашею скончалось; ибо недостатки телесности наша претят, да может быть совершенно. Теперь время уже, возлюбленные мои, поспешать к концу нашего предприятия и, удостоверившись всякими мерами, что душа наша бессмертна, что жить будет и не умрет, то-есть не разрушится, — теперь надлежит сказать, что с душою останется, когда она от тела будет отделенна. Многие суть случаи в жизни нашей, в которых нам показывается сходственность с первою степеню кончины наша. Как скоро жизнь прервется, то последует бесчувственность, забвение самого себя. Подобные сему состояния суть: обморок, исступление, сон и множество других состояний; в таковых положениях человек забывает сам себя, теряет о себе сведение и лишается на время своей чувственности; итак, можно бы заключить, что подобно, как во сне, отъемлющем внешнюю нашу чувственность, остается в нас чувственность внутренняя, то-есть мысленность, — подобно сему, говорю, и по смерти будем чувственности внешние лишены, но сохраним мысленность. Но пребудет ли она такова в нас по смерти, как в состоянии сна? При первом взгляде сие таковым и покажется, и могло бы в нас произвести уверение, но оно противоречит нашему существу, противоречит мете нашего бытия, следовательно, противоречит намерению творца в его творении. Постараемся отразить сие казистое доказательство и возвести мысленность нашу, по отлучении ее от тела, в то достоинство, на которое она кажется быть определена.

Из предыдущего видели мы, что мысленность человеку сосущественна, что она его составляет особенность, что человек и может по ней назваться человек, а без нее равнялся бы скотам. Мы видели также, что совершенствование ее есть свойство неотделимое; а потому и мета наша на земли относится к устройению нашему, из чего следствие бывает блаженство. Вследствие сих предпосылок человек во время жития своего дает всем силам своим всю возможную расширенность. Способность мыслить, с коею рождается, бывает разум, чувства наши изощряются, научаются, искусствуют; склонности наши производят деятельность необъятную и, яко понятия, чувственностью принятые, претворяются в мысли, тако и склонности, в душе преобразовавшись и получив всю свою расширенность, становятся добродетели

или пороки. Побуждения наши, ссореждаея, так сказать, в душе, яко в средоточии зажигающего зеркала, родив в нас волю, дают столь широкую, столь твердую подножность, что если бы она не в человеке пребыла, то казалася бы божественною. Мы видели потом, что печать беспредельности наложена всему, что человек предприимлет; в самых силах его видна бывает толика энергия, что предел им назначить было бы отважно. Хотите ли сему примеры: Скалигер<sup>99</sup> Омира выучил наизусть в три недели и в четыре месяца всех греческих стихотворцев. Валлис<sup>100</sup> извлекал в голове коренное число пятидесяти трех цифирей. И таковые примеры отменныя энергии в силах умственных суть часты; незамечены теряются, и для того не всяк о них знает. Из предшедших доказательств убедилися, что мысленность наша, что сила наша разумная, что душа наша разрушиться не может: ибо, не яко тело, несложенна, следовательно, не пропадет, не исчезнет, не уничтожится, пребудет, проживет во-веки. Итак, из всего сказанного не ясно ли следует: 1. Поелику мысленность наша или душа не разрушится, то пребудет жива и по разрушении тела. 2. Поелику существенность ее состоит в непрестанном совершенствовании, то по отделении от тела душа ее сохранит, ибо если бы сия существенная ей способность изменилася, то бы она в худшее прешла состояние, не была бы душа, что также противно намерению, в сотворении человека явствующему. 3. Поелику же состояние сна лишает нас ясного о самих нас познания, а потому не столь есть состояние совершенное, как состояние бдения, то смерть уподобится сну относительно человека разве в том только, что обновит силы его душевные, как-то сон обновляет телесные, а не в том, что лишит душу ясного о себе познания, в чем состоит преимущество человека пред другими животными. 4. Поелику в силах душевных является беспредельность и ограниченность ее происходит от ее телесности, то, отрешенная от нее, она в деятельности своей будет свободнее. И, наконец, 5. Поелику душа сохранит свою способность совершенствования, то паче и паче будет совершенствоваться. А если бы захотел ты иметь сему совершенствованию меру, то помысли, каков человек рождается и что он бывает в его возмужалости, помысли, что в совершенствовании не будет препинаем ни обстоятельствами, ни страстями, ни болезнями, ни всеми препонами, телесностию душе налагаемыми; помысли, сколь уже разум челове-

ский отстоит теперь от дикого, от грубого состояния человека, питающегося ловитвою; помысли и, начав от нынешнего совершенства, измеряй восхождение и знай, что не житием телесности то исполнять должно, но отрешая меру времени; помысли все сие и скажи: где есть предел совершенствования души? О, человек! не ясно ли ты есть сын божества, не его ли в тебе живет сила беспредельная!

Как можно думать, чтобы состояние человека посмертное было сну подобное, чтобы человек стал лишен чувствования, самопознания и жил бы, так сказать, в непрестанном мечтании? Когда здешнее состояние человека цель имеет совершенствование, когда в посмертное перейдем совершеннее, нежели рождены были, то как мыслить, чтобы будущее состояние было возвратно, ниже, хуже теперешнего, как то непрестанное состояние сну подобное. Если то истинно, что всякое настоящее состояние предопределяет состояние следующее (ибо сие без того не имело бы достаточных причины к существованию), а наше состояние на земли есть состояние совершенствования, в чем состоит мета нашего здесь пребывания, то не следует ли из того, что состояние будущего человека, поелику определяемо совершенствованием, будет совершеннее? Следует, что противоречие бы было в мете нашего бытия, чтобы следующее состояние человека подобно было сну, забвению, когда теперешнее состояние, будущее определяющее, есть состояние совершенствования. Возьмем известное уподобление, на перехождении человека от одной жизни к другой приложенное; последуем хотя косвенно в сем употреблении умственному исполну, и да будет он нам опорю.

Лейбниц сохранение животного по смерти и перехождение человека уподобляет прерождению червяка в бабочку и сохранению будущего строения бабочки в настоящем червяке <sup>101</sup>. Посмотрите, колико оно сходственно. Зри убо скаредного на чреве своем пресмыкающегося червяка. Алчба его единственное побуждение; прилепленный к листовиям, их пожирает и служит единой своей ненасытимою; но се уже его кончина: смертная немощь объемлет его, сжимается, корчится, и се уже лежит бездыханен. Но сила, внутрь его живущая, не дремлет. Животное спит, покоится во смерти. И се происходит его прерождение. Ноги его растут, все члены претворяются; и едва новое его рождение достигло своего совершенства, то в жизни пакы является, или

паче пробужденный. Но какое превращение: вместо червяка является бабочка, простирает блестящие всеми цветами лучей солнечных крылья, возносится и, гнушаяся прежняя своя пища, питается нежнейшею. Уже новое совсем имеет существо, другая его мета, другие побуждения. Червяк служил токмо своего чрева, а бабочка, вознесенна до общия меты животных, служит прерождению. Кто бы мог вообразить в червяке бабочку, что они суть единое животное, и что превращение его есть токмо другое время его жизни? О, умствователь! поставляй предел природе; она, смеясь бессилию твоему, в житие единое соцепляет многие миры.

Если худшее состояние человека по смерти противоречит его мете и его сущности, то паче противоречит оно намерению творца в его творении: ибо поелику мета его есть совершенствование, то состояние, оному возвратное, худшее, будучи оной противоречуще, противоречит и намерению творца потому, что в том и было его намерение, да совершенствуем.

Всемогущее существо в самом деле ни награждает, ни наказывает, но оно учредило порядок вещам непременный, от которого они удалиться не могут, разве изменя свою сущность.

Итак, добродетель имеет сама в себе возмездие, а пороки наказание. Что может быть сладостнее, как быть уверену, что пребыли всегда в стезе, нам назначенной? Что превышает удовольствие, как знать, что ничем мы сами себе упрекнуть не можем? Если бы вознялася легкая мгла, затмевающая зеркало совести добродетельного человека, напоминовение соделанного добра разгонит мгновенно. Напротив того, злые принужденны ежечасно упрекать себе свои злодеяния, терзаться, казниться среди благоденствия. — Почто искать нам рая, почто исходить нам во ад: один в сердце добродетельного, другой живет в душе злых. Как ни умствуй, другого себе вообразить не можно. Если же себе представим, что все человеки сходят в их силах и способностях, суть во всем одинаковы, и черта, одного от другого отделяющая, незрима, в различиях своих они восходят или нисходят непременною постепенностию, но все суть единого рода; следовательно, и определение их, мета их, цель должны быть одинаковы. Если кто из них, употребляя во зло данные ему способности, устраняется предопределения своего, то все следствия злых дел налагают на

него. Едкая совесть грызет его сердце и не отступит от него, дондеже не истребит в нем все преступное, все злое. Яко врачебное некое зелие, совесть есть лекарство злых дел, и если в жизни она нас не исцеляет, то, конечно, по смерти. Излеченных совестью ужели всеотец исключит из своих объятий? Почто мы бываем толико жестокосерды? Преступник не брат ли наш? И кто может столь сам пред собою оправдаться и сказать: никогда во мне ниже мысль злая не возникала?

Если возможно, сцепляя многие истины, постигнуть, что совершенствование есть цель человека, не токмо цель его на земли, но и по смерти, то весьма трудно, дабы не сказать — невозможно, вообразить себе, каким образом продолжится совершенствование человека по смерти: ибо если на земли была в том ему пособием телесность и его органы, то как то может быть без оной? Чувства его дали ему понятие, а без них их бы он не имел. То два средства: или вновь понятия уже приобретать душа не будет, а действовать будет над прежними, или человек будет иметь новую организацию. Боннет <sup>102</sup> старается доказать, что душа человеческая всегда будет сопряжена с телом, что, по смерти оставшия семени сопряженна, человек из одного сопряжения родится паки двусуществен. Основывает он сие рассуждение на том, что поелику человек, как всякая тварь, содержится в семени до зачатия своего, то как оное семя кажется быть душе сосущественно, то она с ним навеки пребудет сопряженна. Если сие предположение невероятно, но возможно, — ибо то истинно кажется, как то мы видели в начале сего слова, что семя зачатию было предсущественно. Но запутнение не совсем развязано: ибо семя, коему пред зачатием душа была союзна, зачатием и рождением разверзлося и произвело новые семена, коих развержение новые произвело существа; но прежнее семя, семя отчсе, уже разверженное, должно пребыть паки семя, что есть противоречие; то надлежит предполагать, что семя развержения произведет самого себя вновь. Вот круг, и затруднение не решено. — Таковы суть следствия семенного любомудрия, как то его называют; но сколь ни слабо сие рассуждение, оно имеет казистую сторону и находило последователей. Мне кажется, что все таковые системы суть плод стихотворческого более воображения, нежели остроумного размышления. За таковое же изобретение выдаю и следующее



предположение: приметно или паче явственно, что есть в природе вещество или сила, жизнь всему дающая. Чувствительность наша, электр и магнитная сила суть, может быть, ее токмо образования (modification), то не сие ли вещество, которое мы назвать не умеем, есть посредство, которым душа действует над телом? А поелику оно есть средство к действованию души, то не вероятно ли, что, отступая от телосмертия, душа иметь будет то же посредство для своего действования? Но дабы действовать, нужны кажутся ей быть органы; а поелику душа в сожитии своем с телом стала совершеннее, то и органы нужны ей совершеннейшие. И для чего сего вероятным не почитать, когда и самая сила творчая явна токмо посредством вещественности, посредством органов? Какое противоречие мыслить, что может быть в сем же мире и может быть на земли другая организация, но нами не ощущаемая, нам неведомая, да и по той только причине, что она чувствам нашим не подлежит? А если бы чувства наши были изошреннее и совершеннее, то бы и сия нам неведомая организация была бы известна. Что чувства наши или, лучше сказать, что чувственность может быть изошреннее, то доказывали примеры чувств, из соразмерности своей болезнию выведенные; дай глазу быть микроскопом или телескопом, какие новые миры ему откроются! И как сомневаться в возможности лучшей организации? Тот, кто мог дать человеку око на зрение красоты и соразмерности, ухо на слышание благогласия; тот, кто дал ему сердце на чувствование любви, дружбы; кто разум ему дал на постижение дателя; тот, кто огонь, воздух, землю и воду сплел воедино; тот, кто самую летучесть огня претворяет в твердость и свет вмещает в части составительные веществ, может, конечно, может произвести новые смешения; благость его к творению его не иссякнет, любовь к производству своему горячности своей не потеряет; и если единое его слово рождает чудесность, то оно и паки ее родить может. Или на что предполагать быть новому творению? Вся возможность прешла в действительном пред началом уже времен, и что будет, уже было в незыблемом порядке с того мгновения, как возблистало солнце и время отделилось от вечности.

Для чего предполагать невозможность быть другим организациям, опричь нами чувствуемых на самой земле, по той единственно причине, что они нам нечувствительны?

Сколько веществ, ускользающих от наших чувств, иные своею малостию, иные своею прозрачностью или другими свойствами, чувствам нашим неподлежащими, и если мы в малостях видим, что пресыщение одной вещи не исключает приемлемость другой. Вода, насыщенная обыкновенною солью, и не приемля ее более, приемлет и растворяет другую. Истолкуй сию возможность, и если бы не опыт то доказывал, ты бы оному не верил.

Не так далеко, кажется, отстоять должно будущему состоянию человека от нынешнего, как то иногда воображают его, не за тридевять земель оно, и не на тридесятом царстве.

Если должно верить сходственности аналогии (да не на ней ли основаны большая часть наших познаний и заключений?), если должно ей верить, то вероятно, что будущее положение человека или же его будущая организация проистекать будет из нашей нынешняя, как-то сия проистекает из прежних организаций. Поелику к сложению человека пужны были стихии; поелику движение ему было необходимо; поелику все силы вещественности в нем действовали совокупно; поелику по смерти его и разрушении тела стихии, вышед из их союза, пребудут те же, что были до вступления в сложение человека, сохраняя все свои свойства; потолику и силы, действовавшие в нем, отрешась от тела, отойдут в свое начало и действовать будут в других сложениях; поелику же неизвестно, что бывает с силою или стихиею чувствующею, мыслящею, то нельзя ли сказать, что она вступит в союз с другими стихиями по свойству, может быть, смежности, нам неизвестной, и новое произведет сложение? О, возлюбленные мои, я чувствую, что несуся в область догадок, и, увь, догадка не есть действительность.

Повторим все сказанное краткими словами; человек по смерти своей пребудет жив; тело его разрушится, но душа разрушиться не может: ибо несложная есть; цель его на земли есть совершенствование, то же пребудет целию и по смерти; а из того следует, как средство совершенствования его было его организациею, то должно заключать, что он иметь будет другую, совершеннейшую и усовершенствованному его состоянию соразмерную.

Возвратный путь для него невозможен, и состояние его по смерти не может быть хуже настоящего; и для того вероятно или правдоподобно, что он сохранит свои мысли приобретенные, свои склонности, поколику они от телесности

отделены быть могут; в новой своей организации он заблуждения свои исправит, склонности устремит к истине; велику сохранит мысли, коих расширенность речь его имела началом, то будет одарен речию: ибо речь, яко составление произвольных знаков, знамение вещей означающее, и может внятна быть всякому чувству, то какая бы организация будущая ни была, если чувствительность будет сопричастна, то будет глаголом одаренна.

Положим конец нашим заключениям, да не зрится ищущими единственно мечтаний и чуждаемся истины. Но как бы то ни было, о, человек, хотя ты есть существо сложное или однородное, мысленность твоя с телом разрушиться не определена. Блаженство твое, совершенствование твое есть твоя цель. Одаренный разными качествами, употребляй их цели твоей соразмерно, но берегись, да не употребишь их во зло. Казнь живет соседна злоупотреблению. Ты в себе заключаешь блаженство твое и злополучие. Шествуй во стезе, природою начертанной, и верь: если проживешь за предел дней твоих, и разрушение мысленности не будет твой жребий, верь, что состояние твое будущее соразмерно будет твоему житию, ибо тот, кто сотворил тебя, тот существу твоему дал закон на последование, коего устраниться или нарушить невозможно; зло, тобою соделанное, будет зло для тебя. Ты будущее твое определяешь настоящим <sup>103</sup>; и верь, скажу паки, верь, вечность не есть мечта. —

---

## О ЗАКОНОПОЛОЖЕНИИ



**Е**жели то истина, доказательств не требующая, что закон постановляется для того, чтобы гражданин, в обществе живущий, ведал, в чем состоят его права и обязанности, чтобы знал, что есть дозволено и запрещено; если то истина, что закон в гражданском обществе служит, так сказать, знаком, показующим стезю шествия правильного, и маяком, знаменующим деяния опасные, которых в общежитии удаляться должно, то не меньше того истинно и справедливо, что закон не удобен всегда охранять права каждого от притязания ухищренных доводов и от насилия постороннего; не может всегда воспретить, чтоб человек не покусился на неправду, чтобы не впадал в преступление. Сколь ни тягостно для человеколюбивого законоположника устанавливать казни и нарицать иногда преступлением то, что само по себе есть ни зло, ни благо, то, что дозволял бы закон естественный; но то успокоит его любящее сердце, что казнь законная не есть иное что, как ограда прав и общих и частных, и оплот, постановленный против пороков, все растлевающих, против неистовства нарушившего, против буйства, все испровергающего, против неправды, злобы и пагубных их следствий, против злодейств и преступлений.

Сколь законы ни мудры, сколь они ни ясны в показании прав общих и прав личных, сколь они ни предварительны в преступлениях, сколь действие их ни раздельно и неминуемо, но время, перемена в обычаях и нравах, в образе мыслей, проистекающая от просвещения или загрубелости, а паче всего человеческие страсти делают мудрость их напрасною; умствование и ябеда затмевают их истинный смысл, наглость и ухищрение претят их действительности, и, дав им ложный толк, смеются тщетной их угрозе; и так законы становятся обветшалыми, деятельность их мертвеет, правда и обязанности становятся ненадежными. Препятствия и законные обязанности исчезают, возрождаются новые и закону неизвестные, преступления теряют гнусный свой вид, да не прикроются личиною благонравия; превратность мыслей и страстей буйство произведут преступления во всем новые, в законе неизвестные, ему не подлежащие, и казнь ударять будет тщетно, или, что еще пагубнее, закону дадут истолкование, вместо literalного его к деяниям присвоения, и невинность восплачет. Время и ту еще в законах производит перемену и делает действие законов тщетными, что при издании оных некоторые недозволенные деяния были редки, для общего спокойствия мало опасны; и казнь за них определенная была хотя легка, но достаточна, ибо была неминуема. В продолжении же столетий те же самые деяния становятся часты, стремительны, и меч правосудия, на них исторгнувшийся, видя их общим мнением одобренные, цепенеет, не смея наказывать того, кого все одобряют.

Сии то суть, как и многие другие истинные причины, для которых всегда и везде нужно было исправление законов обветшалых, издание новых и уничтожение прежних. Но когда разум любомудрия, сопровождаемый светильниками наук, действие свое благотворное простер посреди народного общества и даже на самых правителей народов; если все начинают заботиться о благе общественном, если начинают постигать основание своих прав и обязанностей; когда лучшие о всех вещах начинают иметь понятия, — тогда настает благопоспешный час дать народу новое уложение, основанное на истинных и непреложных понятиях о всех предлогах общественных,сообразное умоначертанию общему, не уважая больше древних вредных предрассуждений, коим одна поновровка произведет то пагубное следствие, что препнет шествие ко блаженству на целые столе-

тия и благоденствие народное возвержет опять далеко от истинной его цели.

Но законодатель мудрый, не убоясь препятствий и трудностей от частных людей, неистовых самолюбимцев, презрив негодование некоторых для пользы миллионов, сокрушит неясности прежних узаконений, низвергнет ненависть чиносостояния разделяющие, воздвигнет закон для всех единый, в действии своем неминуемый, в изречениях неумолимый, который обнажит всем начальную цель общества и незыблем водрузится в сердца всех сограждан. Тогда родится общая безопасность, престол правителей народных будет непоколебим, и блаженство народное не будет задачею, отдаваемою на решение одних только любителей человечества.

Не входя в подробное исследование причин, побуждающих о перемене законов в каком-либо государстве, мы почитаем, что ныне в России существуют многие таковые причины и что настает черед сделать в законоположении отечества нашего великую перемену.

Не успел Петр 1-й ввести в Россию новые обычаи и обыряды, не успел распространить сношений государства своего с Европою, как почувствовал нужду переменить многое в прежних законоположениях; но не сделал общего плана всему законоположению, коего части были бы в надлежащей соразмерности, подкрепляли бы одна другую, освещались бы взаимным светом и стремились бы все к цели единой. По сей-то причине и случилось, что издаваемые при нем указы наделены были ко произведению перемен в устройении различных частей, нежели были части некоего уложения, на известных правилах основанного. То же должно сказать и о последующих правлениях; если иногда видна цель их правления и образ их мыслей, в отношении средств к управлению государством употребляемых, но правила их законодательства всегда были шатки и ненадежны, или же сами по себе противоречущи. Писателю российской истории в сем отношении обильная предлежать будет жатва.

Наконец, воцарилась императрица Екатерина II; она вступила на престол, когда уже Фридрих II в Пруссии давал властителям примеры, как на троне воцарять любомудрие, когда уже Монтескию издавал свое о законах бессмертное сочинение, когда уже писал Беккария, когда Блекстон больше известными сделал в Европе законоположения

своего отечества, когда Волтер проповедал терпимость до безголосицы, бич гонения воздвиг на суеверие и пустосвятство преследующим оружием насмешки, и язык его, яко бритва изошренная, сокрушал сии бранные иступления, — она, уразумев колико пужно сообразовать законы с общим народным умоначертанием, которое в России со времен Соборного Уложения во всем переменялось, которое со времен Петра I, а паче со времен Елизаветы, взяло уже вид совсем новый, а с начала ее царствования начинало входить в стезю общего умоначертания Европы, — императрица Екатерина вознамерилась положить основание Российскому государству, воздвигнув власть верховную на законе непреложном и всем известном. Основав законы гражданские на лучшем понятии первых прав положительных и прав естественных, основав законы уголовные на истинной соразмерности преступлений со вредом, наносимым оными обществу, и казнию, ему свойственному, умягчая оную елико возможно, основав судопроизводство на рассуждениях изменяющихся, — императрица Екатерина II-я начертала Наказ свой о сочинении нового уложения и призвала для составления оного депутатов из всех губерний обширныя России и от всех племен и чиновостояний. Хотя Наказ ее не что иное есть, как извлечение, нередко слово в слово, из лучших тогдашнего времени о законодательстве сочинений, хотя он многие имеет недостатки, что во многих местах неясен, так, как и многие узаконения ее времени; или лучше сказать, законодательница сия мудрая не хотела объявить полную мысль свою, оставила многое на догадку, или предоставляя себе право делать толкования по произволу. Однакож к великой чести ее послужит на дальнее потомство, что она в Наказе своем освятила правила обществ непреложные, цель оных, и намерение обнаружила и хотела царствовать над обществом, управлять народом блаженным, или лучше сказать, дать ему управляться самому собою, оставляя себе одно верховное всего надзирание. Если в Наказе суть многие мнения ложные, но они не что иное, как жертва общему почти мнению тогдашнего времени, а наипаче — жертва славе автору книги о разуме законов<sup>1</sup>; если в течение своего долговременного царствования, а особливо при конце оного, она отступила от многих своих правил, то была, может быть, расстроена в оных внешними и внутренними смутностями и, наконец, платила долг при-

роде при долговременном ее правлении. И кто от смертных в течение жизни своей мог быть всегда одинаков? Людовиг XIV по смерти Мазарина <sup>2</sup> вопрошающим — к кому должно будет впредь относиться в делах государственных — отвечает и *ко мне*, — не тот Людовиг, который подписал на лоне суеверных *Ментеноны* <sup>3</sup> уничтожение *Найтского положения*; Фридрих II, коего любомудренный разум привел в цепенение ласкателей и наушников, не тот был Фридрих, который после был куклою, двигаемою пружинами грубого *Ангальта* <sup>4</sup>, и который внимал рассказам *Амалии* <sup>5</sup>; Фридрих, обнаживший в деле мельника Арнольда <sup>6</sup> упрямство преступное, не тот был Фридрих, который, поставив Кокця канцлером, велел ему удушить, так сказать, гидру ябеды изданием нового уложения и сокращением обряда судопроизводственного, назначив оным срок кратчайший, срок однолетний. Но при конце дней своих он воспрянул еще и был тот же, как прежде, когда по повелению его Кармер <sup>7</sup> призывал всех прусских подданных законоучителей от всех языков и всех без изъятия на советованіе о издаваемом втором фридриховом уложении.

Такова есть участь человека быть подвержену переменам, есть устав непреложный в мире вещественном и нравственном. Итак, императрица Екатерина, издав Наказ о сочинении нового уложения, издала многие только частные узаконения, но дело главное и основное всему оставила недовершенным.

Со времени издания оного Наказа до ныне текущего столетия прошло более 35 лет, или время целого поколения, и народ российский и род человеческий переменился в том, что живут теперь люди не те, которые жили тогда; Россия в сие время много образовалась, и многие видели мы перемены <sup>8</sup>; общее умоначертание образовалось во многом по законам Екатерины II; во многом оно клонит и нагибает во стезю свою самые законы и власть, действия их нередко бывают тщетны, хотя начало законополучения не во мгле времени скрыто.

Судить о том, поколику деяния граждан идут стезею закона или от нее устремляются и поколику общее мнение дает законам другой оборот и действие их делает тщетным, — ничто толико не удобно, как картина тех деяний, которые сделаны гласными, которые подлежали законному исследованию и рассмотрению и над которыми испытывало свои



силы остроумие судей при постановлении решений. Из судопроисшествий можно делать неложные и прямые заключения: 1) какие права в обществе бывают чаще других нарушены; 2) какие к нарушениям бывают побуждения и причины; 3) сии причины и побуждения основываются ли на всегдашнем и общем умоначертании, на обычаях, правах и постановлениях; или корень евой влекут из проходящих обстоятельств, от нечаянности, от худого или ложного о вещах понятия, вследствие сего сии причины суть всегдашни и общи, или временные и частные; 4) как ухищрение старается избегнуть действие закона, или как ябеда тщится дать деянию противозаконному или преступному иной вид; 5) для чего бесхитренность и невинность иногда вид имеют злонамерения и преступления, и [6]) для чего они иногда страждут, не важною ли [причиною] в том самые законы, их неясность или неточное их или же превратное к деяниям приложение; 7) когда, где и для чего преступление идет, смело имея вид бодрый и наглую осанку; 8) почто оно не получает должного возмездия, казнь законами определенную; 9) почто между преступления и наказания великое бывает расстояние и не для того ли действие казни не благо; 10) почто дела уголовные не оканчиваются иногда в три, четыре, пять, а может быть, и в десять лет, а гражданские продолжаются больше половины столетия или через два почти человеческие поколения. Тут явны могут быть и обнаружатся: деятельность, остроумие, бескорыстие, честность, беспристрастие, человеколюбие и добродетель, или — нерадение, злоупотребление, гнусность видов и намерений, скрытое или явное мздоимство, лицепрятие, поноровка, невежество и глупость судей судящих. Тут исторгается из груди нашей вздох печали, видя одного добродетельного судью или градоначальника среди толпы беспутной, мздоимной, неистовой и ухитренной, стелящего под званием своим, зане глас его в суде звенит бесплодно и утщется его благонамерение. Тут же на веждях наших появится еще радостно блестящая [слеза], видя повсюду судей, судящих вправду, без лицепрятия, без нарушения данной клятвы, во имя судии предвечного.

Обширнейшие из служебных деяний можно почерпнуть мысли для будущего законоположения, ибо, соображая бывшее за многие годы с тем, что бывает ныне, соображая одинаковые происшествия, бывшие в разные времена, разные об

однаковых происшествий суждения и различное приложение закона, можно вернейшим образом познать, что закону давало силу или его ослабляло действие, а потому можно закон недостаточный пополнить или бездейственный отменить вовсе, или дать ему новое направление и новую силу, предписать или уничтожить, облегчить или усугубить казнь за преступление по мере случающегося и бывающего реже или чаще.

Правило всякого законоположения, правило, должствующее почитаться всегда аксиомою, есть: что лучше предупреждать преступления, нежели оные наказывать. Верховная власть многие имеет средства направлять деяния граждан в стезю закона, и все они могут быть предметом общего законоположения. Средства сии суть: 1-е) *воспретительные*, 2-е) *побуждающие*, 3-е) *предупреждающие*. Воспретительные средства суть положенные в законе наказания, побудительные — суть награждения разного рода, и хотя многие везде находятся о награждениях постановления, но нигде еще нет о сем уложения систематического; предупредительные средства, исключая некоторые, относятся наипаче к средствам охранительным, как-то суть учреждения полицейские, и к постановлениям, касающимся или до воспитания народного вообще, или до учрежденных училищ и пособий к учености, или до постановлений, определяющих общие мнения.

Имея перед собою судоприсшествия разных годов и разных областей обширной России, видно и ясно видно будет: какие были побуждения к содеянному преступлению или к начатой тяжбе — недостаток ли в учении, худое ли воспитание, или невежество, или какое общее или частное мнение, или какое особое о вещах понятие, или небрежение постановлений полицейских, или страсти и пороки. Видя источники тяжбы и преступления, тому и другому найти иногда возможно будет преграду и, что лучше: держать всегда поднятый меч для казни преступных деяний или самые деяния преобразить, зиждательным образом сделать их невинными, не давая им возродиться.

Итак, я за нужное и необходимое почитаю иметь в комиссии для ее соображения и будущих постановлений из всех губерний из всех присутственных мест следующие ведомости:

I. Ведомость о преступлениях уголовных; сии ведомости нужно иметь из всех губерний для того, что уголовные законы во всех краях России суть почти одни, а образ мыслей, нравы и обычаи суть различны, потому что народы, Россию поселяющие, суть разного происхождения, разных исповеданий и разными говорят языком, что законы и гражданские постановления суть не одинаковы; для того и побуждения к преступлениям и действительное оных произведение будет различно, и мало размышляющему уже может быть понятно, сколь много законы гражданские соразмерять должны законы уголовные, и что в них лежит предупреждение преступлений или к оным повод.

Сии ведомости должны заключать в себе: 1) происшествие или описание, как совершалось преступное дело; 2) какое было побуждение или какая причина к совершению деяния; 3) какие употреблены были средства к обнаружению истины; 4) какие были доказательства, что преступление было совершено; 5) каким законом руководствовались судьи в решении дела, т. е. то ли сие происшествие именно, которое в законе означено; 6) какое положено было преступнику наказание.

Ведомости сии нужно разделить на четыре эпохи: 1-я — с 1700 г., до вступления на престол императрицы Елисаветы; в сие время была в употреблении смертная казнь, то видно будет действие ее на нравы, и, сравнивая тогдашнее время с последующим, можно определить или совершенное ее уничтожение, или вопросом должно быть еще в российском законоучении — должна ли она быть когда-либо наказанием законным. Сей вопрос поистине сделать еще можно, ибо он не решен еще допряма нигде, ни даже в самой России, где Елисавета, восшед на престол, клялась не лить крови российской, но где впоследствии мы видели еще казнь смертную.

2-я эпоха заключает в себе достопамятное в отношении казней царствование императрицы Елисаветы, когда, с одной стороны, существовали Тайная канцелярия и весьма инквизиционный обряд и пытка, а с другой — уничтожена была казнь смертная.

3-я эпоха — со времени кончины императрицы Елисаветы до кончины императрицы Екатерины II.

4-я эпоха — со дня ее кончины до 1802 года.

Ведомости о делах уголовных, разделяя по годам, разделить также должно по родам преступлений на многие статьи, и именно — на столько, сколько закон почитает быть деяний преступных, например: о убийствах, о разбоях, о воровствах разного рода и других преступлениях против имений, о прегрешениях против благочиния или полиции, против торговли, о насилиях, о предательствах, о оскорблении величества, о преступлениях против вещей священных, богохуление, делание монеты, похищение казенного\*.

Особую статью должно показать преступления судей или градоначальников, ко званию их относящиеся, исключения тех деяний, которые означены выше. И сия есть одна из важнейших, ибо сего рода преступление тягчит всегда жребий граждан; в России зло сие обширный и глубокий пустило корень; сие известно всем, но преступления таковые из них редко становятся гласны, по крайней мере в размерности их повсеместности.

Следующие суть противозаконные деяния судей или чиновников в исполнении их звания: 1) превратное приложение и истолкование законов, ухищренный и злонамеренный подбор в делах, ябеда. Из ведомостей сих можно бы судить о умоначертании общем, но вероятно, что мало и очень мало таковых преступлений бывают гласны. 2) Оттяжка, оставка, проволочка; сие зло столь повсеместно, что оно в преступление в общем мнении не вменяется. 3) Лицеприятие, поноровка: кажется, что было бы особенное и необычайное нравственного мира явление, если бы кто подал иск на судию и доказал бы, что он виновен в лицеприятии, поноровку сделал сильному и обвинил немощного. 4) Мздоимство; оно иногда бывает гласно, а из примеров всем известных можно почерпнуть правило, что для суждения о честности находящихся в службе государственной нужно иметь аттестаты другого рода, нежели бывают обыкновенные, и что должно думать, когда в послужных списках стоит: в штрафах и подозрениях не бывал и проч... 5) Злоупотребление власти; оно почти повсеместно, и виновны в том чаще всех бывают те, которым поручается законов исполнение и

---

\* В тексте следует непоятная фраза: «преступления, по опых поступков и генерально столько статей, сколько назначено в законах преступления».

наблюдение благочиния градского и сельского, и начальствующие в правительствах; оно часто становится гласно, бывает наказуемо примерно, но столь общее, что невероятно, чтобы скоро можно было оно истребить.

Сего рода ведомости хотя и покажут многое, но еще бы больше можно узнать, если бы сыскался или житель столицы, или житель в губернии, или путешественник, довольно имеющий твердости духа, любящий отечество и правду, а сверх того находясь в независимости в своей особенности, не имел нужды бояться прослыть клеветником злоречивым и бояться мщения сильных, сделал бы картину преступающих в злоупотреблении власти.

Мы скажем здесь нечто о причинах, способствовавших вкоренению сего зла: 1) перемещение очень частое начальников военных в звание гражданское; привыкнув к непрекословному повиновению, столь нужному в служении воинском, таковые люди везде видят строй и марш; ничего нет, кажется, смешнее, как видеть градоначальника, дела своего звания отправляющего ордерами, и кто знает, сколь много дела человеческие зависят от связи мыслей, тот понять может, какие должно в сем случае сделать перемены. 2) Вообще великое мнение о чинах, и мимоходом скажем, что табель о рангах с нынешним образом мыслей весьма не сходствует и расстояние большое одного начальника от другого. Сие больше чувствительно в губерниях, и зависимость, в которой все служащие в одном месте, или многие находятся от одного в рассуждении одобрения и получения чинов, отчего происходит, что все, угождая одному, в разум стесненный, в сжатую голову вселяют великое о себе мнение. Известно довольно, сколько название «Государев наместник» произвело смешных деяний и сколько голов вскружило; мне кажется, что хорошо было бы возобновить древних персов обыкновение, где каждый день приходили напоминать царю, что он есть смертный; не худо бы сие установить для всех вообще гражданских начальников. Сколь обыкновение сие смешно ни кажется, одно изречение, что губернатор есть хозяин в своей губернии, много делает бед.

Положение генерального регламента<sup>9</sup>, которое хорошо было во времена Петра I, когда нужно было учиться вежливости и как приветствовать приходящему гостя, но ныне оно требует перемены; штатное положение всех правительств, где разность чинов столь велика; кто не знает,

сколь мало может ассесор против председателя и сколь редко младший член смеет противоречить старшему, а что еще того реже, что в случае противоречия главный член не осердится на младшего. Если бы все члены были равны и один председательствовал по очереди, то мнения были бы гораздо свободнее.

Императрица Екатерина II в Наказе своем, в статье 243, говорит: хотите ли предупредить преступление? Сделайте, чтобы законы меньше благодетельствовали разным между гражданами чинам, нежели всякому, особо гражданину.

Сверх всех сих причин, кажется, много ко вкоренению сего способствует всех вообще воспитание, — изъятия есть, но не много, — которое с самого детства учит поступать сямовластно, имея перед глазами своими непрестанно рабов, с которыми учится повелевать и раболепствовать, а не управлять и повиноваться.

II. Ведомости о преступлениях частных или оскорбления личные, насилия также и те обиды, где сии производятся от обиженного и оскорбленного; ведомости таковые покажут ясно, в чем поставляли обиду или оскорбление разные в России чиновостояния и все ли одно почитается в разные времена обидою. В сих ведомостях видно, может быть, будет начало поединков и в каком виде они сперва представлялись; узаконение о поединках императрицы Екатерины II весьма строго и жестоко, и надлежит его отменить, ибо не имеет желаемого действия, поелику обычай законоположение сие осмеивает, и правительство тогда разве известно бывает о поединках, если следствия их бывают несчастны. Не можно ли ввести прусское положение о поединках, если следствие оных бывает несчастно между военнослужащих, и позволять поединкам на пистолетах, но с точного дозволения императорского величества, давая им вид законный; их будет меньше, а воспитание истребит их совсем, хотя не скоро.

В заключение ведомостей уголовных прибавить особую статью о преступлениях в подарках, или подкупе судей или приказных; был кто за сие наказан — не знаю, но в нынешнее время того не слышно.

Из соображения сих разных ведомостей обнаружится, может быть, причина, для чего одинакого рода дело имело

разное решение: глупость судей бывает тому виною, неясность ли законов, или какая превратность.

Для пополнения ведомостей уголовных нужно ведомость: 1-е, сколько в год бывает где людей под стражею, 2-е, сколько где осуждено, 3-е, сколько назначено в ссылку, 4-е, какое где в тюрьмах содержание, 5-е, осужденные с судящимися в одном ли месте содержатся, или — в разных.

III. Ведомости о тяжбах, до имений недвижимых касающиеся, а именно: 1) тяжбы по наследствам, 2) по духовным, 3) по купчим ложным, неправильным или каким другим обязательствам, отдающим имения в оброк или употребление, 4) по справкам, отказам и насильным завладениям, 5) по запискам или другим каким обязательствам и условиям, также о подаренных имениях, 6) об убытках или обидах, оскорблениях, недвижимым имением причиняемых, как-то: завладение, держание беглых и тому подобное, 7) тяжбы или дела, касающиеся до наймов домов, заводов, фабрик, земель и проч., 8) тяжбы о просрочках.

IV. Тяжбы по делам, касающимся до движимых имений: 1) по наследствам, 2) по завещаниям, 3) по записям, 4) по контрактам, 5) по векселям и обязательствам, 6) дела банкротские, 7) по торговым обязательствам, маклерской записке и проч., 8) тяжбы словесных судов.

V. Дела межевые; кажется, что многие межевые узаконения требуют пояснения, а может быть рассматривая оные, сличая то, что решится в нижних межевых правительствах, с тем, что решено в вышних, сличая решения разных времен, откроются средства окончить дела межевые в год или два, ибо из величайшего благодеяния, стремившегося к надежности имущества, к покойному, безмятежному владению, вышло зло неокончатальных межевых споров и дела, продолжающиеся чрез целое человеческое поколение. Дела, случающиеся о чресполосных владениях, показать особо; тут откроются несправедливости и неистовства невероятные, и кому неизвестно, что по межевым делам происходило, имея доказательства посредством сих ведомостей, можно уповательно будет удалить преграды, противляющиеся окончанию межевых дел.

VI. Ведомость о делах, подлежащих рассмотрению и решению духовных правительств: 1) то-есть святейшего синода, консисторий и духовных правлений; 2) лютеранских консисторий, католического архиепископа и коллегии лиф-

ляндских, эстляндских, финляндских, белорусских и польских дел, поколику она решит дела духовные. От муфтия и прочих многие дела по существу своему не должны подлежать решению правительств духовных, как-то дела до браков, разводов и другие. Брак как таинство должен быть благословен священником, но все прочее есть действие гражданское. Из ведомостей сих видны будут многие подробности и что принадлежать может до духовных правительств, ибо по существу своему они должны заботиться о том, что только принадлежит до церковных обрядов.

VII. В Наказе своем о сочинении нового уложения императрица Екатерина II в начале главы XII, в ст. 265, говорит: Россия не только не имеет довольно жителей, но обладает еще чрезмерным пространством земель, которые ни населены, ниже обработаны. Итак, не можно сыскать довольно ободрений к размножению народа в государстве; в ст. 266: мужики имеют по 12, 15 и до 20 детей из одного супружества; однако редко и четвертая часть оных приходит в совершенный образ. Для чего непременно должен быть тут какой-нибудь порок или в пище, или в образе их жизни, или в воспитании, который причиняет гибель сей надежде государства. Какое цветущее состояние было бы сей державы, если бы могли благоразумными учреждениями отвратить или предупредить сию пагубу; в ст. 269: кажется еще, что новозаведенный способ от дворян собирать свои доходы в России уменьшает народ и *земледелие*. Все деревни почти на оброке. Хозяева, не быв вовсе или мало в деревнях своих, обложат каждую душу по рублю, по два и даже по пяти рублей, не смотря на то, каким способом их крестьяне достают сии деньги; в ст. 271: а ныне иной земледелец лет 15 дома своего не видит, а всякий год платит помещику свой оброк, промышляя в отдаленных от своего дома городах, бродя по всему государству; в ст. 273: страны луговые и ко скотоводству способные обыкновенно мало имеют народа потому, что мало людей находят себе там упражнение; пахотные же земли большее число людей в упражнении содержат и имеют; в ст. 275: но страна, которая податями столь много отягчена, что рачением и трудолюбием своим люди с великою нуждою могут найти себе пропитание, чрез долгое время должна обнажена быть жителей; в ст. 276: где люди не иного чего убоги, как только что живут под



тяжкими законами, и земли свои почитают не столько за основание к содержанию своему, как за подлог к удручению, в таких местах народ не размножается. Они сами для себя не имеют пропитания; так как им можно от одного уделить еще своему потомству? Они не могут сами в своих болезнях пользоваться присмотром; так как же им можно воспитывать твари, находящиеся в непрерывной болезни, то-есть в младенчестве? Они закапывают в землю деньги свои, боясь пустить оные в обращение; боятся богатыми казаться; боятся, чтоб богатство не навлекло на них гонения и притеснения; в ст. 280: в таких обстоятельствах надлежало бы во всем пространстве той земли делать то, что римляне делали в одной своего государства части; предпринять в недостатке жителей то, что они наблюдали в их излишестве, разделить земли всем семьям, которые никаких не имеют; подать им способы вспахать оные и обработать. Сие разделение должно учинить тотчас, когда только сыщется человек, который принял бы оное так, чтобы нимало времени не было упущено для начатия работы; в ст. 287: воздержание народное служит к размножению одного. В главе XIII, ст. 294: не может быть там ни искусное рукоделие, ни твердо основанная торговля, где земледелие в уничтожении или не рачительно производится; в ст. 295: не может земледельчество процветать тут, где никто не имеет ничего собственного; в ст. 313: земледелие есть первый и главный труд, к которому людей поощрять должно; второй есть рукоделие из собственного произращения.

Сии суть истины, доказательств не требующие, и мы, опираясь на правила мудрая сея владычицы, скажем, что в размножении народа видно благосостояние государства; но как, по изречению императрицы Екатерины, многие суть препятствия к размножению народа в России, то и нужно помышлять об отдалении оных препятствий и о средствах, размножение поощряющих. А поелику, как то говорит императрица Екатерина II в статье 275: страна, податями отягченная, чрез время должна быть обнажена от жителей, то нужно постановить некоторое в законе правило о налогах, дабы народ ведал, что оно непременно и его никто не преступит, и почитал сие за свой палладион<sup>10</sup>. Тогда, в надежности не быть отягченну, Россия от жителей не обнажится. Дабы получить возможность судить о сих предметах, то и нужно иметь следующие ведомости:

1-е. О количестве народа по губерниям и округам.

2-е. О количестве земель по губерниям и округам, с описанием, где земля какого свойства и произраращения и образ обрабатыванья.

3-е. О заводах рудокопных и других фабриках, мельницах и проч. рукоделиях и вообще о образе прокормления по губерниям и округам.

4-е. Об отлучающихся из домов по паспортам.

5-е. О числе обращающихся на заводах и фабриках и о количестве их произведений и кем и коликим числом производятся работы.

6-е. О податях по различным их наименованиям.

7-е. Как, где и какие суть господские подати, оброк или земледелие и сколько по округам крестьян на пашне и на оброке и каких владельцев, больших или малых.

8-е. О налогах натурою по губерниям и округам: а) рекрутский набор: как сделаны участки, оные прислать за три набора; б) содержание дорог и как оные разделены вследствие указа покойного императора; в) провожание колодников, сколько оно раз в году где было, за три года; г) препровождение казны и рекрутов и какие где берут подводы; д) содержание городской и земской полиции; будошники, сотские, десятские и проч. И нет ли других каких налогов; из сих ведомостей увидеть можно, что народ иногда терпит для того, что не знает, что платить должен.

VIII. В ближайшем и теснейшем союзе с народным благосостоянием состоит обращение знаков, всякое имущество представляющих; воображение наше, дав им цену и поставив их мериллом всех вещей, в торгу обращающихся, сделало то, что малое или большое их количество, скорое и медленное их обращение может препятствие сделать в народной торговле, приводить граждан в убожество или делать их крезами. Известно нам будет число народа, известны нам будут источники его прокормления, известно нам будет его трудолюбие; посредство, приводящее все в обращение и дающее всему жить, не должно также быть сокрыто. Правила, торговлею руководствующие, должны быть непременны, постановление о монете — неизбежно, доверие к банкам, основанное на твердом подножии, ибо видна будет ненадежность правил торговли, и она будет ограничиваема и стесняема или откупами, или пошлиною, или какими таможенными обрядами и осмотрами, которые, если не

сопровождается строгою честностью и святою торжественностью, всегда похожи на скоп мошеннический или, как то цензура, на отрывок инквизиции и Тайной канцелярии. Если применить, что правительство хочет иметь на деньгах барыш, если, вместо того, чтобы печатью своею обеспечивать надежность знаков, имущество представляющих, и вместо того, чтобы указывать только, что цена ее существенная, внутренняя есть точно та, которая означается ею узаконенною внешностью; если вместо того или делания монеты правительство будет делать себе доход, или непозволительный уменьшением веса и доброты монеты битой, или над прибавлением произвольным ее цены или деланием неограниченным монеты бумажной, — если банки будут заступать место монетного двора или учреждаемы будут только для мнимого истребления лихоимства, а не для истинного пособия земледелию и рукоделиям, от него зависящим, то скроются металлы драгоценные. Прилив денег бумажных — зло; поток плотины разорвавшейся покроет все торговое обращение, земледелие и рукоделие будет томиться, и число монеты бумажной возрастет до того, что цена ее будет меньше, нежели лист бумаги, на нее употребляемой. Тогда настанет час гибели, час нажадного <sup>11</sup> банкротства, и тот, кто сегодня считал капитал свой миллионами, тот будет нищ и будет питаться милостынею надменности или прибегнет к спасению несчастных крайнему — самоубийству.

Для сих причин нужно, кажется, найти какое-либо средство, чтоб доверие не могло умереть или впасть в болезнь и основаться не на обещаниях каких-либо, но на народном капитале. Для суждения о сем по возможности нужно, кажется, иметь: 1) ведомость о числе монеты битой, сколько когда ее сделано или какого металла; 2) о числе монеты бумажной и сколько когда сделано и какого достоинства; 3) о банковых капиталах и залогах, у них имеющихся; 4) о капиталах, розданных из воспитательных домов и приказов общественного призрения; 5) о заложенных имениях в партикулярные руки; 6) о сумме, на сколько предложено векселей в три года в губернских правлениях каждый год особо; 7) о числе протестуемых сумм по векселям на столько же лет.

IX. Сохранение общего порядка или благочиния относится и надзирает: 1) за тишиною общественною; 2) за об-

щею сохранностью; 3) за здоровьем; 4) за добрыми нравами; 5) за воспитанием; 6) за призрением бедных; 7) за дорогами, реками, каналами и к тому принадлежащим; 8) за мнениями, если такая полиция свойственна цензуре. Итак, ведомости, к сим предметам относящиеся, должны быть следующие: 1) какие где взять меры и предосторожности для безопасности, тишины и покоя; здесь разумеются положенные от пожаров бранткассы, застрахование, если где есть; разбой, как-то на Волге, то как то предостерегают; где сколько домов смирительных или рабочих, и рядильных<sup>12</sup>, и других. 2) Сколько в какой губернии лекарей, бабков повивальных под ведением управ врачебных, сколько где больниц, госпиталей, домов для сумасшедших, аптек или других, ко здравью народа сделанных учреждений. 3) Где сколько увеселительных домов, как-то: кофейных, трактиров, биллиардов, собраний, клубов, или того ж звания домов, но под названием каких других, как-то академии и проч., где сколько публичных домов, или борделей, и сколько числом торговых женщин, с показателем, сколько платят за наем двора, сколько имеют услуги. Сии ведомости нужны, когда дело будет о правственности граждан, ибо вопрос великий есть в законодательстве — запрещение ли нужно в сем случае или дозволение того, чего запретить нельзя. В Берлине, прежде сего в Амстердаме, все женщины такие [были] под влиянием полиции... 4) Призрение бедных, немощных есть долг правительства: где, сколько богаделен, воспитательных домов или для родильниц. 5) Сколько где больших дорог, почтовых станов, гостиниц; как содержат почты — ямщики или обыватели, где есть судоходные реки, где — пороги и другие плаванью препятствия, какие средства сделать их лучшими; где есть вожаемые, бечевники и проч.

6) Цензура есть отрасль полиции, и хотя правила, ею предписанные, известны, но они суть общие, и для того надлежит знать: 1) какое правило она имеет, что дозволяет на иностранном языке, то, что запрещено на русском языке; 2) сколь долго держать должно рукопись; 3) иметь ли роспись книгам запрещенным; 4) кто запрещает чтение книг, ибо по существу своему цензура не есть то правительство, которое может запретить что-либо; 5) где на цензора можно приносить жалобы; 6) сколько где типографий казенных и партикулярных; 7) где и сколько есть училищ

казенных, пансионеров и экстраординарных учителей; чему где учат и кто удостоверяет об успехах и числе учащихся. К ведомости об училищах присоединить о способах учения: где и сколько казенных лавок, или библиотек или кабинетов для чтения, ученых собраний.

Воспитание есть вещь наиважнейшая в законодательстве, а разум законоположника над ним больше размышлять должен, нежели над другими предметами, разысканию его подлежащими. Не возможно целому народу дать воспитание; малейшая оного часть может только в оном участвовать; но великость воспитательных заведений в столь пространном государстве, какова Россия, не говоря о недостатке просвещенных наставников, препятствовать всегда будет, чтоб хороший имели присмотр за важнейшею воспитания частию, за непорочностью нравов. Некоторые только училища могут пользоваться сим благодеянием, но большая оных часть, и те именно, где народная гряда участвует, оным пользоваться не могут. Итак, нужно постановить некоторые правила и сделать постановления, которые нагибали бы, так сказать, общий разум и нравы в благо. Я для примера здесь только скажу следующее: признается всяк без предубеждения судящий, что пьянство есть порок, а в России есть порок народный, общий; но и в том признаться должно, что правительство оный порок укореняет и поощряет его распространение посредством винных откупов. Но сумма откупа составляет великий государственный доход, доход, может быть, необходимо нужный; то законодатель, о сем здраво размышляющий, должен на весы любомудрия, человеколюбия и здравой политики возложить в одну чашу истребление вкоренившегося порока, в котором находится корень многих злодеяний и преступлений, — сие докажут самые ведомости о преступлениях, — а в другую — доход великий государственный, может быть, пятую или шестую часть всех доходов, что дает перевес? Нужно, кажется, истребить порок и корень многих преступлений и болезней, следовательно, уничтожить откуп винный; но вино будут делать, согласен: но где нет поощрения к чему, а особливо от правительства, того будет меньше, и, смело скажу, будет гораздо меньше. Но доход винный должно заменить другим, или его оставить; заменить его можно, конечно, и не очень трудно; но может иной законоположник доход отменил бы совсем и убавил бы расходы. Тот, кто имел бы сме-

лый дух, тот доход бы уничтожил, убавил бы расходов, но совет сей дерзновенный и может бесполезный — решительно сказать не смею ничего.

Х. Когда в древние времена должность настояла давать народу целому законы, или, сказать правильнее, когда не совсем еще народ образованный образоваться желали, то дабы употребить в свою пользу то, что уже древние сделали и в чем пользу находили, предпринимали путешествия в те страны, которые более других процветали и славились своими законоположениями. В таком намерении путешествовали: Солон, Ликург, Пифагор и, напившись, так сказать, тем, что видели, извлекали для себя, что полезным находили, прилагая оное к своим нравам и обычаям. Иногда же, уразумев из виденного, что человека движет и что управляет в известных обстоятельствах и случаях, на познанных побуждениях сердца человеческого воздвигали зданные законы во всем новое, с другими не сходственное. Сие действительно можно сказать о законоположении древнего Лакедемона, и Ликург произвел то, чего никакому по нем законодателю произвести не удавалось; он произвел нечто целое, одним, так сказать, махом, и все предписания свои устремил к цели единой и успел.

Римляне, когда восхотели иметь лучшие законы, послали оные отыскивать в Греции, и Афины дали некоторым образом первое уложение Риму.

В наши времена великое сообщение между народов, знание иностранных языков, многие и частые путешествия, а паче всего книгопечатание сделали то, что каждый народ европейский, по крайней мере, известен в многих своих чертах, известны законы всех почти европейских народов, потому что они всегда и везде издаются в печати; но известно ли их раздробление, если так сказать можно, до дальнейших и малейших протоков, и какое производят ощущение в отдельности. Если то знаем, что закон изданный должен исполниться и приведен быть в исполнение определенными для того людьми; но кто ручается, что он всегда так исполняется, как ему исполняться должно, что его исполнение делает неминуемым, или для чего оный иногда бывает без действия; всякий без предубеждения в том признается, что везде есть некоторые законы для того только, чтоб наполнять страницы и книги прав.

Познает всякий благорассуждающий, что твердость силы и власти в государстве имеет основание во мнении, и что оно одно делает закон законным, то-есть делает его действительным. Но где же найдем мы картину подробных мнений, подкрепляющих действие такого или другого закона в известной земле, и если издаются иногда в свет таковые картины, то можно ли им верить столько, сколько всегда желает сочинитель и сколько нужно, чтобы иметь хотя вероподобие за несколько лет. Уже известно было, что миролюбивые и ненавистники крови — квакеры были побудители, что в Пенсильвании не только отменена казнь смертная вовсе, но отменены даже всякие телесные наказания за какое бы то преступление ни было и определено наказание тюремное. Но какое имел закон сей действие — было неизвестно; пред недавним временем некоторый путешественник издал в свет известие о образе наказания тюремного в Пенсильвании<sup>13</sup>; уверяют, что оно наидействительнейше и что уже были примеры, что из тюрьмы выходили величайшие преступники, но уже исправленные.

Какое божественное, да и не иначе его назвать можно, какое небесное учреждение, если оно точно производит сие действие писанное, хотя вероятно. Но существует ли и [не действовало ли] что на разум, на сердце путешественника, когда он видел им описуемое, и глаза его не были ли ослеплены чрез меру благотворностью неподражаемую пенсильванских квакеров. Еще другой скажем пример: тосканское уложение Леопольда<sup>14</sup> известно, сколь благоразумно расположено, но многое и очень многое предоставлено рассмотрению судейскому, и так бы думать должно, что в Тоскане не сомневались никогда в непреложности судящих; но какое сие законоположение имеет действие, неминуемо ли казнь ударяет, и какой род людей более оным подвергается. Какое сие милосердное уложение [имеет] над жестокими нравами жителей и то ли имеет действие: известно, сколь часты там убийства и самоубийство и мщение смертию (а) \* за безделку — оно есть дело обыкновенное, — то в сравнении других земель меньше ли в Тоскане убийц? Для составления российского законоположения сие сведение весьма нужно, ибо у нас наказания располагаются по

---

\* Ф. Л. Л. Мейер повествует следующее происшествие... [Фраза не окончена].

чиносостояниям. Еще пример: многие английские узаконения похваляются отменно, особливо разыскание дела чрез присяжных (trial by a Jury): и поистине, сие законоположение, которому пример находим уже у римлян и которому оным делала [пример] в положениях своих императрица Екатерина \*, есть одно из наилучших, которое только придумать можно; но то может быть не столь известно, что оно часто бывает тщетно, ибо и закон велит сим избранным людям, если они сами решиться не могут, отдать дело на решение суда. Но для чего сие законоположение бывает без действия? Как можно сие узнать иначе, разве в самой Англии, разве будучи свидетелем действия сего законоположения. Франция во время бывшей там перемены ввела в судах своих испытание чрез присяжных (épreuve les jurés), но какое сие законоположение имеет действие — того не известно; и столь ли оно благотворно, как того ожидали действия сего законоположения, вновь введенного у народа, во всем от англичан отличающегося, видеть можно еще лучше и в чем оно отличается от своего образца. Сравнение таковое доведет [до] неложного заключения о доброте или до казистой только наружности сего установления.

В разных государствах за одинаковые преступления положены часто одинаковые наказания, но со всем тем преступления в одном бывают чаще, нежели в другом. Например, разбой на больших дорогах в Англии бывали часты, во Франции и Италии — реже и в другом всегда виде; в немецкой же земле еще реже, а в некоторых из немецких областей редко отменно \*\*; но какая то причина — разность нравов или лучшие полицейские учреждения, или благонравие, и для чего в Англии закон хотя строг и неминуем, но недействителен. Нельзя сказать, чтобы строгость была тому причиною, хотя то и часто бывает, что строгость делает закон тщетным.

Великие в наши времена случившиеся перемены, разрушив целые государства, воздвигнув совсем новые, могут

---

\* Так как большая часть ее законоположений неясны, неполны, и она, дав закон, не позаботилась гораздо, чтобы он был исполняем, то поелику сие учреждение присяжных свидетелей обращалось только к низким состояниям, то оно осталось без внимания.

\*\* В пять лет пребывания моего в Саксонии<sup>15</sup> случилось только одно, и то с предыдущим убийством по злобе.



быть весьма поучительными для рассматривающих состояния преобразованных стран без [предубеждения]. В живой еще у всех памяти [иначе] управлялись Венеция, Милан, Болонья, Феррари; теперь состояние их совсем переменялось: сравнить, что народ, там живущий был прежде, и что он ныне, и которое его положение было блаженнее, и какие тому причины сии, конечно, будут очевидны, ибо гораздо близки. Еще лучше всех сих можно видеть пример: бывшая Польша разделена на три части, и сии три части управляются самовластными государями, но по правилам различным; в которой же части народ живет лучше и известливее? Смежность так близка, и сравнение и заключение будет не трудно сделать.

---

## ВОЛЬНОСТЬ

★

ОДА

1

О! дар небес благословенный,  
Источник всех великих дел,  
О, вольность, вольность, дар бесценный,  
Позволь, чтоб раб тебя воспел.  
Исполни сердце твоим жаром,  
В нем сильных мышц твоих ударом  
Во свет рабства тьму претвори,  
Да Брут и Телль еще проснутся,  
Седяй во власти да смятутся  
От гласа твоего цари.

2

Я в свет испел и ты со мною;  
На мышцах нет моих заклеп;  
Свободною могу рукою  
Прияти данный в пищу хлеб.  
Стопы несу, где мне приятно;  
Тому внимаю, что понятно;  
Вещаю то, что мыслю я;  
Любить могу и быть любимым;  
Творю добро, могу быть чтимым;  
Закон мой — воля есть моя.

## 3

Но что ж претит моей свободе?  
 Желаньям зрю везде предел;  
 Возникла обща власть в народе,  
 Соборной всех властей удел.  
 Ей общество во всем послушно,  
 Повсюду с ней единодушно;  
 Для пользы общей нет препон;  
 Во власти всех своей зрю долю,  
 Свою творю, творя всех волю;  
 Родился в обществе закон.

## 4

В середине злачныя долины,  
 Среди тягченной жатвы нив,  
 Где нежны процветают крины,  
 Средь мирных под сеньми олив,  
 Пароска мрамора белее,  
 Яснейших дня лучей светлее,  
 Стоит прозрачный всюду храм;  
 Там жертва лжива не курится,  
 Там надпись пламенная зрится:  
 Конец невинности бедам.

## 5

Оливной ветвию венчанно,  
 На твердом камени седяй,  
 Без слуха зрится хладнонравно,  
 Велико божество судяй;  
 Белее снега во хламиде,  
 И в неизменном всегда виде,  
 Зерцало, меч, весы пред ним <sup>1</sup>.  
 Тут истина стрежет десную,  
 Тут правосудие ошую;  
 Се храм закона ясно зрим.

## 6

Возводит строгие зеницы,  
 Льет радость, трепет вокруг себя,  
 Равно на все взирает лица,  
 Ни ненавидя, ни любя.  
 Он лести чужд, лицеприятства,  
 Породы, знатности, богатства,  
 Гнушаясь жертвенных тли <sup>2</sup>;  
 Родства не знает, ни приязни;  
 Равно делит и мзду и казни;  
 Он образ божий на земли,

## 7

И се чудовище ужасно,  
 Как гидра, сто имея глав,  
 Умильно и в слезах всечасно,  
 Но полны челюсти отрав,  
 Земные власти попирает,  
 Главою неба досязает, —  
 Его отчизна там, — гласит;  
 Призраки, тьму повсюду сеет,  
 Обманывать и льстить умеет  
 И слепо верить нам велит.

## 8

Покрывши разум темнотою  
 И всюду вея ползкий яд,  
 Тройкою обнес стеною  
 Чувствительность природы чад,  
 Повлек в ярмо порабощенья,  
 Облек их в броню заблужденья,  
 Бояться истины велел.  
 Закон се божий, — царь вещает;  
 Обман святой, — мудрец взывает,  
 Народ давить что ты обрел.

Сей был, и есть, и будет вечной  
 Источник лют рабства оков:  
 От зол всех жизни скоротечной  
 Пребудет смерть един покров.  
 Всесильный боже, благ податель,  
 Естественных ты благ создатель,  
 Закон свой в сердце основал;  
 Возможно ль, ты чтоб изменился,  
 Чтоб ты, бог сил, столь уподлился,  
 Чужим чтоб гласом нам вещал.

## 10

Возарим мы в области обширны,  
 Где тусклый трон стоит рабства.  
 Градские власти там все мирны,  
 В царе зря образ божества.  
 Власть царска веру охраняет,  
 Власть царску вера утверждает;  
 Союзно общество гнетут;  
 Одно сковать рассудок тщится,  
 Другое волю стерть стремится;  
 На пользу общую, — рекут.

## 11

Покоя рабского под сенью  
 Плодов золотых не возрастет;  
 Где все ума претит стремленью,  
 Великость там не прозябет.  
 Там нивы запустеют тучны,  
 Коса и серп там несподручны,  
 В сохе уснет ленивый вол,  
 Блестящий меч померкнет славы,  
 Минервин храм стал обветшалый,  
 Коварства сеть простерлась в дол.

## 12

Чело надменное вознесши,  
 Прияв железный скипетр, царь,  
 На громном троне властно севши,

В народе зрит лишь подлу тварь.  
Живот и смерть в руке имея:  
«По воле, — рекл, — щажу злодея;  
Я властью могу дарить;  
Где я смеюсь, там все смеется;  
Нахмурюсь грозно, все смятется;  
Живешь тогда, велю коль жить».

13

И мы внимаем хладнокровно,  
Как крови нашей алчный гад,  
Ругаясь всегда бесспорно,  
В веселы дни нам сеет ад.  
Вокруг престола все надменна  
Стоят коленопреклоненно;  
Но мститель, трепещи, грядет;  
Он молвит, вольность прорекая,  
И се молва от край до края,  
Глася свободу, протечет.

14

Возникнет рать повсюду бранна,  
Надежда всех вооружит;  
В крови мучителя венчанна  
Омыть свой стыд уж всяк спешит.  
Меч остр, я зрю, везде сверкает,  
В различных видах смерть летает  
Над гордою главою паря.  
Ликуйте, склепанны народы,  
Се право мщенье природы  
На плаху возвело царя.

15

И ноци се завесу лживой  
Со треском мощно разодрав,  
Кичливой власти и строптивой  
Огромный истукан поправ,  
Сковав сторучна исполина,  
Влечет его как гражданина

К престолу, где народ воссел.  
«Преступник власти мною данной!  
Вещай, злодей, мною венчанной,  
Против меня восстать как смел?

16

Тебя облек я во порфиру  
Равенство в обществе блюсти,  
Вдовицу призирать и сиру,  
От бед невинность чтоб спасти;  
Отцем ей быть чадолюбивым,  
Но мстителем непримиримым  
Пороку, лжи и клевете;  
Заслуги честью награждати,  
Устройством зло предупредить,  
Хранити нравы в чистоте.

17

Покрыл я море кораблями,  
Устроил пристань в берегах,  
Дабы сокровища торгами  
Текли с избытком в городах;  
Златая жатва чтоб бесслезна  
Была оранию полезна;  
Он мог вещать бы за сохой:  
Бразды своей я не наемник,  
На пажитях своих не пленник,  
Я благоденствую тобой.

18

Своих кровей я без пощады  
Гремящую воздвигнул рать;  
Я медны изваял громады,  
Злодеев внешних чтоб карать;  
Тебе велел повиноваться,  
С тобою к славе устремляться;  
Для пользы всех мне можно все;  
Земные недра раздираю,  
Металл блестящий извлекаю  
На украшение твое.

Но ты, забыв мне клятву данну,  
 Забыв, что я избрал тебя,  
 Себе в утеху быть венчанну  
 Возмнил, что ты господе, не я.  
 Мечем мои расторг уставы,  
 Безгласными поверг все правы,  
 Стыдиться истины велел;  
 Расчистил клевете дорогу,  
 Взывать стал не ко мне, но к богу,  
 А мной гнушаться восхотел.

Кровавым потом доставая  
 Плод, кой я в пищу насадил,  
 С тобою крохи разделяя,  
 Своей натуги не щадил.  
 Тебе сокровищей всех мало!  
 На что ж, скажи, их не достало,  
 Что рубище с меня сорвал?  
 Дарить любимца, полна лести,  
 Жену, чуждающую чести!  
 Иль злато богом ты признал?

В отличность знак изобретенный <sup>3</sup>  
 Ты начал наглости дарить;  
 Злодею меч мой изощренный  
 Ты стал невинности сулить.  
 Сгруженные полки в защиту  
 На брань ведешь ли знамениту  
 За человечество карать?  
 В кровавых борешься долинах,  
 Дабы, упившись, в Афинах:  
 Герой! — зевав, могли сказать.

Злодей, злодеев всех лютейший,  
 Превзыде зло твою главу,



Преступник, изо всех первейший,  
Предстань, на суд тебя зову!  
Злодействы все скопил в едино,  
Да ни едина прейдет мимо  
Тебя из казней, супостат.  
В меня дерзнул острить ты жало.  
Единой смерти за то мало,  
Умри! умри же ты сто крат!»

23

Великий муж, коварства полный,  
Ханжа, и льстец, и святотать,  
Един ты в свет столь благотворный  
Пример великий мог подать.  
Я чту, Кромвель, в тебе злодея,  
Что, власть в руке своей имея,  
Ты твердь свободы сокрушил;  
Но научил ты в род и роды,  
Как могут мстить себя народы,  
Ты Карла на суде казнил.

24

Ниспослал призрак, мглу густую  
Светильник истины попрал;  
Личину, что зовут святую,  
Рассудок с пагубы сорвал.  
Уж бог не зрится в чуждом виде,  
Не мстит уж он своей обиде,  
Но в действьи распростерт своем;  
Не спасшему от бед нас мнимых,  
Отцу предвечному всех зримых  
Победную мы песнь поем.

25

Внезапу вихри восшумели,  
Прервав спокойство тихих вод,  
Свободы гласы так взгремели,  
На вече весь течет народ,  
Престол чугунный разрушает,

Самсон как древле сотрясает  
Исполненный коварств чертог;  
Законом строит твердь природы;  
Велик, велик ты дух свободы,  
Зиждителен, как сам есть бог!

26

Сломив опор духовной власти,  
И твердой мщениа рукой  
Владычество расторг на части,  
Что лжей воздвигнуто святой;  
Венец трезубый затмевая  
И жезл священства преломляя,  
Проклятий молнии утушил;  
Смеяся мнимого прещенья,  
Подъял луч Лютер просвещенья,  
С землею небо помирил.

27

Как сый всегда в начале века  
На вся простерту мочь явил,  
Себе подобна человека  
Создати с миром положил,  
Пространства из пустыней мрачных  
Исторг — и твердых и прозрачных  
Первейши семена всех тел;  
Разруша древню смесь покоил;  
Стихиями он все устроил  
И солнцу жизнь давать велел.

28

И дал превыспренно стремленье  
Скривленному рассудку лжей;  
Внезапу мощно потрясенье  
Поверх земли уж зрится всей;  
В неведомы страны отважно  
Летит Колумб чрез поле влажно;  
Но чудо Галилей творить  
Возмог, протекши пустотою,

Зиждительной своей рукою  
Светило дневно утвердить.

29

Так дух свободы, разоряя  
Вознесшейся неволи гнет,  
В градах и селах пролетая,  
К величию он всех зовет,  
Живит, родит и созидает,  
Препоны на пути не знает,  
Вождаем мужеством в стезях;  
Нетрепетно с ним разум мыслит,  
И слово собственностью числит,  
Невежства что развеет прах.

30

Под древом, зноем упоенный,  
Господне стадо <sup>4</sup> пастырь пас;  
Вдруг новым светом озаренный,  
Вспрянув, свободы слышит глас;  
На стадо зверь, он видит, мчится,  
На бой с ним ревностно стремится,  
Не чуждый вождь, брежет свое;  
О стаде сердце не радело,  
Как чуждо было, не жалело;  
Но ныне, ныне ты мое.

31

Господню волю <sup>5</sup> исполняя,  
До востока солнца на полях  
Скупую ниву раздирая,  
Волы томилась на браздах;  
Как мачеха к чуждоутробным  
Исходит с видом всегда злобным,  
Рабам так нива мзду дает.  
Но дух свободы ниву греет,  
Бесслезно поле вмиг тучнеет;  
Себе всяк сеет, себе жнет.

Исполнив круг дневной работы,  
 Свободный муж домой спешит;  
 Невинно сердце, без заботы,  
 В объятиях супружних спит;  
 Не господу рукой надменна <sup>6</sup>,  
 Ему для казни подаренна,  
 Невинных жертв чтоб размножал;  
 Любовь вождаем нежной,  
 На сердце брак воздвиг надежной,  
 Помощницу себе избрал.

Он любит, и любим он ею;  
 Труды — веселье, пот — роса,  
 Что жизненностию своею  
 Плодит луга, поля, леса;  
 Вершин блаженства достигают;  
 Горячность их плодом стягчают  
 Всещедра бога, в простоте,  
 Безбедны дойдут до кончины,  
 Не зная алчной десятины <sup>7</sup>,  
 Птенцев что кормит в нагоде.

Возри на беспредельно поле,  
 Где стерта зверства рать стоит:  
 Не скот тут согнан поневоле,  
 Не жребий мужество дарит,  
 Не гряда правильно стремится, —  
 Вождем тут воин каждой зрится,  
 Кончины славной ищет он.  
 О, воин непоколебимый,  
 Ты есть и был непобедимый,  
 Твой вождь — свобода, Вашингтон.

Двулична бога храм закрылся <sup>8</sup>,  
 Свирепство всяк с себя сложил,

Се бог торжеств меж нас явился  
И в рог веселий вострубил.  
Стекаются тут громки лики,  
Не видят грозного владыки,  
Закон веселью кой дает;  
Свободы зрится тут держава;  
Награда тут едина слава,  
Во храм бессмертья что ведет.

36

Сплетясь веселым хороводом,  
Различности надменность сняв,  
Се паки под лазурным сводом  
Естественный встает устав;  
Погрязла в тине властна скверность;  
Едина личная отменность  
Венец возможет восхитить;  
Но не пристрастию державну,  
Опытностью лишь старцу славну  
Его довлеет подарить.

37

Венец, Пиндару возложенный,  
Художества соткан рукой;  
Венец, наукой соплетенный,  
Носим Невтоновой главой;  
Таков, себе всегда мечтаю,  
На крыльях разума взлетая,  
Дух бодр и тверд возможет вся;  
[По всей вселенной пронесется;]  
Миров до края вознесется:  
Предмет его суть мы, не я.

38

Но страсти, изошряя злобу,  
Враждебный пламенник стрясут;  
Кинжал вонзить себе в утробу  
Народы пагубно влекут;  
Отца на сына воздвигают,

Союзы брачны раздирают,  
В сердца граждан лиют боязнь;  
Рождается несытна власти  
Алчба, зиждущая напасти,  
Что обществу устроит казнь.

39

Крутится вихрем громоносным,  
Обвившись облаком густым,  
Светилом озарясь поносным,  
Сияньем яд прикрыт святым.  
Зовя, прельщая, угрожая,  
Иль казнь, иль мзду ниспосылая —  
Се меч, се злато: избирай.  
И сев на камени ехидны,  
Лестей облек в взор миловидный,  
Шлет молнию из края в край.

40

Так Марий, Сулла, возмутивши  
Спокойство шаткое римлян,  
В сердцах пороки возродивши,  
В наемну рать вместил граждан,  
Ругаяся всем, что есть свято,  
И то, что не было отнято,  
У Римлян откупить возмог;  
Весы златые мзды позорной  
Предательству, убивству сродной,  
Воздвиг нечестья средь чертог.

41

И се, скончав граждански брани  
И свет коварством обольстив,  
На небо простирая длани,  
Тревожну вольность усыпав,  
Чугунный скиптр обвив цветами;  
Народы мнили — правят сами,  
Но Август выю их давил;

Прикрыл хоть зверство добротой,  
Вождаем мягкою душою, —  
Но царь когда бесстрастен был!

42

Сей был и есть закон природы,  
Неизменяемый никогда,  
Ему подвластны все народы,  
Незримо правит он всегда;  
Мучительство, стряся пределы,  
Отравы полны свои стрелы  
В себя, не ведая, вонзит;  
Равенство казнию восставит;  
Едину власть, вселясь, раздавит;  
Обидой право обновит.

43

Дойдешь до меты, совершенство,  
В стезях препоны прескочив <sup>9</sup>,  
В сожитии найдешь блаженство,  
Несчастных жребий облегчив,  
И паче солнца возблистаешь,  
О вольность, вольность, да скончаешь  
Со вечностью ты свой полет:  
Но корень благ твой истощится,  
Свобода в наглость превратится,  
И власти под ярмом падет.

44

Да не дивимся превращенью,  
Которое мы в свете зрим;  
Всеобщему во след стремленье  
Некосненно стремглав бежим.  
Огонь в связи со влагой спорит,  
Стихия в нас стихию борит,  
Начало тленьем тщится дать;  
Прекраснейше в миру творенье  
В веселии начнет рожденье  
На то, чтоб только умирать.

О! вы, счастливые народы,  
 Где случай вольность даровал!  
 Блюдите дар благой природы,  
 В сердцах что вечный начертал.  
 Се хлябь разверстая, цветами  
 Усыпанная, под ногами  
 У вас, готова вас сглотить.  
 Не забывай ни на минуту,  
 Что крепость сил в немощность люту,  
 Что свет во тьму лъзя претворить.

К тебе душа моя вспаленна <sup>10</sup>,  
 К тебе, словутая страна,  
 Стремится, гнетом где согбенна  
 Лежала вольность поправа;  
 Ликуешь ты! а мы здесь страждем!..  
 Того ж, того ж и мы все жаждем;  
 Пример твой мету обнажил;  
 Твоей я славе непричастен —  
 Позволь, коль дух мой неподвластен,  
 Чтоб брег твой цепл хотя мой скрыл!

Но нет! где рок судил родиться,  
 Да будет там и дням предел;  
 Да хладный прах мой осенится  
 Величеством, что днесь я пел;  
 Да юноша, взалкавый славы,  
 Пришед на гроб мой обветшалый,  
 Дабы со чувствием вещал:  
 «Под игом власти, сей, рожденный,  
 Нося оковы позлащенны,  
 Нам вольность первый прорицал».

И будет, вслед гремящей славы,  
 Направя бодрственно полет,



На запад, юг, восток державы  
Своей ширить предел; но нет  
Тебе предела ниотколе,  
В счастливой ты ликуя доле,  
Где ты явишься, там твой трон;  
Отечество мое драгое,  
На чреслах пояс сил, в покое,  
В окрестность ты даешь закон.

49

Но дале чем источник власти,  
Слабее членов тем союз,  
Между собой все чужды части,  
Всяк тяжесть ощущает уз.  
Лучу, истекшу от светила,  
Сопутствует и блеск и сила;  
В пространстве он теряет мощь;  
В ключе хотя не угасает,  
Но бег его ослабевает;  
Ползущего глотает ночь.

50

В тебе когда союз прервется,  
Стончает мненья крепка власть;  
Когда закона твердь шатнется,  
Блюсти всяк будет свою часть;  
Тогда, растерзано мгновенно,  
Тогда сложенье твое бренно,  
Содрогшись внутренно, падет,  
Но праха вихри не коснутся,  
Животны семена проснутя,  
Затускло солнце вновь даст свет.

51

Из недр развалины огромной,  
Среди огней, кровавых рек,  
Средь глада, зверства, язвы темной,  
Что лютый дух властей возжег, —  
Возникнут малые светила;

Незыблемы свои кормила  
Украсят дружества венцем,  
На пользу всех ладью направят  
И волка хищного задавят,  
Что чтит слепец своим отцем.

52

Но не приспе еще година <sup>11</sup>,  
Не совершились судьбы;  
Вдали, вдали еще кончина,  
Когда иссякнут все беды!  
Встрещат заклепы тяжкой ночи;  
Упруга власть, собрав все мочи,  
Вкатясь, где потщится пасть,  
Да грузным махом вся раздавит  
И стражу к словеси приставит <sup>12</sup>,  
Да будет горшая напасть.

53

Влача оков несносно бремя,  
В вертепе плача возревет.  
Придет вожделенно время,  
На небо смертность воззовет;  
Направлена в стезю свободой,  
Десную ополча природой,  
Качнется в дол — и страх пред ней;  
Тогда всех сил властей сложенье  
[Приидет во изнеможенье]  
О день! избраннейший всех дней!

54

Мне слышится уж глас природы,  
Начальный глас, глас божества;  
Трясутся вечна мрака своды,  
Се миг рожденью вещества.  
Се медленно и в стройном чине  
Грядет зиждитель наедине —  
Рекл... яркий свет пустил свой луч,  
И ложный плена скиптр поправши,  
Сгущенную мглу разогнавши,  
Блестящий день родил из туч.

---

## ПЕСНЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ



Не красна изба углами,  
Но красна лишь пирогами.

*Пословица*

Громы, гряньте, потрясися  
Ось земная в основаньи,  
Время быстро, ты исчезни;  
Книга вечности разверзлась,  
Я не в будущем читаю,  
Не пророк я, не волшебник,  
Не Дельфийская Пифия,  
Но я время зрю протекше. —

Се явился предо мною  
Муж ума и духа сильна,  
Что, народ спасая божий,  
Море Чермное претекши,  
Во пустыни среди глада  
Среди смерти мог устроить  
Народ шаткий, легковерный.  
Моисей во имя бога  
Чудеса творил; законы  
Дал Израильску народу.  
И поистине, возможный

Управлять толпой народной,  
Не быв призван на то ею,  
Не имея пред собою  
Предрассудка порожденья,  
Может, может сказать смело,  
Что посланник есть всевышния.  
Моисей во имя бога  
Жезлом правит и законы  
Среди молний, среди грома  
Он со неба получает.  
Умы шаткие восхитив,  
Вождь был тверд умом и сердцем.  
(Магомет коварством многим  
Быть хотел законодавцем,  
Умы пламенны восхитив  
Рая лестною картиной,  
Он смерть сладкою соделал  
Во объятях дев небесных;  
Ученик его столь храбрый  
Воин был непобедимый.  
Он пошел струею быстрой  
На победы, пред собою  
Он народам удивленным  
Возвестил: се избирайте  
Алкоран иль смертоносный  
Меч, и света половина  
Пала пред его законом).  
Се идет Семирамида,  
Она кудри свои черны  
Прикрывает златым шлемом;  
Своим мужеством на брани,  
Своим разумом в советах,  
Твердостью во время смутно  
Всех сердца, умы пленивши,  
Она память истребила,  
Что убийственной рукою  
Она скиптр правленья держит.  
Зри Навуходносора,  
Несяй бурно пламя браней  
В стены нового Салема <sup>1</sup>,  
Сокрушил их, в прах развеял.  
Разорил храм Иеговы,

И повлек он иудеев  
В плен, неволю, в преселенье.  
Седяй гордо на престоле,  
Златом хитро изваянном,  
Он зрит образ свой во храмах  
Ко богам причтен; курятся  
Ароматы драгоценны  
В честь ему и днем и ночью.  
Но се мгла густая зверства  
На верх гордый налетает;  
Царь царей теряет разум;  
Он стал скот; в лесах дремучих,  
В блатах, дебрях ищет пищи...  
Так надменности на троне  
Писал суд предвечный в небе.

Троя, Тир, Сидон, Карфага,  
Древни хины и индейцы  
И неведомы народы  
Шествуют, покрыты мглою  
Неизвестности; но блещет  
Во среде столетий мрака  
Слава мудрых, яко в туче  
Молния в сверканьи светлом.  
Зри, воспетые Омиром,  
Ахиллес, Парис иль Гектор...  
Зри, во пурпурных хламидах  
Жители Сидона, Тира,  
Алчбой злата устремленны,  
На крылах несутся ветра  
Во страны дальнейши мира.  
Зри, потомки их в Карфаге  
Накопляют преизбытки  
Остроумною торговлей.  
Ганнибал, о вождь предивный — — —  
Но зуб времени железный  
Сокрушил их град и славу — — —  
Се потомки мудрых брамов,  
Узники злодеев нагих,  
По чреде хранят священный  
Свой закон в Езурведаме  
Буквой древнего санскрита —

Древней славы их останка  
И свидетеля их срама! — — —  
О, Конфуций, о, муж дивный,  
Твое слово лучезарно  
В среде страшной бури, браней,  
На развалинах отчизны  
Восседало всегда в блеске,  
И чрез целые столетья  
Во парении высоком  
Возносилось и летало...  
Се идет твой современник  
Зороастр; он во Персиде  
Учреждает поклоненье  
Духа жизни во вселенной  
И на жертвеннике светлом  
Огонь возжег, что пламенеет  
Еще ныне в жертву богу.  
Тако сила духа мудра,  
Сохраняясь во потомстве,  
Пребывает лучезарна  
И живет, живет на вечность:

Се Кир старший, учредитель  
Царства древняя Персиды <sup>2</sup>.  
Но чему о нем мне верить:  
Или повести правдивой,  
Иль Рамзею <sup>3</sup> в слоге красном?  
Царь царей и царь великий,  
Погибающий рукою  
Томириды; отсеченна  
Глава Кира всплывает  
В крови; слышу глас вещает:  
Пей, тиран, досыта крови,  
Коей в жизни столь был жаждущ!

Се Эллада в блеске солнца;  
Там ирои в лучезарных  
Подвигах, будто светила,  
На крылах стремятся ветров  
Похитить руно золотое.  
Зри, Язон в стране волшебной  
Превозмог в Колхиде страхи

Чарований и отравы,  
И с руном он у Медеи  
Сердце нежное похитил.  
Зри, Алкид <sup>4</sup> как сокрушает  
Выи дерзких и строптивых;  
Разве богу то возможно,  
Что он силою десницы  
Мог исполнить в жизни краткой.  
Странственных он избавитель,  
Предал смерти Бузирида,  
Он дал в снедь коням, обыхшим  
Поядать дымящи мяса  
Потребленных чужестранцов,  
Во Фракии Диомиды,  
Веоря злого в Ериманте  
Обуздать мог вервью лютость;  
Стрелой легкою пернатой  
Он чудовищ тех пернатых,  
Что в Стимфалии гнездились,  
Сокрушил и предал смерти.  
Не возмог никто противен  
Быть ему на брани сильной.  
В Лерне гидру он стоглаву  
Поразил; в лесу Немейском  
Льва ужасного исторгнул  
Жизнь с дыханием мгновенно,  
И во знак своей победы  
Его кожу он космату  
Возложил на тверды плечи.  
Медяногу, златорогу,  
Легкую в бегу он серну  
Мог настичь; и даже бога,  
В струях живша Архелоя,  
Он, во образе свирепа  
Тельца сильна, он, поправши,  
Рог исторг во знак победы.  
Победитель он чудовищ,  
Победитель он гигантов;  
Сильна в мышцах он Анфия <sup>5</sup>  
Удушил в объятых крепких.  
Перед ним кентавры дерзки  
Как лист легкий возметались.

И те храбры жены древле,  
Ненавистницы супругов,  
Амазонки побежденны  
И примером Ипполиты,  
Своей красныя царицы,  
Что Алкид Фисею <sup>6</sup> отдал,  
Научились жить с мужьями.  
Он предерзка Промифея <sup>7</sup>,  
Что с небес похитил пламя,  
От злой казни избавляя,  
Убил врана, что терзает  
На Кавказе его перси;  
И, пришед к пределам мира,  
Океан где облегает  
Шар земной, он столп высокий  
Силой крепкия десницы  
Подавил и вдруг раздвинул.  
Две горы тут вознеслися,  
Калпе, Абила, подножьем  
Двух столпов, где начертанно  
Сие дело баснословно;  
Се предел, и море с шумом  
Покатилось волнами  
Во среду земель и весей. — —  
Он, наполнив весь мир славой,  
Ниспел в царствие Плутона,  
И привратника тризевна  
Обуздал он пса Кервера <sup>8</sup>.  
Но, платя он долг природе,  
Полубог, ирой, был слабый  
Во объятях Омфалы  
Смертной; палицу иройску  
Гнусной пряслицей соделал.  
Но и в слабостях божествен,  
Сын царя миров предвечна,  
Десять он супруг имевши,  
Был отец потомства славна,  
Многочисленна; исполнил  
Наконец чудесный подвиг,  
Быв единою он ночью  
Дев пятидесяти юных  
Супруг нежный и в срок точно



Пятьдесят сынов родивши.  
Подвигов двенадцать дивных  
Совершил, себя прославив;  
Быв проем в жизни краткой,  
Полубог он стал по смерти.

Но, склонясь от баснословных  
Подвигов иройских в Грецьи,  
Зри, живот как презирает  
Кодр в спасение Афинам.  
Он не золото, не гремушку  
Мздой поставил дел иройских,  
Но мечту, мечту любезну,  
Образ отчества драгого;  
В нем жить рай, но с ним разлука  
Есть геенна, ад ужасный.  
Кодр, сей мыслию исполнен  
И предвещию поверя,  
Что потеря драгоценной  
Вещи для Афин спасенье,  
Счел, что драгоценней в мире  
Вещи нет, как царь правдивый,  
И себя таким считая,  
Смерть вкусил к спасенью царства.  
Афиняне в знак почтенья  
К подвигу толику славну  
И, считая невозможным  
Заменить его на троне,  
Имя царско истребили.  
Признавая невозможность  
Без законов быть правленью,  
Афиняне восхотели,  
Да Дракон, муж твердый, строгий,  
Начертал бы им законы.  
Но он каждое преступленье,  
Маловажно иль велико,  
Омывал Афинян кровью.  
Мало время поступали  
По словам его кровавым;  
И Солон законы новы  
Предписал тогда Афинам.  
Страсти бурны обуздавши,

Он законы дал бессильны  
Аттике замысловатой.

Зря законов власть погранну  
Властолюбным Пизистратом,  
Презрил град он и тирана,  
Град оставил, удалился.  
Но чему дивиться должно,  
Иль законом его слабым,  
Иль тому, что он направил  
Народ шаткий, остроумный  
На стезю побед и славы,  
На рожденье мужей дивных?

Се исходит предо мною  
И очам моим явился  
Муж божественный, муж дивный,  
Что, умом свои объявши  
Всю народного связь тела,  
Умел души всех устроить  
К пользе общей и единой,  
Подчиняя ум и сердце  
Всех отечеству любезну.  
О Ликург, твоим законом  
Ты нагнувши выи горды,  
Воспитанием спартанцов  
Им отечество соделал  
Всего выше и милее.

Времена настали страшны  
Для свободы всей Эллады.  
Как стада несметны вранов,  
Так полки персидски строем  
На Элладу налетели;  
Но афиняне, спартане  
Против их несчетных воев  
Ставили мужей лишь славных.  
Милтиад, спаситель Греции,  
Победитель Марафонский,  
Жизнь скончал в темнице срамной.  
Леонид, царь Спарты смелой,

Иссосав любовь к отчизне  
С млеком матери любезной,  
Жизнь ему принес на жертву,  
И с ним триста юнош храбрых  
Дни скончали в Фермопилах.  
Аристид се правосудный,  
Что себе начертавает  
Суд изгнания остракизмом;  
Но он зависти знал жало,  
Быв соперник Фемистокла.  
Победитель славный персов,  
В Саламине зрит всех греков,  
Стекшихся к играм в Олимпе,  
Перед ним вдруг восстающих.  
О, награда паче злата,  
Паче всех венцов лавровых!  
Но достоин был неложно  
Сей чести тот, кто Грецью  
Спас победой в Саламине:  
Для спасения отчизны  
Презрел он вождя надменна,  
И возпешему жезл буйно  
Да ударит, отвечает:  
*«Поражай, но токмо слушай».*  
Се Перикл, кой умел хитро  
Взять кормило во Афинах,  
И народом, возлюбившим  
Своевольность до безумья,  
Он по воле своей правил.  
Друг Фидия, изваявша  
Образ дивной Афинеи,  
Друг Аспазии любезной,  
Что Сократ (иль добродетель  
Воплощенна) в честь вменяет  
За учителя имети  
Себе славному Аспазию;  
Он друг был Анаксагора,  
Кой, сотрясаши предрассудок,  
Тяжко бремя мглы священной  
И светильником рассудка  
Сонмы всех богов развеяв,  
Первый стал среди вселенной,

Он дерзнул ее началу  
Дать вину несусеверну.

Алкивиад, муж любезный,  
Богат, статен, умен, знатен,  
Дарований он великих  
И пороков преисполнен.  
Добродетелен, но редко,  
Разве следуя советам  
Друга своего любезна  
И учителя, Сократа;  
В страстях пылок, рдян и буйствен;  
Облекаясь он однакож  
В виды, нравы, обычаи,  
Кои нужны на то время,  
Чтоб достичь желанной цели;  
Он злой дух и бич Эллады  
Был и пал сраженный жертвой  
Любочества и разврата. —

Но пройдем мы быстрым оком  
Ту страну, страну предивну,  
Где Ликурговы законы  
Царствуют сильней природы.  
Там жена не знала страсти  
Ко супругу нежну, разве  
Он достоин был награды  
За свою любовь ко Спарте.  
Там мать в радости ликует,  
Когда сын ее, сражаясь,  
Жертвой пал при Фермопилах.  
Ты познал то, о, Павсаний,  
Что любовь ко Спарте выше  
В сердце родшей тебя в Спарте,  
Нежели к тебе. Развратность  
Твоих нравов она прежде  
Всех других в тебе накажет.  
Ты есть враг Лакедемона;  
И се, зри, несет уж камень,  
Чем во храм вход заградится,  
Где предательна свершится  
Твоя жизнь во мщенье Спарты.

Агесилай, воин мудрый,  
Ты достоин еще древней  
Славы отчества, погасшей  
В роскоши, в развратных нравах.  
О, сколь мил ты простотою,  
Когда, чад своих забава,  
Ты, конем жезл сотворивши,  
Рыскал с ними на их пользу.

О, Лизандер, о муж славный!  
Воин мудрый, ты б достоин  
Был отчества любезна,  
Если б ты родился прежде.  
Ты в делах твоих пройских  
Не коварством бы вождаем,  
Не предатель был бы хитрый,  
Почитавший меч свой средством  
Быть всегда со всеми правым.

Но разврат, пускай свой корень  
Сердца вглубь лакедемонян,  
Испроверг святы уставы,  
Что Ликург поставить тщился  
На подножии незыбком  
Простоты и бескорыстья  
Воспитанием суровым,  
И когда рукою смелой  
Юный Агий, взревновавший,  
Восхотел к началу древню  
Обратить спартански нравы,  
То плачевною пал жертвой  
Сребролюбия, разврата.

---

Дух величья, разливаясь  
В концы дальние Эллады,  
Возблистал вдруг между Фивян;  
Хоть Пиндар своей трубою  
Во отечественном граде  
Колебал тупые слухи,  
Но, взгнеадившись во Фивах,  
Грубость их во всей Элладе

Отличалась пред другими.  
И се два велики мужа,  
Лаврами главы венчая,  
Возмогли на высшу степень  
Возвести свою отчизну.  
Пелопид, мудрец и воин,  
Муж великий, избавитель  
Фив от ига, наложена  
Гордой Спартою во счастье.  
Но его блестяща слава  
Уступала его другу  
Эпаминонду, что первым  
Цицерон назвал из греков,  
Он про коего вещает:  
Знал всех больше, а глаголал  
Меньше всех. Он, высший в Фивах,  
Нищ был, злато презирая.  
Горду Спарту низлагая,  
Победитель пал сраженный,  
И, чад вместо, он оставил  
Только Левктры, Мантинею.  
Се Филипп сплетает узы  
Или сети хитротканны,  
Где он вольность всей Эллады  
Уловил и сделал прахом.  
Учредитель стройна войска,  
Устроением фаланги  
Он кровавы приготовил  
Узы тяжки полусвету.  
О, Филипп, тебе возможно  
Во ярем нагнуть все выи;  
Но кто может Демосфена  
Наклонить велику душу?  
Тебе тело и труп срамный  
Демосфенов в корысть будет,  
Но не дух его свободный.

Александр, употребляя  
Себе в пользу то, что сделал  
Филипп хитрый, Филипп мудрый,  
Вихрь порывистый понесся,  
В бурном духе урагана,

Сокрушая все преграды,  
От смиренной Пеллы, даже  
До берегов счастливых Ганга.  
Друга своего убийца,  
Пал сражен болезнью в пьянстве.  
Необъятные корысти  
По его достались смерти  
Вождам войск его надменным;  
И солдаты Александра  
Цари стали его смертью.

Хоть по смерти Александра  
Воссиял дух древний паки,  
И союз Ахейн видел  
Возрождающуюся вольность;  
Но то искра была слаба.  
Ни Арат не мог восставить  
Падшую Эллады вольность,  
Ни ты, смертный, столь достойный  
Нарещись последним греком,  
Филопеман пал, и вольность,  
В древней Греции сиявша,  
Век потухла невозвратно.

---

Се сонм светлый мужей славных,  
Се сенат, се народ римский,  
Полк царей и их превыше,  
Се властители народов.  
Изыдите и предстаньте  
Моим взорам обаянным!  
Вы краса и удивленья  
Человеческого рода,  
Вы изящну добродетель  
Вознесли на верх возможный;  
Но вдруг впали в гнусность, мерзость  
И затмили злобой, зверством  
Все народы нам известны.

Ромул Риму основанье  
Дал, устроив свое царство.  
Нума нимфу Егерю

Призывал давать законы  
И единый против войска  
Стал врагов своих строптивых.  
До Тарквиния старались  
Все цари пределы Рима  
Расширять елико можно.  
Но Тарквиний скиптр железный  
Простер к буйному народу;  
Смерть Лукреции воздвигла  
На него беды ужасны;  
Он был изгнан, и навеки.

Се Брут первый, обагренный  
Кровью сына и тиранов,  
Положил угольный камень  
Зданию римския свободы.  
Се Коклес, с мечем единый  
Спасший Рим и его славу;  
Жертва Деций общей пользы,  
Ищет смерти он ужасной.  
Суеверною любовью  
Ко отечеству пылая,  
Курций в хлябь земну разверсту  
Летит, жизни не жалея,  
Для спасения народа.  
Зри, се Сцевола, на жертву  
Принося свою десницу,  
В безопасность юна Рима,  
Не содрогшись возлагает  
На горящи ея угли.  
Боль несносна не тревожит  
Души твердой и незыбкой.

О, Менений бескорыстный!  
Пред тобой богатство, злато,  
Как лист в осень, увядают  
Постыженны твоим взором.  
Нищ ты был, седая в сенате,  
И по смерти не оставил  
Чем бы заступ мог наемный  
Ископать тебе могилу.  
Но граждане веледушны,



Чувствием сердец водимы,  
Несут в место свое злато,  
В честь твою взник столп надгробный!

Броду тяжку прорывая  
Силою волов яремных,  
Цинцинат от шума света  
В селе малом обитает.  
Но блестяща добродетель  
Утаиться не возможен;  
Возведен на высшу степень  
Он в дни смутные средь Рима,  
Своей твердостью и лаской  
Рушщийся порядок строит;  
Уже взводится в четверты  
На первейшее он место;  
Врагов Рима победивши,  
Он нисходит в чин простого  
Гражданина; и приемлет  
Паки он свое орудье,  
Чем взорется его нива.  
Столь же ты велик, муж дивный,  
Идя вслед сохе на ниве  
И бичем скота яремна  
Понуждая ко работе,  
Велик столь же, как пред войском  
В прах попрали ты врагов Рима.

О, Камиллий, о, муж славный,  
Столь же дивен и единствен  
Ты во счастья благоспешном,  
Как в превратностях и в бедстве.  
Изгнанный коварством хитрым  
(Ах! бывало ль, или будет,  
Чтоб изящна добродетель  
Не рождала зависть бледну  
И была б не ненавистна  
Злобну гнусному пороку),  
Ты, к отечеству любовью  
Рдея, строишь во изгнаньи  
Помощь Риму во злосчастьи.

И се Бренн, вождь храбрый, смелый  
Галлов диких и свирепых,  
Победитель римских воев,  
Всюду ужас простирает,  
Он в бестрепетное сердце  
Римлян страхи поселяет;  
Но Рим в бедствах паче счастья  
Был велик и тверд и дивен.  
Его стены опустели;  
Жены, старцы и младенцы  
Лишь одни остались в граде  
Зреть победу галлов лютых.  
Но Камилл жив, и спасенны.  
Лишь отсутствен он от Рима,  
Паки бедства возродились,  
И, наскучивши в осаде,  
Римляне купить хотели  
Мир у галлов весом злата.  
Но Камилл внезапно входит  
В град, поникший от печали;  
Зрит поносное он злато  
На весах, и коромысло  
(Вес не полн) горе восходит.  
Меч извлек, и в легку чашу  
Возложивши: «се, — вещает, —  
Чем нам галлам платить должно,  
А не златом сим поносным».  
Одно слово, и дух прежний  
Возродился в сердце римлян,  
Рим свободен, побежденны  
Галлы; зри, что может слово;  
Но се слово мужа тверда,  
Как то древле слово жизни  
Во творении явилось,  
Было слово се Камилла.

Мужки славны, украшенья  
Вы отечества во Риме;  
Вы, к нему любовью рдея,  
Все на жертву приносили,  
Самую забыв природу.  
Манлий сына осуждает

Вкусить смерть, да подчиненность  
В войске будет сохраненна;  
Деций, видя робость в войске,  
Дав себя в обет подземным  
Богам, ринулся с размаху  
Во врагов; погиб, но славно,  
Бодрость в души влиял римлян  
И доставил им победу.  
Се твой сын, тебя достойный,  
Уподобясь тебе в славе,  
То ж творит и погибает.

Се и вы предстали взорам,  
О, презрители богатства.  
О, ты, Курий! что вещавший  
Ко самнитам, приносящим  
Злато: «лучше я желаю  
Повелитель быть над теми,  
Кто имеет много злата,  
Нежели иметь сам злато».  
Ах! возможно ль его блеском  
Льстить того, кого, пришедши  
На прошение, посланцы  
Целого народа видят  
На деревянном блюде яствы  
Поядающа. — Явился  
Муж, презритель сребра, злата,  
Добродетельный Фабриций:  
Удивленье врагов Рима,  
Ты достойный был воссести  
И в том граде и в том сонме,  
Где Киней дивяся мудрый:  
«Рим, — вещает, — есть храм божий,  
А сенат царей собранье».  
Пирр со златом посрамленный,  
Не возмогши добродетель  
Повредить твою, рек тако:  
«Нет, удобнее возможно  
Совратить с теченья солнце,  
Нежели со стези правды,  
Добродетели и чести  
Совратить тебя, Фабриций».

Кто сей зрится весь покрытый  
Ранами, муж строга вида? . .  
Регул, зная пытки, муки,  
Что его ждут во Карфаге:  
«Вам война, не мир довлеет,  
О, сенат, о, народ римский» —  
И кровавая пал жертва  
Он совета сего мудра.

Но возник тебе на гибель  
Ганнибал, сей муж предивный,  
Коиим Рим едва не свержеи  
Во полете своей славы,  
Если б зависть не претила  
Во парении ирою.  
Фабий медленностью мудрой  
Если б бег твой не умерил,  
То, поверженный во прахе,  
Во развалинах дымился б  
Рим, глава земного круга;  
Там бы зрелися потомки  
Тех мужей, достойных неба,  
В поругании злосрамном;  
На том месте, где венчались  
Славою их предки дивны,  
Не воссели б в славе, в блеске  
На престоле всего мира.

Ганнибал, ирой премудрый,  
Что тебе противустанет?  
Коль природа не возможет  
Во походе твоём дивном  
Положить тебе преграды,  
Воздвигая верхи льдяны  
Выше облак, грома, молний;  
Коль струя шумящей Роны,  
Еридан, или потоки,  
Звонкошумно ниц звенящи  
С верхних Альп на камни строги,  
Заградить твой путь не могут,  
То Трeбия, Тразимена  
Суть лишь следствия неложны

Твоих мудрых начертаний.  
Но се Фабий, скала тверда,  
Где твое стремленье буйно  
Заградилось и препято.  
Ах! тобою Рим спасенный  
Чуть не зрел свою погибель  
В Каннах, как Варрон надменный,  
Сей клевет безумный Павла,  
Падшего в спасенье Рима  
С воинами, что умели  
Жизнь скончати за отчизну;  
Безрассудный вождь, возмнивший  
Состязаться с Ганнибалом.  
Уж молва трубою громкой  
Возвещает гибель Рима;  
Но напасть его спасенье  
Устраивает средь развалин;  
Он воздвиг свой верх ужасный,  
Бедства край всех восторгало  
Мужество вновь возродилось;  
Рим спасен, и что возможно  
Ганнибал один пред Римом?  
Его счастье отлетело  
Перед юным Сципионом.  
Победитель Ганнибала  
Видел зависть, видел злобу,  
Устремленную на славу  
Его подвигов великих;  
Обвинен перед народом,  
Добродетельный муж, твердый  
Над врагами Рима скажет  
Свои славные победы  
И, клевет всех в посрамленье:  
«Народ Римский! (он воскликнет)  
В сей, в сей день блаженный с вами  
Победил я Ганнибала;  
Отдадим хвалу всевышним».  
И се паки торжествуя,  
Всем народом провождаем,  
В Капитолю он восходит,  
Оставляя площадь римску  
С клеветой, в стыде шипящей.

Славы, имени преемник  
 Сципионов, разрушитель  
 Состязательницы Рима...  
 Ах! се ль слава, се ль иройство? — —  
 Разрушать единым мигом,  
 Что столетия создали!  
 Вопль и крик и скрежетанье  
 Умирающих булатом  
 Победителя во гневе. —  
 Пламя, всюду разлианно,  
 Как река, сломив оплоты — — —  
 Плод изящности — в обломках — —  
 Разума творенья — в щепках — — —  
 И грабеж, насильство, наглость,  
 Все неистовства, все зверства, — —  
 Со бесчувственностью стали  
 Слышать визг и корчи смерти —  
 Се иройство, слава! — можно ль  
 Сердцу, чувствовать обыкшу,  
 И уму, судить умевшу,  
 Поступить на таковая?  
 Нет, рассудок претит мыслить,  
 Что Эмилия сын славный,  
 Лелья друг и друг Полибья,  
 И любитель муз Эллады,  
 Мог решить погибель зверску  
 Пышной, гордя Карфаги.  
 Нет, велење се неисто  
 Властолюбия сурова,  
 Ненасытна духа власти,  
 Духа сильна, Рим воздвигша,  
 Из устен что излетело  
 Древня строгого Катона:  
 Да разрушится Карфага!  
 Но ты паки разрушитель,  
 Ты Нуманции несчастной.  
 Иль припев, или прозванье  
 Над тобой толико сильны,  
 Что ты сладость ощущаешь  
 Разрушителем быть только?  
 Но, алкая сильной власти  
 Ты диктатора, стал жертвой  
 Властолюбья непомерна. — —

И се в Риме, удивленном  
Своей властью и богатством,  
Возникают страсти бурны  
И грозят уже паденьем.  
Азия, Коринф и греки  
Повергают свои выи  
Во ярем народа римска.  
Но во мзду рабства, сим мира  
Повелителям надменным,  
С золотом, с серебром, с богатством  
Изрыгают в Рим все страсти,  
Что затмят в нем добродетель  
И созиждут ему гибель.  
Грахи <sup>9</sup>, Грахи, украшенья  
Матери своя мудрой,  
Вы напрасно восхотели  
Возродить в превратном Риме  
Правы древни и равенство.  
Добродетель не защита  
Для коварства, буйства, силы.  
Пали жертвы вы, достойны  
Упадающей свободы.  
Се возник тот муж суровый,  
Ненавистник рода знатна,  
Ненавистник наук, знаний,  
Храбр и мужествен и дерзок,  
Вождь великий, воин смелый  
И спаситель Рима, Марий;  
Горд, суров, алкая власти,  
Все пути к ее снисканью  
Были благи; но изгнанный  
И в побеге, утопая  
Близ Минтурны в блате жидком,  
Он вещает ко несущу  
К нему смерть наемну войну:  
*«Се, я Марий, коль дерзашь!»*  
Но сей взор велика духа,  
И велика среди бедствий,  
Заградил взнесенно жало,  
И в убийце своем Марий  
Обретает себе друга; —  
— Странник бедствен, укрываясь,

Конец жизни пося тяжкой,  
Зри картину счастья шатка;  
Зри величественный образ  
Мария победоносна,  
Марья первого во Риме  
Здесь сидящего (вещает)  
На развалинах Карфаги!  
О, стяжатель власти, чести,  
Зри там Марья — содрогнися.  
Колесо всегда вертящесь  
Превратилось Фортуны,  
Марий паки в Капитольи;  
Сердце, бедством изъязвлено,  
Стало жестче стали крепкой,  
И суровый сей велитель  
Рим исполнил смерти, казни.  
День румяный воссиявший  
Освещал потоки дымны  
Восструившейся по стогнам  
Крови римской, — и свершался,  
Зря в мерцаньи кровь и гибель.  
Но сей варвар ненасытный  
Трепетал, вспомня Суллу.  
Чтоб забыть тот страх, опасность,  
Он предался гнусну пьянству  
И в хмелю скончал жизнь срамну.

Се совместник Марьев, Сулла,  
Се мучитель с сердцем нежным,  
Се счастливым нареченный,  
Рода знатна и украшен  
Дарованьями различны;  
Ум словесностью устроен,  
В обхожденьи мил и гибок,  
Но снедаем алчбой славы  
И снедаем властолюбьем;  
Храбр, деятелен, вождь мудрый,  
Победитель Мифридата.  
Мифридат, ирой, царь славный,  
О, пример ты зыбка счастья!  
Враг он римлян, ненавистник  
Сих тягчателей народов;



С юных лет он чует славу  
Противстать струе сей, рвущей  
Все оплоты; бодрый разум,  
Возвышенны чувства сердца,  
Крепость духа, храбрость, смелость,  
Мужество, в трудах возросше,  
Закаленное во славе;  
Он дал бег душе отважной,  
Властолюбия алкавшей,  
На великая возмогшей.  
Победитель он Азии,  
Победитель он Эллады,  
Уступить был принужденный  
Счастью Рима, счастью Суллы.  
Но иссунул меч кровавый  
Паки на погибель Рима,  
Тридцать лет сопротивлялся  
Он грабителям вселенной  
Римлянам: но в тяжки лета,  
Зря восставшего Фарнаса,  
Сына, наущенна Римом,  
Он мечем свою жизнь славну  
Ненадежную исторгнул,  
Не возмогши ее кончить  
Жалом острым яда сильна;  
Зане жизнь его, в смятеньи  
Провождаема, успела  
Притупить всю едкость яда.

Мифридата победивши,  
Испровергнувши Афины,  
Победивши всех ахеян,  
Всех союзников и римлян,  
Сулла меч свой, обагренный  
Кровию доселе чуждой,  
Он простер во сердце Рима.  
Заградив на жалость сердце,  
Хладнокровный был убийца  
Всех, ему врагами бывших,  
И трепещущие члены  
Погубленных граждан Рима  
Его были услажденье.

Нет, ничто не уравнился  
Ему в лютоści толикой,  
Робеспьер дней наших разве.  
Ах, во дни сии ужасны,  
Где отец сыновней крови,  
Где сыны отцовой жаждут,  
Господу где раб предатель,  
Средь разврата нагла нравов  
Может разве самодержец,  
Властию венчан всеильной,  
Дать устройство, мир — неволи —  
Пусть неволи, но отдохнет  
Человечество от тяжких  
Ран. Стал Сулла всевелитель,  
Учредил благоустройство  
Во мятежном сердце Рима.  
И се муж, кровей столь жаждущ,  
Погубитель граждан, войнов,  
Грады, селы испровергший,  
Наносивший смертны раны  
Во сердцах семейств толиких,  
Возгнушался своею властью  
И дерзнул сойти с престола.  
Он конец своя жизни  
Провел мирно и в утехах  
Сладострастья, неги, хмеля.  
О, властители народов!...  
Или паче, сердца смертных,  
О, загадка, нерешима  
Ниже Сфинксу; будто только  
Всевластителю угодно  
Было кровию упиться  
И возлечь на ложе мирно,  
Среди Вакха, Мусс и Лелы.  
Истина непостижима,  
Но то истина, что может  
Во душе, к любленью нежной,  
При вождении рассудка,  
Привитать и люто зверство.

Где ты, Рим, где ты, отчизна  
Простоты, смиренья, чести!

Добродетели опоры,  
Потрясенные страстями,  
Утопились в ассиjsкой  
Роскоши; но се явленье,  
Удивления достойно  
Всех веков, всея вселенной:  
Муж богатства неисчетна,  
Пышностию превзошедший,  
Роскошью и велелепьем  
Всех царей роскошна востока,  
И среди распутства, буйства,  
Наглостей, презренья явна  
Добродетели, законов,  
Возмужался, явил свету  
Сердце чистое и разум  
Всей изящностью украшен.  
Воин храбрый и вождь мудрый,  
Гражданин среди разврата;  
Ненавистник ухищрений,  
Скопов, казней, заговоров;  
Не алкая властолюбьем,  
Победитель Мифридата  
Торжеством шел в Капитолий.  
Сердце, руки непорочны,  
Судия всегда правдивый,  
Истина из уст нельстивых  
Лукулла роскошна, пышна  
Исходила непорочна.  
Сын, отец и брат он нежный,  
Господь щедрый, друг несчастных,  
Он бы мог стать всех превыше,  
Кесаря или Помпея,  
Но иль мало он отважен,  
Иль не дерзок, иль почтил он  
Мир, покой средь Мусс и негг: —

Марий, проложив кровавый  
Путь ко власти высшей в Риме,  
Сулла, воинов купивши,  
Показали, что возможно  
Силой царствовать в Риме;  
Рим, владыко всех народов,

Уж настала та минута,  
Что ты выю свою горду  
Под ярем насильства склонишь.  
Если муж продерзкий, буйный,  
Вихрь неистовый страстями,  
Смелый ум, отважно сердце,  
Сластолюбец, злодей гнусный...  
(Зри, ступил, ушел и, в бегстве  
Вырвавшись, мечем дерзает...  
Но сражен, он озираясь  
Грозит взором и скрежещет  
Во отмщенье зубами) — —  
Если вольность Катилина  
Не возможет испровергнуть,  
То, спасенный Цицероном,  
В мрежи ты падешь Помпея.  
Властолюбец, не терпевший  
Себе равного во Риме,  
Жажду царствия прикрывши  
Добродетельной личиной,  
Он умеренности видом  
Привлекал сердца и души;  
Торжества исторгши почесть,  
Еще юн, не хотел больше,  
Чтоб его затмил кто в Риме,  
Победитель и во власти  
В Рим вступает гражданином,  
Но он хитростью добудет,  
Чего силой не желает.  
Его честь и добродетель  
На лице токмо сияли,  
Но душа была бесстыдна.  
Расширитель он пределов  
Рима Ассии до сердца,  
Он неистово гордился,  
Презрил Юлия, вещая:  
«Я воздвигну легионы,  
Ударяя ногой в землю».  
Во Фарсальских он долинах  
Испытал превратность счастья,  
И предательной десницы  
Стал он жертвою плачевной.

Тако зданье, соруженно  
Хитростью и расточеньем,  
Властию, умом, стрясется  
И падет единым махом,  
Коль найдет во преткновенье  
Буйнее себя и дерзче.

Се возник тот муж предивный,  
Удивленье веков поздних,  
В юности распутен, жаждущ  
Лишь веселья и утех,  
Дорогими ароматы  
Нося кудри умаченны  
И рача лишь о наряде,  
Сей вознесся, да преломит  
Твердый щит свободы Рима,  
Но в котором еще Сулла  
Марьев многих прорицает.  
Юлий встал, и все поникло.  
Ах! что может стать противу,  
Когда Юлий в селе малом  
Первым быть желает лучше,  
Нежели вторым во Риме.  
Алчба власти необъятна,  
Совождается рассудком  
Твердым, быстрым, и глубокий  
Ум блестящий, и украшен  
Всей учености цветами.  
Слово нежно и приятно,  
Но и сильно, пылко, стройно,  
Убеждать равно удобно  
Душу, сердце жены, война.  
Предприимчив, смел, отважен,  
Жив, деятелен; чудесны  
Он намеренья родивши,  
Исполнял их устремленно;  
Храбр и мужествен в сраженьи,  
Мудр, разумен он в советах,  
Милосерд, прощать обиды  
Он готов всегда злодеям.  
Как возможно, чтобы вольность  
Устоять могла, шатнувшись,

Против Юлья? муж чудесный,  
Он все качества изящны  
Ссредоточил, недостатка  
Ни едина не имевши,  
Но пороков тьму; рожденный  
К управленью, где бы ни был,  
Победитель был бы тамо,  
Где б случилось вождасть войско.  
Вольности умыслив гибель,  
В достиженьи сея цели  
Бдетелен был, трезв, незыблен,  
Всегда к брани он готовый,  
Рукой дерзкой и обильной  
Рассыпал несчетно злато.  
Покупал наемны души  
И клеветов своих бранных  
Делал Крезами, коль нужно.  
Путь направля ко престолу,  
Преткновений став превыше,  
Он себе позволил все, и  
Свято было ль что, не ведал.

Так, Помпея победивши,  
Излиял щедроты всюду  
И явился царь премудрый.  
Но или неосторожно,  
Или гордостью своею  
Оскорбив любящих вольность,  
Сей вождь славный, муж великий  
Пал, сражен друзей рукою,  
Пал, ненужная ты жертва  
Сокрушенныя свободы  
И, неслыханное чудо!  
Тиран мертв, но где свобода?  
Во служение поникший  
Рима дух парить не может.  
А ты, муж красноречивый,  
Цицерон, прияв кормило,  
Не возмог ты Римом править.  
Ах, Катон, почто исторгнул  
Жизнь свою ты столь некстати?  
Ты бы участь зыбку Рима

Укрепить мог духом твердым.  
Стань, сравнись со Цицероном;  
Монтескье о вас да судит.  
Цицерон муж качеств дивных,  
Но вторым быть, а не первым  
Был удобен; ум прекрасный,  
Но душа нередко низка.  
В Цицероне добродетель  
Есть побочность, а в Катоне  
Она верх, подпора ж славы.  
На себя всегда взор первый  
Витий славный обращает;  
А Катон себя не видит;  
Рим спасти Катон желает,  
Зане любит он свободу;  
А муж слова сладка хочет  
Рим спасти, из чванства разве;  
И сей муж, неосторожный  
И тщеславный, ненавидя  
Марк Антония, восставил  
Юлия в Октавиане.  
Но, обманутый младенцем  
Почти, пал опасна жертва  
Кровожадных триумвиров.  
Тут воскрес, восстал от гроба  
Ненасытец граждан крови,  
Сулла; меч носился в Риме,  
Пожиная всех, кто не мил  
Иль опасен триумвирам.  
Так, валясь везде на части,  
Римска вольность исчезала.  
Брут и Кассий, побежденны  
В Греции, свой меч вонзают  
В грудь свою без пользы Риму;  
Только слава им осталась  
Римляне последни зваться.  
Потом, Марка победивши  
Октавьян в Акцьи, трусливый,  
Царь он стал огромна Рима.  
И так сей злодей неистый,  
Без законов и без правил,  
Хитр, бесстыден, подл и алчен,

Благодарности чужд сердцем,  
Сластолюбец и бездельник,  
Кровожаждущ, но с насмешкой,  
Воевода трус и робкий,  
Но возлюбленный воинством,  
Рим исполнивши насильства,  
Грабежа, бесстыдства, крови,  
И, насытившись надменно  
Сладострастием позорным,  
Стал превыше он всех в Риме.  
Он в любовь к народу вкравшись,  
Льстя его свободы видом  
(Ах, достоин ли свободы  
Ты, который лишь желаешь  
Хлеба, хлеба, игр на цирке?),  
Основал престол железный,  
Где воссядет злодеянье  
И с ним гнусные пороки.  
Тако хитрый сей мучитель,  
Безмятежным правя царством  
Долго, был и щедр и кроток  
И, кончину видя близку,  
С твердостью вещал стоящим:  
«Се конец игры, плещите».  
Но потомство не обманешь, —  
О, неистовый счастливец;  
Блеском своей державы  
Одолжен ты Меценату,  
Или Ливьи, иль Агриппе,  
Иль льстецам твоим наемным,  
Иль Горацью, иль Марону.  
О умы, умы изящны,  
Та ли участь Мусс, чтоб славить,  
Кто вам жизнь лишь не отъемлет,  
Иль, оставя вам жизнь гнусну,  
Даст еще кусок, омытый  
В крови теплой граждан, братьев.

Как струя, в своем стремленьи  
Препинаема оплотом,  
Роет тихо в основаньи  
Связь подножья его крепка,



Но подрыв и отняв силу  
У претящая плотины,  
Ломит махом все преграды  
И, разлившись с буйным ливом  
По лугам, долинам, нивам,  
Жатвы где блюлись и злаки,  
Все покрыла волной мутной:  
Так при Августе власть высша  
Подрывала столб свободы,  
Что Тиверий сринул махом.

Тиран мрачный, он подернул  
Покрывалом тяжким скорби  
Рим; тогда не злодеянье  
В злодеяние вменялось;  
Но злодей — кого Тиверий  
Ненавидел или думал,  
Что опасен он быть может.  
Действие, невинна шутка,  
Одно слово, знак, иль мысли  
Все могло быть преступленьем.  
Там донос, ночное жало,  
В бритву ядом изощренно,  
Носят нагло днем во Риме.  
Сын отцу и отец сыну,  
Брату брат, супруг супруге,  
Господину раб, друг другу  
Чужды стали и опасны.  
Оком рыси соглядая,  
Лютость рыскала по стогнам  
И с улыбкою змеиной  
То чело знаменовала,  
Что падет при восходе солнца,  
Иль увянет при закате.  
Ах, исчезли те сердечны  
Излиянья меж друзьями,  
Что всю сладость составляли  
Бесед тихих, но свободных;  
Со пиршеств непринужденно  
Отлетело уж веселье,  
Скрыв чело блестяще, ало  
Под покров густой печали;

И доверенность в семействах,  
И в рабах хоть редка верность  
Искаженны превратились  
В недоверчивость, подобну  
Стражу люту, что отъемлет  
И несчастных услажденье  
В бедстве томном, сон и слово.  
Дружба там почлась не лучше  
Скалы скрытой и подводной,  
Где корабль при дуповеньи  
Тихого Зефира, будет  
В корысть Сцилле иль Харибде.  
Откровенность и вид правды  
Поставлялися безумьем.  
И сама, ах! добродетель  
Почиталася личиной,  
Но опасной для тирана,  
Зане вид ее любезной  
Мог исторгнуть бы из груди  
Воздыханье о блаженстве  
Времен прежних, и родилась  
Мысль, что Рим мог быть иначе.

Так вещает муж бессмертный  
Монтескье, что нет тиранства  
Злей, лютей, когда хождает  
Под благой сенью законов,  
И прикрытое шарами <sup>10</sup>  
Правосудия; подобно,  
Как бы жалость всю презревши,  
Отымать спасавшу доску  
Претерпевших сокрушенье  
Корабля, да гибнут в бездне.

Се лишь слабая картина  
Царствия Тиверья мрачна.  
Сей тиран согбенна Рима,  
Возгнушавшись его лестью  
Иль боясь, чтоб не воздвигло  
В нем отчаянье десницу  
На каранье правдиво  
Всех его мучительств темных,

Отдалился во Капрею <sup>11</sup>,  
Где, когортами стрегомый,  
Сластям гнусным предавался,  
Коиx образ даже срамный  
Иль одно напоминанье  
Омерзенье возбуждают.  
Тамо отроков во сонме  
Наслаждался он утехой,  
Новы сласти вымышляя  
И названия им новы;  
Там, откуда его смрачны  
Слуги, рыская повсюду,  
Новых жертв всегда искали  
Его мерзку любострастью;  
Отрок нежный, возвращенный  
В целомудрии, в смиренности,  
Исторгался из объятий  
Отца, матери иль брата.  
Ах, почто, почто и память  
Сих всех гнусностей позорных  
Едко время пощадило!  
Время, в царствии драгое,  
Истошая в сих утехах,  
Исполненье своей власти  
Злой тиран отдал Сеяну.  
Сей, орудье его зверства,  
Шел во власти и в тиранстве  
Наравне с каприйским богом.  
Погубив его семейство,  
Он уж смелую десницу  
На трепещуща тирана  
К поражению возносит;  
Но сам пал, и тиран лютый  
Злей, лютее стал, дотоле,  
Что, несчастный, избегая  
Не кончины неизбежной,  
Но терзаний, муки, пытки,  
Жизнь заранее преторгши,  
Извлекал из уст тирана  
Слово зверское: «он спасся».  
Сам Тиверий смертью лютой  
Жизнь скончал свою поносну.

Ах, сия ли участь смертных,  
Что и казнь тирана люта  
Не спасает их от бедствий;  
Коль мучительство нагнуло  
Во ярем высоко выю,  
То что нужды, кто им правит?  
Вождь падет, лицо сменится,  
Но ярем, ярем пребудет.  
И, как будто бы в насмешку  
Роду смертных, тиран новый  
Будет благ и будет кроток;  
Но надолго ль, — на мгновенье;  
А потом он, усугубя  
Ярость лютости и злобы,  
Он изрыгнет ад всем в души.  
Кай Калигула таков был,  
Милосерд, но лишь вначале;  
Он был щедр — — разве в тиранстве.  
Юнош тихий и покорный  
Был, доколе высшей власти  
Не имел в своей деснице;  
Потом тигр всех паче лютый.  
И достойно назывался  
Рабом лучшим во всем Риме,  
Господином злей всех паче.  
Он, лаская толпе черной,  
На безумные издержки  
Истошил несчетно злато.

И се светлое начало  
Пременилось скоро, скоро.  
Сверженно все и погранно  
С наглостью; досель невинный,  
Нравы, разум и законы,  
Человечество и честность  
Подавив пятою тяжкой,  
Кай омылся в кровях Рима;  
Он мучитель до безумства,  
Сожалел о том лишь только,  
Что народ, народ весь римский  
Не одну главу имеет,  
Да сраженна одним махом

Ниспадет ему в утеху.  
Пьян, величием надменен,  
Он царей всех чтит рабами,  
Храм создал себе, как богу,  
И велел обильны жертвы  
Приносить себе, как Зевсу.  
Блестел молнией, метал грома.  
Удивиться тому должно,  
Как мог Рим повиноваться  
Дурака сего неиста  
Бешенству толико яру;  
Любодейца со сестрами,  
Нагл, насилен и бесстыдно  
Осрамлял супружне ложе.  
Лишь стыдился, что Агриппа  
Его дед был, и вещает:  
«Мать мою родивша Юлья  
Зачала в объятых отчих  
Бога Августа». — Безумный!  
Нет, лишь смех ты возбуждаешь.  
Но чему дивимся боле:  
Иль надменности безумной,  
Или зверству его яру?  
Глад, иль мор, или пожары,  
Или бедствия народны  
Ему были услажденьем.  
Но дотоль он презрил римлян  
Или был безумен столько,  
Что коня в своих чертогах  
Угощал как мужа славна.  
Он нарек его первейшим  
Во священниках, и мыслил  
Нарещи его в сенате  
Консулом. — Но полно, полно,  
Замолчим... Он жизнь столь гнусну  
Острием скончал Херей.

Ах! пребудет удивленьем  
Во все веки, во все роды...  
Как Рим гордый, возмужавший,  
Жив столетия во бранях  
Непрестанных; источая

Кровь граждан и кровь противных,  
Истребляя иль присвоя  
Царствия, народы, веси,  
Явив свету мужей дивных  
В добродетелях, в иройстве,  
Совершивши дел толико  
И великих и блестящих,  
Быв толико мудр в правленьи,  
Мудр во бранях и в победах  
Мужествен, тверд, постоянен,  
Во опасностях незыблем;  
И, поставив от начала  
Присвоение вселенной  
И намеренье блестяще  
Столь умыслив остроумно,  
Столь исполнив постоянно  
И окончив столь счастливо...  
Но на что ж?.. дабы злодеев,  
Извергов, чудовищ пять-шесть  
Наслаждалися всем буйно...  
Иль се жребий есть всеобщий,  
Чтоб возвышенная сила,  
Власть, могущество, блеск славы  
Упадали, были гнусны?  
И рачащие о власти  
Для того ее лишь множат,  
Чтоб тому она досталась,  
Кто счастливее их будет?

Во всех повестях народов  
Зрим премены непонятны.  
Сенат римский, гордый, смелый,  
Сонм князей, владык державных  
Пресмыкается и гнусен...  
О, властители вселенной,  
О, цари, цари правдивы!  
Власть, вам данная от неба,  
Есть отрада миллионов,  
Коль вы правите народом,  
Как отцы своим семейством.  
Но Калигулы, Нероны,  
Люты варвары и гнусны,

Суть бичи небес во гное,  
И их память пренесется  
В дальни веки для проклятий  
И для ужаса народам!  
Кай сражен, сражен Хереем,  
Что возмнил восставить паки  
Истукан свободы в Риме.  
И се, кроясь во страхе  
В углу дальном царска дома,  
Клавдий обретен трепещущ.  
«Буди царь!» — вещают войны.  
О, Рим, Рим! кто царь твой ныне?  
Старец дряхлый, но младенец  
Он умом: ум слабый, глупый;  
Человек едва ль, зародыш,  
По названью его родшей.  
Мягкосерд, но что в том пользы?  
Раб жены поносной, срамной,  
Стряшей стыд, раб Мессалины,  
Коей имя в век позорно  
Нарицанием осталось  
Жен презрительных, бесстыдных.  
Он, игралищем став гнусным  
Отпущенников, злодеев,  
Иль Нарцисса, иль Палладья,  
Омывался в крови римлян.  
В Риме тот был жив, здрав, знатен,  
Кто их друг был иль наемник.

Кто с глупейшим из тиранов,  
С Клавдием сравниться может?  
Недовольная упившись  
Мессалина сласти гнусной,  
Пред очами она Клавдья  
Во супружество вступает  
Со возлюбленным ей Сильем.  
Но что пользы в том, что смерти  
Предаст Нарцисс Мессалину?  
Клавдий слышал и трепещет:  
«Я ль еще владыка Рима?»  
Се вопрос тирана слаба.  
Се жена распутна паки

Воцарилась Агриппина;  
Но, боясь конца насильна,  
Ко Локусте прибегает, —  
И отравы отомщает  
Падший Рим кончиной Клавдья.  
Ах, погибли пораженны  
Все останки умов твердых.  
Зри, жена иройска духа  
Осужденному к злой смерти  
Милому рекла супругу,  
Да рукою своей твердой  
Предварит он казнь поносну,  
Но Пет медлит и робеет.  
И се Ария сталь остру  
В грудь свою вонзает смело:  
«Прими, мой Пет любезный,  
Нет, не больно...» Пет, мужаясь,  
Грудь пронзил и пал с супругой.

Но се тот уж воцарился,  
Коего счастливу юность  
Управлял Сенека, Буррий;  
Но который, сняв личину,  
Каждый день своей жизни  
Или каждый шаг свой зверский  
Начертал убивством лютым;  
Тот, чье имя в век осталось  
Всех поноснее и гнусней  
В нарицание тиранам,  
Имя Нерон, зверь венчаный.  
Во неистовых утехах  
Провождая дни и ночи,  
Он в позорищах являлся  
Иль возницей, или гистрий <sup>12</sup>  
В посмеянье был народу,  
Но палач он, всем грозящий.  
Он убийственную руку  
Простирал на всех ближайших;  
Мать, наставники, супруга —  
Всё сраженно упадало  
Под мечем сего тирана,  
Столь мертвить людей умевша;



Насыщался ежедневно  
Или сластию прегнусной,  
Или кровью умовенный,  
Его Рим зрел посягавша  
Во жены Пифагораса,  
И среди затей безумных,  
В кровях плавая гражданских  
И в хмелю утех неистых,  
Он возмнил себе представить  
Пожар, гибель древней Трои,  
И для сей утехи злобной  
Велел Рим возжечь отвсюду...  
Се довольно, мы скончаем  
Сию повесть, где лишь видно  
Иль неистовство, иль зверство.  
Убоясь попасть в руки  
Своей страже вероломной  
Иль сената, погибает  
Смертью, красной для тирана:  
Он мечем сам грудь пронзает,  
И погиб, последня отрасль  
Дому Юлия велика.  
Гальба, Отон и Вителлий,  
Появившись на престоле,  
Смертию своей поносной  
Уступили Веспасьяну,  
Избранному в цари войском,  
Трон, омытый своей кровью.

Некогда ласкатель гнусный  
Он Нарцисса и Нерона,  
Веспасьян явил на троне  
Добродетель; и Рим гибший  
Отдохнул — хоть ненадолго.  
Далек пышности и спеси  
И трудясь во управленьи,  
Воздвигал погибше царство,  
Где чредою скиптр держали  
Злы тираны, равно гнусны,  
Равно злобны, или глупы,  
Или бешены, иль паче  
Расточительны безумно.

Услажденье рода смертных,  
Тит, почто прешел ты скоро?  
Или для того, чтоб знали,  
Что считал ты свое царство  
Излиянным только благом,  
Нарицая днем погибшим,  
Когда счастья не мог сделать  
Никому? Но век твой красен  
Жизнью Плиния старейша...  
Заключенный в недрах утлых  
Огонь в Везувии яряся  
Всклокотал и хлябь разинул,  
Разорвав ее холм высший.  
Огонь, камня, дым и пепел  
Всё летит превыше облак,  
Затмевая день и солнце.  
Там рекой струится лава,  
И всё гибнет, вся окрестность  
Погребенною сокрыта  
В пепле жарком и ниспадшем.  
Геркуланум и Помпея  
Низошли совсем в могилу;  
Бедство, смерть, опустошенье  
Распростерлися далеко.  
Тут, вождаемый алчною  
Сведения и науки,  
Погибает старший Плиний.  
Но ты царствуешь, о сладость  
Римского народа! — Тит, зри,  
Как течет ко всем на помощь;  
Если жизнь кто спас лишь в бедстве,  
Тот блаженствует уж Титом.  
Но, скончав свою жизнь кратку,  
Тот престол оставил Рима  
Иль чудовищу, иль брату.  
Домитьян тиран сей новый,  
Он тиранов всех предшедших  
Злее был и не смягчался  
Николи в своей он злобе,  
Зане робок был, застенчив.  
«И столь гнусно было время, —  
Тацит тако возвещает, —

Ниже молвить, ниже слышать». Рим стал нем, пропало слово; И погибла б даже память, Если б можно было смертным Терять память во молчаньи. Но мучитель робкий слова, Всех в стenanье приводивший, Пал супруги наущеньем. Но и дни сии столь гнусны Красились, имея мужа, Жить родившегося достойным В лучших днях Афин и Спарты. Се Агрикола; с тобою, Домитиан, жил на то лишь, Чтоб ты паче посрамленный Пред потомками явился; Зане истинно и верно, Если сонмы людей славных Могут красить дни счастливы Царя мудра или щедря, То один лишь муж великий, В дни родившийся тирана, Его паче лишь унизит Ярым блеском своей славы. Тогда паки воссияло Солнце теплое для Рима; По чреде там зрели мудрость, Славу, мужество во власти И венчанну добродетель.

Нерва, избранный на царство, Был правитель мудр, но слабый И согбен лет тяготою; Но он дал себе опору И устроил счастье Рима, В сыны взяв себе Траяна. Его смерть была бы в Риме Бедствие, когда б не знали, Что Траян его преемник.

Ожил Рим с царем толкиим; Судия и воин мудрый,

Он имел, что было нужно  
Быть царем. Алкая славы,  
Он свой меч победоносный  
В Дакию простер; воздвигнул  
На Дунае мост тот славный,  
Удивлявший столько древних;  
И оружия славой, блеском  
Ослеплен, понесся в дальню  
Покорение народов.  
Но хотя излишня слава  
Победительные лавры  
Затмевает, хотя жертвы  
Сладострастия неиста  
И возлития обильны  
Хмельну Вакху прикрывают  
Черной тению картину  
Подвигов, равно блестящих,  
Царя в брани или мире:  
Вопреки злоречья колка  
Навсегда Траян пребудет  
Пример светлый всем владыкам.  
И тому дивися больше,  
Что он, разума не красив  
Благолепными цветами  
Иль познаний иль науки,  
Мог царем он быть столь мудрым.  
В том как можно усумниться,  
Когда дни его златые  
Зрели Тацита и Плинья,  
Ювенала и Плутарха.  
Когда Тацит, сей достойный  
Муж дней Рима непорочных,  
Со восторгом мог воскликнуть:  
«Век счастливый наш, где можно  
Мыслить то, что мыслить хочешь,  
И вещать, что ты помыслишь». —  
Ах, сколь трудно, восседая  
Выше всех, и не имея  
Никаких препон в желаньях,  
Усидеть на пышном троне  
Без похмелья и без чаду.  
И тот царь почтен достойно,

Ускользнуть когда возможен  
Обуяния неиста  
Страстей буйных души смертных.

Адриан, на трон вступивший,  
Строил счастье в римском царстве,  
И хотя сравниться может  
В добродетелях Траяну,  
Но надменность и жестокость  
Были в нем души пороки.  
Гнусной страстью к Антиною  
Тлея, в честь ему он строил  
Храмы, грады; но всю гнусность  
Страсти срамной и пороков  
Он прикрыл раченьем к царству,  
Путешествием всегдашним  
В областях пространных Рима.

Не пустое любопытство  
В страны дальны направляло  
Его путь, но цель всегдашня  
Путешествий столько дальных  
Была польза и блаженство  
Градов, областей, народа.  
Устремляя взоры быстры  
В управление подвластных,  
Мститель был законов строгий  
В лице всех, дерзнувших данну  
Власть свою во зло направить.  
Велелепные и пышны  
Грады, зданья он воздвигнул,  
Но не с тягостью народа;  
Зане многие налоги  
Облегчал и уничтожил.  
Хоть достойный сей царь Рима,  
Злой болезнью одержимый,  
Жизнь свою прервать не могши,  
Обратил свою всю лютость  
На казнь, может быть не нужную,  
Многих; но ему простили  
Всё за то, что себе избрал  
Он в преемники на царство

Антонина. Хотя помним  
Слово мудра Фаворина,  
Состязавшась с Адрианом:  
«Нет, кто тридцать легионов, —  
Так мудрец друзьям вещает, —  
Может двигнуть одним словом,  
Ошибаться тот не может».  
Но его дни безмятежны  
Возрастили Адриана  
И учителя во нравах  
Строга, мудра Эпиктита.  
Испытав превратность счастья,  
Он всю мудрость заключает  
В двух словах: «сноси с терпением,  
Будь умерен в наслажденьи».  
Словеса много блаженны,  
От источника исшедши,  
Кажется, излишне строга,  
Но соделавшие счастье  
Рима, дав ему на царство  
Всех владык его изящных.  
Кажется, напрягши мышцы  
Во изящность, вся природа  
Возникала в человеке,  
Когда мысль образовала  
Столь достойну удивленья  
Веков дальных и потомства,  
Мысль изящную Зенона.  
И хотя б другой заслуги  
Мудрование столь чудно  
Не имело, — не оно ли  
Риму в счастье даровало  
Антонина, Марк Аврелья? —

Дни блаженные для Рима  
Уже паки воссияли.  
Се восходит на трон света,  
Коего любезно имя  
Целый век за честь вменяли  
Носить римские владыки;  
Мудрец истинный, украшен  
Добродетели чертами

И порока ни едина.  
Антонин течение жизни  
Посвящал народну благу;  
Гражданин, не царь во граде,  
Се отец благий не титлом,  
Коиm красились венчанны  
И злодеи и юроды,  
Но отец он истым делом.  
Ах, тот мог ли быть превратен,  
Кто несчастьем ужасным  
Почитал, когда бы быть мог  
Ненавидимым во Риме;  
Собственность кто презирая,  
Расточал свое богатство,  
Что наследил, соблюдая  
Он сокровища народны?  
«Нет, Фавстина, — он вещает, —  
Я, владыкою став Рима,  
Собственности всей лишился».  
Он уснул, и Рим восплакал,  
И Антонин мог забвен быть  
Тем лишь, избрал что на царство  
По себе в Рим Марк Аврелья.  
Имя сладостно и славно!  
Се премудрость восседает  
На престоле цела света.  
Но он смертный был. Блаженство  
Рима вянет с Марк Аврельем;  
И столетия с стремленьем  
Протекли за ним уж многи;  
Но на поприще обширном,  
На ристалище вселенной  
Всяка слава и блисташь  
Всех царей, владык прешедших  
Перед ним суть разве слабый  
Блеск светильника, горяща  
В полдень ясный, в свете солнца;  
Перед ним вся лучезарность  
Подвигов в сверканьи славы  
Суть лишь мрак, и тьма, и тени.  
Когда взор наш изумленный  
Обращаем на владыку

На всеильного, который  
Столь смирен был во порфире,  
То во внутренности духа  
Мы таинственно веселье  
Ощущаем, и не можно  
Без сердечна умиленья  
Вспомнить жизнь его премудру.  
Слеза радости иступит,  
Сердце; в радости омывшись,  
Вострепещет, утешаясь.  
Но... смолчим, в душе сокроем,  
Ах, всю скорбь и тяжко чувство,  
Что по сладости во сердце,  
Вспоминая Марк Аврелья,  
Восстает и жмет в нас душу.  
Нет, не жди, чтоб мы дерзнули  
Начертать его течение.  
Все, что скажем, будет слабо  
И сравниться не возможет  
С той чертой предвечна света,  
Чем его живописала  
Всех веков и всех народов  
Образ дивный благодарность.  
Его жизни описанье  
Действо то вливает в душу,  
Что изящнее возникнут  
О себе самих в нас мысли  
И равно изящны мысли  
О превратном смертных роде.

Но надолго ли? — О, участь,  
Участь горька рода смертных;  
Марк Аврелий уж скончался,  
Счастье Рима с ним исчезло,  
И благие помышленья  
О блаженстве рода смертных.  
Се торжественно и тихо,  
Спровождается всех воплем,  
Шествие его кончины  
Отправлялося во Риме;  
Но шаг каждый препинаем  
Был слезами иль восторгом



Всего римского народа:  
«Се наш друг — ах, паче друга,  
Се родитель, се кормилец, —  
Се отец, — се бог всещедрый...»  
Скорбно в слухи ударили  
Словеса сии нельстивы  
Того, кто вменит за тягость  
Все благие помышленья.  
И се во броне одеян,  
Коммод грозно потрясает  
Копьем, и все умолкло.  
Шествие идет в молчаньи.  
Ах, тогда уже познали,  
Что сокрылося во гробе  
Счастье Рима с Марк Аврельем.

---

## МЕЛКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ



ОДА  
К ДРУГУ МОЕМУ

1

Летит, мой друг, крылатый век,  
В бездонну вечность всё валится,  
Уж день сей, час и миг протек,  
И вспять ничто не возвратится  
Никогда.

Краса и молодость увяли,  
Покрылись белизной власы:  
Где ныне сладостны часы,  
Что дух и тело чаровали  
Завсегда?

2

Твой поступь был непреткновен,  
Гордящаяся глава вздымалась;  
В желаньях ты не пречерчен,  
Твоим скорбь взором разведалась,  
Яко прах.

Согбенный лет днесь тяготою,  
Потупил в землю тусклый взор;  
Скопленный дряхлостей сбор  
Едва пренес с своей клюкою  
Один шаг.

Таков всему на свете рок:  
 Не вечно на кусту прельщает  
 Мастистый розовый цветок,  
 И солнце днем лишь просияет,  
 Но не в ночь.

Мольбу напрасно мы возводим,  
 Да прелесть юных добрых лет  
 Калечна старость не женет;  
 Нигде от едкой не уходим  
 Смерти прочь.

Разверстой медной хляби зев,  
 Что смерть вокруг тебя рыгает,  
 Ту с визгом сунув махом в бег,  
 Щадя, в тебя не попадает  
 На сей раз.

Когда на влажистой долине  
 Верхи седые ветр взмутит,  
 Как вал ярясь в корабль стучит —  
 Прецплыл не поглощен в пучине  
 Ты в сей час.

Не мни, чтоб смерть своей косою  
 Тебя в полете миновала;  
 Нет в мире тверди никакой,  
 Против ее чтоб устояла,  
 Как придет.

Оставишь дом, друзей, супругу,  
 Богатства, чести, что стяжал:  
 Увы! последний час настал,  
 Тебя который в ночь упругу  
 Повлечет.

## 6

Кончины узрим все чертог,  
Объят кровавыми струями;  
Пред веком смерть судил нам бог;  
Ее вершится все устами

В мире сем.

Ты мертв; но дом не опустеет,  
Взовет преемник смехи твой;  
Веселой попирашь ногой,  
Не думая, твой прах умеет;

Ни о чем.

## 7

Почто стенати под пятой  
Сует, желаний и заботы?  
Поверь, вперять нам ум весь свой  
В безмерны жизни обороты

Нужды нет.

Спокойным оком я взираю  
На бурны замыслы царей;  
Для пользы кратких, тихих дней,  
Крушась всечасно, не собираю

Златых бед.

## 8

Костисту лапу сокрушим,  
Печаль котору в нас вонзила;  
Мы жало скуки преломим,  
Прошед что в нас с чела до тыла

Душу ест.

Бедру весельем препояшем,  
Исполним радости сосуд,  
Да вслед идет любовь нам тут;  
Богине бодрственно воспляшем

Нежных мест.

\* \* \*

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —  
Я тот же, что и был и буду весь мой век:  
Не скот, не дерево, не раб, но человек!

Дорогу проложить, где не бывало следу,  
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,  
Чувствительным сердцам и истине я в страх  
В острог Илимский еду.

\* \* \*

— Почто, мой друг, почто слеза из глаз катится,  
Почто безвременно печалью дух крушится,  
Ты бедствен не один! Иной среди утех  
Всесчастлив кажется, но знает ли, что смех?  
Улыбка на устах его воссесть не может,  
Змия раскаянья преступно сердце гложет;  
Властитель мира, царь, он носит в сердце ад.

— Мне пользует ли то? лишен друзей и чад,  
Скитаться по лесам, в пустынях осужденный,  
Претящей властью отсюду окруженный,  
На что мне жить, когда мой век стал бесполезен?

— Воспомни прежни дни, когда ты был любезен  
Всем знающим тебя, соотчикам, друзьям,  
Когда во льстящей мгле являлось все очам.  
Когда во власти был веселий на престоле;  
Когда рок следовал твоей, казалось, воле,  
Когда один твой взор счастливых сделать мог.

— Блаженством все сие я почитать не мог.  
Богатство, власть моя лишь зависть умножали;  
В одежде дружества злодеи предстояли;  
Вслед честолюбию забот собранье шло;  
Злодейство правый суд и судию кляло;  
Злоречие, нося бесстрастия личину,  
И непорочнейшим делам моим причину  
Коварну, смрадную старалось приписатьъ  
И добродетели порочный вид придать.  
Благодеянию возмездьем огорченье.

— Среди превратности что ж было в утешенье?

— Душа незлобная и сердце непорочно.

— Скончай же жалобы, поднятые бессрочно.  
Или в пороки впал и гнусность возлюбил,  
Или чувствительность из сердца истребил?

— Душа моя во мне, я тот же, что я был.

— Дела твои с тобой, душа твоя с тобою.  
Престань стенать. Кто мог всеильною рукою  
И сердце любяще и душу нежну дать,  
К утехам может тот тебя опять воззвать.  
А если твоего сна совесть не тревожит  
И память прежних дел печаль твою не множит,  
То верь, что всем бедам уж близок стал конец.  
Закон незыблемый поставил всеотец,  
Чтоб обновление из недр премен рождалось,  
Чтоб всё крушением в природе обновлялось,  
Чтоб смерть давала жизнь и жизнь давала смерть;  
То шествие судьбы возможно ли претерть?  
На восходящую возри теперь денницу,  
На лучезарную ее зри колесницу;  
Из недр густейшей мглы, смертообразна сна,  
Возобновленну жизнь земле несет она.

— Се живоносное светило возблистало  
И утренни мечты от глаз моих прогнало,  
Приятный тихий сон телесность обновил,  
И в сердце паки я надежду ощутил.

— Подобно ей печаль в веселье претворится,  
Оружеством радости вся горесть низложится,  
На крыльях радости умчится скорбь твоя,  
Мужайся и будь тверд, с тобой пребуду я...

## ЖУРАВЛИ

*Басня*

Осень листья оципала с дерев,  
Иней седой на траву упадал,  
Стадо тогда журавлей собралось,  
Чтоб прелететь в теплу, дальну страну,  
За море жить. Один бедный журавль,

Нем и уныл, пригорюнясь сидел:  
Ногу стрелой перешиб ему ловчий.  
Радостный крик журавлей он не множит;  
Бодрые братья смеялись над ним.  
«Я не виновен, что я охромел,  
Нашему царству как вы помогал.  
Вам надо мной хохотать бы не должно,  
Ни презирать, видя бедство мое.  
Как мне лететь? Отымает возможность,  
Мужество, силу претяжка болезнь.  
Волны несчастному будут мне гробом.  
Ах, для чего не пресек моей жизни  
Ярый ловец!» — Между тем веет ветер,  
Стадо взвилось и скорым полетом  
За море вмиг прелететь поспешает.  
Бедный больной позади остается;  
Часто на листьях, плывущих в водах,  
Он отдыхает, горюет и стонет;  
Грусть и болезнь в нем все сердце снедают.  
Мешкав он много, летя помаленьку,  
Землю узрел, вождеденну душею,  
Ясное небо и тихую пристань.  
Тут всемогущий болезнь излечил,  
Дал жить в блаженстве в награду трудов;  
Многи ж насмешники в воду упали.

---

О, вы, стелющие под тяжкою рукою

Злосчастия и бед!  
Исполнены тоскою,  
Клянете жизнь и свет;

Любители добра, ужель надежды нет?  
Мужайтесь, бодрствуйте и смело протекайте  
Сей краткой жизни путь. На он пол поспешайте:  
Там лучшая страна, там мир вовек живет,  
Там юность вечная, блаженство там вас ждет.

#### ОСМНАДЦАТОЕ СТОЛЕТИЕ

Урна времен часы изливает каплям подобно:

Капли в ручьи собрались; в реки ручьи возросли,  
И на дальнем берегу изливают пенные волны

Вечности в море; а там нет ни предел, ни берегов;  
 Не возвышался там остров, ни дна там лот не находит;  
 Веки в него протекли, в нем исчезает их след.  
 Но знаменито веки своею кровавой струею  
 С звуками грома течет наше столетье туда;  
 И сокрушил, наконец, корабль, надежды несущий,  
 Пристани близок уже, в водоворот поглощен,  
 Счастье и добродетель и вольность пожрал омут ярый,  
 Зри, всплывают еще страшны обломки в струе.  
 Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро,  
 Будешь проклято вовек, ввек удивлением всех.  
 Крови — в твоей колыбели, припевание — громы  
сраженьев;

Ах, омоченно в крови ты ниспадаешь во гроб;  
 Но зри, две вознеслись скалы во среде струй кровавых:  
 Екатерина и Петр, вечности чада! и росс.  
 Мрачные тени создади, впреди их солнце;  
 Блеск лучезарный его твердой скалой отражен.  
 Там многотысячнолетны растаяли льды заблужденья,  
 Но зри, стоит еще там ледяной хребет, теремьясь;  
 Так и они — се воля господня — исчезнут растая,  
 Да человечество в хлябь льдяну, трясясь, не падет.  
 О, незабвенно столетие! радостным смертным даруешь  
 Истину, вольность и свет, ясно созвездье вовек; —  
 Мудрости смертных столпы разрушив, ты их паки создало;  
 Царства погибли тобой, как раздробленный корабль:  
 Царства ты виждешь; они расцветут и низринутся паки;  
 Смертный что виждет, все то рушится, будет все прах.  
 Но ты творец было мысли; они ж суть творения бога;  
 И не погибнут они, хотя бы гибла земля;  
 Смело счастливой рукою завесу творенья возвев,  
 Скрыту природу сглядев в дальном таилище дел,  
 Из океана возникли новы народы и земли,  
 Ноци глубокой из недр новы металлы тобой.  
 Ты исчисляешь светила, как пастырь играющих агнцов;  
 Нитью вождения вспять ты призываешь комет;  
 Луч рассечен тобой света; ты новые солнца воззвало;  
 Новы луны изо тьмы дальней воззвало пред нас;  
 Ты побудило упряму природу к рожденью чад новых,  
 Даже летучи пары ты заключило в ярем;  
 Молнию небесну сманило во узы железны на землю  
 И на воздушных крылах смертных на небо взнесло.



Мужественно сокрушило железны ты двери призраков,  
Идолов свергло к земле, что мир на земле почитал.  
Узы прервало, что дух наш тягчили, да к истинам новым  
Молнией крылатой парит, глубже и глубже стремясь.  
Мощно, велико ты было, столетье! дух веков прежних  
Пал пред твоим олтarem ниц и безмолвен, дивясь;  
Но твоих сил недостало к изгнанию всех духов ада,  
Брызжущих пламенный яд чрез многотысящный век,  
Их недостало на бешенство, ярость, железной ногою  
Что подавляют цветы счастья и мудрости в нас.  
Кровью на жертвеннике еще хищности смерти багрятся,  
И человек претворен в люта тигра еще.  
Пламенный браней, зри, мычется там на горах и на нивах,  
В мирных долинах, в лугах, мычется в бурной волне.  
Зри их сопутников черных! — ужасны!.. идут — ах! идут,  
зри,  
(Яко ночные мечты) лютои, буйства, глад, мор! —  
Иль невозвратен навек мир, дающий блаженство народам?  
Или погрязнет еще, ах, человечество глубже? —  
Из недр гроба столетия глас утешенья изыде:  
Срини отчаяние! смертный, надейся, бог жив.  
Кто духу бурь повелел истязати бунтующи волны,  
Времени держит еще цепь тот всеильной рукой:  
Смертных дух бурь не развеет, зане суть лишь твари  
дневные,  
Солнца на восходе цветут, блекнут с закатом они;  
Вечна едина премудрость. Победа ее увенчает,  
После тревог воззовет, смертных достойной...  
Утро столетия нова кроваво еще нам явилось,  
Но уже гонит свет дня ноци угрюмую тьму;  
Выше и выше лети ко солнцу, орел ты российский,  
Свет ты на землю снеси, молнии смертельны оставь.  
Мир, суд правды, истина, вольность лиются от трона,  
Екатериной, Петром воздвигнут, чтоб счастлив был  
росс.  
Петр и ты, Екатерина! дух ваш живет еще с нами.  
Зрите на новый вы век, зрите Россию свою.  
Гений хранитель всегда Александр будь у нас...

---

ПИСЬМА А. Н. РАДИЩЕВА  
К А. Р. ВОРОНЦОВУ



1

Милостивый мой государь, граф Александр Романович.

**В**сякая моя строка к вашему сиятельству не должна была заключать в себе ничего иного, как изъявление чувствительнейшей благодарности. С получения милостивого в Новгороде указа <sup>1</sup>, снявшего с меня оковы, благодеяния ваши не престают меня преследовать, и если бы не несносная сердцу моему печаль разлучения моего от детей моих не была толико отяготительна, то верьте, что опричь сего мне кажется, что я нахожусь в обыкновенном каком-либо путешествии. Вот чем я обязан вашему сиятельству. Сердце чувствует таковое благодеяние во всем его пространстве. Простите, если речь моя не обильна на изъявление моего чувствования. В доказательство, что снисходительное обхождение начальников губерний, через которые я проезжал, имело благое действие на мою душу, я скажу вашему сиятельству, что разум мой может иногда занимать упражнением. Когда я стою на ночлеге, то могу читать; когда еду, стараюсь замечать положение долин, буераков, гор, рек; учусь в самом деле тому, что иногда читал о истории земли; песок, глина, камень, все привлекает мое внимание. Не поверите, может быть, что я, с восхищением переехав Оку, вскарабкался на крутую гору и увидел в расселинах оной следы морских раковин!

Не почитите, ваше сиятельство, сие каким-либо хвастовством; я выхватить стараюсь, почасту бесплодно, из челюстей скорби спокойную хотя минуту, и если не могу утешаться чем-либо существенным, то стараюсь заняться безделкою.

Но что может рассудок над чувствованием? Я по себе теперь вижу, что разум идет чувствованиям вслед, или ничто иное есть, как они: по системе гельвециевой, вертится он около одной мысли, и все мое умствование, вся философия исчезают, когда воспоминаю о моих детях.

Призрите их, милостивый государь; если милости ваши обращались и ныне еще не престают изливаться на несчастного их отца, не лишите их таковых же, наставьте, накажите. Я чувствую, что, лишась своего отца, они лишаются и многого чего, о чем бы и мыслить я не мог. Избавьте их худого примера, который на будущее их житье может дурное иметь действие. Большие мои дети, если ваше сиятельство изволите их спросить наедине, могут уже сказать, что сообщество с братом моим Петром Николаичем для них вредно. Я пред чувствительною душою изливаю мою печаль и для того не убоялся. Еще возобновив мою просьбу к вашему сиятельству о неоставлении той, которая заступает при моих детях место матери <sup>2</sup>, имею честь быть с истинным и глубочайшим почтением и чувствительнейшею благодарностью вашего сиятельства, милостивого государя моего, покорнейший слуга

*Александр Радищев.*

Нижний, Октября 20 1790 года.

Р. С. Разрешите мне обратиться с нескромной просьбой и просить ваше сиятельство прислать мне термометр и ртутный барометр, первый для метеорологических наблюдений, второй для измерения высот. Утверждают, что Иркутск расположен на таком возвышенном месте, что воздушный столб не окажет давления на обыкновенный барометр и последний не будет функционировать. Мне было бы интересно узнать, на какой барометрической высоте находится уровень воды в Финском заливе. Относительно моего будущего образа жизни, возможно, я строю воздушные замки, разве я знаю, что со мной может случиться!

Письмо вашего сиятельства через его превосходительство Алексея Андреевича<sup>3</sup> и сделанные по приказанию вашему для меня вещи и остальные деньги от Ивана Ивановича Панаева я получил. Если в долговременное мое пребывание в команде вашего сиятельства известным сделалось вам мое сердце, то вы не усумнитесь в присной и живо существующей в нем признательности за все благодеяния ваши ко мне. Если бы и на меня еще не простирался, но коснулся бы только моего несчастного семейства, то алтарь в душе моей тебе воздвигнут будет, и восходить непрестанно наичистейшая жертва благодарности.

Пенять, ни сетовать мне не на кого совершенно, как то ваше сиятельство изволите примечать справедливо. Я сам себе устроил бедствие и стараюсь сносить казнь мою с терпением; но часто оно бывает недостаточно. Вооружуся надеждою и рассудком, но как скучно вспомнить, что я живу в разлучении от детей моих! Рассудка уже более во мне нет, и едва надежда не отлетает. Если кто знает, что действительным блаженством я полагал быть с ними, тот может себе вообразить, что скорбь моя должна быть беспредельна.

Вашему сиятельству угодно знать о моем положении относительно моего здоровья, то до приезда моего в Москву оно гораздо было хуже, нежели казалось. Выехав из Нижнего, я было занемог совершенно, но помощью лекарства, которым я запасся в Москве, я до приезда моего в Казань получил облегчение. Наступившая зима и морозы укрепили слабое мое телосложение, и я теперь, слава богу, здоров.

Касательно до душевного моего расположения, то я солгу, если скажу, что я покоен. Душа моя болит и сердце страдает. Если бы не блистал луч надежды, хотя в отдаленности, если бы я не находил толикое соболезнование и человеколюбие от начальства в проезд мой через разные губернии, то признаюсь, что лишился бы, может быть, и совсем рассудка.

Разум мой старался упражняться, сколько возможно, то чтением, то примечаниями и наблюдениями естественности, и иногда удается мне разгонять черноту мыслей. Благоприятство отличное, которым я здесь пользуюсь, еще болсе скуку мою разгоняет. Уверенный, что семейство мое будет всегда под вашею защитою, уверенный, что и я забыт вами

не буду, если могу только на месте моего пребывания найти всегдашнее упражнение, которое бы занимало не только силы разума, но и тела, то надеяться могу, что, сделав к спокойствию первый шаг, время, великий целитель всех человеческих скорбей, совершит мое начинание, а тем скорее, если могу иметь утешительное удовольствие видеть на месте моего пребывания кого-либо из моего семейства.

Извините, ваше сиятельство, долготу моего письма. Изливаю скорбь свою пред сердцем чувствительным; душа от оной находит облегчение, и тем величайшее, что бдительное ваше благодеяние, призирая меня в отдаленности, подкрепляет и малополучное и бедственное мое семейство. Бог вам даст за благое; молитва моя к нему о вас может единственное от меня быть признание.

22 ноября 1790 года. Пермь.

### 3

Получив в горести моей великую отраду приездом моих друзей <sup>4</sup>, я чувствую, что существо мое обновляется. Разум, в недействие почти приведенный, испытывает паки свои силы, и сердце, обыкшее повторительною печалью содрогаться ежечасно, трепещет еще, но от радости. О ты, виновник моего утешения! Прими паки слезу благодарности и не поскучай, когда повторительное слово изъявит тебе только то, что душа чувствует; изъявит, но слабо. Сердце обыкло во мне предварять рассудок. Нередко текут слезы, а язык нем.

Время моего здесь пребывания я, по возможности, стараюсь употребить себе в пользу приобретением беспристрастных о адешной стороне сведений. Если я столь счастлив могу назваться, что в глазах вашего сиятельства я почитаюсь зрителем без очков, то я и ныне тщуся все видеть обнаруженно, ни в микроскоп, ни в зрительную трубу. Но, признаюсь, трудно уловлять истину, когда к достижению оной ведут одни только разногласные повествования, изречаемые обыкновенно пристрастием, огорчением и всеми другими страстями, сердце человеческое терзающими.

Издавна не правилось мне изречение, когда кто говорил: *так водится в Сибири; то или другое имеют в Сибири* — и все общие изречения о осьмидесячном пространстве верст; теперь нахожу сие вовсе нелепым. Ибо как можно одинаково говорить о земле, которой физическое положение пред-

ставляет толико разнообразностей, которой и нынешнее положение толико же по местам между собою различествует, колико различны были перемены, нынешнее состояние ее основавшие; где и политическое положение, и нравственность жителей следуют неминуемо положению естественности; где подле дикости живет просвещение, подле зверства — мягкосердие; где черты, пороки от ошибок и злость от остроумия отделяющие, теряются в неизмеримом земель пространстве и службе за 30 градусов?

Уральские горы столь существенно различествуют в своей естественности от степи Барабинской, сколько жители оных от жителей степных. Крестьянин заводской есть совсем другой человек, нежели земледелец Тарской и Ишимской округи, и если Сургут, Туруханск изобилуют соболями, то почто дивиться, что в Ялуторовске их нет? А обыкновенно говорят: соболи рождаются в Сибири. Если березовский житель кормится от табуна оленей, а томский уездный крестьянин может только успевать в земледелии, то хотя они оба сибиряки, однако же во многих вещах они между собою толико же различествуют, как англичанин от француза, *proportion gardée* <sup>5</sup>.

Перед глазами моими на стене прибита генеральная карта России, в коей Сибирь занимает почти  $\frac{3}{4}$ . Хорошо знать политическое разделение государства; но если бы весьма учебно было в Великой России сделать новое географическое разделение, следуя в том чертам, природою между народами назначенным, гораздо бы еще учебнее <sup>6</sup> и любопытнее было, если бы Сибирь разделена была (на карте, разумеется) на округи, естественностью означенные. Тогда бы из двух губерний вышла иногда одна, а из одной пять или шесть. Но к сочинению таковой карты не исправниково искусство нужно, но головы и глаза Палласа, Георги, Лепехина <sup>7</sup>, да без очков, и внимания не на одни цветки и травы <sup>8</sup>.

Город здешний или, лучше сказать, остатки погоревшего Тобольска стоят частью на прекрасном и здоровом, частью на выгодном, но нехорошем и вредном для здоровья месте. Часть, построенная на горе, возвышается над другой частью города по крайней мере на 20 сажен. Верхняя часть города стоит над поверхностью Иртыша 26 сажен, когда нижняя часть разлитием одного иногда затопляется. Но близость воды и приистекающие от того в домашнем быту

удобности толико превешивают выгоды здорового воздуха во мнении здешних жителей, что дом, стоящий строителю 1000 руб. под горою, продается за 2000 р., а построенный на горе за 2000 р. — за 1000 р. не скоро найдет купца.

Говоря о построении города, не могу не рассказать вашему сиятельству то, что слышал о бывшем здесь пожаре, который истребил лучшие  $\frac{4}{5}$  частей города. Те, которые огнем лишились своих домов, лишились по большей части своего имения. Всех больше потерпел здешний губернатор. Счастливым себя почитал он тем, что осталася в доме его овчинная шуба, в которую кутали трех его детей при случившейся тогда холодной погоде. Но обстоятельства, тронувшего меня до слез, пропустить не могу. На другой день по пожаре в городе большая часть людей не только бедных, но посредственных, не имели хлеба. Народ здешний, хотя не столько, как иркутский, но етоль же, как и в столицах, шаткий, скоро бы вышел из терпения. Но скоро увидели со всех сторон водою и сухим путем привозимые печеные хлебы, которые сельские жители голодным и неимущим посылали горожанам безденежно; и целую неделю ближайшие селения кормили город безденежно. Сия черта существенно означает доброту души сибирских многих округ поселян. Без внутреннего удовольствия сего слышать не можно. Но если сельские жители тоλικое соблезнование оказали к страждущим горожанам, о городском сего я не слышал ни об одном. Если разум в городе острится, то сердце ослабевает.

Говоря о городе и деревнях, не могу не упомянуть вашему сиятельству об общем или почти общем желании возобновления китайского торга <sup>9</sup>. Пользы, от него проистекающие, велики, согласен. Но как я часто раскольник бывал во многих мнениях, то и в сем случае мне вред от пресечения торга с Китаем не столь кажется повсеместным. Думаю, что есть и некоторая полезность. Но мысли мои о сем еще не зрелы, и я их не осмеливаюсь предложить вашему сиятельству.

Сего 10 марта окончалась славная во всей Сибири Ирбитская ярманка. Торг, или бывшая на ней мена, была в накладе сибирских купцов. Особливо много те потеряли, которые торговали соболями, да и вся мягкая рухлядь была в низкой цене, разумея в соразмерности закупной цены на

месте. Многие иностранные товары здесь не дороже московского. Сахар покупали 15 руб. пуд; шелковые и шерстяные товары умеренной цены, вино изрядное посредственной дороговизны. Но водка французская продается от 40 до 60 р. анкерок <sup>10</sup>; чай по 5 и 7 р. Если иногда малое количество товара делает его дороговизну, то нередко и больший одного расход держит его в высокой цене. Когда придешь в гости к сибиряку, то без 6 и 8 чашек чаю не выедешь, а без пуншу здесь дружеской нет беседы.

Как здесь, так и обыкновение есть на Ирбитской ярманке, верить всем почти, не зная иногда человека. Алчность прибытка, сопряженная с простодушием, могут быть тому причиною. Сие на ярманке произвело один искусный обман, который, как то должно, обратился во вред обманщика. Некто Дебональ назывался графом, набрав товаров, уехал из города. Имя его записано было у купцов. Как скоро его не увидели, то стали искать и нашли его уже за 200 верст от города. Нередко повсюду кафтан бросал пыли в глаза: чему дивиться, что и в Сибири тож.

Но я примечаю, что я уже превысил пределы вашего сиятельства терпения, и для того, оканчивая, емь и пр.

Тобольск, 15 марта 1791 года.

Елисавета Васильевна и маленькие мои свидетельствуют вашему сиятельству свое почтение.

#### 4

Милостивый государь. В ожидании наступления теплой погоды, которая даст возможность продолжать наше путешествие и прибыть на место назначения, я стараюсь употребить свое время несколько иначе, чем я это делал по своем приезде в этот город. Тяжелое состояние, в каком я находился и которое ваше сиятельство может представить себе из моих писем, не позволяло мне чем-либо заниматься; несколько придя в себя, благодаря приезду моих друзей, я чувствую, что даже в несчастье можно испытывать счастливые минуты. Этими чувствами я обязан вашему сиятельству и где бы я ни находился, я оказываюсь окруженным вашими благодеяниями.

Утро (и это ежедневно) я посвящаю своим детям, послеобеденное время, вечера — чтению. Могу сообщить вашему



сиятельству, что я прочел здесь новые книги: «Путешествие Лессепа»<sup>11</sup>, которое действительно представляет работу человека, путешествующего в качестве курьера; «Мемуары Вагнера»<sup>12</sup>, которые часто находили ошибочными; мне кажется, что «Сорванные маски» написаны не действующим лицом пьесы, как он называет себя, но, что имя и некоторые факты являются вымышленными. «Жизнь де Верженна»<sup>13</sup> Майера, возможно, достоверна, но перед напечатанием ее прочел Людовик XVI. Эта книга существенно отличается от «Портрета» этого знаменитого человека, который я прочел год тому назад. Номера энциклопедического журнала за 1789 г., которые мне одолжили, сообщают мне сведения о французской литературе. Вместе с сестрой<sup>14</sup> я прочел некоторые произведения Вольтера. Под руку попался «Задиг или Судьба»<sup>15</sup>. «Ах, — сказал я, — каждый имеет свою судьбу». Затем — «Кандид». Панглос<sup>16</sup> говорил, что мы живем в лучшем из возможных миров. Но этот славный философ, после того, как его повесили, был выкуплен с каторги. Я подумало о превратностях этого мира. Мужество, терпение!.. Прекрасный девиз! Я бы желал только, чтобы это мне когда-нибудь доставило счастье увидеть человека, которому я обязан тем, что он вдохнул в меня жизнь.

Моя сестра болеет в течение десяти дней, и в связи с этим я должен поблагодарить ваше сиятельство за посланные вами мне лекарства. Сестра шлет вам поклон; она вспоминает вас с радостью и признательностью. Но можно ли без умиления думать о том, кто дает жизнь. Если наше чувство пробуждает в нас представление о существе, создавшем нас, и заставляет благословлять его, то не должно ли оно также, пробуждая нашу благодарность, благословлять также того, кто дал нам возможность испытать минуты счастья? С этими чувствами имею честь и т. д.

Тобольск, 5 апреля 1791 года.

## 5

Письмо вашего сиятельства через здешнего вице-губернатора Ивана Осиповича я получил и с чувствительностью приемлю участие, которое оказывать изволите о моей болезни. Я в равном нахожусь положении, как и прежде; кашель мой хотя меньше, но не проходит. За холодную погоду

здесь было тепла 21 градус, как то я вашему сиятельству имел честь доносить; сего же дня опять мерзнет. Но со всем тем погода здоровая, ибо частые ветры разгоняют влажность и туманы, которые здесь без того были бы часты. Реки здешние начинают наполняться водою, и разлитие их последует в половине сего месяца и продолжится почти до половины июня, чем дороги делаются здесь затруднительны, нередко и опасны. По стечению же вод нигде, сказывают, дороги таковы не бывают, как в Сибири, — ровны, гладки и безопасны. До прошедшего года неизвестно было, чтобы произошел по дороге разбой. В прошлом году разбита почта с деньгами. Говоря о деньгах, вашему сиятельству угодно было знать, довольно ли в Сибири медных денег. В Казани на пятирублевую ассигнацию трудно сыскать медных денег; напротив того, уже в Перми на сторублевую дают медь охотно. Несомненно, чтобы нашлись предприимчивые люди, которые могли бы из Перми зимою и летом по Каме возить деньги для промену; но строгое смотрение в Казани, дабы не брали ажио <sup>17</sup>, много тому препятствует. Здесь не только нет в медных деньгах недостатка, но на мелкие ассигнации дают промен. Что меня однакоже удивляет, что здесь много обыкновенных медных денег; следственно, и изобилие оных происходит не от того, что здесь особая монета, но от того, что часть денег, в Екатеринбурге вытискаемых, обращается в Сибирь. Но сколько мог приметить, то здесь денег больше старого тиснения, а в Перми нового.

Хотя я вашему сиятельству и писал, что камней здесь нет, однако видел дикий камень, который ломают за 15 верст отсюда. Как мне без повреждения здоровья моего опасности туда съездить будет можно, то ону осмотрю.

Из полученного мною вашего сиятельства письма из Иркутска я усматриваю, что не преставая ко мне ваши благодеяния, вы изволили для меня еще переслать 500 рублей. Чем могу я вам за то воздать? Вы мне сохранили остатки томной жизни, и вы еще стараетесь, чтоб она мне была не в тягость! Верьте, что если бы и отъяли от меня благодетельную вашу руку, то не меньше я о вас напоминать буду со благоговением. С таковыми чувствованиями семья моя и я есмь и будем, в глубочайшем почтении имеюся и пр.

Тобольск, мая 2 дня. 1791 года.

Р. С. Как мне благодарить вас, ваше сиятельство за газеты; вы прислали мне газеты различного рода, и хотя в них часто говорится об одном и том же, но в каждой по-своему, и очень часто в одной встречаются анекдоты, тогда как в другой их нет. Итак, я умоляю ваше сиятельство не отказать мне в этой милости и продолжать присылать все газеты, которые вы начали мне посылать, потому что я думаю, что после того как вы прочли газету, она вам больше не понадобится. «Меркурий» доставил мне развлечение, и «Энциклопедический журнал»<sup>18</sup> до октября 1790 г., который я достал здесь, не может не нравиться своим разнообразием. Если большая часть журналов предназначена лишь для кратковременного существования, они во всяком случае представляют род хронологической картины (если можно так выразиться) состояния литературы у той или другой нации, и не только литературы, но и картину, по правде, часто отмеченную общим духом нации и ее прогрессивного или ретроградного движения в различных отраслях человеческого знания. И если сопоставить и сравнить эти картины духа различных народов, то с каким удовольствием можно увидеть как конкуренты по *гению* как бы вступают в борьбу и, удваивая силу и страсть соревнования, догоняют и обгоняют друг друга; в других случаях они мелют вздор и теряются в неясных рассуждениях, думая, что они приближаются к цели. Именно здесь можно увидеть одеяние гения различных народов, его большую или меньшую смелость и различные препятствия, которые часто ставятся быстрому бегу этого неукротимого скакового коня.

Следует признаться, что чтение периодической печати несколько скучно из-за большого количества сообщений о сочинениях и фактах, относящихся к французским делам. Одна из этих брошюр, о которой упоминает гамбургский журналист, замечательна своим заглавием. Вот оно: «Отец Дюшень отчаянный патриот». Это чрезвычайно смешно, но персонажи часто заслуживают этого. Шутки «*Courrier de Londres*» в английском памфлете, озаглавленном «*Times*», или «*Время*», хотя несколько отдадут плумпуддингом, но довольно меткие. В нем говорится, что Национальное собрание собирается издать декрет о том, что следует впредь называть левую руку правой, потому что сердце помещается с левой стороны от легких, и не подобает называть левой сторону, где находится благородная часть человеческого тела. Тем

не менее встречаются хорошие работы. Французы больше всего занимаются вопросами политики и законодательства. Работа Деброс «О способе упрощать восприятие и исчисление», насколько можно судить по отрывку, представляет ясный метод и выделяет объекты, на которые следует обращать внимание. «Политическое положение Франции» Пейссонеля, работа, которую я прочел еще в Петербурге, хорошо написана человеком, знающим свое дело. Но поскольку политическое положение государства изменяется почти с каждым правлением, то этим работам предстоит через несколько лет только заполнять библиотечные полки.

«Библиотека общественного человека»<sup>19</sup>, хотя и является периодическим изданием, отличается выбором содержания, и одно имя Кондорсе уже является апробацией работы. Признаюсь, что я хотел бы прочесть ее, так же как его комментарии на книгу англичанина Смита<sup>20</sup>.

В 1790 г. появились частные мемуары двух знаменитых людей — герцога Ришелье и герцога Шуазеля. Когда встречаешь в истории такой персонаж, как герцог Ришелье, то возникает вопрос, почему такой ничтожный человек так знаменит? Причину этого нетрудно понять, но можно спросить, каким образом герцог Ришелье может делать вещи, которые кажутся великими? В Афинах Ришелье был бы вторым Алкивиадом, во Франции он попал в Бастилию и был маршалом. «Мемуары одного Ферьер де Совбеф»<sup>21</sup> могут представлять интерес, потому что в них говорится о турках. Он находился при армии великого визиря в 1788 г.

Видя объявление «Всеобщей галереи великих людей», мне пришла в голову мысль о вашей коллекции портретов, которая находится в Мурино<sup>22</sup>. Мне кажется, что вы когда-то также считали, что ее можно гравировать. Во главе этой коллекции следовало бы поместить ваш портрет. И если бы я должен был сделать надпись, то я написал бы: «Редкий начальник»... и позвольте мне думать все то, что я не решился бы написать здесь, чтобы не оскорбить вашу деликатность. Это тот, кто, находясь в одной части земного полушария, стремится дать жизнь несчастной семье, находящейся в другой части. Ах, сударь, поверьте, что это не лесть.

Если бы я не опасался показаться назойливым вашему сиятельству, то я попросил бы держать меня в курсе литературы на тех языках, на которых я читаю. В Петербурге у меня был немецкий журнал из Берлина «Berlinische

Monatsschrift» и каталоги ярмарок «Messcatalog», на английском языке — английский журнал, который у меня есть только за первый год; на французском — «Энциклопедический журнал», на русском — я не знаю.

Благодаря рекомендациям вашего сиятельства, я пользуюсь здесь очень хорошим приемом со стороны губернатора и вице-губернатора. Поверьте, что я буду стараться быть всегда достойным вашей рекомендации, и если во времена благоденствия я стремился заслужить единственно ваше одобрение, то вы легко поймете, что, находясь в тяжелом положении, я не хотел бы потерять вашу благосклонность.

Если курьер, который отвезет это письмо, скоро отправится обратно, то окажите мне честь ответом, который довольно быстро сможет дойти до меня.

## 6

Милостивый государь. Когда это письмо отправится из Тобольска, я уже буду на пути в Иркутск. Откровенно признаюсь вам, что я не могу избежать чувства грусти, когда думаю об обширных пространствах, в которые я собираюсь углубиться. Причины, вызывающие это чувство, очень сложны, и я наскучил бы вашему сиятельству, если бы стал их анализировать. Но почему бы не представить себя в качестве путешественника, который, удовлетворив одновременно две излюбленных страсти — любознательность и любовь к славе, ступает твердой ногой на незнакомые тропинки, углубляется в непроходимые леса, переходит через пропасти, поднимается на ледники и, достигнув конца своих предприятий, созерцает удовлетворенным оком перенесенные им труды и усталость? Почему не испытываю я подобного чувства? Я принадлежу к категории людей, которую Стерн называет *«путешественниками поневоле»*; польза не является целью моего путешествия, и эта мысль лишает всякого стимула, какой могла бы возбудить во мне любознательность. Но, стремясь не быть докучливым, я все же могу наскучить вашему сиятельству; итак, я прекращаю свои сетования.

Какой богатый край эта Сибирь, какой могучий край! Еще потребуются несколько столетий; но когда он станет населенным, ему предстоит сыграть важную роль в летописях мира. Когда непреодолимая сила, когда неотразимая при-

чина сообщит благотворную деятельность оцепеневшим народам этих мест, то мы еще увидим, как потомки товарищей Ермака будут искать и прокладывать путь через считающиеся непроходимыми льды Северного океана и, установив таким образом непосредственную связь Сибири с Европой, выведут необъятное земледелие этой страны из состояния апатии, в котором оно находится. Ибо, согласно сведениям, которые я имею относительно устья Оби, относительно залива, который русские называют Карским морем, относительно пролива у острова Вайгач, в этих местах легко проложить короткий путь, свободный от льдов. Если бы мне пришлось влачить свое существование в этой губернии, то я охотно предложил бы свои услуги для того, чтобы найти этот проход, несмотря на весь риск, обычно связанный с предприятиями такого рода.

Если представится случай до моего прибытия в Иркутск написать вашему сиятельству, то я не премину выполнить этот долг, выполняя тем самым ваши приказания и удовлетворяя чувство, дорогое моему сердцу, которое состоит в том, чтобы непрестанно благодарить того, кто всегда помнит, что я был кем-то. Соблаговолите продолжать ваши ко мне милости и будьте уверены, что я сохраню на всю свою жизнь самое глубокое уважение и нерушимую привязанность, и т. д.

24 июля 1791 года.

Тобольск.

## 7

Милостивый государь.

У меня остается еще достаточно времени до отъезда курьера, чтобы обратиться еще с несколькими строками к вашему сиятельству, если только это не причинит вам скуки.

Одним из важных моментов в состоянии края является (нет надобности приводить доказательства, так как вашему сиятельству это известно лучше, чем мне) образование, будь то государственное или частное. Я не буду говорить о состоянии образования во всей губернии (я недостаточно осведомлен об этом), ни об образовании сельского жителя (это достаточно известно), но о том образовании, которое юношество получает в Тобольске. Пути довольно разнообразны и вместе с некоторыми поправками, какие разумные начальники легко могли бы внести, этих путей было бы больше чем

достаточно. Здесь имеется народная школа, и, к моему большому удивлению, я нашел здесь учителей достаточно хорошо образованных для данного места, в особенности одного молодого человека, который мог бы достичь больших успехов, если бы у него был руководитель и если бы у него была возможность питать свой ум чтением. Он мог бы иметь и то и другое, но не при этих особых условиях. Здесь есть семинария, где обучают так, как это делается в таких школах. Я не знаю, понимают ли ученики латынь, но я хорошо знаю, что они поют латинские гимны. Из этих учеников делают священников и диаконов. Кроме того, имеется гарнизонная школа, в которой преподают, как и в других местах, чтение, письмо и арифметику. Эти ученики становятся солдатами, и затем обычно ротными унтер-офицерами, которые обязаны знать арифметику и уметь читать и писать. Кроме того, некоторые несчастные люди служат у частных лиц в качестве гувернеров при детях.

Народные школы существуют на общих основаниях и, как известно вашему сиятельству, управляются согласно общим принципам. Чего им здесь нехватает, так это хорошего распорядителя. Но здешний купец далек от того, чтобы понимать пользу этих школ. Здесь еще много таких купцов, которые считают, что если их дети будут учиться читать не по часовнику, то это нарушит предписания религии. Этих школ недостаточно для населения в 10—12 тысяч человек. Гарнизонные школы, самое большее, дают лишь цифиркиных, а семинарии часто дают кутейкиных<sup>23</sup>. Если бы объединить эти три вида школ и если бы для подготовки священников брали без различия из всех классов граждан (почему сын солдата не мог бы быть священником, если сын священника становится солдатом?), то мы часто имели бы хороших священников. Но распределение по классам часто напоминает по своим результатам монополию. Касты индусов представляют у одного и того же народа и самое отвратительное невежество и умозрительную философию.

Люди, претендующие на знание человеческого сердца, эти люди, которых можно назвать путешественниками в страну чудес, говорят нам, что чем больше человек имеет, тем больше он хочет иметь. Скупой, сидящий на горе мешков, наполненных дукатами, хочет видеть перед своими глазами другой мешок, хотя бы только для того, чтобы наслаждаться его видом; честолюбец, подобный Александру,

останавливается только перед *пес plus ultra* <sup>24</sup>. Утверждают даже, что иначе и не может быть, потому что человеку свойственно желать, и человек без желаний был бы всего навсего автоматом, как говорил (если я не ошибаюсь) недоброй памяти Гельвеций. Я человек, и я склоняю выю перед общим правилом. Чем больше ваше сиятельство посылаете мне книг, тем более я становлюсь бесстыдным и, рискуя казаться таким, я попрошу вас прислать мне еще одну книгу. Это «Жизнь Базедова» <sup>25</sup>, которая только что вышла в Гамбурге на немецком языке. Если жизнь неизвестного частного лица, будучи хорошо описана, может найти читателей, если Гросли умеет сделать себя интересным, говоря о разных пустяках, то не должна ли нас с большим основанием интересовать жизнь человека, труды которого оказали влияние на его век? Если Европа обязана Руссо революцией, которая произошла в общем образовании, то, конечно, Базедову мы обязаны этими легкими и упрощенными методами для преподавания даже детям того, к чему еще в начале этого века решались подойти лишь люди в возрасте 20 лет. Это не значит, что я одобряю все без различия новые изобретения, сделанные для того, чтобы облегчить детям учение. Время покажет превосходство или абсурдность метода Базедова; но, на мой взгляд, всякий человек, который воздействует на ум людей, заслуживает того, чтобы его узнали. В баснословные времена из него сделали бы бога; греки построили бы ему храм. В наше время (абстрагируясь от французских безумств), если человек претендует на бессмертие, то ему отдадут честь, сделав его бюст, который поместят в будуаре или в кабинете редкостей. Но я чувствую уже, что я преступил границы, предписанные для письма, и что могу стать докучным, я, который должен был бы говорить только о ваших милостях и о моей признательности, но не может ли и это наскучить благородной душе? Но каким бы ни оказалось выражение, родившееся на кончике моего пера, поверьте, о поверьте, что мое сердце чувствует и способно чувствовать все то, что сделано для того, чтобы тронуть душу. Если я могу еще гордиться несколькими счастливыми минутами, то это вам я обязан ими. Я прижимаю к груди своих детей... Ах, вы это чувствуете: это дело ваших рук. Моя сестра и дети кланяются вашему сиятельству.

26 ноября 1791 г.

Иркутск.



Если я не столб, не бесформенная масса, не чурбан, если самая слабая искра чувствительности может взволновать мои органы чувств, то я не только должен быть удовлетворен (как это есть на самом деле) и доволен, больше чем это возможно выразить; но, когда я перечисляю все то, что ваше сиятельство делаете для меня, то я не нахожу слов, которые могли бы выразить вашу доброту так, как я ее чувствую. Две недели тому назад я получил много книг, чемодан, наполненный всем необходимым для того, чтобы одеться с головы до ног, а теперь еще деньги! Подумайте, ведь я по прибытии в Иркутск получил тысячу рублей. Если я прибавлю к этому, что вы захотели удовлетворить мои нескромные просьбы о книгах, то не думаете ли вы, что меня невозможно заставить покраснеть? Уверю вас (нужно ли в этом поклясться?), что я ни в чем не испытываю нужды; а как только возобновится торговля с Кяхтой, наша жизнь еще значительно улучшится.

С тех пор как я покинул мой дом, я часто проливал слезы досады, горя, ярости; ах, сколько для этого оснований и причин! Назову ли я вам причину тех слез, которые текут из моих глаз сейчас, когда я пишу вам? Нет, пусть эти слезы, полные чувства, заставляющего их течь, оросят ваше великодушное сердце! Вы почувствуете его: они исходят из глубины моего сердца.

Мои малыши пришли в восторг при виде маленьких календарей, которые ваше сиятельство соизволило им прислать. Я не заставляю их письменно выразить вам свою благодарность. Если я буду водить их пером, то в этом будет какое-то принуждение, и мысль учителя будет видна в почерке ребенка; если они будут писать самостоятельно, то их выражения, так же как их чувства, будут слабыми и запутанными; в обоих случаях они вызовут у вас лишь скуку. Современем они узнают того, кто спас их отца от отчаяния; их сердце заставит их узнать его. Сейчас они знают только его имя; тогда они узнают все, чем они ему обязаны.

К моим обычным занятиям прибавилось одно, часто мучительное, но сладостное в основе, и если не приятное, то дорогое моему сердцу: я сделался местным врачом и хирургом. Хотя на самом деле я являюсь лишь эмпириком или шарлатаном, но моя добрая воля, повидимому, частично мо-

жет восполнить недостаток необходимых знаний, а ваши милости доставляют мне возможность удовлетворять мои желания. Ящик с медикаментами, почти нетронутый, теперь часто открывается; а поскольку следствие не бывает без достаточной причины, подумайте, что благодаря вам на расстоянии, равном одной седьмой окружности земного шара, будут существа, если не разумные, то во всяком случае восприимчивые и страдающие, обязанные вам сохранением то одного, то всех членов своего тела, а иногда продлением дней жизни, существа, которые были бы тем счастливее, чем меньше о них знали бы в глубине лесов.

Да, я скажу, что распространение знаний у просвещенных народов оторвало миллионы людей от их примитивного счастья, их естественного счастья, если можно так выразиться, лишило их спокойной и простой жизни. Ибо насильственный переход из одного состояния в другое, хотя бы и лучшее, часто бывает ощутим со своей положительной стороны лишь через столетия; и часто также ярмо, навязанное изменением одного условия, продолжает тяготеть над отдаленным поколением, которое уже вкушает плоды, полученные от этого изменения. Настолько естественный человек сохраняется неприкосновенным в общественном человеке.

Живя в обширных лесах Сибири, среди диких зверей и племен, которые часто отличаются от зверей лишь языком, ценность которого они даже не в состоянии понять, я, вероятно, в конце-концов стану счастливым человеком Руссо и начну ходить на четвереньках. Этот господин Руссо, как мне теперь представляется, опасный автор для молодежи, но опасен он не своими принципами, как это обычно считают, но тем, что он является очень искусным учителем по части чувствительности; и это достойное уважения качество, которое следовало бы уважать даже в его уклонениях, часто не стоит, по-моему, ломаного гроша, потому что оно обычно сочетается с тщеславием, и самого Руссо называли второй собакой — Диогеном.

Впрочем эта собака Диоген даже от *Александра*<sup>26</sup> требовала лишь идти своей дорогой и оставить его свободно наслаждаться лучами солнца. Признаться, эта собака стояла больше, чем великолепный пятнистый тигр; она не кусалась.

После 8 дней 30-градусных морозов стало понемногу теплей. Сначала 25, затем 20, потом 18 или 17 градусов холода;

теперь мороз держится всю ночь от 15 до 16 градусов ниже нуля и к полудню от 0 до 6 или 8 градусов. Воздух чист, небо безоблачно. С тех пор, как мы находимся здесь, снег шел только в течение двух дней; ветра также почти не было. Мы находимся здесь, как в погребе, и если мы хорошо защищены от ветров, то зато летом воздух должен быть очень душным; но это мы еще увидим. Весна и лето обещают мне весьма приятные развлечения. Поскольку это гористая местность, то я найду много материала для разведок. Я пристрастился к этому после того первого слоя ракушек, который я нашел на берегу реки Оки. Как я теперь сожалею о том, что в юности пренебрегал изучением естественных наук, в особенности минералогии и ботаники. Я чувствую, что тех знаний, которые мне удалось приобрести путем чтения, недостаточно. Я недоволен тем, что уехал из Иркутска, не повидав Лаксмана <sup>27</sup>, который весьма сведущ в этой области. Впрочем, мне кажется, что я найду здесь вещи, о которых еще ничего не известно. Я хотел использовать зимнее время и подняться на гору, примыкающую к Илимску, но мне не могли помочь ни коньки, ни лыжи. Я несколько раз проваливался в снег и оставался там. В этом деле я снова обращаюсь к вашему сиятельству и прошу прислать мне с оказией путешествия академиком, а именно путешествия Штеллера <sup>28</sup> и Гмелина <sup>29</sup>. Мне известны путешествия других лиц и путешествие Гмелина, которое имеется в русском переводе. Но эти путешествия, насколько мне известно, не переводились с немецкого оригинала, как и «Сибирская флора» («Flora Sibirica») Гмелина.

Илимск не может стать более оживленным от торговли с китайцами, как, повидимому, предполагает ваше сиятельство. Вся его торговля мехами, а другой в Илимске нет, ограничивается оптовой продажей того, что собирается в результате занятия местных жителей охотой, что составляет 30 или 40 тысяч беличьих шкурочек самого низшего качества. Два или три горожанина, проживающих здесь, занимаются этой торговлей, причем один из них является комиссионером одного иркутского купца. В ноябре и в конце мая здесь раскупают все добытое на охоте. Приезжающие сюда купцы привозят различные товары, в которых нуждается местное население. Перевозка мехов, о которых говорит ваше сиятельство, производится в Енисейск и Москву из Якутска. Илимск является портом, откуда товары отправляются вод-

ным путем до Енисейска. Говорят, что в августе сюда временно приезжает до 400 лошадей, нагруженных мехами, и они остаются здесь 10—15 дней. Это будет наше время ярмарки, наш хороший сезон, и я буду иметь удовольствие сообщить вашему сиятельству подробности об этом.

Я думаю, что пора кончать мое длинное повествование, но снисходительность вашего сиятельства к моим рассказам так ободряет меня, что я не могу положить перо, не исписав несколько страниц; итак, я кончу тем же, чем начал это письмо: глубоко тронутый вашей добротой, я не в состоянии найти выражений, соответствующих моим чувствам, и, наконец, замолкаю, проклиная от всего сердца свое безрассудство, которое ограничивает мое общество обществом медведей, лосей и других диких зверей, безрассудство, которое лишило меня общения с родными и с человеком, к которому я питаю продуманное и прочувственное уважение, душевную привязанность; безрассудство... которое..., остальное недостойно упоминания. Во всяком случае поверьте, весело мне или грустно, серьезен я или шучу, мое чувство всегда остается тем же, неизменным. Если бы наши нравственные чувства могли запечатлеваться физически и быть различимыми, то после моей смерти, при вскрытии было бы найдено ваше изображение, запечатленным в моем сердце: моя кровь ожила бы на миг, и, уверю вас, это было бы обосновано.

17 февраля 1792 года.

Илимск.

9

Милостивый государь. После того как я имел честь написать последнее письмо вашему сиятельству, я получил два ваших письма, которые, хотя и были написаны одно на пятнадцать дней позже другого, но пришли почти одновременно, так как последнее прибыло с курьером. Кроме того, что получение ваших писем всегда доставляет мне удовольствие, последнее возрастает от того, что вы хорошо себя чувствуете и что ваше здоровье не пострадало от смерти вашей сестры, в особенности от горя, которое вы испытали, присутствуя при ее кончине. Я знаю ваше чувствительное сердце и чего это вам стоит. Вы правильно рассуждаете, когда говорите, что следует разумно относиться к этим вещам;

но вы почувствовали, что когда нас покидает навсегда тот, кто был нам очень близок, то, несмотря на все усилия овладеть собой, несмотря на ту власть, которую разум хочет иметь над нашими чувствами, несмотря на власть, которую он хотел бы присвоить себе, пользуясь всевозможными мотивами, — мы чувствуем, увы, что мы люди. Почему же не отдать законную дань слезами, когда мы чувствуем, что наше сердце сжимается. Зачем желать стать нечувствительным? Мне чужда эта твердость скалы, это оцепенение души, которое, извращая самую восхитительную способность сердца, даже если ею не восхищаются больше всего, хочет внедрить в нем бесстрашие.

Тот, кто никогда не чувствовал, как слеза увлажняет края его век, почти жесток, он черствый (вот что можно сказать в скобках о людях, которые не любят трагедий). Я представляю себе, как, сидя у ложа страданий, вы пытались утешить и ту, которая умирала, чтобы облегчить ее страдания, и тех, кто должен был ее пережить, и слеза сердца находила путь к вашим глазам. Я почитаю вас не только как моего благодетеля, но более высоким чувством, как человека, который заставляет меня любить жизнь; но всякий раз, когда я видел, что вы отдавали дань чувствительности, я уважал вас не обычным уважением, но уважением души.

Я получил два пакета, содержащие подзорную трубу, портфель и магнитную стрелку. Примите мою благодарность. Этот подарок тем более мне дорог, что он является свидетельством вашей благосклонности ко мне и знаком того, что ваше сиятельство желает принимать участие в судьбе человека, который всегда был вам предан.

В одном из ваших последних писем ваше сиятельство упрекает меня в том, что я редко писал из Иркутска. Это может быть верно, но от меня не зависело писать чаще; это было бы возможно лишь в том случае, если бы я пользовался непосредственно услугами почты, но я считал неосторожным поступать так, находясь в Иркутске.

Вчера исполнилось три месяца с тех пор, как я нахожусь здесь, и за это время я имел трех курьеров; итак, я писал три раза; кроме того, когда представлялись другие надежные оказии, я использовал их столько же раз; но перед вашим сиятельством я не имею никаких оправданий. Писать вам — это выполнять долг, священный для меня, и

поверьте, что это также реальное удовольствие и отдохновение от горя.

По милости вашего сиятельства, я наслаждаюсь здесь спокойной жизнью. Я не могу достаточно нахвалиться обращением со мной со стороны местных властей, особенно генерал-губернатора. Я могу еще сказать, что я живу, и если я взвешиваю минуты горя и радости, то последние, несомненно, перевешивают. Ах! Без вас...

Последние два дня здесь очень тепло, сильно тает; вчера в полдень температура была 11 градусов выше нуля. Но ожидаются еще довольно сильные морозы. Стоит измениться ветру, и настанет зима. Сегодня первый день пасхи. В каждом таком случае я привык молить бога дать вам здоровье и исполнение ваших желаний; в таких случаях принято также поздравлять, но я знаю, что ваше сиятельство не любит поздравлений; это довольно избито. Во всяком случае позвольте мне применить старинное и сердечное поздравление, принятое у наших славных предков на пасху. Они целовали друг друга. И я делаю это от всей души.

4 апреля 1792 года.

Илимск.

---

## ПРИМЕЧАНИЯ



Текст произведений А. Н. Радищева воспроизводится в настоящем издании по современной нам орфографии, но с сохранением характерных языковых особенностей подлинников. Произведения размещены по принципу их места и значения в творчестве Радищева и затем по жадровому и хронологическому признакам. Редакционные исправления текста даны в квадратных скобках.

Подготовка текста и примечания *Л. Б. Светлова*.

### «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ»

Текст «Путешествия из Петербурга в Москву» печатается по первому изданию 1790 г. Наиболее значительные рукописные варианты приводятся в примечаниях (по материалам, опубликованным в I томе академического полного собрания сочинений А. Н. Радищева, 1938 г.).

«Путешествие из Петербурга в Москву» было напечатано в домашней «вольной» типографии А. Н. Радищева в количестве около 650 экземпляров. Издание книги было разрешено Управой благочиния, за подписью ее председателя, петербургского обер-полицмейстера Н. И. Рыльева 22 июля 1789 г. Еще ранее «Путешествия» Радищев напечатал в своей домашней типографии отдельной брошюрой «Письмо к другу, жительствующему в Tobольске». В типографии был всего один печатный станок, и работали в ней таможенные служащие и дворовые люди Радищева. Во время следствия Радищев показал о «Путешествии»: «наборщиком той книги был находящийся в то время при таможе надсмотрщик Богомолов; тискана ж она с по-

мощью собственных его людей». Книга начала печататься в январе 1790 г. и вышла в свет в мае того же года. В продажу было пущено сначала всего 25 экземпляров да еще семь было роздано автором. Услышав о надвигающейся грозе, Радищев распорядился уничтожить весь остаток тираж книги. Вследствие этого издание «Путешествия» 1790 г. является величайшей библиографической редкостью. В настоящее время известно всего лишь 18 экземпляров этого издания «Путешествия». Однако наряду с этим книга Радищева распространялась в рукописных копиях, значительное число которых (около 30) хранится в книгохранилищах и музеях нашей страны.

В 1858 г. Герцен переиздал «Путешествие» в Лондоне. В 60-х годах сын Радищева — П. А. Радищев пытался получить разрешение цензуры на издание «Путешествия» и некоторых других сочинений своего отца, но успеха не добился. В 1868 г. петербургский книгопродавец Н. А. Шигин издал «Путешествие», но в настолько изуродованном виде, что даже царская цензура, вначале запретившая издание, вскоре сняла запрет ввиду исключения из книги наиболее политически острых выражений и мест. В 1872 г. П. А. Ефремов предпринял издание полного собрания сочинений Радищева в двух томах, но это издание не увидело света и было почти полностью уничтожено по распоряжению цензуры. В 1876 г. «Путешествие» было издано в Лейпциге в XVIII томе «Международной библиотеки» Э. Л. Каспровича. Это было стереотипное воспроизведение лондонского издания 1858 г. В 1888 г. А. С. Суворин полностью воспроизвел издание «Путешествия» 1790 г. почти таким же шрифтом и с опечатками подлинника. Это издание вышло в количестве 100 экземпляров и было предназначено «для немногих», чем и объясняется допуск его цензурой к напечатанию. В 1889 г. библиограф и библиофил А. Е. Бурцев перепечатал «Путешествие» в V томе своего издания «Дополнительное описание библиографическо-редких, художественно-замечательных книг и драгоценных рукописей» (в 100 экземплярах, не предназначенных для продажи). Однако в 1902 г. издание «Путешествия», предпринятое П. А. Картавовым, было снова запрещено цензурой.

Первое полное издание «Путешествия» вышло только после революции 1905 г. под редакцией Н. П. Павлова-Сильванского и П. Е. Щеголева.

В период 1906—1917 гг. «Путешествие» неоднократно переиздавалось отдельно и в составе полного собрания сочинений А. Н. Радищева.

Наиболее ценные издания «Путешествия» осуществлены после Октябрьской революции. В советскую эпоху книга Радищева издавалась много раз и большими тиражами. К числу наиболее замечательных ее переизданий относится фотолитографированное воспроизведение в 1935 г. первого издания «Путешествия» 1790 г. (изд. «Academia»). К этому изданию приложены материалы для изучения «Путешествия», собранные и обработанные Я. Л. Барсковым. «Путешествие» вошло в I том академического полного собрания сочинений Радищева, вышедший в 1938 г.

Только в советскую эпоху началось подлинное научное исследование и изучение жизни и творчества А. Н. Радищева.



«Путешествие» разделено на главы, которые носят названия станций по дороге из Петербурга в Москву.

<sup>1</sup> Эпиграф к «Путешествию из Петербурга в Москву» заимствован Радищевым из поэмы «Телемахиды» В. К. Тредиаковского (СПб., 1766). Выбор эпиграфа не случаен. В песне XVIII, откуда он взят, дано описание посещения героем поэмы Телемаком подземного царства Тартара, где подвергаются адским мучениям цари, «употребившие во зло свое на престоле могущество...» Цари эти были гнуснее и страшнее, чем самые страшные чудовища мифологии, в том числе адского пса Цербера («преужасный псс Кервер»): «чудище обло (то-есть круглое, толстое), озорно, огромно, с тризвенной и лаей» (то-есть с пастью с тремя зевами). Именно это адское чудовище Радищев использовал как аллегорическое олицетворение господствовавшего в России самодержавно-крепостнического строя, против которого и направлена вся его книга. Радищев даже еще усилил образ «чудища», снабдив его вместо трех — ста пастьями, как у другого мифологического чудовища — гидры. Схожий образ несколько раз используется Радищевым и в самом «Путешествии» (например, в главе «Хотиллов»: «стоглавное чудовище» — о крепостном рабстве; в оде «Вольность»: «И се чудовище ужасно, как гидра, сто имея глав...» — о церкви).

<sup>2</sup> А. М. К. — Алексей Михайлович Кутузов, товарищ Радищева по совместному учению в Лейпцигском университете, которому посвящено «Путешествие».

<sup>3</sup> София — город и почтовая станция в 22 верстах от Петербурга.

<sup>4</sup> Подорожная — документ на право получения лошадей на почтовых станциях. В зависимости от чина и звания пассажира ему за плату (прогонные деньги) предоставлялось по подорожной определенное число лошадей и устанавливался характер езды — почтовая или курьерская.

<sup>5</sup> Бурак — крестьянин, уходивший на заработки, в частности занимавшийся тянуть речные суда.

<sup>6</sup> Тосна — почтовая станция в 36 верстах от Софии.

В ранней рукописной редакции «Путешествия» вместо многоточия в начале данной главы (за словом «непроходимую») имелся следующий отрывок, явно направленный против самодержавия: «Если бы г. наместники не лицом только продавать хотели и для всякого гражданина по большой дороге проезжающего, поступали бы с исправниками земскими по-капральски, как то они сами поступают, то дороги наши в рассуждении короткого времени, в которое они портятся, были бы наилучшие в свете. Но в самодержавном правлении государь подобен солнцу в естестве: где оно греет, там есть и жизнь; где его нет, там все умирает. Самодержавный государь один в государстве своем имеет право следовать рассудку, все другие обязаны следовать повелению, всегда следовать тому, как другой мыслит, а не так, как самому хочется. Скучно, и от того дорога, по которой я ехал, была дурна. Но клячи почтовые, с помощью всеисильного кнута, до почтового стану меня дотащили».

<sup>7</sup> Разрядный архив — правительственное учреждение, в котором хранились документы, содержавшие сведения о родословии дворян.

<sup>8</sup> *Местничество* — обычай замещения государственных должностей не по личным достоинствам и заслугам, а по признакам родовойности или знатности. Местничество было уничтожено в 1682 г. при царе Федоре Алексеевиче.

<sup>9</sup> *Новгородское дворянство* — в силу ряда причин отличалось своей бедностью.

<sup>10</sup> *Табель о рангах* — таблица с наименованием военных и штатских чинов, введенная Петром I в 1722 г. и устанавливавшая право на получение дворянства не-дворянами за выслугу определенного чина. Дворянская знать вела борьбу против этого закона.

<sup>11</sup> *«О дворянстве положение»* — изданная Екатериной II в 1785 г. «Жалованная грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства». В наместничествах велись специальные «дворянские» родословные книги. «Древние благородные дворянские роды» записывались в последнюю, шестую часть этих книг. Радищев придает здесь сатирический смысл словам страпчего, как и его утверждению о введении титула маркиза, что является насмешкой над погоней дворян за знатными титулами и чинами.

<sup>12</sup> *Любани* — станция в 26 верстах от Тосны.

<sup>13</sup> *Оброк* — ежегодная плата крестьянами помещику натурой или деньгами. Оброк был одной из форм крепостнической эксплуатации в отличие от другой — барщины, при которой крестьяне обязаны были безвозмездно работать со своим инвентарем на полях помещика известное число дней в неделю. Кроме того, крестьяне обязаны были особо снабжать помещика живностью, холстом, маслом и др. Так как отношения между помещиками и крестьянами в сущности не были определены никакими законами, то как взимание оброка, так и барщина осуществлялись целиком в зависимости от воли помещика, что и приводило к полному произволу крепостников и бесчеловечной эксплуатации ими крепостного крестьянства. Особенной разнузданности крепостнический произвол достиг в последнюю треть XVIII в., в период царствования Екатерины II.

<sup>14</sup> *Барин подушных не заплатит.* — Имеется в виду подушная подать, которую крестьяне должны были платить в то время государству с каждого члена семьи.

<sup>15</sup> *Наемник* — арендатор. Помещики нередко сдавали свои вотчины и крестьян в аренду, что еще более усугубляло тягость крепостнической эксплуатации.

<sup>16</sup> *Чудово* — село и станция в 32 верстах от Любани. Здесь в селе находился путевой императорский дворец.

<sup>17</sup> *Приятель мой Ч.* — Есть предположение, что Радищев имеет в виду своего товарища по Лейпцигскому университету П. И. Челищева, автора книги «Путешествие по северу России в 1791 г.», в которой также имеется известная критика крепостнических порядков и злоупотреблений чиновников. Екатерина II считала Челищева причастным к изданию «Путешествия из Петербурга в Москву», но это ничем не подтвердилось. Во время следствия Радищев показал: «Происшествие, в Чудове описанное, было в самом деле».

<sup>18</sup> *Систербек* — Сестрорецк.

<sup>19</sup> *Пафос* и *Амафонт* — колонии на острове Кипре, в которых находились храмы древнегреческой богини красоты — Афродиты.

<sup>20</sup> *Вернет* — Клод-Жозеф Верне — французский живописец XVIII в.; маринист.

<sup>21</sup> *В прошедшую Турецкую войну* — война с Турцией (1768—1774). Во время войны эскадра русских кораблей под командованием А. Орлова разбила турецкий флот 24 июня 1770 г. при Хиосском проливе и 26 июня — в Чесменской бухте.

<sup>22</sup> *Субаб, Набаб* — правитель провинции в Индии.

<sup>23</sup> *Реналь* — Рейналь (1713—1796) — французский историк, автор труда — «Философская и политическая история о заведениях и торговле европейцев в обеих Индиях», 1770 г. Имеется сокращенный русский перевод, Спб., 1805—1811 гг. Рейналь резко осуждал колонизаторское варварство европейцев и американцев, торговлю невольниками, политическую и церковную реакцию.

<sup>24</sup> *Спасская Полесь* — стапция в 24 верстах от Чудова. Здесь также был императорский путевой дворец.

<sup>25</sup> *Полкан и Бова* — действующие лица сказки о Бове-Королевиче. На сюжет этой сказки Радищев написал впоследствии поэму «Бова».

<sup>26</sup> *Наместник* — начальник края. В данном случае под наместником Радищев, возможно, имел в виду фаворита Екатерины Г. А. Потемкина.

<sup>27</sup> *Правление*. — Имеется в виду наместническое правление, учреждение, при помощи которого осуществлялось руководство подчиненным краем.

<sup>28</sup> *Уголовная палата* — судебное учреждение. Слова рассказчика о том, что его «уже другой раз отсылают в уголовную палату», означают, что его второй раз отдают под суд.

<sup>29</sup> *Стряпчий казенных дел* — специальный чиновник, пестец по казенным делам.

<sup>30</sup> *Весы* — символ правосудия.

<sup>31</sup> *Держава* — шар с крестом наверху — символ царской власти. Под царем и царедворцами в своем сне Радищев изобразил Екатерину II и ее двор.

<sup>32</sup> *На одежку... сочинения* — то-есть для переплета.

<sup>33</sup> *Кук* — Джеймс Кук — английский мореплаватель XVIII в. Был убит на Гавайских (Сандвичевых) островах.

<sup>34</sup> *Готфы* (готы) и *вандалы* — древнегерманские варварские племена.

<sup>35</sup> *Касталия* (Кастальский ключ) и *Ипокрена* — в греческой мифологии — источники, вода которых вдохновляла поэтов; символы поэтического творчества и вдохновения.

<sup>36</sup> *Господа вашего* — то-есть господина вашего.

<sup>37</sup> *Подберезье* — станция в 24 верстах от Спасской Полести.

<sup>38</sup> *Если... волос не пудришь*. — Радищев делает здесь сатирический намек на щегольские моды дворян.

<sup>39</sup> *Губернский штат* — то-есть губернское правление.

<sup>40</sup> *Классические авторы* — в семинариях и других учебных заведениях, в ущерб изучению живой современности, изучались писатели и историки античной древности: Аристотель (IV в. до н. э.), Виргилий и Гораций (I в. до н. э.), Тит Ливий (I в. до н. э. — I в. н. э.), Тацит (I—II вв. н. э.) и др. Встреченный Радищевым семинарист сетует на схоластическое заучивание их текстов.

<sup>41</sup> *Кутейник* (Кутейкин) — учитель Митрофана в комедии Фон-визина «Недоросль». Он рассказывает о себе, что, обучаясь в семинарии, «ходил» «до реторики, да богу изволившу, назад воротился» (действии II, явление 5).

<sup>42</sup> *Губернский член* — то-есть член губернского правления, чиновник при губернаторе.

<sup>43</sup> *Гроций Гуго* — голландский правовед XVII века. *Монтескью* — Монтескье Ш. Л. (1689—1755) — французский писатель и мыслитель. Его произведения «Персидские письма» и особенно «Дух законов» были хорошо известны в России в XVIII в. *Блекстон* — английский законовед XVIII в., автор трехтомного труда «Истолкование английских законов». Перевод на русский язык в 80-х годах сделан С. Е. Десницким.

<sup>44</sup> *Новые университеты*. — В конце 1780-х годов предполагалось открытие, кроме существовавшего Московского университета, университетов в Пскове, Чернигове, Пензе, но это не было осуществлено.

<sup>45</sup> *Мартинист* — масон; приперженец мистического учения Сен-Мартена. После издания в 1785 г. московскими масонами книги Сен-Мартена «О заблуждениях и истине» их и стали называть мартинистами.

<sup>46</sup> *Шведенборг* (Сведенборг Эммануил) — шведский писатель-мистик XVIII в.

<sup>47</sup> *Вольтер кричал*. — Радищев имеет в виду борьбу Вольтера против суеверий и религиозного фанатизма и в частности повторяемое им требование: «Раздавите гадину!» («Écrasez l'infâme!»), то-есть римско-католическую церковь.

<sup>48</sup> *Фридрих II* — прусский король, разыгрывавший роль сторонника французской философии XVIII в., что не мешало ему проводить реакционную внутреннюю и внешнюю политику.

<sup>49</sup> *Лутер* (Мартин Лютер) — германский церковный реформатор XVI в.

<sup>50</sup> *Таинственные творения* — масонские мистические произведения.

<sup>51</sup> *Новый Магомет*. — Радищев, будучи противником масонства, опасался, что его распространение как новой религии, с новым пророком наподобие Магомета, отбросит человечество вспять, «в туманы предрассудков и суеверия».

<sup>52</sup> *Белев словарь* — «Исторический и критический словарь» Пьера Бейля, французского философа и писателя XVII в. Радищев приводит из словаря анекдотическую цитату с целью сатирической характеристики «сокровенных исследований» мистиков-масонов, против которых и направлена глава «Подберезье».

<sup>53</sup> *Новгород* — древнейший русский город (в 22 верстах от Подберезья).

<sup>54</sup> *Солоновы и Ликурговы законы* — Солоны (VI в. до н. э.) — афинский законодатель. Ликурги (IX в. до н. э.) — законодатель Спарты.

<sup>55</sup> *Карфага* (Карфаген) — финикийский город в Северной Африке. Был разрушен римлянами в 146 г. до н. э.

<sup>56</sup> *Ганзейский союз* — союз торговых, преимущественно северноевропейских городов в XIV—XVII вв. В Новгороде была коштора Ганзейского союза.

<sup>57</sup> *Новгородская республика.* — Радищев ошибался в оценке новгородского веча, руководителем которого был господствующий класс феодалов-землевладельцев — бояр и крупнейшее купечество; Радищев же идеализировал вече как строй народной демократии. Вместе с тем он ошибочно судил о необходимых, исторически прогрессивных мерах Московского государства, направленных, как известно, к подавлению удельных, сепаратистских устремлений новгородских князей, противившихся объединению Русского государства. Неясно, кого Радищев подразумевает под царем Иваном Васильевичем: великого князя Ивана III или царя Ивана IV Грозного.

<sup>58</sup> *Гильдия.* — Купеческое сословие делилось на три «гильдии», то-есть разряда, в зависимости от объявленного капитала. *Именитый гражданин* — звание, введенное «Жалованной грамотой на права и выгоды городом Российской империи» 1785 г. Это звание присваивалось крупным собственникам не-дворянам — фабрикантам, оптовым торговцам и др., а также некоторым ученым, художникам и пр.

<sup>59</sup> *Лаватер* (Лафатер И. К.) — швейцарский писатель XVIII в., автор «Физиогномики», в которой он утверждал, что по чертам человеческого лица и строению черепа можно якобы угадывать характер человека, его склонности и т. п.

<sup>60</sup> *Зубы, как уголь.* — Среди купчих была распространена мода чернить зубы.

<sup>61</sup> *Неурожай, головная боль.* — Радищев приводит здесь специальные словечки (эвфемизмы) купеческого жаргона, обозначающие мошеннические проделки купца Карпа Дементьевича. Радищев использует этот рассказ для иллюстрации непригодности действующего в то время так называемого вексельного права, при котором возможны были всякого рода злоупотребления, как, например, мнимое банкротство, взыскание ростовщических процентов и пр.

<sup>62</sup> *Бронницы* — почтовая станция в 35 верстах от Новгорода.

<sup>63</sup> *Холмоград* — древнерусский город Холмград. В науке до сих пор не выяснен вопрос, стоял ли он на территории Бронниц или Новгорода.

<sup>64</sup> *Наглое счастье* — то-есть внезапное, неожиданное счастье.

<sup>65</sup> *Перун* — в славянской мифологии бог грома, молнии, дождя и пр.

<sup>66</sup> *Егова, Юпитер, Брама...* — Перечисляя наименования богов различных религий и мифические и исторические имена: Авраама и Моисея, Конфуция, Зороастра, Сократа (V до н. э.), Марка Аврелия (II в. н. э.) и пр., Радищев выдвигает еретическое с точки зрения православной церкви положение о том, что бог «един повсюду».

<sup>67</sup> *Еддесон* (Аддисон) — английский писатель XVII—XVIII вв. Радищев приводит цитату из его трагедии «Катон» (1713).

<sup>68</sup> *Зайцово* — почтовая станция в 27 верстах от Бронниц.

<sup>69</sup> *Герольдия* — ведомство по делам о титулах и дворянских привилегиях.

<sup>70</sup> *Коллежский ассессор* — чин штатской службы по «Табели о рангах», дававший право на получение дворянского звания.

<sup>71</sup> *Гогард* (Гогарт Вильям) — английский художник XVIII в., карикатурист.

<sup>72</sup> *Посадила на пашню* — то-есть перевел на барщину.

<sup>73</sup> *Месячина* — определенная норма продуктов, которую помещик выдавал как вознаграждение за труд крепостным крестьянам, совсем лишенным своего хозяйства и земли. Это был самый варварский способ крепостнической эксплуатации, практиковавшийся многими помещиками, так как крестьяне все время вынуждены были работать только в их пользу.

<sup>74</sup> *Лакедемон* — то-есть Спарта, древнегреческое государство, в котором, по преданию, была принята суровая система воспитания детей; чтобы развить в них ловкость, допускалось даже хищение ими чужого, лишь бы была проявлена при этом находчивость и бесстрашие.

<sup>75</sup> *Сошлют в работу* — сошлют на каторгу.

<sup>76</sup> *Во дворе людей было* — то-есть дворовых людей для прислуживания помещику и его домочадцам.

<sup>77</sup> *Повенечные* — особый налог натурой, который платили крепостные помещикам при вступлении в брак.

<sup>78</sup> *Торговая казнь* — публичное наказание кнутом, после которого часто производилось еще клеймение раскаленным железом и вырезание ноздрей. Наказанию этому подвергались чаще всего выходцы из простого народа.

<sup>79</sup> *Однодворцы* — особая прослойка крестьян (из бывших служилых людей), свободных от крепостной зависимости.

<sup>80</sup> *Становится гражданином.* — В своей речи судья Крестьянкин опирается на теорию «естественного права» и теорию Руссо о «договорном начале» при переходе человека из «естественного» состояния к гражданскому.

<sup>81</sup> *Баба* (Ба! Ба!) — название сада вельможи Нарышкина под Петербургом, служившего местом публичных увеселений.

<sup>82</sup> *Крестыцы* — город и почтовая станция в 31 версте от станции Зайдово.

В ранней рукописной редакции «Путешествия» глава имеет более политически и сатирически заостренное вступление. Приводим здесь рукописный вариант, выделяя курсивом слова и выражения, отсутствующие или измененные в печатном тексте. После слов: «...наместник, начальник войск», дальнейший текст изложен следующим образом: «И какому отцу не захочется, чтобы *на его милом дитятке не было овешенных шелковых лоскутков*. Смотри на сына моего, представляется мне: он начал служить, познакомился с вертопрахами, распутными, игроками, щеголями, *забыл он меня и букварь свой*, выучился чистенько наряжаться, играть в карты *на чужие деньги* и картами доставать *свое пропитание*, говорить обо всем и ничего не стыдясь, таскаться по девкам, или врать чепуху барыням, а *букварь свой, повторяю, забыл*. Каким-то образом фортуна, вертясь на курьей ножке, приголубила его, и сынок мой, не брея еще бороды, *чрез гвардейскую службу или адъютантство или боэ весть как начал ездить в шесть лошадей, уже и возмечтал о себе, что умнее всех на свете. Чего доброго ждать от такого полководца или градоначальника? Скажи по истине, отец чадолюбивый, скажи, о, истинный гражданин, скажи, о, человек!* Не захочется ли тебе

сынка твоего лучше удавить, нежели отпустить в службу? Не больно ли сердцу твоему, что сынок твой знатный *барин*, презирает заслуги и достоинства, для того, что их участь пресмыкаться в стезе чинов, пронырства гнушаяся? Не возрыдаешь ли ты, что сынок твой любезный, с приятною улыбкою отнимать будет имение, честь, отравлять и резать людей, не своими всегда *барскими* руками, но посредством лап своих *раболепцов* и *отходя от века сего* дает в наследство внукам твоим село, воемое село крови. Но послушаем крестецкого дворянина».

<sup>83</sup> *Английский и латинский языки*. — Знание юношами этих языков, по мысли Радищева, дало им возможность усвоить древнеримские республиканские добродетели и революционный опыт англичан, казавших в XVII в. Карла I Стюарта и ограничивших монархическую власть.

<sup>84</sup> *Эид* — в греческой мифологии щит божества (Зевса, Аполлона или Афины).

<sup>85</sup> *Во стезе средою* — средним путем, «золотой серединой».

<sup>86</sup> *Отрава Сократу*. — Обвиненный в антигосударственной пропагандистской деятельности и безбожьи Сократ, по приговору афинского высшего суда — ареопага, выпил кубок яда.

<sup>87</sup> *Пребудь... неколебим* — эти строки являются бесспорно центральным пунктом воспитательной системы Радищева, имевшей основной целью воспитание мужественных, бесстрашных борцов против самодержавия, за народную свободу. Никакие испытания, никакие мучения не должны были склонить борца на неправду и нарушение добродетели.

<sup>88</sup> *В спасшем Курции* — легендарный герой в древнем Риме; по преданию, бросился в пропасть, чтобы спасти Рим от якобы грозившей ему беды.

<sup>89</sup> *Юлий Кесарь* — Юлий Цезарь — римский государственный деятель и полководец (I в. до н. э.).

<sup>90</sup> *Слово... Катона*. — Катон Марк Порций Утический — римский политический деятель (I в. до н. э.), суровый, непримиримый республиканец. Не желая стать свидетелем крушения республики, покончил самоубийством. Радищев имеет в виду его слова, которые он будто бы произнес, получив отнятый было у него друзьями меч: «Теперь я принадлежу себе», после чего и пронзил им себя.

<sup>91</sup> *Ягелбицы* — станция в 38 верстах от Крестцов.

<sup>92</sup> *Валдай* — Валдай — уездный город в 25 верстах от Ягелбц.

<sup>93</sup> *Лада* — в славянской мифологии богиня брака и любви.

<sup>94</sup> *Сей новый Леандр*. — Радищев иронически сопоставляет свой рассказ о любви монаха и валдайской девушки с древнегреческой легендой о любви Леандра, жившего на берегу Геллеспонта (Дарданелл), и жрицы Афродиты Геро, которая жила на другом берегу пролива. Чтобы свидеться со своей возлюбленной, Леандр переплывал каждую ночь пролив. В одну из бурных ночей он утонул. Геро, увидав утром его тело, прибитое волнами к берегу, также бросилась в море.

<sup>95</sup> *Зимногорье* — почтовая станция в 23 верстах от Валдая.

<sup>96</sup> *Едрово* — или Ядрово — село и почтовая станция в 20 верстах от Зимногорья.

<sup>97</sup> *Трехвершковая ноиска... трехчетвертной стан.* — Радищев намекает здесь на щегольские дворянские моды, физически и морально уродовавшие женщин.

<sup>98</sup> *Крестьянин в законе мертв* — то-есть крестьянин лишен защиты законов, бесправен. Но Радищев подчеркивает при этом, что «он жив будет, если того восхочет...», то-есть, что избавление от крепостнического ига зависит только от самого народа, и не случайно напоминает о Пугачевском восстании, заставившем трепетать угнетателей народа.

<sup>99</sup> *Сватали... за парня десятилетнего.* — Против принудительных и несправедливых по возрасту жениха и невесты браков, весьма распространенных в то время в крестьянской среде, выступил уже Ломоносов в своем трактате «О размножении и сохранении российского народа» (1761).

<sup>100</sup> *Почетная девица* — фрейлина (придворное звание).

<sup>101</sup> *Кан... бес...* — каналья, бестия.

<sup>102</sup> *Двадцатый стол* — то-есть двадцатый верстовой столб.

<sup>103</sup> *Хотилово* — станция в 36 верстах от Едрово.

Данная глава представляет собой «проект» освобождения крестьян от крепостной зависимости. В ранней рукописной редакции «Путешествия» проект, как и подобает официальному акту, заканчивается традиционной фразой: «Дано в ... 18... года». Изложение проекта в форме царского манифеста, нужно думать, является не более как литературной условностью, может быть, и пародией на манифесты Екатерины II, в которых лицемерной либеральной фразеологией прикрывалось усиление крепостного гнета и бесправия крестьян.

Радищев в своем «манифесте» намечил конкретный путь освобождения крестьян с землей и установления защиты законами прав и интересов крестьянства.

<sup>104</sup> *Европейцы, опустошив Америку...* — Радищев решительно осуждал колониальное варварство американцев, поработивших и истребивших коренное население страны и хищнически эксплуатировавших труд невольников, ставших предметом бесчеловечной работорговли и наживы.

<sup>105</sup> *Несчастные жертвы знойных берегов Нигера и Сенегала* — то-есть африканские невольники, которые в качестве дешевой и бесправной рабочей силы насильно увозились колонизаторами в Америку.

<sup>106</sup> *Применю к шарам* — имеются в виду воздушные шары братьев Монгольфье, поднимавшиеся посредством нагретого воздуха.

<sup>107</sup> *Александра, Великим названного.* — Радищев намеренно делает в данном случае оговорку к эпитету «великий», придававшемуся обычно царю Александру Македонскому (IV в. до н. э.), считая, что, прославившийся разорением и опустошением государств и народов, он не достоин носить звание великого. Радищев повторяет в данном случае точку зрения Ломоносова, высказанную им в оде «На счастье» (1760).

<sup>108</sup> *Презнские повествования.* — Имеется в виду Пугачевское восстание (1773—1775), а также другие крестьянские движения XVII—XVIII вв.



<sup>109</sup> *Блудитесь.* — Радищев делает здесь грозное предостережение помещикам-крепостникам, намекая, что неминуемое грядущее народное восстание сметет их с лица земли. Об этом он прямо и говорит в ранней рукописной редакции «Путешествия»: «Блудитесь да опять посечены не будете».

<sup>110</sup> *Выводные деньги* — выкуп за невесту, который получал помещик, если его крепостная выходила замуж за крестьянина, принадлежавшего другому помещику.

<sup>111</sup> *Расправа* — низовой суд для крестьян.

<sup>112</sup> *Вышний Волочок* — город и почтовая станция в 36 верстах от Хотилова.

<sup>113</sup> *Таможенная пристань.* — Радищев служил в С.-Петербургской таможне с 1780 г.

<sup>114</sup> *Лакедемоняне* — спартанцы, у которых, по преданию, было принято устраивать обязательные общественные трапезы.

<sup>115</sup> *Таковым урядникам* — то-есть устроенным, уряженным.

<sup>116</sup> *Выдропуск* — почтовая станция в 33 верстах от Вышнего Волочка.

<sup>117</sup> *Нума Помпилий* — легендарный царь древнего Рима, который якобы пользовался советами нимфы Эгерии.

<sup>118</sup> *Манко Капак* — по преданию, основатель Перуанского государства (в Южной Америке).

<sup>119</sup> *Ариман* — бог зла в древнеперсидской религии.

<sup>120</sup> *Торжок* — город и почтовая станция в 38 верстах от Выдропуска.

<sup>121</sup> *На скитание прошения* — подать прошение, ходатайствовать.

<sup>122</sup> *Типографии... иметь дозволено.* — Указом 15 января 1783 г. было разрешено заводить «вольные» типографии частным лицам.

<sup>123</sup> *Недоросль будет всегда Митрофанушка.* — Радищев использует здесь название знаменитой комедии Фонвизина «Недоросль» и ее персонажа, Митрофанушки, являющегося олицетворением грубости и невежества, насаждавшихся дворянской системой воспитания того времени. С ней и отождествляет Радищев опеку цензуры над печатным и устным словом.

<sup>124</sup> *Послушаем Гердера.* — Гердер И. Г. (1744—1803) — немецкий ученый. Радищев приводит выписку из его сочинения «О влиянии правительства на науки и наук на правительство» (1780).

<sup>125</sup> *Правительство.* — В ранней рукописной редакции «Путешествия» вместо этого слова были следующие строки:

«Мудрый правитель (бокось назвать великим: ибо прилагая такие именованья государю живу, почтен буду или рабом, или льстецом, или ханжкою, или корыстолюбцем; хвалитель будет скаредный подлец, а хвалимый в опасности будет замараться в хвале мерзавца и пред светом всегда потеряет). Мудрый правитель отечества нашего, дозволил...» и т. д., как в печатном тексте.

Эта тирада была направлена против Екатерины II и ее придворных.

<sup>126</sup> *Управа благочиния* — полицейское учреждение, в функции которого входило также цензурирование книг.

<sup>127</sup> *Наказ о новом уложении.* — Имеется в виду «Наказ» Екатерины II Комиссии по составлению нового уложения, созданной в

1767 г. из представителей различных сословий (кроме крепостных помещичьих крестьян) с целью выработки законов.

«Наказ» был своеобразной компиляцией взглядов, заимствованных Екатериной II из книг французских просветителей — Монтескье, Дидро и др. «Наказ» вместе с двумя приложениями состоял из 22 глав и 655 статей. В этом произведении императрица пыталась обосновать принципы просвещенной монархии. Работа Комиссии, как и следовало ожидать, при решающем господстве в государстве класса дворян-крепостников не дала и не могла дать каких-либо положительных результатов. В 1768 г., воспользовавшись войной с Турцией, Екатерина II распустила Комиссию.

<sup>128</sup> *Отступники откровенной религии* — раскольники и различные сектанты.

<sup>129</sup> *Личность* — то-есть сатира на лицо; личное оскорбление.

<sup>130</sup> *Бывшая в Америке перемена* — война 1775—1783 гг. против владычества англичан, приведшая к провозглашению независимости и образованию республики Соединенных Штатов Америки. *Пенсильвания* — один из северо-американских штатов.

<sup>131</sup> *Протагор* — древнегреческий философ-софист (V в. до н. э.); был приговорен за атеизм к смерти.

<sup>132</sup> *В Риме...* — Радищев упоминает древнеримских государственных деятелей и мыслителей; римского историка Светония (I—II вв. н. э.); первого римского императора Октавиана Августа (I в. до н. э.); римского историка и оратора, защитника республиканского строя Тита Лабения (I—II вв. н. э.); римского философа-стоика и писателя Сенеку (I в. н. э.); римского оратора и философа Цицерона Марка Тулия (I в. до н. э.).

<sup>133</sup> *Претор* — должностное лицо в древнем Риме, ведавшее главным образом судебными делами.

<sup>134</sup> *Авгуры* — древнеримские жрецы, предсказывавшие будущее по полетам птиц и небесным явлениям. *Аруспиции* (гаруспиции) — гадатели по внутренностям животных.

<sup>135</sup> *Троеначальники* — триумвиры, комиссия из трех лиц, избравшихся или назначавшихся в специальных целях. Радищев имеет в виду так называемый «второй триумvirат»: Октавиан Август, Марк Антоний и Лепид (I в. до н. э.), захвативший власть в Риме в пору крушения республики.

<sup>136</sup> *Арий Монтан* (Ариас Монтанус) — испанский богослов XVI в.; принимал участие в составлении первого каталога запрещенных книг, изданного в Нидерландах. В своем примечании к словам Сенеки (о событиях времен императора Августа) Радищев приводит пример аналогичных событий, имевших место в XVI в.

<sup>137</sup> *Кассий Север* (I в. н. э.) — римский оратор и писатель.

<sup>138</sup> *Кремуций Корд* (I в. до н. э. — I в. н. э.) — римский историк; он называл «последним римлянином» не Кассия Севера, а друга Брута и участника убийства Юлия Цезаря — Гая Кассия Лонгина.

<sup>139</sup> *Тиберий* — римский император (I в. до н. э.); *Диоклетиан* — римский император (III—IV вв. н. э.), жестоко преследовавший христиан; *Константин* — римский император (III—IV вв. н. э.), принявший христианство и перенесший столицу империи в Византию (Константинополь).

<sup>140</sup> *Пандекты Юстиниановы* — книги, содержавшие извлечения из трудов римских законодателей, составленные по повелению императора Юстиниана (V—VI вв. н. э.).

<sup>141</sup> *Если бы вселенские соборы не были созданы.* — Радищев решительно осуждает постановления церковных так называемых вселенских соборов (Никейского, Халкедонского и др.), направленные против свободы мнений и свободы слова.

<sup>142</sup> *Декарт Рене* (1596—1650) — французский философ дуалист.

<sup>143</sup> *Апокалипсис* — одна из книг «нового завета», содержащая мистические «пророчества» о «конце мира».

<sup>144</sup> *Абелард* (Абеляр Пьер) — французский философ и богослов XI—XII вв., осужденный за еретические высказывания о церковных догматах.

<sup>145</sup> *Иллюминаты* — масонский орден в XVIII в., придерживавшийся антимонархической программы. Радищев ошибочно, по недостатку сведений в то время, отождествляет иллюминатов с реакционным масонством.

<sup>146</sup> *Лицензиат* — ученая степень в немецких университетах, средняя между бакалавром и доктором.

<sup>147</sup> *Булла* — папское послание; булла, о которой говорит Радищев, относится не к 1507 г., а к 1501 г.

<sup>148</sup> *Звездная палата* — административно-судебное учреждение в Англии, основанное в 1488 г.; ее ведению подлежали дела о государственных мятежах и политических заговорах, а также надзор за книгопечатанием.

<sup>149</sup> *Освободитель* — в данном случае контролер, цензор.

<sup>150</sup> *Страфорд* — английский политический деятель XVII в., сторонник династии Стюартов, казненный во время революции.

<sup>151</sup> *Долгий парламент* — парламент, заседавший в эпоху английской революции в течение 13 лет (1640—1653).

<sup>152</sup> *По совершении времени.* — Имеется в виду «классовый компромисс» 1688 г. между аристократией и буржуазией, приведший к падению династии Стюартов и возведению на трон Вильгельма Оранского (Вильяма III), подписавшего английскую конституцию.

<sup>153</sup> *Аргус* — в греческой мифологии многоокий великан; *Бриарей* — или Эгеон — сын бога Посейдона, сторукий великан.

<sup>154</sup> *Бастильские пропасти.* — Радищев тщательно следил за деятельностью французского Национального собрания, как и за всеми событиями французской революции 1789 г. Согласно новейшим исследованиям, имел здесь в виду «дело Марата», который за смелые выступления в своей газете «Друг народа» и в памфлетах, направленных против политики конституционного буржуазно-аристократического блока, ставшего у власти во Франции в 1789 г., подвергся серьезным гонениям. В конце января 1790 г. по решению Национального собрания отряд национальной гвардии во главе с Лафайетом пытался арестовать Марата и разгромить его типографию. Призывая французов «восплакать о участи своей», Радищев выражает негодование по поводу преследования революционной французской печати. Эти строки были им, видимо, вставлены в текст главы о цензуре в корректуре. *Лафает* — Лафайет — умеренно-либеральный деятель фран-

цузской революции. После взятия Бастилии 14 июля 1789 г. был назначен начальником национальной гвардии. На этом посту пытался воспрепятствовать дальнейшему развитию революции.

<sup>155</sup> *Седое чудовище* («Das graue Ungeheuer») — журнал, издававшийся в 80-х годах немецким просветителем XVIII в. Веккерлином. Несмотря на преследования, последний не прекращал своей литературной и издательской деятельности.

<sup>156</sup> *О цензуре наставление*. — Радищев, резко осуждая действия австрийского императора Иосифа II, который ввел было свободу печати, а затем снова ее ограничил, несомненно намекает здесь на широкообещательные, но никогда не осуществленные обещания Екатерины II, в начале ее царствования, ввести свободу печати в России. Это имеется в виду также в заключительных строках главы о «несообразностях» в царской голове и об опасности говорить о цензуре в России.

<sup>157</sup> *Медное* — почтовая станция в 33 верстах от Торжка.

<sup>158</sup> *О, мой друг!* — А. М. Кутузов, которому посвящено все «Путешествие».

<sup>159</sup> *Каждую неделю два раза*. — Издававшиеся тогда в России две газеты «С.-Петербургские ведомости» и «Московские ведомости» выходили два раза в неделю. В них печатались объявления о продаже крепостных, которая в царствование Екатерины II приняла особо безудержный, циничный характер.

<sup>160</sup> *Крымский поход* — поход русской армии в Крым под командованием фельдмаршала Миниха, состоялся в 1736 г.

<sup>161</sup> *Франкфуртская баталия*. — Имеется в виду историческое сражение при Кунерсдорфе, деревне в шести километрах от Франкфурта-на-Одере, между русскими войсками и армией прусского короля Фридриха II в 1759 г., во время так называемой Семилетней войны, закончившееся полным разгромом прусской армии.

<sup>162</sup> *Воспитанницы* — то-есть воспитательницы.

<sup>163</sup> *Ужасоносный молот* — имеется в виду молоток аукционера, ударами возвещавший о совершении продажи крепостных.

<sup>164</sup> *Квакеры* — религиозная секта в Англии и Северной Америке, проповедывавшая лицемерные христианские идеи о самоусовершенствовании и любви к ближним.

<sup>165</sup> *Тверь* — главный город Тверского наместничества, в 30 верстах от Медного. Ныне город Калинин.

<sup>166</sup> *Стало в пень* — зашло в тупик.

<sup>167</sup> *Польское одеяние*. — Имеется в виду силлабическое стихосложение, основанное на равном числе слогов в строке. Тредиаковский в 1735 г. впервые предложил писать стихи по принципу тонического стихосложения, основанного на правильном чередовании ударных и безударных слогов.

Преобразование стиха, начатое Тредиаковским, было завершено Ломоносовым и затем Сумароковым. Они, кроме предложенного Тредиаковским размера — хорей, применяли и другие размеры, но преимущественно ямб, ставший благодаря этому господствующим размером почти во всей последующей русской поэзии XVIII в.

Радищев боролся против канонизации ямба, тормозившего, по его мнению, развитие русской поэзии. В вопросах стихосложения Радищев выступал как поэт-искатель, теоретик и смелый экспериментатор. Его метрические нововведения не только показывали, насколько широки ритмические возможности русского стиха, но и идейно обогатили русскую литературу.

<sup>168</sup> *Иов или псалмопевец*. — Имеются в виду произведения Ломоносова: «Ода, выбранная из Иова» и «Преложения псалмов».

<sup>169</sup> «*Семира*» и «*Димитрий Самозванец*» — написанные ямбом трагедии Сумарокова.

<sup>170</sup> *Осьмилетний труд* — поэма Хераскова «Россияда», над которой он работал примерно с 1771 по 1779 г.

<sup>171</sup> *Треуз на Виргилия*. — Имеется в виду перевод Вас. Петровым поэмы Виргилия «Энеида».

<sup>172</sup> *Омир* — Гомер; первые шесть песен его «Илиады» были переведены Е. Костровым ямбами и напечатаны в 1787 г.

<sup>173</sup> *Тредиаковского приставят дядькою*. — Радищев в отличие от многих деятелей XVIII в. положительно оценивал во многом стихотворство Тредиаковского и в частности его поэму «Тилемахиду», написанную гекзаметром, складывавшимся из дактилей и хореев, о чем он говорит не только в «Путешествии», но и много лет спустя в трактате «Памятник дактилохорейческому витязю». Но Радищев хорошо понимал и слабые, отрицательные стороны творчества Тредиаковского, и поэтому он указывает в главе «Тверь», что при писании стихотворений другими размерами, кроме ямба, пример Тредиаковского может также оказать неблагоприятное влияние на развитие поэзии.

Радищев имел в виду не только поэтические размеры его произведений, но и многие изъяны в их содержании.

В ранней рукописной редакции «Путешествия» после слов: «Тредиаковский немало тому способствовал своею «Тилемахидою», имеется следующая фраза, весьма важная для понимания Радищевым творчества Тредиаковского:

«Если бы он из Фенелонава романа (имеется в виду роман «Приключения Телемаха». — Л. С.) извлек, так сказать, эссенцию, оставив все скучное и поэме неприличное, то и он бы мог иметь подражателей».

<sup>174</sup> «*Генриада*» — поэма Вольтера; Радищев имеет в виду перевод ее на русский язык Я. Княжнина, выполненный в 1777 г. ямбическим размером без рифм.

<sup>175</sup> *Ода «Вольность»*. — По имеющимся сведениям, Радищев первоначально предполагал включить в главу «Тверь» два стихотворения: полностью оду «Вольность» и песнословие «Творение мира», но включил только сокращенную редакцию оды.

<sup>176</sup> *В Наказе*. — Радищев, повидимому, намеренно изменил смысл соответствующего места Наказа Комиссии по составлению нового уложения, в котором сказано, что «Вольность есть право все делать, что законы дозволяют» (§ 38); говоря же о вольности как о равенстве всех граждан перед законом, Радищев излагает тем самым один из важных пунктов своей освободительной программы.

<sup>177</sup> *Да Брут и Телль еще проснутся*. — Марк Юний Брут (I в. до н. э.) — участвовал в убийстве Цезаря, стремясь предотвратить

этим уничтожение республиканского строя. *Вильгельм Телль* — легендарный герой швейцарского народа, борец за освобождение Швейцарии от австрийского владычества в начале XIV века.

<sup>178</sup> *Парос* — остров в Эгейском море, где добывался высококачественный мрамор.

<sup>179</sup> *Оливная ветвь* — символ мира.

<sup>180</sup> *Медны громады* — пушки.

<sup>181</sup> *Кромвель Оливер* — вождь английской буржуазной революции XVII века. Радищев, порицая Кромвеля за деспотизм и захват власти, вместе с тем хвалит его за казнь самодержца Карла I Стюарта, чем он преподавал исторический урок, как народы могут мстить за свое угнетение.

<sup>182</sup> *Марий и Сулла* — политические деятели древнего Рима (II—I вв. до н. э.), подготовившие падение республики и установление самовластия императора.

<sup>183</sup> *Пегас* — в греческой мифологии крылатый копь божества Зевса, символ поэтического вдохновения. Радищев дает, разумеется, ироническое переосмысление этого античного образа.

<sup>184</sup> *Городня* — почтовая станция в 28 верстах от Твери.

<sup>185</sup> *Пал жеребей* — рекруты из экономических сселений (см. прим. 186) набирались преимущественно посредством жеребевки.

<sup>186</sup> *Экономическое селение* — так назывались деревни с крепостными крестьянами, ранее принадлежавшие монастырям, а с 1764 г. фактически перешедшие в ведение государства.

<sup>187</sup> *Бритый лоб* — рекрутам брили часть головы.

<sup>188</sup> *Поставят в меру* — то-есть когда будут осматривать и измерять рост.

<sup>189</sup> *Прусские наборщики* — то-есть прусские вербовщики. Солдаты в прусскую армию набирались посредством вербовки, найма, а большей частью путем обмана, спайвания и пр.

<sup>190</sup> *Завидово* — почтовая станция в 26 верстах от Городни.

В ранней рукописной редакции «Путешествий» глава начиналась с сатирического вступления, в котором Радищев метко высмеивал поведение знатного дворянина-барина, приезжающего в Москву.

«Лошади мои почти уже были впряжены и за сто верст хотя от Москвы (но) я помышлял (уже), где мне приехав (в нее) пристать можно будет; рассматривал, что полезнее и почтительнее для меня быть может, взехать на почтовый двор в Ямской или во французский трактир; с которого конца начать в Москве мое пребывание: начать ли скакать по улицам сломя голову и заезжая на каждый знакомый двор оставлять изображенное на карте знамение моего имени; или объездить все соборы, церкви, часовни, где есть мощи и чудотворные образа, поставить по свечке и отпеть по молебну; или явиться прежде всего в управу благочиния, дабы поскорее узнали в городе через газеты, что я прибыл в столичный город; в сем последнем я ошибался, ибо по имени означену быть в газетах надлежит принадлежать к первым пяти классам, а я, будучи не пятиклассный, был бы означен просто пифирью, а как изображение иероглифы их есть арабское, то арабский язык, будучи мало в Москве известен, никто бы под пифирью не узнал, что газетчик арабскою иероглифою меня разумеет. Но из размышлений моих...»

<sup>181</sup> *Речь Эола к ветрам...* — Напоминал здесь то место в «Эпиде», где Нептун, бог морей, усмиряет окриком: «Я вас!», разбушевавшиеся ветры, Радищев приписал слова Нептуна Эолу, богу ветров.

<sup>182</sup> *Дон-Кихот* — Дон-Кихот.

<sup>183</sup> *Придворная грамматика* — сатирическая статья Фонвизина «Всеобщая придворная грамматика», в которой он осмеял придворные нравы. Была написана им в 1783 г. для журнала «Собеседник любителей российского слова», но не была в нем напечатана. Статья не могла быть напечатана и в предприятии Фонвизина в конце 1780-х годов издания сатирического журнала «Друг честных людей, или Стародум», так как журнал был запрещен цензурой.

<sup>184</sup> *Клин* — город в 26 верстах от Завидова.

<sup>185</sup> «*Алексей божий человек*» — старинный духовный стих. В основе его лежат два источника: «Житие», появившееся в XV в. в Западной России, и греко-византийский «Цветник», переведенный в XVII в. Арсением Греком. В народе эти два стиха были известны и раздельно и в обоюдном сочетании.

<sup>186</sup> *Габриеллы, Тоди* — певицы, выступавшие в театрах Москвы и Петербурга. *Маркези* — певец, выступавший на русской сцене.

<sup>187</sup> *Вертер* — герой романа Гете «Страдания молодого Вертера», впервые переведенного на русский язык Ф. Галченковым и напечатанного в 1781 г.

<sup>188</sup> *О, мой друг*, — восклицание, обращенное к А. М. Кутузову.

<sup>189</sup> *Пешки* — почтовая станция в 31 версте от Клина.

<sup>200</sup> *В дальних походах*. — Радищев делает здесь прозрачный намек на расточительную роскошь, которой окружал себя в походах фаворит Екатерины II Потемкин.

<sup>201</sup> *Черная Грязь* — почтовая станция в 29 верстах от станции Пешки и в 28 верстах от Москвы.

В ранней рукописной редакции глава имела следующее окончание, завершавшее «Путешествие»:

«Погруженный в сих мыслях я, выехав с почтового стана, приближался уже к Москве. Проехал уже Всесвятское и сравнялся с краем прекрасной рощи, по копец его стоящей. Вдруг услышал выстрел и после того стенание болящего человека. На мысль пришло мне, что некто, может быть, неосторожностью какого-нибудь стрелка ранен. Трепещущ от себя мысли, я выскочил из кибитки и поспешил на помощь страждущего. Но совсем я ошибся в моем заключении. При входе в рощу я обрел человека изрядно одетого, сидящего на земли; подле него к сосне привязана была оседланная лошадь. В правой руке держал он пистолет, коим произведен был выстрел, и сквозь его кафтан на разорванном рукаве видны были капли крови. — Какой несчастный случай допустил тебя уязвить самого себя, говорил я сидящему в задумчивости. Конечно, неосторожно пущенный курок был тому причиною. Позволь, я сниму с тебя кафтан. Я потщусь, если могу подать тебе облегчение.

— Благодарю тебя за предлагаемую услугу. Но пользоваться ею не желаю. Правда твоя, что несчастный случай причиною, а рука моя уязвлена, но заряд не ей был определен, а сюда (указывая лоб), признаюсь, робость и недовольное, может быть, размышление о мужественности виною тому, что выстрел был неудачен. В пользу мне

(может быть) послужит, ибо я не робею. — Я хотел было воспользоваться болезнью его и спасти его от отчаяния, выхватил у него из руки пистолет. — Сей отдам тебе непрекословно. Но не трудись тщетно о мне. Вот другой, да и сам отойди подальше (устремляя на меня), если желаешь мне мешать. На что жизнь тому, кому она стала в тягость? На что она, коли нет в ней более приятностей? Я родился в изобилии, возрощен в неге, не ведал нужды николи, был почитаем, отличен и в уважении; касался, казалось, воскраивя сосуда сладостей, любил и был любим. Но все сие исчезло яко прах и сон. — Нищ, презрен в горячности моей, уготован на поругание, что остается делать тому, кто лишен и надежды? Не шевелись, потряс он с угрозою своим смертоносным орудием, ежели не хочешь быть моим предтечею к смерти. — Отчаянному сему движение мое при последнем его изречении казалось, что я хочу его лишить последнего его убежища. — Конечно, злой дух тебя напра... (*Утрачены дальнейшие два листа*) и от того, что сердце его терзается мздою, а не добрым именем. К нареканию общему ухо его привыкло; к общему к нему мерзению присовокупится только мерзение судии его. Но похититель казны нередко бывает любим в обществе всеми, имея сам к себе не лестное почтение, казнится единою мыслию потерять общее уважение. Для сохранения сего ты меня здесь видишь. Ведаю, что Кесарь, похитив казну общественную, преступником не почитается ни от кого; ведаю, что Филипп Орлеанский, вводя бумагу на пособие деньгам, ограбил Францию, но не был наказан. Ведаю, что (покойный) Султан Турецкий удавлял богачей, когда имеет (имел) нужду в деньгах, и преступником не почитается. Но что мне в примерах? Добро на сем свете не есть добро само по себе, но добро в отношении. Мое блаженство теперь еще в моих руках; и дабы и ты не был жесток, сохраняя еще мне жизнь...

С проворством несказанным вложив пистолет в рот, спустил взведенный курок и привик к земле, не провзяноя ни малейшего стога.

Я с поспешностию удалился от сего полоумного, и въезд мой в Москву был скорбен.

Москва! Москва!»

<sup>202</sup> *Парнасский судья* — мнимый автор оды «Вольность», с которым Радищев повстречался якобы в Твери. Ему же Радищев приписал и «Слово о Ломоносове».

<sup>203</sup> «Слово о Ломоносове» — самостоятельное произведение Радищева, начатое им в 1780 г. и законченное в 1788 г. Вставлено в «Путешествие», видимо, при последней обработке его для печати.

<sup>204</sup> *Пред столпом, над тлеющим Ломоносова...* — Ломоносов умер 4 апреля 1765 г. Над его могилой был поставлен мраморный памятник.

<sup>205</sup> *Почто ты славен.* — В рукописном варианте «Слова о Ломоносове» Радищев писал, что в «рубище сияет его лице перед сынами богатства и власти; стопы его тверды и надежны. Он низлагает гадов, что зависть нищих духом в побеге ему преткновением противустать тщатся; лучем славы, далеко всех за собою оставив, венчается». Здесь Радищев непосредственно противопоставляет крестьянина Ломоносова «сынам богатства и власти» и весьма недвусмысленно говорит о его борьбе против «гадов», «нищих духом», имея, конечно, в виду отечественных и немецких академических



бюрократов, всячески цытавшихся тормозить рост и деятельность этого замечательного народного гения.

<sup>206</sup> *О! возлюбленный мой!* — А. М. Кутузов.

<sup>207</sup> *Престольный град* — Москва.

<sup>208</sup> *Обитель иноческих мусс* (муз). — Славяно-греко-латинская академия при Заиконоспасском монастыре, где учился Ломоносов.

<sup>209</sup> *Согражданин Афин и Рима*. — Имеется в виду изучение латинского и древнегреческого языков.

<sup>210</sup> *Чтение церковных книг*. — Имеется в виду статья Ломоносова «О пользе книг церковных в российском языке» (1757).

<sup>211</sup> *Ученик... Вольфа*. — В январе 1736 г. Ломоносов был переведен из Духовной академии студентом в Петербургскую академию наук, а затем в сентябре этого же года отправлен в Германию, в Марбург, где учился у известного физика Христиана Вольфа; в 1739 г. Ломоносов был переведен из Марбурга во Фрейберг для изучения горного дела и металлургии.

<sup>212</sup> *Проходя первый слой земли*. — Радищев имеет здесь в виду известный труд Ломоносова «Первые основания металлургии или рудных дел» (1763) и в частности вкратце излагает содержание второго прибавления к этой книге «О слоях земных». Кроме того, Радищев приводит также вкратце основные положения другой работы Ломоносова о металлургии: «Слово о рождении металлов от трясения земли» (1757).

<sup>213</sup> *Симеон Полоцкий* (Симеон Емельянович Петровский-Ситнинович) (1629—1680) — московский писатель XVII в., перевел стихами на славянский язык псалтырь (издана в Москве в 1680 г.). Это была одна из первых книг, прочитанных Ломоносовым.

<sup>214</sup> *Ода на победу*. — Ода на победу над турками и татарами и взятие Хотина 1739 г. написана ямбом. Ломоносов прислал эту оду из Фрейберга в Академию наук вместе с «Письмом о правилах русского стихотворства», в котором обосновал принципы тонического стихосложения.

<sup>215</sup> *Грамматика*. — «Российская грамматика», составленная Ломоносовым, была закончена им в 1755 г., напечатана в 1757 г. Это была первая научная грамматика русского языка.

<sup>216</sup> *Риторика*. — В 1748 г. Ломоносов издал первую часть своей книги «Краткое руководство к красноречию, книга первая, в которой содержится Риторика, показывающая общие правила обоего красноречия, то-есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки». Книга содержала правила и образцы поэтического творчества и ораторского искусства.

<sup>217</sup> *Геликон* — гора в Греции; в древнегреческой мифологии — местопребывание муз.

<sup>218</sup> *Отменные в слове мужи* — то-есть выдающиеся политические ораторы: *Демосфен* (IV в. до н. э.); *Цицерон* (I в. до н. э.); *Питт* (*Старший*). *Берк*, *Фокс* — английские политические ораторы XVIII века; *Мирабо* — политический деятель и оратор в начале французской революции 1789 г.

<sup>219</sup> *Пиндарова труба* — Пиндар (VI—V вв. до н. э.) — древнегреческий поэт. *Псалмопевец* — царь Давид. Ломоносов делал поэтические переводы псалмов.

<sup>220</sup> *В бедные миров...* — Радищев имеет в виду стихотворение Ломоносова «Вечернее размышление о божием величестве, при случае великого северного сияния».

<sup>221</sup> *Ограда градов...* — Радищев пересказывает здесь первые строки оды Ломоносова (1747) на день восшествия на престол Елизаветы Петровны. Ода начинается следующими стихами:

Царей и царств земных отрада,  
Возлюбленная тишина,  
Блаженство сел, градов ограда,  
Коль ты полезна и красна...

<sup>222</sup> *Цветы, собранные в Афинах...* — эти строки имеют глубокий политический смысл. Мнение Радищева об исторической ценности правил красноречия, выработанных Ломоносовым, имеет антинаρχическую заостренность; он хотел этим подчеркнуть, что пока в России не будет народных представительных учреждений, до тех пор не будет и условий для роста и развития отечественных политических ораторов. Радищев понимал, что вопрос этот разрешит только коренная ломка полицейско-самодержавного режима — революция.

<sup>223</sup> *Ты, призванный...* — Радищев обращается к московскому митрополиту Платону (Левшину), церковному оратору XVIII в., имел в виду его проповедь, произнесенную у гроба Петра I по поводу победы русского флота над турецким под Чесмою в июне 1770 г. *Душа Платона* — то-есть греческого философа Платона (V—IV в. до н. э.).

<sup>224</sup> *Робертсон* — английский историк XVIII в. *Маркграф и Ридигер* — немецкие ученые XVIII в.

<sup>225</sup> *Скитался путями проложенными.* — В оценке Ломоносова как ученого Радищев иногда стоял на ошибочной точке зрения, не зная о некоторых замечательнейших научных открытиях Ломоносова, которыми он предвосхитил многие основополагающие достижения естествознания XIX—XX вв.

<sup>226</sup> *Се исторгнувший гром...* — Имеется в виду В. Франклин — американский ученый и политический деятель XVIII в.

<sup>227</sup> *Учителя... пораженного смертно* — академик Г. В. Рихман, друг Ломоносова, убитый молнией в 1753 г. во время опытов с электричеством.

<sup>228</sup> *Бакон Веруламский* (Бэкон; 1561—1626) — английский философ, разрабатывавший методологию научного познания, опирающегося на опыт и наблюдение и обосновавший принципы классификации наук.

<sup>229</sup> *Не разумел правил позорищного стихотворения и томился в эпопеи.* — Радищев имеет здесь в виду трагедии Ломоносова «Тамира и Селим» и «Демофонт» и его неоконченную поэму «Петр Великий», которых он не одобрял.

<sup>230</sup> *Мы повидаемся на возвратном пути.* — Радищев намеревался, видимо, продолжить свою книгу, поэтому он и говорит о предстоящей новой встрече с читателями, но дальнейшие обстоятельства — репрессии, обрушившиеся на автора, его арест и ссылка — не позволили ему осуществить свое намерение. Во время следствия на вопрос, начато ли это продолжение «Путешествия» и где оно находится, Радищев ответил, что «оное сочинение начато не было».

## ПИСЬМО К ДРУГУ, ЖИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ В ТОБОЛЬСКЕ

Рукопись не сохранилась. Напечатано впервые анонимно в «вольной» типографии Радищева в начале 1790 г., где было напечатано и «Путешествие из Петербурга в Москву». В своих показаниях во время следствия Радищев сообщил, что «Письмо» было напечатано прежде «Путешествия». Кому адресовано письмо, не установлено.

В XIX в. «Письмо» было опубликовано П. А. Ефремовым в журнале «Русская старина» (сентябрь 1871 г.), а затем в 1897 г. напечатано А. Бурцевым в его «Описании редких российских книг» (ч. IV).

«Письмо» содержит ряд смелых антимонархических мыслей. Екатерина II приобщила «Письмо» к материалам обвинения Радищева как важное доказательство, что «давно мысль его готовилась ко взятому пути, а французская революция его решила себя определить в России первым подвизателем».

<sup>1</sup> *Фальконет*. — Памятник Петру I был выполнен по проекту французского скульптора Фальконе Э. М. и открыт 7 августа 1782 г.

<sup>2</sup> *Воздвиг Российский флаг* — то-есть создал русский военноморской флот.

<sup>3</sup> *Сей день ознаменован*. — Имеется в виду манифест 7 августа 1782 г. «О разных милостях, дарованных преступникам по случаю открытия монумента императору Петру I».

<sup>4</sup> *Вопреки женеvскому гражданину*. — Радищев оспаривает здесь совершенно неверную, извращенную оценку Ж. Ж. Руссо исторических заслуг Петра I.

## ЖИТИЕ ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА УШАКОВА

Напечатано впервые анонимно в Петербурге в 1789 г. в «императорской типографии».

Затем перепечатано в «Собрании оставшихся сочинений покойного А. Н. Радищева» (т. V, 1811). В тексте «Жития» при этом сделан ряд пропусков и исправлений, значительно смягчающих и сглаживающих политическую остроту произведения. Так, например, слова «но достоин будешь венца» (стр. 208) в издании 1811 г. изменены так: «но достоин будешь и большей доверенности»; выражение, в котором Радищев осуждает нетерпимость царского самовластия к любому проявлению свободы: «Мысль несчастная, тысячи любящих отечество граждан заключающая в темницу и предающая их смерти; теснящая дух и разум...» (стр. 211), изменено так: «несчастное заблуждение, теснящее дух и разум...»; опущены острые политические примечания (стр. 211, 219); опущена чрезвычайно важная по своему политическому содержанию тирада, направленная против деспотизма (стр. 216), начинающая со слов: «Человек много может сносить неприятностей...» и т. д.

Эти исправления сделаны А. Ф. Мерзляковым, что подтверждается его пометками на экземпляре «Жития», хранящемся в Государственной исторической библиотеке в Москве.

В 1869 г. «Житие» (в первоначальной редакции) было напечатано во втором издании сборника «Осмнадцатый год» (кн. I), изданного П. Бартевым. В 1897 г. (в редакции 1811 г.) напечатано в «Описании редких российских книг» А. Бурцева (ч. II).

После революции 1905 г. «Житие» перепечатывается в полных собраниях сочинений А. Н. Радищева с опущением обычно второй части книги, содержащей сочинения Ф. В. Ушакова.

В нашем издании текст «Жития» сверен по первопечатной редакции. В квадратных скобках раскрыты инициалы лиц, которых Радищев не хотел полностью назвать при издании своей книги, так как многие из них были живы.

Повесть является кратким жизнеописанием друга Радищева по Лейпцигскому университету Федора Васильевича Ушакова. При изложении фактов из жизни Ф. В. Ушакова и русских студентов, обучавшихся в Лейпцигском университете, Радищев сделал ряд теоретических обобщений политического и философского характера, направленных против деспотизма и самодержавно-крепостнического строя.

«Житие» написано в 1788 г., что видно из указания автора на прошедшие восемнадцать лет после смерти Ф. В. Ушакова, скончавшегося 7 июня 1770 г. Сочинения Ф. В. Ушакова, составляющие вторую часть книги, переведены и отредактированы бесспорно А. Н. Радищевым.

«Житие», как и «Путешествие», посвящено близкому другу Радищева и Ушакова — А. М. Кутузову.

<sup>1</sup> *Сухопутный кадетский корпус* — дворянское учебное заведение. Ф. В. Ушаков учился в нем в начале 1760-х годов.

<sup>2</sup> *Теплов Г. Н.* — крупный сановник в эпоху Екатерины II. Занимался литературной и переводческой деятельностью.

<sup>3</sup> *Двенадцать юношей.* — В Лейпцигский университет было послано 12 молодых дворян: А. Радищев, П. Челищев, А. Рубановский, С. Янов, А. Кутузов, А. Римский-Корсаков, Зиновьев, Наскин, братья Ф. и М. Ушаковы, кн. Трубечкой и кн. Несвижский.

<sup>4</sup> *Путеводителя нашего.* — Надзирателем (гофмейстером) над посланными за границу студентами был назначен майор Е. Ф. Бокум. Злоупотребления его и тяжелое положение студентов, о которых пишет Радищев, подтверждаются многочисленными документальными материалами.

<sup>5</sup> *Гельвециево... мнение.* — Имеются в виду рассуждения Гельвеция о деспотизме в его книге «Об уме» («О разуме». «De l'esprit», 1758).

<sup>6</sup> *Кирасирский офицер* — то-есть офицер, служивший в так называемой тяжелой кавалерии.

<sup>7</sup> *Власти таковой ему дано не было.* — Радищев хочет этим сказать, что по закону студенты, как дворяне, не могли быть подвергнуты телесным наказаниям.

<sup>8</sup> *Солдат вооруженных.* — Бунт русских студентов против грубого и корыстолюбивого надзирателя совпал со студенческими волнениями, имевшими место в Лейпциге и приведшими к ряду вооруженных столкновений между студентами и вызванными для их усмирения войсками. Этим и объясняется, видимо, и то, почему Бокуму удалось добиться немедленной присылки солдат для

усмирения русских студентов, так как Лойпциг был в то время объявлен на военном положении.

<sup>9</sup> *В Дрездене министру* — то-есть русскому послу в Дрездене.

<sup>10</sup> *Последовавшее по возвращении нашем.* — Радищев имеет здесь в виду обстоятельства, сложившиеся по возвращении его и Кутузова в 1771 г. в Россию, когда царское правительство вместо соответственного использования их знаний и способностей предоставило им незначительные канцелярские должности.

<sup>11</sup> *Один из наших учителей* — Вицман. Ему Радищев впоследствии подарил экземпляр своего «Путешествия».

<sup>12</sup> *Гвардии офицер.* — Н. Е. Муравьева в заграничном путешествии сопровождал, как установлено, его шурин — драматург А. А. Волков. Есть предположения, что он и был автором напечатанной в Лейпциге в 1767 г. статьи «Известия о русских писателях».

<sup>13</sup> *Ф...* — вероятнее всего, Ф. Г. Орлов, брат фаворита Екатерины II.

<sup>14</sup> *Гримм Ф. М.* — немецкий писатель XVIII в.

<sup>15</sup> *Не тревожился Юлий Цезарь.* — Радищев имеет в виду известный исторический факт самовольного изъятия Цезарем в 49 г. до н. э. из римского казначейства средств для организации похода в Испанию.

<sup>16</sup> *Ла* (Джон Лоу) — французский авантюрист начала XVIII в., отличившийся своими финансовыми аферами, серьезно подорвавшими экономику страны.

<sup>17</sup> *Людвиг XIV* (Людовик). — Имеется в виду расточительная роскошь и распущенность, господствовавшие при его дворе. Радищев, как нетрудно понять и из заключительных строк тирады, явно намекает здесь на современное ему царствование Екатерины II, которая единолично, бесконтрольно распорядилась государственной казной, расточая ее на фаворитов, придворную роскошь и военные предприятия, что и являлось причиной выпуска непомерного количества бумажных денег и обременения народа податями и различными поборами.

<sup>18</sup> *Сервант* (Сервантес) (1547—1616) — выдающийся испанский писатель, автор романа «Дон-Кихот».

<sup>19</sup> *Арно Антуан* — французский богослов и философ XVII в. Радищев имеет здесь в виду его труд «Логика или искусство мышления».

<sup>20</sup> *С'Гравезанд* — голландский ученый и философ XVII—XVIII вв. Имеется в виду его труд «Введение в философию, метафизику и логику» («Introductio ad philosophiam, metaphysicam et logicam», 1738).

<sup>21</sup> *Отменно прилежал к латинскому языку.* — Радищев считал, что политическая жизнь общества накладывает наиболее сильный отпечаток на язык. Этим он и объясняет, почему Ушаков старался столь усиленно изучать латинский язык.

<sup>22</sup> *Не льстец Августов и не лизорук Меценатов* — поэты Вергилий и Гораций. Радищев противопоставляет им республиканского оратора Цицерона и смелого обличителя общественных пороков, «колкого сатирика», под которым он мог подразумевать писателя Петрония (I в. н. э.) или Ювенала (I—II вв. н. э.).

<sup>23</sup> *Вещал Декарт.* — Имеется в виду изречение Декарта из его «Метафизических размышлений» (1641).

<sup>24</sup> Геллерт — немецкий филолог XVIII в., профессор Лейпцигского университета.

<sup>25</sup> Потеряние возлюбленной супруги. — Имеется в виду кончина (в 1783 г.) первой жены Радищева — А. В. Рубановской.

<sup>26</sup> Но не извалился вперед. — Здесь содержится намек на грозные обстоятельства, которые, как понимал Радищев, возникнут в его жизни в связи с предстоящим вскоре выходом «Путешествия из Петербурга в Москву».

<sup>27</sup> Люди зависят от обстоятельств. — Ф. В. Ушаков, как и Радищев, придерживается этого взгляда в своих теоретических рассуждениях и противопоставляет его системе так называемой «беспристрастной свободы», то-есть свободы воли, делающей якобы человека независимым от каких бы то ни было обстоятельств.

<sup>28</sup> По мнению г. Руссо. — В своем «Общественном договоре» он писал, что демократия осуществима только в небольших государствах, при имущественном равенстве и отсутствии роскоши.

<sup>29</sup> Творца книги о преступлениях и наказаниях. — Беккариа, известный итальянский публицист и законовед XVIII в. Его трактат «О преступлениях и наказаниях» («*Dei delitti e delle pene*», 1764) был несколько раз переведен на русский язык.

<sup>30</sup> Царствование... Елисаветы Петровны. — Имеется в виду ее обещание при вступлении на престол отменить смертную казнь, которое, впрочем, не было выполнено.

<sup>31</sup> Сцевола Муций — по древнеримскому преданию, юноша, мужественно и спокойно сжегший свою правую руку в знак презрения к пыткам, которыми угрожал ему этрусский король, на жизнь которого Муций покушался за осаду Рима.

<sup>32</sup> Регул — древнеримский политический и военный деятель (III в. до н. э.). Имеется в виду предание о мученической смерти Регула, которой подвергли его карфагеняне за отказ способствовать заключению мира между Римом и Карфагеном.

<sup>33</sup> Филот — македонский военачальник (IV в. до н. э.); казнен по обвинению в заговоре против Александра Македонского.

<sup>34</sup> Бирон — французский военный и политический деятель XVI в.; казнен за участие в заговоре против короля Генриха IV.

<sup>35</sup> Письма о книге Гельвеция «Об уме» адресованы, вероятно, Ф. Г. Орлову, который, как предполагается, рекомендовал ее Ушакову и русским студентам в Лейпциге. В письмах Ушаков излагает свои замечания на первую главу первой части книги Гельвеция.

## БЕСЕДА О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ СЫН ОТЕЧЕСТВА

Статья напечатана впервые в журнале «Беседующий гражданин» в декабре 1789 г. Журнал этот издавался петербургским просветительским «Обществом друзей словесных наук», в деятельности которого принимал участие и Радищев. Принадлежность ему «Беседы» установлена на основании записок члена «Общества» С. А. Тучкова, опубликованных в прибавлениях к «Русскому вестнику» за 1906 г. Записки Тучкова были напечатаны также отдельным изданием (СПб., 1908).

«Некто г. Радищев, член общества нашего, — пишет С. А. Тучков, — написал одно небольшое сочинение под названием: «Беседа

о том, что есть сын отечества, или истинный патриот», и хотел поместить в нашем журнале. Члены хотя одобрили оное, но не надеялись, чтоб цензура пропустила сочинение, писанное с такою вольностью духа. Г. Радищев взял на себя отвезти все издание того месяца к цензору и успел в том, что сочинение его вместе с другими было позволено для напечатания. В то же время издал он и напечатал без цензуры в собственной типографии небольшую книгу его сочинения под названием: «Езда из Петербурга в Москву», в которой с великою вольностью, в сильных выражениях писал он противу деспотизма.

«Беседа» является наиболее сильным литературно-политическим выступлением Радищева до издания его «Путешествия».

## О ЧЕЛОВЕКЕ, О ЕГО СМЕРТНОСТИ И БЕССМЕРТИИ

Рукопись трактата не сохранилась. Напечатан впервые в «Собрании оставшихся сочинений покойного Александра Николаевича Радищева», ч. II и III, 1809 г. В настоящем издании трактат воспроизведен по академическому полному собранию сочинений А. Н. Радищева (т. 2, 1941) и сверен по первопечатной редакции 1809 г.

Трактат написан Радищевым в Сибири во время ссылки, о чем свидетельствует дата начала работы над ним, указанная самим автором: «Начато 1792 года генваря 15. Илимск». Если учесть, что Радищев прибыл, как известно, в Илимск 3 января 1792 г., то указание это свидетельствует о том, что работу над своим философским трактатом он начал вскоре же по приезде на место ссылки.

О том, что трактат написан в Илимске, подтверждают также в своих воспоминаниях сыновья Радищева — Николай и Павел.

Трактат написан в форме бесед автора с близкими ему людьми. Отсюда и посвящение трактата «друзьям моим», под которыми он имел в виду друзей и родных, оставшихся в Москве и Петербурге и, нужно думать, особенно своих старших двух сыновей, разлученных с ним ссылкой.

Кавычки в тексте на стр. 334—342 сделаны либо самим Радищевым, либо редакторами первого издания его сочинений.

\* \* \*

<sup>1</sup> *Эпиграф* «Настоящее чревато будущим» заимствован Радищевым из «Теодицеи» или «Монадологии» Лейбница. Цитата не совсем точна и приведена, видимо, по памяти.

<sup>2</sup> *В России имеем прекрасное собрание растущих зародышей.* — Радищев имеет, вероятно, в виду анатомические коллекции музея Академии наук — известной кунсткамеры.

<sup>3</sup> *Линней К.* — шведский зоолог и ботаник XVIII в.; приобрел известность своими трудами в области систематики и классификации растений и животных.

<sup>4</sup> *Галлер А.* — швейцарский ученый-преформист и поэт XVIII в. Радищев имеет в виду его исследования деятельности мышц и нервов. Галлер различал три свойства мышечных волокон: упругость, способность реагировать на раздражение нерва и способность самостоятельной реакции на механическое и химическое раздражения.

<sup>5</sup> *Не возможно ли уподобить душу металлу минерализованно-му.* — Это представление Радищева, как и подобные последующие о металлической жиле и металлических парах, и что «для образования чего-либо и в царстве ископаемом нужна матка», являются наивно механистическими. Аналогичные взгляды в XVIII в. высказал, например, Робинз Ж. Ф. в своей книге «О природе» («De la Nature», 1766).

<sup>6</sup> Перевод цитаты в примечании: «Возможно, что стремление тел к соединению повинуются законам магнетической или электрической силы, может быть допустимо предположить, что это стремление при помощи посредствующих звеньев является всеобщим. Если существуют двойные соединения, не могут ли существовать тройные и т. д.». Источник цитаты не установлен.

<sup>7</sup> *Мы не скажем, как некоторые умствователи: человек есть растение* — намек на работу Ламетри «Человек-растение» («L'homme — plante», 1748).

<sup>8</sup> *Известного писателя.* — Радищев приводит здесь слова Гердера: «Растение, если можно так сказать, еще все — рот» («Идеи к философии истории человечества», кн. III, гл. I).

<sup>9</sup> *Пинеальная железа* — шишковидная железа в головном мозге. Радищев иронизирует здесь над учением Декарта о том, что душа находится будто бы в пинеальной железе.

<sup>10</sup> *Лафатер* — см. прим. 59 на стр. 520.

<sup>11</sup> *Кампер* — голландский анатом XVIII в.

<sup>12</sup> Радищев приводит здесь мнение Гердера, высказанное в его книге «Идеи к философии истории человечества».

<sup>13</sup> *Левенгук* — голландский естествоиспытатель XVII—XVIII вв.; усовершенствовал и впервые применил микроскоп в физиологических исследованиях.

<sup>14</sup> *Гершель* Вильям — английский астроном XVIII в.; разработал оптическую систему отражательного телескопа, впервые примененного в 1789 г. Однако известно, что система отражательного телескопа была задолго до Гершеля разработана Ломоносовым в 1762 г.

<sup>15</sup> *«Преображение»* — картина Рафаэля.

<sup>16</sup> *Английский писатель.* — Имеется в виду Монбоддо (Джеймс Барнет) — шотландский лингвист и антрополог XVIII в., автор книги «Происхождение и развитие речи» («The origine and progress of Language», 1773).

<sup>17</sup> *Аббе де Л'ене* (аббат Лепе) — французский педагог XVIII в., основатель школы для обучения глухонемых при помощи языка жестов.

<sup>18</sup> *Законодатель тигр.* — Радищев осуждает здесь жестокие законы самодержавного государства, в силу которых осужденные к наказанию уголовные преступники подвергались страшному увечью и обезображиванию — вырезанию ноздрей, языка, клеймлению и т. д. Эти наказания применялись обычно к преступникам из простого народа.

<sup>19</sup> *Альцест* — действующее лицо комедии Мольера «Мизантроп». *Тимон* — действующее лицо трагедии Шекспира «Тимон Афинский».

<sup>20</sup> *Фирс* (Тирс) — в античной мифологии жезл божества виа и веселия Диониса-Вахха, увитый плющом и виноградными листьями; символ пьянства.



<sup>21</sup> *Мааврикий*. — Имеется в виду скульптура работы французского ваятеля XVIII в. Пигалля на гробнице маршала Морица Саксонского в Страсбурге.

<sup>22</sup> *Мерона* — действующее лицо одноименной трагедии Вольтера (1743); она хотела убить пришедшего к ней юношу, подозревая его в убийстве своего сына, но узнает, что он и есть ее сын Эгист.

<sup>23</sup> *Зофир и Сеид* — действующие лица трагедии Вольтера «Магомет» («Фанатизм или Магомет Пророк», 1741). Сеид, фанатик-мусульманин, убивает по наущению Магомета своего отца Зофира.

<sup>24</sup> *Ричард* — действующее лицо одноименной трагедии Шекспира («Ричард Третий»). Радищев имеет в виду сцену из V действия, когда король Ричард, проснувшись после страшного сновидения, требует, чтобы ему подали лошадь.

<sup>25</sup> *Макбет* — действующее лицо одноименной трагедии Шекспира. В тексте трактата здесь допущена (видимо, издателями первого собрания сочинений Радищева) опечатка. Слова: «Нет у него детей», принадлежат другому действующему лицу трагедии — Макдуфу (действие IV, сцена 3). Узнав, что его жена и дети умерщвлены по повелению Макбета, Макдуф говорит сыну короля Малькольму о невозможности отомстить таким же образом Макбету, так как последний бездетен.

<sup>26</sup> *Увеселение юных дней моих* — несомненно автобиографическое указание на любовь в молодости Радищева к театральному искусству.

<sup>27</sup> *Сципион* Публий Корнелий Африканский (III—II вв. до н. э.) — знаменитый римский полководец.

<sup>28</sup> *Человек рожден для общезжития* — то-есть человек рожден для общественной жизни.

<sup>29</sup> Примечание: *В сем месте сочинитель начертал...*, нужно полагать, сделано редакторами сочинений А. Н. Радищева — его сыновьями или А. Ф. Мерзляковым. Видимо, в рукописи трактата здесь находился план или проспект изложения ряда вопросов, не осуществленный автором.

<sup>30</sup> *И сколь Гельвеций ни остроумен...* — Радищев отвергает мнение Гельвеция о равенстве умственных способностей людей. Вместе с тем Радищев высказывает глубоко правильную мысль о том, что все народы в равной степени могут совершенствовать свои умственные силы независимо от их расовых или национальных особенностей.

<sup>31</sup> *Монтескье*. — Имеется в виду его теория о влиянии климатических условий на личность и общество, изложенная в его труде «Дух законов».

<sup>32</sup> *Действие климата...* — Радищев переоценивает влияние климата и географической среды на характер и общественную жизнь человека. Однако его замечание, что колониальное варварство англичан в Индии обусловлено влиянием климата этой страны на организм и поведение колонизаторов, заставляя их якобы забыть «великую хартию» и *habeas corpus* (то-есть английскую конституцию и так называемый закон о «личной неприкосновенности» граждан) и быть более жестокими, нежели сами индийские набобы (то-есть владетельные князьки), является, конечно, ироническим. Радищев хорошо пони-

мал, что жестокое поведение английских колонизаторов обусловлено их стремлением держать в страхе и повиновении порабощенный индийский народ и беспрепятственно наживаться за его счет.

<sup>33</sup> *Гюлистан* («Розовый сад») — поэтический трактат знаменитого персидского поэта XIII в. Саади.

<sup>34</sup> *Один* — верховное божество в скандинавской мифологии.

<sup>35</sup> *Церера* — в римской мифологии — богиня земледелия; она обучила искусству земледелия *Триптолема*, сына элевзинского царя Келея.

<sup>36</sup> *Вот шестые разума человеческого.* — Говоря о свержении человеком им же самим воздвигнутых себе богов, Радищев иносказательно влгает здесь неоднократно высказанную им и ранее (например в «Путешествии из Петербурга в Москву», в оде «Вольность» и пр.) мысль о неизбежности революции, свергающей деспотическое самовластие.

<sup>37</sup> *Воспитание делает все.* — Это положение является важным принципом в воззрениях Радищева на вопросы воспитания.

<sup>38</sup> *Ж. Ж. Руссо.* — Цитата взята из его сочинения «Эмиль или воспитание», кн. I, 1762.

<sup>39</sup> *Неволя, заточение, пытки...* — Здесь, очевидно, приводится автобиографический момент.

<sup>40</sup> *Тепло и стужу.* — В своих суждениях о сущности тепла и холода Радищев приближается к научным положениям Ломоносова, высказанным им в его диссертации «Размышления о причине теплоты и холода» (1747). Объяснял причиной тепла и холода движение частиц материи, Ломоносов категорически отрицал принятые в современной ему физике гипотезы о так называемом теплотворе. «В наше время, — пишет Ломоносов, — причина теплоты приписывается собой материи, называемой большинством теплотворной, другими — эфирной, а некоторыми — элементарным огнем... И хорошо, если бы еще учили, что теплота тела увеличивается с усилением движения этой материи, когда-то вошедшей в нее; но считают истинной причиной увеличения или уменьшения теплоты простой приход или уход разных количеств ее. Это мнение в умах многих пустило такие могучие побеги и настолько укоренилось, что можно прочесть в физических сочинениях о внедрении в поры тел названной выше теплотворной материи, как бы притягиваемой каким-то любовным напитком; и наоборот, — о бурном выходе ее из пор, как бы объятый ужасом» (*М. В. Ломоносов, Избранные философские сочинения*, М. 1940, стр. 54). Радищев дает обобщение этих положений Ломоносова.

<sup>41</sup> *Разделимость вещественности.* — В важнейшем вопросе о строении материи Радищев в известной мере использовал атомистическое учение Ломоносова, его предположения о делении материи на бесконечно малые частицы, изложенные, например, в «Слове о пользе химии» (1751). Ломоносов говорил в своем «Слове»: «Здесь, вижу я, скажете, что химия показывает только материи, из которых состоят смешанные тела, а не каждую их частицу особливо. На сие отвечаю, что подлинно по сие время острое исследователей око толь далеке во внутренности тел не могло проникнуть. Но ежели когда-нибудь сие таинство откроется, то подлинно химия тому первая предводительница будет, первая откроет завесу внутреннейшего

сего святилища натуры... Рассуждая о бесчисленных и многообразных переменах, которые смешением и разделением разных материй химия представляет, должно разумом достигать потаенного безмерною малостию виду, меры, движения и положения первоначальных частиц, смешенные тела составляющих». (*М. В. Ломоносов*, Избранные философские сочинения, М. 1940, стр. 66).

<sup>42</sup> *Над... остатками древнего учения.* — Радищев имеет здесь в виду, вероятно, учение Платона о сверхчувственном мире и об идеях как прообразах вещей, а также учение Аристотеля о материи и форме.

<sup>43</sup> *Аристотелевы категории* — то-есть категории аристотелевой логики. *Сокровенные качества алхимистов* — таинственные качества тел, которых искали алхимики с целью превращения благородных металлов в золото, получения жизненного эликсира или универсального лекарства и т. п.

<sup>44</sup> *Флогистон* — по мнению химиков XVII—XVIII вв., особое вещество, наличие которого в физических телах поддерживает горение или способствует изменению их при помощи горения, а также обуславливает такие свойства тел, как теплота, цвет, запах, вкус и пр. Флогистонную теорию отвергал уже в свое время Ломоносов.

<sup>45</sup> *Пристлей* (Пристли) Джозеф — английский химик и философ XVIII в., сторонник флогистонной теории. Радищев имеет здесь в виду его опыты по изучению свойств углекислоты.

<sup>46</sup> *Опыты физические.* — Радищев имеет здесь в виду, вероятно, физические опыты Ломоносова, описанные и теоретически обобщенные в его «Рассуждении о твердости и жидкости тел» (1760).

Характерно известное совпадение воззрений Ломоносова и Радищева по вопросу о возможности соприкосания между физическими телами. В заметке 238 по натуральной философии (1760-ые годы), не опубликованной в XVIII в. и неизвестной поэтому Радищеву, Ломоносов писал: «Что простые сущности не могут быть данностью (*dati*), видно по тому, что, если бы они были данностью, то, составляя тела, они либо соприкасались бы между собою, либо нет; если бы соприкасались, то сходились бы в одну точку и не могли бы составить протяженного тела; если бы не соприкасались, то были бы пронизаемы [в промежутках]. Мир в орехе» (*М. В. Ломоносов*, Избранные философские сочинения, М. 1940, стр. 210).

<sup>47</sup> *Локк, или его истолкователь.* — Имеются в виду примечания М. Коста к переведенному им на французский язык «Опыту о человеческом разумении» Локка, изданном в 1758 г.

<sup>48</sup> *Отреши мрак...* — Радищев имеет в виду слова Аякса в «Илиаде», умолявшего Зевса спасти данайцев, которым наступивший мрак препятствовал драться с одолевавшими их троянцами.

Зевс всемогущий, избавь от ужасного мрака данаев!  
Дню возврати его светлость, дай нам видеть очами!

<sup>49</sup> *Пристлей, путеvodительствующий нам.* — Радищев цитирует здесь книгу Пристли «Исследования о материи и духе» («*Disquisitions relating to Matter and Spirit*, 1777).

<sup>50</sup> *Эфир.* — Весьма примечательно, что Радищев, принимая так называемую теорию эфира Ньютона, вместе с тем решительно не соглашается с его мнением, будто эфир, присутствуя во всех материальных телах, сам не является материей и не обладает свойствами

материи. В этой сложной в его время проблеме эфира Радищев стоял на позициях материализма, на позициях Ломоносова.

<sup>51</sup> *Чувственность неразумна с жизнью.* — Радищев в отличие от французских материалистов (Гольбаха, Ламетри и др.) считал, что «чувственность» (то-есть чувствительность) является не просто свойством материи, а функцией высокоорганизованной материи. Об этом Радищев не раз говорит в трактате.

<sup>52</sup> *Бедствием гошимые.* — Слова автобиографический намек.

<sup>53</sup> *Говорит Пристлей* — цитата из его «Исследований о материи и духе».

<sup>54</sup> *Зол* — в античной мифологии — повелитель ветров.

<sup>55</sup> *Армида* — действующее лицо поэмы итальянского поэта XVI в. Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим», прекрасная чародейка, очаровавшая рыцаря-крестоносца Ринальдо и удерживавшая его в своих волшебных «Армидных садах».

<sup>56</sup> *Троада* — приписываемая Сенеке трагедия «Троянки». Радищев приводит сокращенную цитату из хора троянок во II акте трагедии.

<sup>57</sup> *О, ты.* — Весь этот абзац посвящен исключительно личный автобиографический характер.

<sup>58</sup> *Монолог Гамлета.* — Известный монолог «Быть или не быть» из III действия трагедии Шекспира. *Единословие Катона Утиксского* — монолог из V действия трагедии Аддисона «Катон» (см. прим. 67 на стр. 520).

<sup>59</sup> *Посторонний... может меня спросить.* — Несомненный намек на свои личные переживания в тюрьме во время ожидания казни. Не желая писать об этом откровенно и подробно в трактате, Радищев предлагает своим друзьям в случае необходимости рассказать об этих тяжелых и печальных обстоятельствах в его жизни.

<sup>60</sup> *Ничто не происходит скоком.* — Радищев, однако, не отрицает и скачков в развитии природы. Так, например, во второй книге трактата он говорит, что природа действует и развивается «всегда одновременно или вдруг» (см. настоящее издание, стр. 315).

<sup>61</sup> *Природа... ничего не уничтожает.* — Радищев имеет здесь в виду закон сохранения материи и силы движения, усвоенный им из трудов Ломоносова. В «Рассуждении о твердости и жидкости тел» (1760) Ломоносов следующим образом сформулировал этот закон: «...все перемены в натуре случающиеся такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте... Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения, ибо тело, движущее своею силою другое, столько же оныя у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает» (*М. В. Ломоносов, Избранные философские сочинения*, М. 1940, стр. 193). Еще ранее этот закон был в основном впервые сформулирован им в письме к Эйлеру 5 июля 1748 г.

<sup>62</sup> *Кулибинский ревербер* — прожектор, сконструированный знаменитым русским механиком-изобретателем И. П. Кулибиным; стал применяться с 1780-х годов.

<sup>63</sup> *Роговая егерская музыка* — оркестровая игра на особых одно-тонных металлических охотничьих рогах; применялась на придворных празднествах и в домах крупных вельмож-крепостников;

в России известна с середины XVIII в., где впервые введена богатым вельможей Нарышкиным.

<sup>64</sup> *Пещеры* (пещерей) — так пазывали стоявших на низкой ступени культуры жителей Огненной Земли.

<sup>65</sup> *Никакая сила в природе не может пропасть.* — Это положение является дополнением ранее сформулированного закона сохранения материи и силы движения.

<sup>66</sup> *По изречению одного автора* — Гердера, в его книге «Идеи к философии истории человечества».

<sup>67</sup> *Доводы Гельвециевы.* — Имеются в виду положения Гельвеция, высказанные в его книге «О разуме» («De l'esprit»), где он отождествляет действия рассудка с чувственной способностью и ощущениями. Радищев отвергает подобное отождествление и устраняет в значительной мере механистичность процесса мышления, каким его понимали и изображали Гельвеций и его последователи.

<sup>68</sup> *Отроковицы, обретенной в лесах Шампани.* — Радищев имеет в виду, вероятно, легенду о Жанне д'Арк, которая будто бы во сне слышала голоса святых, призывавших ее совершить героические подвиги.

<sup>69</sup> *Ньютон.* — Радищев имеет в виду анекдот о том, каким образом Ньютон догадался о существовании в природе закона всеобщего тяготения.

<sup>70</sup> *Медя* — по древнегреческим преданиям, волшебница, творившая из обломков новые образы, из кусков изрубленных тел новые тела и пр.

<sup>71</sup> *Законоположение Ликургово* — см. прим. 54 на стр. 519.

<sup>72</sup> *Картину лобзания... во Эдеме.* — Имеются в виду эпизоды из поэмы Мильтона «Потерянный рай».

<sup>73</sup> *Последний суд* — фреска Микельанджело на стене Сикстинской капеллы в Ватикане.

<sup>74</sup> *Кукла Вокансонова* — то-есть бездушный автомат. В XVIII в. французский механик Ж. Вокансон сконструировал образцы механических кукол.

<sup>75</sup> *Эйлер Леонард* (1707—1783) — математик, физик и астроном, был членом Петербургской Академии наук и принимал деятельное участие в ее жизни и трудах.

<sup>76</sup> *Баженов В. И.* (1737—1799) — знаменитый русский архитектор.

<sup>77</sup> *Брамант* (Браманте) — итальянский архитектор XV в.

<sup>78</sup> *Долины при Молвице* — место успешного сражения прусских войск с австрийскими войсками в 1741 г.

<sup>79</sup> *О, вы,* — обращение к детям своим.

<sup>80</sup> *Манкательное древо* — ядовитое дерево, встречающееся в странах жаркого пояса (Южной Америке и др.); о нем сложилась легенда, что оно убивает будто бы даже тех, кто прячется под его тенью (ср. «Анчар» Пушкина).

<sup>81</sup> *Юноша...* — Радищев излагает здесь рассказ о любви в молодости сирийского царя Антиоха I (IV—III в. до н. э.) к своей мачехе Стратонике. Сюжет этого рассказа положен в основу ряда художественных произведений.

<sup>82</sup> *Курций* — см. прим. 88 на стр. 522.

<sup>83</sup> *Ондам* — датский адмирал, погибший в морском сражении с англичанами в 1665 г. *Сакен Х. И.* — капитан русского военного

корабля; не желая сдать в плен при морском сражении с турецким флотом в 1788 г., взорвал свой корабль и погиб сам.

<sup>84</sup> *Амеросий Зертис-Каменский* — московский архиепископ, убитый во время чумного бунта в Москве в 1771 г.

<sup>85</sup> *Корнелий де Вит* — нидерландский республиканец, убитый в 1672 г. сторонниками короля Вильгельма Оранского.

<sup>86</sup> *Мендельсон М.* — немецкий философ XVIII в., автор трактата «Федон или о бессмертии души» (1785), в XVIII в. переведенного на русский язык.

<sup>87</sup> *Гарве Хр.* — профессор философии Лейпцигского университета, где Радищев слушал его лекции.

<sup>88</sup> *Гимнософисты* — «нагие философы»; так древние греки называли индийских философов, строгих аскетов, отвергавших даже одежду.

<sup>89</sup> *В Москве на Спасском мосту.* — В XVIII в. здесь торговали книгами и лубочными картинками.

<sup>90</sup> *Землетрясение есть нужное действие.* — Имеется в виду мнение Ломоносова, высказанное им в «Слове о рождении металлов от трясения земли... сентября 6 дня 1757 года говоренное...» Ломоносов говорит здесь следующее: «Когда ужасные дела природы в мыслях ни обращаю, слушатели, думать всегда принужден бываю, что нет ни единого из них толь страшного, нет ни единого толь опасного и вредного, которое бы купно пользы и услаждения не приносило... не нахожу ничего пристойнее, как земли трясение, которое хотя сурово и плачевно... однако не токмо для нашей пользы, но и для избыточества служит, производя, кроме других многих угодий, преполезные в многочисленных употреблениих металлы...» (*М. В. Ломоносов, Избранные философские сочинения*, М. 1940, стр. 165—166).

<sup>91</sup> *Пифагор...* — Радищев излагает здесь анекдотическое уверение Пифагора, будто он помнит о прежних воплощениях своей души. Пифагор проповедывал метампсихоз — то-есть возможность посмертного перехода души из одного организма в другой. *Архий* — видимо, Архит Тарентский, последователь Пифагора (V—IV в. до н. э.). *Аполлоний Тианейский* (Тианский) — римский философ (I в. н. э.), неопифагорец, противник христианства.

<sup>92</sup> *Шведенборг* — см. прим. 46 на стр. 519. *Сен-Жермен* — известный в XVIII в. авантюрист и алхимик.

<sup>93</sup> *Картуш* — известный в XVIII в. парижский вор.

<sup>94</sup> *Йоганн Гус* — вождь чешского церковно-национального движения XV в. За смелое обличение пороков церковной знати был сожжен как еретик в 1415 г.

<sup>95</sup> *Друг ваш в Илимск заточается* — то-есть сам автор.

<sup>96</sup> *Солнышкина рыцаря.* — Имеется в виду древнегреческий миф об Икаре, пытавшемся летать на крыльях из перьев, скрепленных воском, изготовленных его отцом Дедалом; солнце расплавил воск, крылья рассыпались, и Икар упал в море.

<sup>97</sup> *По изречению одного... сочинителя* — Гердера, в его книге «Идеи к философии истории человечества».

<sup>98</sup> *Предела и конца означить невозможно.* — Радищев стоял на той точке зрения, что человеческое познание безгранично. Эта мысль встречается в трактате неоднократно.

<sup>90</sup> *Скалигер Жозеф-Жюст* — французский филолог XVI—XVII вв., обладавший феноменальной памятью. Следует думать, что именно его имеет в виду Радищев, а не его отца Жюля-Сезара Скалигера, тоже филолога.

<sup>100</sup> *Валлис Джон* — английский математик XVII в.

<sup>101</sup> *Лейбниц...* — уподобление трансформации гусеницы в бабочку с переходом человека к бессмертию Лейбниц делает в «Монадологии» и трактате «Размышления относительно учения о едином всеобщем духе» (1702).

<sup>102</sup> *Боннет* (Боннэ Ш.) — швейцарский философ XVIII в., сторонник теории преформизма, то-есть разветвления органов, будто бы имевшихся уже в готовом виде в зародыше. Он высказал предположение, что зародыши существуют отдельно и независимо от организма животных и человека. Радищев отвергал учение Боннэ, являясь сторонником теории эпигенеза, то-есть развития органов из бесструктурной вначале массы зародыша, а не из готовых зачатков.

<sup>103</sup> *Ты будущее твоё определяешь настоящим.* — Радищев завершает трактат этическими доводами, призывом к высокой гражданской добродетели, единственно благодаря которой человек, по его мнению, может добиться бессмертия. Таким путем пытался Радищев привести в соответствие «область догадок», какою он считал свои рассуждения о бессмертии человеческой души, с реальными целями и задачами человеческой личности — справедливости, честности, верности общественному долгу.

## О ЗАКОНОПОЛОЖЕНИИ

Напечатана впервые в 1916 г. в журнале «Голос минувшего» № 12. Нами перепечатывается с этого издания.

Записка составлена Радищевым в период его работы в Комиссии по составлению законов в 1801—1802 гг. В ней затронут широкий круг вопросов тогдашней русской действительности, которые трактуются автором в соответствии с его прогрессивными социально-политическими воззрениями. Радищев требует в этом официальном документе коренного обновления русского законодательства, его значительной демократизации, улучшения правового положения народных масс.

Удачно используя соответствующие статьи пресловутого «Наказа» Екатерины II Комиссии для составления нового уложения 1767 г., Радищев убедительно вновь показал, что крепостничество является одним из самых вопиющих социальных зол тогдашнего времени, разрушающим экономику страны и подрывающим силы народа. В мерах предосторожности Радищев говорит об этом важнейшем вопросе как бы в третьем лице.

<sup>1</sup> *Автору книги о разуме законов* — Монтескье.

<sup>2</sup> *Мазарини* — французский политический деятель XVII в.

<sup>3</sup> *Суверналь Ментенон* — маркиза Ментенон, вторая жена Людовика XIV, ревностная католичка. Она была до некоторой степени вдохновительницей уничтожения в 1685 г. Нантского эдикта, предоставившего политические и религиозные права протестантам.

<sup>4</sup> *Анеальт* (Дессауский) — сподвижник Фридриха II.

<sup>5</sup> *Амалия* — веймарская герцогиня, приближенная короля.

<sup>6</sup> В деле мельника Арнольда. — Фридрих II, провозгласив независимость суда, сам же нарушил ее, отменил негодное ему решение верховного суда по делу мельника Арнольда и заключил судей в тюрьму.

<sup>7</sup> Кокцей, Кармер — прусские законоведы XVIII в.

<sup>8</sup> Многие видели мы перемены — намек на восстание Пугачева, французскую революцию 1789 г. и пр.

<sup>9</sup> Генеральный регламент — устав канцелярской службы, выработанный при Петре I в 1718 г.

<sup>10</sup> Палладион (палладиум) — охрана, защита.

<sup>11</sup> Назадного — в смысле: всеобщего.

<sup>12</sup> Домов... рядильных — исправительных домов.

<sup>13</sup> Известие о образе наказания тюремного в Пенсильвании. — Радищев имеет, вероятно, в виду книгу Говарда «Состояние тюрем в Англии и Уэльсе» (1777).

<sup>14</sup> Тосканское уложение Леопольда — уложение об уголовных наказаниях, выработанное в середине XVIII в. при тосканском герцоге Леопольде.

<sup>15</sup> В пять лет пребывания моего в Саксонии. — Радищев пробыл в Лейпциге с 1767 г. по осень 1771 г.

## ОДА «ВОЛЬНОСТЬ»

Наиболее исправный и полный текст оды «Вольность» сохранился в списке «Путешествия из Петербурга в Москву», хранящемся в Институте русской литературы Академии наук СССР в Ленинграде.

Полный текст оды не был напечатан при жизни Радищева. В течение XIX в. делались попытки ее издать, например в 60-х годах сыном Радищева — П. А. Радищевым, в 1872 г. — П. А. Ефремовым в полном собрании сочинений Радищева, которое, однако, не увидело света. Ода была помещена в «Русской поэзии» Венгерова (т. I, 1895 г.), но в сокращенном виде. Почти полностью ода была напечатана только после революции 1905 г. (издательством «Сириус» в 1906 г.). В 1922 г. В. П. Семенников издал полностью оду «Вольность», но и эта публикация содержит ряд текстуальных ошибок. В настоящем издании текст оды «Вольность» воспроизводится по академическому полному собранию сочинений Радищева (т. 1, 1938).

Ода «Вольность» писалась Радищевым, судя по всем данным, в 1780-х годах, т. е. одновременно с «Путешествием». Об этом свидетельствуют не только одинаковые социально-политические идеи этих произведений, но и включение оды Радищевым в сокращенном виде в окончательный печатный текст «Путешествия» и в полном виде в раннюю рукописную его редакцию.

Ода «Вольность» является революционным, антимонархическим произведением русской поэзии XVIII в. и первой попыткой философского и исторического обоснования неизбежности крушения феодально-крепостнического строя в России.

В рукописной редакции «Путешествия», в разговоре с якобы случайно встреченным на станции «Тверь» автором оды «Вольность» Радищев, стараясь подчеркнуть революционное значение оды, советует ему исправить ее от «нелепости выражений», то-есть от погрешностей



литературного порядка, и от «нелепости мыслей», то-есть от запретных с точки зрения царской цензуры смелых свободолюбивых мыслей. «Строфы 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42 прочитав, я ему сказал: если вы, государь мой, ни за чем другим едете в Петербург, как дабы истребовать дозволение на напечатание ваших стихов, то возвратитесь в покое домой и потщитесь исправить их от двух погрешностей: от нелепости выражений и, сказать вам могут, от нелепости мыслей.— Он, поглядев на меня с презрением: «прочтите сию бумагу и скажите мне, не посадят ли и за нее... Читайте: сие должноствовало быть для великого поста, некоторым случаем не dokonчено. Да будет оно пример, как можно писать не одними ямбами». И автор оды показывает при этом поэму (песнословие) «Творение мира», которая должна была тоже войти в «Путешествие».

<sup>1</sup> *Зерцало, меч, весы пред ним* — символы справедливости, силы, правосудия.

<sup>2</sup> *Гнушалась жертвенный тли* — гнушаясь приношений, взяток.

<sup>3</sup> *В отличность знак изобретенный* — знаки награды.

<sup>4</sup> *Господне стадо* — стадо своего господина.

<sup>5</sup> *Господню волю* — волю господина.

<sup>6</sup> *Не господя рукой надменна* — то-есть не рукою надменного господина.

<sup>7</sup> *Десятина* — налог в пользу католической церкви. В данном случае — милостыня, подачка.

<sup>8</sup> *Двулична бога храм закрылся* — то-есть наступил мир; храм римского двуликого божества Януса по установленному обычаю был закрыт в мирное время и открыт в военное.

<sup>9</sup> *В степях препоны прескочив* — преодолев препятствия на своем пути.

<sup>10</sup> *К тебе душа моя вспаленна.* — Радищев имеет здесь в виду американский народ, освободившийся после длительной борьбы с Англией от колониальной зависимости.

<sup>11</sup> *Но не приспе еще година* — не пришло еще время.

<sup>12</sup> *И стражу к словеси приставит* — стражу к слову, то-есть установит цензуру.

## ПЕСНЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ

Напечатана впервые в 1807 г. в т. I «Собрания оставшихся сочинений покойного Александра Николаевича Радищева».

Эту поэму, написанную в последние годы своей жизни, Радищев посвятил важнейшей идейно-политической задаче — разоблачению несостоятельности деспотического самодержавия.

В «Песне» затронут также острый вопрос классовой борьбы той эпохи — о знатном происхождении и личном достоинстве, то-есть вопрос о дворянских привилегиях и правах «простого человека». Радищев не раз указывает, что цениться должны только действительные заслуги личности, направленные на пользу общества. Он показывает, к каким бедствиям приводит «предрассудок порождения», в силу которого вершителями судеб народов часто были совершенно бездарные и развратные цари и правители.

Значительное внимание уделяет Радищев патриотической теме в поэме. Он превозносит в ней любовь и преданность родине, доблесть самоотверженного служения отечеству.

<sup>1</sup> *Салем* — Иерусалим.

<sup>2</sup> *Персида* — Персия.

<sup>3</sup> *Рамзей* А.-М. — французский писатель, автор политико-нравоучительного романа «Путешествия Кира» (1727), дважды в XVIII в. переведенного на русский язык.

<sup>4</sup> *Алкид* — Гераклес.

<sup>5</sup> *Анфий* — Антей.

<sup>6</sup> *Фисей* — Тезей.

<sup>7</sup> *Промифей* — Прометей.

<sup>8</sup> *Кервер* — Цербер.

<sup>9</sup> *Грахи* — Гракхи.

<sup>10</sup> *Прикрытое шарами* — покрытое красками.

<sup>11</sup> *Капреля* — остров Капри.

<sup>12</sup> *Гистрий* — актер, скоморох.

## МЕЛКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

*Ода к другу моему.* — Напечатана впервые в 1807 г. в т. I Сочинений А. Н. Радищева. Судя по содержанию седьмой строфы, где Радищев говорит, что он «для пользы кратких, тихих дней» не собирает «золотых бед», то-есть богатств, следует полагать, что ода написана до его ареста и ссылки, ибо, как известно, по возвращении из Сибири у Радищева сложились тяжелые материальные обстоятельства, и в это время он вряд ли мог говорить о каких-либо приобретениях или накоплениях.

В оде затронуты философские и этические вопросы, как, например, о бренности жизни, о низменности стяжательства и пр.

*Ты хочешь знать...* — Найдено П. А. Ефремовым в рукописном сборнике конца XVIII в. и напечатано впервые в 1864 г. В списке Ефремова стихотворение было озаглавлено так: «Ответ г-на Радищева во время проезда его через Тобольск, любопытствующему узнать о нем». В Тобольске, как известно, Радищев жил с января по июль 1791 г.

*Почто, мой друг...* — Напечатано впервые в 1807 г. в т. I Сочинений А. Н. Радищева под заглавием «Послание». Однако это заглавие дано издателями Сочинений Радищева произвольно, так как по содержанию стихотворение отнюдь не является посланием, а лирическим диалогом, в котором автор пытается осмыслить и обосновать свое положение ссыльного, преследуемого «претящей властью» самодержавия борца за народное благо. Стихотворение написано Радищевым безусловно в Сибири.

*Журавли.* — Напечатано впервые в 1807 г. в т. I Сочинений А. Н. Радищева. Басня по своему содержанию близко примыкает к предыдущему стихотворению и также написана, вероятнее всего, в Сибири. Главенствующим мотивом басни является изображение «путешественника»-одиночки, с небывалым упорством добывающе-

гося намеченной цели путешествия. Басня переложена Радищевым с прозаического текста, напечатанного в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» (1794).

*Оснадцатое столетие.* — Напечатано впервые в 1807 г. в т. I Сочинений А. Н. Радищева. Написано, по всем данным, в 1801 г. В стихотворении дан философский анализ важнейших исторических событий конца XVIII в. и в частности развития французской буржуазной революции 1789 г. Значительное внимание Радищев уделил оценке научных открытий в области естествознания, оказавших влияние на ход общественного развития, как, например, изобретение паровой машины, воздушного шара, географические открытия, изучение свойств электричества, света и т. д.

## ПИСЬМА

Публикуемые письма № 1, 3, 4, 5, 6, 7 А. Н. Радищева к А. Р. Воронцову впервые напечатаны в 1872 г. в кн. 5 «Архива князя Воронцова». Письма № 2, 8 и 9 — в 1877 г. в кн. 12. Письма ярко рисуют мысли и настроения Радищева во время его следования в ссылку в Сибирь и пребывания там, благодаря чему они являются ценным и необходимым материалом для изучения этого периода его жизни. Датировка писем сохранена по старому стилю.

Приписки к письмам № 1 и № 5 и письма № 4, 6—9 переведены с французского языка (переводчик Н. А. Клейнман).

<sup>1</sup> *В Новгороде указ.* — Имеется в виду указ, исходатайствованный А. Р. Воронцовым и доставленный курьером в Нижний-Новгород, о снятии с Радищева кандалов.

<sup>2</sup> Свояченица Радищева и будущая его жена Е. В. Рубановская.

<sup>3</sup> *Алексей Андреевич* — Волков, наместник Пермского края.

<sup>4</sup> *Приездом моих друзей...* — приезд Е. В. Рубановской и младших детей Радищева.

<sup>5</sup> *Proportion gardée* — принимая во внимание разницу.

<sup>6</sup> *Учебнее* — то-есть поучительнее.

<sup>7</sup> *Паллас, Георги, Лепехин* — видные русские ученые XVIII в., академики; авторы фундаментальных исследований и описаний растительного и животного мира и ископаемых богатств России.

<sup>8</sup> *Цветки и травы.* — Намек на чрезмерное увлечение ученых ботаническими и прочими наблюдениями в ущерб изучению социального и экономического быта народов.

<sup>9</sup> *Китайский торг.* — Этому вопросу Радищев посвятил специальную работу «Письмо о китайском торге» (1792).

<sup>10</sup> *Анкерок* — сплюснутый бочонок.

<sup>11</sup> *Путешествие Лесенса* — книга французского дипломата и путешественника «Путешествие из Камчатки во Францию» (1790).

<sup>12</sup> *Вагнер Генрих-Леопольд* — немецкий поэт XVIII в.

<sup>13</sup> *Жизнь де Верженна* — «Общественная и частная жизнь графа Вержен» (1789). Де Вержен — французский государственный деятель второй половины XVIII в.

<sup>14</sup> *Сестра* — Е. В. Рубановская.

<sup>15</sup> *Задиг или судьба* (1748) — повесть Вольтера.

<sup>16</sup> *Панглос* — герой повести Вольтера «Кандид или оптимизм» (1767).

<sup>17</sup> *Анжио* — доплата при размене или обмене одного рода монеты на другой.

<sup>18</sup> «*Меркурий*», «*Энциклопедический журнал*» — французские журналы.

<sup>19</sup> «*Библиотека общественного человека*» — периодическое издание эпохи французской революции, в котором активно сотрудничал видный политический деятель и философ Кондорсе.

<sup>20</sup> *Англичанина Смита* — Адама Смита. Радищев имеет в виду комментарии Кондорсе к классическому труду Смита по политической экономии «О богатстве народов».

<sup>21</sup> «*Мемуары одного Ферьер де Совбеф*». — Имеется в виду книга французского политического деятеля второй половины XVIII в. «Исторические и политические воспоминания о путешествиях, совершенных в 1782—1789 г. в Турцию, Персию и Аравию»; издана в Париже в 1789 г.

<sup>22</sup> *Мурино* — вотчина Воронцова в окрестностях Петербурга.

<sup>23</sup> *Цыфиркин, Кутейкин* — действующие лица знаменитой комедии Фонвизина «Недоросль».

<sup>24</sup> *Подобный Александру*. — Имеется в виду Александр Македонский. *Nes plus ultra* — у самых крайних пределов.

<sup>25</sup> «*Жизнь Базедова*». — Имеется в виду, вероятно, книга Майера «Характер и произведения Базедова» (Гамбург 1791). *Базедов* — прогрессивный немецкий педагог XVIII в.

<sup>26</sup> *Александра* — Македонского.

<sup>27</sup> *Лаксман* — естествоиспытатель, академик, проживавший в то время в Иркутске.

<sup>28</sup> *Штеллер Г. В.* — немецкий естествоиспытатель и путешественник; принимал участие в экспедиции Беринга. Радищев имеет в виду описание им путешествия по Камчатке.

<sup>29</sup> *Гмелин И. Г.* — ученый, путешественник. Радищев имеет в виду 4-томное описание его путешествия по Сибири, которое он совершил под руководством Беринга. Издано на немецком языке в Геттингене (1751—1752).

**СЛОВАРЬ СЛАВЯНСКИХ И УСТАРЕВШИХ СЛОВ  
И ВЫРАЖЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
А. Н. РАДИЩЕВА**



*Адамант* — алмаз, бриллиант.  
*аки* — как.

*алкалический* — щелочной.

*алкать* — чувствовать голод,  
сильно желать есть.

*алою* — дерево алоэ.

*алхимист* — алхимик.

*алчба* — сильное стремление,  
желание.

*амбицио* — домогательство,  
тщеславие.

*амо* — куда, где.

*Ассия* — Азия.

*афеист* — атеист.

*Багрянца* — облачение из пор-  
фры.

*баталия* — сражение, битва.

*батожье* — батоги, палки.

*бездействию* — инерция.

*бесстопная речь* — прозаиче-  
ская речь.

*благогласие* — благозвучие, гар-  
моническое сочетание зву-  
ков.

*блуждение* — заблуждение.  
*бо* — ибо.

*болван* — истукан, статуя.

*брашно* — еда, пища.

*буде* — если.

*былие* — растение, злак.

*быстротечно* — мгновенно, мол-  
ниеносно.

*Ванты* — пеньковые тросы для  
подъема и опускания па-  
русов.

*василиск* — дракон, змей.

*велеречие* — красноречие.

*вервь* — веревка.

*вертеп* — пещера.

*верющее письмо* — доверен-  
ность.

*веси* — знай, ведай.

*весь* — селение, деревня.

*ветрила* — паруса.

*вещественность* — вещество,  
материя.

*взалкавый* — взалкавший, силь-  
но пожелавший.

*вина* — причина.  
*витийство* — красноречие.  
*вития* — оратор.  
*в лицах* — налицо.  
*внезапу* — внезапно.  
*водовод* — водопровод.  
*возждать* — руководить.  
*возглавие* — изголовье, возглавление.  
*вознический* — вертикальный.  
*возовик* — ломовая лошадь, тягеловоз.  
*волчец* — сорная трава.  
*вонмут им* — будут им вни-  
мать.  
*воскрайе* — край.  
*воспящать* — возбранять, пре-  
пятствовать.  
*восхищать* — похищать, уво-  
дить.  
*восшествие казистое* — строй-  
ная фигура.  
*времяточие* — эпоха.  
*восток* — восток.  
*вземлище* — вместилище.  
*вью* — шея.

*Глагол* — слово.

*глаголати* — говорить.  
*горé* — вверху, кверху.  
*горничный* — комнатный.  
*горячность* — любовь, страсть.  
*градодержатель* — городни-  
чий, глава городской адми-  
нистрации.  
*гремление* — грохот, шум, суета.  
*гудок* — народный трехструн-  
ный музыкальный инстру-  
мент.

*Даждь* — дай.

*дееписатель* — историк.  
*десна* — правая рука.  
*диспейстория* — описание ле-  
карств.  
*днесь* — сегодня.  
*довлеет* — является достаточ-  
ным.  
*долу* — вниз.  
*долбня* — обух.  
*дондеже* — до тех пор пока.

*досязать* — достигать.  
*дохновение* — дуновение.  
*дска* — доска (обложка книги).

*Егда* — когда.  
*единожитие* — личная жизнь.  
*единственник* — личность, ин-  
дивидуум.  
*еже* — которое.  
*елень* — олень.  
*елико* — сколько.  
*естество* — природа.  
*естествослов* — естествовед.

*Жадать* — жаждать, сильно  
желать.  
*жалобница* — жалоба, проше-  
ние.  
*железы* — оковы, цепи.  
*живот* — жизнь.  
*жилье* — этаж.

*Завернуться* — попасть, очу-  
титься.  
*заклепанный* — закованный.  
*заклепы* — оковы.  
*зане* — ибо, потому что.  
*запутнение* — запутанность,  
путаница.  
*затмение* — смущение.  
*зизидитель* — основатель.  
*зрак* — взор, глаз.  
*зыбление* — волнение, колеба-  
ние.

*Избыточество* — изобилие, из-  
быток чувств.  
*извет* — извещение, донос, кле-  
вета.  
*изленение* — лень, привычка к  
лени.  
*изражение* — выражение, изо-  
бражение.  
*ирой* — герой.  
*иступающий* — выступающий,  
проступающий.  
*исторгнуться* — выйти.  
*источиться* — вытечь,

*исходящий из правила* — отступающий от правила, нарушающий его.  
*ифика* — этика.

*Каляка* — калека.  
*камергер* — высшее почетное придворное звание.  
*камер-лакей* — старший лакей при дворе.  
*капище* — языческий храм.  
*клас* — колос.  
*ключимый* — заключенный.  
*кинопечатница* — типография.  
*колико* — сколько, как.  
*коликократно* — сколько раз.  
*колоний* — одеколон.  
*колообразно* — кругообразно.  
*копоткий* — медлительный, нерасторопный.  
*косвенное хождение* — порочное поведение.  
*кошки* — плети с несколькими хвостами.  
*крайчий* — кравчий, прислужник за обеденным столом.  
*красловие* — рифма.  
*крин* — лилия.  
*куколь* — сорняк, сорная грава.

*Ладья* — лодка, челн.  
*ланита* — щека.  
*ласкательство* — лесть.  
*ласкать* — льстить.  
*ласкаться* — льстить себя падеждой.  
*лепота* — красота.  
*лествица* — лестница.  
*лик* — хор.  
*линек* — плеть с узлами.  
*личина* — маска.  
*лобное место* — помост на площади, трибуна.  
*ловитва* — охота.  
*любление* — привязанность, любовь.  
*любомудрие* — философия.  
*любомщение* — мстительность.  
*любострастие* — сладострастие, чувственность.

*любостязание* — стремление к богатству, наживе.  
*любочестие* — честолюбие.  
*льзя* — можно.

*Мах* — удар, взмах, толчок.  
*мерзительный* — внушающий отвращение.  
*мерзить* — питать отвращение.  
*меркурий* — ртуть.  
*мета* — цель.  
*мрежи* — сети.  
*музыкаийский* — музыкальный.  
*мусса* — муза.  
*мышца* — могущество; сила; рука.

*Наглый* — внезапный, неожиданный.  
*наикраснейший* — прекраснейший.  
*наследят* — получают наследство, унаследуют.  
*начениеся* — начавшееся.  
*небрегу* — пренебрегаю, не забочусь.  
*ненасытец кровей* — кровопийца, вампир.  
*неть* — нет.  
*неуповательно* — сомнительно, едва ли.  
*неуподобительные* — неподражаемые, невиданные.  
*ниже* — ни.  
*низ изображения* — под изображением.  
*николи* — никогда.  
*нудить* — принуждать.

*Оберегательность* — защита, сохранность.  
*оберегатель* — защитник, охранитель.  
*обер-егермейстер* — придворный, ведавший царской охотой.  
*обестудел* — потерял стыд, стал бесстыдным.  
*обрязчет* — найдет.

*обещеваться* — облызывать, обещать.  
*облы* — круглый, толстый.  
*обьдут* — обманут, обойдут, обольстят.  
*огневица* — лихорадка.  
*одесную* — справа.  
*окружие* — колесо.  
*окрест* — вокруг.  
*опричь* — кроме.  
*орание* — пахота.  
*оратай* — пахарь.  
*особенник* — деятель, избранник.  
*отжену* — отгону.  
*отишие* — тихое убежище, затишье.  
*отмены* — различия, изменения.  
*отриновен* — отстранен, отвергнут.  
*оттоманы* — турки.  
*отчинник* — владелец вотчины, помещик.  
*ошую* — слева.

*Шаки* — опять.  
*палица* — жезл, палка.  
*паче* — более.  
*пекися* — заботиться, стараться.  
*перси* — грудь.  
*перст* — палец.  
*песнословие* — духовная песнь.  
*плена* — пелена.  
*плещут* — аплодируют, рукоплещут.  
*плододеяние* — оплодотворение.  
*поборник* — защитник.  
*подвизать* — побуждать.  
*поженет* — уничтожит.  
*подножность* — основание.  
*поворище* — зрелище, театральное здание.  
*поворищное стихотворение* — драматическая поэзия.  
*позыбнутя* — колебаться.  
*позы* — призыв.  
*полдень* — юг.  
*полуденный* — южный.  
*полакый* — низкопоклонный, угодливый.

*полушество* — низкопоклонство, пресмыкание, угодливость.  
*полукружие* — полушарие.  
*поносный* — постыдный, позорный.  
*попоровка* — поблажка, поупущение.  
*порт* — море.  
*право мщенное* — право мщения.  
*праг* — порог.  
*предрассуждение* — предрассудок.  
*препятнать* — препятствовать.  
*преследовать* — следовать.  
*претить* — запрещать, угрожать.  
*прещение* — запрещение, угроза, ненависть.  
*призриться* — позариться.  
*призирать* — призрывать, приютить.  
*приличать* — уличать.  
*прилучиться* — случиться.  
*присно* — всегда.  
*пристанище* — пристань.  
*прять* — принять, взять.  
*прозвать* — произрастать.  
*произволение* — произвол.  
*приносить* — приносить.  
*произрастение* — растение.  
*произречение* — речь.  
*пролубь* — прорубь.  
*противный случай* — несчастный случай.

*Разве* — если, если не.  
*рамена* — плечи.  
*распростертие* — распространение, осуществление.  
*рачение* — усердие, забота, старание.  
*рачитель* — радетель, воспитатель.  
*рдеть* — краснеть.  
*реци* — говорить, сказывать.  
*риза* — одежда.  
*ристалище* — место состязания, арена.  
*рогатка* — железный ошейник.



*родшая* — родившая, мать.  
*родшие* — родители.  
*родший* — отец.  
*розыск* — судебное следствие,  
пытка.  
*розыскатель* — исследователь.

*Селитьба* — населенное место.  
*сиделец* — торгующий в лавке  
по доверенности хозяина,  
кушца.  
*сице* — так.  
*сладокопение* — льстивая песня;  
благозвучие.  
*скарედный* — гнусный, гадкий.  
*склепанный* — закованный, ско-  
ванный.  
*скосырь* — щеголь, наглец.  
*словеса* — слова.  
*слово* — речь, язык.  
*словутый* — знаменитый.  
*слюз* — шлюз.  
*соборный* — соединенный, об-  
щий.  
*соглядать* — видеть, наблюдать.  
*согнительное воскипение* —  
гнойное воспаление.  
*согрудение* — плотность.  
*соитие* — стечение, совпаде-  
ние.  
*сопловать* — соединять, сплю-  
щить.  
*состав* — сустав.  
*сочетование* — сочетание.  
*средодалящаяся сила* — центро-  
бежная сила.  
*стега* — тропа, путь.  
*степень* — градус.  
*стрекальный* — подстрекатель-  
ный, вызывающий.  
*во сретение* — навстречу.  
*стерть* — стереть, уничтожить.  
*стончекает* — стачивает, де-  
лает тонким.  
*строгий* — острый.  
*струг* — столярный инстру-  
мент для строгания, рубан-  
ок.  
*стяжание* — нажива, богат-  
ство.  
*стяжать* — добывать, нажи-  
вать.

*сугубый* — удвоенный, весьма  
значительный.  
*сущий в животе* — живущий,  
живой.  
*сый* — всегда и везде пребываю-  
щий; бог.

*Тать* — вор.  
*твердь* — опора, укрепление.  
*телеса* — тела.  
*течь* — итти.  
*тимпан уха* — барабанная уш-  
ная перепонка.  
*титло* — титул.  
*тля* — тление, разложение,  
прах.  
*той* — тот.  
*только* — только.  
*только* — так, столько.  
*томный* — печальный, мрач-  
ный.  
*тощета* — худоба.  
*тракт* — трактат, договор.  
*тук* — жир.  
*тщаться* — пытаться, стре-  
миться.

*Убо* — ибо, поэтому.  
*угобжать* — удобрять, утуч-  
нять.  
*ударение* — влияние, воздей-  
ствие.  
*удомовить* — приручить.  
*уды* — органы тела.  
*уподоблю* — изложу подробно.  
*устерцы* — устрицы.  
*утцетить* — сделать тщетным,  
напрасным.

*Фамилия* — семья.  
*феатр* — театр.  
*ферментация* — волнение, бро-  
жение.  
*фузель* — удар шпагой плаш-  
мя.

*Хилый* — хилый, слабый.  
*хижина уничтожения* — дом  
бедняка, нищего.

*хил* — питательная жидкость.  
*хина* — хинин.  
*хины* — китайцы.  
*хлябь* — бездна, пропасть.  
*храмина* — комната.

*Ценовка* — цыновка.  
*цуг* — упряжка в несколько пар лошадей.

*Чесатель* — парикмахер.  
*чикчеры* — длинные в обтяжку гусарские брюки.  
*чиносостояние* — сословие.  
*чрезестественный* — сверхестественный.  
*чресла* — поясница.

*чувственница* — мимоза.  
*чуждоутробный* — пасынок.

*Шелены* — плети.  
*шественник* — идущий, путешественник.  
*штаб-офицер* — высший офицерский чин (от майора до генерала).

*Элаборация* — претворение.  
*эскимы* — эскимосы.

*Яко* — как.  
*ям* — почтовая станция.  
*япанча* — епанча, плащ.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Я. Щипанов.</i> А. Н. Радищев . . . . .	5
Путешествие из Петербурга в Москву . . . . .	37
Письмо к другу, жительствовавшему в Тобольске . . . . .	200
Житие Федора Васильевича Ушакова . . . . .	205
Беседа о том, что есть сын отечества . . . . .	262
О человеке, о его смертности и бессмертии . . . . .	271
О законоположении . . . . .	399
Вольность . . . . .	421
Песнь историческая . . . . .	438
<i>Мелкие стихотворения:</i>	
Ода к другу моему . . . . .	485
Ты хочешь знать . . . . .	487
Почто, мой друг . . . . .	488
Журавли. Басня . . . . .	489
Оснадцатое столетие . . . . .	490
Письма А. Н. Радищева к А. Р. Воронцову . . . . .	493
<i>Примечания</i> . . . . .	514
<i>Словарь славянских и устаревших слов</i> . . . . .	552

Редактор *В. Козерук*

Художник издания *Н. Седельников*  
Портреты гравированы на дереве  
художником *А. Павловым*  
Технический редактор *А. Тюнева*

Подписано к печати 17/VI 1949 г.  
М-17647. Объем 35 печ. л. 27,8 уч.-  
изд. л. Тираж 50 тыс. экз.  
Заказ № 49. Цена 10 руб.

★

2-я типография «Печатный Двор»  
им. А. М. Горького Главполи-  
графиздата при Совете Министров  
СССР. Ленинград,  
Гатчинская, 26.



